

ВЛ. ОРЛОВ

ПУТИ
И
СУДЬБЫ

ВЛ. ОРЛОВ

ПУТИ
И
СУДЬБЫ



ВЛ. ОРЛОВ

**ПУТИ
И
СУДЬБЫ**



В Л. О Р Л О В

**ПУТИ
И
СУДЬБЫ**

ЛИТЕРАТУРНЫЕ

ОЧЕРКИ



СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ · ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

1 * 9 * 7 * 1

О Р Л О В ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
ПУТИ И СУДЬБЫ

Л. О. изд-ва «Советский писатель», 744 стр.
План выпуска 1971 г. № 310

Редактор *М. И. Дикман*. Художник *М. Е. Новиков*
Худож. редактор *А. Ф. Третьякова*. Техн. редактор
В. Г. Комм. Корректор *Ф. С. Флейтман*.

Сдано в набор 4/III 1971 г. Подписано в печать 21/V
1971 г. М 10918. Бумага 84×108¹/₃₂, № 2. Печ. л. 23¹/₄
(39,06). Уч.-изд. л. 35,69. Тираж 20 000 экз. Заказ № 453.

Цена 1 р. 67 к.

Издательство «Советский писатель», Ленинградское от-
деление, Ленинград, Невский пр., 28. Ленинградская
типография № 5 Главполиграфпрома Комитета по пе-
чати при Совете Министров СССР. Красная ул., 1/3

Елене

Владимировне

Юнгер

О Т А В Т О Р А

Здесь собраны некоторые из моих историко-литературных работ. Написаны они были в разное время — с 1929 по 1959 год. Для этой книги все очерки пересмотрены и в ряде случаев обновлены.

31 декабря 1960



Во втором издании книга дополнена двумя очерками: «Вослед Радищеву» и «Литературная программа декабристов». Очерк «Денис Давыдов» печатается в новой редакции. В очерк «История одной любви» внесены дополнения. Очерк «Вечный бой» во втором издании книги опущен.

31 декабря 1970



I

ВОСЛЕД РАДИЩЕВУ

ИЗ ИСТОРИИ

ГРАЖДАНСКОЙ ПОЭЗИИ

НАЧАЛА XIX ВЕКА



Четверть века, прошедшая между появлением великой революционной книги Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» (1790) и возникновением первых декабристских организаций (1815—1816), долго оставалась одним из наименее проясненных и изученных периодов идейно-литературного движения в России. Буржуазные историки и литературоведы, сосредоточившие свое внимание на изучении преимущественно декабристского периода, недостаточно интересовались судьбами передовой общественной мысли и литературы в 1790—1800-е годы. Этим в значительной мере объясняется живучесть утвердившегося с давних пор мнения, будто радищевское «критическое направление» в этот период «не нашло продолжения даже в смягченной форме».¹

Между тем мнение это совершенно неосновательно. Проповедь и протест Радищева не остались гласом вопиющего в пустыне, а напротив, встретили живейший сочувственный отклик среди молодого поколения,

¹ А. Пыпин. Общественное движение в России при Александре I, изд. 4. СПб., 1908, стр. 263.

вступавшего в жизнь в накаленной идеологической атмосфере последних лет XVIII века.

Радищевское направление нашло прямое и непосредственное продолжение (правда, именно в «смягченной форме») в деятельности целой группы прогрессивных писателей и публицистов, в подавляющем большинстве разночинного происхождения и состояния, еще при жизни Радищева, летом 1801 года создавших дружеское литературное объединение, которое оставило заметный след в общественной и культурной жизни самого начала XIX века.

За наиболее радикальными из участников этого кружка в историко-литературной науке упрочилось почетное имя *радищевцев*. Правда (и это нужно оговорить сразу и с полной ясностью), никого из них нельзя признать последовательным выразителем радищевской революционно-материалистической идеологии во всем ее объеме, но тем не менее явственный отблеск радищевского влияния лежит на их мировоззрении и творчестве.

Из этого, конечно, вовсе не следует, что радищевцев следует обособить от иных, более широких и наиболее влиятельных национальных традиций русской мысли и литературы и тем самым выключить их деятельность из общего литературного процесса. Тем, что составляло основу и содержание их мировоззрения и творчества, они были обязаны не только непосредственному воздействию проповеди Радищева, но и всему идейному и художественному опыту, накопленному русской литературой XVIII века в ее наивысших достижениях (Кантемир и Ломоносов, Державин и Фонвизин, Новиков и Крылов). Постоянный и в высшей степени напряженный интерес к реальным и насущным запросам национальной жизни составляет отличительную черту русской прогрессивной литературы, публицистики и критики XVIII столетия. Радищев в своем творчестве продолжил лучшие традиции русской мысли и литературы своего века, но вместе с тем поднял их на небывалую дотоле идейную высоту, внес в них новое, революционное содержание и тем самым определил характер и направление последую-

шего их развития. Именно поэтому творчество Радищева явилось и вершиной русской мысли XVIII века и отправной точкой дальнейшего ее подъема в XIX столетии.

Радикально-демократические писатели и публицисты, за которыми упрочилось имя радищевцев, разумеется, знали передовую русскую литературу в полном ее объеме и воспитались на ее произведениях. Но наиболее существенным и знаменательным является тот факт, что в своей общественно-литературной деятельности они во многом исходили из того же круга идей и проблем, в котором вращалась мысль Радищева. Они разделяли его взгляды по целому ряду вопросов и в отдельных случаях приближались к его революционным выводам. Наконец, они открыто выступили в литературе «под знаком Радищева», демонстративно прославляя его личность и деятельность.

* * *

Поэты-радищевцы восприняли и продолжили плодотворные традиции русского *просветительства* XVIII века — самого передового для своего времени философского и социально-политического мировоззрения, в рамках которого прогрессивные силы русского общества развернули критику феодально-абсолютистских порядков, а в лице Радищева поднялись до теоретического обобщения опыта революционной борьбы крестьянства против крепостничества и самодержавия.

Понятие «русское просветительство» — понятие очень широкое. Просветительская мысль в России прошла длительный путь развития и в шестидесятые годы XIX века, в пору революционной ситуации, в деятельности Чернышевского и Добролюбова достигла предельных для того времени высот революционно-демократической теории. Ранний период в истории просветительских идей в России, отразивший определенную стадию общественных отношений, по содержанию своему, конечно, не может быть отождествлен с эпохой 60-х годов XIX столетия. Но в мировоззре-

нии передовых русских мыслителей и писателей конца XVIII — начала XIX века уже нашли свое первоначальное выражение характерные черты русского просветительства — вражда к крепостному праву и всем его порождениям, горячая защита интересов народных масс и искреннее желание содействовать их борьбе за свободу, пропаганда просвещения и философского материализма, разоблачение всяческой религиозной схоластики и суеверия.

На передовой русской общественной мысли и литературе рассматриваемого нами периода лежала печать глубокой национальной самобытности. Прогрессивные мыслители и писатели в своих идейных исканиях исходили из переживания реальных противоречий окружающей их действительности, из своих наблюдений над жизнью русского народа, из понимания происходивших в России экономических и социальных сдвигов и осознания задач ее исторического развития. На пути этого развития главным препятствием служило крепостничество. Ликвидация крепостного права или хотя бы, на худой конец, ослабление его и тем самым радикальные перемены во всех его государственных, правовых и политических установлениях — вот в чем состояла главная задача, возникшая перед прогрессивными силами русского общества.

Это решающее обстоятельство предопределило особый характер русского просветительства. В самодержавно-крепостнической России, в силу особенностей ее общественно-исторического бытия, идеи всевропейского Просвещения приобретали революционный накал. Русские просветители были наиболее последовательны и решительны в своей критике феодально-абсолютистского строя. Они зачастую выдвигали более смелые требования экономических и политических преобразований, нежели идеологи французской революционной буржуазии XVIII века. Особенно тяжелые условия русской действительности — невыносимый крепостнический гнет и безграничный произвол самодержавия, с одной стороны, и происходившая в стране стихийная освободительная борьба крепостного крестьянства, с другой, подсказывали русским просве-

тителям наиболее радикальное решение социально-политической проблемы. Они приходили к выводу, что прокламированное передовыми умами Запада достижение «общего блага», утверждение прав человеческой личности на свободную и счастливую жизнь немислимы без уничтожения рабства и самовластия.

Тем самым русские радикальные просветители уже вплотную подошли к постановке самого важного, самого жизненного вопроса — о насущных интересах и судьбах закрепощенного народа. Правда, общественно-исторические условия эпохи ставили определенные границы их решению данного вопроса: сознанию большинства просветителей была еще недоступна идея самостоятельной силы самого народа, возникшая в России позже, в обстановке мощного подъема все-народного национального самосознания, — подъема, связанного с эпическими событиями Отечественной войны 1812 года.

Все сказанное ближайшим образом характеризует общественную позицию и литературную деятельность поэтов-радищевцев в конце 1790-х и в 1800-е годы. Группа их была еще малочисленна и маловлиятельна. Тем не менее именно их деятельность, внешне казавшаяся не слишком заметной, ознаменовала целый этап развития русской передовой общественной мысли и литературы в десятилетие, предшествовавшее Отечественной войне, которая вызвала к жизни новые и гораздо более мощные общественные силы.

Историческое значение поэтов-радищевцев определяется тем бесспорным и важным обстоятельством, что, представляя в своем лице прогрессивное, радикально-демократическое направление в русской литературе своего времени, они, наряду с другими деятелями русского Просвещения начала XIX века, явились соединительным звеном между Радищевым и декабристами, которые называли себя «детьми 1812 года». А собственно литературная практика некоторых, наиболее талантливых поэтов данного круга сыграла существенную роль в формировании того литературного процесса, в границах которого сложилась декаб-

ристская литература и который в конечном счете подготовил появление Пушкина.

Об идейной близости наиболее активных участников этой группы к Радищеву свидетельствуют как самый дух и направление их общественно-литературной деятельности, так и выраженное ими чувство глубокого уважения к автору «Путешествия из Петербурга в Москву». Иные из них лично знали Радищева. С уверенностью можно сказать это об И. П. Пнине, с достаточными основаниями — об И. М. Борне и В. В. Попугаеве, но не исключено, что и некоторые другие члены кружка тоже были как-то связаны с Радищевым (И. М. Борн, обращаясь к сотоварищам, говорил о нем: «Муж, вам всем известный. . .»).

Гражданский подвиг Радищева произвел сильнейшее впечатление на людей этого круга и сыграл, может быть, решающую роль в осознании ими своего общественного и писательского призвания.

Первым из них проявил себя в литературе Иван Пнин (1773—1805). В 1798 году, в самый разгар павловской реакции, он смело выступил с пропагандой просветительских и материалистических идей на страницах «Санктпетербургского журнала», издававшегося им сообща с А. Ф. Бестужевым (отцом декабристов). В 1801 году, когда Радищев вернулся из ссылки в Петербург, у него в доме образовалось нечто вроде кружка молодых людей, которые «слушали его с восторгом» и считали своим учителем.¹ Среди них самой заметной фигурой был Иван Пнин.

В июле 1801 года по инициативе И. М. Борна и В. В. Попугаева было образовано Дружеское общество любителей изящного (вскоре переименованное в Вольное общество любителей словесности, наук и художеств), в котором руководящая роль на первых порах (до 1807 года) принадлежала радищевцам. В общество вступил И. П. Пнин; в дальнейшем он стал

¹ См. воспоминания сына Радищева — Павла Александровича (В. Семенников. Радищев. П., 1923, стр. 239; «Русский вестник», 1858, т. 18, стр. 426—427).

его президентом. В состав общества входили и сыновья Радищева — Николай и Василий.

Наконец, сразу же после смерти Радищева Пнин и Борн во всеуслышание заявили о своем сочувствии его личности и делу. Кроме них, никто в России не осмелился откликнуться на трагическую гибель писателя-революционера, загубленного самодержавием. Смерть Радищева служила не только напоминанием о страшных временах Шешковского («домашнего палача кроткой Екатерины», по определению Пушкина), но и предупреждением на будущее. Люди не решались даже произнести имя Радищева из опасения, как бы их не заподозрили в единомыслии с «бунтовщиком хуже Пугачева», как назвала Радищева Екатерина. Тем более следует по достоинству оценить отклик на смерть Радищева, раздавшийся из среды близких ему людей и прозвучавший как вызов не только государственной власти, но и обществу, охваченному страхом и раболепием.

В стихотворении Ивана Пнина на смерть Радищева ярко запечатлен мужественный образ писателя — гражданина и патриота, бесстрашного глашатая правды, который показал людям «путь свободы» и пожертвовал собою для «общего блага»:

Итак, Радищева не стало!
Мой друг, уже во гробе он!
То сердце, что добром дышало,
Постиг ничтожества закон;
Уста, что истину вещали,
Увы! навеки замолчали,
И пламенный ума погас;
Сей друг людей, сей друг природы,
Кто к счастью вел путем свободы,
Навек, навек оставил нас!

Оставил и прешел к покою.
Благословим его мы прах!
Кто столько жертвовал собою
Не для своих, но общих благ,
Кто был отечеству сын верный,
Был гражданин, отец примерный
И смело правду говорил,
Кто ни пред кем не изгибался,
До гроба лестию гнушался, —
Я чаю, тот — довольно жил.

Стихотворение Пнина в свое время не увидело света,¹ но можно предположить, что оно получило некоторое распространение в рукописи. Зато некролог, написанный Иваном Борном (в стихах и в прозе), появился в печати (в 1803 году) и сыграл роль своего рода общественной манифестации в честь и память Радищева. Некролог прочитали многие, — и, конечно, он должен был послужить предметом оживленного обсуждения.

И содержание, и весь тон некролога, и самая форма его опубликования — в высшей степени знаменательны. Он был напечатан в альманахе Вольного общества «Свиток муз» под заглавием «На смерть Радищева» и с подзаголовком «К Обществу любителей изящного». По форме некролог представляет собой ораторскую речь, обращенную к «любезным друзьям». Тем самым это произведение следует рассматривать не как единоличный отклик И. М. Борна на смерть Радищева, но как программный документ, как декларацию всего кружка радищевцев.

Политический смысл некролога обнажен с предельной ясностью, какая только была доступна в цензурной печати (две строки из стихотворной части некролога все же были выпущены). Это — открытая апология Радищева как «истинно великого человека», павшего жертвой деспотизма. Как и Пнин, Борн рисует впечатляющий образ патриота и свободолюбца с «пламенной душой», но еще более резко оттеняет его несчастливую судьбу. Великий человек претерпел гонения и ссылку, пострадал за правду и добродетель — и все это закономерно, ибо в деспотическом государстве «участь правды быть гонимой».

Обращаясь к «любезным друзьям», Борн говорил: «Память добродетельного мужа пребудет... священ-

¹ Было напечатано лишь в 1858 году, в составе воспоминаний П. А. Радищева. Полностью (с восстановлением 8-го стиха) опубликовано в 1952 году, под заглавием «Послание к Брежинскому» (сб. «Радищев в русской критике». М., 1952, стр. 25). А. П. Брежинский — офицер и мелкий стихотворец, один из «молодых людей», группировавшихся вокруг А. Н. Радищева в последние годы его жизни.

ною у позднейшего потомства». Он противопоставил Радищева «грозным бичам человечества» — «кровожажущим завоевателям, опустошавшим страны цветущие и оковавшим в цепи рабства вольных граждан». О судьбе Радищева в некрологии сказано без всяких обиняков: «Он любил истину и добродетель. Пламенное его человеколюбие жаждало озарить всех своих собратий сим немерцающим лучом вечности; жаждало видеть мудрость, воссевшую на троне всемирном. Он зрел лишь слабость и невежество; обман под личиною святости — и сошел во гроб. Он родился быть просветителем, жил в утеснении — и сошел во гроб; в сердцах благодарных патриотов да сооружится ему памятник, достойный его!»

Здесь особенно знаменательно, как толкует Борн самоубийство Радищева. Он прямо связывает добровольную смерть «истинно великого человека» с «утеснением», в котором тот жил: «Или познал он ничтожность жизни человеческой? или отчаялся он, как Брут, в самой добродетели? — Положим перст на уста наши и пожалеем об участи человечества». Легко предположить, что в истолковании самовольной гибели Радищева как следствия деспотического «утеснения» Борн исходил из того, что сказал на эту тему сам Радищев в «Путешествии»: «Если ненавистное счастье истощит над тобою все стрелы свои, если добродетели твоей убежища на земле не останется, если доведенну до крайности не будет тебе покрова от угнетения, тогда вспомни, что ты человек, вспомни величество твое, восхити венец блаженства, его же отъяти у тебя тщатся. — Умри».

Вообще весь некролог, написанный Борном, выдержан в характерном радищевском тоне и стиле. Подчеркнутые в образе Радищева черты гражданской стойкости, «твердости философа», бескомпромиссной верности «правде» и «добродетели» — полностью отвечают тому представлению о нравственном достоинстве человека-гражданина, которое выдвигал и обосновывал Радищев. Достаточно сослаться в этой связи на поучение, которое он вложил в уста одного из персонажей «Путешествия», «крестецкого дворянина»,

считающего «исполнение добродетели» — «вершиной деяний человеческих». Человек должен быть «неколебим» в своей верности правде и добродетели; ни осмеяния, ни мучения, ни заточение, ни сама смерть — ничто не должно страшить добродетельного человека: «Пребудь незыблем в душе твоей, яко камень среди бунтующих, но немощных валов. Ярость мучителей твоих раздробится о твердь твою; и если предадут тебя смерти, осмеяны будут, а ты поживешь на памяти благородных душ до скончания веков».

У Борна во вступительной части некрологии представление об активной и стоической добродетели как залоге истинной человечности выражено следующим образом:

Блажен, кто в жизни сей превратной
С душою твердою спешит
Обнять друзей неместных. Знатный
Чертог сатрапский не манит
Того, кто жизни цену знает
И в цвете юных, лучших лет
Стопы свои не совращает
Искать больших, мирских сует;
Кто в пламенной душе объемлет
Весь мир и роды всех людей,
Кто добродетель лишь приемлет
Отличием земных властей;
Кто, силы не страшась ложной,
Дерзает истину вещать,
Тревожить спящий дух вельможный,
Их черство сердце раздирать!
Но участь правды быть гонимой, —
Мне скажут многие из вас,
Сынов мечты блестящей, мнимой,
Минутной славы! И у нас
Имеет правда, добродетель
Своих страдальцев: там Сократ,
Мудрец и смертных благодетель,
Казнен; а в ссылке там стократ
Пьют патриоты смерти чашу:
На что же добродетель нам?
Влача в золотых цепях жизнь вашу,
Прилична речь сия рабам! ¹

¹ Две последние строки были вычеркнуты цензором; они восстановлены мною по архивным источникам. В этом двустишии — очевидная перекличка с радищевской одой «Вольность»:

Под игом власти, сей, рожденный,
Нося оковы позлащенные...

И далее Борн, как убежденный просветитель, с презрением опровергает «рабскую речь» о тщетности добродетельных усилий, либо «истина пребудет вечно всех добрых смертных божеством», ибо она «неугасима, подобно солнцу», служит единственно верным залогом нравственного усовершенствования человека.

Известны еще и другие факты, свидетельствующие о стремлении радищевцев пропагандировать идеи Радищева и упрочить память о нем.

Безусловно по инициативе писателей из круга Вольного общества любителей словесности, наук и художеств в 1805 году в журнале «Северный вестник» (часть 5-я), в издании которого они принимали ближайшее участие, была перепечатана одна из важнейших глав «Путешествия из Петербурга в Москву» — именно глава «Клин». При этом не только не было названо имя автора, но глава была напечатана с измененным заглавием («Отрывок из бумаг одного россиянина») и с пропуском слов «Клин» и «клинский». Перепечатка из «Путешествия» могла преследовать одну только цель — напомнить осведомленному читателю о Радищеве и о его запрещенной книге.

Наконец, нужно полагать, что не без участия других радищевцев из Вольного общества сыновья Радищева в 1806 году предприняли издание «Собрания оставшихся сочинений покойного Александра Николаевича Радищева» (в состав которого крамольное «Путешествие» не вошло).

2

Учредители и участники Вольного общества в подавляющем большинстве были людьми демократического происхождения, типичными разночинцами, выходцами из среды мелкого чиновничества, духовенства, купечества, в отдельных случаях — даже из крестьянской среды. Если и были среди них дворяне, то либо «незаконнорожденные», как Пнин (побочный сын большого вельможи — князя Н. В. Репнина, оставившего ему в наследство лишь частицу своей громкой фамилии) и Востоков (отпрыск знатной остзей-

ской фамилии Остен-Сакенов), либо совершенно за-худалые.

Все они жили трудами рук своих, тянули ляжку службы в разных департаментах либо занимались педагогической и ученой деятельностью. Характерной особенностью кружка является то обстоятельство, что, наряду с мелкими чиновниками, в нем участвовало много интеллигентов-практиков — учителя, химики, астрономы, специалисты по горному делу, врачи, архитекторы, художники. В условиях общественного и культурного быта 1800-х годов этот кружок был единственным в своем роде объединением людей разночинно-демократического происхождения и интеллигентного труда.

По самому своему составу Вольное общество было явлением принципиально новым в русской культурной жизни начала XIX века, в которой главная и руководящая роль всецело принадлежала дворянам. Материально необеспеченные, не занимавшие сколько-нибудь прочного общественного положения, молодые разночинцы 1800-х годов, естественно, держались особняком, и если соприкасались с дворянской средой, то лишь по обстоятельствам службы и деловым поводам. В равной мере не смыкались они и с дворянскими литературными кругами.

Эти молодые люди, вышедшие из социальных низов и с трудом преодолевавшие сопротивление общественных условий, среды, обстоятельств, как правило, проявляли неприязненное, резко критическое отношение к социальному укладу и политическому строю феодально-абсолютистского государства и к господствующей элитарно-дворянской культуре. Реакционная политика самодержавия, с особенной силой проявившаяся в последние годы XVIII века, способствовала упрочению свободолюбивых настроений молодых разночинцев.

Об этих настроениях с полной ясностью говорит «Ода достойным», которую откликнулся на убийство Павла I самый крупный поэт Вольного общества — Александр Востоков, учившийся в Академии художеств, где им был создан кружок, в котором обсуж-

дались не только литературные, но и политические вопросы («Читаем Вольтера... Негодую на Павла I», — записал Востоков в дневнике 1799 года). «Ода достойным» — это программное политическое стихотворение, замечательное своим тираноборческим пафосом, насыщенное «вольной» лексикой, бывшей при Павле I под запретом («граждане», «отечество», «общее благо» и т. п.), — и недаром несколько позже, когда члены Вольного общества выпустили в свет свой первый альманах («Свиток муз»), он открывался этой одой. Пером Востокова радищевцы ясно и недвусмысленно заявили о своем отношении к совершившемуся событию и определили свою позицию в условиях нового царствования. Политический смысл оды обнажен с полной отчетливостью. После восхваления «истины» в духе просветительских идей Востоков в энергичных строфах оправдал и восхвалял цареубийц:

Дщерь всевышнего, чистая Истина!
Ты, которая страстью не связана,
Будь днесь музой поэту нельстивому
И Достойным хвалу воспой!

Дети счастья, саном украшенны!
Если вы под сияющей внешностью
Сокрываете слабую, низкую
Душу, — свой отвратите слух.

К лаврам чистым и вечно невянущим
Я готовя чело горделивое,
Только Истину чту поклонением;
А пред вами ль мне падать ниц?

Нет, — кто, видеv, как страдает отечество,
Жаркой в сердце не чувствовал ревности
И в виновном остался бездействию, —
Тот не стоит моих похвал.

Но кто жертвует жизнью, именем,
Чтоб избавить сограждан от бедствия
И доставить им участь счастливую, —
Пой, святая, тому свой гимн!

Также и Иван Борн в «Оде Калистрата», посвященной В. В. Попугаеву и, бесспорно, представляющей собою такой же отклик на устранение Павла I,

воскрешает героические образы афинских юношей Гармония и Аристокитона, заколовших тирана Гиппарха, и воздаёт им славу как самоотверженным борцам за народную свободу:

Венчаю меч мой миртовыми ветвми,
Равно как Гармодий и Аристокейтон,
Когда сражен ими был тиран, когда
Вольность и правосудие восстали.

О, даровавшие вольность! вам смерть
Смертью не была: на островке блаженных,
Герои, вы! где богини сын Ахилл,
Там, где храбрый сын Тидея — Диомед! . .

Вечно пребудет на земле слава
Гармония и Аристокейтона!
Тиран пал от руки вашей! Вольность
Дана вами Афинам и правосудие!

Стихи Востокова и Борна говорят как о горячем свободолобии радищевцев, так и об ограниченности их политической мысли сравнительно с революционным сознанием самого Радищева. Приветствуя устранение царя-тирана, радищевцы тем не менее возлагали известные надежды на «благоразумие», «честные правила», «милосердие» и «правосудие» его преемника, в то время как Радищев уже догадывался о необоснованности подобных надежд. В «Песне исторической», говоря о гибели «тирана люта» Тиберия (также в порядке отклика на убийство Павла I), Радищев утверждал, что и казнь тирана ничего не переменит в судьбе народной, если остается в силе самый принцип самовластия:

Ах, сия ли участь смертных,
Что и казнь тирана люта
Не спасает их от бедствий;
Коль мучительство нагнуло
Во ярем высоко выю,
То что нуды, кто им правит;
Вождь падет, лицо сменится,
Но ярем, ярем пребудет.
И как будто бы в насмешку
Роду смертных, тиран новый
Будет благ и будет кроток;
Но надолго ль — на мгновенье. . .

Стихи о «тиране новом», который придет на смену устранившему деспоту, явно метили в Александра I, вселяли неверие в его лживую, демагогическую «кротость», которая лишь маскировала подлинную антинародную сущность самодержавия.

Молодые свободолюбцы из Вольного общества не сделали таких прямых и далеко идущих выводов. Либеральная репутация и щедрые посулы нового царя, несомненно, произвели на них известное впечатление, внушили им надежды на серьезные социально-политические перемены во имя «нерушимого блаженства» русского народа (о чем объявил Александр I в своем манифесте). Первые мероприятия Александра создавали почву для подобного рода надежд: один за другим появлялись царские указы, из которых можно было сделать вывод, что правительство взяло в политике либеральный курс. В частности, правительство объявило ко всеобщему сведению, что озабочено «желанием доставить все возможные способы к распространению полезных наук и художеств». Таким образом, сама власть как бы подсказывала молодым людям, мечтавшим об «общем благе», путь и формы их деятельности. Учредив свое Общество, они и поставили себе целью «способствовать по силам своим» развитию «наук и художеств».

Устремление этих молодых людей к «истине», «просвещению» и «добродетели» носило широкий, можно сказать всеобъемлющий характер. Они были озабочены решением вопросов целостного мировоззрения, по-новому оценивали опыт истории, настойчиво пытались разрешить глубоко волновавшие их проблемы, выдвинутые современностью, думали о будущем. Они были полны напряженного интереса к жизни и к судьбам человечества, и прежде всего — родного народа.

Политические события эпохи французской буржуазной революции внушили им надежду на близкое разрешение социальных противоречий. «Друзья! Мы прожили великие годы, — так обращался к своим товарищам по Вольному обществу Иван Борн, — мы в краткое время бытия нашего видели более, нежели

что производили многие веки, поглощенные в бездне минувшего. Мы видели ложное величие поправным, права неизменные и вечные опять восстановленными; мы познали, что истина и добродетель превыше всего! Зло превратилось в обильный источник благ! Мрак рассеялся, и ум разорвал оковы, в кои невежество со всеми гнусными его исчадиями заключили человечество. Но сии великие перемены были только частны. . . Семена посеяны — зреют — созрели, и жатва начинается».¹

Эта красноречивая декларация отчетливо характеризует просветительский характер идейных устремлений радищевцев.

Глубоко переживая тяжелые условия окружающей их действительности, на собственном опыте познавая невыносимый гнет самодержавно-крепостнического государства, они чутко откликались на лозунги буржуазной революции, поправшей «ложное величие» старого мира и провозгласившей незыблемые права человека. Их воодушевляла утешительная вера в окончательную победу разума и добродетели над невежеством и пороком. Они склонялись к убеждению, что перед человечеством в самом деле открываются широчайшие перспективы духовного развития и общественной практики.

Социальные проблемы они, как правило, истолковывали в идеалистическом духе, полагая, как учили просветители XVIII века, что «миром правят мнения» и что усовершенствование общественных отношений зависит прежде всего от успехов разума и обретения «истины». В их сознании возникал образ иной — лучшей, справедливой, счастливой, гармоничной — жизни в будущем веке, когда «твердые законы», основанные на «разуме», обеспечат неотъемлемые, утвержденные природой права человека.

Иван Пнин, например, доказывал в книге «Опыт о просвещении относительно к России» (1804), что «основание народного блаженства» должно утвер-

¹ «Периодическое издание Вольного общества любителей словесности, наук и художеств», ч. 1. СПб., 1804, стр. 99—100.

даться на «законах, из природы извлеченных», и что «законы общественные тогда лишь могут назваться справедливыми, когда они согласны с законами природы». А. Х. Востоков в «Речи о просвещении человеческого рода», прочитанной в Вольном обществе в 1802 году, и в замечаниях на трактат В. В. Попугаева «О благоденствии народных обществ», говоря о том, что экономическое неравенство «рождает деспотизм и рабство», и соглашаясь, что «уврачевание сих зол зависит от уравнивания имуществ и распространения в людях благонравия», полагал тем не менее, что «сии не от чего иного могут проистечь, как от просвещения», и приходил к выводу, что, «следственно, просвещение родит спокойствие и обеспечение».¹

Таким образом, радищевцами в значительной мере еще владели просветительские иллюзии, уже преодоленные самим Радищевым. Они все еще склонны были возлагать преувеличенные надежды на «мирное» обновление жизни и установление гражданской свободы для всех классов общества путем усовершенствования законодательства и политических учреждений. Никто из них не сделал тех окончательных выводов, которые сделал Радищев; никто из них не осознал с такой же глубиной и последовательностью неразрывную связь освободительной мысли с революционным действием. Они не стали политическими борцами, не пошли на открытую схватку с «чудищем» самодержавия, против которого с такой замечательной отвагой выступил Радищев.

И все же следует признать, что наиболее радикальные из радищевцев, хотя и не смогли достичь тех высот революционного и материалистического мышления, до которых поднялся Радищев, испытали глубокое воздействие его идей, и именно это воздействие обусловило наиболее сильные стороны их идеологии. Они унаследовали от Радищева отчетливо выраженный демократизм. И для них вопрос о положении и судьбе угнетенного рабством народа, вопреки их про-

¹ «Журнал министерства народного просвещения», 1890, март, стр. 72—74 и 86.

светительским иллюзиям, был самым главным, самым волнующим вопросом. Поэтому развернутая ими (в доступных им пределах) критика социальных устоев, политических учреждений, государственно-правовых форм, сословно-классовых привилегий, морали и культуры феодально-крепостнического строя, борьба их за свободу человеческой личности и за гражданские права человека — не только носили безусловно радикальный характер, но и приобретали в отдельных случаях революционный оттенок.

Время, когда формировались воззрения радищевцев, ознаменовалось массовыми стихийными выступлениями крепостного крестьянства против тирании помещиков и царских чиновников. После подавления крестьянской войны, происходившей под руководством Пугачева, народные волнения в России несколько затихают, но в самом конце XVIII столетия вспыхивают с новой силой. Эти вспышки народного гнева и кровавые расправы над повстанцами, конечно, не могли не произвести сильного впечатления на молодых демократов, искренне желавших свободы и счастья своему народу. И хотя они не призывали открыто к народной, крестьянской революции, как сделал это Радищев, в мировоззрении наиболее решительных и последовательных представителей этого круга нашла пусть ослабленное, но знаменательное отражение освободительная борьба крепостного крестьянства.

Протестуя против сословно-классовых привилегий, против духа дворянской кастовости, радищевцы настойчиво обосновывали права низшего социального слоя на активное участие в жизни нации и в деле построения национальной культуры. Не осознав еще, вследствие просветительской ограниченности своих воззрений, решающей роли народа как творца истории и главной движущей силы общественного развития, не имея опоры в народных массах, эти разночинцы 1800-х годов тем не менее по самому своему социальному положению гораздо теснее сближались с народом и имели возможность ближе наблюдать его жизнь, нежели чуждавшиеся народа даже передовые представители дворянской среды.

Относительная близость радищевцев к народным массам наложила отпечаток на их суждения, связанные с защитой гражданских прав «низших классов» русского общества. С этой точки зрения большого внимания заслуживают высказывания поэта Семена Боброва, входившего в Вольное общество любителей словесности, наук и художеств. В статье «Патриоты и герои, везде и во всем»¹ он доказывал, что «великие люди» — «истинные любители Отечества и ревнители пользы общей» — были и есть «не только в дворянском, но и в купеческом и даже в других состояниях», что «дух героизма и патриотизма» является достоянием не только дворянства, но и «низших классов». Больше того: решительно отрицая «исключительное право» дворянской элиты на «геройские и патриотические деяния», Бобров резко критикует дворян за мнимый, показной патриотизм. «Истинный образ русского патриота» он видит в Козьме Минине, которого именуется «русским плебеем» и ставит выше князя Пожарского: Минин был «первою действующею силою, первой побудительною причиною и гением-хранителем, а Пожарский по всему был только орудием его гения». В конце концов Бобров достаточно внятно намекал на то, что именно плебей Минин спасал Россию, когда дворянство в целом изменило своему патриотическому долгу. Этим намеком Бобров как бы иллюстрировал центральное положение своей статьи: «Природа... невзирая на родословия, воспламеняет кровь к благородным подвигам как в простом поселянине или пастухе, так и в первостепенном в царстве».

Можно добавить в этой связи, что именно в кругу радищевцев, по инициативе В. В. Попугаева, впервые возникла (в 1803 году) мысль о сооружении на средства, собранные по всенародной подписке, памятника Минину и Пожарскому, реализованная только пятнадцать лет спустя. Идея знаменитого монумента, установленного на Красной площади в Москве и выполненного скульптором И. П. Мартосом (также причастным к Вольному обществу и приступившим к проек-

¹ «Лицей», 1806, ч. 2, кн. 3, стр. 22—51.

тированию памятника еще в 1804 году, может быть в порядке отклика на призыв Попугаева), вполне отвечает тому представлению о руководящей роли Минина и пассивном сотрудничестве Пожарского, которое демонстративно обосновал в своей статье Семен Бобров.

Боевой, наступательный, «плебейский» дух, выразившийся в защите гражданских прав и в утверждении морального достоинства «низших классов», включая и крестьянство, проникает идеологию наиболее радикальных радищевцев.

Так, Иван Пнин в своем «Опыте о просвещении относительно к России», подвергшемся цензурным гонениям, пришел к отчетливому реалистическому пониманию того решающего обстоятельства, что между «правами гражданина», в защиту которых он выступил в своей книге, и русской крепостнической действительностью лежит пропасть. С большой критической силой он доказывал, что крепостничество, лишаящее русского крестьянина элементарных человеческих прав, находится в вопиющем противоречии с представлением о нормальном общественно-политическом укладе. И в своей книге, вопреки еще владевшим им просветительским иллюзиям, он выдвинул радикальное требование освободить крестьян от крепостной зависимости и обеспечить их собственность. Не скупясь на выражения, Пнин обличал «беспредельную власть» помещиков над жизнью, трудом и достоянием крестьян — этого «полезнейшего сословия граждан, от которых зависит могущество и богатство государства». В рукописном добавлении к первоначальному тексту «Опыта» (для не пропущенного цензурой второго издания) Пнин с особенной энергией говорил в защиту крепостных рабов, которые «находятся в самом бедственном состоянии, в отчаянии влачат дни и проклинают жизнь свою и своих господ». Пугая дворян и правительство призраком нового Пугачева, Пнин писал, что «будущее, истекая из настоящего положения вещей, знаменует черную тучу, страшную бурю в себе заключающую».

Из числа радищевцев наиболее приблизился к ре-

волюционной позиции самого Радищева пылкий свободолобец и убежденный демократ, сын «живописца» при петербургской шпалерной мануфактуре, вышедшего, вероятнее всего, из крепостного состояния, Василий Попугаев (1778 или 1779—1816). Его очерк «Негр» (1801) проникнут духом гневного и страстного протеста против тирании. В первой публикации (1804) очерк был снабжен защитным подзаголовком: «Перевод с испанского». На самом деле это оригинальное произведение Попугаева, где «негритянский» сюжет служит прозрачным покровом, из-под которого сквозит конкретная и острейшая тема русской жизни. Такого рода маскирующие подзаголовки, имевшие целью обмануть бдительность цензуры, были в ходу в русской литературе в конце XVIII — начале XIX века.

Тема рабства, невольничества, географически прикрепленная к разного рода колониальным странам, получила в то время довольно широкое распространение как иносказательная форма обличения отечественного крепостнического строя. В этом плане писали, например, об индейцах, поработанных испанцами. В известном стихотворении близко стоявшего к Вольному обществу Н. И. Гнедича «Перуанец к испанцу» (1805), — одном из самых полноценных произведений русской политической поэзии того времени, — за гневными филиппиками против тирании испанцев без труда угадывалось обличение русского крепостничества. Писали и о неграх. Пнин в рукописном добавлении к «Опыту о просвещении» сравнивал кабалу русских крестьян с положением негров-невольников. Широкой известностью у русского читателя, и в частности среди членов Вольного общества, пользовалась драма А. Коцебу «Негры-невольники». В 1804 году в сборнике стихотворений члена Вольного общества, уже упомянутого Семена Боброва «Рассвет полночи» появилось интересное стихотворение «Против сахара», в котором поэт поднимал голос в защиту черных невольников, обреченных на каторжный труд на сахарных плантациях в Соединенных Штатах Северной Америки. Здесь содержится обращение к сахару,

который назван одновременно и «любезным лакомством Венеры» и «желчью негров»:

За сладостью твоей небесной
Зловонье адско вслед летит;
Что́ я скажу, о не́ктар лестный!
В тебе сокрытый яд лежит.

То мало, коль за подлу цену
Невольник черный был продан,
Отводится к позорну плену
От африканских милых стран...

Идет под тяжкими бичами
Над тростником свой век кончать,
Труд мочит кровью и слезами,
Чтоб вкус Европы щекотать...

Не лучше ль не́ктар надлежало
Искать нам в свекле иль в пчелах?
Пчела в защиту носит жало,
А беззащитный негр — в цепях.

Примеры можно было бы умножить. Добавим лишь, что о неграх писал и Радищев в своем «Путешествии» (глава «Хотилов»), где содержится гневная критика порядков, установившихся в Соединенных Штатах Америки и в британских колониях («обычай варварский в продаже черных невольников», «зверский обычай поработать себе подобного человека», «хладнокровное убийство поработнения приобретением невольников куплею» и т. п.). В заключение Радищев, обращаясь к соотечественникам, допустил явный намек на рабство крестьян в России: «Вострепещите, о возлюбленные мои, да не скажут о вас: «Премени имя, повесть о тебе вещает».

В своем очерке «Негр» В. Попугаев безусловно отталкивался от этих страниц радищевского «Путешествия». Очерк его — одно из самых смелых и сильных обличений рабства в русской подцензурной печати начала XIX века. Попугаев всячески оттеняет храбрость, благородство и великодушие негров. В основе очерка лежит патетический монолог невольника Амру, полный злободневного для своего времени смысла: «А вы, о варвары! страшитесь гнева небес за ко-

варное сердце ваше, — так обращается негр к рабовладельцам, — вы погибнете без всякой пощады... вы дадите отчет за отъятие воли нашей! Кто дал вам на сие право? Кто позволил вам делать невольниками собратий ваших? Негр не может принадлежать белому ни по каким правам. Воля не есть продажною; цена золота всего света не в силах оной заплатить, и никакой тиран ею располагать не должен».

Широко развернул Попугаев свои общественно-политические взгляды в обширном трактате «О благоденствии народных обществ». ¹ Здесь нашли отчетливое выражение его республиканские симпатии. В качестве первого условия идеального государственного устройства Попугаев имел в виду всеобщее гражданское равноправие. Вслед за Радищевым он развивал взгляд на гражданское назначение человека, морально обязанного искать пути к «улучшению своего состояния», — потому что достижение «общей пользы» зависит исключительно от собственной его (человека) инициативы и активности.

В такой постановке вопроса о назначении человека и смысле его деятельности бесспорно сказалось влияние исторической действительности. Убеждение Попугаева в том, что человек, «побуждаемый несчастьями», должен сам искать «средств улучшения своего состояния», приобретало глубокий и конкретный смысл в свете опыта пугачевского восстания и других открытых выступлений угнетенных народных масс.

Горячо сочувствуя поработанному народу, Попугаев выступил в защиту его интересов, ясно высказался за ликвидацию крепостного права с наделением крестьян земельной собственностью. Для того времени подобное требование было наиболее радикальным и решительным. Обличая русские феодально-крепостнические порядки, Попугаев поднялся до понимания

¹ Первая часть трактата была издана анонимно в 1807 году; рукописный текст до сих пор не обнародован. Недавно было обнаружено и опубликовано (в 1959 году) сочинение Попугаева «О рабстве и его начале и следствиях в России», написанное, очевидно, в 1815 году.

закономерности народного мщения тиранам, а это вело к признанию за угнетенными нравственного права на мщение.

Залогом и основой свободного существования народа Попугаев считал пробуждение народного самосознания. Крестьянин для него — «полезнейший член общества, угнетенный рабством», и он видел главную цель просвещения и общественного воспитания в том, чтобы пробудить в крестьянине чувство человеческого достоинства и гражданской чести. Попугаев прямо писал, что «политическое просвещение», сделавшись достоянием раба, научит его «чувствовать, что он есть полезнейший член общества, и, следовательно, вселя в него дух гордости, извлечет его из утеснения».

В решении этого важнейшего вопроса Попугаев непосредственно приблизился к Радищеву. Сама идея «духа гордости», который должен извлечь крестьянина «из утеснения» (иными словами — идея самосознания), отсылает к Радищеву. Именно он в «Путешествии» широко и принципиально поставил вопрос о самосознании народа — создав гениальный образ «обагренного кровию бурлака», этот обобщенный образ всего угнетенного русского народа, охваченного «скорбью душевной», но полного могучих духовных сил и призванного сыграть великую роль в истории.

Такие люди, как Пнин, Попугаев и некоторые другие их сотоварищи, жили насущными интересами своей страны. Как и все передовые русские люди, они тяжело переживали экономическую и культурную отсталость самодержавно-крепостнической России от более развитых стран Запада и указывали на необходимость учесть поучительный опыт их развития. Но при этом они настаивали на нерушимости самобытных, исторически сложившихся основ русской национальной культуры. Воодушевлявшее их горячее патриотическое чувство исключало раболепное преклонение перед культурой европейского Запада, — и в этом смысле они явились предвестниками декабристов, Грибоедова, Пушкина.

Общественно-литературная деятельность радищевцев была проникнута духом страстного протеста про-

тив космополитизма, укоренившегося в быту и в культурном обиходе верхов дворянского общества. Так, например, Иван Пнин в «Опыте о просвещении» доказывал, что главная цель воспитания и просвещения состоит в том, чтобы «приготовить для России россиян, а не иностранцев, дабы приготовить полезных сынов отечеству, а не таких людей, которые бы гнушались тем, что есть отечественное, и презирали бы свой собственный язык». С гневом и возмущением говорил Пнин о тех, кто раболепствует перед чужим, оставаясь позорно равнодушным к своему, отечественному: «Нет, такие люди недостойны называться россиянами, недостойны украшаться славой, с сим именем сопряженною. Сердце россиянина должно исполнено быть благородной гордости. Россиянин должен чувствовать превосходство свое перед всеми гражданами чуждых стран». Известно, что в последний год своей короткой жизни Пнин трудился над сочинением «О возбуждении патриотизма» и готовился к изданию нового журнала под знаменательным названием: «Народный вестник».

В меру своих сил и возможностей радищевцы хотели и старались содействовать общественному и культурному прогрессу России. Благодушно утверждая (в противоречии с собственными же своими размышлениями, связанными с судьбой Радищева), что Россия уже «озарилась сиянием истины», Иван Борн выражал твердую уверенность в том, что приближается время торжества национальной русской культуры: «Она (Россия) произвела и будет производить мужей великих. Ниспустишь, златое время, на величайшее из царств земных, и да ускорится тем всеобщее просвещение вселенной».

Патриотизм радищевцев был не только чувством, но и убеждением, побудительной силой к общепользующей и активной гражданской деятельности. Свой гражданственно-патриотический долг они видели в «рачительности» на пользу «своему государству» (Пнин). Они разоблачали «мнимых радетелей» об «общем благе» — любителей «пустых и пышных выражений» — и превыше всего ставили *дело*: «Больше

делать и меньше говорить — есть золотое правило» (Борн).

Тема «деятельности» во имя «всеобщего блага» была выдвинута на первый план и резко подчеркнута во всех программных выступлениях радищевцев. Иван Борн, рассуждая об «уврачевании неисчетных зол человечества», говорил, обращаясь к товарищам: «Вот поле, любезные друзья и сотрудники! поле обширное для ваших способностей и вашей ревности ко благу отечества, ко благу всех людей». Напоминая, что, «неутомимо действуя, человек творит чудеса», Борн призывал членов кружка «жить в благороднейшем смысле сего слова», чтобы впоследствии «узреть вокруг себя блестящие ряды дел своих, плоды деятельной и с пользой проведенной жизни» (Речь, произнесенная в первую годовщину существования кружка, 15 июля 1802 года).

«Жить в благороднейшем смысле сего слова» для Борна, Пóпугаева и их друзей значило практически и активно действовать в «пользу людей». Свой нравственный и гражданский долг они понимали как бескорыстное и самоотверженное *служение* своим идеалам — «истине», «добродетели» и «просвещению».

Сферой практической деятельности была для радищевцев, в основном, *литература* — публицистические выступления и художественное творчество. Вслед за Радищевым они рассматривали занятие литературой как форму борьбы за утверждение своих общественных и политических идей. Как писатели, они всецело вращались в кругу философских и социально-политических проблем и каждый частный вопрос решали в свете общих задач борьбы за прогрессивное мировоззрение и новую, демократическую культуру.

3

Годы, на которые пришелся подъем литературной деятельности наиболее видных поэтов, входивших в Вольное общество любителей словесности, наук и художеств, составили переломную эпоху в истории

русской литературы. Это была эпоха становления национальной русской литературы, ознаменованная окончательным разложением и умиранием рационалистических, нормативных теорий классицизма и выработкой нового художественного мировоззрения, переосмыслением самого понятия «литература» и новым пониманием ее социального значения.

Литературная полемика в этот период носила широкий и принципиальный характер, отражая антагонизм двух столкнувшихся мировоззрений, двух культур, двух идейных начал — радикально-демократического и консервативно-элитарного. С полной очевидностью и наглядностью свидетельствует об этом разнородность, разнонаправленность, глубокая внутренняя противоречивость пришедшего на смену классицизму литературного течения, которое историко-литературная традиция обозначает условным и довольно расплывчатым термином «сентиментализм».

Основные проблемы сентиментализма как философского и художественного мировоззрения выросли из обнажившегося противоречия между пробудившимся демократическим сознанием и всеми моральными, правовыми, социальными и политическими узаконениями феодального общества. Сентиментализм исходил из идеи природного равенства и морального равноправия людей, обосновывая эту идею в понятиях философии, этики и социологии просветительства. Центральная проблема сентиментализма — человек, его нравственное достоинство, его неотъемлемые природные права, его личная свобода, независимость его внутреннего духовного мира. Сентиментализм провозгласил человеческую личность главной и незыблемой ценностью.

Однако сентиментализм отнюдь не был единым, однородным течением. Он стал достоянием писателей, представлявших в своем лице различные социально-классовые силы и на деле выдвигавших прямо противоположные решения проблемы человека. У одних писателей, сформировавшихся в границах этого течения, идея природного и морального равенства

людей приобретала отвлеченный от жизненной практики, абстрагированный характер и по существу оборачивалась примирением с неравенством социальным, поскольку последнее объявлялось несущественным с точки зрения высшего критерия — внутренней, духовной свободы человека. Подобная философия приводила к «самодовольному спокойствию человека, не думающего о счастье других» (как очень точно выразился Н. А. Добролюбов¹), на практике — к оправданию и даже защите социального неравенства. У других писателей, творчество которых слагалось тоже в русле сентиментализма, идея природного и морального равенства людей, напротив, приобретала глубокий социальный смысл, служила лозунгом активной борьбы против фактического неравенства, господствующего в мире, против всяческого порабощения человека — как духовного, так и социального.

Различными решениями проблемы человека и были в основном predeterminedены исторические судьбы сентиментализма. Наиболее полное и законченное воплощение антагонистические начала, сосуществовавшие внутри этого течения, нашли в творчестве Карамзина и Радищева, стоявших на крайних флангах тогдашнего литературного фронта. Дворянский сентиментализм Карамзина и литераторов его школы, антидемократический по своей сути, стал консервативным, объективно охранительным течением, общее направление которого вело к идеологическому обоснованию устоев самодержавия и крепостничества. Революционное искусство Радищева, основные идейно-художественные принципы которого были восприняты его радикальными последователями, стало знаменем передового литературного движения и открыло в русской литературе дорогу социально-критическому, освободительному началу.

При всех отклонениях индивидуальных творческих путей отдельных поэтов, принадлежавших к

¹ Н. А. Добролюбов. Полное собрание сочинений, т. I. М., 1934, стр. 232.

кругу радищевцев, устанавливается известное единство их эстетических взглядов, сложившихся на почве нового понимания задач искусства и выразившихся в стремлении по-своему решить проблему поэтического стиля. Этот «высокий» стиль, призванный служить формой художественного выражения философской мысли и гражданской героики, выработывался в борьбе против господствовавшей в то время рафинированной, эстетизированной культуры дворянского сентиментализма, против салонной «легкой поэзии» карамзинистов с ее мелочными темами, слащавой чувствительностью и стилистической «гладкостью», в борьбе за «большую» и «важную», идейно содержательную поэзию.

Из сказанного, однако, не следует, что поэты-радищевцы с полным успехом и окончательными результатами сумели решить стоявшую перед ними задачу и что они были вполне последовательны в своем протесте против эстетики и поэтики дворянского сентиментализма. Для этого у них просто не хватило творческих сил. Обращаясь, как правило, к «высоким предметам», широко разрабатывая гражданские, моральные и натурфилософские темы, они вместе с тем отдавали невольную дань и шаблонным мотивам, характерным для поэзии дворянского сентиментализма (уединение на лоне природы, слезливые изъявления любовного чувства и т. п.). Это, конечно, говорит об известной непоследовательности их в отношении карамзинизма как художественного направления. Разочаровавшись в идеях Карамзина, они не сумели полностью освободиться от влияния модной карамзинистской поэтики.

Но при всем том, рассматривая и оценивая творческие искания поэтов-радищевцев с историко-литературной точки зрения, важнее выявить и подчеркнуть в их творчестве не следы и остатки карамзинизма, а ясно выраженные тенденции идейного переосмысления ходовых тем и мотивов, вообще характерных для поэзии конца XVIII — начала XIX века.

Ярким примером нового истолкования подобного рода тем и мотивов служит интимная лирика Ивана

Пнина. Она примечательна как попытка психологического раскрытия внутреннего, душевного мира реального «частного человека». В решении данной проблемы Пнин в общем следовал принципам психологического субъективизма, внесенным в русскую литературу как раз Карамзиным. Принципы эти, вслед за Карамзиным уточненные и развитые Жуковским, сильно обогатили русскую лирическую поэзию. Однако лиризм Пнина раскрывается в особом качестве: он *социально* окрашен. В стихотворении «Плач над гробом друга моего сердца» (1805) злосчастная судьба лирического героя истолкована как следствие общественной несправедливости:

Я мыслил провести в покое жизни ток,
И с юности моей развратам не подвластен, —
Со склонностью своей не думал быть несчастен.
Когда я выступил на сей превратный свет,
Я счастьем льстивому не кинулся вослед
И, не прельщаясь ни славой, ни тщетою,
Пленялся истиной и сердца красотою.
Я зрел, каков сей мир, я видел счастья луч,
Сокрытый в глубине неизмеримых туч.
О свет! ужасных бедств, ужасных мук содетель!
Где мзда с пороками равняет добродетель,
Где гордость, до небес касаяся главой,
Невинность робкую теснит своей ногой,
Где роскошь в облаках блестящий взор скрывает
И пропасти стопой железной попирает.
Вращаясь в тебе, я видел подлу лесть,
Хотящу вкрасться в грудь, чтоб больше ран нанести.
Я зрел в тебе людей коварных, злых, надменных,
Бесстыдностью своей в злорадствах ободренных,
Которых казнь небес, ни совесть не страшит,
Которых бог — корысть, а подлость — твердый щит!
Я зависть зрел, всегда носящую железы;
Успехи из нее мои исторгли слезы;
Невинного меня искала погубить:
Кто добродетелен, не может счастлив быть.

Пафос обличения превратного мира подогревался в Пнине особо тяжелыми обстоятельствами его судьбы и существования. Незаконный сын первостатейного вельможи, он необыкновенно тяжело переживал двусмысленность своего общественного положения. Когда его отец — фельдмаршал князь

Н. В. Репнин — умер, Пнин не был даже упомянут в его завещании, и современники связывали с этим обстоятельством преждевременную кончину писателя от скоротечной чахотки. Известно, что Пнин упорно надеялся на легализацию своего положения и что крушение этих надежд было воспринято им крайне болезненно. Об этом свидетельствует его сочинение «Вопль невинности, отвергаемой законами» — замечательный памфлет, проникнутый духом просветительских моральных идей, обличающий безнравственность крепостников и лживость законодательства, прикрывающего их преступления против «природы» и «чувства». Памфлет Пнина напечатан не был, но получил распространение в рукописных копиях и произвел сильное впечатление на современников.

Если сравнить интимную лирику Пнина с одновременно создававшимися лирическими стихотворениями Жуковского, с полной наглядностью выявляется различие их психологического содержания. У Жуковского человек изображен как личность внесоциальная; внимание поэта сосредоточено на анализе абстрагированных переживаний души, отъединенной от мира действительности и погруженной в «невыразимое». Лирический герой Пнина, напротив, изображен в тесном соотношении с действительностью. Это — «частный человек» в смысле своего гражданского положения, но он вовсе не «частный» в смысле своего отношения к целому — к жизни, к истории, к человеческому обществу. Личная тема, будучи социально окрашенной, расширялась в своем содержании и вырастала в объективном значении, а самый образ лирического героя — добродетельного, но несчастного поэта, ставшего жертвой общественных предрассудков, — принимал черты обобщенного образа человека, в чьей «частной» судьбе типически воплотилась участь целой общественной группы, терпящей «утеснение». Личная обида за перенесенные страдания и унижения разрастается в стихах Пнина в социальное чувство протеста против несправедливых условий жизни в мире, где добродетельный человек *«не может счастлив быть»*.

Таким образом, известная непоследовательность поэтов-радищевцев в отношении к карамзинизму не должна искажать в нашем представлении общего идейно-художественного облика их поэзии. В том, что они писали подчас стихи, в которых нет и следа гражданственности, сказалась власть традиций, вкусов, моды. Но вопрос об *общем* антикарамзинистском смысле их идейно-творческих исканий тем самым отнюдь не снимается. Осознанная и принципиальная борьба за новое понимание задач поэзии и за новый «высокий» поэтический стиль практически оборачивалась против карамзинистов.

В основном и главным поэзия радищевцев была поэзией резко выраженных общественных интересов и напряженного политического звучания. В своих гражданских стихах Пнин, Попугаев, Борн и Востоков последовательно выдвигали темы, связанные с насущными вопросами, волновавшими передового человека эпохи, — с вопросами «общего блага» и «равенства природного», гражданской морали и общественного воспитания, обязанностей правителя и долга гражданина, борения «истины» с «предрассудками» и т. п.

Если литература дворянского сентиментализма утверждала иллюзорный идеал тихого, мирного «частного бытия», проповедовала философию умеренности и смирения перед волей бога и «земных богов», то радищевцы в своих программных стихах славили «бури и тревоги гражданские», утверждали идеал сознательной борьбы во имя свободы и достоинства человека, рвущегося из пут феодально-клерикального мировоззрения. Дворянские поэты воспевали эгоистические наслаждения антиобщественного человека, поэты-демократы и радикалы превозносили пламенный альтруизм и гражданские подвиги «друзей человечества», бескорыстных и самоотверженных ревнителей «истины» и «общего блага».

Для передовых деятелей Вольного общества в высокой степени характерно профессиональное отношение к литературе, резко отличавшееся от демонстративного дилетантизма тогдашних дворянских пи-

сателей. Литература была для них не забавой, не легким, приятным занятием в часы отдохновения и не сферой чистого умозрения или эстетического наслаждения, а *делом*, формой практической общественной деятельности. Не замыкаясь в области чистого искусства и стремясь направить литературу на разрешение насущно жизненных задач, поэты-радищевцы настойчиво выдвигали мысль, что главным критерием оценки труда писателя должен служить критерий *пользы*.

Для них была решительно неприемлема установка Карамзина, с декларативной прямотой изложенная им в «Послании к Дмитриеву». Здесь Карамзин, отрекаясь от свободолобивых мечтаний юных лет, во всеуслышание заявил, что разуверился в возможности быть «полезным» и отказывается от всякой активной общественной деятельности:

Но что же нам, о друг любезный,
Осталось делать в жизни сей,
Когда не можем быть полезны,
Не можем пременить людей? ..

В итоге своих размышлений о том, что «зло под солнцем бесконечно» и что, следовательно, бороться со злом бесполезно и потому приходится с ним примириться, Карамзин предлагал предать мир «на волю судьбы и рока» и устранился от какого-либо воздействия на ход жизни, сколь бы непривлекательной она ни была:

Пусть громы небо потрясают,
Злодеи слабых угнетают,
Безумцы хвалят разум свой!
Мой друг! не мы тому виной. . .

Такая философия смирения и квиетизма была от начала до конца враждебна радищевцам. Их воодушевлял пример Радищева, который видел в литературе политическую трибуну, единственно доступную ему в условиях самодержавно-крепостнического строя. Радищев четко сформулировал взгляд на писателя как на идеолога и общественного деятеля, которому

принадлежит ответственная роль в деле политическо-го просвещения и нравственного воспитания людей. Труд писателя не останется бесполезным, — доказывал Радищев, — если он поможет хотя бы одному человеку найти путь к истине, отвратит его от «пагубной стези»: «Блажен писатель, если творением своим мог просветить хотя единого; блажен, если в едином хотя сердце посеял добродетель». Радищев особо подчеркивал призвание писателя к активной борьбе с деспотизмом, даже если ей не сопутствует успех: «Не достойны разве признательности мужественные писатели, восстающие на губительство и всесилие, для того, что не могли избавить человечество из оков и пленения?» Именно так осмыслял он и свой собственный писательский подвиг.

Пусть поэты-радищевцы не сделали из идеи гражданского долга и общественного призвания писателя столь же решительных, революционных выводов, какие сделал Радищев. Тем не менее именно радищевская установка на «просвещение хотя бы единого» определяла характер и направление их литературной практики.

Идея «пользы» литературы и ее значения как формы общественной деятельности с наибольшей полнотой и принципиальностью была реализована в творчестве Ивана Пнина. Обычные понятия «хорошего» и «плохого» в искусстве приобретали для него существенно иной смысл: «хорошим» оказывается такое сочинение, которое хотя и «худо писано», «но имеет цель полезную». С позиции такого понимания искусства написано программное и полемическое «Послание к некоторым писателям» (1804), явно метившее в карамзинистов с их преувеличенным вниманием к мелочным вопросам литературной техники.

Ежели когда печаянно
(Что всегда у вас случается)
Попадаетя сочинение
В ваши руки весьма слабое,
И которое исполнено
Недостатков и погрешностей,
Да и слишком худо писано,
Но имеет цель полезную, —

То послушайте, друзья мои,
Еще хуже вы поступите,
Коль его злословить станете,
Не шадя и сочинителя...

Писатель обязан трудиться «для пользы сограждан своих, для пользы человечества», исправлять людей — и только на этом пути, не предаваясь мелочному тщеславию сочинителя изящных, но бесполезных безделушек, он может достичь «славы истинной».

Это было уже принципиально новым в русской литературе представлением о деле писателя. Такая установка в известной мере влекла за собою притупление интереса к специальным проблемам литературного мастерства, — и, в частности, Пнин в этом отношении сильно уступает поэту-мастеру Востокову. Однако такого рода тенденция вовсе не знаменовала «отрицания искусства», но свидетельствовала лишь о кардинальном пересмотре критериев художественности. Поэзии присваивалась задача служить в первую очередь средством выражения конкретной философской, моральной, социально-политической либо научной мысли.

Именно эта установка лежала в основе поэтического творчества Ивана Пнина. Его стихотворная манера не отличалась ни оригинальностью, ни словесным щегольством. Сила его была в «высоких чувствах поэта». Он не пускался в поэтические эксперименты; оды его традиционны по своим структурным формам, воспроизводят жанровый канон «философической оды», как сложился он в поэзии XVIII века. Но Пнин сохранял лишь внешние признаки жанра, наполняя старую форму новым содержанием. Свое у Пнина — идеи, темы, гражданский пафос. Они-то и сообщали его стихам новое качество.

Отличительная особенность одической поэзии Пнина — открытая программность. Его оды — это, в сущности, небольшие философские и политические трактаты, в которых он сформулировал свои взгляды и убеждения с не меньшей отчетливостью, нежели в своих публицистических сочинениях — «Опыте

о просвещении относительно к России» и «Вопле невинности, отвергаемой законами».

Выразительным примером в этом смысле может служить «Ода на правосудие» (1805) — самое известное поэтическое произведение Пнина. Параллельное сличение начальных строф оды с «Опытом о просвещении» наглядно свидетельствует о том, что главной задачей для Пнина в данном случае было довести до читателя в концентрированной образной форме некий кодекс философских, моральных и общественных идей. В частности, Пнин излагал и обосновывал в оде один из основных пунктов своей социально-политической программы, а именно вопрос о «священном праве собственности», защите которого в «Опыте о просвещении» посвящены красноречивые страницы.

Столь же конкретно выражены общественные и политические взгляды Пнина в других его стихотворениях, в частности — в баснях и притчах («Царь и Придворный», «Терновник и Яблоня», «Южный ветер и Зефир», «Верховая лошадь»), в аллегорической форме затрагивающих вопросы просвещения, гражданской морали или отношений власти и народа. По последнему вопросу Пнин высказался следующим образом:

Тот камень, что свой блеск бросает с высоты,
Разбился б в прах — частей его не отыскали, —
Когда минуту хоть одну
Поддерживать его другие перестали.

Преимущественное внимание Пнина-поэта привлекали большие темы — натурфилософские, нравственные, общественные. Характерны в этом смысле самые заглавия его произведений: «Время», «Слава», «Человек», «Надежда», «Бог», «Правосудие», «Любовь», «Зависть» и т. д. Но ни одна из этих общих тем не решалась им абстрактно. В каждом случае он вкладывал в них определенный идейный смысл, соотносенный с общественными запросами современности. В самых, казалось бы, отвлеченных стихах Пнин оставался поэтом социальной темы. Таковы, к

примеру, «Стихи на сон», в которых речь идет о различии между сновидением и мечтанием («Когда я сплю, я не мечтаю, когда ж мечтаю, то не сплю»). Но и здесь тема сна как «забвения» приобретает идейное звучание, поскольку речь сразу заходит и о «рабе в цепях», и о том, что «злодей», «тиран», «враг несчастных» не может «спать приятно», ибо ему не позволяет этого нечистая совесть.

В своих философских одах Пнин, поклонник и пропагандист Гольбаха, подверг пересмотру, переоценке и критике многие фетиши феодально-клерикального мировоззрения. В оде «Надежда» тема надежды — утешительницы человека в горестях и бедствиях, получившая широкое распространение в поэзии дворянского сентиментализма, — трактуется в совершенно ином идейном плане. И «раб в оковах» и «сирая вдовица» дорожат жизнью потому лишь, что их не покидает утешительная надежда на лучшее будущее:

Надежда! дней они ждут ясных,
И жизнь мила им чрез тебя. . .

Поэт дворянского сентиментализма поставил бы на этом точку. А Пнин доказывает далее, что сама по себе надежда, не осознанная как путь к активному действию, есть не что иное, как «пустое мечтание», призрак, химера, обольщение «несчастных людей», тем более пагубное, что оно заставляет раба мириться со своей участью. И Пнин разоблачает надежду как обольщающее человека зло:

О, если б кто рукой враждебной
Сорвал с тебя покров волшебный! . .

В оде «Слава» тема разрешается в плане противопоставления славы истинной и ложной. Настоящая слава — это не безразборчивое слепое честолюбие, которому открыты все пути. К истинной славе ведет только «один путь верный», — и он «осыпан не цветами». Это путь трудный и опасный, доступный лишь мужественным людям с неробкою, твердою душой, — путь гражданского подвига. Подлинной

славой увенчается только тот, кто заплатит за нее «ценою настоящих дел», кто сам служил людям образом гражданских добродетелей, кто готов даже погибнуть «для пользы общей».

В оде особо подчеркнута мысль о великом значении активной практической деятельности:

Пример сильнее наставлений,
Мы все хвалу добру гласим,
Громады видим поучений,
Где ж исполнители?— не зрим.

Пнин с горечью признается, что большинство людей слабовольны и инертны («Всяк на другого уповаает, что сей свершит все за него»); тогда как истинный гражданин призван к самостоятельному участию в жизни, к деянию на общую пользу. Тогда он войдет и в храм истинной славы, которая не знает различия между богатым и бедным, знатным и простолюдином, но уважает одни «дела». Эта демократическая нота разрешается в финале оды вопросом: если такова истинная слава, «то как злодеи могут быть?»

Это, пожалуй, главный вопрос, которым задается Пнин в своих гражданских стихах. Общий тон его поэзии — пессимистический, и это тоже характерная черта его мировоззрения. В «Послании к В. С. С. на Новый год» (обращено к В. С. Сопикову, известному библиографу) он рисует картину несправедливого мира, в котором из века в век царствуют «зло», «суеверие» и «коварство», льется «кровь рабства», свирепствуют «военные бури», а истина — «удалена»:

Род смертный тот же остается,
Он все невежеством ведется;
Лжесвятство, рабство и война
Владели им и днесь владеют,
Народы к ним благоговеют,
А истина!.. удалена.

«Послание к В. С. С.» было написано в конце декабря 1804 года, — тем более знаменательны грустные размышления Пнина: они говорят о кризисе либеральных иллюзий, возникших в атмосфере «александровской весны». В частности, в стихах: «Теря-

ют и цари короны, рабы на их восходят троны...» можно видеть намек на злободневное событие, которое в глазах Пнина и других людей свободного мышления должно было служить своего рода символом окончательного крушения надежд, связывавшихся с французской революцией: 2 декабря 1804 года Наполеон Бонапарт короновался императорской короной.

Пнин приходит к безотрадному выводу: «Сей мир, мой друг, есть мир для злых». Однако общественный пессимизм Пнина не дает оснований говорить о его примирении с действительностью. Напротив, в его поэзии до самого конца звучат сильные ноты протеста. Он изобличает общественный квиетизм в любых его направлениях, не мирится с психологией рабской приниженности и не может постичь чувства всепрощения, позволяющего человеку забыть причиненное ему зло. Он говорит об этом с горькой иронией:

Так что ж есть наша жизнь в сем свете?
Наука мучиться, терпеть!
Счастлив, кто пал в нежнейшем цвете;
Счастлив, кто может преодолеть
Страстей волнующих внушенья;
Счастлив, без всякого сомненья,
Кто меньше терпит в жизни сей!
Не знает немощей, мучений,
Не знает горьких приключений —
Да и к тому не есть злодей!

Но, ах, сего не постигая,
Я удивляюсь навсегда,
Как негр, весь век в цепях страдая,
Коль снимет их тиран когда, —
Тогда в минуту восхищенья,
Толь сладкого освобожденья,
За бога он тирана чтит.
Ужели чувство избавленья,
Сугубя в нем уничиженья,
Все прежнее забыть велит?

Смысл жизни, как понимает Пнин, в благородном и полезном деянии, в борьбе со злом, несмотря на все его могущество. Задача писателя состоит в том, чтобы «спасать невинность угнетенну» и «являть

подлую, презренную душу злодеев». Пусть мир лежит во зле, добрые дела не забудутся, истинный гражданин всегда будет жить в памяти народной.

Гражданская поэзия Пнина обращена к читателю не только своей негативной, критической стороной. В ней также утверждался, в духе социальной концепции просветительства, определенный идеал справедливого общественного устройства, основанного на власти нерушимого закона. Тема эта, как известно, занимает важное место в радищевской оде «Вольность». Сам Радищев, излагая содержание третьей, четвертой и пятой строф оды, указал, что в них «изображается закон в виде божества во храме, коего стражи суть истина и правосудие». Это радищевское изображение близко основным мотивам филолософско-политической поэзии Пнина.

В программной «Оде на Правосудие», снабженной эпиграфом из Гольбаха: «Правосудие есть основание всех общественных добродетелей», Пнин рисует одновременно и картину народного блаженства под покровом твердых и справедливых законов, и картину тяжелых народных бедствий в мире беззакония, произвола и насилия:

О Правосудие! тобою
Хранится только смертных род.
Где ты — там с мирною душою
Трудов своих вкушают плод. . .
Где ты — там царствуют законы,
Там человек всегда почтен.
Там тверды в основаньях троны
И к правде путь не загражден. . .
Где ты — там вопль не раздается
Несчастных, брошенных сирот;
Всем нужна помощь подается,
Не раболепствует народ. . .
Душа покоя и устройства,
Источник всех великих дел!
Ты образуешь дух геройства,
Бессмертие есть твой удел. . .

Где нет тебя — там все рыдает,
Все стонет, смерть к себе зовет;
Пожар вражды везде пылает,
И жертвы острый меч сечет. . .

Нет ни родства, союза, веры,
Там видны лишь злодейств примеры,
Шипят пороки и язвят;
Там выгод нет быть добрым, честным,
Быть другом искренним, нелестным;
Там чашу смерти пьет Сократ. . .

Правосудие — «блаженство смертных», единственный залог их счастья, и Пнин кончает свою оду мажорной нотой:

Нет, нет, живи ты вечно с нами,
Храни сей мир, храни людей,
Да твой обвитый скиптр цветами
Составит счастье наших дней!
Совокупи ты все народы,
Детей единыя Природы,
Под сень державы твоея;
Владей над целою вселенной
И сей внушай закон священный:
Что нет блаженства без тебя!

Задачу создания гражданской поэзии решал с большой остротой и принципиальностью и Александр Востоков — самый крупный и талантливый поэт Вольного общества. В его стихах развернута целая морально-эстетическая концепция, в основе которой лежит идея нравственного достоинства поэта, ревнующего об «истине» и «благе» и не склоняющегося «ни перед каким кумиром». Образ поэта оформлен в стихах Востокова как образ учителя, пророка и трибуна, высокая миссия которого заключается в том, чтобы «ненавидеть зло» и «награждать добродетель», «качать извергов» и «быть другом человека», в меру сил содействовать освобождению «всех угнетенных». В стихах на смерть Шиллера Востоков поставил его в пример и образец как поэта, воодушевленного духом свободолюбия, которого не сломило «гоненье тиранов» и который «щедро излил из разженного небом сердца то, чего многие веки ждали».

В ряде стихотворений Востоков излагает нечто вроде программы жизненного поведения, подобно Пнину призывая к активной деятельности на пользу человечества. В послании к члену Вольного общества художнику И. А. Иванову он говорит:

Потщимся с пользой, непозорно
И жить и умереть, мой друг!
Прямую изберем дорогу...
Окажем к слабым снисхожденье,
К порочным жалость, к злым презренье,
А к добрым — пламенну любовь.

«Истая цель» жизни — в труде и творчестве. Поэт изобличает «празднолюбивых», «погрязших в неге, в лениности»:

В трудах и бедствиях лишь доблесть познается,
И мудрость лишь одним неленистым дается...

В одном из самых значительных своих стихотворений — «История и Баснь» (1804), посвященном члену Вольного общества художнику Ф. Ф. Репнину, Востоков особенно убедительно высказал свой взгляд на высокое назначение поэта. Показывая художнику «достойные его предметы», он ведет его сперва в «храм Басни» — в область чудесных мифологических вымыслов и «неисчерпаемых красот» искусства. Но перед истинным художником открывается другой, более ответственный, но и более достойный его призвания путь — в «храм Истории». Этот храм «прост и важен», в нем

...строга Критика имеет свой престол
И лже и истине границу полагает.

Это область реальной истории мира с его «разительными контрастами», — мира, в котором борются силы добра и зла, свирепствуют тираны и жертвуют собой «страдальцы истины». Если в первом храме можно оставаться *только* художником, *только* поэтом, то, войдя в храм Истории, художник превращается в философа. А философия, «высокая истина», как ключ к познанию жизни, осмысляется Востоковым как высшая форма интеллектуальной, духовной, творческой деятельности человека. Пусть человека тревожат «волны» мелочных житейских забот, но если он осознал себя философом, постиг высшую цель своего назначения, он может противопоставить всему мелкому и случайному свою ясную, целенаправленную мысль, свою могучую духовную силу:

Но мы волнам одлот поставим — твердость духа
И философией душевный брег возвысим. . .

И далее Востоков отчетливо формулирует свое представление о задачах, возникающих перед художником такого, высшего типа:

Ты был поэтом — будь философом теперь!
На сих висящих дсках добро и зло читая,
Предметы избирать из них себе умей.
Великих и святых изобрази людей,
Которых победить не может участь злая.
Искусной кистью своей

Яви добро и зло в разительных контрастах:
В страдальцах истины прекрасная душа
Сквозь всякую б черту наружу проничала;
Сократ беседует с друзьями, смерть пия;
Правдивый Аристид свое изгнание пишет;
Идет обратно Регул в плен,

И верен истяне Тразеа умирает,
А в недрах роскоши, среди богатств, честей,
Тиранов льстец Дамокл, упоеваясь счастьем,
Возвел кичливый взор, но, видя над собой
Меч острый, на волоске висящий, цепенеет.

Сколь благомыслящим утешно созерцать
Толь поучительны, толь сильные картины!
С Плутархом в них, мой друг, с Тацитом нам являя
Величие и низость смертных
И душу зрителей к добру воспламеняя. . .

В этих стихах обращает на себя внимание сгущенность исторических ассоциаций. Поэты-радищевцы, решая стоявшие перед ними идейно-творческие задачи, часто и охотно обращались к истории — к ее материалу и проблематике. Они рассматривали историю как наилучшее средство возбуждения в человеке нравственного, патриотического и гражданского чувства. История, с их точки зрения, должна была *поучать* человека на впечатляющих примерах высокой морали и гражданской доблести. Пнин писал, что история «послужить может к образованию в гражданственном человеке характера и направить его к совершенству добродетели, к утверждению чувствования чести, добронравия, прямотушия. История покажет примеры великих добродетелей и пороков, сим самым может возжечь огонь побуждения к последованию первым и

отвращению от последних». Борн в свою очередь доказывал, что история «необходима для ума нашего и сердца; она есть, так сказать, училище людей вообще. . . Добродетель находит в ней забытые свои права, а порок лишается своей маски и является во всей своей наготе и гнусности». Попугаев также утверждал, что «история должна быть зеркало дел великих, которое бы, как в картине, представляло питомцам бессмертия образцы для подражания и средства достигнуть до славы, ими предполагаемой, или превзойти оную».

В этом взгляде на историю как на поучение, преследующее цели общественно-нравственного воспитания, в самом представлении об истории как о собрании примеров гражданских добродетелей и галерее героических характеров можно видеть прямое предвосхищение той революционной трактовки исторического материала, к которой прибегали впоследствии поэты-декабристы и их литературные попутчики в целях пропаганды своих идей. В частности, крупную идейно-художественную роль в творчестве поэтов-радищевцев играла героика античной истории — образы гражданских героев Греции и республиканского Рима, вызывавшие в сознании читателя конца XVIII — начала XIX века вполне определенные морально-этические и социально-политические представления. К этой героике охотно обращались Пнин и Попугаев, а в стихах Борна и особенно Востокова она стала одним из главных средств формирования поэтического стиля. Именно эта тенденция истолкования античной героики в духе свободомыслия в дальнейшем получила широкое распространение в творчестве поэтов декабристского круга и у молодого Пушкина.

Самые имена гражданских героев античного мира, которых часто вспоминали радищевцы, были насыщены семантикой гражданственности. Брут, Катон, Курций, Гармодий и Аристокитон, Муций Сцевола, Аристид — за каждым из этих имен стоял готовый, привычный для восприятия круг ассоциаций, находивших свое применение в сфере явлений живой современности. Когда Востоков писал: «Учась Катоновым и Брутовым примером», он высказывал тем самым опреде-

ленную политическую идею, и читатель отлично понимал, что именно хотел сказать поэт. Когда тот же Востоков на протяжении шести строк упоминал о Сократе, «правдивом Аристиде», Перуле, «верном истине Тразее» и «тирановом льстеце Дамокле», он до предела сгущал в символических образах идейно-смысловое содержание своей стихотворной речи. Это была тщательно разработанная система аллюзий — намеков и принословлений, в которой образы, понятия и имена, заимствованные из античной истории, играли роль поэтических формул с прочно закрепленным смыслом, служили своего рода «сигналами», наводящими на современность.

Разительный пример конкретно-политического, злободневного осмысления гражданской героики античной древности представляет собою уже упомянутая выше «Ода Калистрата» Ивана Борна. Меньше всего это — стихотворение на историческую тему об убийстве тирана Гиппарха, случившемся в 514 году до нашей эры. Читатель понимал, что дело тут вовсе не в исторических Гармодии и Аристокитоне, но в том, что поэт воспользовался их именами как поводом для того, чтобы высказать волнующую его мысль, по необходимости прибегая к языку исторической символики. Больше того: читатель мог и не знать об историческом событии, о котором внешним образом рассказано в стихотворении, а поэт, в свою очередь, и не рассчитывал на его осведомленность. Весь смысл стихотворения — в его аллюзионности: своей темой, самим подбором специфических слов, насыщенных семантикой гражданственности, стихотворение, во-первых, говорило о борьбе с тиранией вообще, а во-вторых (и это главное), явно для всякого сколько-нибудь сообразительного человека намекало на только что совершившееся удушение отечественного тирана — Павла I.

Обращение к материалу истории играло в творчестве поэтов-радищевцев важную, но в конечном счете служебную роль. Античная, а также национальная русская героика служила им в решении наиболее волнующего их вопроса — о *человеке* и специально — о *гражданском герое*.

Тема человека, его нравственной силы, духовного величия и гражданского героизма приобретала исключительную остроту в условиях духовного и социального закрепощения народа, в условиях, принижавших достоинство человека и препятствовавших свободному проявлению и развитию его способностей. Задачи борьбы за освобождение народа предусматривали прежде всего свободу человеческой личности. Радищевцы, утверждая свой общественный идеал, стремились раскрыть подлинный, не искаженный неправильными условиями воспитания и бытия, облик человека — его лучшие свойства и склонности, глоснувшие в обстановке рабства и деспотизма. Они хотели показать благородство и духовную силу человека, рвущего путы рабства и рабской психологии. Поэтому тема человека в их творчестве приобретала сильное социальное звучание и, в конечном счете, отражала общенародную борьбу за свободу.

В постановке и решении темы человека поэты Вольного общества шли за Радищевым. В «Путешествии из Петербурга в Москву», в оде «Вольность», в стихотворении «Осьмнадцатое столетие» и в других произведениях Радищев прославил свободный дух и творческий гений человека — носителя высоких идеалов чести и справедливости, стойкого деятеля и борца, врага деспотизма, воспитывающего в себе новую мораль, смело ниспровергающего предрассудки и заблуждения, властно покоряющего природу и преисполненного стремлением перестроить жизнь на новых, свободных началах.

Это революционно-просветительское представление о человеке было глубоко усвоено передовыми деятелями Вольного общества. Наука о человеке была для них «наукой наук», позволяющей «обнять все в мире вещи», ибо тому, «кто ту науку постигает», по словам Востокова,

Она все знания заменяет,
Ее предмет есть человек!
Он сам и дел мирских теченье,

Которы, все до одного,
Причину и происхождение
Имеют в сердце у него.

В своих произведениях поэты-радищевцы громко провозглашали культ человека — творца и борца, высказывали глубокую, бескомпромиссную веру в силу человеческого сознания, — и в этом смысле их поэзия была направлена против господствовавших в то время идеалистических и религиозных представлений о назначении и судьбе человека в мире, против всяческих форм агностицизма и мистики.

С большой глубиной и четкостью тема свободного и героического человека разработана в стихах Ивана Пнина. При этом особенно важно подчеркнуть, что Пнин разрабатывал данную тему в материалистическом духе. Для Пнина и некоторых других радищевцев, склонявшихся к материалистическому пониманию мира, в высокой степени характерна независимость от религиозных догм и представлений. Если в их стихах и встречается «бог», то, как правило, в деистической трактовке — в качестве безличной «первопричины» мира, во всем остальном подчиненного действию законов одной природы. Вообще же их творчество свободно от религиозно-мистических мотивов, столь характерных для поэзии рубежа XVIII и XIX столетий. Этические и моральные концепции просветителей и материалистов служили для них оружием в борьбе с официальной и официозной религией и моралью.

В поэтическом творчестве Пнина нашли выражение не имевшие до того примера в русской поэзии открытая пропаганда идей материализма, материалистический взгляд на мир и на человека, постановка в материалистическом духе вопросов о движении материи, о времени и пространстве, об отношении человека к природе, о силе человеческого познания, позволяющей исследовать природу и постигать ее закономерности.

Для Пнина, как и для всех просветителей, характерен глубокий интерес к натурфилософским и космологическим проблемам, служившим в его время предметом научного знания. В стихотворении «Время» (вольная переработка известной оды А.-Л. Тома),

напечатанном в 1798 году, Пнин трактует тему времени независимо от религиозных преданий о «сотворении мира». Излагая передовую для своей эпохи научную теорию множественности миров, формулируя идею безначальности и бесконечности времени, его вечного течения, Пнин совершенно недвусмысленно отвергает участие бога в создании времени:

Кто мне откроет час, в который быть ты стало?
Чей смелый ум дерзнет постичь твое начало?
Кто скажет, где конец теченью твоему?
Когда еще ничто рожденья не имело,
Ты даже и тогда одно везде летело,
Ты было все, хотя не зримо никому! ..

Далее Пнин изображает грандиозную картину «конца мира», но не по библейским или евангельским легендам, а всецело в духе естественнонаучных (но, разумеется, метафизических) гипотез своего времени, как умирание солнечной системы. В этом изображении поэт ближайшим образом следует за теорией Эйлера, который утверждал, что причиной гибели солнечной системы послужит расстройство движения планет по их орбитам. Отталкиваясь от оды Томá, Пнин существенно изменил наиболее ответственные положения подлинника, последовательно переключая их в плоскость материалистического истолкования проблемы. Он снял упоминание о «законе всевышнего» и заменил его «дерзким умом» человека, и утверждал идею вечности, которая не исчезнет и при «кончине мира»:

Не будет ничего, не будет самой бездны;
О время! но ты все пребудешь и тогда! ..

«Дерзкий ум человека» — вот предмет постоянного восхищения Пнина. Его ода «Человек» (1804) представляет собою в полном смысле слова восторженный гимн человеку — не как созданию бога, а как «лучшему созданию природы» и в то же время ее повелителю, ставшему «зиждителем вселенной» исключительно благодаря своему разуму:

Ты царь земли — ты царь вселенной,
Хотя ничто в сравненьи с ней.

Хотя ты прах один возжженный,
Но мыслию велик своей!
Предпримешь что — вселенна внемлет,
Творишь — все действие приемлет,
Ни в чем не видишь ты препон.
Природою распоряжаешь,
Всем властно в ней повелеваешь
И пишешь ей самой закон.

Пнин исчисляет все творческие подвиги и победы человека, который «все, как бог, устроивает»: насаждает нивы, воздвигает села, города и «сильные царства», проникает «до дна пучин» и в «земные недра», управляет стихиями, измеряет «течение планет», наконец — силой своего разума постигает «законы естества» и творит бессмертные ценности культуры, знания и искусства.

Из самого текста оды Пнина видно, что она представляет собою своего рода ответ на знаменитую оду Державина «Бог», которая была направлена против «вольнодумцев», усвоивших безбожные материалистические идеи.¹ Пнин отвечает Державину как раз с отчетливо материалистических позиций: державинскому богу в роли «зиждителя вселенной» он прямо и недвусмысленно противопоставляет человека, наделенного пытливым разумом и творческой волей и потому познавшего высокие истины.

Именно в такой плоскости поставлена в оде Пнина занимавшая очень важное место в просветительских теориях и революционно звучавшая проблема коренного различия между *человеком* и *рабом*. Центральная мысль оды Пнина нацелена против державинских строк, содержащихся в оде «Бог», где человек назван не только царем, но и рабом и червем («Я раб, я червь. . .»). Игнорируя своего рода диалектику державинской мысли, Пнин восклицает:

¹ По этому вопросу в недавнее время произошла полемика, не приведшая к ощутимым результатам. См.: М. Альтшуллер. С кем полемизировал Пнин в оде «Человек» («Русская литература», 1963, № 1, стр. 134—137); Ю. Лотман. С кем же полемизировал Пнин в оде «Человек»? (Там же, 1964, № 2, стр. 166—167); В. Западов. Державин и Пнин (там же, 1965, № 1, стр. 114—120).

Какой ум слабый, униженный,
Тебе дать имя червя смел?

Он с негодованием отвергает самую возможность подобного представления о человеке:

Прочь, мысль презренная! ты сродна
Душам преподлых лишь рабов,
У коих век мысль благородна
Не озаряла мрак умов.
Когда невольник рассуждает?
Он заблужденья лишь сплетает,
Не зная природы никогда.
И только то ему священо,
К чему насильством принужденно
Бывает движим он всегда.

«Преподлый раб» здесь, конечно, не раб в прямом, так сказать, юридическом смысле этого слова. Это именно духовный раб — человек, слепо покоряющийся обстоятельствам, «насильству», не вступающий с ним в борьбу. Это человек, не знающий и не понимающий законов природы, невольник заблуждений и предрассудков, неспособный к самостоятельному суждению, не верящий в свою интеллектуальную силу и в свое творческое призвание.

В противопоставлении «раба» и «человека» у Пнина явственно звучит радищевская нота («Я тот же, что и был и буду весь мой век: не скот, не дерево, не раб, но человек! . . .»). Радищев доказывал, что рабство морально губит человека — равно и раба и рабовладельца: «С одной стороны родится надменность, а с другой — робость». И он с особенной энергией разоблачал и преследовал духовное рабство, потому что глубоко верил в способность поработенного народа подняться над рабской психологией и собственной рукой добыть себе свободу. Пнин в своей оде также ставит вопрос о духовном самоосвобождении раба, о восстании его против всего «рабского», что опутывает его тенетами «предрассуждений» и препятствует пробуждению в нем чувства собственного достоинства, веры в себя, сознания своей самостоятельной силы:

В каком пространстве зрю ужасном
Раба от Человека я?
Один — как солнце в небе ясном,
Другой — так мрачен, как земля.

Один есть все, другой ничтожность.
Когда б познал свою раб должность,
Спросил природу, рассмотрел:
Кто бедствий всех его виною? —
Тогда бы тою же рукою
Сорвал он цепи, что надел.

Здесь замечательна сама постановка вопроса: человек должен задуматься над тем, «кто бедствий всех его виною?». В этом — идейный центр оды. Человек от природы — не раб. Его *сделали* рабом, внушили ему рабскую психологию, узаконили его рабское состояние. Природа назначила человеку быть не рабом, а зиждителем и владыкой мира, и Пнин снова и снова славит духовную мощь свободного человека, способность его быть носителем высоких, благородных чувств:

Прими мое благословенье,
Зиждитель-человек! прими,
Я прославлял в твоём твореньи
Не все еще дела твои. . .

Далее Пнин задается вопросом: кто же вдохнул в человека благородные чувства, кто внушил ему стремление к «благу», кто наставил его на путь гражданских добродетелей?

Кто в сердце огонь возжег священный,
Сей пламень чистый, драгоценный,
Которым гражданин живет;
Его что душу составляет,
Любовь к Отечеству питает
И твердость духа подает? . .

И наконец, возникает самый важный вопрос — о происхождении души и разума человека:

Скажи мне, наконец: какою
Ты силой свыше вдохновен,
Что все с премудростью такою
Творить ты в мире научен?
Скажи? . .

Далее в первопечатном тексте оды «Человек» («Журнал российской словесности», 1805, ч. 1) следовало пять с половиной строк отточия, и тем самым ответ Пнина на этот главнейший вопрос волей цензуры был утаен от читателя. Архивные разыскания позво-

лили мне восстановить ответ Пнина. Оказывается, на прямо поставленный вопрос о происхождении духовных сил человека он ответил столь же прямо:

... Но ты в ответ вещаешь,
Что ты существ не обретаешь,
С небес которые б сошли,
Тебя о нуждах известили,
Тебя бы должностям учили
И в совершенство привели.

Смысл поэтических размышлений Пнина на эту тему в том, что человек не есть создание божье, а является созданием самой природы и единственным творцом своих дел. Пнин отвергает вмешательство божественной силы в происхождение и жизнь человека. Тем самым дается ответ и на первый вопрос, поставленный в оде: кто же виновник всех бедствий человека? По общему смыслу рассуждений и доказательств Пнина следует, что причиной этих бедствий служит нарушение вечных и неизменных законов природы, иными словами — несправедливые, неправомерные условия человеческого бытия (а следовательно, и пороки общественного быта и политического строя), налагающие на человека оковы духовного и гражданского рабства.

Открытое неверие Пнина в божественный промысел делает его оду «Человек» выдающимся явлением в русской поэзии начала XIX века. Исключительность этого стихотворения выявляется с еще большей убедительностью, если учесть, что и десятилетием — двумя десятилетиями позже русская революционная поэзия отнюдь не изобиловала столь резко выраженными атеистическими идеями. Виднейшие поэты декабризма — Рылеев, Кюхельбекер, А. Одоевский, не говоря уже о Ф. Глинке, — как известно, оставались в плену религиозного сознания. Из числа поэтов-декабристов на почве философского материализма стоял один А. П. Барятинский, не проявивший себя сколько-нибудь заметно и писавший к тому же по-французски.

Поставив смелый вопрос о происхождении человека и ответив на него со всей убежденностью материалиста, Пнин в таком же материалистическом духе ставит

вопрос о границах человеческого познания, о способности человека не только познавать, но и изменять мир. В заключительной строфе оды он называет в качестве сил, побуждающих человека-зиждителя на жизненный подвиг, — его творческий *труд* и интеллектуальный *опыт*. Только собственным трудом и приобретенным опытом, без всякого участия «высших существ», человек достиг «совершенства» — познал мудрость, открыл вечные истины, утвердил законы нравственности:

Ужель ты сам всех дел виною,
О человек! что в мире зрю?
Снискавши мудрость сам собою
Чрез *труд* и *опытность* свою,
Прешел препятствий ты пучину,
Улучшил ты свою судьбину,
Природной бедности помог,
Суровость превратил в доброту,
Влиял в сердца любовь, щедроту, —
Ты на земли, что в небе бог!

Последняя строка, сравнивающая человека с богом, пребывающим «в небе», как будто противоречит общему атеистическому смыслу оды. Но это не более как уступка деизму. Бог, с которым поэт сравнивает человека-зиждителя, это типичный бог деистов, понимаемый как некая безличная «первопричина», действующая через вечные и неизменные законы природы. Атеистические мысли в оболочке деизма сквозят также и в другой оде Пнина — «Бог». При этом следует помнить, что в условиях беспредельного господства феодально-клерикального мировоззрения деизм служил формой прогрессивного мышления, а в практике мыслителей и писателей, стоявших на почве материалистического мировоззрения, чаще всего служил скрытой формой атеизма, представлял собою, как говорил Маркс, «не более чем удобный и легкий способ отделаться от религии».¹

Даже при смягченной, деистической постановке вопроса ода Пнина «Бог» изобилует смелыми положениями, напоминающими атеистическую аргументацию

¹ К. Маркс, Ф. Энгельс. Избранные произведения в двух томах, т. 2. М., 1948, стр. 88.

философов-материалистов, в частности Гольбаха и Вольнея. Слух поэта поражен воплями, ропотом и стонами людей, которые, «не зря бедам конца», обвиняют в них не кого иного, как бога:

Повсюду слышу лишь стенанья!
Народы ропщут на творца:
«Доколе будешь злодеянья
Взводить на трон под сень венца?
И под щитом лучей своих
Щадить коварных, гнесть благих?»

Обвинения эти звучат более чем вызывающе, даже с точки зрения деиста. Идейный смысл этих обвинений против «творца» обнажен достаточно явно, а по своему политическому пафосу они становятся вровень со знаменитыми обличениями реакционной роли церкви, суеверий и религиозного фанатизма в оде Радищева «Вольность». Общий вывод, который напрашивается из рассмотрения од Пнина «Человек» и «Бог», сводится к тому, что Пнин был атеистом, хотя и не вполне последовательным, отдававшим дань деизму.

Тема человека-зидителя, руководимого своим разумом и опытом, осознавшего свое призвание в активной творческой деятельности на пользу человечества, широко разрабатывалась и другими поэтами Вольного общества. Очень значительное место занимает она в творчестве Востокова, который славил «человечества неутомимый гений» и называл человека «царем мира». В стихотворении «К строителям храма познаний» Востоков воспел «бессмертные умы» великих ученых, разрушавших основы религиозного мировоззрения на путях непосредственного опыта и ознаменовавших своей деятельностью всемирно-исторический прогресс научного знания.

Вы, коих дивный ум, художнически руки
Плезным на земли посвящены трудам,
Чтоб оный созидать великолепный храм,
Который начали отцы, достроят внуки!
До половины днесь уже воздвигнут он:
Обширен и богат, и светл со всех сторон. . .
О, сколь счастливы те, которы довершенный
И преукрашенный святить сей будут храм!
И мы, живущи днесь, и мы стократ блаженны,

Что столько удалось столпов поставить нам
В два века, столько в нем переработать камней,
Всею удобную, простую форму дать:
О, наши статуи украсят храм познаний,
Потомки будут нам честь должну воздавать! . .
Итак, строители, в труде не унывайте
Для человечества! — Уже награды вам
Довольно в вас самих, но больше уповайте;
Готовьтесь к звездным вы бессмертия венцам!

Установка на усвоение и распространение научного знания, в высокой степени характерная для всей просветительской мысли в России, начиная с Ломоносова, всецело разделялась радищевцами. Жившие в век великих научных открытий, они не только были хорошо знакомы со многими достижениями исследовательской мысли в области астрономии, физики, химии, геологии, медицины и т. д., разрушавшими ветхие представления о природе и человеке, но и видели свою задачу в пропаганде нового, научного мировоззрения.

В этой связи показательны внимание поэтов-радищевцев к людям тогда еще молодой русской науки. Пнин посвящает стихи знаменитому врачу О. К. Каменецкому, именуя его: «друг человечества нелестный». Попугаев прославляет виднейшего русского естествоиспытателя и медика И. И. Лепехина, рисуя образ самоотверженного труженика науки, посвятившего всю жизнь без остатка трудам «для славы россов», «для пользы общей». На научные темы писали и другие, менее заметные, поэты Вольного общества (В. Дмитриев, Н. Арцыбашев, Ф. Ленкевич и др.). Этой стороной своего творчества они также близки к Радищеву, который был ревностным пропагандистом научного опытного знания, придавал науке громадное значение в деле воспитания человека и сам внес существенный вклад в «научную поэзию».

Тема человека приобрела в творчестве поэтов-радищевцев конкретный социально-политический смысл. В самом образе человека, который вырастал из их поэзии, выделены и оттенены черты *гражданского героя*, выступающего с проповедью определенных убеждений, занимающего определенную общественную позицию. Устами этого гражданского героя гласила

«истина» — так, как понимали ее свободомыслящие русские люди 1790—1800-х годов, видевшие свое призвание в борьбе против тирании, притом в тех именно формах, которые борьба эта приобрела в условиях русской действительности.

В творчестве поэтов-радищевцев вопрос о гражданском герое ставился и решался как цельная литературная, художественная проблема. Все художественные средства, которыми они располагали, были применены к тому, чтобы закрепить в сознании современников впечатляющий образ человека, преисполненного чувствами гражданственности и возвышенной любви к родине. Востокову принадлежит лапидарно-четкая формулировка чувств, воодушевляющих такого человека: *«Любовь к Отечеству и долг гражданина»*.

Гражданственно-патриотическая тема широко представлена в поэзии радищевцев. Малоизвестный стихотворец и «синодальный регистратор» Иван Аристов при вступлении в Вольное общество представил стихотворение «Патриот», характерное для всего этого разночинского круга:

... патриот все презирает¹
Для счастья своей страны.
Любезная сынам Россия!
Мы за тебя всю кровь прольем!
На что примеры Аристидов,
Сцеволов, Регулов? У нас
Есть тож велики патриоты:
Пожарский, Минин, Филарет,
Которы доблестью своею
Спасли отечество от бед...

Далее Аристов характеризует «истинного» патриота, предвосхищая аналогичные характеристики в гражданской лирике Рылеева. Это тот,

Кто с твердым духом говорит
За правосудия зеркалом
Святую правду и закон, —
Тот только истинно достойный
Бессмертных лавров патриот...

¹ В смысле: жертвует собою, своими интересами.

Подобно Семену Боброву, на первый план Аристов выдвигает не князя Пожарского, но *гражданина* Минина, подчеркивая его незнатность и нечиновность:

То патриот достойный, редкий,
Отечества то истый сын;
То Минин — славный муж, который
От гибели Россию спас;
Незнатный родом, нечиновный,
Простой усердный гражданин. . .

«Любовь к Отечеству святая» в понимании людей этого круга была неотделима от борьбы со всяческим угнетением. Они усвоили радищевское представление о том, что «истинный человек и сын Отечества есть одно и то же», и в их гражданских стихах наглядно воплотилось то единство идей патриотизма и свободолюбия, которое Радищев внес в русскую литературу. Их гражданский герой, по словам Борна,

Будучи сыном отечества славы,
Усердием дышит о благе его;
Премудрость законов благословляет,
Злых тиранов в сердцах клянет.

Патриотические стихи радищевцев неизменно проникались гражданственной патетикой. Попугаев, откликаясь на военно-политические события 1805—1806 годов, пишет стихотворение «К согражданам», в котором неудачно обернувшаяся для русских война с Наполеоном осмысливается как борьба с тираном, покусившимся на вольность народа:

Восстаньте, чада громкой славы,
Восстаньте, россы величавы!
Уже враг в гордости своей
Судьбами царств располагает,
Свободе вашей угрожает!
Тебе ли, росс, расстаться с ней?
Тебе ли выю горделиву
Под иго чуждо наклонять,
Судьбу германцев насчастливу
И цепь позорну разделять? . .

Выразительные примеры гражданственно-патриотической лирики, рожденной в атмосфере героики Оте-

чественной войны 1812 года, встречаем у Востокова. В его патриотических стихах, написанных на темы дня, вовсе не звучат официозные ноты, но речь идет о все-народном единодушии перед лицом грозной опасности, нависшей над родиной. В стихотворении «Неразрешимый узел» Востоков оригинально переосмыслил тему «Гордиева узла», разрубленного Александром Македонским:

Но мог ли б он¹ и сей расторгнуть узел прочный,
Который, граждане, я предлагаю вам?
Ударьте по рукам!
Сплетется рука с рукою
И верой, правдою святою
Клянитесь друг за друга статьи!
Пусть Македонянин придет расторгать
Сей узел наш неразрешимый!
Единодушием связуемый, держимый,
И в мире и в войне пребудет крепок он.
Не из ремней, ниже из вервий сурова,
Из нежных прядей соплетен;
Они суть: совесть, честь, хранение данна слова —
Для благородных душ священнейший закон!

Знаменательна в патриотических стихах Востокова, написанных в связи с событиями 1812 года, символика тираноборчества, которая отличала политическую лирику радищевцев, а также и общий стилиевой облик их — «высокий» дифирамбический строй, с подчеркнутой торжественно-патетической интонацией, обилием «ударных» слов, вмещающих особого рода идейно-политический смысл. Вот, к примеру, отрывок из востокского стихотворения «К россиянам»:

Година страшных испытаний
На вас ниспослана, россияне, судьбой?
Но изнеможете ль во брани,
Врагу торжествовать дадите ль над собой?
Нет, нет. Еще у вас оружемощны длани,
И грудь геройская устремлена на бой.
И до конца вы устоите —
Домов своих и жен и милых чад к защите;
И угнетенной днесь Европы племенам

¹ Речь идет о «дерзком юноше», под которым следует понимать Наполеона.

Со смертью изверга свободу подарите:
Свой мстительный перун вручает небо вам...

И даже обращение Востокова к Александру I не имеет ничего общего с традиционным прославлением монарха, поскольку он фигурирует здесь лишь как некий символ всенародного объединения. Оно выдержано все в тех же тонах гражданственной патетики:

Друг человечества! Ты должен был извлечь
Молниевидный свой против злодея меч
И грозное свершить за всех людей отмщенье...

Выражение «друг человечества» встречается у Радищева (см., например, «Беседу о том, что есть сын Отечества»); в дальнейшем эту радищевско-востоковскую формулу находим у молодого Пушкина — в «Деревне» (1819).

С программной отчетливостью и агитационной прямолинейностью гражданские темы и образ гражданского героя разработаны в стихах Василия Попугаева. Стихи эти не блещут художественными достоинствами, но служат одним из самых ясных и выразительных проявлений радищевского начала в русской поэзии 1800-х годов. По духу, тону и содержанию это — поэзия гражданского подвига во имя торжества «общего блага» и утверждения прав человека на свободное существование. В своих стихах Попугаев гневно обличал насилие и произвол, господствующие в мире, славил самоотверженную борьбу с тиранией, звал «за общее благо кровь пролить».

Даже в тех случаях, когда Попугаев касался ходовых, наиболее распространенных поэтических тем, он разрешал их по-своему. Так, например, когда Попугаев пишет о дружбе, он вносит существенно иное содержание в самое понятие дружбы сравнительно с тем, какое вкладывали в него поэты-карамзинисты, с особенным усердием трудившиеся над жанром дружеского послания. Если у карамзинистов предметом дружеского обмена чувствами в стихах, как правило, служили сентиментально-пасторальные либо эпикурейско-вакхические радости «частного бытия», то у По-

пугаева (если не говорить о самых ранних его стихах) мы находим нечто принципиально иное. В его стихах нет ни слова ни об «опрокинутых чашах», ни о сладостном отдохновении на лоне природы. У него свое представление о дружбе. Он ценит это чувство необыкновенно высоко:

Дружба! дар небес бесценный,
Сладкий нектар жизни сей,
Гений мира, всей вселенной,
Божество души моей!

Но, тут же говорит Попугаев, если на земле действительно воцарится истинная дружба, она должна принести с собою «благо» и счастье всем сырым и обездоленным:

Раб не будет пресмыкаться
Пред владыкою своим,
Тяжки цепи истребятся,
Зло рассеется, как дым...

В стихотворении «К друзьям», выдержанном в тоне гражданского поучения, Попугаев излагает целую программу общественного поведения человека в духе моральных концепций просветительства. Человек, осознавший свое назначение в мире, не должен гоняться «за тенью призраков пустых», за «ложной суетой» внешних почестей. Он должен быть «доволен титулом гражданина», презирать «злато Крезов» и не прельщаться «кровавыми лаврами» триумфатора. Ему не приличествует

Блестать богатством, орденами,
В архивах предков вырывать,
Гордиться титулами, чинами,
В сатрапских негах утопать...

Нет, человек-гражданин видит свое призвание в одних «добрых деяниях», в практической деятельности на пользу человечества. С этой точки зрения Попугаев и рисует свой идеал дружбы. Это союз людей, объединенных общими мыслями, воодушевленных гражданскими добродетелями и готовых пожертвовать собою ради «общего блага»:

Не будем счастья в сем мире
Средь шумных почестей искать...
Но будем мы всегда готовы
Судьбу несчастных облегчить,
За правду даже несть оковы,
За обще благо кровь пролить...

Программа общественного поведения гражданина изложена Попугаевым и в другом, быть может наиболее удавшемся ему, стихотворении — «Письмо к Борну». Но здесь она изложена, так сказать, негативно — в плане сатирического обличения мнимых «друзей человечества», либеральных краснобаев, решительных на словах, но робких на деле, изменяющих общественной «пользе» ради собственного «покоя»:

Он любит истину, науки на словах
И пользы обществу, как патриот, желает!
Франклин, мудрец Сократ велик в его очах,
С Катонем Утики он твердо умирает;
Для пользы лишь одной отечества живет;
Он мужем хочет быть примерным в свете оном
И все полезное священным долгом чтет;
Стремится к истине он с Локком и Невтоном!
Он ставит счастьем за правду пострадать;
Согражданам служить — в его устах блаженство.
Но к делу приступи! — вот час его узнать —
Чтоб добродетелей сих видеть совершенство!
Красноречивый твой умолкнул Демосфен,
Утический Катон кинжал из рук бросает,
Жалеет, в веки что прошедши не рожден, —
О настоящем же лишь только воздыхает!
В минуту в нем и жар и огонь его пропал —
Куда девалось к изящному стремленье?
Мудрец наш, наш герой, как лист, затрепетал —
Не от опасности, но от воображенья!
О красноречии своем он позабыл,
Не пользы обществу — покоя лишь желает;
Уж все ему равно — лишь он не тронут был,
Как хочет кто другой, — а он все оставляет.

С горячностью выступал Попугаев в защиту веротерпимости и признания природного равенства людей без различия рас и национальностей. Только тот «велик душою», «кто чужд смешных предубеждений, не враг других для веры мнений», кто видит в «кафре» и в «лапонце» (то есть лапландце) своих братьев:

Блажен, блажен тот друг людей,
Кто может снать с себя оковы
Предрассуждений света всех —
Любить, как братьев, все народы,
Не знать себе иных утех,
Как зреть счастливы смертных роды!

Но пока еще, в настоящих условиях, все это — идеал, мечта, воодушевляющая «друга человечества». Современное же состояние человека в мире — рабское, бесправное, и Попугаев изображает это состояние в мрачных красках:

Невинный страждет в утесненьи,
Злодей безбедственно живет...
Вотще питают нас надежды:
Правдивость в мире не живет,
Здесь чаще счастливы невежды,
А добрый, мудрый слезы льет...
Камиллов в ссылку посылают,
Дионам смертью платят злой...

Но отнюдь не пессимистический взгляд на современное положение вещей в конечном счете определяет идейную тональность гражданской лирики Попугаева (как это было и у Пнина). Герой этой лирики полон раздумий о судьбах земных владык, не радеющих о «благое общем», и эти его раздумья приобретают революционный накал, проникнуты радищевской верой в грядущее торжество справедливости. Герой провидит время, когда правый гнев покарает тиранов за их злодеяния:

Он видит: и золотые троны
Падут, повержены судьбой,
Тиранов скипетр и короны
Не примирят их с долей злой!
Димитрий, стражей окруженный,
Нерон в палатах золотых
Падут от черни разъяренной
И гибнут от деяний злых...

Тема неизбежной гибели тирана развернута и в стихотворении «Пигмалион». Поэт призывает тирана прислушаться к «плачу бедных», ибо

Где стон из груди излетает,
Где добродетельный в цепях,

Там меч свой правда вынимает,
Зрит Дионисий смерти страх,
И ужас мук — ему награда
Средь шумных празднеств и пиров...

Сквозь поэтические метафоры и исторические аналогии в стихах Попугаева проступают черты реального общественного быта. Когда он писал о «поносом труде» и о «тягостных цепях», стихи его достаточно явно намекали на русскую крепостническую действительность. А когда он упоминал о том, что «Камиллов в ссылку посылают», в этом тоже, может быть, следует видеть намек на судьбу Радищева.

Мотив гонений и гибели за правду, за свои убеждения красной нитью проходит сквозь поэзию радищевцев. «Но участь правды быть гонимой», — грустно констатировал Борн. Однако при этом радищевцы неизменно подчеркивали стойкость духа гонимого праведника:

Так праведник, гонимый роком,
В терпенье облачен стоит;
Средь бурь, в волнении жестоком,
Он тверд, как сей гранит.

(Востоков)

Не приходится сомневаться, что на формирование в поэзии радищевцев образа гонимого, но стойкого борца за правду прямое воздействие оказала судьба Радищева. Они писали о «добродетели» в «цепях» и в «изгнании». Тема человека как деятеля и творца, ревнителя «истины» самой логикой своего развития приводила радищевцев к постановке вопроса об идейных исканиях и горькой участи реального, притом русского человека, заявившего себя противником существующего порядка вещей. Именно поэтому радищевцы выдвинули и героизировали личность Радищева. Отклики Пнина и Борна на смерть автора «Путешествия» — это не только открытая общественная демонстрация сочувствия к личности и делу писателя, дерзнувшего восстать против «самовластия», но и первый в русской поэзии опыт создания целостного образа реального гражданского героя — уже не символического тирано-

борца античной или даже отечественной древности, но *данного* русского человека, современника, с именем, биографией, индивидуальной жизненной судьбой.

Вместе с тем образу Радищева в произведениях Пнина и Борна был придан обобщающий смысл. Они не ставили перед собою узко биографического задания, но хотели *на примере* Радищева показать типические черты и типическую судьбу свободолюбца и патриота. Борн называет Радищева «истинно великим человеком». Жизненный подвиг этого истинно великого русского человека должен был, по мысли его последователей, служить наиболее впечатляющим примером для его соотечественников, заявивших себя врагами деспотизма и рабства.

Аналогичную задачу ставили перед собой литераторы Вольного общества в многочисленных стихах и речах, написанных в 1805 году по случаю безвременной смерти Ивана Пнина. Поминки по Пнину также вылились в открытую идейную манифестацию. Пнин был провозглашен «другом человечества», «поэтом-философом» и «поэтом истины», «не боявшимся правду говорить», «возвышающим свой «неробкий глас» в защиту гонимой добродетели, самоотверженно трудившимся для «пользы народной» и блага родины, но вместе с тем — «несчастливым», павшим жертвой социальной несправедливости.

Единство тона и идейного содержания, воплощенное в оценках и характеристиках, которыми уснащены стихи и речи памяти Пнина, создает целостный образ поэта-гражданина, отличающегося стойкостью и чистотой своих убеждений, человека, чья духовная сила торжествует над властью неблагоприятных жизненных обстоятельств. Образ этот приобретает особую конкретность и убедительность, обогащаясь подробностями, находившими опору в личной жизни «несчастливого Пнина».

От стихов о Радищеве и Пнине, которыми откликнулись на их кончины деятели Вольного общества, историко-литературная перспектива ведет к программно заостренному образу поэта-гражданина в декабристской поэзии.

Стихи Пнина и Попугаева могут служить примером декларативного решения проблемы гражданской поэзии. При этом Пнин и Попугаев, писавшие в обычной манере, не ставили перед собой специальной задачи выработки нового поэтического стиля. Другое дело — Востоков. Решая ту же проблему, он тесно связывал ее с определенными заданиями собственно художественного порядка. В стихах Востокова гражданская тема получила специфическое *стилевое* выражение и при этом ничего не утратила из своего идейно-смыслового содержания, ибо в основе творческой работы этого одаренного поэта лежала установка на освоение неиспробованных приемов выражения *мысли* средствами стиха.

Показательным примером в этом отношении может служить программное стихотворение Востокова «Ода достойным», которого я уже касался в другой связи. Это своего рода шедевр поэзии радищевцев, в котором нашли наиболее отчетливое и художественно совершенное выражение не только воодушевлявшие их идеи, но и характерные черты высокого и монументального героически-гражданственного стиля — «важного тона», если воспользоваться формулировкой самого Востокова. Новые идеи и новый поэтический стиль представлены в этом превосходном стихотворении в целокупности, как органическое, нерасчленимое единство. Это — идейный манифест радищевцев, обнародованный в ответственный исторический момент как непосредственный отклик на важное политическое событие (смерть Павла I), и вместе с тем это творческая декларация Востокова как поэта-новатора, ищущего новые, неисхоженные пути в поэзии.

«Ода достойным», появившаяся на заре нового века, подводит к вопросу о роли, которую сыграл Востоков в деле обновления русской поэтической культуры в преддекабристскую эпоху.

Востоков прожил длинную жизнь (современник Державина и Радищева, он был свидетелем отмены крепостного права), его плодотворная научная дея-

тельность продолжалась свыше полувека и доставила ему громкую известность «отца славянской филологии», но как поэт он целиком принадлежит эпохе 1800-х годов, когда (в 1805—1806 гг.) появился его первый и, по существу, единственный стихотворный сборник — «Опыты лирические». После этого он писал стихи крайне редко, а примерно в середине десятых годов вообще оставил это занятие (несколько случайных стихотворений, равно как и переводы славянских народных песен, напечатанные в 1825—1827 годах, не могут идти в счет). Раннее выпадение поэта из живой литературной современности безусловно сказалось в том, что в дальнейшем, за редкими исключениями, он не попадал в поле зрения историков русской поэзии, — тем более, что его трудно было причислить к какому-либо определенному поэтическому направлению. Однако в представлении наиболее проникательных современников поэзия Востокова была крупным литературным явлением, и недаром стихи его целыми сериями перепечатывались в тогдашних хрестоматиях и «Собраниях образцовых сочинений». Не говоря уже о том, что в своем кружке — Вольном обществе любителей словесности, наук и художеств — Востоков был непрекаемым авторитетом и арбитром по вопросам литературного мастерства и эстетического вкуса, к его творческой работе внимательно присматривались представители различных поэтических школ и направлений начала XIX века.

Те (в общем — немногие) критики, которые отзывались о стихах Востокова в печати, единодушно отмечали резко выраженную оригинальность его поэтической манеры и отличающее его стихи «разнообразие метров». В 1817 году В. К. Кюхельбекер поставил творчество Востокова в связь с «усилиями Радищева», направленными на ниспровержение в поэзии «учения, совершенно основанного на правилах французской литературы». Кюхельбекер подчеркнул идейную сторону данного вопроса, утверждая, что смысл новых явлений в русской поэзии, преемственно связанных с почином Радищева и с творческими исканиями Востокова, заключался в стремлении присвоить русскому стихо-

творному языку «национальный дух» — «свободный и независимый».¹

Новаторская работа Востокова в области преобразования русского стиха шла по двум направлениям. С одной стороны, он осваивал (отчасти следуя примеру немецких поэтов — таких, как Клопшток и Фосс) стиховые формы античной лирической поэзии — так называемые логаядические (неравномерные) размеры и сложные строфические композиции (сафическая строфа и пр.). С другой стороны, внимание его привлекали литературная обработка и имитация стиховых форм русской народной поэзии, прежде всего — песни. При этом в качестве специфического «народного» размера — «русского склада» — выдвигался безрифменный хорей дактилического окончания.

Эти две, на первый взгляд различные, тенденции на деле играли одну и ту же роль, поскольку обе сводились к выработке новых, более свободных стиховых форм за счет преодоления укоренившегося силлабо-тонического стихосложения, узаконенных ямбов и обязательной рифмы. Стремление творчески освоить «народный» стих и применить его к новым художественным заданиям, характерное не для одного Востокова, было связано с распространением идеи народности, с подъемом интереса к национальной культуре, в частности — к народному творчеству. Историко-литературный смысл данного явления заключается в том, что обращение к фольклорным стиховым формам, равно как и разработка античного стиха, служило целям освобождения поэзии от стилистических шаблонов и строго нормативной поэтики классицизма.

В практике поэтов конца XVIII — начала XIX века борьба за освобождение поэзии от стеснительных правил и норм сводилась главным образом к ликвидации рифмы. В частности, Радищев высказался против рифмы в «Путешествии» и охотно писал белым стихом — пробовал «русский склад», гекзаметр, сафическую строфу. По его следам шел Семен Бобров, автор

¹ «Взгляд на нынешнее состояние русской словесности». — «Вестник Европы», 1817, т. 95, № 18, стр. 154.

громоздкой безрифменной поэмы «Таврида» (1798). При этом в представлении Боброва борьба против рифмы оборачивалась борьбой за *смысл* в поэзии, ибо в жертву рифме, как доказывал Бобров (в предисловии к «Тавриде»), зачастую поэт вынужден принести свою «лучшую мысль» и тем самым «убить душу сочинения».

Востокову безусловно принадлежит наиболее крупная заслуга в деле теоретического обоснования русского «народного стиха». Он сделал это в замечательном, до сих пор не потерявшем научного значения, трактате «Опыт о русском стихосложении», впервые опубликованном в 1812 году и переизданном в расширенной редакции в 1817 году. Здесь русский былинный и песенный стих был впервые определен как система чисто тоническая, основанная на счете ударений, а не слогов. «Каков ни есть русский сказочный стих, — писал Востоков, — но русское ухо искони довольствовалося простою его гармониею, которую любит оно еще и теперь, когда уже познакомилось со стопами и рифмами. По сей-то причине заслуживает сей народный размер, сия собственность русской музыки, внимательного нашего рассмотрения». Практическим осуществлением теории «народного стиха», разработанной Востоковым, явились его поэма «Певислад и Зора» (1802) и ряд мелких стихотворений, а также позднейшие переводы сербских народных песен.

Теоретические наблюдения и творческие опыты Востокова не прошли бесследно для русской поэзии. В разработке античных стиховых форм по пути Востокова шли Гнедич, Кюхельбекер, Дельвиг и некоторые другие поэты. Понимание русского «народного» стиха, выдвинутое Востоковым, отозвалось в творчестве Пушкина, который высоко ценил «Опыт о русском стихосложении» и даже считал, что «настоящему русскому стиху» суждено гораздо большее будущее, нежели оказалось на самом деле: «Вероятно, будущий наш эпический поэт изберет его и сделает народным» («Путешествие из Москвы в Петербург»). В «Песнях о Стеньке Разине» и «Песнях западных славян», в «Сказке о рыбаке и рыбке» и «Сказке о попе и работ-

нике его Балде», в некоторых стихотворениях и отрывочных набросках Пушкин дал метрическое осуществление предложенной Востоковым формы «народного стиха» и усвоил русифицированный размер восточовских переводов сербских песен.

Старания Востокова обновить русское стихосложение не носили отвлеченно версификаторского, узко лабораторного характера. Метрический эксперимент был важен и интересен для него не как самоцель, не ради голого изобретательства, а как поиски новых средств поэтической выразительности. «Изобретение» служит у Востокова целям наиболее полного и точного выражения мысли средствами стиха. Самая усложненность стиховой формы, свойственная Востокову, находит объяснение в данной связи. Ритм, метр, сложные полиметрические композиции, словом — весь «механизм стиха» (пользуясь удачным выражением Востокова) был подчинен в его поэтической системе движению мысли, логике ее развития. Он подчеркивал, что в высоких жанрах, например в оде, надлежит заботиться прежде всего не о «музыке» звуко сочетаний, приятной для слуха, но о «собственной, тончайшей музыке, внятной душе, — музыке, в которой не столько важны число и мера *слов*, сколько число и мера *мыслей*». Поэтому, утверждал Востоков, в стихах на «высокие» и «важные» темы допустима усложненность формы, если она «происходит от быстроты и изобилия мыслей».

Эта внятно высказанная установка на смысловую содержательность стихотворной речи, предусматривающая подчинение «механизма стиха» — «быстроте и изобилию мыслей», вполне аналогична установке Радищева, в практике которого новаторство было всецело устремлено на присвоение поэтическому слову идейно-смысловой выразительности. Радищев настойчиво стремился индивидуализировать свою стихотворную речь и реформировать самый стих — единственно с той целью, чтобы с наибольшей точностью выразить на языке поэзии свои идеи, свои мысли.

Уместно напомнить в данном случае пример, приведенный самим Радищевым в «Путешествии» (глава

«Тверь») в свидетельство тому, что он в интересах максимально точного выражения мысли намеренно поступился благозвучием и гладкостью стиха. По поводу одной из строф оды «Вольность» он писал: «Сию строфу обвинили. . . за стих «Во свет рабствá тьму претвори». Он очень туг и труден на изречение ради частого повторения буквы Т и ради соития частого согласных букв: «бства, тьму, претв.» . . . Согласен. . . хотя иные почитали стих сей удачным, находя в негладкости стиха изобразительное выражение трудности самого действия». Стремление изобразить «самое действие» средствами стиха знаменовало новый принцип поэтического мышления, внесенный Радищевым в русскую поэзию, и Востоков безусловно разделял этот принцип.

Новая форма нужна была Востокову не сама по себе, а для того, чтобы выразить новое содержание. Его поэзия прежде всего очень *содержательна*. Ее материал — философия, мораль, наука. О высоком и важном, естественно, нельзя было говорить на языке «легкой» и жеманной поэзии карамзинистов, в тоне светской салонной «болтовни». Высокие идеи и важные темы, короче говоря — идейное, научное содержание настоятельно требовало новых форм и средств выражения идей и понятий. Отсюда — стремление Востокова выработать на новой основе поэтический стиль высокого ораторского «витийства», призванный даже внешним образом продемонстрировать то «пламенное поэтическое воображение», без которого, по мнению Востокова, поэту нельзя стать «истинным артистом».

Дифирамбический пафос, торжественная приподнятость ораторской речи, поза поэта-пророка, гласящего «высокие истины» одному ему присущим «языком богов», грандиозность и зрительная ощутимость образов, резкая выразительность стихотворного языка, оснащенного славянизмами и библеизмами, преимущественное тяготение к жанру монументальной монологической оды и лирически-философского размышления на темы натурфилософского, исторического или морально-дидактического порядка — суть типические черты «витийственного» стиля поэзии Востокова с ее принципиальной, теоретически осознанной установкой

на «смысл» и «изобретение» в их органическом единстве.

Характерным примером этого стиля со всеми его формальными особенностями может служить большое стихотворение «Тленность» («поэма вольными стихами», как назвал его сам Востоков), отличающееся сгущенностью своего смыслового содержания и единоцелостным охватом сложной, многосоставной темы, — от изображения катаклизмов, происходящих в природе, поэт свободно переходит к размышлению о судьбах человечества, причем речь его сразу же проникается пафосом гражданственности:

Средь беспредельных равнины океана
Гора высокая стоит.
Златыми тучами глава ее венчанна,
Пучина бурная у ног ее кипит.
Стихий надменный победитель,
Сей камень-исполин,
Другой Атлант-небодержитель,
Измену зря во всем, не зыблется един...

Но дни его гордыни длились
Не вечно...

Уже в немногих глыбах черных,
Которы из воды встают
И серный дым густой дают,
Остатки зрю его величья. — Всех презорных
Тиранов, силою гордящихся своей,
Подобный ждет конец, подобный мавзолей...
Чем выше кто чело надменное вознес,
Тем ниже упадает.

Рука Сатурнова с лица земли сметает
Людскую гордость, блеск и славу, яко прах.
Напрасно мните вы в воздвигнутых столпах
И в сгромаждении тьмутетней пирамиды
Сберечь свои дела от злой веков обиды...

и т. д.

В первоначальной редакции этого стихотворения сближение темы катаклизма в природе с темой судьбы тирана было осуществлено с еще большей прямоотой:

Ах, не подобна ли гора сия царю,
Который силами, богатствами гордится,
Но славы истинной не тщится
Делами добрыми стяжать...

И бога правды не страшится
Неправдой раздражать!

Такие стихи, не говоря уже об их содержании, всем своим стилевым обликом были вызовом поэтам карамзинской школы, озабоченным больше всего «гладкостью», «плавностью» и «сладкозвучием» своих творений и «точным» (на деле пуристским) словоупотреблением и словосочетанием. Равно нарушал Востоков и схоластические строгие правила, узаконенные в поэтике старого классицизма. Это, между прочим, видно из его словаря.

Язык стихотворений Востокова — сложного состава. Он очень пестр. «Высокая» лексика церковнославянского происхождения перемешана в нем с элементами самого «грубого» бытового просторечия и со словами, заимствованными из арсенала научной и специально «художнической» терминологии. Зато в нем почти вовсе не обнаруживается шаблонных «поэтизмов», уснащающих язык «легкой поэзии» карамзинистов.

Такие слова, как: *рцы, женет, об-он-пол, комуждо, истнить, очеса, телицы, рамена, криле, презорные* и т. п., свободно совмещались в стихотворном языке Востокова с такого рода речениями, как: *угобзить, обомлел, пойло, взапуски, попойка, вздернул уши, пазуха, скотски, умяклое, зимушка, пужливый* и т. п. Наряду с этим в стихах Востокова мы встречаем новые слова-термины, зачастую непривычные для слуха современников, как: *электризация, гармония, ансамбль, фантомы, полюс, феномен, мистерии, контрасты, инстинкт, аэра, центр, концерт* и т. д.

Проблемным приемом Востокова являются лексические и семантические «сдвиги», когда слово, не бытующее в поэтическом языке, взятое из разговорного просторечия или специфической терминологии, вводится в узаконенный лексический ряд и ставится в необычную, порою даже парадоксальную, связь с «высокими» словами. Суть данного приема также заключалась в резком нарушении установленного классицизма и в основном разделявшегося карамзинистами

принципа жанровости литературного языка. Согласно этому принципу просторечие, допустимое в низких жанрах (скажем, в баснях и притчах), не должно было смешиваться ни с патетикой «славянщины», ни с «поэтизмами». Востоков же, напротив, с редкой свободой смешивал «высокое» с «низким», и это составляет, быть может, наиболее резкую черту его языкового творчества. При этом разные языковые струи не просто соседствуют в его стихах, но именно смешиваются, проникают одна другую.

Так, например, он не усомнился сказать в стихотворении на самую высокую тему («Бог в нравственном мире»): «Помрет он *скотски* — так, как жил. . .», или — в другом случае: «И ананасу и грибу идет в дожде небесном *пойло*. . .» В данном контексте слово *пойло* производило комическое впечатление и впоследствии было заменено нейтральным словом *питье*. Но как принцип резкое нарушение привычной упорядоченности словаря и семантики лежало в основе языкового творчества Востокова, — и это придавало ему особую эффективность. В словах, взятых из разных речевых пластов и поставленных в необычную связь, открывались новые, дополнительные грани смысла: «электризация любви», «неосязаемый пункт», «очаровательные сцены», «даровитая осень», или (в портретном изображении женщины): «О, гармония какая в редкий сей ансамбль влита! . . .» — причем слово *ансамбль* было еще столь редкостным, что Востоков счел нужным объяснить его значение в примечании («Ансамбль — техническое слово, употребляемое художниками; значит: хорошо согласованная совокупность частей в изображении чего-либо»).

Вот как, к примеру, реализовался Востоковым принцип смещения лексических рядов и элементов различных стилей — в стихотворении «К Борею, в мае», где струя высокого метафорического словоупотребления (согласно которому печь называется «олтарем Вулкана», а поленница — «гекатомбом дров») и струя просторечия — сливаются в едином потоке:

Нева давно уж урну оттаяла
От льдин: лелеет барки в объятиях,

И я давно олтарь Вулкана
Чтить перестал гекатомбом дров...
Лучами солнца растворенный,
Воздух амврозией нас питал...
И на берегах озелененных
Слышимо было мычанье стад...

Или еще пример — стихотворение «К зиме» (1807), одно из лучших у Востокова, в котором он достиг вообще-то несвойственной ему свободы поэтического дыхания:

Приди к нам, матушка-зима,
И приведи с собой морозы! ..
И дай нам странствовать по суху
Над пенной хлябью реки;
Подставив под ноги коньки,
Крылатому подобно духу,
Не уступать в бегу коням;
Катиться легким вслед саням, —
Саням, усаженным четами
Младых красавиц в соболях,
Под пурпуровыми фатами.
Они на новых сих полях
Явятся новыми цветами;
Чтоб царство украшать зимы, —
И с ними не озябнем мы! ..

Здесь тоже просторечие вторгается в упорядоченную стихотворную речь:

Приди, сberi в морщины строги
Умяклое лицо земли
И на святой Руси дороги
Пушистым снегом устели...
Дохни, Борей, на нас сурово
И влажный осуши эфир.
С тобою русакам *здорово*...

Такой яркий «простонародный» колорит, конечно, встречался в русской поэзии и до Востокова (достаточно вспомнить Державина), но это обстоятельство не умаляет поэтической смелости Востокова и оригинальности его творческой манеры, поскольку излюбленные им лексические и семантические «сдвиги» открывали перед стихотворным языком новые возможности, которыми все шире пользовались поэты, писавшие после Востокова.

В его творчестве наиболее отчетливо проявились

связанные с опытами Радищева новаторские художественные тенденции, в основе которых лежало стремление создать новую как по содержанию, так и по стилю поэзию гражданского чувства и философской мысли. Существо этого новаторства заключалось в том, что вопрос о новом идейном содержании поэзии и вопрос о новом поэтическом стиле решались не разобщенно, а в тесном соотношении. Востоков поставил перед собою задачу выразить на языке поэзии свое философское, общественное и художественное мировоззрение — в специфических формах стиля высокой и напряженной гражданской патетики, и решению этой главной и общей задачи должны были служить все применявшиеся им средства и приемы поэтической изобразительности.

Проблема Востокова — проблема поэта-одиночки, пошедшего наперекор установившимся традициям поэтической культуры и достигшего на этом пути бесспорного успеха, поскольку именно ему удалось сказать в поэзии своего времени новое слово, не повторив при этом ни Батюшкова, ни Жуковского. При всем том судьба его оказалась не из легких.

Поэт-мастер и теоретик, нарушавший привычные нормы и каноны, да к тому же еще отличавшийся усложненностью своего стихотворного языка, «шероховатостью слога», он, естественно, не мог рассчитывать на сколько-нибудь крупный успех в широкой читательской среде. Работа его была оценена по достоинству лишь в узком кругу единомышленников и соратников, да и позже — только в отдельных, немногих случаях (Кюхельбекер, Пушкин). Преувеличивать значение Востокова, конечно, не следует, но нельзя не признать, что в перспективе дальнейшего развития русской поэзии роль, которую сыграл он в свое время, определяется с достаточной полнотой и ясностью.

* * *

Поэты-радищевцы, в меру своих не слишком больших сил и довольно ограниченных возможностей, участвовали в решении наиболее актуальных задач, возникших перед русской литературой в начале XIX века.

Вдохновляясь примером и опытом Радищева, они пришли к постановке и решению (и в теоретической и в творческой плоскости) важнейших идейно-художественных проблем, с большей глубиной и последовательностью решенных в дальнейшем писателями декабристского направления: проблем народности и национально-самобытного характера литературы, ее социально-воспитательного и агитационного значения, общественного призвания писателя, создания гражданской поэзии и выработки ее специфического стиля, обогащения поэтического языка и обновления стиховых форм.

Творческий опыт наиболее талантливых поэтов и теоретиков данного круга безусловно учитывался деятелями декабристского литературного движения. Иные из них, как В. Кюхельбекер, сами засвидетельствовали свое заинтересованное и внимательное отношение к радищевцам. Но гораздо более существенно то обстоятельство, что между поэтами-радищевцами и поэтами декабристского направления обнаруживается объективная историческая преемственность — в проблематике, идеях, темах, художественных принципах. Так, опыт работы Ивана Пнина в области гражданской лирики непосредственно подводит к творчеству Рылеева и В. Раевского, а принципы монументального гражданственно-героического стиля, оформлявшегося в поэзии Востокова, равно как и сказавшаяся в нем тенденция нового понимания античности как гражданского и эстетического идеала, получили углубленное осуществление в творчестве таких поэтов, как Гнедич, Катенин и Кюхельбекер.

Программно-теоретические установки и творческая практика поэтов-радищевцев отразили начальный период длительного и сложного процесса формирования и развития русской гражданской поэзии первой четверти XIX века. Дальнейшие ее судьбы были связаны с самым значительным событием эпохи — с «грозой Двенадцатого года», вызвавшей к жизни поколение поэтов-декабристов и Пушкина. Поэты-радищевцы своим творчеством подготовили подъем и расцвет русской гражданской поэзии.

ЛИТЕРАТУРНАЯ

ПРОГРАММА

ДЕКАБРИСТОВ



Исторические заслуги, — указывал В. И. Ленин, — судятся не потому, чего *не дали* исторические деятели сравнительно с современными требованиями, а потому, что они *дали нового* сравнительно с своими предшественниками». ¹

С этой точки зрения и надлежит оценить роль, которую сыграли декабристы в исторической и культурной жизни России.

В знаменитой статье «Памяти Герцена» (1912) В. И. Ленин, устанавливая периодизацию русского освободительного движения, со всей отчетливостью определил место декабристов в истории революционной борьбы:

«...мы видим ясно три поколения, три класса, действовавшие в русской революции. Сначала — дворяне и помещики, декабристы и Герцен. Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа. Но их дело не пропало. Декабристы разбудили Герцена. Герцен развернул революционную агитацию.

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 2, стр. 178.

Ее подхватили, расширили, укрепили, закалили революционеры-разночинцы, начиная с Чернышевского и кончая героями «Народной воли». Шире стал круг борцов, ближе их связь с народом. «Молодые штурманы будущей бури» — звал их Герцен. Но это не была еще сама буря.

Буря, это — движение самих масс. Пролетариат, единственный до конца революционный класс, поднялся во главе их и впервые поднял к открытой революционной борьбе миллионы крестьян. Первый натиск бури был в 1905 году. Следующий начинает расти на наших глазах». ¹

В. И. Ленин подчеркнул, что декабристы были в России первыми, кто сознательно и организованно, с оружием в руках, выступил против твердыни самодержавно-крепостнического государства: «В 1825 году Россия впервые видела революционное движение против царизма, и это движение было представлено почти исключительно дворянами». ² В другом месте В. И. Ленин указал, что к декабристам исторически восходит русская республиканская традиция. ³

Назвав декабристов *дворянскими революционерами*, В. И. Ленин выявил и подчеркнул как сильные, так и слабые стороны в деятельности этих ранних борцов против крепостничества и абсолютизма. Они были *революционерами* — потому что стремились насильственно разрушить феодально-крепостнический строй, — и в этом была их сила. Они были *дворянскими революционерами*, — и в этом была их слабость, определившая классовую ограниченность их идеологии, политической программы и революционной тактики.

Пережитки старого феодального мировоззрения и классовые предрассудки, тяготевшие над декабристами (даже над наиболее радикальными из них), с особенной ясностью сказались в их боязни опереться на широкие народные массы. Это обстоятельство сыграло

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 21, стр. 261.

² Там же, т. 30, стр. 315.

³ Там же, т. 6, стр. 319.

решающую роль в неудачном исходе декабрьского восстания 1825 года. В. И. Ленин, характеризуя период дворянской революционности, писал: «Крепостная Россия забита и неподвижна. Протестует ничтожное меньшинство дворян, бессильных без поддержки народа».¹ Именно потому, что декабристы не опирались в своей борьбе на народные массы, они оказались бессильными перед пушками Николая I.

Слова В. И. Ленина о том, что дворянские революционеры были «страшно далеки» от народа, не следует понимать в том смысле, что декабристы оставались безучастными к народным нуждам и интересам. Нет, будучи горячими патриотами и свободолюбцами, они много думали о тяжелой судьбе народа, глубоко сочувствовали ему, увлеченно мечтали об его освобождении и ради этого пошли на революционный подвиг. В. К. Кюхельбекер — один из виднейших представителей декабристского литературного движения — говорил в своем показании Следственной комиссии: «...взирая на блистательные качества, которыми бог одарил народ русский, народ первый в свете по славе и могуществу своему, по своему звучному, богатому, мощному языку, коему в Европе нет подобного (и это для писателя не последнее), наконец по радушию, мягкосердечию, остроумию и непамятозлобию, ему пред всеми свойственному, я душою скорбел, что все это подавляется, все это вянет и, быть может, опадет, не принеши никакого плода в нравственном мире!..»

Но искреннее стремление декабристов освободить народ, коснеющий в рабстве, вступало в непримиримое противоречие с их боязнью самостоятельного народного движения. Такое движение представлялось им слепой и неорганизованной стихией, «бурным мятежом», угрожающим существованию всего дворянского класса, не исключая и самих дворянских революционеров. В этой боязни народного «бунта» сказались не только инерция дворянско-просветительских представлений о необходимости сперва просветить народ, а потом уже предоставить ему свободу (ибо иначе он не

¹ Там же, т. 23, стр. 398.

сумеет разумно воспользоваться ею), но также и тревожные воспоминания о народной расправе над дворянами во время крестьянской войны под руководством Емельяна Пугачева и об «ужасных происшествиях», ознаменовавших якобинскую диктатуру в годы французской буржуазной революции.

Поэтому в своей борьбе с самодержавно-крепостническим государством декабристы искали пути и средства, которые привели бы их к победе без помощи народных масс. Таковы были тактика и стратегия декабристов. Они стремились достичь своей цели путем военного переворота, осуществляемого (силами войсковых частей, послушных своим командирам) *во имя народа, но без его непосредственного участия*. «Наша революция. . . не будет стоить ни одной капли крови, — провозглашал один из активнейших декабристов, М. П. Бестужев-Рюмин, — ибо произведется одной армией, без участия народа!»

Просветительские представления о народе, якобы еще не способном вести сознательную борьбу за свое освобождение, обусловили характер постановки и решения проблемы народа в идеологии декабристов, в их политических концепциях, и в творчестве писателей, в художественной форме выражавших идеи декабризма. Только очень немногие, наиболее глубокие и прозорливые идеологи декабризма приближались к правильному пониманию роли народных масс в историческом процессе.

Так, например, П. И. Пестель в своих показаниях Следственной комиссии говорил: «Мне казалось, что главное стремление нынешнего века состоит в борьбе между массами народными и аристократиями всякого рода, как на богатстве, так и на правах наследственных основанными». Н. А. Бестужев, человек глубокого политического мышления, заявлял: «До сих пор история писала только о царях и героях. . . О народе и его нуждах, его счастье или бедствиях мы ничего не ведали. Нынешний только век понял, что сила государства составляется из народа». Наконец, в дошедшей до нас записной книжке декабриста Н. А. Крюкова (близкого к Пестелю) содержится мысль о народе,

сформулированная с замечательной афористической четкостью: «С народом все можно, без народа ничего нельзя».

Однако такого рода мысли являлись исключением из правила. Подавляющее большинство декабристов решало вопрос о назначении народа иначе. В их представлении роль борца за дело свободы целиком и полностью принадлежала герою-одиночке, вождю, смело восстающему за правду и за «угнетенную свободу человека» и самоотверженно погибающему в неравной борьбе.

На этой почве сложилась декабристская поэзия подвига и гибели — как личного подвига и личной гибели гражданского героя. Поэзия эта была одним из самых ярких и эмоционально впечатляющих проявлений русского революционного романтизма.

При всем том декабристы, будучи романтиками в основах своего философского и художественного мировоззрения, сумели ответить на самые насущные запросы русской жизни первой четверти XIX века — потому что мировоззрение их формировалось под воздействием окружавшей их исторической действительности, потому что, провозгласив своей целью уничтожение крепостного гнета и тирании самодержавия, они действовали в интересах народа и, в конечном счете, отражали его чаяния и надежды.

Декабристы выступили в период разложения крепостного хозяйства, во всемирно-историческую эпоху буржуазно-революционных движений в Европе, в ходе которых старый феодальный строй оказался сломленным и разрушенным и на смену ему пришел новый, капиталистический строй. «Российская буржуазия в собственном смысле слова никогда не была революционна. . .» — указывал В. И. Ленин.¹ Поэтому в первый период освободительного движения задачу ликвидации отжившего феодально-абсолютистского строя, препятствовавшего историческому развитию России, взяли на себя дворянские революционеры — декабристы. В своих программных документах они провозгласили

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 16, стр. 135.

основные лозунги буржуазной революции, исходя из самых первоочередных задач, стоявших перед прогрессивными силами русского общества.

Решения этих задач — ликвидации крепостного права и абсолютизма — властно требовали предельно обострившиеся противоречия между ростом производительных сил в России и потенциальными возможностями русского народа, с одной стороны, и отсталым, косным феодально-крепостническим строем — с другой. Крепостное право и абсолютизм сковывали нормальное политическое, экономическое и культурное развитие громадной страны.

Политический радикализм декабристов вырос из их патриотических размышлений о будущем родины. Все они страстно и беззаветно любили Россию и желали ей силы и славы. «Принести в жертву все, даже самую жизнь, ради любви к Отечеству — было сердечным побуждением нашим», — вспоминал М. И. Муравьев-Апостол. К. Ф. Рылеев в показаниях на следствии особо подчеркивал, что членом тайного общества мог стать только тот человек, который «пламенно любил Россию и для блага ее готов был на всякое самоотвержение».

Выясняя воздействие исторической действительности на формирование мировоззрения и идеологии декабристов, следует указать на те обстоятельства, которые имели в этом смысле значение чрезвычайно важное, более того — решающее. Во-первых — это величественная эпопея всенародной освободительной войны 1812 года, завершившаяся триумфальной победой не только русского оружия, но и русского «народного духа» (по выражению декабристов). Далее — это происходившая в стране классовая борьба, сильное брожение народных масс, непрекращавшиеся волнения крепостных крестьян, восстания на Дону (в 1818—1820 годах), в военных поселениях (1819 год), в Семёновском полку (1820 год). Опыт буржуазных революций в Америке и во Франции, а также поучительные уроки освободительного движения в странах Западной Европы, начиная с 1820 года вступившего в период подъема, в свою очередь были учтены дворянскими

революционерами. Декабристский поэт следующими словами охарактеризовал это бурное время:

Везде брожение умов,
Везде иль жалобы, иль стоны,
Оружий гром, иль звук оков,
Иль упadaющие троны. . .

Кюхельбекер, в 1820 году отправляясь в заграничное путешествие, предвкушал не только «очарования» природы и искусств, которыми должны были встретить его страны Запада, но и грозную атмосферу разгоревшейся там освободительной борьбы:

Пируй и веселись, мой Гений!
Какая жатва вдохновений!
Какая пища для души!
В ее божественной тиши —
Златая дивная природа. . .
Тяжелая гроза страстей,
Вооруженная свобода,
Борьба народов и царей!

О раскаленной атмосфере времени говорил П. И. Пестель: «. . . имеет каждый век свою отличительную черту. Нынешний ознаменовывается революционными мыслями. . . Дух преобразования заставляет, так сказать, везде умы клокотать». Другой виднейший деятель декабристского движения, Н. И. Тургенев, в чрезвычайно отчетливой форме выразил настроения русских свободолюбцев, чутко прислушивавшихся к тому, что подсказывал им «дух времени»: «Ныне, когда ум народов, вследствие сильных происшествий, оставил бесплодные поля мрачной мечтательности и обратился к важной действительности; ныне, когда дух времени в несколько лет пролетел несколько столетий, ныне нравственные потребности наших соотечественников получили иное свойство. . .» И далее — о военных кампаниях 1812—1815 годов: «Последняя война имела в сем отношении решительное влияние на Россию. . . Мы, по крайней мере многие из нас, увидели цель жизни народов, цель существования государств; и никакая человеческая сила не может уже обратить нас вспять».

Декабристы не случайно так единодушно и так настойчиво указывали на «решительное влияние», которое Отечественная война 1812 года оказала на русскую жизнь вообще и на формирование их идеологии в частности. «Мы были дети 1812 года», — сказал М. И. Муравьев-Апостол, считавший Отечественную войну и ее политические последствия «источниками революционных мнений». А. А. Бестужев также видел в Отечественной войне «начало свободомыслия в России»; И. И. Пущин рассматривал ее как «политическую эпоху народной жизни русской».

Тенденция такого понимания Отечественной войны сказалась очень рано, в самый разгар борьбы русского народа с наполеоновскими полчищами. В стихах Федора Глинки, написанных в начале войны, патриотическое чувство приобретало особый оттенок и над самим словом *свобода*, ближайшим образом имевшим в виду освобождение страны от неприятеля, как бы ставился еще и другой акцент, придававший этому слову более широкое, более общее значение:

Теперь ли нам дремать в покое,
России верные сыны?
Пойдем, сомкнемся в ратном строе,
Пойдем, и в ужасах войны
Друзьям, отечеству, народу
Отыщем славу и свободу,
Иль все падем в родных полях!
Что лучше: жизнь, где узы плена,
Иль смерть, где росские знамена?
В героях быть или в рабах?

Еще более ясно высказался в таком духе «первый декабрист» В. Ф. Раевский, чья революционная деятельность была раскрыта властями еще за четыре года до восстания 14 декабря. В послании к декабристу Г. С. Батенькову (1818—1819 годы) он писал:

Когда над родиной моей
Из тучи молния сверкала,
Когда Москва в цепях страдала
Среди убийства и огней,
Когда губительной рукою
Война носила смерть и страх
И разливала кровь рекою

На милых отческих полях, —
Тогда в душе мсей свободной
Я узы в первый раз узнал
И, видя скорби глас народной,
От соучастья трепетал. . .

Декабристы, в большинстве принимавшие участие в военных походах в годы наполеоновских войн, имели случай близко и повседневно наблюдать крепостного крестьянина, одетого в солдатский мундир. В 1812 году, в обстановке грандиозного всенародного национально-патриотического подъема, русский крестьянин, забитый и униженный помещиками и чиновниками, показал всему миру высокие примеры героизма, самоотверженности и душевного величия. Будущие декабристы воочию увидели великолепные качества русского народа — его свободолюбие, талантливость, волю к победе, и прониклись верой в его безграничные творческие возможности. Так, в сознании передовых русских людей начала XIX века складывалось и оформлялось представление о русском национальном характере.

Отечественная война сыграла громадную роль в укреплении и росте в русском народе чувства национального самосознания. На это обстоятельство с большой проницательностью указал декабрист А. А. Бестужев: «Наполеон вторгся в Россию, и тогда-то народ русский впервые *ощутил свою силу*; тогда-то пробудилось во всех сердцах чувство независимости, сперва политической, а впоследствии и народной». Белинский позже сказал, что 1812 год обусловил «внутреннее преуспеяние гражданственности» в России, «пробудил ее спящие силы и открыл в ней новые, дотоле неизвестные источники сил. . . возбудил народное сознание и народную гордость». Белинский, вынужденный в подцензурной печати прибегать к эзопову языку, под «преуспеянием гражданственности», бесспорно, имел в виду пробуждение политической активности народных масс. Солдаты и ратники, в жестоких битвах отстаивавшие честь и независимость родины, после добытой ими великой победы ждали освобождения от крепостной

зависимости или хотя бы частичного облегчения своей участи.

Между тем исход Отечественной войны и зарубежных кампаний с необыкновенной отчетливостью выявил вопиющее противоречие между стремлениями и возможностями народа-победителя и его рабским, бесправным прозябанием под тиранической властью царя и помещика. Первое время многим из дворян-свободолюбцев еще казалось, что жертвы, понесенные народом, будут вознаграждены царизмом. Оптимистические надежды на «быстрейшие перемены» выразил даже умнейший Н. И. Тургенев, записавший в 1814 году в своем дневнике: «После того, что русский народ сделал... освобождение крестьян мне кажется весьма легким, и я бы поручился за успех даже скорого переворота». Именно эти либеральные иллюзии в течение долгого времени питали разного рода реформистские проекты (рождавшиеся даже в декабристской среде), предусматривавшие дарование свобод «сверху», «по манию царя» (как сказал Пушкин в своей юношеской «Деревне»).

Однако действительность с каждым годом наносила все более сокрушительные удары подобного рода иллюзиям. Закабаленный трудовой народ жестоко обманулся в своих надеждах и ожиданиях. Подъем национального самосознания и пробуждение политической активности народных масс не могли не встревожить крепостников. Русский царизм вкупе с силами международной реакции сразу же после окончания войны с Наполеоном перешел к политике укрепления пошатнувшихся основ абсолютизма и удушения свободы.

В мрачной обстановке феодально-абсолютистской реакции, возглавлявшейся «Священным союзом» трех монархов (русский царь, австрийский император и прусский король), будущие декабристы быстро убедились в том, что тяжкие испытания и жертвы русского народа останутся без какого бы то ни было воздаяния. «Еще война длилась, когда ратники, возвращаясь в дома, первые разнесли ропот в классе народа, — писал впоследствии А. А. Бестужев в своих объ-

яснениях Следственной комиссии. — «Мы проливали кровь, — говорили они, — а нас опять заставляют потеть на барщине. Мы избавили родину от тирана, а нас опять тиранят господя». Бестужеву вторил П. Г. Каховский: «В 1812 году нужны были невероятные усилия; народ радостно все нес в жертву для спасения Отечества. Война кончена благополучно... но народ, давший возможность к славе, получил ли какую льготу? Нет!..»

Яркой иллюстрацией к этим горьким размышлениям декабристов должна была явиться задуманная А. С. Грибоедовым народно-героическая драма об Отечественной войне 1812 года. В основе грибоедовского замысла лежала глубокая вера в творческие возможности народа — в случае, если он будет свободен. Драма должна была прославить подвиг народа, спасшего родину в час грозной опасности, и, вместе с тем, разоблачить деспотизм и лживость правящего класса крепостников. Сюжет драмы должна была составить трагическая судьба крепостного ополченца, после беспримерных подвигов вынужденного вернуться «под палку господина» и в отчаянье кончающего самоубийством. (До нас дошли только план драмы и набросок одной из сцен.)

Так декабристы, эти «лучшие люди из дворян» (по характеристике В. И. Ленина),¹ изживая либеральные иллюзии, приходили к мысли о необходимости насильственного свержения деспотизма. Вскоре после возвращения гвардии и армии из заграничного похода дворянские революционеры (в большинстве гвардейские офицеры) развернули подпольную политическую деятельность в конспиративных кружках и тайных обществах.

2

Историческое значение декабризма заключается прежде всего, разумеется, в том, что он был революционным общественно-политическим движением. Но

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 23, стр. 398.

он был также и широким идейным и общекультурным течением, оставившим глубокий, неизгладимый след в духовной жизни русского общества, в истории русской культуры. Декабристы выработали, обосновали и отстаивали свои взгляды на все, что волновало их душу и тревожило их воображение. Декабризм создал свое мировоззрение, свое понимание культуры и ее задач, свою мораль, свою эстетику. Он создал и свою литературу.

Среди активных участников декабристского движения было много лиц, профессионально занимавшихся литературой, и в их числе — несколько крупных писателей: Рылеев, Кюхельбекер, А. Одоевский, А. Бестужев (Марлинский), Катенин, Ф. Глинка, В. Раевский, Н. Бестужев. Еще существеннее тот факт, что влияние декабристских идей захватило очень широкий круг прогрессивных деятелей литературы 1810—1820-х годов и что с декабризмом были кровно связаны Пушкин и Грибоедов. Именно в этот период Пушкиным и Грибоедовым, с одной стороны, и писателями, связанными с тайными обществами дворянских революционеров, с другой, создавалась новая русская литература, которая честно и самоотверженно стала служить делу общественно-политического воспитания и освобождения народа.

Декабристская литература, — включая в это понятие не только писателей, состоявших членами тайных обществ, но и тех, кто находился в сфере их влияния, — представляла собою весьма серьезную культурную силу. Она числила в своих рядах не только талантливых поэтов, драматургов и прозаиков, но и влиятельных критиков, публицистов, историков, экономистов (А. Бестужев, Кюхельбекер, Катенин, О. Сомов, Н. И. Тургенев, М. Ф. Орлов, Н. М. Муравьев, А. О. Корнилович, Г. С. Батеньков, В. И. Штейнгель). Она располагала своими писательскими объединениями и органами печати.

Литературно-театральным филиалом Союза Благоденствия служил кружок «Зеленая лампа», известный по участию в нем Пушкина. Писатели-декабристы в значительной мере подчинили своему влиянию

наиболее крупное литературное объединение своего времени — Вольное общество любителей российской словесности. Литературным органом тайного Северного общества был альманах Рылеева и А. Бестужева «Полярная звезда». В известной мере таким органом можно считать и «Соревнователь просвещения и благотворения» — журнал, издававшийся Обществом любителей российской словесности. Печать декабризма лежала на альманахе «Мнемозина», издававшемся Кюхельбекером сообща с В. Ф. Одоевским, и на историческом альманахе «Русская старина», издававшемся А. О. Корниловичем. Писатели декабристского направления распространяли свое влияние и на некоторые другие повременные издания («Невский зритель», «Сын отечества»).

При всем различии индивидуальных взглядов и мнений писателей-декабристов по частным вопросам литературы, можно говорить о единстве идейно-художественных принципов, лежавших в основе их литературной деятельности. У них была своя литературная программа, которая целиком отвечала задачам политической работы тайных обществ и призвана была поставить литературу на службу насущным интересам освободительной борьбы.

С точки зрения соответствия или несоответствия этой программе декабристы судили (и по большей части осуждали) современную им русскую художественную литературу. Н. И. Тургенев, рассуждая (в 1819 году) о задачах «гражданского просвещения», сетовал: «Наша словесность ограничивается донныне почти одною поэзиею. Сочинения в прозе не касаются до предметов политики. Сия отличительная черта русской литературы делает ее неудовлетворительною для нашего времени. И у нас хотят теперь иной пищи моральной, более питательной, более соответственной требованиям и обстоятельствам века. Поэзия и вообще изящная литература не может наполнить души нашей, открытой для впечатлений важных, решительных».

Это был голос протеста против литературы бездейной, развлекательной либо рисовавшей действи-

тельность в приукрашенном, пасторальном виде. Подобного рода критические высказывания вовсе не означали, что декабристы не придавали важного значения литературе художественной. Напротив, осуждая безыдейность и вообще скудость мысли в современной литературе, деятели тайных обществ в своих программных документах и в своей практической революционной работе уделяли художественной литературе самое пристальное внимание, в полной мере учитывая богатые ее возможности как раз в деле «гражданского просвещения» и пропаганды революционных идей. Именно эта тенденция лежала в основе литературной политики, последовательно и планомерно проводившейся декабристами: они стремились к тому, чтобы осуществлять идейное руководство литературным движением, чтобы придать ему нужное, в их понимании, направление.

В уставе Союза Благоденствия, самой многочисленной из декабристских организаций, имеется специальный раздел «Слово», в котором речь идет об агитационно-пропагандистской функции *слова* — то есть ораторской речи и литературы. Посредством слова членам Союза вменялось в обязанность «превозносить добродетель, унижать порок и показывать презрение к слабости», внушать «стремление к общему благу» и т. д. Уставом также предусматривались издание «повременных сочинений, сообразно степени просвещения каждого сословия», равно как и коллективные занятия по «сочинению и переводу хороших нравственных книг», «разбор выходящих книг», организация литературных «вольных обществ», подлежащих контролю и руководству со стороны тайного общества, и т. п. Наконец, устав предъявлял вполне определенные не только политические, но и *эстетические* требования к приватным литературным занятиям лиц, принадлежавших к тайному обществу: «Члены, занимающиеся словесностью, должны на произведения свои налагать печать изящного, не теряя из виду, что истинно изящное есть все то, что возбуждает в нас высокие и к добру увлекающие чувства». Специально подчеркивалась в уставе обязанность литераторов

«обращать особое внимание на обогащение и очищение языка». Этой стороне литературного дела писатели-декабристы также уделяли большое внимание.

В уставе Союза Благоденствия была отчетливо сформулирована самая суть декабристской эстетики. Провозглашенное здесь понимание «изящного» стало краеугольным камнем литературной теории писателей декабристского направления.

Литература рассматривалась как мощное средство гражданского, патриотического и нравственного воспитания в духе передовых идей века. Устав предписывал «убеждать, что сила и прелесть стихотворений не состоит ни в созвучии слов, ни в высокопарности мыслей, ни в непонятности изложения, но в живости писаний, в приличии выражений, и более всего в непритворном изложении чувств высоких и к добру увлекающих; что описание предмета или изложение чувства, не возбуждающего, но ослабляющего высокие помышления, как бы оно прелестно ни было, всегда недостойно дара поэзии». Главная и общая цель писателя, как понимали ее авторы устава, заключается в том, чтобы стараться «изыскать средства изящным искусствам дать надлежащее направление, состоящее не в изнеживании чувств, но в укреплении, благородствовании и возвышении нравственного существа нашего».

Это была новая, революционная эстетика, всем своим духом и содержанием противоречившая художественным теориям, на которых базировалась литература, отвечавшая интересам господствующего класса. Центральные положения этой эстетики были практически реализованы в творчестве писателей, связанных с движением декабристов, — сначала в поэзии молодого Пушкина, затем в гражданской лирике декабристских поэтов.

Выдвинув новое понимание литературы и ее общественного значения, открыто утверждая связь литературы с политикой, настойчиво пропагандируя идею гражданского призвания писателя, декабристы продолжили и углубили традицию передовой русской литературы предшествовавшей эпохи — традицию, зало-

женную Радищевым и подхваченную группой радикально-демократических поэтов-радищевцев (И. Пнин, В. Попугаев, И. Борн, А. Востоков; к ним примыкает и ранний Н. Гнедич). Между Радищевым и его учениками, с одной стороны, и поэтами декабристского лагеря, с другой, устанавливается прямая историческая преемственность — в идеях, темах и принципах творчества.

Этим, понятно, не исчерпывается вопрос о литературной традиции в связи с творчеством писателей-декабристов. Радищев и радищевцы наиболее близки им по духу идейно-литературных исканий. Но, конечно, надлежит учитывать, что в формировании художественных воззрений декабристских писателей важную роль играли и такие приметные явления передовой русской литературы XVIII века, как трагедия Я. Княжнина «Вадим Новгородский», ода В. Капниста «На рабство», сатира Фонвизина, Новикова, Крылова и того же Капниста, гражданственная лирика Державина (ода «Властителям и судиям»).

Писатели-декабристы, опираясь на достижения русских просветителей XVIII века и на раннее творчество Пушкина, развернули борьбу за национальную независимость, самобытность и народность русской литературы. В этой борьбе принимали большее или меньшее участие все прогрессивные литературные силы, и она составляла основное содержание литературного процесса в России в 1810—1820-е годы.

Идея национального культурного самоопределения, как неперемного условия успешного развития русской культуры, как уже было сказано, с большой силой проявилась в атмосфере патриотического подъема в годы Отечественной войны и последовавших за нею событий. Сильное воздействие этой идеи сказалось и на постановке вопроса о создании новой русской литературы. К числу ранних и наиболее интересных документов, посвященных обоснованию идеи национальной самобытности в свете исторического опыта 1812 года, принадлежат статьи Федора Глинки «Рассуждение о необходимости иметь историю Отечественной войны 1812 года» и «Письмо к генералу

Н. Н. о переводе воинских выражений на русский язык» (обе — 1816 года). Непосредственным предметом статей Глинки являлся вопрос о создании «исторического повествования» об Отечественной войне, но рассуждения его имели гораздо более широкий смысл, касались общих литературных проблем.

Задачу создания национальной литературы Ф. Глинка теснейшим образом связывал с великой победой русского народа в освободительной войне. «Слава языка следовала за славою оружия, гремя и возрастая вместе с нею»; «уже занимается заря свободы *словесности* и *нравственности* нашей» — так формулировал он свою мысль (знаменательно здесь сочетание «словесности» и «нравственности» в некое нерасчленимое единство), доказывая, что героический, свободолюбивый народ, спасший родину от смертельной опасности и освободивший Европу от тирании завоевателя, должен иметь свою независимую, национально-самобытную, содержательную и непременно героическую литературу.

В статьях Ф. Глинки внятно звучит демократическая нота. Он подчеркивал, что задача создания национальной литературы должна быть решена в интересах всего народа, что литературные произведения должны быть доступны пониманию человека «всякого состояния». Эта демократическая установка Ф. Глинки приобретает особую убедительность в свете его «Писем русского офицера» (одной из популярнейших русских книг того времени), где впервые в легальной русской литературе в полный голос было сказано о том, что война 1812 года пробудила «дух народный, в бездействии дремавший», и что именно крепостные крестьяне «в скромной простоте своей явили себя истинными героями сего времени».

Далее: выступление Федора Глинки замечательно проникающим его духом резкого протеста против недостойной и пагубной подражательности чужому, иноземному в ущерб своему, отечественному; также — патриотической заботой о чистоте русского языка, призывом «не потерпеть владычества чуждых речений в священных пределах словесности своей»; наконец —

глубоким интересом к богатствам «народных преданий» и народного творчества: к летописям, к песням и былинам, к памятникам древней письменности.

Федор Глинка был не единственным, кто ставил эти вопросы. Еще раньше, в 1814 году, близкий к декабристским кругам Н. И. Гнедич в речи о причинах, замедляющих успехи русской словесности, в качестве одной из главнейших причин такого замедления назвал «невнимание к национальному и оригинальному — к родному языку и родной истории». Заслуга Ф. Глинки была в том, что он связал эти вопросы с пробуждением народного национального самосознания в эпоху 1812 года и тем самым вложил в них глубокий идейно-политический смысл.

Нужно иметь в виду, что проблема национальной независимости в области культуры весьма волновала идеологов и вождей декабризма. Постоянная забота об укреплении национально-самобытных основ русской культуры предписывалась уставом Союза Благоденствия. Член Союза обязывался «быть особенным образом приверженным ко всему отечественному и доказывать то делами своими» и в равной мере «показывать всю нелепую приверженность к чужеземному и худые его следствия».

Мысли и соображения, высказанные в 1816 году Федором Глинкой, в дальнейшем были развиты, уточнены и дополнительно обоснованы во многих литературно-теоретических декларациях и критических статьях, принадлежавших перу виднейших деятелей декабристского литературного движения. Всеми доступными им силами старались они обеспечить свободное развитие русской литературы в духе тех жизненных начал, которые лежали в основе многовековой исторической жизни русского народа.

Особенно энергично и настойчиво действовал в этом направлении В. К. Кюхельбекер (кстати сказать, тесно связанный с Федором Глинкой еще с лицейских лет). В статье 1817 года «Взгляд на нынешнее состояние русской словесности» он прослеживал традицию борьбы за национальное самоопределение русской литературы и раскрыл идейно-политический

смысл этой уже длительной к тому времени борьбы, сославшись в данной связи на «усилия» Радищева, Востокова и Нарезного (писателя демократического направления). В статье 1820 года «Взгляд на текущую словесность» Кюхельбекер в порядке обоснования тех же идей самобытности и народности сослался на творческую работу Павла Катенина. С особенным сочувствием отозвался он о стихотворении Катенина «Мстислав Мстиславич» — как о «единственной, хотя еще и несовершенной в своем роде попытке сблизить наше стихотворство с богатою поэзиею русских нравов и обычаев».

В наиболее развернутой и принципиальной форме требование национальной самобытности и народности как залога успехов русской литературы было выражено Кюхельбекером в замечательной для своего времени остро-полемиической статье «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие» (1824). Резко выступив против господствовавшей на русском Парнасе элегически-медитативной лирики поэтов школы Жуковского, обвинив ее в подражательности и отсутствии «мыслей» (и не пощадив в своем полемиическом запале даже Пушкина и Баратынского — как элегиков), Кюхельбекер подсказывал русским поэтам задачу творческого освоения всех богатств мировой поэзии: «При основательнейших познаниях и большем, нежели теперь, трудолюбии наших писателей, Россия по самому своему географическому положению могла бы присвоить себе все сокровища ума Европы и Азии. Фердоуси, Гафис, Саади, Джамии ждут русских читателей».

Но центр тяжести статьи Кюхельбекера был в другом: «Всего лучше иметь поэзию народную». Статья заканчивалась пламенным призывом: «Но не довольно, — повторяю, — присвоить себе сокровища иноплеменников. Да создастся для славы России поэзия истинно русская; да будет святая Русь не только в гражданском, но и в нравственном мире первую державою во вселенной! Вера праотцев, нравы отечественные, летописи, песни и сказания народные — лучшие, чистейшие, вернейшие источники для нашей словесно-

сти. Станем надеяться, что, наконец, наши писатели, из коих особенно некоторые молодые одарены прямым талантом, сбросят с себя поносные цепи немецкие и захотят быть русскими. Здесь особенно имею в виду А. Пушкина, которого три поэмы, особенно первая (т. е. «Руслан и Людмила». — В. О.), подают великие надежды».

Кюхельбекер был не одинок в своей критике и в своей проповеди. Рылеев обосновал свою точку зрения по тем же проблемам в декларативной статье «Несколько мыслей о поэзии» (1825), оказавшейся его последним выступлением в печати. Касался этого круга вопросов и А. Бестужев в своих литературно-критических обзорах, печатавшихся в альманахах «Полярная звезда» (1823—1825).

Постановка писателями декабристского лагеря проблемы народности литературы была, безусловно, крупным достижением их теоретической и критической мысли. Следует, однако, оговорить, что данная проблема решалась писателями-декабристами ограниченно — в той мере, в какой это позволяло им романтическое мировоззрение. Самый принцип народности сводился в их представлении лишь к протесту против подражательности и к разработке материала нравов, обычаев и поэтических преданий русского народа. Существо же проблемы народности, как правдивого изображения исторического бытия народа и верного отражения его мыслей, чувств, настроений и чаяний, могло быть раскрыто лишь средствами реалистического искусства, что и было осуществлено в декабристскую эпоху Пушкиным и Грибоедовым.

3

Рассматривая литературу как средство общественно-политического и нравственного воспитания соотечественников в духе освободительных идей, писатели-декабристы соответственным образом истолковывали любую тему, любой сюжет — даже самые ходовые в литературе их времени.

Примером этому может служить хотя бы проза Николая Бестужева с ее по преимуществу моральной проблематикой, сосредоточенной вокруг тем семьи и брака. Тема «законопреступной», тайной любви под пером декабриста проникается гражданственным пафосом, духом разоблачения «высшего света» с его бессердечием, безнравственностью, сословными предрассудками. Судьба развращенного сына в повести «Трактирная лестница» (напечатана в «Северных цветах» на 1826 год, под псевдонимом: Алексей Коростылев) объясняется порочными условиями его светского воспитания.

Разительные примеры декабристского, революционного осмысления столь традиционных поэтических тем, как «любовь» и «дружба», встречаем в лирике Рылеева, например — в стихотворении «Ты посетить, мой друг, желала...» (1824):

Я не хочу любви твоей,
Я не могу ее присвоить;
Я отвечать не в силах ей,
Моя душа твоей не стоит.

Полна душа твоя всегда
Одних прекрасных ощущений,
Ты бурных чувств моих чужда,
Чужда моих суровых мнений...

Мне не любовь твоя нужна,
Занятя ждут меня иные,
Отраднa мне одна война,
Одни тревоги боевые.

Любовь никак нейдет на ум:
Увы! моя отчизна страждет,
Душа в волненьи тяжких дум
Теперь одной свободы жаждет.

Такое же революционное осмысление применялось писателями-декабристами к историческим темам и образам, занимавшим весьма видное место и игравшим очень значительную роль в системе их идеологических и художественных представлений.

Вопросы истории вообще живо интересовали декабристов. Исторические взгляды их для своего

времени имели безусловно прогрессивное значение. Декабристы резко протестовали против реакционных идей дворянской историографии, в первую очередь — против концепции русского исторического процесса, выдвинутой Карамзиным. Они проявляли напряженный интерес к республиканским учреждениям греко-римского мира и к древним русским «народоправствам» — к вечевому строю Новгорода и Пскова, к земским соборам XVII века.

В историческом прошлом декабристы искали впечатляющие примеры самодеятельной силы и национального самосознания народа, примеры борьбы за свободу. Внимание их привлекали образы тираноборцев и народных вождей, мятежи и восстания в «века минувшей славы», в те «священные времена»,

Когда гремело наше вече
И сокрушало издали
Царей кичливых рамена . . .

Поэтому, например, столь почетное место в творчестве поэтов декабристского круга заняли темы сопротивления русского народа татарскому игу, новгородской вольности, борьбы украинского народа против гнета польской шляхты.

При всем том мысль декабристов, вращаясь по преимуществу в кругу просветительских идей, унаследованных от философии XVIII века, оставалась по существу антиисторической. Декабристам было еще недоступно реалистическое, конкретное, дифференцированное представление об исторических эпохах и локальных типах национальных культур. Отсюда — свойственная решительно всем писателям-декабристам тенденция к модернизации прошлого в интересах настоящего, в интересах пропаганды собственных политических идей. Поэтому все исторические герои в произведениях декабристов (исключая очень немногие произведения, написанные в более позднее время, уже после 1825 года) служат рупорами этих идей, высказывают мысли и обнаруживают чувства, объективно, исторически им вовсе не свойственные.

Таков князь Мстислав Храбрый в стихотворении Катенина. Произведение это служит выразительным примером декабристского осмысления темы, взятой из национального прошлого, предвосхищая в этом отношении исторические баллады («думы») Рылеева. Тема борьбы русского народа против татарского владычества приобретает здесь современное звучание, воспринимаясь в общем контексте героической и вольнолюбивой гражданской лирики декабризма:

Он русским даст терпенья силу,
Они дождутся красных дней. . .

Таков князь Андрей Переяславский в поэме Александра Бестужева. Таков Богдан Хмельницкий в повести Федора Глинки. Таковы же герои всех «дум» и поэм Рылеева, которым присвоены черты смелых обличителей зла и несправедливости, пламенных ревнителей «общественного блага». Когда Рылеев изображал Дмитрия Донского борцом за поправленные права народа, он вкладывал в уста древнерусского князя декабристские лозунги:

Летим — и возвратим народу
Залог блаженства чуждых стран:
Святую праотцев свободу
И древние права граждан.

Это было не случайным и невольным отступлением от строгой исторической правды, но принципиальной установкой, обдуманном приемом, рассчитанным на то, чтобы возбудить в читателе или слушателе гражданские чувства. Смысл этого приема был раскрыт самим Рылеевым в предисловии к сборнику «думы» и в отзыве о них Александра Бестужева, указавшего, что Рылеев избрал своей целью «возбудить доблести сограждан подвигами предков».

При этом писатели-декабристы впадали не только в модернизацию, но зачастую и в идеализацию исторических событий и исторических деятелей. Так, например, был идеализирован Рылеевым корыстный и известный своими неблагоприятными поступками вельможа А. П. Волынский, боровшийся с Бироном и

погибший от его руки. Для Рылеева в данном случае оказалось единственно важным, что Волынский выступил против временщика-немца, и, не входя в истинные обстоятельства свары, разгоревшейся между двумя вельможами, декабристский поэт превращает Волынского не только в благородного патриота, но и в убежденного тираноборца и защитника народных прав. Закованный в цепи Волынский произносит в думе Рылеева такой красноречивый монолог:

... тот, кто с сильными в борьбе
За край родной иль за свободу,
Забывши вовсе о себе,
Готов всем жертвовать народу.
Против тиранов лютых тверд,
Он будет и в цепях свободен,
В час казни правотою горд
И вечно в чувствах благороден...

И хоть падет — но будет жив
В сердцах и памяти народной
И он и пламенный порыв
Души прекрасной и свободной.
Славна кончина за народ!
Певцы, герою в воздаянье,
Из века в век, из рода в род
Передадут его деянье.

Общей и характерной для всех декабристов была идеализация «республиканского» строя древнего Новгорода и его борьбы с самодержавием московских царей. Всячески восхваляя и превознося новгородскую «вольность», декабристы не учитывали влияния реакционных общественных сил на политику Новгорода. Это сказалось и в повести Александра Бестужева «Роман и Ольга», и в стихах Александра Одоевского, и во многих других произведениях декабристской литературы.

Чутко прислушиваясь к «борьбе народов и царей» не только в прошлом, но и в настоящем, поэты-декабристы и их литературные друзья живо откликнулись и на вспышки освободительной борьбы русского народа и на политические события, происходившие на Западе. Неслыханно смелая сатира Рылеева на всесильного Аракчеева («К временщику»), появившаяся в

1820 году, сразу после восстания Семеновского полка, в атмосфере крайнего общественного возбуждения, сделала достоянием общей молвы имя этого до того неизвестного поэта и повлекла за собою целый поток политической поэзии, обличавшей самовластие и славившей дело свободы.

В частности, как раз на это время пришелся подъем освободительной борьбы греческого народа против турецких завоевателей, и декабристы щедро воспользовались этим сюжетом в целях пропаганды своих идей. В стихах Рылеева, Кюхельбекера, Владимира Раевского, Федора Глинки и многих других поэтов часто встречаются сочувственные отклики на самоотверженную борьбу греков за независимость, приобретающие характер открытых революционных лозунгов, которые наводили мысль читателя на положение дел в самой России. Таково, например, стихотворение Ф. Глинки «Греческие девицы к юношам» (снабженное защитным, маскирующим подзаголовком: «Из Антологии»), где о восставших греках говорится:

Святой огонь горит у вас в очах,
Как, вдохновенные, на градских площадях
Вкруг вас кипящему народу
Вы хвалите в своих возвышенных речах
И славу пышную и милую свободу...
А наш удел: в безвестности, в тиши
Томиться пылкою мечтою
И, погасив в слезах огонь молодой души,
Без жизни жить с сердечной пустотою!

Натурально, декабристский поэт имел в виду здесь не «греческих девиц», а русских свободолюбцев, мечтавших о схватке с самодержавием.

Открыто революционные цели преследовали агитационные песни, написанные Рылеевым и Александром Бестужевым в «простонародном духе», с их призывами взяться за ножи и пойти «на царя, на вельмож». В политическом смысле эти песни — вершина декабристской поэзии, как сложилась она накануне вооруженного восстания. В сочинении и распространении песен (а о том, что они ходили по рукам, особенно среди солдат и матросов, есть точные данные)

наиболее ясно сказались отношении декабристов к поэзии как к полноценному средству политической агитации.

Предатель Грибовский (пробравшийся в Коренную думу Союза Благоденствия, а в дальнейшем ставший организатором секретной военной полиции) в своем доносе на декабристов указывал, что члены тайных обществ имели в виду действовать на «простой народ и нижних воинских чинов» — «приготовленными в духе и по смыслу их маленькими сочинениями, начав самыми невинными: сказками, повестями, песнями, краткими наставлениями и пр., чтобы их заохотить, чему и сделаны опыты».

В этих целях, наряду с агитационными песнями, были написаны «катехизисы» Никиты Муравьева и С. И. Муравьева-Апостола, «краткие наставления» в революционных истинах, имитирующие стиль и слог «священного писания» — книги, в то время хорошо знакомой народным массам, в сущности — единственной истинно народной книги. Рылеев на следствии подтвердил, что декабристы остановились на форме «катехизиса» именно потому, что «такими сочинениями удобнее всего действовать на умы народа».

Не подлежит сомнению, что до нас дошла лишь часть (и, по-видимому, не большая) подобного рода агитационной литературы декабризма. Недаром М. Ф. Орлов в 1821 году, на Московском съезде членов Союза Благоденствия, поднял вопрос о заведении подпольной типографии для печатания прокламаций, противоправительственных памфлетов и пр. Но и то, что из этой литературы уцелело, представляет выдающийся интерес.

В частности, агитационные песни декабристов занимают совершенно особое место в русской поэзии 1820-х годов. «Рабство народа, тяжесть притеснения, несчастная солдатская жизнь изображалась в них *простыми словами, но верными красками*», — справедливо писал впоследствии Николай Бестужев. Действительно, благодаря «простым словам» и «верным краскам» агитационные песни (особенно «Ах, тошно мне...» и цикл «подблюдных») резко выделяются на

общем фоне декабристской поэзии своим реалистическим обликом: жизненностью и конкретностью тем, взятых из самой действительности (налоги и поборы, неправосудие, лихоимство, бюрократизм, винные откупа и т. д.), точностью деталей, сочностью и характерностью языка, в котором слышатся отзвуки народной речи, а главное, конечно, накалом революционной страсти, передающей мысли и чувства поработенного народа:

Уж как шел кузнец
Да из кузницы.
Слава!

Нес кузнец
Три ножа.
Слава!

Первый нож —
На бояр, на вельмож.
Слава!

Второй нож —
На попов, на святош.
Слава!

А молитву сотворя,
Третий нож — на царя.
Слава!

Кому вынется,
Тому сбудется;
Кому сбудется,
Не минуется.
Слава!

Агитационные песни свидетельствуют о том, что перед поэтами-декабристами, когда они хотели писать в «простонародном духе», открывались творческие перспективы и за пределами романтической поэзии с ее установившейся стилистикой и поэтикой.

Но песни в этом смысле были исключением. В целом творчество декабристских поэтов было типичным явлением русского романтизма в его прогрессивном, революционном варианте.

Это была *высокая* поэзия, — если воспользоваться термином, которым охотно оперировали сами декабристы, заимствовав его у революционных и радикально-демократических поэтов предшествовавшего поколения (Радищев и радищевцы). Критерий «высокого» был, пожалуй, основным и решающим и в морали и в эстетике декабризма, причем в самое понятие «высокость» вкладывался гражданский, политический смысл. В уставе Союза Благоденствия «*высокость души*» рассматривалась как отличительное и неотъемлемое качество истинного гражданина. И Рылеев, как бы откликаясь на это требование декабристской программы, писал в тоне клятвы:

Моя душа до гроба сохранит
Высоких дум кипящую отвагу. . .

В поэзии критерий «высокого» распространялся и на содержание и на стиль. Поэт должен был избирать высокие, важные предметы и темы — социальные, политические, моральные, исторические: общественное благо, борьба свободы с самовластием, любовь к отечеству, патриотический подвиг, честь и долг гражданина, красота нравственного поступка и т. п. Эти высокие предметы и темы, естественно, невозможно было излагать на языке салонной «легкой поэзии», культивировавшейся дворянскими поэтами школы Карамзина, равно как и на языке интимно-элегической поэзии школы Жуковского. В. К. Кюхельбекер в уже упомянутой программной статье «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие» со всей энергией выступил против этого условно-поэтического языка как антинародного: «Из слова русского, богатого и мощного, силятся извлечь небольшой, благопристойный, приторный, искусственно тощий, приспособленный *для немногих* язык, un petit jargon de coterie». ¹ Слова «для немногих», выделенные Кюхельбекером, — стрела, направленная прямо в Жуковского (автора стихотворных сборников «Для немногих»).

¹ Маленький кружковый жаргон. . .

Отсюда — ориентация декабристских поэтов на «высокие» стихотворные жанры и на «высокий» поэтический стиль, которые наиболее отвечали бы «высокости» содержания. Защите и обоснованию такой ориентации и была посвящена, в основном и главным, статья Кюхельбекера «О направлении нашей поэзии...». Творческое внимание поэтов-декабристов было направлено в первую очередь на разработку таких жанров, как монументальная ода ораторского стиля, историческая баллада и поэма, трагедия «гражданского состава».

В центре этой высокой поэзии гражданских страстей, гражданского негодования и гражданского подвига стоял объединяющий и скрепляющий все ее темы образ поэта-гражданина — столь же высокий по своему внутреннему содержанию:

О, так! нет *выше* ничего
Предназначения поэта...

Святой, *высокий* сан певца
Он делом оправдать обязан...

Образ этот был полемически заострен против закрепленного в дворянской поэзии образа унылого и разочарованного в жизни поэта-элегика либо пожинающего плоды счастья и удовольствий эпикурейца. Он оформлялся (особенно четко в лирике Рылеева и Кюхельбекера) как образ политического борца, трибуна, агитатора, «певца народных благ», непримиримого врага деспотизма:

Ему неведом низкий страх;
На смерть с презрением взирает,
И доблесть в молодых сердцах
Стихом правдивым зажигает...

Идеал поэта-декабриста — своим смелым, обличающим словом заставить тиранов задрожать:

В руке суровой Ювенала
Злодеям грозный бич свистит
И краску гонит с их ланит —
И власть тиранов задрожала...

В поэзии декабристов открывается еще одна важная грань образа поэта: поэт-пророк. Образ этот встречается у Грибоедова («Давид»); особенно широкое и принципиальное применение получил он в лирике Кюхельбекера («Встань, певец, пророк свободы!..», «Их зрела и святая Русь — певцов и смелых и священных, пророков истин возвышенных!..», «Предаст злодея поруганью святой, неистовый пророк...» и т. д.); откликнулся он и в «Пророке» Пушкина.

В этой связи следует правильно понять и оценить пристрастие декабристских поэтов к темам и образам, заимствованным из Библии. Их интересовала, конечно, не Библия сама по себе, но возможность революционного переосмысления библейских тем и образов, и прежде всего — образа «неистового пророка», обличителя грехов и преступлений и провозвестника правды:

Иди к народу, мой пророк!
Вещай, труби слова Егovy!
Срывай с лукавых душ покровы
И громко обличай порок!

Библейская тема, как и историческая, приобретала в творчестве декабристских поэтов злободневное политическое звучание:

За дело правды мы и чести
И за Отчизну держим бой!..

Недаром по-своему чутко реагиовавший на проявления вольномыслия Ф. Булгарин утверждал, что «Библия и Евангелие есть республиканский кодекс в устах искусного толкователя».

В основе обращения декабристских поэтов к Библии лежала та самая тенденция, на которую указал Маркс в памфлете «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта», говоря, что в свое время «...Кромвель и английский народ воспользовались для своей буржуазной революции языком, страстями и иллюзиями, заимствованными из Ветхого завета».¹

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 8. М.—Л., 1931, стр. 324.

Язык Библии — неистовые проклятия и призывы ветхозаветных пророков — был широко использован декабристами в агитационных целях, и при этом вводил в заблуждение цензуру и власти, не решавшихся занести руку на «священное писание». Особенно сильно переосмысление библейских тем и образов сказалось в стихотворных переложениях псалмов Давида, которые занимают такое большое место в творчестве Федора Глинки.

Немей, орган наш голосистый,
Как занемел наш в рабстве дух!
Не опозорим песни чистой:
Не ей ласкать злодеев слух!

Увы! неволи дни суровы
Органам жизни не дают:
Рабы, влачащие оковы,
Высоких песен не поют!

В переложениях Глинки подчеркнуты и усилены звучащие в библейской поэзии ноты гневного негодования и яростного воодушевления:

Мы ждем и не дождемся сроков
Сей бедственной с нечестьем *при*:
Твоих зарезали пророков,
Твои разбили алтари!!
Проснись, бог сил! Заговори!..

Исходя из своего представления о существе поэзии и ее задачах, поэты-декабристы стремились выработать свой поэтический стиль. Отличительными чертами этого стиля, преемственно связанного с художественными исканиями Радищева и некоторых поэтов, шедших по его пути, являются: высокое «витийство», гражданственная патетика, напряженные — торжественные или обличительные — интонации, смысловая сгущенность стихотворного языка. Поэты-декабристы хотели говорить языком ораторов-трибунов, языком прокламаций и проповедей, — поэтому в их творчестве получили широкое применение ораторские формы речи, с обилием «ударных» слов и имен, имевших в то время значение символов и лозунговых формул

и вызывавших в сознании читателя или слушателя определенные идеологические и моральные представления и ассоциации (*общественное благо, честь, отчизна, гражданин* и т. п., либо имена исторических деятелей, преимущественно древнего греко-римского мира, олицетворявшие идеи человеческого благородства, доблести и героизма, неподкупности и чистоты убеждений: Брут, Катон, Курций, Аристид и пр.).¹

В своих главных, ведущих тенденциях и наиболее значительных явлениях литература декабризма была литературой гражданского подвига:

Да паду же за свободу,
За любовь души моей,
Жертва славному народу,
Гордость плачущих друзей!

Лучшие из писателей-декабристов достигли на этом пути впечатляющих успехов. Примерами могут служить такие шедевры декабристской поэзии, как «Гражданин» и «Исповедь Наливайки» Рылеева или блестящий очерк Николая Бестужева «Воспоминание о Рылееве», где с большой художественной силой запечатлен героический и трагический образ революционера, сознательно обрекшего себя на гибель во имя торжества свободы.

Николай Бестужев писал о Рылееве: «Единственная мысль, постоянная его идея была пробудить в душах своих соотечественников чувства любви к отечеству, зажечь желание свободы. Такое намерение уже само по себе носит отпечаток поэзии, где бы оно ни было приведено в исполнение, но становится совершенно поэтическим, когда, окруженные шпионами деспотизма, посреди рабских похвал, посреди боязливой лести и трусливого подобострастия, посреди целой империи, стнящей под игом тяжкого самоуправления, мы вдруг внимаем голосу поэта, возвещающего нам высокие истины, впервые нами слышимые, но знакомые нашему сердцу».

¹ Подробнее выше в очерке «Вослед Радищеву (Из истории гражданской поэзии начала XIX века)».

Это — лучшая характеристика декабристской поэзии, тем более ценная и убедительная, что принадлежит она человеку, который сам посвятил свою жизнь борьбе за свободу.

4

Писатели-декабристы оказали глубокое и плодотворное влияние на всю передовую русскую литературу 1820-х годов. Патриотические и революционные устремления писателей-декабристов, внесенные ими новое, прогрессивное понимание самого литературного дела и связи его с идейно-политической борьбой — все это открывало перед русской литературой пути дальнейшего развития — к народности и реализму.

Но проложить эти пути и решить новые громадные задачи, поставленные перед русской литературой самой жизнью, смогли в эпоху 1820-х годов только Пушкин и Грибоедов. Они были крепчайшими узлами связаны с декабризмом, творчество их представляет собою высшее художественное проявление идей дворянской революционности, но они в ходе своего творческого развития сумели преодолеть ограниченность декабристского мировоззрения (метафизичность, антиисторизм, просветительские иллюзии) и вышли далеко за пределы романтического искусства — к реализму, подлинной народности и истинному историзму.

Развитие декабристской литературы было насильственно прервано. Она была разгромлена вместе с политическим движением декабристов. Рылеев был казнен, остальные крупнейшие писатели-декабристы посажены в крепостные казематы либо сосланы в Нерчинские рудники. Те, кто случайно уцелел от царевой расправы, пугливо схоронились по своим углам. Герцен писал, что в наступившей после поражения декабристов обстановке тишины и придавленности «одна лишь звонкая и широкая песнь Пушкина звучала в долинах рабства и мучений; эта песнь продолжала эпоху прошлую, наполняла мужественными звуками настоящее и посылала свой голос отдаленному будущему».

Тем не менее история декабризма как общественно-политического движения, а вместе с нею и история декабристской литературы не заканчивается черным днем 14 декабря 1825 года. В художественных произведениях, политических трактатах, публицистических памфлетах и мемуарах, написанных в годы каторги и ссылки, декабристы не только освещали свое прошлое, но и продолжали защищать, обосновывать и развивать свои идейные взгляды, распространяя их и на современное состояние России (поскольку оно было им известно). Последекабрьское творчество декабристов получало известный общественный резонанс (впрочем, весьма ограниченный), ибо писания их в иных случаях распространялись в обществе, обсуждались и, конечно, оказывали воздействие на умы молодого поколения 1830-х и даже 1840-х годов. Так, например, немалый эффект произвели смелые памфлеты Михаила Лунина, доходившие из глухого урочища Сибири до петербургских и московских салонов.

Ни жестокая расправа, учиненная царизмом, ни тяжелые условия существования в тюрьмах, на каторге и на поселении не сломили и не разоружили декабристских литераторов. Кюхельбекер, Раевский, Бестужевы, Одоевский — все они продолжали в крепостях и в Сибири активную творческую деятельность. Больше того: дарование иных из них, как, например, Кюхельбекера, окрепло и развилось как раз в годы заключения и ссылки. Лирика, поэмы, драматические произведения, написанные Кюхельбекером в эту пору, бесспорно превосходят по своему художественному значению все, что успел сочинить он до восстания 1825 года.

Декабристская поэзия каторги и ссылки — неотъемлемая и важная часть русской литературы второй половины 1820-х и 1830-х годов. Без того, что было написано Кюхельбекером, без лирики А. Одоевского невозможно составить полное и точное представление о поэзии этого периода. Тяжелая судьба, постигшая поэтов-декабристов, обусловила появление в их творчестве новых тем и мотивов: в их произведениях, написанных после 1825 года, заметно усиливаются ноты

грустных раздумий, религиозного умиротворения, душевной усталости.

Но при всем том они хранили верность идеалам своей молодости. Несчастный, обездоленный, полуослепший Кюхельбекер утверждал, что одно воспоминание о друзьях по борьбе способно вдохнуть в него «и силу и гордое терпенье», и в стихах на смерть Якубовича с гордостью напоминал о своем прошлом:

Он был из первых в стае той орлиной,
Которой ведь и я принадлежал. . .

Александр Одоевский, сформировавшийся как истинный поэт уже после 14 декабря и ставший, может быть, лучшим выразителем чувств, дум и настроений декабристской каторги, в ответе своем на послание Пушкина («В Сибирь») превосходно выразил непреклонность духа своих товарищей — побежденных, но не разоружившихся революционеров. Стихотворение Одоевского замечательно ясно выраженной в нем идеей непрерывности и преемственности освободительной борьбы:

... цепями,
Своей судьбой гордимся мы,
И за затворами тюрьмы
В душе смеемся над царями.

Наш скорбный труд не пропадет:
Из искры возгорится пламя, —
И православный наш народ
Сберется под святое знамя.

Мечи скуем мы из цепей
И вновь зажжем огонь свободы,
И с нею грянем на царей, —
И радостно вздохнут народы.

Вместе с тем после 1825 года декабристы и в художественных произведениях и в публицистике зачастую глубже и вернее, нежели прежде, осмыслили многие важные проблемы истории и действительности. Так, в свете трагического, но поучительного опыта своей безнародной и тем самым обреченной на неуспех революции некоторые из них заново и

по-новому ставили вопрос о народе, приходили к пониманию того, что народ играет главную и решающую роль в историческом процессе. Новое, более углубленное понимание народности обнаруживается, например, в трагедии Кюхельбекера «Прокофий Ляпунов» (1834), в которой получила интересное разрешение тема широкого народного движения.

Изживая под воздействием действительности и личного опыта свои романтические и просветительские представления, декабристы в последекабрьские годы высказывали порою весьма острые и свежие суждения о складывавшемся буржуазном строе, который прежде рисовался многим из них идеальным общественным укладом. Те из декабристов, которые обладали наиболее развитым и зрелым социально-политическим мышлением, сумели разглядеть и правильно оценить эксплуататорскую сущность буржуазного строя, новые формы эксплуатации, власть чистогана. Теперь они начинали догадываться о том, что в недрах буржуазного общества возникли и растут новые классовые противоречия, не менее острые, нежели противоречия феодально-абсолютистской эпохи. А у некоторых декабристов эти догадки перерастали в страстное разоблачение лживости лозунгов буржуазной демократии.

Так, если в ранний период своей деятельности декабристы, вслед за Радищевым, с увлечением отзывались об американской революции и учитывали ее опыт в своих политических проектах, то в дальнейшем они говорили о своем жестоком разочаровании в ее последствиях. Таковы, например, слова Лунина, доныне сохранившие свою разящую силу: «Рабство, несовместное с духом времени, поддерживается только невежеством и составляет источник явных противоречий по мере того, как народы успевают на поприще гражданственности. Прискорбный, но полезный пример этой истины представляют Американские штаты, где рабство утверждено законом. Признав торжественно равенство людей перед законом, как основное начало их конституции, они виселицею доказывают противное и приводят оттенки цвета в оправдание

злодейств, оскорбляющих человечество. Отличая даже могилу негра, эти поборники равенства уничтожают ближнего и за пределами земной жизни». Это было сказано в 1839 году в глубине Сибири, где Ленин отбывал ссылку.

* * *

В стихотворении Кюхельбекера «Тень Рылеева», написанном в каземате Шлиссельбургской крепости, казненный поэт, явившись в свидении узнику — «поклоннику пламенной свободы», возглашает:

Грядущее твоим очам —
Разоблачу я в утешенье —
Поверь, не жертвовал ты снам:
Надеждам будет исполненье!

И «восторженным взорам» узника-декабриста предстает картина будущего:

И видит: на Руси святой
Свобода, счастье и покой. . .

Вера в грядущее торжество свободы окрыляла декабристов в годы их борьбы и ободряла в годы гонений, воздвигнутых на них деспотизмом.

Декабристов было мало, они были далеки от народа, и тем самым были обречены на поражение. «Но их дело не пропало», — сказал о декабристах Ленин. Они оказали мощное влияние на современное им идейное движение в России; в течение 1830-х годов царизм не успевал уничтожать и выкорчевывать «следы и остатки» (по выражению Николая I) декабризма (процессы Сунгурова, братьев Критских, Ситникова, расправа с поэтом А. Полежаевым и др.). «Несмотря на роковую косу, разом подрезавшую их, — писал о декабристах Герцен, — их влияние, как Волгу в море, можно далеко проследить в печальной николаевской России».

На идеях и заветах декабризма воспиталось следующее поколение деятелей передовой русской культуры и русского революционного движения. Герцен положил много труда, чтобы посредством вольной

печати донести до русского читателя литературное наследие декабристов. Назвав свое издание «Полярной звездой» и поместив на обложке его профили пяти казненных вождей декабризма, Герцен сделал это для того, чтобы (говоря его же словами) «показать непрерывность предания, преемственность труда, внутреннюю связь и кровное родство», которые связывали его с первым поколением дворянских революционеров.

Литературная деятельность писателей-декабристов составляет драгоценную страницу в истории великой русской литературы — самой идейной, гуманной и демократической литературы мира. Творческий опыт декабристских поэтов учитывали, на их примере учились величайшие гении русской поэзии — Пушкин, Лермонтов, Некрасов. Вещую строку из стихотворения поэта-декабриста: «Из искры возгорится пламя» Ленин выбрал эпиграфом для большевистской газеты «Искра», сыгравшей столь значительную роль в истории русской пролетарской революции.

Характеризуя декабристов, Ленин привел слова, которые сказал о них Герцен: «фаланга героев». В славной и величественной истории русского революционного движения этим героям — первым сплотившимся в единую фалангу борцам против крепостничества и самодержавия — по праву принадлежит почетное место. Отблеск героизма лежит и на их литературном творчестве.



ПАВЕЛ КАТЕНИН



В числе героев романа А. Ф. Писемского «Люди сороковых годов» (1869) есть некий Александр Иванович Коптин, состоятельный помещик, отставной генерал и забытый писатель, речами и манерами напоминающий, «с одной стороны, какого-то умного, ловкого светского маркиза; а с другой — азиатского князька». Человек широко образованный, острый на язык и крайне строптивый, он «во всей губернии слыл за большого вольнодумца, насмешника и даже богоотступника».

Читатели Писемского и не подозревали, что в лице Коптина с портретной точностью был изображен один из видных и авторитетных литературных деятелей начала века — поэт, драматург и критик Павел Александрович Катенин, скончавшийся за пятнадцать лет перед тем в полной безвестности.

Творческая деятельность Катенина, поскольку она нам известна, продолжалась почти тридцать лет, но примерно уже с середины 1820-х годов он фактически был вытеснен из литературы, в дальнейшем выступал с новыми произведениями очень редко, от случая к случаю, а после 1836 года вообще не печатался.

Современная Катенину критика, за малыми исключениями, расценивала его литературную деятельность как безнадежную и претенциозную попытку противопоставить ведущим тенденциям литературного развития устаревшие принципы классицизма, к тому времени уже окончательно дискредитированные и в художественной теории и в творческой практике. Следует добавить, что литературным неудачам, постоянно преследовавшим Катенина, отчасти способствовали его крутой нрав, полемический задор, оборачивавшийся нетерпимостью к чужим мнениям, и непомерное самолюбие. Он был наделен поистине редкой способностью ссориться с писателями.

Между тем укоренившееся в свое время представление о Катенине только как об упрямом литературном староре совершенно несправедливо и ничего не объясняет в творчестве этого интересного, безусловно талантливого поэта, принадлежавшего к числу наиболее заметных и характерных представителей декабристской литературы.

Все, кто знал Катенина, отдавали должное его глубокому уму и универсальности познаний. Он не только изучил все основные западноевропейские и древние языки и литературы, но и был широко осведомлен в вопросах философии, истории, естествознания и точных наук. «Память его была изумительна, — говорит близко знавший Катенина П. А. Каратыгин. — Положительно можно было сказать, что не было всемирно-исторического факта, который он не мог бы объяснить со всеми подробностями. . . Это просто была живая энциклопедия».¹

Наиболее существенно, что Катенина высоко ценили его величайшие современники — Пушкин и Грибоедов. Ожидая отзывов о «Борисе Годунове», Пушкин утверждал, что из всех критиков «один Катенин

¹ П. Каратыгин. Записки, т. 1. М.—Л., 1929, стр. 106. Яркую характеристику Катенина, его «необычайной памяти», «жгучего остроумия», «необыкновенного дара слова», «необъятной начитанности» и «неотразимой диалектики» см. у Н. Макарова — «Мои семидесятилетние воспоминания и с тем вместе моя предсмертная исповедь», ч. 1. СПб., 1881, стр. 26—28.

знает свое дело». А самому Катенину Пушкин писал (в 1826 году) так: «Голос истинной критики необходим у нас; кому же, как не тебе, забрать в руки общее мнение и дать нашей словесности новое, истинное направление? Покамест, кроме тебя, нет у нас критика. Многие (в том числе и я) много тебе обязаны; ты отучил меня от односторонности в литературных мнениях, а односторонность есть пагуба мысли». В предисловии к восьмой главе «Евгения Онегина» (1832) Пушкин во всеуслышание назвал Катенина «опытным художником», отметив его «прекрасный поэтический талант» и тонкое критическое чутье. Также и Грибоедов, характеризуя Катенина, находил в нем «ум превосходный, высокое дарование, пламенную душу» (письмо к С. Н. Бегичеву от июля 1824 года), а самого Катенина заверял (в письме от января 1825 года): «Вообще я ни перед кем не таился... что тебе обязан зрелостию, объемом и даже оригинальностью моего дарования».

Подобные признания двух гениальных поэтов (даже принимая их с поправкой на дружески-комплиментарный тон), разумеется, перевешивают все нападки и насмешки, которыми преследовали Катенина его многочисленные литературные антагонисты.

Жизнь Катенина, поскольку она известна по дошедшим до нас скудным материалам, не была богата событиями.

Родился Катенин 11 декабря 1792 года в старинной военно-дворянской семье, в родовом поместье Шаёво, расположенном в глухом углу Костромской губернии. Здесь прошли его детские годы. В учебное заведение Катенин отдан не был и получил домашнее — нужно думать, основательное — образование.

Совсем еще юнцом, в июле 1806 года, Катенин приехал в Петербург и стал чиновником министерства народного просвещения. В марте 1810 года он перешел в военную службу и определился в один из самых привилегированных гвардейских полков — Преображенский.

Во время войн 1812—1815 годов Катенин с отличием участвовал в походах и сражениях, был при

Бородине и Кульме, вступил в Париж. По возвращении из заграничного похода он продолжал служить в Преображенском полку, но в сентябре 1820 года, уже в высоком чине полковника гвардии, был неожиданно уволен в отставку. Быстрая и успешная военная карьера Катенина оборвалась.

Увольнение Катенина, как увидим несколько ниже, было вызвано чисто политическими причинами. На положении частного человека Катенин остался в Петербурге. Вскоре его постигла новая неприятность.

В сентябре 1822 года возникло целое «Дело о неприличном поведении в театре отставного полковника Катенина», доведенное до сведения Александра I (находившегося за границей). Проступок Катенина даже по тем временам был ничтожен: сидя в театре, он «шикал» одной неугодной ему актрисе. Петербургский генерал-губернатор граф Милорадович сперва ограничился тем, что запретил Катенину ездить в театр, о чем и донес Александру I. Однако царь приказал применить к Катенину гораздо более строгое наказание: немедленно выслать его из Петербурга с запрещением въезда в обе столицы, потому что он «и наперед сего замечен был неоднократно с невыгодной стороны и потом удален из л.-гв. Преображенского полка».¹ Царский приказ был получен в Петербурге утром 7 ноября, а в полдень Катенин уже не было в столице.

Таким образом, сам Александр I недвусмысленно охарактеризовал Катенина как человека политически неблагонадежного. В официальных кругах он давно уже пользовался такой репутацией. Весной 1822 года Милорадович аттестовал отставного гвардейского полковника как «либерала», от которого «набираются вольного духу» его друзья. В позднейшей полицейской справке о Катенине (составленной в 1826 году для Третьего отделения, по-видимому Булгариным) указывалось, что он «был некогда оракулом Преобра-

¹ «Русская старина», 1901, № 11, стр. 303. Обстоятельства высылки Катенина подробно освещены в «Записках» П. Каратыгина (см. т. 1, стр. 160—168 и т. 2, стр. 104—111).

женского полка, регулятором полкового мнения и действий молодых офицеров», что «он почитался в полку *гением*» и что «гвардейские офицеры превозносили его». «В это время он был вреден своим влиянием и распространением вольтеррианства. Говорят, что покойный государь знал это и велел ему выйти в отставку».¹

Невинная выходка Катенина в театре послужила для правительства лишь предлогом для того, чтобы удалить из столицы человека, опасного своим вольнодумством, пресечь его влияние. П. А. Каратыгин, ссылаясь на рассказ Н. И. Бахтина, одного из близких приятелей Катенина, прямо говорил, что «настоящей причиной» репрессии была принадлежность Катенина к тайному обществу, о чем правительство якобы узнало. Также и другой приятель Катенина, А. А. Жандр, свидетельствовал впоследствии: «Знали, что он принадлежит к тайному обществу, и рады были к чему-нибудь придаться, чтобы выбросить человека вон из столицы».² Здесь, конечно, допущен просчет памяти: если бы правительство в 1822 году уже знало о составе тайного общества, репрессии подвергся бы не один Катенин.

Но сам по себе слух о принадлежности Катенина к подпольной революционной организации имел основания. Политическая биография Катенина до сих пор остается непроясненной в ряде важнейших моментов. Однако точно установлено, что он играл ответственную роль в ранних декабристских объединениях.³

Катенин несомненно состоял в Союзе Спасения (по-видимому, с конца 1816 года). Насколько активным было его участие, а вместе с тем и насколько заметна была его роль, видно из того, что летом или осенью 1817 года он был поставлен во главе одного из двух отделений тайного Военного общества — про-

¹ «Литературное наследство», т. 16—18, стр. 628.

² «А. С. Грибоедов в воспоминаниях современников». М., 1929, стр. 257—258.

³ См.: М. Нечкина. Союз Спасения. — «Исторические записки», 1947, № 23, стр. 176—177; ее же — А. С. Грибоедов и декабристы. М., 1947, стр. 130—131.

межучетной организации, действовавшей в период между Союзом Спасения и Союзом Благоденствия (другое отделение возглавлял Никита Муравьев). Это засвидетельствовано показаниями П. И. Пестеля, И. Д. Якушкина, Л. А. Перовского. Военное общество имело свой устав, с вступившего в общество брали расписку о строгом сохранении тайны, на собраниях обсуждались важные политические вопросы — об образе правления в России, о деятельности правительства. Военное общество, по словам И. Д. Якушкина, на некоторое время объединило «всех порядочных людей из молодежи».

Прямых суждений Катенина по общественно-политическим вопросам до нас не дошло, но достаточно ясное представление о его безусловно радикальных убеждениях дает принадлежащий его перу революционный гимн с недвусмысленным призывом «свергнуть трон и царей»:

Отечество наше страдает
Под игом твоим, о злодей!
Коль нас деспотизм угнетает,
То свергнем мы трон и царей.
Свобода! Свобода!
Ты царствуй над нами!
Ах, лучше смерть, чем жить рабами, —
Вот клятва каждого из нас!

Этот единственно дошедший до нас отрывок из катенинской песни (по-видимому, первая строфа) был передан по памяти известным Ф. Ф. Вигелем в его записках, впервые опубликованных в 1866 году. Злобный и воинствующий реакционер, рассказывая о подъеме революционных настроений в 1820 году, сообщил следующее: «Я видел, как прежний розовый цвет либерализма стал густеть и к осени переходить в кроваво-красный... Раз случилось мне быть в одном холостом, довольно веселом обществе, где было много и офицеров. Рассуждая между собой в особом углу, вдруг запели они на голос известной в самые ужасные дни революции песни «*Veillons au salut de l'Empire*» богомерзкие слова ее, переведенные надменным и жалким поэтом, полковником Катениным... Я их не

затверживал, ни записывал, но они меня так поразили, что остались у меня в памяти, и я передаю их здесь, хотя не ручаюсь за верность». ¹

Судя по сообщенной Вигелем строфе катенинской песни, только припев к ней («Свобода! Свобода!..» и т. д.) является переложением популярнейшего в эпоху буржуазной революции XVIII века «Гражданского гимна», написанного в 1791 году военным врачом Буа на музыку композитора Далеярака и ставшего любимой песней французской республиканской армии. Любопытна дальнейшая судьба этого гимна: его исполняли и в наполеоновской армии, заменив лишь слова «Veillons au salut de la République» словами «Veillons au salut de l'Empire» и оставив в неприкосновенности весь остальной тираноборческий текст («Трепещите, тираны!» и т. п.).

Вигель слышал исполнение катенинской песни осенью 1820 года, но написана она была, очевидно, раньше — в 1816—1818 годах, в пору наиболее тесного сближения Катенина с кругом деятелей тайных обществ. Известно, что декабристы распевали этот гимн не только в эти годы, но и много позже — на каторге и в ссылке: выходили с ним на работу в Чите, пели его во время пешего перехода из Читы в Петровский завод. ²

Насколько прочно имя Катенина было связано с этой песней, видно из уже упомянутого романа А. Ф. Писемского «Люди сороковых годов». Отец героя романа рассказывает о Коппине-Катенине:

«— Песню он, говорят, какою-то сочинил с припевом этаким. . .

— Какая же это песня, папаша?

— Не знаю, — отвечал полковник. Он знал, впрочем, эту песню, но не передал ее сыну, не желая заражать его вольнодумством».

¹ Ф. Вигель. Записки, т. 2. М., 1928, стр. 159.

² См.: В. Семевский. Политические и общественные идеи декабристов, СПб., 1909, стр. 151—152; «Литературное наследство», т. 59, стр. 685. — Несмотря на распространенность песни в декабристской среде, розыски полного текста ее пока не увенчались успехом.

Может быть, с распространением этой песни и были, в первую очередь, связаны удаление Катенина из Преображенского полка и последующая высылка его из Петербурга. Вероятно, Катенину принадлежали и другие произведения такого рода, до нас не дошедшие. Он отваживался и на смелые выступления в печати. Трудно предположить, что начальство не обратило внимания на катенинский перевод отрывка из трагедии Корнеля «Цинна», появившийся в распространенном журнале «Сын отечества» в марте 1818 года.

Бесспорно, что этим переводом Катенин выразил свою политическую позицию, свои тираноборческие устремления и в этих целях существенно изменил подлинник. Корнель не сочувствует республиканцу и демократу Цинне, осуждает его; у Катенина же монолог Цинны звучит совершенно иначе. Катенин отбросил в переводе заключительные двенадцать стихов, однако последнего энергичного катенинского стиха («И мертв падет на прах враг римского народа») у Корнеля нет.

«Рассказ Цинны» — одно из сильных произведений русской гражданской поэзии декабристской эпохи. Он замечателен как разительный пример маскировки античным сюжетом остро современной политической темы. В монологе речь идет об убийстве тирана-императора, которое без обвиняков расценивается как «славное дело»:

... настал нам день блаженный
Наш замысл довершить великий и священный;
К спасенью Рима бог нас силою облек,
И счастью всех претит единый человек,
Коль может слыть таким сей муж бесчеловечный,
Омытый кровью, и враг свободы вечной...

«Рассказ Цинны» был напечатан вскоре после того, как в тайном обществе (в Москве, в конце 1817 года) обсуждался проект цареубийства. Можно считать установленным, что и Катенин принимал участие в этом обсуждении. Таким образом, перевод тираноборческого монолога римского заговорщика-республиканца явился вполне актуальным и совершенно кон-

кретным произведением русской политической поэзии 1810-х годов, — конкретным вплоть до деталей: как известно, декабрист И. Д. Якушкин вызывался заколоть Александра I во время торжественного богослужения в Успенском соборе (ср. у Катенина:

Искать ли случая? но завтра он готов:
Он в Капитолии чтит жертвами богов,
И сам падет, от нас на жертву принесенный,
Пред вечным судьей спасению вселенной. . .).

Характеристика Августа как «хитрого мужа» была вполне применима к Александру I, а стих «Сын, кровью каплющий убитого отца. . .» мог быть воспринят читателем как дерзкий намек на Александра, замешанного в убийстве Павла I. Катенин и сам указывал на иносказательный, декабристский смысл этого произведения.¹

Однако ко времени своей высылки из Петербурга Катенин уже отошел от непосредственного участия в делах революционного подполья. В 1818 году, вместе с другими активными и наиболее радикальными членами распущенного Союза Спасения, он не вошел в новое тайное общество — Союз Благоденствия, — может быть, в силу своего несогласия с принципом «медленного действия на мнения», положенным в основу умеренно-конституционалистской программы новой организации. Но в то время как остальные участники отколовшейся группы, изжив свои разногласия с руководителями Союза Благоденствия по тактическим вопросам, вернулись в тайное общество, Катенин, по не выясненным еще причинам, остался вне общества, а в дальнейшем, высланный из Петербурга в Костромскую губернию, в условиях полной изоляции, очутился вообще в стороне от практической революционной деятельности.²

¹ В двадцатые годы (после 14 декабря) Катенин дважды пытался напечатать «Рассказ Цинны», но оба раза цензура запретила его.

² См.: Ю. Оксман. Предисловие к «Воспоминаниям П. А. Катенина о Пушкине». — «Литературное наследство», т. 16—18, стр. 624—625.

В ссылке (в своем Шаёве) Катенин провел без малого три года. Он не выказывал и тени «раскаяния», хотя соблюдал вящую осторожность в разговорах и письмах, не желая отправиться «дальше на восток». Впрочем, иногда у него все же вырывались резкие суждения о правительственной политике («Этот инквизиционный дух, эта желтуха...»), о цензурных стеснениях («Можно ли сделать что-нибудь сносное в такой несносной неволе...»). Знаменательно, что когда выяснилось, что Александр I проедет мимо имения Катенина и что тем самым представляется удобный случай «помириться с царем», Катенин намеренно уклонился от встречи, уехав в другую губернию в гости к приятелю. Александр действительно заезжал в Шаёво и справлялся о хозяине.

Петербургские друзья настоятельно советовали Катенину просить о возвращении. Он наконец послушался — и в августе 1825 года получил дозволение вернуться в столицу (в августе 1827 года он снова уехал в деревню, где прожил до середины 1832 года).

К подготовке восстания 14 декабря Катенин отношения не имел и во время следствия по делу декабристов оказался в тени — отчасти по случайным причинам. Он, правда, попал в «Алфавит членам бывших злоумышленных тайных обществ», но с пометой: «Высочайше повелено оставить без внимания».¹

Но политическое фрондерство осталось в Катенине навсегда. Он гордился своим декабристским прошлым. В дни суда над декабристами он пишет Пушкину, что ему совестно говорить о себе, когда «надо молчать и ждать». В день 14 декабря 1827 года он начинает письмо к приятелю словами: «Сегодня черный день...»

В высшей степени характерно для Катенина его гуманное и уважительное отношение к крепостным. Писемский в «Людях сороковых годов» говорит о Коптине-Катенине: «...предобрый!.. Три теперь усадьбы у него прехлебороднейшие, а ни в одной из них зер-

¹ Отдельного следственного дела на Катенина заведено не было; материал о нем сосредоточен в делах №№ 28, 55, 213 и 243.

на хлеба нет, только на семена велит оставить, а остальное все бедным раздает!»¹ Большая чуткость к народной жизни, к нуждам «бедных и работою изнуренных крестьян» чувствуется в такого рода признаниях Катенина: «Чем далее живу в отдаленной нашей стороне, тем сильнее удостоверяюсь, что здесь-то именно труд и есть, которого уже плоды красуются на ветвях и забывают о бедных корнях, роющих землю в темноте. Сельская тишина, мир полей — пустые, бессмысленные слова столичных богатых жителей, не имеющих никакого понятия о том, как трудно хлеб сеять, платить подати, ставить рекрут и как-нибудь жить».²

2

Катенин начал свой литературный путь в 1810 году, выступив с рядом стихотворений (оссиановские «Песни в Сельме», переводы из Вергилия, Биона и Гесснера) в журнале «Цветник», куда он попал, очевидно, по связи с И. И. Мартыновым — знатоком и переводчиком древних классиков, под начальством которого служил в министерстве народного просвещения. В это время он довольно тесно сошелся с К. Н. Батюшковым и Н. И. Гнедичем, посещал литературно-художественный салон А. Н. Оленина, в котором объединились «неоклассики», пропагандисты подлинной античности, поклонники героической гомеровской Греции. Еще до появления в печати первых произведений Катенина взыскательный Батюшков запрашивал Гнедича: «Маленький Катенин что делает? Он с большим дарованием».

Вскоре же Катенин начал писать для театра: в феврале 1811 года в Петербурге была поставлена трагедия Т. Корнеля «Ариадна» в переводе Катенина.³

¹ «Крестьяне здешние с голоду мрут; кормлю их чем и как могу», — писал Катенин в 1823 году («Русская старина», 1893, т. 78, стр. 199).

² Письма П. А. Катенина к Н. И. Бахтину. СПб., 1911, стр. 123.

³ «Ариадна» не была издана; рукопись — в Гос. публичной библиотеке имени М. Е. Салтыкова-Щедрина (см. «Отчет... за 1853 год», стр. 88).

В истории русского театра Катенин занимает видное место — и не только как переводчик классиков французской драматургии, сочувственно отмеченный Пушкиным в «Евгении Онегине», в строфах о петербургском театре:

Там наш Катенин воскресил
Корнеля гений величавый. . .

Завсегдатай «первого ряда кресел», Катенин был страстным театралом, тонким критиком и знатоком искусства сцены. В бытность свою в Париже, в 1814 году, он видел всех прославленных актеров того времени (Тальма́, Дюшенуа, Потье, Марс, Брюне, Молле и др.) и с некоторыми из них установил личные связи. В театральной жизни Петербурга он принимал самое постоянное и деятельное участие. В 1822 году Александру I донесли, что Катенин «подбирает в партере партии, дабы господствовать в оном и заставлять актеров и актрис искать его покровительства». К Катенину целиком может быть отнесена пушкинская характеристика Онегина: «Театра злой законодатель. . . почетный гражданин кулис». ¹ Будучи, по единогласным отзывам современников, превосходным декламатором, Катенин учил актеров искусству читать стихи, проходил с ними роли, вообще был их учителем и наставником. ² В числе его учеников и близких друзей были знаменитые актеры В. А. Каратыгин и А. М. Колосова.

Драматические произведения (преимущественно в стихах) составляют бо́льшую часть литературного наследия Катенина. Среди них — лучшие в свое время переводы трагедий Пьера Корнеля ³ и Расина, ⁴ пере-

¹ Есть основание предполагать, что Пушкин вспомнил в данном случае именно Катенина (см.: П. Каратыгин. Записки, т. 2, стр. 109—110).

² Он и сам принимал участие в любительских спектаклях. Современница запомнила его в роли Хвастуна в одноименной комедии Я. Б. Княжнина.

³ Четвертое действие «Горациев» (1817), отрывок из «Цинны» (1818), «Сид» (1822).

⁴ Отрывки из «Гофоллии» (1815 и 1829), «Эсфирь» (1816), три действия «Баязета» (1824—1825).

делки и переводы комедий Грессе,¹ Мариво² и Седена.³ Оригинальных пьес у Катенина четыре: сатирическая комедия «Студент» (1817), написанная сообща с Грибоедовым; драматический пролог (к пьесе А. А. Шаховского «Иваной») «Пир Иоанна Безземельного» (1820); неоконченная комедия из жизни феррарского двора в XVI столетии «Вражда и любовь» (1827) и пятиактная трагедия «Андромаха», начатая еще в 1809 году, законченная в 1818 году и представленная в первый раз и напечатанная лишь в 1827 году. Трагедия эта не имела успеха на сцене, но заслужила высокую оценку Пушкина, назвавшего ее «может быть, лучшим произведением нашей Мельпомены, по силе, истине чувств, по духу истинно трагическому» («О народной драме...», 1830).

В предисловии к «Андромаше» Катенин демонстративно объявил, что из всех своих произведений он почитает эту трагедию первым — «по величине и объему, по важности рода и содержания». Между тем «Андромаха», увидевшая свет восемнадцать лет спустя после того, как была задумана, прежде всего безнадежно запоздала. На общем фоне русской литературы второй половины 1820-х годов она воспринималась как вопиющий анахронизм, и современники, за редкими исключениями, не увидели в трагедии ничего, кроме тяжеловесных стихов, скроенных по «классической мерке»:

Ах, сколько тягостно в нещастии презренье!
Быть может, некий грек, мой зря позор, плененье,
И радуясь, что я служить принуждена,
Смеясь мне, речет: се Гектора жена...

¹ «Сплетни» — переделка комедии «Le méchant» (1820).

² «Обман в пользу любви» («Les fausses confidences», 1826), «Говорить правду — потерять дружбу» («Les sincères», 1826), «Игра любви и случая» («Les jeux de l'amour et du hasard», 1826).

³ «Нечаянный заклад, или Без ключа дверь не отопрешь» («La gageure imprévue», 1819). Кроме того, Катенину принадлежат переводы: либретто оперы Кино «Прозерпина» (1811) и итальянской оперы «Гризельда» (1817), четвертого действия трагедий Лонжпьера «Медея» (1818) и двух французских комедий под заглавиями: «Недоверчивый» (1827) и «В тихом омуте черты водятся» (1828).

«Андромаха», равно как и другие драматические произведения Катенина, сыграла решающую роль в упрочении за ним репутации литературного старове-ра. Действительно, в своей драматургии Катенин строго следовал традициям и законам поэтики классицизма. Между тем ко времени выступления его с «Андромахой» стихотворная трагедия классического стиля уже сходила со сцены. С именем Катенина связана самая последняя и вполне безнадежная попытка ее искусственного воскрешения. Однако, при всем том, «Андромаха» представляла собою также и достаточно типическое явление декабристской литературы, поскольку Катенин пытался в этом тяжеловесном сочинении по-своему решить проблемы стиля и жанра высокой героической трагедии «гражданского состава». А именно эта задача выдвигалась в качестве первоочередной и ответственной в кругу писателей-декабристов («Аргивяне» Кюхельбекера, «Венцеслав» Ротру в переводе Жандра, трагедийные опыты Грибоедова).¹

В данной связи любопытные результаты дает исследование катенинских переводов из Расина и Корнеля, широко раскрывающих характерный для декабристской поэзии метод применения в политических целях традиционных литературных форм с твердой образной, лексической и семантической системой. На легальном материале старых французских трагедий Катенин (как мы уже видели это на примере «Рассказа Цинны») воссоздавал образы героев, воодушевленных идеями патриотизма, мужества, гражданского самопожертвования. Пламенные монологи Сиды и других «высоких» героев, проникнутые патриотически-гражданской патетикой, вызывали четкий круг ассоциаций и аналогий, фиксировали внимание зрителя или читателя на близких ему явлениях социаль-

¹ См.: Г. Битнер. Драматургия Катенина. — «Ученые записки Ленинградского гос. университета». Серия филологических наук, вып. 2, 1939, стр. 71—93. В этой работе, в целом содержательной и интересной, допущены преувеличения в оценке творческих достижений Катенина-драматурга.

но-политического порядка. К примеру, такие стихи из перевода Расиновой «Эсфири», как

Пучины бурные разгневаннх морей
Не так опасны нам, как лживый двор царей, —

в условиях русской действительности того времени звучали прямым политическим лозунгом. Во многих случаях Катенин вольно обращался с подлинником, политически заостряя перелагаемый текст. Так, например, политическое звучание хоров той же «Эсфири» в переводе Катенина значительно более сильное, нежели у Расина.

В иных случаях переложения Катенина были явно приноровлены к современным событиям. Так, в третьем явлении III действия «Эсфири» Расин в рамках сюжета, взятого из священного писания, намекал на военные успехи Людовика XIV. Катенин, прибегая к торжественной патетике церковнославянской лексикой, в свою очередь принаравливает Расиновы стихи к победоносному завершению русско-французских войн:

Хотя б толь мног был враг числом,
Сколь мног песок на дне морском,
Хотя б, как звезды искрометны,
Их были полчища несметны, —
Падут паденьем их толпы
Тебе, Царь славы, под стопы.
И в бегстве не найдут спасенья,
И мраз и глад им путь препнет,
И ангел божий, ангел мщенья
Мечом бегущих поженет.
И преисполнятся кладбища,
И будет псам и птицам пища;
Теснились тьмой путей прийти,
И не обрящут вспять пути. . .

В 1820 году Катенин подверг строгому пересмотру драматургию Озерова, упрекая его в искажении «духа» изображаемой эпохи, в несоблюдении исторической верности — «местного» и «временного» колорита, — в том, что он, следуя Вольтеру, применял «блестящие украшения, наброшенные вкусом новых народов, как богатое платье, на величественную наго-

ту древних». ¹ Создать новую высокую трагедию, выполненную в духе «истинного» классицизма — не по «ложным» правилам Вольтера и Озерова, а по образцу античных трагиков Софокла и Еврипида, — такова была задача, которую поставил перед собой Катенин в «Андромахе». Этому не противоречило сочувственное отношение Катенина к Расину и Корнелю, которые, в его понимании, являлись прямыми наследниками великих античных трагиков. Библейские трагедии Расина он называл «чистыми от всех придворных и французских зараз»; главное достоинство «Гофолии» видел в том, что «в ней нет ничего французского, все дышит древним Иерусалимом». ²

В то же время, стараясь достичь верности изображения исторической эпохи, Катенин в нужных случаях «исправлял» и дополнял Корнеля и Расина в данном направлении, последовательно вытравляя в своих переводах черты подлинника, противоречившие исторической обстановке библейской, античной или средневековой эпохи.

Требование «правдоподобия», точного соблюдения локально-исторического колорита, понимание каждой исторической эпохи как определенного типа национальной культуры — все это, бесспорно, имело прогрессивное художественное значение. Тем самым и «Андромаха» в известной мере отвечала интересам развития русской литературы. В этой трагедии Катенин отказался от системы аллюзий — намеков и приноровлений. ³ Он уже пытался понять и изобразить человека как явление и продукт конкретной исторической действительности. Этим в первую очередь и объясняется высокая оценка, данная «Андромахе» Пушкиным, который также возражал против аллюзионности и полагал, что дело драматического писателя, коль скоро он берется за исторический сюжет, — «воскресить минувший век во всей его истине».

¹ «Сын отечества», 1820, ч. 63, № 28, стр. 83.

² «Литературная газета», 1830, № 11, стр. 87; № 71, стр. 285.

³ Ср. высказывания Катенина в письмах к А. М. Колосовой. — «Русская старина», 1893, т. 77, стр. 643 и 646.

В трагедии Катенина Пушкин увидел попытку воссоздать подлинную классическую Грецию и ее «дух истинно трагический». Гражданственный пафос в данном случае достигался не политическими намеками, но стремлением передать и воплотить в образах героики самой гомеровской Греции. В то же время тема материнской любви Андромахи к Астианаксу подсаживала Катенину новые возможности в создании высокого героического характера — в известной мере уже не однолинейного, но разностороннего и показанного в движении, в борьбе страстей и противоречий. Решить эту проблему Катенину, однако, не удалось, потому что решить ее можно было лишь средствами реалистического искусства.

Центральное место в творчестве Катенина занимает не «Андромаха», которая, несмотря на высокую оценку Пушкина, в конечном счете не оплодотворила русскую литературу, а стихи и в первую очередь — «простонародные» баллады, которые сыграли заметную и, бесспорно, плодотворную роль в литературном развитии 1810-х годов.

По возвращении из заграничного похода Катенин сблизился с литературно-театральным кружком Шаховского и с Грибоедовым. К 1815—1817 годам относится оформление литературной позиции Катенина. Он принял активное участие в возглавлявшейся декабристами борьбе за национальную самобытность и повышение идейного уровня русской литературы. Ближайшими своими соратниками и единомышленниками Катенин считал в это время Грибоедова, драматурга А. А. Жандра, критиков Д. П. Зыкова (автора «весьма дельной», по оценке Пушкина, статьи о «Руслане и Людмиле») и Н. И. Бахтина. Впоследствии к ним примкнул В. К. Кюхельбекер. Общественную позицию этой группы и вообще весь ее идеологический облик характеризует то обстоятельство, что все ее участники, исключая одного Бахтина, в той или иной мере были причастны к декабризму.

Этот литературный кружок, несмотря на свою малочисленность и внешне неприметное существование, был тем не менее совершенно *реальным* объединением

людей, связанных общими убеждениями и борющихся за свое понимание литературы и ее задач. Этого не замечала журнальная и салонная критика 1810-х годов, но это было ясно тем, кто внимательно изучал литературный процесс первой четверти XIX века во всем его объеме.

Так, Кс. Полевой, тонкий и умный критик, напомнил о катенинской группе в 1833 году, когда все ее участники, по существу, уже сошли с литературной арены. Он писал о них как о людях, которые в свое время справедливо считали, что подъем русской литературы может быть обеспечен лишь средствами, заимствованными «из родного мира, из уцелевших памятников русского духа, из стихии русского быта». Это были люди, говорил Полевой, «глубоко понимающие романтизм и готовые на все прекрасное — только под славянским знаменем. К этому разряду писателей принадлежат почетные имена русской литературы: Грибоедов, Жандр, автор «Ижорского» (то есть В. К. Кюхельбекер. — В. О.) и некоторые другие. К ним принадлежит и г-н Катенин».¹

Год спустя неизвестный критик в рецензии на поэму-сказку Катенина «Княжна Милуша» отметил «то неоспоримое достоинство г. Катенина, что он двадцать лет тому назад, в эпоху безусловного преобладания чужеземных идей и форм в нашей поэзии, обнаруживал уже особенное предрасположение к народности, сделавшейся теперь общею потребностью всех биений литературной жизни».²

Несколько позже, в 1842 году, «поборником народности» назвал Катенина В. Г. Белинский. Говоря о происходившей в 1810-е годы «войне поборников классицизма и вместе народности с поборниками классицизма чисто подражательного и чуждого всякой народности», Белинский отметил, что «в этой войне замечательны имена Катенина, Жандра и отчасти Грибоедова».³

¹ «Московский телеграф», 1833, ч. 50, стр. 566—567.

² «Молва», 1834, № 14, стр. 218.

³ В. Г. Белинский. Собрание сочинений в трех томах. М., 1948, т. 2, стр. 399.

Идейно-литературная позиция катенинской группы определена в этих высказываниях совершенно верно.

На том основании, что Катенин (как и его литературные друзья) питал пристрастие к «славянщине» в поэтическом языке и ожесточенно боролся с карамзинизмом и «Арзамасом», его неоднократно сближали и даже связывали с реакционером Шишковым. Говорить об идейной близости Катенина, Грибоедова и Кюхельбекера к Шишкову и шишковистам, разумеется, не приходится. Но и в собственно литературном плане такое сближение неправомерно. Обосновывая свои литературно-теоретические взгляды, Катенин учитывал некоторые положения, выдвинутые Шишковым против слезливо-сентиментальной литературы,¹ но он вносил в них принципиально иное идейное содержание. Да и сама борьба с эстетикой и поэтикой карамзинизма велась Катениным и его друзьями уже на другом плацдарме — вокруг центральных литературных проблем эпохи 1810-х годов: *народности* и *романтизма*.

Поздний Катенин, Катенин тридцатых годов, шумно воевал с романтизмом и демонстративно аттестовал себя «не романтиком». Но это обстоятельство не должно затемнять истинного положения дел, когда речь идет о позиции и творческой практике раннего Катенина — активного участника декабристского литературного движения.

Пушкин в статье «О сочинениях П. А. Катенина» писал: «Никогда не старался он угождать господствующему вкусу в публике, напротив: шел всегда своим путем, творя для самого себя, что и как ему было угодно. Он даже до того простер сию гордую независимость, что оставлял одну отрасль поэзии, как

¹ Катенин отмечал практическую «пользу», принесенную шишковским «Рассуждением о старом и новом слоге», «после которого приметно отстали от сентиментальности и галлицизмов все, а некоторые начали писать прямо по-русски» (Письма П. А. Катенина к Н. И. Бахтину, стр. 87). До 1832 года Катенин лично не был знаком с Шишковым, а впоследствии отзывался о нем как о человеке «пустом, полуобразованном» («Исторический вестник», 1893, октябрь, стр. 79).

скоро становилась она модною, и удалялся туда, куда не сопровождали его ни пристрастие толпы, ни образцы какого-нибудь писателя, увлекающего за собою других. Таким образом, быв одним из первых апостолов романтизма и первый введший в круг возвышенной поэзии язык и предметы простонародные, он первый отрекся от романтизма и обратился к классическим идолам, когда читающей публике начала нравиться новизна литературного преобразования».

Здесь не только правильно отмечена характернейшая черта Катенина — независимость его литературных взглядов и мнений, но и по существу верно сказано, что он был «одним из первых апостолов романтизма». При этом весьма важно подчеркнуть, что Пушкин связывал романтизм Катенина с обращением его к «языку и предметам простонародным».

Не один Пушкин, вразрез с установившимся мнением и вопреки самому Катенину, называл его романтиком. Можно привести ценное замечание В. К. Кюхельбекера о «славянах, имеющих своих классиков и романтиков»: «Шишков, Шихматов могут быть причислены к первым, Катенин, Грибоедов, Шаховской и Кюхельбекер — ко вторым». ¹ В другом случае, характеризуя Катенина как поэта «с воображением неробким, с слогом немногословным, не разведенным водою благозвучных, пустых эпитетов», Кюхельбекер прямо указывал, что баллады его «Мстислав Мстиславич», «Убийца», «Наташа», «Леший» — еще только попытки, однако же (да не рассердятся наши весьма хладнокровные, весьма осторожные, весьма неромантические самозванцы-романтики!) по сию пору одни, может быть, во всей нашей словесности принадлежат поэзии романтической». ²

В свете этих характеристик проясняются и литературная позиция и творческий облик раннего Катенина, выступавшего под «славянским знаменем» против арзамасцев, но *по-своему* решавшего *общие* с ними

¹ «Обозрение российской словесности 1824 года». — «Литературные портфели», I. П., 1923, стр. 74—75.

² «Сын отечества», 1825, ч. 103, № 17, стр. 70—71.

художественные проблемы. Именно в этом заключается глубокое и принципиальное различие позиций Катенина и шишковцев, всецело остававшихся на почве омертвевших художественных теорий XVIII века.

У Катенина с пониманием романтизма вообще произошло некоторое недоразумение. Полагая, что романтизм целиком и полностью заимствует свое содержание и краски только из «быта средних веков Западной Европы, ее нравов, обычаев, поверий и преданий», Катенин утверждал, что русская старина «отнюдь не романтическая», потому что Россия искони шла своим особым, отличным от Западной Европы путем.¹ Поэтому русского романтизма нет и быть не может. Поэтому и свое собственное обращение к русской старине, к ее нравам и преданиям Катенин, исходя из своего узкого, педантического понимания романтизма, таковым не считал. Пушкин и Кюхельбекер понимали вопрос шире и в своих оценках поэзии Катенина исходили из самого существа его идейно-художественных исканий.

Существо же это заключалось в том, что Катенин видел решение задачи в борьбе за *народность* и *правдоподобие* литературы, за ее *национально-самобытный характер и колорит*. От произведений на национальную, в частности национально-историческую, тему Катенин требовал прежде всего «истинности» в подробностях быта, пейзажа, обстановки, в изображении нравов и характеров: «Чем ближе поэт новый, обрабатывая предмет древний, подойдет к свойству, быту и краске избранного им места, времени, народа и лица, тем превосходнее будет его произведение». Оговорив, что разделение поэзии на классическую и романтическую — «разделение совершенно вздорное, ни на каком ясном различии не основанное», Катенин с достаточной четкостью сформулировал свое основное исходное положение: «Предписывать поэту выбор предметов несправедливо и вредно», ибо «для знатока прекрасное во всех видах и всегда прекрасно», но «одно исключение из сего правила извинительно и

¹ «Литературная газета», 1830, № 19, стр. 151.

даже похвально: *предпочтение поэзии своей, отечественной, народной*. . . Свое ближе чужого. Поэт с ним познакомится короче, выразит вернее и сильнее». ¹

В основе идеи исторической народности, которую принципиально и последовательно пропагандировал Катенин, лежало убеждение, что каждый народ обладает своей неповторимо своеобразной, исторически сложившейся индивидуальностью, своим, одному ему присущим «духом» и характером, и что выявление этого индивидуального «духа» — первейшая обязанность писателя.

На этом пути и выростала чрезвычайно актуальная, практически насущная задача освобождения русской литературы от чужеродных влияний, задача ее национального самоопределения. Решение этой задачи уже само по себе предполагало борьбу с карамзинистской традицией, с «Арзамасом», с сентиментально-элегическим романтизмом Жуковского и поэтов его школы.

Ранний Катенин боролся не с романтизмом вообще, но именно с романтизмом сентиментальных элегиков. ² Борьба шла против эстетизма и карамзинистской сглаженности языка и стиля, против абстрактных и мистических тем Жуковского, против слащавости и чувствительности — за то, что Пушкин называл «прелестью нагой простоты», за «простонародность» и «просторечие», за народный быт и народную геронку в литературе, за большие и серьезные темы широкого

¹ «Литературная газета», 1830, № 4, стр. 30. «Размышления и разборы», которые мы цитируем, были написаны во второй половине 1820-х годов; однако взгляды Катенина отличались такой устойчивостью, что есть все основания оперировать этими высказываниями при освещении позиции Катенина в 1810-е годы.

² Характерно, что Н. И. Бахтин, литературный спутник Катенина, всегда послушно излагавший его мнения, писал, что порицать романтизм сам по себе нет оснований, но что «было бы желательнее, чтобы в России он принял более национальный характер». ибо «истинный романтизм состоит в выборе предметов народных» и в употреблении красок, понятных читателям («Сын отечества», 1828, ч. 119, № 12, стр. 362, — перевод статьи Бахтина, анонимно напечатанной в 1826 году по-французски в «Этнографическом атласе» А. Бальби).

культурно-исторического и морального плана. При этом Катенин дал бой Жуковскому на его собственной территории — на территории баллады, этого типично романтического жанра.

3

В 1816 году в печати появилось стихотворение Катенина «Ольга», представляющее собой вольное переложение знаменитой баллады Бюргера «Ленора». В русской поэзии уже имелось одно переложение этой баллады — «Людмила» Жуковского (1808), снискавшая громкую славу. В соответствии с эстетическими установками карамзинизма, Жуковский в своем переложении последовательно вытраивал присущие Бюргеровой балладе «народные черты». Катенин, заново переведя «Ленору», вступил как бы в творческое соревнование с Жуковским: он стремился возможно полнее и отчетливее передать именно «простонародную грубость» своего образца, соответственно оформив весь интонационно-словесный строй «Ольги».

Полемическая направленность «Ольги» против «Людмилы» очевидна из простого сопоставления обоих переложений. У Жуковского — элегическая грусть и нежность, перифрастический и метафорический язык, изобилующий словосочетаниями, наиболее характерными для сентиментально-элегической лирики (*чужеземная краса, светлый взор, сладкий час соединенья, надежда-сладость, перелетный ветерок* и т. п.). У Катенина — сжатая и суровая энергия стиха, подчеркнутая резкость интонации и «грубость» лексики. Вот как, к примеру, переведено одно и то же место баллады Бюргера у Жуковского и у Катенина (в первой, журнальной редакции «Ольги»):

Слышу шорох тихих тѣней:
В час полуночных
 видений,
В дыме облака, толпой,
Прах оставя гробовой
С поздним месяца
 восходом,
Легким светлым хороводом

Казни столп; кругом
 в мерцанье,
Чуть-чуть видно при луне
Адской сволочи скаканье,
Смех и пляски в вышине.
«Кто там? Сволочь! Все
 за мною,
Вслед бегите все толпою;

В цепь воздушную свились;
Вот за ними понеслись;
Вот поют воздушны лики:
Будто в листьях павилики
Вьется легкий ветерок;
Будто плещет ручеек.

(Жуковский)

Было б там кому плясать,
Как с женой я лягу спать».
Сволочь с песней заунывной
Понеслась за седоком:
Словно вихорь бы порывный
Зашумел в бору сыром.

(Катенин)

Картина разительная: у Жуковского — «шорох тихих теней», «легкий светлый хоровод», «воздушны лики», «легкий ветерок» в «листьях павилики»; у Катенина — «адской сволочи скаканье», «заунывная песня», «порывный вихорь» в «сыром бору».

Катенин явно стремился к максимальной сжатости и драматическому напряжению стихотворной речи. Сцена отчаяния Леноры изложена Жуковским многословно и довольно вяло, с необязательными эпитетами и мелкими подробностями, ослабляющими драматизм рассказа:

Так Людмила жизнь кляла,
Так творца на суд звала. . .
Вот уж солнце за горами;
Вот усыпала звездами
Ночь спокойный свод небес;
Мрачен дол, и мрачен лес.
Вот и месяц величавый
Встал над тихую дубравой:
То из облака блеснет,
То за облако зайдет;
С гор простерты длинны тени,
И лесов дремучих сени,
И зеркало зыбких вод,
И небес далеких свод
В светлый сумрак облеченны. . .
Спят пригорки отдаленны,
Бор заснул, долина спит. . .
Чу! . . полночный час звучит.

У Катенина вместо этих восемнадцати стихов — всего восемь, но насколько воссозданная им картина драматичнее и целостнее:

Так весь день она рыдала,
Божий промысел кляла,
Руки белые ломала,
Черны волосы рвала;

И стемнело небо ясно;
Закатилось солнце красно,
Все к покою улеглись,
Звезды яркие зажглись.

Эти стихи заслужили высокую оценку Грибоедова: он охарактеризовал их как «дышащие пиитическою простотою». Эта оценка была высказана в ходе шумной полемики, которая немедленно разгорелась вокруг «Ольги».

В защиту «Людмилы» выступил Н. И. Гнедич (под псевдонимом «Житель Тентелевой деревни»),¹ нашедший в катенинской балладе стихи, «оскорбляющие слух, вкус и рассудок». «Грубость» катенинской лексики вызвала особенно резкий протест Гнедича: «... светик, вплоть, споро, сволочь и пр. без сомнения дышат простотою, но сия простота не поссорится ли со вкусом?» Критик переадресовал Катенину его же собственные стихи:

Что вы воеете не к месту? . .
Песнь нескладна и дика.

Гнедичу ответил Грибоедов,² едко высмеявший «приятные тени», «светлым хороводом» реющие в балладе Жуковского, и мертвеца, «сбивающегося на тон аркадского пастушка». Назвав Гнедича «непримиримым врагом простоты», Грибоедов отпарировал его удар, направленный против «вульгарности» катенинского языка, ссылкой на оды Ломоносова и «простонародные песни». Грибоедов нашел у Катенина «прекрасные строфы» и попутно похвалил его за «краткость, через которую описание делается живее». В основном и главном антикритика Грибоедова прозвучала как сильный протест против «тощих мечтаний», пропагандируемых «в наш слезливый век» сентиментальными элегиками. «Бог с ними, с мечтаниями, — писал Грибоедов, — ныне в какую книжку ни заглянешь, что ни прочтешь, песнь или послание, везде мечтания, а натуры ни на волос».

¹ «Сын отечества», 1816, ч. 31, № 27.

² Там же, 1816, ч. 32, № 30.

Писатели карамзинистского направления остро реагировали и на появление «Ольги» и на «антикритику» Грибоедова. Батюшков, в свое время отмечавший «большое дарование» Катенина, теперь писал, что он «по таланту» не стоил «прекрасной критики» Гнедича, «которую сам Дмитриев хвалил очень горячо», а П. А. Вяземский и В. Л. Пушкин благодарили за нее автора «от души». Следует добавить, что Катенин и Грибоедов не отступили, но, напротив, ответили своим антагонистам сатирической комедией «Студент», которая, подобно известной комедии Шаховского «Урок кокеткам, или Липецкие воды» (1815), преследовала литературно-полемические цели. «Студент» изобилует насмешками над Карамзиным, Батюшковым, Жуковским, В. Л. Пушкиным и откровенными пародиями на их стихи и прозу.

Итоги полемики, разгоревшейся по поводу «Ольги» и «Людмилы», много лет спустя подвел А. С. Пушкин (в статье о Катенине), оценивший оба эти произведения в свете всего художественного опыта, накопленного русской поэзией за истекшее время. «Ольгу» он без обиняков назвал «замечательным произведением», а «Людмилу» — «неверным и прелестным подражанием», в котором Жуковский «ослабил дух и формы своего образца». «Катенин это чувствовал, — писал Пушкин, — и вздумал показать нам «Ленору» в энергической красоте ее первобытного создания; он написал «Ольгу». Но сия простота и даже грубость выражений, сия *сволочь*, заменившая *воздушную цепь теней*, сия виселица вместо сельских картин, озаренных луною, неприятно поразили непривычных читателей, и Гнедич взялся высказать их мнения в статье, коей несправедливость обличена была Грибоедовым. После «Ольги» явился «Убийца», лучшая, может быть, из баллад Катенина. Впечатление, им произведенное, было и того хуже: убийца, в припадке сумасшествия, бранил месяц, свидетеля его злодеяния, *плешивым!* Читатели, воспитанные на Флориане и Парни, расхохотались и почли балладу ниже всякой критики».

На примере «Убийцы» (написанного за год до «Ольги») можно особенно отчетливо уяснить принци-

пы работы Катенина над созданием русской самобытной» баллады, основанной на национальном народном материале и на сюжетах, заимствованных из национальной жизни. Вопрос о «правдоподобии» и об «истинности происшествия» играл при этом весьма значительную роль. «Содержание «Убийцы» взято, вероятно, с действительного происшествия; по крайней мере, сочинитель рассказал оное так, что я невольно ему верю... Мы видим в «Убийце» весь быт крестьянский и не сомневаемся, что все так было», — писал присяжный истолкователь катенинских произведений Н. И. Бахтин.

Действительно, по неприкрашенному изображению крестьянского быта, уснащенному множеством конкретных подробностей (беленая труба, телега, полати, косячатое окно), по «простонародности» языка и разговорной прозаичности интонаций «Убийца» остается единственным в своем роде явлением русской поэзии 1810-х годов. Здесь решительно все противостоит абстрактности и мистической туманности балладного стиля Жуковского, а такие обороты и выражения, как «Особенно, когда день жаркий...», «И что на месяц пялишь очи...», «Молчи, жена, не бабье дело...», «Я с рук сбыл дурака...», «Проснулся, черт, и видит: худо!...», «Да полно, что! гляди, плешивый!...» и т. п., звучавшие в те годы чрезвычайно неожиданно и смело, в известной мере уже предвосхищают стиховые формы Некрасова.¹

Над «плешивым месяцем» (в «Убийце») глумились все литературные недруги Катенина, и только один Пушкин, озабоченный стремлением «приблизить поэтический слог к благородной простоте», по достоинству оценил этот стих как «исполненный истинно трагической силы». Отмечая «силу и оригинальность» баллады Катенина, Пушкин приводил ее как пример «поэзии, освобожденной от условных украшений

¹ См. изобилующую тонкими наблюдениями работу Ю. Н. Тынянова «Архаисты и Пушкин», которая в наибольшей мере прояснила вопрос о роли и значении Катенина в русской поэзии 1810—1820-х годов (Ю. Тынянов. Архаисты и новаторы. Л., 1929, стр. 107—177).

стихотворства» (заметка «В зрелой словесности приходит время. . .», 1828 года).

Катенин сам заявил в печати, что лучшие его стихи — такие, как «Наташа», «Убийца», «Леший», «Софокл», «Мстислав Мстиславич», — «заслуживают некоторое внимание именно как вещи совершенно оригинальные и ниоткуда не заимствованные». ¹ Н. И. Бахтин в предисловии к «Сочинениям и переводам» Катенина, которое в основных своих положениях было подсказано самим Катениным, «преимущественным достоинством» его произведений считал «оригинальность», новизну не только содержания, но «красок» и «форм».

Одним из основных источников этой творческой самобытности служили для Катенина устное народное творчество и древняя русская письменность. В «Лешем» было обработано «старинное поверье о леших». В «Мстиславе Мстиславиче», охарактеризованном автором как «большая картина», написанная «русскими красками», ² использованы и разработаны мотивы «Слова о полку Игореве» («стадо галиц», «стелют, молотят снопы там из глав. . .»). Подобные заимствования из древнерусской поэмы находим также и в переведенном из Гёте «Певце», который, по справедливому замечанию Бахтина, «мог бы похвастаться за собственное произведение, так он обрусел в переводе» («Вещий перст живые струны всколебал; гремят перуны: зверем рыщет он в леса, вьется птицей в небеса»). Столь же «обрусели» в переложении Катенина французские «Рондо» и «Песня».

В свете борьбы за народность литературы осмыслял Катенин и проблему «слога», стихотворного языка, так сильно волновавшую поэтов его времени. Пристрастие Катенина к «славянщине» не вступало в противоречие с его тяготением к «простонародному языку». Катенин еще твердо стоял на почве жанрового литературного мышления, и обе эти речевые стихии получали в его творческой практике законное и четкое

¹ «Сын отечества», 1822, ч. 76, № 13, стр. 260.

² Письма П. А. Катенина к Н. И. Бахтину, стр. 40.

разграничение. Обе они в равной мере служили источником и средством национального колорита, но изображение крестьянского быта требовало одних языковых «красок», гражданская героика — иных. Обращение к гражданственно-патриотическим темам предусматривало применение церковнославянизмов, исторически прикрепленных в русской поэзии к «высоким» лирико-эпическим жанрам и неизменно служивших испытанным средством патетического «вышшения тона».

Катенин хотя в общем и разделял (в теоретической плоскости) ошибочные представления о тождестве русского и церковнославянского языков, на практике вовсе не пытался утвердить «славянщину» в качестве стихотворного языка. Она была для него лишь стилиобразующим средством поэтического выражения, пригодным в определенных случаях. Признавая Библию «краугольным камнем нового здания», воздвигнутого Ломоносовым и достроенного другими поэтами, «писавшими с дарованием в роде высоком», Катенин призывал «новыми усилиями присвоивать себе *новые богатства*, в коренном языке нашем сокрытые». ¹ Речь шла, таким образом, не о реставраторстве, но о творческом открытии в «славянщине» новых поэтических возможностей.

При этом сферу применения церковнославянизмов Катенин строго ограничивал «высокими» жанрами и самим предметом поэтического повествования: «Не только каждый род сочинений, даже в особенности каждое сочинение требует особого слога, приличного содержанию... В комедии, в сказке нет места славянским словам, средний слог возвысится ими, наконец, высокий будет ими изобиловать. Если сочинитель употребит их некстати или без разбора, виноват его вкус, а не правила». ² Высоко ценя библейскую поэзию и охотно обращаясь к ее темам и сюжетам («Мир поэта»), Катенин спрашивал: «Язык общества, сказочек и романов, песенок и посланий достоин ли

¹ «Сын отечества», 1822, ч. 76, № 13, стр. 249.

² Там же, ч. 77, № 18, стр. 176—177.

высоких предметов библейских? Обезображенные им, они теряют и наружную важность и внутреннее достоинство: это пастырь холмов ливанских во фраке».¹

Последовательность Катенина в применении «правил» становится очевидной, если сравнить язык его «простонародных» баллад и стихотворений, посвященных разработке исторических, библейских и мифологических тем. В языковом отношении это вещи различных планов.

В балладах, просторечие которых в конечном счете отражало живую стихию общенародного разговорного языка, Катенину удалось преодолеть вообще свойственную ему известную затрудненность поэтического дыхания и создать строфы, не только превосходящие по самой фактуре стиха, но и действительно «дышащие пиитической простотой» (такова не только отмеченная Грибоедовым строфа из «Ольги», но и многие другие — в той же «Ольге», в «Наташе», «Убийце», «Лешем»).

Иное дело — торжественно-патетический, уснащенный славянизмами слог «Мстислаза Мстиславича», «Софокла», «Мира поэта», представляющих собою характерные образцы героической поэзии в духе декабристских философских, культурно-исторических и моральных концепций. В этих случаях высота и усложненность стиховых форм соответствуют высоте и важности содержания:

Но кто прозреть свою судьбину
Возмог, рожденный от жены?
Вотще был труд Лаия сыну
Бежать от роковой вины...

.....

Цвети же, держава!
Растите, дела!
Богам буди слава
И граду хвала!

Здесь мы вступаем в мир гражданственной героики; причем наиболее знаменательной и замечатель-

¹ «Литературная газета», 1830, № 4, стр. 37.

ной чертой этого ряда стихотворений Катенина является глубоко осознанное им стремление к конкретно-историческому пониманию и освещению прошлого. В «Мстиславе», «Софокле», «Мире поэта» Катенин в значительной мере уже преодолевает унаследованную от философии рационализма и искусства классицизма традицию абстрактной, «чистой» гражданственности, существующей как бы вне времени и пространства. Он уже ставит перед собой задачу исторической локализации своих гражданских тем, пытается воссоздать картину исторической действительности во всей ее подлинности и конкретности, во всем своеобразии ее локального типа.

В «Мстиславе Мстиславиче» еще различима аллюзионность, характерная для всей гражданской поэзии декабристской эпохи. Повествование о неудачно начавшейся борьбе русского народа против татарского ига приобретало здесь актуальное политическое звучание, воспринимаясь в общем контексте героической и вольнолюбивой гражданской лирики декабризма.

Но чем бы ни решались битвы,
Моя надежда все крепка:
Услышит наши бог молитвы,
И нас спасет его рука.
Он русским даст терпенья силу,
Они дождутся красных дней... —

эти слова Мстислава звучали как лозунг политической свободы.

Но при всем том в исторической балладе Катенина уже заметно и нечто существенно иное: конкретное представление о XIII веке в России, о национальном типе русской культуры того времени. Это сказалось в самой художественной структуре баллады, в ясно выраженном стремлении Катенина к национальному своеобразию поэтического стиля, в опоре его на фольклор и «Слово о полку Игореве». Правда, Катенин был не вполне последователен: народно-поэтические формы смешаны у него с традиционными формами книжной поэзии (вплоть до обращения к александрийскому стиху). Но главное в стиле «Мстислава» — его яркий национальный колорит, обилие примет нацио-

нальной поэтической стихии, переносящих в мир народного песенного и былинного творчества: белые лебеди, белокрылые ладьи на синем море, ракивов куст на холме и т. п.

Другой источник гражданственной героики Катенин видит в античности, причем внимание его привлекает одна свободная, счастливая Греция. Миродержавный и преступный Рим вовсе не отразился в его поэзии, если не считать переводного «Рассказа Цинны» и нескольких осуждающих строк в «Мире поэта». В своем понимании античности Катенин делает еще больший шаг по пути преодоления метафизического рационализма, еще дальше уходит от абстрактного античного идеала, утверждавшегося искусством классицизма. Древняя гомеровская и классическая Греция в понимании Катенина — это конкретная, исторически сложившаяся культура, особый склад быта, нравов, верований, особый тип мировоззрения (см. «Мир поэта», «Ахилл и Омир», «Элегия», «Сафо»). В таком понимании античности был свой пафос гражданственности: жизнь свободной Греции, в представлении поэта, была проникнута духом народной героики; свобода народа обеспечивала расцвет духовной культуры, приводила к торжеству благородных чувств и высоких помыслов.

С этой точки зрения наиболее значителен из катенинских стихотворений «Софокл». Здесь Катенин впервые обращается к теме судьбы поэта, занимающей столь видное место в его позднем творчестве. В «Софокле» развернута, по существу, целая концепция: *поэт и народ*. Катенинский Софокл — героический образ «великого душой» поэта и гражданина, ревнующего о славе отечества и сограждан. Силой своего дарования он побеждает равнодушие «безумного народа», воодушевляет его и ведет за собой, и вместе с тем он сам черпает свою творческую силу в сочувствии и поддержке народа и обретает свой «победный венец», свое бессмертие в народном признании. Кроме того, в «Софокле» очень существенна моральная проблематика: душа великого человека

чужда низкого чувства мести. Эту ноту в «Софокле» чутко уловил Кюхельбекер; по поводу строк:

Когда же мстить врагам обиду
Душой великие могли? —

он заметил, что для того, чтобы написать такие стихи, «надобно иметь не мелкую душу». ¹

Духом героики проникнуто и превосходное стихотворение «Мир поэта». В нем есть свой богатый идейно-политический подтекст: мир поэта — мир высоких благородных чувств, героического пафоса, смелых дерзаний, великолепных побед человеческого гения, но это мир вдохновенной мечты, фантазии, ибо в жалкой и низменной современности, окружающей поэта (заметим: русского поэта, живущего в невыносимых условиях аракчеевской эпохи), нет ничего, что могло бы пробудить его воображение:

И тщетно станет вдохновений
Теперь певец искать кругом:
Бессмертный стихотворства гений
Почиёт непробудным сном. . .

И поэт, стряхивая с себя «мертвый сон», в который погружает его «злая судьба», обращается к славному героическому прошлому человечества, к «златым временам свободы, простоты, невинности и силы», к «чудесным делам» библейских и гомеровских героев, к их сильным и пламенным страстям, к их могучим и цельным характерам.

Далее предлагается своего рода программа сюжетов, достойных настоящей, высокой, героической поэзии. Катенин рисует одну за другой яркие, впечатляющие картины библейского, гомеровского, средневекового мира, увенчивая свой рассказ образами национальных героев русского народа. Замечательны широта, насыщенность и историческая конкретность этого поэтического путешествия по векам и народам:

¹ Дневник В. К. Кюхельбекера. Л., 1929, стр. 80.

в рамки сравнительно небольшого повествования Катенин вместил чрезвычайно богатое и сложное мифологическое и историческое содержание.

Говоря о творческих исканиях Катенина, нельзя не сказать о его стремлении преодолеть укоренившуюся в русской поэзии систему ямбического стихосложения. Сам он настойчиво твердил о новаторском характере своих опытов в этой области. По поводу «Пира Иоанна Безземельного», написанного пятистопным ямбом, большей частью без рифм, он отстаивал свой приоритет новатора, впервые введшего этот «романтический размер» в русскую драматическую поэзию.¹

В стихах Катенина представлено довольно редкое по тому времени разнообразие размеров; мы встречаем у него не только хорей и анапест, но и малораспространенные сложные дактилические и амфибрахические размеры и гекзаметр.² Он охотно разрабатывал строфические формы — сонет, рондо, октаву (переводы из Ариосто и Тассо), терцину (перевод «Ада»). Пушкин в статье о Катенине особо отметил, что «знайки отдадут справедливость ученой отделке и звучности гекзаметра и вообще механизму стиха г-на Катенина, слишком пренебрегаемому лучшими нашими стихотворцами». В этой связи Пушкин похвалил гекзаметрическую «Идиллию», в которой «с такой прелестной верностью постигнута буколическая природа, не гесснеровская, чопорная и манерная, но древняя, простая, широкая, свободная».

«Идиллия» действительно очень проста, и эта простота в значительной мере объясняется легкостью и свободным течением гекзаметрического стиха, которым она написана. Катенин полагал, что «многие из русских (гекзаметров) несколько тем не нравились

¹ Письма П. А. Катенина к Н. И. Бахтину, стр. 34; «Пир Иоанна Безземельного» был представлен на сцене 21 января 1821 года.

² Ю. Тынянов заметил, что в «Мстиславе Мстиславиче» даны размеры, «предсказывающие» стих Кольцова, Полежаева и Лермонтова («Архансты и новаторы», стр. 117).

слуху, что сей размер легко впадает в два порока, разные, но равно неприятные: тяжесть, либо вялость прозаическая; одна происходит от неумения стихи разнообразить искусным смешением дактилей и хореев в первых четырех стопах; другое от переноса или перехода со смыслом из стиха в стих, так что ни один не кончен и не кругл, и от неверного или, так сказать, своевольного употребления коротких за долгие и долгих за короткие слоги». ¹ Как видим, Катенин в самом деле уделял много внимания «ученой отделке» гекзаметра и достиг в этом значительного успеха. Насколько мастерски владел он этим стихом, можно судить не только по «Идиллии», но и по другим его произведениям, в частности по «Элегии» и «Инвалиду Гореву».

В то же время в тщательной работе Катенина над стихом не было ничего формалистического, узко лабораторного. «Формы стихотворений, — писал он, — важны не собственно по себе, а по связи своей с содержанием; с изменением его должен измениться и наружный вид». ² Еще Кюхельбекер, рассматривавший «Мстислава Мстиславича» как интересную и плодотворную попытку сблизить канонические стиховые формы и размеры «с богатою поэзией русских народных песен, сказок и преданий — с поэзией русских нравов и обычаев», указывал, что в этой балладе «самый размер заслуживает внимания по удивительному искусству, с которым он приноровлен к мыслям». ³ В «Мстиславе» размер меняется двенадцать раз, и перемены эти действительно «приноровлены к мыслям». Это легко прослеживается по тексту: Катенин, меняя размер по ходу фабульного движения рассказа, стремился достичь соответствия метрической формы стиха смысловому содержанию каждого эпизода, — и это было основным принципом его работы над стихом.

¹ Письма П. А. Катенина к Н. И. Бахтину, стр. 188.

² «Литературная газета», 1830, № 4, стр. 31.

³ «Невский зритель», 1820, I, февраль, стр. 106.

Приведенные выше отзывы Пушкина свидетельствуют, что в своей оценке творчества Катенина он был независим от карамзинистской доктрины и не шел на поводу у «арзамасцев», отказывавших Катенину не только во «вкусе», но даже и в даровании. Больше того: именно в связи с полемическими выступлениями Катенина против «Арзамаса» и установились отношения между ним и Пушкиным — отношения неровные, но важные для обеих сторон.¹ В 1818 году юный Пушкин пришел к Катенину (знакомы они были с лета 1817 года) и, протягивая ему свою трость, сказал: «Я пришел к вам, как Диоген к Антисфену: побей, но выучи». — «Ученого учить — портить», — ответил Катенин.²

Эпизод этот нужно поставить в связь с наметившимся разочарованием Пушкина в идеологических и литературных установках «Арзамаса». В поисках новых путей Пушкин шел «учиться» к Катенину — влиятельному и видному в ту пору писателю, идейно и организационно связанному с революционным подпольем. Пушкину безусловно должна была импонировать также и «гордая независимость» Катенина как писателя, о которой он недаром вспомнил впоследствии.

Катенин ввел Пушкина в кружок Шаховского, втянул его в театральные интересы и, главное, настаивал в вопросах поэзии. «Учеба» Пушкина у Катенина продолжалась недолго, но имела важные последствия. В частности, можно предположить, что Пушкин опирался на авторитет Катенина и учитывал опыт его творческой работы над «простонародной» балладой, когда писал свою первую поэму «Руслан и Людмила». Известно, что «отрывок за отрывком» Пушкин читал Катенину свою поэму, и знаменательно, что в четвертую песню ее, написанную как раз в пору сближения

¹ Отношения эти детально прослежены в вышеназванной работе Ю. Тынянова.

² См. воспоминания Катенина о Пушкине: — «Литературное наследство», т. 16—18, стр. 635.

с Катениным, Пушкин включил стихи, представляющие собой своего рода пародию на «Двенадцать спящих дев» Жуковского. Пушкинская поэма была встречена довольно холодно в кругу карамзинистов за ее «простонародность» и сочувственно в кружке Катенина — за ту же самую «простонародность».

Однако уже в конце 1819 года в силу многих и разнообразных (отчасти внешних) причин, касаться которых здесь не место, авторитет Катенина в глазах Пушкина начинает падать. «Славянские стихи» своего «преображенского приятеля» (речь шла о драматических переводах Катенина) он называет теперь «полными силы и огня, но отверженными вкусом и гармонией», — то есть судит их, исходя из карамзинистского критерия «вкуса». С высылкой Пушкина на юг в 1820 году прекращается на несколько лет и личное общение его с Катениным.

Пушкин, в своем неуклонном развитии преодолевший сектантскую ограниченность любых мелководных школ и направлений, начинает судить Катенина — типичного сектатора и фракционера — как представителя уже отходящей в прошлое литературы. «Он опоздал родиться, — писал Пушкин про Катенина Вяземскому в апреле 1820 года, — не идеями (которых у него нет) — но характером принадлежит он к 18 столетию: та же авторская мелкость и гордость, те же литературные интриги и сплетни. Мы все, по большей части, привыкли смотреть на поэзию, как на записную прелестницу, к которой заходим иногда поворотить и поповесничать, без всякой душевной привязанности и вовсе не уважая опасных ее прелестей. Катенин, напротив того, приезжает к ней в башмаках и напудренный, и просиживает у нее целую жизнь с платонической любовью, благоговением и важностью». В 1825 году Пушкин уже откровенно пишет самому Катенину: «Наша связь основана не на одинаковом образе мыслей, а на любви к одинаковым занятиям».

Также и Грибоедов в том же 1825 году, отвечая Катенину на его придиричивую и педантически крохоборскую критику «Горя от ума», по существу игно-

рирует его замечания, развертывая *свою*, реалистическую поэтику. Спор велся не только с различных позиций, но и на различных уровнях эстетической мысли. К тому же примерно времени относится приписанный Грибоедову пренебрежительно-раздраженный отзыв о Катенине: «Катенин не поглупел, но мы поумнели, и оттого он кажется нам ничтожным».¹

В решении тех новых громадных творческих задач, которые ставили перед собой Грибоедов и Пушкин, Катенин уже ничем не мог им помочь. В свое время он сыграл для Пушкина бесспорно положительную роль, помог ему избавиться от «односторонности в литературных мнениях», но дальнейшее движение русской литературы к реализму и подлинной народности не было понято Катениным.

Главную роль в данном случае сыграло то обстоятельство, что Катенину, по самой природе его творческой индивидуальности, были недоступны решения новых, центральных для поэзии двадцатых — тридцатых годов проблем героя и характера, выдвинутых в ходе литературного развития, как был ему недоступен и метод психологических характеристик и лирического субъективизма, властно вступавший в свои права.

Подняться до психологического раскрытия индивидуального характера героя и, через него, до раскрытия мира человеческих чувств и переживаний во всем их богатстве и противоречивости Катенин не сумел. Проблемы героя и характера, правда, ставились им в некоторых стихотворениях (например, в «Софокле»), но решение их было в сильной степени ограничено непреодоленным влиянием эстетики классицизма с ее нормативными критериями героя и героического, с ее стандартными состояниями «страсти», «восторга», «печали», «негодования» и т. п.

Новые течения в русской поэзии двадцатых годов нашли в Катенине страстного антагониста. В этом смысле и следует понимать замечание Пушкина, что Катенин «отрекся от романтизма и обратился к классическим идолам». Строго говоря, Катенин ни от чего

¹ «Литературное наследство», т. 16—18, стр. 628.

не отрекался, но остался на своих исходных позициях. Когда же разлад его с победившими течениями определился с полной ясностью, он все дальше и дальше стал отходить от живого участия в литературной жизни. С новыми стихотворениями он выступал крайне редко; драматические его сочинения и переводы, ставившиеся на сцене, успеха не имели. Даже старые литературные связи он растерял. К середине двадцатых годов он фактически порывает даже с самыми близкими ему в прошлом людьми — с Шаховским, Жандром, Грибоедовым. Нетерпимость Катенина в отстаивании своих устаревших взглядов и мнений, его «крутой нрав» и «строгая», а зачастую и вовсе несправедливая критика — привели к тому, что в конце концов он очутился в полной изоляции, крайне болезненно реагируя на чужие творческие успехи.

Мнительность Катенина была непомерной. Он подозревал всех и каждого в интригах, в стремлении унизить его репутацию, постоянно ввязывался в полемику. Он принимал на свой счет то, что решительно никак к нему не относилось. Так, например, прочитав однажды в «Литературной газете», что писатель, сколь бы ученым он ни был, не создаст ничего замечательного, если в нем нет поэтического таланта, он немедленно решил, что это намек на него, — и сразу же сравнил себя с Тассом и Расином, которым их современники тоже долго отказывали в таланте.¹

С течением времени «строгая критика» Катенина теряла былую принципиальность, превращаясь просто-напросто в брюзжанье на все «новое». Литературные споры двадцатых годов для него — «война пигмеев», романтизм — это «воля писать бессмыслицу и приобретать похвалу». Суждения Катенина о крупнейших литературных явлениях — по большей части огульно и резко отрицательны. Так, например, «Горе от ума» он строго осудил за «погрешность в плане», за то, что «сцены связаны произвольно», а «характер главный сбивчив и сбит». О «Бахчисарайском фонтане» писал:

¹ См. письмо Катенина к неизвестному (Н. С. Голицыну?) в сборнике «Помощь голодающим». М., 1892, стр. 256.

«...что такое, и сказать не умею; смыслу вовсе нет... одним словом, это *romantique*. Стихи, или лучше сказать стишки, сладенькие, водяные». В «Евгении Онегине» — «стихи вообще не довольно отделаны и местами небрежности непростительные». И даже в «Борисе Годунове» он похвалил только «слог», но нашел, что «целое не драма отнюдь, а кусок истории, разбитый на мелкие куски в разговорах».

Из всего молодого поколения русских поэтов он выделял лишь Кюхельбекера, в стихах которого («Святополк Окаянный» и др.) находил «много достоинств», и Баратынского, про которого писал: «Хотя, к сожалению, бóльшая часть его стихов и написана в модном и несколько однообразном тоне мечтаний, воспоминаний, надежд, сетований и наслаждений, но в них приметен истинный талант, необыкновенная легкость и чистота». ¹ Полное сочувствие Катенина вызвала боевая статья Кюхельбекера «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие» (1824), которая, по его оценке, «отличается откровенностью и благородством мыслей; он крепко нападает на новую школу, на их элегии и послания, на рабское подражание образцам часто дурным и на совершенный недостаток изобретения». ² Как видим, Катенин прочно оставался на своих прежних позициях борьбы с сентиментально-элегической поэзией во имя национальной самобытности русской литературы.

Катенин не отрекался от романтической по своему происхождению идеи исторической народности, но не сумел связать ее с решением новых задач, которые возникли перед русской литературой. На очереди стояла проблема художественного реализма, а Катенин продолжал упрямо бороться с «романтическим своеволием». В 1828 году он признавался, что хотел было написать «стихотворение *ultra romantique*» (под названием «Колдун»), но отказался от своего намерения, ибо «романтики наши, и с Байроном, и с Мицкевичем, мне до того опротивели, что мысль — сделаться,

¹ «Сын отечества», 1822, ч. 76, № 13, стр. 260—261.

² Письма П. А. Катенина к Н. И. Бахтину, стр. 73—74.

хотя несколько, по необходимости, на них похожим для меня нестерпима». ¹

Забота о «непохожести» стала главной заботой Катенина. Стихи конца двадцатых и тридцатых годов («Ахилл и Омир», «Старая быль», «Элегия», «Гений и поэт», «Идиллия», «Инвалид Горев», «Сафо») и по содержанию, и по всем своим художественным качествам резко противостоят массовой романтической поэзии того времени. Это капитальные, по большей части торжественно-патетические, всегда глубоко содержательные произведения. Все они несколько тяжеловесны, но в них есть и *своя* строгая, монументальная простота, доступная лишь зрелому мастеру (с этой точки зрения наиболее характерны «Элегия», «Идиллия» и «Инвалид Горев», отдельные фрагменты «Сафо»).

Центральная лирическая тема зрелого Катенина — тема судьбы отверженного поэта. Она сквозит и в его эпических произведениях. Существенно, что над этой темой стоит совершенно определенный идейно-политический акцент: поэт отвержен, но не смирился духом; он сохранил «жар к добродетели строгой, ненависть к злу и к низкой лести презренью». Расшифровка довольно прозрачных символов и уподоблений, к которым прибегал Катенин, разрабатывая данную тему, воочию свидетельствует о том, что он решал ее как тему судьбы *вольнолюбивого* поэта в условиях политической *реакции* последекабристской эпохи.

В замечательной «Элегии» нашли прямое отражение многие обстоятельства жизни и деятельности Катенина — его боевые подвиги, ссылка, литературные неудачи. Это — смелое стихотворение, в котором допущена двусмысленная игра именем *Александр*. Действие перенесено в античный мир, но резкая характеристика Александра Македонского, изменившего своим первым сподвижникам, легко могла быть приурочена к Александру I, обманувшему надежды «либералов»:

¹ Письма П. А. Катенина к Н. И. Бахтину, стр. 137.

После ж. как славою дел ослепясь, победитель,
Клита убив, за правду казнив Калисфена,
Сердцем враждуя на верных своих македонян,
Юных лишь персов любя, питомцев послушных,
Первых сподвижников прочь отдалил бесполезных, —
Бедный Евдор укрывся в наследие предков. . .

На возможность такого приноровления сразу же обратил внимание опытный литератор Н. Греч и, очевидно, именно поэтому уклонился от помещения «Элегии» в своем журнале.¹

Литературная репутация Катенина также нашла отражение в «Элегии». Евдор-Катенин не снискал успеха у влиятельных «судей поэтов»:

Жестким и грубым казалось им пенье Евдора.
Новых поэтов поклонники судьи те были,
Кои ми славиться начал град Птолемея.
Юноши те предтечей великих не чтили:
Наг был в глазах их Омир, Эсхил неискусен,
Слаб дарованьем Софокл, и разумом — Пиндар;
Друг же друга хваля и до звезд величая,
Юноши (семь их числом) назывались Плеядой.
В них уважал Евдор одного Феокрита. . .

Намеки достаточно прозрачны, чтобы видеть, что речь идет о «плеяде» русских романтиков. Но Катенин сам расшифровал эти стихи. В 1835 году он писал Пушкину: «Что у вас нового, или лучше сказать: у тебя собственно? Ибо ты знаешь мое мнение о светилах, составляющих нашу поэтическую плеяду: *в них уважал Евдор одного Феокрита*». И далее Катенин пояснил, что имел в виду отнюдь не Дельвига (за которым упрочилась репутация «русского Феокрита»). Таким образом, единственно кого уважал Катенин из поэтов «плеяды», был Пушкин. Это не мешало, однако, Катенину вступать с Пушкиным в полемику по важным, принципиальным вопросам.

Так, доказано, что катенинская «Старая быль» (1828) содержит в себе литературно-полемический выпад против Пушкина.² В этой большой балладе

¹ См. Письма П. А. Катенина к Н. И. Бахтину, стр. 145.

² См.: Ю. Тынянов. Архаисты и новаторы, стр. 160—170.

речь идет о состязании двух певцов — русского и грека. Первый из них вольнолюбив, второй — славит «милосердие царево». Не приходится сомневаться, что Катенин метил в данном случае в Пушкина, намекал на его «Стансы», написанные в 1826 году и опубликованные в январе 1828 года. Об этом косвенно, но достаточно убедительно говорит оценка, которую Катенин дал пушкинским «Стансам» (применив к характеристике их образы именно «Старой были») в письме к Н. И. Бахтину (апрель 1828 года): «О стансах С. П. (т. е. Саши Пушкина. — В. О.) скажу Вам, что они, как многие вещи в нем, *плутовские*, то есть, что когда воеводы машут платками, коварный еллин отыграется от либералов, перетолковав все на другой лад». ¹ Сам Катенин, отправив Пушкину «Старую быль» (в том же апреле 1828 года), сопровождающее ее комплиментарное послание и письмо «весьма дружеское» (оно до нас не дошло), был крайне взволнован тем, что Пушкин «упорно отмалчивается». Вскоре он стал подозревать, что Пушкин разгадал полемический смысл «Старой были» и обиделся. «Знает кошка, чье сало съела...» — заметил Катенин в одном из писем к Бахтину.

Пушкин, действительно, понял достаточно прозрачный намек Катенина. Получив от автора «Старую быль» вместе с сопровождавшим ее посланием и просьбой посодействовать появлению их в печати (типично катенинская выходка!), Пушкин передал в «Северные цветы» одну балладу, а *вместо* катенинского послания присоединил к ней свой «Ответ Катенину», внешне столь же комплиментарный, но на деле также полный самых ядовитых намеков:

Напрасно, пламенный поэт,
Свой чудный кубок мне подносишь
И выпить за здоровье просишь:
Не пью, любезный мой сосед!
Товарищ милый, но лукавый.
Твой кубок полон не вином,
Но упоительной отравой:
Он заманит меня потом...

¹ Письма П. А. Катенина к Н. И. Бахтину, стр. 114—115.

Тебе вослед опять за славой.
Не так ли опытный гусар,
Вербуя рекрута, подносит
Ему веселый Вакха дар,
Пока воинственный угар
Его на месте не подкосит?
Я сам служивый — мне домой
Пора убраться на покой.
Останься ты в строях Парнаса;
Пред делом кубок наливай
И лавр Корнеля или Тасса
Один с похмелья пожинай.

Памфлетно-полемическое содержание пушкинского ответа, в котором он столь решительно отклонил предложение Катенина пить из его кубка, было тонко и остроумно раскрыто Ю. Н. Тыняновым. Стихи «Он заманит меня потом тебе вослед опять за славой» в отношении Катенина — литературного неудачника, очень ревниво относившегося к своей «славе», — звучали иронически, равно как и предложение ему «остаться в строях Парнаса» вместо действительно прославленного Пушкина, которому, мол, «пора убраться на покой». Сильно должна была задеть Катенина и строка: «Пред делом кубок наливай», — Катенин был очень неравнодушен к крепким напиткам. И, наконец, пожелание пожинать с похмелья лавры *нищего* Корнеля и *сумасшедшего* Тасса — для эрудита Катенина звучали именно так, как это было задумано Пушкиным. Катенинская «Старая быль» и ответ на нее Пушкина — один из выразительных примеров весьма кровопролитной литературной полемики, прикрытой флером иносказаний и уподоблений, которыми так искусно и гибко владеют искушенные в своем деле поэты.¹

Увлекавшая Катенина тема судьбы поэта нашла свое отражение и в «Старой были». Не подлежит сомнению, что под русским воином-певцом, отказавшимся

¹ См. также интересные соображения В. Виноградова насчет «тесной смысловой связи», обнаруживающейся между «Старой былью» и пушкинским «Анчаром» (написанным на день раньше «Ответа Катенину»), где символика «древа яда» противопоставляется катенинской символике «неувядающего древа» («Литературное наследство», т. 16—18, стр. 143—148).

от состязания с греком, Катенин подразумевал самого себя:

Наш среднего роста и средних годов,
И красен был в юные годы;
Но младость — не радость средь бранных трудов.
Цевницу носил он в походы
И пел у огней для друзей-молодцов
Про старые веки и роды.

Отказ русского певца от состязания многозначителен. Сам он говорит об этом в тоне, не оставляющем никаких сомнений в истинных причинах его уклонения:

Ни с эллином спорить охоты мне нет,
Ни петь я, как он, не умею...

.

А петь о великих царях и князьях
Ума не достанет, ни силы...

Катенин увел русского певца от состязания, потому что песню, которую тот мог бы спеть, опубликовать было нельзя. В ходе работы над «Старой былью» Катенин сообщал Бахтину: «...последовала перемена необходимая, то есть: русский вовсе петь не будет, грек же пропел, и, по-моему, очень *comme il faut*, сообразно с целью всей вещи... сомневаюсь, чтобы цензура пропустила: *ils ont nez fin* (у них тонкое чутье)»; и в другой раз: «...очень видно, что он человек хороший и умный. Поэтому я его и петь не заставил, а слегка только намекнул, о чем бы он мог петь».¹

Образ русского певца в «Старой были» — это образ вольнолюбивого поэта, сохранившего верность своим убеждениям, но обреченного на безмолвие. Единственное, что ему осталось на долю, — в тесном кругу «верных старинных друзей» выпить «в память юности».

Впрочем, в иных случаях Катенин снимал печать со своих уст. К 1830 году относится не пропущенное цензурой стихотворение «Гений и поэт», являющееся

¹ Письма П. А. Катенина к Н. И. Бахтину, стр. 109, 113.

своего рода поэтической исповедью и декларацией позднего Катенина. Здесь стареющий поэт, отторгнутый от живого участия в литературной жизни, с гордостью и глубокой убежденностью определял свою позицию человека и писателя, уцелевшего при разгроме революционного движения, но сохранившего верность его заветам:

Нет, сгубить донине годы
Не смогли врожденных сил:
Добродетели, свободы,
Славы ты не разлюбил;
Будь же вновь, чем был ты прежде,
Падшим духом воспрями;
Доброй в юношу надежде,
Зрелый муж, не измени.

Стихотворение было написано под непосредственным впечатлением революционных событий в Европе, и Катенин славит эти новые вспышки освободительной борьбы, видит в них залог лучшего будущего:

Взор, присущим утомленный,
Слух, усталый от сует,
Обрати на обновленный,
Возрождающийся свет.
Зри, как целые народы,
Пробужденные от сна,
Вдруг отчизны и свободы
Водружают знамена...

Несмотря на тяжелые литературные неудачи, несмотря на глубокий разлад с современной литературой, Катенин страстно был предан своему делу писателя. В конце 1829 года он писал Бахтину: «Однажды навсегда жребий мой брошен: по грехам моим я литератор... Все неприятности, испытанные мною по сей части, не отвалили, а разве более поощрили всей силой бороться и, рано ли, поздно ли, победить или лечь на поле сражения».

В 1830 году Пушкин, высоко ценивший, как мы видели, критическое дарование Катенина, привлек его (вопреки сопротивлению Вяземского) к активному участию в «Литературной газете». Здесь была помещена целая серия катенинских статей об искусстве,

поэзии и театре под общим заглавием «Размышления и разборы».

В июле 1832 года Катенин снова появился в Петербурге, главным образом для того, чтобы издать свои сочинения и вернуться на военную службу. В это время он часто встречается с Пушкиным, у них начинается как будто период нового сближения. В январе 1833 года оба они одновременно были избраны в Российскую академию. Пушкин деятельно участвовал в распространении подписки на «Сочинения и переводы» Катенина.

Книга вышла в свет в конце 1832 года. Снабженная предисловием и примечаниями издателя (Н. И. Бахтина), она производила впечатление чуть ли не посмертного издания и соответственно была принята критикой. В немногочисленных журнальных отзывах о Катенине говорилось как о писателе, давно уже сошедшем с литературного поприща. Один только Пушкин сочувственно встретил издание, посвятив ему специальную статью (в распространенной газете «Литературные прибавления к Русскому инвалиду»). Из стихотворений и переводов Катенина Пушкин особо выделил «Ольгу» и «Убийцу», «Мстислава Мстиславича» («стихотворение, исполненное огня и движения»), «Старую быль», «Идиллию» и «Элегию», «мастерской перевод» трех песен из «Ада» Данте и романсы о Сиде — «сию простонародную хронику, столь любопытную и поэтическую».

В 1834 году отдельной книжкой вышла большая стиховая сказка Катенина «Княжна Милуша», которую Пушкин назвал (вряд ли справедливо) в не дошедшем до нас письме к автору лучшим его произведением.¹ В сказке хороши лирические отступления. Они связаны единой темой — все той же темой судьбы поэта, пережившего свое время, растерявшего старых друзей и не признанного новым поколением. В своей последовательности эти три больших лирических

¹ Катенин писал Пушкину в ответ: «За «Милушу» благодарю, хотя не вполне согласен с твоим мнением, якобы она мое лучшее творение».

отступления составляют как бы три части единого целого: в первой говорится о волшебной власти поэзии, во второй утверждается гордая и независимая миссия истинного поэта, в третьей содержатся грустные размышления о печальной судьбе поэта и его немногих друзей:

Что ж делать? Петь, пока еще поется,
Не умолкать, пока не онемел.
Пушкой хвала счастливейшим дается;
Кто от души простой и чистой пел,
Тот не искал сих плесков всенародных:
В немногих он, ему по духу сродных,
В самом себе получит мзду свою,
Власть слушать, власть не слушать; я пою.

Ничего другого Катенину и не оставалось, как принять такую позу поэта, гордого своей независимостью и не ищущего всенародного признания. В такой позе Катенин, забытый светом, и оставался до конца своих дней.

Летом 1833 года Катенин снова вступил в ряды армии. Сперва он нес необременительную службу в Царском Селе, занимаясь больше переводом «Одиссеи», а в марте 1834 года уехал на Кавказ, куда был назначен.

К 1836 году относятся последние выступления Катенина в печати — с несколькими стихотворениями.¹ В их числе был «Инвалид Горев», задуманный еще в конце двадцатых годов. Это весьма замечательное стихотворение не было по достоинству оценено тогдашней литературной критикой и, затерянное в старом журнале, не привлекло внимания историков русской поэзии. Между тем Катенин не без основания считал эту быль «самым зрелым, дельным, с природы схваченным из всех (своих) стихотворений», «*plus ultra* (своих) поэтических способностей».

«Инвалид Горев» отличается простотой и яркой характеристической выразительностью языка, конкретностью изображенного поэтом крестьянского бы-

¹ В 1836 году имя Катенина встречается также в последний раз в театральном репертуаре.

та, сюжетностью, разговорной живостью интонаций. Все эти особенности, на первый взгляд неожиданные у позднего Катенина, были, конечно, преемственно связаны с его ранними «простонародными» балладами.

Характерная подробность: когда Катенин узнал, что Дельвиг опубликовал «русскую идиллию» на сходную тему («Отставной солдат»), он написал Бахтину (в январе 1830 года): «Еще любопытен я увидеть, как Дельвиг вывел в русской идиллии отставного солдата: NB что я сам замышлял стихотворение, в коем главным лицом явился бы отставной солдат, только не идиллия из того выходила. Коли в мысли Дельвига не встретится с моей ни малейшего сходства, он мне не помеха; если же хоть что-нибудь в обе головы разом влезло, — кто первый встал, тот капрал, а другому неволя идти в отставку». ¹ «Инвалид Горев» был написан, и в нем нет ни малейшего сходства с пасторальной и эстетизирующей действительность «русской идиллией» Дельвига. Это — произведение другого стиля. Из катенинского замысла вышла в самом деле «не идиллия».

«Инвалид Горев» дополнительно выявляет серьезное историко-литературное значение творческих исканий Катенина в области овладения национально-поэтическим стилем. Эта «быль» убедительно свидетельствует также о том, что проблема народности и конкретного национального содержания поэзии осознавалась Катениным во всем ее значении и в конце тридцатых годов. Однако исторически обусловленная ограниченность мировоззрения препятствовала переходу Катенина на позиции подлинно демократической народности, которая требовала большего, нежели «простонародность» темы и языка, а именно — глубокого понимания народного характера и революционного пафоса в истолковании современной действительности.

На Кавказе Катенин служил в Эриванском карабинерном полку, вел следствие по запутанному уголовному делу, участвовал в военной экспедиции против не-

¹ Письма П. А. Катенина к Н. И. Бахтину, стр. 167.

мирных горцев. В 1836 году он был уволен из полка — кажется, в результате навета полкового командира, донесшего по начальству о «дурном поведении» Катенина,¹ — и получил назначение комендантом заолустной крепости Кизляр. Но и здесь он не удержался. В конце 1838 года его еще раз, и уже окончательно, уволили от службы с чином генерал-майора, и снова — в порядке репрессий. Сам он говорил, что был уволен «без моей воли, хотя совершенно без вины и даже без предлога».² По изустному преданию, отставка Катенина была вызвана его строптивостью и насмешливостью, не щадившей и начальства.

Писемский в «Людях сороковых годов» отразил слухи, ходившие насчет отставки Катенина: «...на Кавказе-то начальник края прислал ему эту, знаешь, книгу дневную, чтобы записывать в нее, что делал и чем занимался. Он и пишет в ней: сегодня занимался размышлением о выгодах моего любезного отечества, завтра там — отдыхал от сих мыслей, — таким шутовским манером всю книгу и исписал!.. Ему дали генерал-майора и в отставку прогнали» (ч. II, глава 9-я). Вернее всего предположить, что Катенин просто не пришелся ко двору, как человек глубоко честный и не мирившийся с незаконными порядками и нравами, укоренившимися в отдаленной «сатрапии», как он сам называл Кавказский край, где «почтения к истине, к правоте, к невинности, к страданию, двумя словами — совести и человеколюбия — в помине нет».³

Вернувшись с Кавказа, Катенин засел в глухой костромской деревне, где у него было большое хозяйство с разными барскими причудами, винокуренный завод, оранжереи, «богатые хоромы», отличная библиотека. Он много пил и чудачил. Из литературы он выпал окончательно, хотя подчас еще подумывал о возвращении к писательской деятельности: в 1842 году собирался издать третью часть своих стихотворений,

¹ См.: П. К. Мартыанов. Дела и люди века, т. 1. СПб., 1893, стр. 289—290.

² Письма П. А. Катенина к Н. И. Бахтину, стр. 237.

³ Там же, стр. 227.

в 1843 году думал о переводе «Песни о Нибелунгах». Последнее дошедшее до нас стихотворение Катенина относится к 1848 году. Это альбомный экспромт, написанный легким, разговорным стихом.¹ В 1852 году он написал ценные воспоминания о Пушкине.

Умер Катенин в своем Шаёве 23 мая 1853 года. На могильном памятнике его была начертана эпитафия, сочиненная им самим: «Павел, сын Александров, из рода Катениных, *честно* отжил свой век, служил Отечеству *верой и правдой*, в Кульме бился насмерть, но судьба его пощадила. Зла не творил никому, и мене добра, чем хотелось».²

* * *

В истории русской поэзии Катенин занимает пусть не слишком заметное, но, безусловно, самостоятельное место. Без лучших его стихов наше представление о поэзии пушкинской поры было бы неполным.

Творческая работа Катенина носит на себе печать глубокого теоретического осмысления. Интересы литературной борьбы, защита своих художественных принципов, пропаганда своего творческого метода всегда стояли для него на первом плане. Это обстоятельство подчас препятствовало непосредственному, чисто художественному, эмоциональному выражению чувств и настроений поэта.

Но, конечно, у Катенина есть стихи, донныне сохраняющие свою художественно-впечатляющую силу. Таковы ранние «простонародные баллады» Катенина, в которых ему удалось достичь редкой по тем временам простоты и энергии поэтического языка. В пору безусловного господства сентиментально-элегической школы баллады Катенина знаменовали жизненность тех начал «пиитической простоты» и народности, которые с большой силой проявились в творчестве Державина и в дальнейшем получили наивысшее выражение у Пушкина.

¹ См. «Исторический вестник», 1893, октябрь, стр. 78—79.

² См. «Пушкинский сборник». М., 1900, стр. 40.

Живой, непосредственный поэтический голос слышится и в поздних произведениях Катенина. При известной их тяжеловесности и синтаксической затрудненности, в них зачастую ощутимы та «сила» и тот «огонь», которые находил у Катенина Пушкин. Выразительным примером может служить хотя бы кантата «Сафо» (1838), отдельные части которой (песня гребцов, обращение Сафо к морю) замечательны внутренней энергией стиха, динамическим движением поэтической речи:

Приморье бурного Левкада!
Приветствую тебя; давно
Надежд и дум моих отрада
Твое невидимое дно.
Еще в пределах Митилины
Твой пенный брег, твои пучины
Манили взор в предвещих снах,
И несся в слух, как вызов дальный,
Сей рев глухой и погребальный
В твоих дробящихся волнах. . .

Подобные стихи не превращаются в музейную реликвию. Они способны и ныне пробудить в читателе эмоциональный отклик.

ДЕНИС ДАВЫДОВ



Я слушаю тебя — и сердцем молодею...

Пушкин — Денису Давыдову

Он был удивительно и всесторонне талантлив. Во всем, что бы ни делал. Талантливо дружил с людьми, талантливо воевал, талантливо писал стихи и прозу, талантливо прожил свою не такую уж легкую жизнь. Друзья и приятели, — а их было у него множество, — любили его, а еще больше любовались им. И в самом деле, нельзя было не залюбоваться этим живым, всегда деятельным, на редкость обаятельным, искрометно веселым и бесспорно умным человеком, неистощимым на выдумку, с острым словом на языке, с душой нараспашку. Везде и всегда — в чопорном светском салоне, на шумной дружеской пирушке, под бивачной палаткой, за письменным столом — он кипел и пенился или, говоря его языком, «горел, как свечка».

Таков был Денис Васильевич Давыдов — прославленный партизан 1812 года, заслуженный генерал, известный поэт, авторитетный теоретик военного дела и военно-исторический писатель, а вместе с тем состоятельный помещик, оборотистый хозяин, винокуренный заводчик, страстный охотник, беспечный говорун, дамский угодник.

Белинский, считавший Дениса Давыдова в числе «замечательнейших людей» начала XIX века, говорил, что он «примечателен и как поэт, и как военный писатель, и как вообще литератор, и как воин — не только по примерной храбрости и какому-то рыцарскому одушевлению, но и по таланту военачальничества, — и, наконец, он примечателен как человек, как характер. Он во всем этом знаменит, ибо во всем этом возвышается над уровнем посредственности и обыкновенности. Говоря о Давыдове, мы преимущественно имеем в виду поэта; но чтоб понять Давыдова как поэта, надо сперва понять его как Давыдова, т. е. как оригинальную личность, как чудный характер, словом, как всего человека». ¹ Верные слова: *как всего человека...*

И вот что наиболее знаменательно: Давыдов сам, можно сказать — трудами своих рук, писательским пером и всем поведением создал свой живописный, неповторимо оригинальный образ, сделал его всеобщим достоянием и, наконец, сам поверил в свое создание. Литературная деятельность Дениса Васильевича в зрелую пору его жизни была посвящена, в сущности, одной задаче — как можно убедительнее и доказательнее обосновать присвоенную им себе репутацию «одного из самых поэтических лиц русской армии». Призывая своих литературных друзей написать (после его смерти) «общими силами» фундаментальную его «некрологию», которая бы «осталась надолго», Давыдов признавался в письме к Н. М. Языкову (1835 года): «Шутки в сторону и не в похвалу себе сказать, а я этого стою: не как воин и поэт исключительно, но как один из самых поэтических лиц русской армии. Непристойно о себе так говорить, но это правда...»

Но пока суд да дело, не дожидаясь смерти и, как видно, не слишком надеясь на «общие силы» друзей, он сам постарался о том, что так его заботило. В обоснование присвоенной себе репутации «одного из самых поэтических лиц русской армии» в 1831 году им была

¹ В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т. 4. М., 1954, стр. 345—346.

написана замечательная по слогу и стилю автобиография («Некоторые черты из жизни Дениса Васильевича Давыдова»), выданная за чужое сочинение («друга-сослуживца»), но составленная с тем лукавым расчетом, чтобы любой сколько-нибудь смысленный читатель догадался, что имеет дело с мистификацией. Этот красноречивый *éloge* — похвальное слово о себе самом — как бы заставка ко всему, что написал Давыдов. Здесь крупным планом дан портрет героя, плакатно резко очерчен его характер, сжато, но выразительно рассказано о том, чем отличился он в жизни. Поэт «не по рифмам и стопам», но по чувству, воображению, «залету и отважности военных действий», пропевший свою песню в огне и дыму наполеоновского века, — таково содержание образа, возникающего в автобиографии. Все остальное — в стихах и в прозе — развивает и дополняет эту суммарную характеристику, включает ее в общий исторический и бытовой контекст эпохи, обогащает множеством подробностей.

И нужно признать: Давыдов преуспел во взятом на себя деле. Сила его обаяния была так велика, что он буквально заразил ею свое поколение. Немногочисленные голоса недоброжелателей и скептиков были заглушены дружным хором искренних почитателей и откровенных льстецов.

Сам великий Пушкин — первый тому пример. Между ними было пятнадцать лет разницы. Когда мальчик-лицеист горящими глазами провожал в Царском Селе полки, уходившие на Отечественную войну, «и в сень наук с досадой возвращался», Давыдов был уже офицером, окуренным боевым порохом. После войны они познакомились, потом, несмотря на разницу в годах, подружились, и Пушкин через всю жизнь пронес увлечение «Денисом-храбрецом», не переставал громко восхищаться им, запоминал каждое его острое словцо (один из эпитафий к «Пиковой даме» — давыдовский каламбур, застрявший в памяти Пушкина) и даже всерьез утверждал, что не кому другому, а именно Давыдову был обязан тем, что не поддался в молодости (еще в Лицее) влиянию модных поэтов (Жуков-

ского и Батюшкова) и «почувствовал возможность быть оригинальным». ¹

Конечно, это преувеличение. Но как характерно оно для отношения к Денису Давыдову его современников! Тот же Пушкин в самый тяжелый, закатный год своей жизни при одном воспоминании о Денисе отходил душой и молодец сердцем:

Тебе певцу, тебе герою!
Не удалось мне за тобою
При громе пушечном, в огне
Скакать на бешеном коне.
Наездник смиренного Пегаса,
Носил я старого Парнаса
Из моды вышедший мундир:
Но и по этой службе трудной,
И тут, о мой наездник чудный,
Ты мой отец и командир. . .

Самые разные люди сходились на любви и уважении к Денису Давыдову как национальному герою и человеку, владевшему секретом какой-то особой притягательности. Грибоедов говорил, что ни у кого другого «нет этакой буйной и умной головы», как у Давы-

¹ См. М. В. Юзефович. Из памятных заметок. — «Русский архив», 1874, т. 2, стр. 732. Пушкин признался также, что в молодости старался подражать Давыдову в «кручении стиха», «приоравливался к его слогу» и «усвоил его манеру навсегда» (П. П. Вяземский. А. С. Пушкин по документам Остафьевского архива и личным воспоминаниям. СПб., 1880, стр. 71). В ранних стихах Пушкина, действительно, можно без труда обнаружить многочисленные точки соприкосновения с поэзией Давыдова — в темах, стиле, интонации, фразеологии. Влияние Давыдова сказалось, к примеру, в таких стихотворениях Пушкина, как «Казак», «Воспоминание», «Городок», «Усы», «Послание к Юдину», «К Каверину», «В. Л. Пушкину», «Юрьеву». В иных случаях юный Пушкин прямо «перепевал» Давыдова. Иные его строчки так запомнились Пушкину, что он непроизвольно повторял их в своих стихах: так, например, слова Давыдова «бешенство желанья» (из «Элегии VIII» 1817 года) буквально повторены Пушкиным — и даже дважды: в стихотворениях «Мечтателю» (1818) и «Юрьеву» (1820). Прямой отголосок знаменитой давыдовской строчки «Жомини да Жомини. . .» содержится в набросках комедии об игроке, задуманной Пушкиным в 1821 году. Подмечена связь между «военными» образами, которыми Пушкин характеризовал свои стихи в «Домике в Коломне» («Из мелкой сволочи вербую рать. . .» и т. п.), и фразеологией Давыдова.

дова, и что «все сонливые меланхолики не стоят выкурки из его трубки». Слава о воинских подвигах Давыдова вышла далеко за пределы России: о «Черном капитане» (Black captain) писали в европейских газетах. Портрет его висел в кабинете Вальтера Скотта (с которым Давыдов был в переписке¹). Шотландский романист назвал поэта-партизана «человеком, имя которого останется в веках на самых блестящих и вместе горестных страницах русской истории».

Чуть ли не все русские поэты первой трети XIX века, различных рангов и направлений, начиная с Жуковского, Вяземского, Баратынского, Языкова и кончая неизвестными провинциальными дилетантами, наперерыв воспевали Дениса Давыдова. Антология обращенных к нему стихотворных посланий и мадригалов — совершенно необходимое дополнение к собственным его сочинениям. В этих стихах живет все тот же созданный «певцом-гусаром» автопортретный образ. Стихотворцы самых разных ориентаций и темпераментов подхватили давыдовскую тему, окунулись в его эмоциональную стихию, и, говоря о нем, невольно перенимали его поэтическую манеру: на самом языке их многочисленных вариаций лежит явственный отпечаток резко самобытного, «распашного» давыдовского слога. Сам Пушкин в своих стихотворных обращениях к Давыдову тщательно воспроизводил и словарь, и общую тональность его *гусарщины*:

И вдруг растрепанную тень
Я вижу прямо пред собою,
Пьяна, как в самый смерти день,
Столбом усы, виски горою,
Жестокий ментик за спиною
И кивер-чудо набекрень...

Анакреон под нарядным гусарским доломаном, пламенный боец и счастливый певец вина, любви и славы, забубенный весельчак и прямодушно-благород-

¹ См.: А. Новиков. Денис Давыдов и Вальтер Скотт. — «Литература и искусство», 1942, № 31, от 1 августа; С. Орлов. Вальтер Скотт в переписке с Денисом Давыдовым. — «Новый мир», 1958, № 8, стр. 277—280.

ный человек, равно чуждый лести и низкопоклонства, спеси и чванства, заклятый враг надменных дураков, не бьющий поклонов «барской половине», народный герой, крещенный на боевые подвиги самим Суворовым (был такой случай в детские годы Давыдова), знаменитый усач с декоративным седым локоном на лбу, чьи изображения «на ухарском коне, в косматой бурке» украшают и богатые палаты и скромные хижины и небезызвестны в чужих краях, — таковы некоторые (далеко не все!) грани яркого, играющего всеми красками образа, прочно вошедшего в сознание людей давыдовского поколения.

Время пощадило этот образ. Кто не помнит очаровательного гусара Ваську Денисова в «Войне и мире»? Как он ругается на мосту, как совершает дерзкий налет на обоз с провиантом, как танцует мазурку с Наташей Ростовой, как пишет ей письмо... Но Толстой смотрел на своего героя уже издали и глазами художника-реалиста. В парадный романтический портрет Анакреона под доломаном он внес новые черты: «...маленький человечек с красным лицом, блестящими черными глазами, черными взлохмаченными усами и волосами. На нем был расстегнутый ментик, спущенные, в складках, широкие чикчиры, и на затылке была надета смятая гусарская шапочка».¹

Образ ничего не потерял в обаянии, но кое-что приобрел в достоверности. Да, Анакреон под доломаном был очень невелик ростом, и нос у него был чрезмерно коротковат, да и в жизни он вовсе не только «пил, любил да веселился», ибо служебный путь его не был усеян розами, а, напротив, сопровождался тяжелыми обидами, досадами и даже «гонениями», как говаривал сам Денис Васильевич.

«Моя жизнь — борьба». Эти слова Вольтера поставил Денис Давыдов эпиграфом к своим военным запискам. Эпиграф содержит в себе двойной смысл.

¹ Разумеется, простодушный и простоватый Васька Денисов в «Войне и мире» не есть зеркальное отражение Д. В. Давыдова, каким тот был в действительности. Речь идет не о реальном человеке, но об его литературном образе и о трансформации этого образа.

Один — открытый: борьба на полях сражений, борьба за честь и независимость родины. Другой — прикровенный: борьба, которую пришлось вести в глубоких недрах военного департамента с «людьми сухого рассудка» — выскочками, карьеристами, бюрократами, просто злобными ничтожествами, — со всеми теми, кто дружно преследовал знаменитого партизана, преследовал за все, что в нем их раздражало: за народную славу, за беспощадный язык, за презрение к фрунтмании, к «изящной ремешковой службе», за вольный, непокорный нрав, за все, что звучало дерзким вызовом мертвому аракчеевскому миру субординации, регламента и ранжира.

Борьба и в том и в другом смысле — вот главный сюжет давыдовской поэзии и прозы. На первом плане возникают широкие, эпические картины эпохи наполеоновских войн — дивного, величавого века, когда весь земной шар дрожал от «громов победных». Но за этими картинами явственно проступает богатый лирический «подтекст» — исполненный многозначительных намеков патетический рассказ о мечтах, надеждах, подвигах и обидах истинного героя этой гомерической эпохи, чью судьбу несправедливо «попрали сильные». Обе темы постоянно сталкиваются, переплетаются, оттеняют одна другую, — и их взаимодействие и контрастность вносят в рассказанную Денисом Давыдовым историю его жизни то человеческое содержание и то драматическое напряжение, без которых история эта могла бы превратиться в олеографическую картинку.

2

Денис Давыдов отличался независимостью и твердостью своих взглядов и умел отстаивать их. Но это обстоятельство не дает оснований модернизировать его взгляды, преувеличивать меру его свободомыслия. Такая оговорка тем более необходима, что с недавних пор наблюдается тенденция подгримировать Давыдова под политического бунтаря, породнить его с декабристами.

Так в одной работе, посвященной раннему этапу декабристского движения (работе, впрочем, содержательной и интересной), делается неправомерный вывод о том, что Давыдов занимал самую радикальную позицию — «не сомневался в необходимости революционного слома самодержавия», а если и спорил по этому поводу, то «спор шел лишь о сроках и формах вооруженного выступления». ¹

Это не отвечает действительному положению вещей. К дворянским *революционерам* Денис Давыдов не принадлежал. Он был типичным фрондером — то есть оппозиционером, бунтарем внутри своего класса. Он не посягал на коренные устои сословной монархии, но допускал порой достаточно острую критику кое в чем не устраивавшего его государственного и общественного уклада.

Фрондерский заквас Денис Васильевич всосал, как говорится, с молоком матери. Он родился (16 июля 1784 года) и вырос в очень своеобразной, почти кастовой среде военных профессионалов, снискавших почет и прочное общественное положение в «Екатеринин век», под знаменами Румянцева и Суворова. Громкие победы русского оружия во второй половине XVIII столетия — вот что в первую голову сформировало идеологию и психологию людей этого круга. Екатерина, не забывая ни того, что случалось в России с царями, ни драматических обстоятельств собственного воцарения, побаивалась своих «орлов», усердно ласкала и задаривала их, и они привыкли считать себя солью земли, украшением дворянства, опорой государства. Так мнили о себе не только первостатейные вельможи, правившие судьбами империи, но и люди гораздо более широкого круга — все эти екатерининские генералы, полковники и бригадиры.

Типичным представителем этого круга был отец Дениса Давыдова — родовитый и довольно состоятельный помещик и бригадир, служивший с Суворовым.

¹ С. Ланда. О некоторых особенностях формирования революционной идеологии в России. — «Пушкин и его время», вып. I. Л., 1962, стр. 144.

Женат он был на дочери видного и влиятельного генерала. В семье господствовал «суворовский дух».

В 1796 году благополучию и душевному спокойствию «екатерининских орлов» был нанесен сильнейший удар. Воцарение Павла мгновенно изменило в России всю обстановку, и наиболее болезненно перемены сказались в военно-профессиональной среде. Деспот и самодур, ненавидевший мать и все, что было сделано при ней, Павел первым делом обрушился на армию, стремясь искоренить в ней «суворовский дух», несовместимый с насаждавшейся им прусской военной системой. Старые заслуженные генералы и офицеры увольнялись от службы или сами вынуждены были подавать в отставку. Общее число уволенных и ушедших из гвардии и армии генералов и офицеров за три года царствования Павла достигло громадной по тем временам цифры — 12 тысяч человек.

В это время и образовалась военно-дворянская фронда, пылавшая ненавистью к «курносому злодею», который самовластно посягнул на казавшиеся незыблемыми дворянские права и вольности. Фронда эта была явлением широким и достаточно аморфным. Революционного значения она не имела: большую часть фрондеров составляли те, чье негодование не шло дальше протеста против стеснительных форм быта, запрета на круглые шляпы или фасон прически и т. п. Но находились люди, думавшие и о гораздо более серьезных вещах.

В 1798 году по доносу была раскрыта противозаконная деятельность довольно многочисленного офицерского кружка в Смоленске. Следствие выяснило, что участники кружка изучали французских просветителей и атеистов, обсуждали вопрос о перемене политического режима в стране, собирали и распространяли стихи «возмутительного содержания».

Для нас в данном случае наиболее существенно, что во главе смоленского кружка стояли два видных офицера суворовской школы — единоутробные братья А. М. Каховский и столь известный впоследствии А. П. Ермолов. Оба они были родственно связаны с Денисом Давыдовым (двоюродные братья). Более

того: отец Дениса — бригадир Василий Денисович — тоже оказался прикосновенным к делу смоленских заговорщиков, и это обстоятельство, по-видимому в первую очередь, определило его дальнейшую несчастливую судьбу. В том же 1798 году он был исключен из военной службы (внешним поводом послужили какие-то непорядки, обнаруженные в его полку), причем с конфискацией всего имения. Руководителей и наиболее активных участников смоленского кружка постигли серьезные репрессии: Каховский был посажен в крепость, Ермолов — после двукратного ареста — сослан в Кострому, прочие были тоже разосланы по крепостям и поселениям (с воцарением Александра все они вернулись).

Сам Денис Давыдов по молодости лет к смоленскому кружку прямого отношения не имел, но вся эта нашумевшая в свое время история не могла, естественно, не оставить глубокого следа в его сознании и памяти. Служебная катастрофа, постигшая отца, повергла семью в нищету и больно ударила по самолюбию. Юный Денис, которому предстояло обрести место под солнцем, оказался в тяжелом положении и ощущал себя тоже безвинной жертвой «тирана». Здесь — истоки его страстной ненависти к аракчеевщине, к «пруссачеству», ко всему, что насиловало и принижало человека. (Расправу над смоленскими вольнодумцами вершил «презренный, по характеристике Давыдова, генерал Линденер, типичный «пруссак» русской службы, любимец Павла.)

Свою кровную связь с попавшими в опалу «суворовцами» Денис Давыдов чувствовал глубоко и гордился ею. Первым его покровителем и руководителем оказался все тот же А. М. Каховский, которого Денис в автобиографии именует «отличным человеком». Именно к нему поспешил он, когда пришло время определяться на службу. Это произошло в начале 1801 года, сразу после 12 марта (убийство Павла), когда молодые дворяне, окрыленные новыми надеждами, дружно потянулись в столицу.

Государственный переворот 12 марта был совершен по инициативе крупнопоместного дворянства, чьи

интересы вошли в резкое противоречие с политикой Павла. Непосредственными исполнителями были офицеры гвардейских полков — и опять-таки очень многие из молодых людей, причастных к событию, в самом непродолжительном времени стали ближайшими приятелями Дениса (С. Н. Марин, А. В. Аргаматов, А. Д. Копьев, Ф. И. Толстой, — кстати сказать, все не чуждые литературе). Полунищий юноша без достаточного образования и сколько-нибудь прочных связей в «свете», он сумел занять среди привилегированной гвардейской молодежи заметное положение и даже выдвинулся в качестве присяжного остролова и сатирического стихотворца.

Устранение Павла, как известно, было встречено в дворянской среде бурным ликованием. Но вот что говорит наблюдательный современник): «Нельзя сказать, чтоб и тогда были довольны настоящим порядком дел. . . Порицания проявлялись в рукописных стихотворениях. Самое сильное из этих стихотворений было «Орлица, Турухтан и Тетерев», написанное не помню кем».¹

Действительно, военно-дворянская фронда в условиях нового царствования не склонила голову и не замкнула уста. Александр, торжественно объявивший, что будет править по заветам «возлюбленной бабки», на деле оказался заядлым формалистом, помешанным все на той же «прусской системе», ревнителем плац-парадной муштры и строжайшей дисциплины. Суворовские традиции по-прежнему оставались в забвении, любимые армией генералы — ученики Суворова — не пользовались расположением нового царя.

В такой обстановке Денис Давыдов, не без труда ставший (осенью 1801 года) эстандарт-юнкером блестящего Кавалергардского полка, дал волю своей живости и остроловию. Он пустился писать сатиры, индифферентные басни и эпиграммы самого вольного содержания, задевая военное начальство, светскую и придворную знать и даже самого царя. Нужно думать, из того, что было им в это время сочинено, дошло до

¹ Н. И. Греч. Записки о моей жизни. Л., 1930, стр. 329.

нас не все. Но и то, что известно — упомянутая Гре-чем притча «Орлица, Турухтан и Тетерев», басни «Голова и Ноги» и «Река и Зеркало», сатира «Сон» — дает достаточно ясное представление о характере и направлении раннего давыдовского творчества.

Опыт только что минувших событий не прошел для Давыдова даром. Удушение тирана, совершенное руками нескольких смелых генералов и офицеров, вселяло уверенность в том, что и при иных обстоятельствах они могут оказаться вершителями судеб государства. Гвардейский сатирик в басне «Голова и Ноги» недвусмысленно намекал, что царское «величество» можно при случае и «об камень расшибить», и — в противоречии с утешительными росказнями о «добром царе» — в «Орлице, Турухтане и Тетереве» высказывался в том смысле, что лучше всего «не выбирать в цари ни злых, ни добрых петухов».

Стихи Давыдова пошли по рукам и произвели в обществе известное впечатление. До нас дошли куплеты, являющиеся ответом на сатиру «Сон» и написанные от лица разгневанного Аполлона:

Ты, мальчик, зашалился,
Имеешь медный лоб.
Осмеивать пустился
Почтенных ты особ.

Вступя в знакомство с знатью,
Дал волю языку, —
За это вашу братью
Я розгами секу. . .¹

Политическая острота басен молодого Давыдова оказалась столь велика, что они еще долго — вплоть до тридцатых годов — переписывались в заветные тетрадки, заучивались наизусть и служили целям революционной агитации.² Участники декабристских кружков называли басню «Голова и Ноги» в числе наиболее

¹ «Архив князя Воронцова», т. 35. СПб., 1889, стр. 421.

² Басни «Голова и Ноги» и «Река и Зеркало», написанные в 1803 году, были напечатаны лишь в 1869 и 1872 годах, и то с цензурными урезками и исправлениями; «Орлица, Турухтан и Тетерев» и «Сон» (1803) увидели свет только в наше время (в 1933 году).

популярных «вольных» сочинений, «дышащих свободою» и «способствовавших развитию либеральных понятий».¹

Сатирические упражнения кавалергардского офицера, конечно, вскоре стали известны и высшему начальству — и автору сильно «мыли голову». Особенно законопреступной должна была показаться притча об Орлице (Екатерине), Турухтане (Павле) и Тетереве (Александре), где новый царь без обиняков назван «глухой тварью» (Александр действительно был тугоухим), «бестолковым разиней», «скупягой из скупых», отдавшим царство на произвол «любимцев», которые «невинность гнут в дугу, срамцов обогащают»:

Их гнусной прихотью: кто по миру пошел,
Иной лишен гнезда — у них коль не нашел.
Нет честности ни в чем, идет все на коварстве,
И суший стал разврат во всем дичином царстве...

Давыдов подвергся довольно суровому (по тем временам показного либерализма) наказанию: после соответствующих внушений, в сентябре 1804 года его удалили из гвардии, из столицы, и послали служить в глухое захолустье, в армейский гусарский полк. И хотя вскоре (в середине 1806 года), благодаря хлопотам влиятельных друзей, Давыдова вернули в гвардию, военная карьера его была в самом начале подорвана. С тех пор к нему плотно пристала репутация человека дерзкого и неблагонадежного, и таковым он навсегда остался в мнении высшего начальства. В Отечественную войну Давыдов очень выдвинулся, но официальное признание его заслуг было совершенно недостаточным. В мирной обстановке он и вовсе не пришелся ко двору, и осведомленный А. П. Ермолов утверждал, что причиной такого отношения властей к знаменитому воину было «впечатление, сделанное им в его молодости».

Вне учета фрондерской закваски молодого Давыдова невозможно составить полного и точного

¹ См.: «Общественное движение в России в первой половине XIX века», т. 1. — «Декабристы». СПб., 1905, стр. 490.

представления о том единственном в своем роде явлении в русской поэзии начала XIX века, которое всецело связано с его именем и которое он сам назвал *гусарщиной*.

Переведенный из гвардии в армейский гусарский полк, Давыдов очутился в атмосфере «гусарства», представлявшего собою характернейшую бытовую и психологическую черту эпохи наполеоновских войн, которая, как заметил однажды П. А. Вяземский, «оставила в умах следы отваги и какого-то почти своевольного казачества в понятиях и нравах».

Конечно, много было в этом эффектного позерства, пустого озорства и просто бесшабашного разгула дворянской «золотой молодежи», но вместе с тем «гусарство» во времена Аракчеева, Священного Союза и архимандрита Фотия зачастую служило своеобразной формой протеста против мертвящей казенщины, ханжества, лицемерия, многообразных способов духовного и общественного угнетения личности. Не случайно высшие власти, начиная с Александра I, чрезвычайно нервно реагировали на любые вспышки гусарского «молодечества», нетерпимого в обстановке строжайшей дисциплины.

«Гусарство» накладывало особый отпечаток не только на поведение, но и на сознание военной молодежи. Самое понятие «гусарство» вызывало целый комплекс ассоциаций, прочно закрепленных в восприятии современников как некий неписанный кодекс житейских правил. Наряду с «молодечеством», составлявшим внешнюю сторону «гусарства», оно воспитывало в человеке и совершенно иные — благородные — свойства: личную отвагу, презрение к опасности, предприимчивость, прямоту, чувство товарищеской солидарности. Пусть большинство гусарской вольницы составляли такие типы, как воспетый Давыдовым «ёра и забияка» Бурцов, широко известный в свое время как «величайший гуляка и самый отчаянный забулдыга из всех гусарских поручиков». ¹ Но наряду

¹ С. П. Жихарев. Записки современника, т. I. М.—Л., 1934, стр. 122.

с бурцовыми были люди, которые вкладывали в понятие «гусарство» существенно иное содержание.

К числу таких людей принадлежал и Денис Давыдов. Для него «гусарство» служило прежде всего поэтической темой, а не правилом житейского поведения. Он не был Бурцовым, не был ни кутилой, ни дебоширом, ни дуэлянтом. И все же «гусарство» в лучших своих чертах глубоко отпечатлелось в личности Давыдова, окрасило его творчество и, наконец, сказалось в практике его военной деятельности, которая тоже — вся целиком — была проникнута духом протеста против официальной военно-бюрократической системы.

Только не следует при этом впадать в неоправданные преувеличения. Встряска, которую Давыдов пережил в 1804 году, научила его осторожности, и с открытым политическим вольномыслием, проявившимся в его ранних стихах, он простился. С дворянскими революционерами — будущими декабристами — он не нашел да и не искал общего языка. Еще раз повторим, что сказать об этом нужно ради исторической правды.

Пробовали доказать, опираясь на глухие и обрывочные сведения, будто Давыдов принимал участие в оформлении каких-то не дошедших до нас политических документов самого раннего из преддекабристских кружков — аристократически-конституционного Ордена русских рыцарей (никакого кружка, собственно, и не образовалось, а было два человека — М. А. Дмитриев-Мамонов и М. Ф. Орлов, делившие своими мыслями, может быть, еще с двумя-тремя людьми). Но если подходить к делу непредвзято, единственное, что можно сказать, не впадая в домыслы, это то, что Давыдов, связанный дружескими отношениями с М. Ф. Орловым, был в общей форме осведомлен о программных установках «русских рыцарей». Но относился к ним по меньшей мере скептически, а по существу — отрицательно.

К чему строить шаткие гипотезы, когда вот как недвусмысленно высказался сам Давыдов (в открытом дружеском письме) насчет политических проектов, рождавшихся в кружке Орлова и Дмитриева-Мамонова: «Скучное время пришло для нашего брата

солдата: что мне до конституционных прений! При-
знаюсь в эгоизме. Ежели бы я не владел саблею, и я,
может быть, искал бы попрisha свободы, как и другой;
но, обнажив ее раз с тем, чтобы никогда не выпускать
из руки, я знаю, что и при свободном правлении я буду
рабом, ибо все буду солдатом. Двадцать лет идя одной
дорогой, я могу служить проводником по ней, тогда
как по другой я слепец, которому нужно будет схва-
титься за пояс другого, чтобы идти безопасно. Мне
жалок Орлов с его заблуждением, вредным ему и
беспольным обществу; я ему говорил и говорю, что он
болтовнею своею воздвигнет только преграды к служ-
бе своей, которою он мог быть истинно полезен отече-
ству. Как он ни дюж, а ни ему, ни бешеному Мамонову
не страшнуть самовластия в России. Этот домовый дол-
го еще будет давить ее, тем свободнее, что, расслаб-
ляясь ночью грезю, она сама не хочет шевелиться,
не только привстать разом. . . Я представляю себе сво-
бодное правление, как крепость у моря, которую не-
льзя взять блокадою, приступом — много стоит, смотри
Францию. Но рано или поздно поведем осаду и возь-
мем с осадюю. . . войдем в крепость и раздробим мо-
нумент Аракчеева. . . Но Орлов об осаде и знать не
хочет; он идет к крепости по чистому месту, думая, что
за ним вся Россия движется, а выходит, что он да бе-
шенный Мамонов, как Ахилл и Патрокл (которые
вдвоем хотели взять Троию), предприняли приступ». ¹

О чем говорит эта тирада? Да, Давыдову тоже не
нравится «самовластие» (в том смысле, какой прида-
вали этому слову в XVIII — начале XIX века) — то
есть произвол «самовластительного злодея». Но какова
же, однако, его позитивная программа, каким представ-
ляется ему «свободное правление»? Символический об-
раз его — раздробление монумента Аракчеева, то есть
ликвидация все той же стеснительной, наступающей
на горло, тупой полицейской силы. Но если взять
в расчет все, что мы знаем о Давыдове, решительно
ни из чего не видно, что он сомневался в самом абсо-

¹ Письмо к П. Д. Киселеву от 15 ноября 1819 года. — Сочине-
ния Д. В. Давыдова, т. 3. СПб., 1893, стр. 233—234, — с поправ-
ками по рукописи — в указанной работе С. Ланда, стр. 142—143.

лютизме как исторически сложившейся в России форме государственной власти. Он пытался обосновать свою политическую веру с точки зрения военного человека, призванного оберегать величие и могущество родины: «Народ конституционный есть человек отставной, в шлафроке, на огороде, за жирным обедом, на мягкой постели, в спорах бостона. Народ под деспотизмом — воин в латах и с обнаженным мечом, живущий на счет того, кто приготовил и огород, и обед, и постель; он войдет в горницу бостонистов, задует свечи и заберет в карман спорные деньги. Это жребий России, сего огромного и неустрашимого бойца, который в шлафроке и заврется, и разжиреет, и обрюзгнет, а в доспехах умрет молодцом». Заметим, что это сказано тоже в дружеском, доверительном письме (от 2 июня 1818 года) к П. А. Вяземскому, настроенному в то время весьма радикально.

Здесь достаточно отчетливо выявляется черта, отделяющая Давыдова с его ограниченным представлением о «свободном правлении» от дворянских революционеров его времени, посягнувших на самый принцип абсолютизма. Во всяком случае, как видим, он совершенно недвусмысленно выразил свое скептическое отношение к политическим планам декабристов, свое неверие в тактику революционного «приступа».

Другое дело, что он был человеком честным, благородным и просвещенным и что отказ от революционной тактики уживался у него с искренним осуждением вопиющих беззаконий крепостнического «правопорядка». С негодованием и презрением говорит он о «пресмыкающихся», для которых слова «отечество», «общественная польза» и т. п. — пустой звук, которые ждут от власти лишь «взгляда, кусок эмали или несколько тысяч белых негров». ¹ По службе в Южной армии в 1816—1819 годах Давыдов общался со многими активными участниками тайных обществ. Он до некоторой степени втянулся в круг их практических интересов, в частности — увлекся ланкастерской системой взаимного обучения, которую декабристы

¹ Письмо к П. Д. Киселеву. — Сочинения Д. В. Давыдова, т. 3, стр. 231.

насаждали в армии, умело используя ее в своих агитационно-пропагандистских целях.¹ С уважением приглядываясь и прислушиваясь к М. Ф. Орлову — блестящему оратору и эрудиту, — он хочет стать «с веком наравне» и тоже погружается в изучение модной политической литературы — Бенжамена Констана, Бентама, Сея.

Однако он наотрез отказался от вступления в тайное общество, хотя мы знаем, как легко и бездумно делали это многие, оказавшиеся впоследствии случайными и нестойкими попутчиками декабристов. В свете фактов рушатся самые увлекательные домыслы. В уже упомянутой работе С. Ланда выдвигается такое объяснение, почему Давыдов отказался войти в Союз Благоденствия. Оказывается, его не удовлетворяла умеренная программа этого общества и он «требовал крутых и решительных мер». При этом делается ссылка на рассказ Давыдова, «дошедший до нас в семейной традиции». Но совершенно незачем ссылаться на искаженную, взятую из вторых рук версию рассказа, когда он черным по белому записан самим Давыдовым и смысл его не поддается никаким перетолкованиям. Вот этот рассказ в его первобытном виде: «Находясь всегда в весьма коротких отношениях со всеми участниками заговора 14 декабря, я не был, однако, никогда посвящен в тайны этих господ, невзирая на неоднократные покушения двоюродного брата моего Василия Львовича Давыдова. Он зашел ко мне однажды перед событием 14 декабря и оставил записку, которою приглашал меня вступить в *Tugendbund*, на что я тут же приписал: «Что ты мне толкуешь о немецком бунте? Укажи мне на русский бунт, и я пойду его усмирять».²

¹ См. письма Давыдова к А. А. Закревскому 1818 года. — «Огонек», 1954, № 16, стр. 25.

² Рассказ этот (см.: Денис Давыдов. Сочинения. М., 1962, стр. 495), передаваясь из уст в уста, подвергся искажениям. Идентичность фамилий привела к тому, что он даже был переадресован (с соответствующим переосмыслением) самому В. Л. Давыдову. *Tugendbund* — немецкое патриотическое и политическое общество, устав которого был использован при разработке программы Союза Благоденствия.

Несмотря на любовь Давыдова к каламбуру, это было сказано не ради красного словца и не для оправдания. Это — убеждение, которое Давыдов пронес через жизнь.

Военно-дворянская фронда, потерпев политическое крушение в начале 1800-х годов, не распалась окончательно, но продолжала свое существование, в иных уже формах, вплоть до сороковых годов. Она сохранила свои позиции на узком плацдарме — в отношении военной бюрократии александровской и николаевской эпохи. Воодушевленные суворовскими традициями, ожившими в атмосфере патриотического подъема времени наполеоновских войн, наиболее передовые и независимые из боевых офицеров не хотели мириться с палочным режимом, плацпарадной фрунтоманией и глубоким невежеством военного руководства, воцарившимися в русской армии. Объединенные ненавистью к аракчеевщине и «пруссачеству», они составляли сплоченную группу — так называемую «русскую партию» — вокруг выдающихся и пользовавшихся любовью в народе полководцев суворовской школы — Кутузова, Багратиона, Милорадовича, Раевского, Кульнева, Ермолова.

Денис Давыдов был одним из виднейших и наиболее ярких представителей этой группы, ее трибуном и поэтом. В своих стихах, военно-мемуарных и военно-теоретических сочинениях он резко критиковал аракчеевщину и ее наследие — и тем самым, конечно, разоблачал некоторые существенные стороны неприглядной действительности. При всем том преувеличивать меру и глубину этого разоблачения не следует. Откровенно аттестовавший себя «верным, хотя свободомыслящим слугой самодержавия», Давыдов расходился с его политикой лишь по отдельным вопросам.

Несмотря на перенесенные обиды и «гонения», постоянно наталкиваясь на недоверие высшей власти, он тем не менее верой и правдой служил самодержавию. И сама критика военной системы царизма, на которую не скупился Давыдов, вызвана была именно тем, что негодная эта система омрачала былую славу русского оружия, унижала и позорила русскую армию,

истребляла память о ее великих победах и героических характерах.

Чем дальше и глубже шла общественная жизнь в России, тем больше замыкался Денис Давыдов в своем преклонении перед «славной» стариной и в неприязни «жалкой» современности. Все, что окрыляло передовую общественность тридцатых годов, встречало у стареющего Давыдова резкий протест. Уже не только бездарность военного командования, но и всякое проявление смелой, независимой мысли он готов был рассматривать теперь как злонамеренное покушение на славу России. Его бурный, огненный патриотизм постепенно вырождался в националистическую нетерпимость ко всему «чужому». Это сказалось в его оценке польских событий 1831 года, в его поздней публицистике (в частности, в очерке «О России в военном отношении») и, конечно, в самом известном его произведении — в «Современной песне» (1836), которую завершил он свое поэтическое творчество.

В этом злом стихотворном памфлете Давыдов с отчетливо консервативных позиций выступил против передовой общественности тридцатых годов, персонально — против Чаадаева:

Старых барынь духовник,
Маленький аббатик,
Что в гостиных бить привык
В маленький набатик.

Все кричат ему привет
С аханьем и писком,
А он важно им в ответ:
Dominus vobiscum! ¹

И раздолье языкам!
И уж тут не шутка!
И народам и царям —
Всем приходит жутко!

*Все, что есть — все в пыль и прах!
Все, что процветает, —
С корнем вон! —* Ареопар
Так определяет.

¹ Господь с вами!

И жужжит он, полн грозой,
Царства низвергая...
А Россия — боже мой! —
Таска... да какая!..

«Современная песня» пользовалась шумной популярностью у людей тридцатых — сороковых годов. «Стоило только произнести первую строчку, как слушатели подхватывали продолжение и дочитывали песню до конца, при единодушном смехе», — вспоминал А. Д. Галахов.¹ Полемическая острота памфлета усугублялась еще благодаря тому обстоятельству, что Давыдов имел в виду не одного Чаадаева, а также и других определенных лиц, хорошо известных московскому обществу. Но, по верному замечанию критика А. В. Дружинина, «Современная песня», подобно «Горю от ума», «пошла гораздо далее цели, предполагаемой поэтом»: «Временная сторона испарилась с годами, и в словесности навсегда остались лишь истинно типические стороны произведения, не зависящие ни от времени, ни от самых личностей, служивших за оригиналов поэту».²

И действительно, вопреки своей общей идейной направленности, «Современная песня» зажила самостоятельной жизнью независимо от политических установок ее автора. Она не только осталась в русской поэзии как памятное произведение, но и приобрела в высшей степени интересную судьбу.

Этот памфлет, исполненный блеска и соли, лишней раз доказывает, что сила настоящего искусства взрывает изнутри даже ложную, фальшивую идею, влиянию которой поддался художник. Сердитая воркотня упрямого старовера против «новых людей» и «новых понятий» давным-давно утратила всякий смысл, а блеск и соль неотразимой сатиры восхищают и донныне. Давыдов поставил целью разоблачить тогдашних либералов со своей консервативно-националистической позиции, но злоба дня улетучилась, а обобщенная характеристика барина-крепостника, перерядившегося

¹ «Отечественные записки», 1849, т. 62, отд. V, стр. 52.

² «Библиотека для чтения», 1860, т. 159, отд. V, стр. 8.

в либерала, осталась и в течение долгого времени активно действовала в литературе, потому что Давыдов-художник проник в самую суть либерализма и пригвоздил его отточенным как штык стихом и убийственными рифмами, удивительными по своему смысловому наполнению (чего стоит одна рифма: обирала — либерала!):

Всякий маменькин сынок,
Всякий обирала,
Модных бредней дурачок,
Корчит либерала...

А глядишь: наш Мирабо
Старого Гаврило
За измятое жабо
Хлещет в ус да в рыло.

А глядишь: наш Лафает,
Брут или Фабриций
Мужиков под пресс кладет
Вместе с свекловицей...

Разоблачительная сила этих стихов была такова, что деятели русского революционно-демократического движения многократно пользовались ими (конечно, соответственно переосмысляя их) в своей борьбе с либералами. Так, В. Г. Белинский, характеризуя «людей, которые из всех сил бьются прослыть так называемыми «либералами» и которые достигают не более как незавидного прозвища жалких крикунов», писал: «Много можно было бы сказать об этих людях характеристического... но мы предпочитаем воспользоваться здесь чужою, уже готовою характеристикой, которая соединяет в себе два драгоценных качества — краткость и полноту: мы говорим об этих удачных стихах покойного Дениса Давыдова...» — и далее Белинский цитирует приведенные выше строфы из «Современной песни».¹

Тот огорчительный факт, что Денис Давыдов не принадлежал к лагерю дворянских революционеров

¹ В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т. 7. М., 1955, стр. 386—387.

с всего времени и более того — к концу жизни поддался консервативно-националистическим настроениям, не умаляет ни обаяния его личности, ни его значения как выдающегося деятеля русской военной истории, ни роли, которую сыграл он в развитии нашей поэзии, — потому что (повторим еще раз вслед за Белинским) во всем, что он сделал, он «возвышается над уровнем посредственности и обыкновенности».

3

Вершина жизни и деятельности Дениса Васильевича Давыдова — незапамятный 1812-й год.

Много в этот год кровавый,
В эту смертную борьбу
У врагов ты отнял славы,
Ты — боец чернокудрявый,
С белым локошем на лбу! ..

(Языков)

Он сам называл себя «человеком, рожденным единственно для рокового 1812 года». Действительно, в обстановке эпической всенародной борьбы, всеобщего патриотического воодушевления и нравственного подъема Давыдов раскрылся во всей полноте — как личность, как характер, как военный деятель. В героике 1812 года он обрел также содержание и пафос своего литературного творчества. В автобиографии он сказал об этом со всем присущим ему блеском словесного выражения: «Охваченный веком Наполеона, изрыгавшим всесокрушительными событиями, как Везувий лавою, он пел в пылу их, как на костре тамплиер Молé, объятый пламенем. . .»

В военном деле Давыдов был новатором, смело ломавшим рутину. Ко времени Отечественной войны он уже обладал достаточно богатым практическим опытом боевой службы, накопленным в сражениях с французами, шведами и турками в Восточной Пруссии, Финляндии и на Балканах, в 1806—1810 годах. Ему

повезло: он служил под начальством таких выдающихся полководцев суворовской школы, как Багратион и Кульнев.

Военные теоретики прусской выучки, задававшие тон в русской армии, высокомерные и бездарные советники Александра I, вроде печально известного Пфуля, сочиняли громоздкие, математически расчлененные диспозиции, согласно которым «первая колонна марширует сюда, вторая колонна — туда...» — и с треском проигрывали сражение за сражением. Кутузов, Багратион, Милорадович, Раевский, Дохтуров, Кульнев, Ермолов и другие генералы «русской партии» до глубины души презирали штабных «методиков» и весь их батальный кордебалет и выдвигали, в противовес им, совершенно иные принципы воинского дела, которые с полным основанием можно назвать творческими: живую инициативу, находчивость, чувство личной ответственности, тактику ближнего боя, собственную отвагу. Громадное значение в этом кругу придавалось правильно налаженным отношениям между командиром и его подчиненными. Суворов привил своим ученикам любовь и уважение к солдату, повседневную заботу об его нуждах. Как глубоко усвоили передовые офицеры эти суворовские уроки, видно, между прочим, из воспоминаний Давыдова о благородном Кульневе.

Более пяти лет Давыдов почти неотлучно находился при любимце русской армии Багратионе. Служить с ним было особенно почетно, но и особенно трудно. Не щадивший в бою собственной жизни, Багратион требовал от своих адъютантов и ординарцев полного презрения к опасности, безотказной исполнительности, привычки самому отвечать за себя. В «поучительной школе» Багратиона и легендарно храброго Кульнева Давыдов овладел искусством авангардного и арьергардного боя, прошел курс «аванпостной службы».

Все это очень пригодилось ему в 1812 году. В частности, можно предположить, что, обдумывая свой «план партизанских действий», он воспользовался опытом «малой войны», развернувшейся в 1808 году в Финляндии, где все, начиная с природных условий

театра военных действий и кончая пассивным (а подчас и активным) сопротивлением местного населения, вынуждало на ходу изобретать новую тактику, не предусмотренную никакими правилами «методиков».

Бесспорно также, что Давыдов разделял общее в ту пору восхищение испанскими «гверильясами» 1809 года — народными партизанами, перед которыми спасовали многоопытные маршалы Наполеона. Впоследствии, во вступительной части своего «Опыта теории партизанских действий» (написанного в 1816—1818 годах и изданного в 1821 году) Давыдов, излагая историю партизанства, начиная с Тридцатилетней войны, писал о «гверильясах»: «Их подвиги будут всегда служить примером для начальника партии; он увидит, как должно пользоваться местностью той земли, на которой ведется брань, и гневом народа, восставшего для мщения».

В том же «Опыте» Давыдов вспоминал и пример Суворова, в молодости совершавшего «партизанские подвиги» и «почерпнувшего в сем роде войны быстроту в действиях, ловкость в изворотах, внезапность в нападениях, единство в натиске», — словом, все, что составляло суть его полководческого искусства.

Короче говоря, Давыдов был хорошо подготовлен к тому, чтобы в 1812 году выступить инициатором партизанских «поисков». Но главное, что подсказало Давыдову его «план», это, конечно, сразу же выявившийся *народный* характер войны. Он быстро и глубоко постиг эту истину — и в этом его первейшая, бесспорная и неотъемлемая заслуга. В черновой рукописи «Дневника партизанских действий» есть одно замечательное место: говоря о патриотическом подъеме крестьянства, Давыдов охарактеризовал его как *«поэзию подвига, от которого нравственная сила рабов вознеслась до героизма свободного народа»*.

Давыдов понял, что эта война — нечто совершенно иное, нежели все происходившие до нее боевые кампании. Там одетый в мундир русский крестьянин сражался и умирал на чужой земле, во имя каких-то неясных ему политических расчетов. Здесь — впервые за

двести лет (если не считать проникновения шведов на Украину при Петре) он увидел неприятеля на своей родной земле, ощутил смертельную угрозу своей жизни, вере, национальной независимости. Воля народа к борьбе и победе вспыхнула в 1812 году с небывалой силой, воодушевила всех русских передовых людей, поразила и заставила крепко призадуматься крепостников, повергла в неприятное изумление Наполеона и его маршалов. Высоко поднявшаяся волна народного самосознания обусловила характер войны и определила ее исход. Эту сторону дела очень хорошо поняли декабристы. «Все распоряжения и усилия правительства были бы недостаточны, чтобы изгнать вторгшихся в Россию галлов и с ними двенадцать языцы, если бы народ по-прежнему остался в оцепенении», — утверждал И. Якушкин.

Несчастливое начало войны, сдача Смоленска, дальнейшее отступление русских войск, насилия и мародерство французов — все это еще более ожесточило и воодушевило народ и армию. «Между солдатами не было уже бессмысленных орудий, — говорит тот же Якушкин, — каждый чувствовал, что он призван содействовать в великом деле». Крестьяне целыми деревнями шли в ополчение. После падения Смоленска стихийно возникла и стала все шире разворачиваться народная партизанская война. «Дубина народной войны поднялась со всею своею грозной и величественной силой» (*Лев Толстой*).

Денис Давыдов еще задолго до вторжения Великой армии (которого все ждали) отпросился у Багратиона из адъютантов во фронт и был зачислен (в апреле 1812 года) в Ахтырский гусарский полк, с которым и отступал с боями до Колоцкого монастыря — в Гжатском уезде Смоленской губернии. Здесь 21 августа, за пять дней до Бородинской битвы, он красноречиво изложил Багратиону свой «план партизанских действий» и заручился его поддержкой. Багратион выхлопотал у Кутузова (только что назначенного главнокомандующим) позволение сформировать для Давыдова «на пробу» небольшой конный отряд — из 50 гусаров и 80 казаков. С этой малой силой Давыдов

в последних числах августа вышел на Смоленскую дорогу — в тыл врага. Вскоре отряд его увеличился. Обо всем дальнейшем живо и увлекательно рассказано в «Дневнике партизанских действий».

Весь 1812-й год Давыдов провел в седле и (как описал его Федор Глинка)

... с толпой башкир и с казаками,
И с кучей мужиков и конных русских баб,
В мужицком армяке —

вел свои непрерывные смелые «поиски» в окрестностях сожженной Москвы, а потом, после Тарутинской битвы, по всему пути отступления французских войск.

Конечно, не один Давыдов в русской армии догадывался о выгодах партизанских действий. Известно, что и сам Кутузов предусматривал «малую войну» в своих далеко идущих стратегических планах. Но обстоятельства сложились так, что именно Денису Давыдову выпало на долю положить почин *армейскому* партизанскому движению, развернувшемуся параллельно, а зачастую и сливавшемуся с *народной* партизанской войной. Говоря словами Льва Толстого, «Денис Давыдов своим русским чутьем первый понял значение этого страшного орудия, которое, не спрашивая правил военного искусства, уничтожало французов, и ему принадлежит слава первого шага для узаконения этого приема войны» («*Война и мир*»).

В основе плана, предложенного Давыдовым вниманию начальства, как раз и лежала глубокая и верная мысль о перерастании «войсковой войны» в «войну народную». Давыдов особенно настаивал на том, что «обратное появление» даже небольшого отряда русских войск на территории, захваченной неприятелем, «ободрит» крестьян и позволит создать из них серьезную боевую силу.

В этом Давыдов видел важнейшую свою задачу. Он широко пользовался помощью крестьян и дворовых, распространял среди них воззвания к поголовному ополчению, обучал их начаткам воинского дела, снабжал оружием и боеприпасами, взятыми у неприятеля. Тонкое чутье подсказало Давыдову, как нужно

держат себя в подобных условиях. Здесь все было важно, вплоть до внешнего облика. Дабы не смущать народ гусарской формой, которую можно было спутать с французской, он, действительно, оделся в мужицкий армяк, отпустил бороду и на грудь повесил икону народного угодника Николая Чудотворца. Таким впоследствии его рисовали живописцы и воспевали поэты:

...Клянусь, Давыдов благородный,
Я в том отчизною свободной,
Твоею лирой боевой,
И в славный год войны народной
В народе славной бородой!

(Баратынский)

В своем «Опыте» Давыдов следующим образом определил характер и задачу партизанских действий: «Истинная партизанская война состоит в предприятиях ни весьма мелких, ни весьма значительных. Она не занимается ни сорванием пикетов, ни нанесением прямых ударов главным силам неприятеля: она объемлет все пространство от тыла противной армии до естественного ее основания, поражая неприятеля в слабейшие места. Она вырывает корень его существования, лишает его пищи и зарядов и затрудняет его отступление. Вот партизанская война в полном смысле слова!» Партизан «действует более искусством, нежели силою» — такова основная мысль Давыдова. Партизан должен придерживаться пословицы: «Убить да уйти» — «вот сущность тактической обязанности партизана». Но вместе с тем Давыдов оговаривает, что начальнику партизанского отряда необходимо знать «правила стратегии», дабы, «умея предугадывать взаимные движения воюющих сил», он мог бы согласовать с ними свои передвижения.

И в «Дневнике партизанских действий 1812 года», и в других военно-мемуарных очерках Давыдов всячески поэтизировал «неугомонную, залетную жизнь партизанскую» — «кочевье на соломе под крышею неба», «вседневную встречу со смертью». В обрисованном им типе «истинного партизана» оттенены характерные

черты «гусарства». «Это поприще, исполненное поэзии, требует игривого и пламенного воображения, врожденной страсти к смелым предприятиям и не довольствуется лишь хладнокровным мужеством», — утверждал Давыдов. «Но одна предприимчивость недостаточна, — добавлял он, — прозорливость, строгость, бескорыстие, несуетливость, гибкий ум и настойчивость в достижении цели — вот необходимые стихии партизана, который кроме того должен уметь сочетать в себе неустрашимость, бодрость юноши с опытностью старца».

Иными словами, партизан — это тот же лихой «гусар», беззаветно храбрый и пылкий, но повзрослевший, отказавшийся на войне от легкомысленного «молодечества», умеряющий свою лихость благоразумием и сознанием ответственности за свое дело.¹

Естественно, что не всякий, по мнению Давыдова, может и должен стать партизаном. Штабные офицеры прусской школы, излишне осторожные и непредприимчивые «методики», способны только навредить на партизанском поприще. «Партизанские поиски» Давыдова в 1812 году явились прямым вызовом этим «бездарным невеждам, истым любителям изящной ремешковой службы», как называл он военных советников Александра I.

Почин Давыдова вполне оправдал себя, и после оставления Москвы, по приказу Кутузова, было сформировано еще несколько армейских партизанских отрядов. Наиболее известные из них (Фигнера, Сеславина, Дорохова, Кудашева, Орлова-Денисова, Вадбольского) сыграли заметную роль в дальнейшем ходе войны. Однако «чиновники главной квартиры» остались верны себе: они смотрели на партизанских на-

¹ Вслед за Давыдовым поэтизировал «партизанскую жизнь» стихотворец и военно-исторический писатель Н. В. Неведомский. В статье «Поэзия партизанской войны» он писал: «К движениям и сражениям армии, однообразным до утомления, поэзия нейдет... Несколько дней партизанской жизни полнее происшествиями многих месяцев, проведенных в колоннах армии и на ее биваках» («Современник», 1845, т. 40, кн. 10, — в статье упоминается Денис Давыдов).

чальников косо, как на людей несерьезных, вышедших из-под контроля и дерзко нарушающих узаконенные «правила» ведения войны. Здесь столкнулись две военные теории — старая, косная, официальная военно-идеологическая доктрина царизма и свежая, смелая мысль передовых военных деятелей, искавших секрет стратегического успеха в патриотическом подвиге народа.

Была еще одна, более глубокая причина, благодаря которой партизанское движение — и армейское и, особенно, общенародное — старались ввести в определенные рамки и взять под строгий надзор. Правительство вынуждено было пойти на вооружение народа, но сделало это скрепя сердце, со страхом: Дать крепостному рабу оружие в руки — значило, по мнению столпов режима, искушать судьбу, ибо такое вооружение могло разбудить нового Пугачева. Характерно в этом смысле, что и сам Давыдов допускал такого рода политические намеки в своей характеристике партизанского движения 1812 года. Рассказывая впоследствии о своих первых шагах на этом поприще, он записал (в первоначальной редакции «Дневника партизанских действий»): «Так, полагаю я, начинал Пугачев, но с намерением противоположным». В дальнейшем эта фраза была переделана: «Так, полагаю я, начинал Ермак... но сражавшийся для тирана, а не за отечество». Однако в печати и этот смягченный вариант был устранен по требованию цензуры.

Подъем национального самосознания в 1812 году только укреплял крепостников в опасении, что крестьянская масса, идя на безусловные жертвы во имя спасения родины, ждет за них в будущем воздаяния, а таковым могла быть только ликвидация или хотя бы, на худой конец, заметное ослабление крепостного гнета. Поэтому патриотическое воодушевление народа сразу же стали регулировать и умерять. Один из лидеров крепостнической элиты, московский главнокомандующий Ростопчин очень ясно выразил ее опасения, заявив: «Мы еще не знаем, как повернется русский народ». А будущий декабрист Федор Глинка, со своей стороны, заметил меланхолично: «Война народная

слишком нова для нас. Кажется, еще боятся развязать руки».

При таком отношении правящих кругов к вооружению народа даже и армейские партизанские отряды, начальники которых активно содействовали развязыванию народной войны, рассматривались наверху как затея довольно опасная и, в конечном счете, может быть, не оправдывающая себя. Военные советники Александра I старались всячески затушевать успехи партизанских отрядов, брали их под сомнение, подвергали обидным насмешкам. В дальнейшем эта настороженность сказалась на отношении к партизанам законопослушных историков Отечественной войны, у которых деятельность Давыдова, Фигнера, Сеславина и других прославленных «героев-удальцов» не находила должного признания, преуменьшалась, подчас вовсе замалчивалась. В 1825 году Давыдов с горечью писал о «шипении раздраженной посредственности, столь давно преследующей наших партизанов».

4

Сам он болезненно ощущал себя человеком обиженным и обойденным по службе. Так оно и было на самом деле: в официальных сферах репутация его по-прежнему стояла невысоко. Запомнилась вспышка юношеского вольнодумства, а главную роль играла при этом коренная принадлежность Давыдова к фрондерскому ермоловскому кругу.

Генерал Алексей Петрович Ермолов — герой Бородин и Кульма, а с 1816 года — «проконсул Кавказа» в должности командира Отдельного Кавказского корпуса — был знаменем военной оппозиции 1810—1820-х годов. Давыдов, дружески и родственно связанный с Ермоловым, принадлежал к числу наиболее восторженных его поклонников. Ермолов в свою очередь всячески покровительствовал Давыдову, ценил его «ум и пылкость» и с похвалой отзывался о его «острою и замысловатостью оригинальных» стихотворениях.

До конца дней Давыдов не мирился с аракчеевскими порядками в армии, с палаческим режимом, с «глубоким изучением ремешков и правил вытягивания носков, равнения шеренг и выделывания ружейных приемов». В 1820 году, освободившись от ненавистной ему «душной должности» начальника штаба пехотного корпуса, он писал: «Наконец я свободен: учебный шаг, ружейные приемы, стойка, размер пуговиц изгоняются из головы моей!.. Слава богу, я свободен! Едва не задохся». Верный суворовским традициям, Давыдов с любовью и уважением относился к солдату. Зверства аракчеевцев вызывали в нем чувство горячего возмущения. Об одном из них он писал: «Что сей последний делает, это описать нельзя!.. Людей ест!.. Право, волос становится, как подумаешь о несчастных, ему пожертвованных».

Один из образованнейших офицеров русской армии, чьи военно-теоретические работы получили международное признание, Давыдов высмеивал бездарное военное руководство, невежественных «героев» плац-парадных учений, «в коих убито стремление к образованию». Сам он непрерывно и усердно пополнял свои знания: в 1819 году, например, выписал «на тысячу рублей книг» и изучал не только курс фортификации, но и политическую экономию и юриспруденцию.

Давыдов обвинял правительство в «безмыслии», в непонимании «истинных требований века», в затрате громадных средств на развитие негодной системы военного образования. Он «не мог простить», что «родимые войска наши закованы в кандалы германизма». Он скорбел о «старых, но несравненно более светлых понятиях» и выражал опасение, что ему уже не удастся увидеть «эпоху возрождения России».

Военная бюрократия упорно и последовательно мстила Давыдову за его ненависть к ней. Летопись военной службы Давыдова есть, по существу, летопись непрерывных обид и утеснений, чинившихся ему со стороны высшего начальства. Подводя итоги своей жизни, он имел основание сказать, что «в течение сорокалетнего довольно блистательного военного предпри-

ща был сто раз обойден, часто притесняем и гоним людьми бездарными, невежественными и часто зловредными. . .». Несправедливости по отношению к Давыдову доходили до того, что в 1814 году его разжаловали было из генералов опять в полковники, как произведенного «по ошибке». А георгиевского креста ему не давали до тех пор, пока он сам не указал, что крест обязаны дать ему по статусу.

После Отечественной войны Давыдов прозябал в провинции на мизерных, незаметных должностях. В письмах к друзьям он горько жаловался на «одинаковость» хода своей жизни, на «неудовольствия и притеснения за верную свою службу». Шли годы, товарищи Давыдова, с кем начинал он военную жизнь, делали большие карьеры, а он все оставался в генерал-майорском чине, и даже не на вторых, а на десятых ролях. Он забрасывал своих выслужившихся друзей и приятелей напоминаниями о производстве и просьбами о назначении на должность, достойную его «славы».

Но ни одно из представлений Ермолова, желавшего определить Давыдова начальником пограничной Кавказской линии, где он мог бы широко развернуть свое военное дарование, не увенчалось успехом: при дворе о знаменитом партизане держались «прежних невыгодных мыслей», и в конце концов Ермолову, по его же словам, «было отказано таким образом, что он и рта не мог более разинуть». «Проклятое мое остроумие и стихотворчество много мне повредили в мнении людей сухой души и тяжкого рассудка», — говорил сам Денис Васильевич. У жандармов Давыдов все еще находился в подозрении по части политической благонадежности: дело доходило до того, что к нему подсылали профессиональных шпионов.

В конце 1823 года Давыдов вынужден был уйти в отставку — «надеть фрак» и «сбрить усы». Событие это он переживал очень тяжело. «Неужели вечный приговор мой уже подписан! Неужто не явлюсь еще в полях, войной гремящих!» — восклицал он в письме к приятелю.

При Николае I «ермоловцы» во главе с самим Ермоловым попали в открытую опалу. И хотя в резуль-

тате настойчивых и довольно унижительных для него ходатайств Давыдов был допущен к участию в персидской (1826) и польской (1831) кампаниях, — военная карьера его по существу оборвалась в самом зените. Вернувшись из Польши, он уже навсегда «распоясался и повесил шашку свою на стену», выйдя в отставку с чином генерал-лейтенанта.

Отторгнутый от службы, Давыдов поселился в полученном за женою богатом симбирском поместье Верхняя Маза, изредка навещая Москву, Петербург, Пензу, Симбирск. В деревне он был занят хозяйством, литературной работой, воспитанием детей и сентиментальным романом с юной девушкой. Состоятельный помещик, он «нежится в своем уединении» и недоумевает: «...где это честолюбие девалось, черт знает! Ничего не хочу, кроме спокойствия. . . Жена да дети — пища духовная, а для лакомства — книги, бумаги, перо и чернила, охота псовая и ястребиная. . .»

В тридцатые годы Давыдов, с самого начала принявший позу поэта-дилетанта, «не ищущего авторского имени», тесно сближается с профессиональными литературными кругами, активно сотрудничает в периодической печати, издает в 1832 году сборник стихотворений, готовит полное издание своих военных записок. Ближайшее дружеское и литературное окружение его составляют в эту пору старые «арзамасцы» (он был избран в литературное «Арзамасское общество» в 1816 году) — Вяземский, Жуковский, Пушкин — и писатели, примыкавшие к ним: Баратынский, Языков. В обстановке развернувшейся борьбы Пушкина и его соратников с литературой реакционного мещанства (с Булгариным и др.) Давыдов занял место в ряду сотрудников «Литературной газеты» и «Современника». В 1836 году он проявлял живую заботу о журнальных делах Пушкина. «Накопляется ли журнал Пушкина? — спрашивает он Вяземского. — Я еще пишу статью. . . Пора нам отделаться от ярыжников-литераторов и составить свое общество».

Под конец жизни у Давыдова остались одни воспоминания об эпохе 1812 года. «Два утра просидел я с Денисом Давыдовым, который стареет ужасно и

живет в прошедшем или, лучше сказать, в одном: 1812 годе и Наполеоне», — писал в 1838 году один из его собеседников.¹

Вскоре, 22 апреля 1839 года, еще не старым человеком, на пятьдесят пятом году жизни, Денис Давыдов, избежавший смерти в десятках сражений, мирно умер от удара.

5

В отставке Давыдов «пустился в военные записки» («Не позволяют драться, я принялся описывать, как дрались») и снова, после длительного перерыва, стал писать стихи.

В положении обойденного и обиженного человека с глубоко раненным самолюбием он находит для себя две богатые темы, которые и разрабатывает в своих военно-мемуарных очерках, а отчасти и в стихах. Это, во-первых, «воспоминания эпических наших войн, опасностей, славы» и, во-вторых, «злоба на гонителей или на сгонителей с поля битв на пашню». «От всего этого сердце бьется сильнее, кровь быстрее течет, воображенье воспламеняется, — и я опять поэт!» — пишет он П. А. Вяземскому в 1829 году.

Записки Давыдова — первоклассный источник для русской военной истории начала XIX века. Остается пожалеть, что далеко не все из громадного запаса его наблюдений и воспоминаний нашло в них свое отражение. О многом он просто не успел написать, о другом не решался говорить в тогдашних цензурных условиях (почти все очерки Давыдова все равно изрядно пострадали от цензуры), кое в чем был связан тем обстоятельством, что люди, которых он касался, были еще живы.

При всем том записки Давыдова отличаются благородной независимостью тона и резкой критико-полемической направленностью. Он писал в сознании своей правоты и неотъемлемого права свободно судить о

¹ Письмо Н. А. Полевого (см. К. А. Полевой. Записки. СПб., 1888, стр. 440).

людях и событиях — как человек, который собственной рукой навсегда «врубил свое имя» в 1812-й год.

Рисуя широкую картину минувшей героической эпохи, Давыдов не скрывает и теневых ее сторон. На все у него есть своя критическая точка зрения. Он говорит о ничтожестве, самодурстве, лихоимстве отдельных военачальников, которым самодержавие вверяло судьбу армии, раскрывает кулисы войны, за которыми вершились неприглядные делишки — местничество, неразборчивое в средствах соперничество, всякие кляузы и подвохи.

В высшей степени знаменательна независимость позиции Давыдова-мемуариста в отношении Александра I. В галерее героев 1812 года для царя вообще не нашлось места, — и это носило тем более вызывающий характер, что Давыдов не скупился на восторженные похвалы по адресу «первого солдата мира» — Наполеона. Он не терпел, когда льстивые официальные историки (которых он ядовито именовал «баснописцами») пускались в разглагольствования о мнимых военных талантах и заслугах Александра. Прочитав описание кампании 1814 года, составленное верноподданным Михайловским-Данилевским, Давыдов писал Пушкину: «...неужели нельзя славить русское войско без порицания Наполеона?.. А все эти выходки Данилевского для чего? Для того, чтобы поравнять в военном отношении Наполеона с Александром: будучи не в состоянии возвысить последнего до первого, он решился унизить первого до последнего».

Отношение Давыдова к поверженному Наполеону — то же, что у Пушкина и других передовых людей его времени, несколько позже — у Лермонтова. Для всех них это жестокий и сильный враг, оставивший по себе «кровавую память», но и «великий человек», гигант, феномен, над тенью которого вместе и отяготела «ненависть народов» и горит «луч бессмертия». Поэтому —

Да будет омрачен позором
Тот малодушный, кто в сей день
Безумным возмутит укором
Его развенчанную тень!

Эта нота уважения к павшему гиганту громко звучит в записках Давыдова. А его гневная отповедь «новой Франции», изменившей Наполеону и поправшей память о нем,¹ предвосхищает по тону написанное вскоре лермонтовское «Последнее новоселье».

Восхищение Наполеоном не помешало Давыдову вступить с ним в горячий спор как с историком войны 1812 года и разоблачить пущенную им в ход версию о морозах как будто бы главной причине гибели Великой армии. Версия эта была дружно поддержана во французской мемуарно-исторической литературе, а впоследствии проникла и в русскую историографию. Давыдову принадлежит заслуга первого решительного и доказательного опровержения этой легенды (в очерке «Мороз ли истребил французскую армию в 1812 году?»).

Но главная — генеральная и сквозная — тема в записках Давыдова — противопоставление века минувшего и века нынешнего. Перо свое он напояет ядом иронии и сарказма по адресу «героев» плац-парадной военщины николаевской эпохи: «К тому же все нынешние исполины славы при мне зародились и возмужали, — пишет он приятелю, — я видел их в латах и в халатах... Зато никому и не дам того, что не принадлежит ему». Он полон презрения к «жалкой современности» и противопоставляет ей «бурный, дивный век, громкий, величавый» — эпоху войн с Наполеоном, «коей слава есть собственность России». Себя самого он соответственно рассматривает как одного из тех людей, кто «ознаменовал сию великую эпоху» и кого новые «исполины» стараются отодвинуть в тень, «предать забвению».

Осознание себя как одного из деятелей великой эпохи помогает Давыдову хотя бы отчасти залечить нанесенные ему обиды и свести счеты с современностью в лице таких ее «героев», как Паскевич и особенно ненавистный Дибич с их сомнительными победами и вполне несомненной бездарностью. Бесславные войны

¹ См.: Денис Давыдов. Военные записки. М., 1940, стр. 436—437.

никлаевской эпохи, конечно, ничего общего не имеют с «эпическими войнами» начала века и не могут прибавить что-либо к воинской славе Давыдова, участника истинно великих событий.

Особенно резко ирония и сарказм Давыдова проявились в «Воспоминаниях о польской войне 1831 года», опубликование которых в тогдашних цензурных условиях оказалось невозможным. Сам Давыдов понимал это отчетливо: «Я с некоторого времени весь зарыт в описание нашей польской войны, — сообщал он Н. Н. Муравьеву. — Уверен, что писание это вам понравится. Оно пишется откровенно и не для печати, по крайней мере, настоящего времени». И — в другом письме к тому же адресату: «К сожалению, все, что я пишу в «Записках» моих, должно остаться в рукописи. Я всегда начинаю с благим намерением выдать в свет труды мои, но досада на глупые предприятия, на потерю духа главного и некоторых частных начальников до того доходит, что я качаю с плеча все нелепое и постыдное. Так я пишу «Записки» мои. После сего судите, могут ли они пройти через шлагбаумы цензуры?»¹

Здесь запечатлена целая галерея истинных вождей русской армии: Беннигсен — «длинный и возвышавшийся над полками, как знамя»; «злой, вулканический Каменский (младший)»; «Ахилл наполеоновских войн» Багратион, с «горделивой поступью, орлиным взглядом, геройской осанкой»; Барклай — «скромный, важный, величественный»; Кутузов — «умнейший, тончайший, просвещеннейший и любезнейший»; Ермолов с его «величавой осанкой, классическими чертами лица, глазами, исполненными жизни и огня», с «обширными сведениями» и «замечательным даром слова», — вождь, под начальством которого «каждый солдат становился героем»...

А вот — для контраста — портрет «ничтожного выскочки» Дибича: «Низенький, толстенный, с опухлою и воспаленною физиономиею, небритый, немывтый, с рыжими нечесанными волосами, в запачканном сер-

¹ «Нева», 1965, № 12, стр. 182—183.

туке...» Давыдов ненавидел Дибича (когда-то они были друзьями) — как «единственного (в смысле: единственного в своем роде. — В. О.) оскорбителя гордости народа русского, единственного оскорбителя чести, славы и оружия богатырской нашей армии». Бестолковое командование Дибича в польскую кампанию, «нелепость» его «предначертаний», «потеря духа и разума во всех затруднительных обстоятельствах» вызвали у Давыдова самые резкие слова по адресу этого «великого преступника»: «Клеймо проклятия горит на его памяти в душе каждого россиянина».

Военные записки Дениса Давыдова представляют большой интерес не только как исторический памятник, но замечательны (как и вся остальная его проза) в собственно литературном отношении, рекомендуя его как выдающегося мастера прозаического стиля. Давыдов выработал самобытную — остроумную, живую, темпераментную, или, как говорили его современники, «огненную» манеру письма, связанную, впрочем, с национальной традицией русской военной литературы («Наука побеждать» Суворова, приказы Кульнева и Ермолова). Напомним, что известная характеристика, которую Пушкин применил к литературной манере Давыдова («резкие черты неподражаемого слога»), непосредственно относилась как раз к его прозе (к «Опыту теории партизанских действий»).

6

Читая стихи и прозу Дениса Давыдова, мы попадаем в совершенно особый, очень ясно определенный в своем содержании мир человеческих чувств, мыслей, инстинктов, стремлений и поступков. Мир этот отличается редким внутренним единством, цельностью. Он держится как на стержне на тщательно и подробно выписанном образе литературного героя, исполненном удивительной жизненной конкретности.

Это — отнюдь не характерный для литературы начала XIX века условно-романтический (либо только «чувствительный», либо только «мятежный») персо-

наж с готовым мироощущением, стандартными темами душевных переживаний, заданным поведением, но, действительно, выхваченный прямо из жизни и находящийся в постоянном движении человек со своим индивидуальным характером, с богатой биографией, с неординарной и не лишенной драматизма судьбой, даже (имея в виду «Некоторые черты из жизни. . .») — с именем и фамилией. Короче говоря, это сам Денис Васильевич Давыдов собственной персоной, во всем разнообразии своих жизненно достоверных и литературно воссозданных портретных черт.

В этой стихотворной и прозаической автобиографии есть все: война, бранные подвиги и бивачные досуги военного человека, кутежи и любовь, радости и обиды, дружба и вражда, лирика и сатира, мелочи быта, вроде полученного в подарок чекменя, и всемирно-исторические события, овеянные «вековечной славой».

Одно дополняет и оттеняет другое. Повествование участника «всесокрушительных событий» сплетается с интимными признаниями лирической исповеди, «перуны войны» — с «жестоким пуншем». Частный быт, естественно, шире представлен в стихах, но и мемуарный свой цикл Давыдов строил как интимный дневник война, которому ничто человеческое не чуждо, который одинаково сильно чувствует и великое и смешное, и грустное и веселое. В записках Давыдова много увлекательных, по-настоящему веселых страниц, на которых с блеском сказалось его природное острословие. Тема «чувства» присутствует здесь на равных правах с темой «подвига». Они свободно и гармонически сочетаются в образе автора, наделенного «сильным характером с отменной чувствительностью, умом проницательным, точным — с кротостью неподдельною». Чувствительность была в стиле времени и нисколько не противоречила цельности образа героя-партизана. Поэтому, всячески поэтизируя «прелесть отважного предприятия» и «возвышенную цель подвига», прославляя «поэзию кровавого ремесла» военного человека, Давыдов в своих записках уделяет место и разного рода «трогательным происшествиям».

В «Замечаниях на некрологию Н. Н. Раевского» (написанную Д. Бутурлиным) Давыдов отметил как недостаток ее, что Раевский «представлен только на коне, в дыму битв и с гласом повелительным», тогда как хотелось бы видеть его «душу»: «Мы ищем человека, и видим в некрологии одного храброго и искусного генерала. . . Вообще нельзя довольно удивиться жалкому обыкновению почти всех некрологов и биографов нашего времени, представляющих знаменитых вождей не иначе, как в мундирах, застегнутых на все крючки и пуговицы».

Зато себя самого Денис Васильевич представил читателю не в парадном мундире, а в партизанском чекмене нараспашку, и это наиболее роднит его мемуарную прозу со стихами, где на ту же тему говорится в том же тоне, но уже с полной непринужденностью: «Долой, долой крючки, от глотки до пупа! . . .»

Я не поэт, я партизан, казак:
Я иногда бывал на Пинде, но наскоком
И беззаботно, кое-как
Раскидывал перед Кастальским током
Мой независимый бивак. . .

Такова поэтическая декларация Давыдова — продуманная и четкая. В ней звучат и кокетство, и самооправдание, и уверенность сознания своей непохожести на других и права на эту непохожесть. «Бивак», который Денис Давыдов раскинул в русской поэзии, в самом деле был независимым. Смысл его декларации в том, что в поэзии он такой же партизан, как и на войне, — а потому не следует мерить его на общий аршин, укладывать в норму и ранжир. Давыдов спешит заверить читателя, что как партизанская его служба была дерзким вызовом «людям сухой души и тяжкого рассудка», точно так же и поэзия его — вызов литературным уставщикам, «милиции критиков», стоящих на страже строгих правил и «хорошего тона» в словесности.

В поэзии Давыдова задача построения образа лирического героя оставалась главной творческой проблемой. Успешным решением этой задачи в первую очередь и была обусловлена резкая оригинальность

его стихотворного творчества. Но созданный Давыдовым характер не оставался в его стихах неизменным: он постепенно расширялся и обогащался в своем психологическом содержании.

При всей целостности стихотворного творчества Дениса Давыдова, если рассматривать его стихи как «дневник жизни» лирического героя, в нём можно без труда выделить три основных раздела или, если угодно, три «главы» поэтической автобиографии. Это будут: во-первых, ранние гусарские песни, затем — элегический цикл 1814—1817 годов и, наконец, преимущественно связанные с ранней *гусарщиной* стихи двадцатых — тридцатых годов, написанные от лица «старого гусара».

Как поэт, Давыдов выступил в самом начале века, когда торжественно распевали последние одописцы, назойливо щебетали стихотворцы «слезливого цеха», еще не раскрылся Жуковский и только начинал Батюшков. Время в поэзии было переходное, довольно тихое, — и тем громче прозвучал в ней новый, неожиданный, совершенно простецкий и порядком развязный голос:

Бурцов, ёра, забияка,
Собутыльник дорогой!
Ради бога и... арака
Посети домишко мой!
В нем нет нищих у порогу,
В нем нет зёркал, ваз, картин,
И хозяин, слава богу,
Не великий господин.
Он — гусар, и не пускает
Мишурою пыль в глаза;
У него, брат, заменяет
Все диваны — куль овса...
Вместо зеркала сияет
Ясной сабли полоса:
Он по ней лишь поправляет
Два любезные уса...

И все — в таком же духе и стиле, с полной свободой выражений, свойственных лихому рубаке, чуждому пошлости, лицемерия, ханжества и всяческих обременительных условностей светского общежития:

Ну-тка, кивер набекрень,
И — ура! Счастливый день!

Эффект был велик. В поэзии не хватало этой простоты, живости, естественного тона, жизненной конкретности. Гусарские стихи Давыдова положили начало его литературной известности. В течение долгого времени они пользовались громадной популярностью, особенно в военной среде, расходились в списках по всей России (напечатаны они были только в 1832 году). «Кто в молодые годы не повторял стихов Давыдова, кто не вписывал этих удалых стихов в одну заветную тетрадку? — вспоминал современник. — Стихи Давыдова пленяли почти все наше военное поколение... Кто из молодых людей двадцатых годов не воображал себя Бурцовым?»¹

«Залетные послания» и «зачашные песни» Давыдова родились, конечно, не на пустом месте. Они имели свои литературные истоки в интимной, «домашней» лирике Державина и Капниста с их анакреонтическими и гораццианскими мотивами, в буффонских стихах И. М. Долгорукова и некоторых других менее известных поэтов, сочинявших не для печати, но пользовавшихся, говоря словами Давыдова, «рукописною или карманною славою». Таков был, например, С. Н. Марин (приятель Давыдова) — гвардейский сатирик и остролов, песни, эпиграммы и пародии которого примечательны своим «распашным» слогом:

Музы мне — аудиторы,
Аполлон мой — обер-поп...

Но Давыдов привнес в эту не слишком заметную традицию нечто свое, принадлежащее ему исключительно, а именно — дух «гусарства». Он-то и придавал его поэзии особый колорит и особое звучание. В ранних стихах Давыдова впервые в русской поэзии в легкой манере и с редким эмоциональным воодушевлением была разработана тема военного быта со всеми

¹ В. Р. Зотов — «Литературная газета», 1848, № 11, стр. 167.

ее красочными аксессуарами — трубкой, пуншевыми стаканами, саблей, «ухарским конем» и «любезными усами».

Ради бога, трубку дай!
Ставь бутылки перед нами,
Всех наездников сзывай
С закрученными усами! . .
Бурцов, брат, что за раздолье!
Пунш жестокий! . . Хор гремит!
Бурцов, пью твое здоровье: . .
Будь, гусар, век пьян и сыт!
Понтируй, как понтируешь,
Фланкируй, как фланкируешь;
В мирных днях не унывай
И в боях качай-валяй!

Громкий успех стихов молодого Давыдова безусловно, в первую очередь, и объяснялся тем обстоятельством, что в суровой и чопорной обстановке тогдашнего общественного быта они утверждали неотъемлемое право человека на «волю и распашку», на независимую личную жизнь, на веселье и смех.

Однако герой этих стихов — не просто забубенный гуляка, который знать ни о чем не хочет, кроме чарки да трубки. Нет, им владеют и высокие, благородные чувства — жаркая любовь к родине, воля к подвигу, отвага, прямодушие, верность в дружбе и товариществе. Он веселится, пока есть для этого время:

Стукнем чашу с чашей дружно!
Нынче пить еще досужно;
Завтра трубы затрубят,
Завтра громы загремят.

И тогда будет уже не до гульбы, а настанет «иной пир», на котором есть где разгуляться человеку, надежному чувством чести и сознанием долга:

Выпьем же и поклянемся,
Что проклятью предаемся,
Если мы когда-нибудь
Шаг уступим, побледнеем,
Пожалеем нашу грудь
И в несчастьи оробеем. . .

Патриотическая тема борьбы за родину расширяет смысл и значение гусарских стихов Давыдова, выводит их за пределы узко интимной лирики на темы бесшабашного веселья:

Но коль враг ожесточенный
Нам дерзнет противустать,
Первый долг мой, долг священный —
Вновь за родину восстать;
Друг твой в поле появится,
Еще саблею блеснет,
Или в лаврах возвратится,
Иль на лаврах мертв падет! . .

При этом, однако, *гусарщина* Давыдова не имела ничего общего и с традиционной «военной поэзией», как она складывалась в предшествовавшую эпоху. Давыдов «составил, так сказать, особенный род военной песни, в которой язык и краски ему одному принадлежат», — писал критик двадцатых годов.¹ Давыдов игнорировал батальную тему в ее чистом виде, исторически прикрепленную к «высоким» жанрам торжественной военно-патриотической оды и героической эпопеи, которые в условно приподнятом декламационном стиле и по большей части в традиционных мифологизированных образах прославляли сражения и походы, подвиги героев — царей и полководцев.

Крупнейшими памятниками батальной поэзии XVIII века были оды Ломоносова, Петрова и Державина и «Россиада» Хераскова. К началу XIX века военно-патриотическая ода и героическая эпопея стали уже достоянием по преимуществу третьеразрядных поэтов державинской школы. Представители нового литературного поколения — карамзинисты, как правило, не касались военных тем в своем творчестве (элегии и баллады Батюшкова, связанные с темами войны 1812—1814 годов, и рапсодия Жуковского «Певец во стане русских воинов» относятся к более позднему времени). В самом начале XIX века один Денис Давыдов продолжил линию русской военной поэзии, но

¹ П. А. Плетнев. Сочинения и переписка, т. 1. СПб., 1885, стр. 182.

продолжил ее уже в совершенно новом направлении, решительно порвав с ее жанровыми и стилевыми традициями, закрепленными в практике одописцев XVIII века и их эпигонов.¹

От парадно-декламационного стиля и заостренных стиховых форм классицизма Давыдов отошел очень далеко, может быть, дальше, нежели любой другой из поэтов его времени. Единственное его стихотворение, выполненное в одических тонах, представляет собою *пародию* на «высокую», классическую военную оду. Это стихотворение (точнее — отрывок из стихотворения) о Кульневе, в котором батальная тема разработана в комическом плане, как бы вывернута наизнанку:

Поведай подвиги усатого героя,
О муза, расскажи, как Кульнев воевал,
Как он среди снегов в рубашке кочевал
И в финском колпаке являлся среди боя.
Пускай услышит свет
Причуды Кульнева и гром его побед...

Преодолевая инерцию классицистического одописания и разрушая ее шаблоны, Давыдов сделал решительный шаг вперед по пути реалистической трактовки военной темы. Батальный материал как таковой (картины сражений, описание походов и т. п.) привлекался им крайне скупой и исключительно в бегло намеченных деталях, нужных для обрисовки фона, на котором разворачивалась та или иная бытовая либо лирическая тема.

В этом и заключался секрет творческой самобытности Давыдова, неповторимости его языка и красок. Суть дела в том, что стихи Давыдова — это не стихи о войне, а стихи *военного человека*, раскрывающие мир его чувств и переживаний на присущем ему одному языке, редкостно энергичном и чуждом каких-либо поэтических условностей.

¹ Об этом см.: Б. Эйхенбаум. От военной оды к «гусарской песне». В кн.: Давыдов. Полное собрание стихотворений. «Библиотека поэта», Л., 1933, стр. 29—44.

Я люблю кровавый бой,
Я рожден для службы царской!
Сабля, водка, конь гусарской,
С вами век мне золотой!
Я люблю кровавый бой,
Я рожден для службы царской!

За тебя на черта рад,
Наша матушка Россия!
Пусть французишки гнилые
К нам пожалуют назад!
За тебя на черта рад,
Наша матушка Россия!

Историко-литературное значение ранних стихов Давыдова заключается в том, что они благодаря незаурядной талантливости и творческой независимости автора стали явлением не-только быта (как было это со стихами Марина и ему подобных), но и литературы. Эта линия военной («гусарской») поэзии так и не получила дальнейшего развития в книжной поэзии двадцатых — тридцатых годов, оставшись достоянием безыменных стихотворцев, на все лады варьировавших в давыдовской манере найденную им тему (из профессиональных поэтов в этом направлении работал лишь один упомянутый уже Н. Неведомский, по справедливости заслуживший славу графомана, и отчасти бойкий поэт тридцатых годов К. Бахтурин).

На основных путях русской поэзии Денис Давыдов явился не только создателем жанра гусарской лирики, но и, по существу, единственным его представителем. Усвоить манеру Давыдова не составляло труда только для заурядного эпигона — в порядке примитивного подражания. В этом отношении характерна неудача Батюшкова, попытавшегося по-своему разработать «гусарский» сюжет в известном стихотворении «Разлука» («Гусар, на саблю опираясь. . .», 1812—1813 гг.), в котором давыдовская тема совершенно растворилась в типичной сентиментально-элегической интонации и традиционно поэтическом словаре. Пушкин очень верно заметил по поводу этого стихотворения: «Цирлих-манирлих, с Д. Давыдовым не должно и спорить».

В послевоенные годы Давыдов не избежал влияния литературной моды — и попробовал свои силы в эле-

гическом жанре. По словам Вяземского, он сочетал «песнь бивака» с «песнью нежною Парни». Современная ему критика, в свою очередь, делила его творчество на два «рода» — «гусарский» и «нежный», и даже различала в его поэзии «дух совершенно различных певцов». ¹ С этим можно согласиться только отчасти, потому что в своем раннем элегическом цикле Давыдов стремился обновить жанр любовной элегии в том же духе *гусарщины*, и это наложило на его элегии печать известного своеобразия, заметно отличающего их от элегической лирики Батюшкова, Жуковского и бесчисленных их подражателей.

Бесспорно, элегии у Давыдова менее свежи и самобытны, нежели стихи песенного и сатирического склада. Он и сам понимал, что они уступают его *гусарщине* и откровенно признавался: «Вся гусарщина моя хороша. . . но элегии слишком пахнут старинной выделкой, задавлены эпитетами, и краски их суть краски фаянсовые, или живопись эпохи Миньяра, Буше и пр. живописцев эпохи Людовика XIV». ²

Это справедливо в отношении поэтики, но по логике вещей элегии не противоречат *гусарщине*, поскольку в них раскрывается еще одна, и очень существенная, сторона душевной жизни и житейских связей героя давыдовской лирики: любовь наравне с ратоборством и кутежами органически входит в состав лирической автобиографии «певца-героя». Сам Денис Васильевич утверждал: «Сердце мое может включить в каждую кампанию свой собственный журнал, независимый от военных происшествий. . . Я ничем не поверяю хронологию моей жизни, как соображая эти эпохи службы с эпохами любовных ощущений». Именно конкретность и полнота переживаний героя-автора в сочетании с эмоциональной интонацией лирической исповеди объединяла элегии Давыдова с его гусарскими стихами.

¹ «Полярная звезда» на 1823 год, стр. 27—28; «Московский телеграф», 1832, № 13, стр. 77.

² Письма поэта-партизана Д. В. Давыдова к кн. П. А. Вяземскому. П., 1917, стр. 27.

Любовные радости и огорчения, составляющие сюжеты давидовских элегий, во всех случаях соотнесены с темой войны и образом воина. Герой элегического цикла — все тот же «воспитанник побед», ставший «робким пленником» прекрасной женщины, и все перипетии его неудачного романа перемежаются воспоминаниями о «шумной сече боя»:

О Лиза! Сколько раз на марсовых полях,
Среди грозы боев я, презирая страх,
С воспламенной душою
Тебя, как бога, призывал
И в пыл сраженья мчал
Крылатые полки железною стеною! . .

Даже когда он укоряет неверную за измену, мысль его закономерно возвращается к тому, что жребий его — «пасть в боях».

При этом Давыдов заботливо старался вытравить из своих стихов элементы традиционно элегического стиля. Это видно, между прочим, из предпринятой им, уже в середине тридцатых годов, переработки раннего стихотворения «Договор» (вольный перевод из французского поэта Виже), которое «принято было за элегию, тогда как оно, под личиною элегии, есть чистая сатира».¹ Переработка выразилась по преимуществу в приближении к стилистическому своеобразию *гусарщины*. Так, например, стихи

И тут я притеснен толпою безрассудных,
Несносных волокит. . . —

были переделаны следующим образом:

И тут я сволочью нахалов безрассудных
Затолкан дó смерти. . .

Экспрессия стиха, нагнетание нервных — то восклицательных, то вопросительных — интонаций выявляют самобытность творческой манеры Давыдова даже в таком устоявшемся жанре, как любовная элегия:

¹ Примечание Давыдова к переработанной редакции «Договора». — «Библиотека для чтения», 1837, т. 23, стр. 148—155.

О, пощади! Зачем волшебство ласк и слов,
 Зачем сей взгляд, зачем сей вздох глубокой,
 Зачем скользит небрежно покров
 С плеч белых и с груди высокой?
 О, пощади! Я гибну без того,
 Я замираю, я немею
 При легком шорохе прихода твоего;
 Я, звуку слов твоих внимая, цепенею. . .
 Но ты вошла. . . и дрожь любви,
 И смерть, и жизнь, и бешенство желанья
 Бегут по вспыхнувшей крови,
 И разрывается дыханье!¹

Наконец, третью «главу» лирической автобиографии составляют более поздние стихи, в которых образ героя претерпевает известную метаморфозу, хотя самая суть его остается все той же. Теперь это уже не кипящий юностью «удалец», а «старый гусар», умудренный житейским опытом, переживший не только упоение в бою и в страсти, но и выпивший полную чашу обид и унижений. Сохранив позу «певца-героя», Давыдов вместе с тем существенно изменил интонационный строй своей лирической автобиографии. Он натянул на свою легкую гусарскую лиру медную струну. Поэзия «вольной жизни» приобретает теперь сатирический оттенок. Старый гусар не изменил «младым привычкам», он по-прежнему любит «разгульный шум, умов, речей пожар и громогласные шампанского оттычки», но еще более воодушевляет его презрение к лжи и условностям большого света:

Бегу век сборища, где жизнь в одних ногах,
 Где благосклонности передаются весом,
 Где откровенность в кандалах,
 Где тело и душа под прессом;
 Где спесь да подлости, вельможа да холоп,
 Где заслоняют нам вихрь танца эполеты. . .

¹ Нужно оговориться, что в позднем стихотворном творчестве Давыдова элегическая струя, приняв отчасти новое направление, разошлась с гусарской. В тридцатые годы он стал было писать на гладком, условно-«поэтическом» языке, характерном для многочисленных эпигонов Пушкина, любовную лирику, в которой растворились «резкие черты» его слога, столь ценившиеся самим Пушкиным. В стихах такого рода Давыдов изменял своей самобытной манере, и они мало что прибавляют к его поэтической индивидуальности.

Судьба Давыдова питала его поэзию. Воин, «рано брошенный в тревоги», он собственной рукой «вырубил» себе славу народного героя, но его преследуют низкая зависть и тупая злоба, — так возникают в контрастном противопоставлении и во внутреннем единстве две темы, особенно увлекающие поэта: воспоминания о славном прошлом и «злоба на гонителей». Обращаясь к этим темам, Давыдов обретает высокий драматический пафос. В элегии «Бородинское поле» (1829) он пишет:

Умолкшие холмы, дол некогда кровавый,
Отдайте мне ваш день, день вековечной славы,
И шум оружия, и сечи, и борьбу!
Мой меч из рук моих упал. Мою судьбу
Попрала сильные. Счастливы горделивы
Невольным пахарем влекут меня на нивы. . .

Вспоминая своих знаменитых начальников — Багратиона, Раевского, Ермолова, поэт заканчивает миморной нотой:

Но где вы? . . . Слушаю. . . Нет отзыва! С полей
Умчался брани дым, не слышен стук мечей,
И я, питомец ваш, склоняюсь главой у плуга,
Завидую костям соратника иль друга.

Для литературной работы зрелого Давыдова характерны поиски «мужественной силы и энергической простоты». В ряде случаев они увенчались отличными успехами — как в стихах, так и в мемуарной прозе. Вот, к примеру, как великолепно рассказано об отступательном марше дивизии Неверовского из Красного: «Я помню, какими глазами мы увидели эту дивизию, подходившую к нам в облаках пыли и дыма, покрытую потом трудов и кровью чести! Каждый штык ее горел лучом бессмертия!» Такой же сжатой энергией дышат и стихи Давыдова, в которых он отводил наболевшую душу:

Давно ль под мечами, в пыли батарей,
И я погирал дол кровавый,
И я в сонме храбрых, у шумных огней,
Наш стан оглашал песнью славы? . . .
Давно ль. . . Но забвеньем судьба меня губит,
И лира немеет, и сабля не рубит.

Но при этом он никогда не впадал в напыщенность. От этого его спасала полная свобода обращения со словом, что сказалоcь в ранних стихах и навсегда вошло в привычку. Опираясь на бытовое просторечие, широко пользуясь материалом военно-профессионального языка, выработав совершенно особый грубовато-откровенный «гусарский» жаргон, присвоив своей стихотворной речи живую, эмоционально обнаженную разговорную интонацию, Давыдов легко и свободно переносил военные образы и гусарские жаргонизмы на традиционно «высокие» понятия и предметы, благодаря чему они также приобретали специфический колорит. Так, например, ему ничего не стоило сказать в стихах на любовную тему: «Ратификации трактату твоему я с нетерпением жду...» или: «Все ваши клятвы век любить — ему послал по эстафете...»

В иных случаях Давыдов достигал редкого эффекта «гусарского» просторечия, как, например, в стихотворении «Решительный вечер», зачин которого намечает вполне традиционное, «высокое» развитие любовно-элегической темы:

Сегодня вечером увижусь я с тобою,
Сегодня вечером решится жребий мой,
Сегодня получу желаемое мною...

Но вслед за тем применен излюбленный Давыдовым прием неожиданного и резкого снижения тона:

иль абшид на покой.
А завтра — черт возьми! — как зюзя натянуся,
На тройке ухарской стрелюю полечу;
Проспавшись до Твери, в Твери опять напьюся,
И пьяный в Петербург на пьянство прискачу...

На эффекте этого приема построен и мадригал «NN»:

Вошла — как Психея, томна и стыдлива,
Как юная пери, стройна и красива...
И шепот восторга бежит по устам,
И крестятся ведьмы, и тошно чертям.

Другой выразительный пример — стихотворение «Я вас люблю...», элегический тон которого начисто стирается заключительной строфой:

На право вас любить не прибегу к пашпóрту
Иссохших завистью жеманниц отставных:
Давно с почтением я умоляю их
Не заниматься мной и убираться к черту!

Давыдов не видел разницы между «высоким» и «низким» слогом, поскольку и тот и другой, находя соответствующее применение, свободно совмещались в живой, непринужденной речевой манере его героя. В этом прежде всего и состоял секрет резкой неподражаемости его стихотворного языка. Он писал легко, весело, остроумно, играя словами, каламбура («Он весь был в *немощи*; теперь попал он в *мощи*» и т. п.), посмеиваясь и не чинясь, прославляя литературную речь грубоватой «солдатской говоркой»:

Люблю тебя, как сабли лоск,
Когда, приосенясь фуражкой,
С виноточивою баклажкой
Идешь в бивачный мой киоск;

Когда, летая по рядам,
Горишь, как свечка, в дыме бранном;
Когда в борделе окаянном
Ты лупишь сводню по щекам...

В стихах Давыдова в изобилии встречаются «низкие» слова и выражения, совершенно невысказанные у любого поэта того времени, придерживавшегося «правил». Например: горло драли, качай-валяй, красно-сизые носы, свинья-свинью, зюзя, затяжка, потеет, пузо, оттычка, глотка, пуп, шиш, чёс, тошно, обомлел, рыло, таска, хрыч и т. п. Знаменательно, что намеренное, более того — демонстративное обращение Давыдова к грубому словарю вызвало раздраженный отклик такого ортодоксального блюстителя карамзинистского «вкуса», как А. И. Тургенев, который возмущался «подлостью давыдовского слога».¹

На самого Давыдова такого рода упреки не производили ровно никакого впечатления. С явным расчетом ошеломить литературных чистоплюев он поместил в сборнике своих стихотворений, изданном в 1832 году,

¹ «Остафьевский архив», т. 4. СПб., 1899, стр. 71.

такие вещи, что некоторые слова пришлось заменить точками. Озорство известного писателя, пребывавшего к тому же в генеральском чине, смутило иных чопорных читателей, на что в одном из журналов сразу же откликнулись в том смысле, что книги, дескать, пишутся не для одних невинных девушек: «Ради бога! И так слишком много поддельного, начиная от дамских локонов до посланий русских стихотворцев! Дайте хоть на минуту видеть человека не связанным!»

Неподдельность, несвязанность — вот подлинная творческая стихия Дениса Давыдова. Белинский, очень высоко ценивший его и как стихотворца и как прозаика,¹ говорил: «Он был поэт в душе: для него жизнь была поэзией, а поэзия жизнью, — и он поэтизировал все, к чему ни прикасался. . .» Даже то, что у другого могло обернуться пошлостью, безвкусицей, «казарменной замашкой», у Давыдова «получает значение, преисполняется жизнью, облагораживается формой».

Давыдов был искуснейшим мастером художественной формы. Он тщательно выправлял свою литературную биографию как биографию поэта-воина, который творит в седле или под походной палаткой и совсем не заботится о внешней отделке своих «летучих» творений. На самом деле картина была совершенно иной: Давыдов писал стихи преимущественно в мирной обстановке и лишь в редчайших случаях во время военных походов. А сохранившиеся черновые рукописи поэта свидетельствуют о том, как много творческого труда вкладывал он в отделку и переработку своих произведений.

Все типические черты самобытной манеры Дениса Давыдова были обусловлены глубоко присущим ему представлением о поэтическом творчестве как о стихийно-страстном состоянии «энтузиазма», «душевного восторга» и «воспламененного воображения»: «Нет поэзии в безмятежной и блаженной жизни! Надо, что-

¹ «Давыдов, как поэт, решительно принадлежит к самым ярким светилам второй величины на небосклоне русской поэзии»; «как прозаик, он имеет право стоять наряду с лучшими прозаиками русской литературы».

бы что-нибудь ворочало душу и жгло воображение». Чтобы писать стихи, говаривал Денис Васильевич, «надобна гроза, буря, надобно, чтобы било нашу лодку».

Он и писал с таким бурным воодушевлением, как, пожалуй, никто из других поэтов и прозаиков его времени, — разве что один Языков мог соперничать с ним в стремительности стиховых темпов. Недаром Вяземский в послании, обращенном к Давыдову, сравнивал его «пылкий стих» с пробкой, вырывающейся из бутылки шампанского, а тот же Языков характеризовал его образами, заимствованными из художественного арсенала самого поэта-партизана:

Не умрет твой стих могучий,
Достопамятно-живой,
Упоительный, кипучий,
И воинственно-летучий,
И разгульно-удалой...

Лучшие стихи Дениса Давыдова остались в памяти и на языке народа. Кое-что из них вошло даже в поговорку («Жомини да Жомини! А об водке — ни полслова! . . .» и др.). Неподдельность и самобытность дарования, неповторимость языка и красок, удивительная конкретность созданного поэтом автопортретного образа, наконец, яркий национальный колорит его творчества, полного отзвуков славного 1812 года, — все это доныне сохраняет свою притягательную силу.

В том, что написал Денис Давыдов, звучит звонкая, полногласная, на редкость энергичная, призывная и заразительная музыка великолепного таланта, который и сам несколько не постарел за полтора века, и помогает нам, людям совсем другой эпохи, «молодеть сердцем».

ЯЗЫКОВ



Жизненный и творческий путь Н. М. Языкова резко делится на два неравных и неравноценных этапа: первый из них приходится на 1820-е годы, второй обнимает собой период тридцатых и половину сороковых. Молодой Языков, полный кипящих жизненных сил и проникнутый духом хотя и расплывчатого, но искреннего и эмоционально выразительного вольнолюбия, в иных случаях приобретающего отчетливую политическую окраску, называет «попа» и «государя» виновниками «позора чести русской» и вдохновенно воспекает «любовь», «хмель», «братское веселье» и прочие радости «беспечных юношеских дней». Зрелый Языков, целиком погруженный в покаянно-религиозные настроения, подвергает беспощадному осуждению свое прошлое и выступает проповедником самых реакционных общественно-политических идей. Перед нами как бы два разных человека и два разных поэта.

Однако противоречие это находит вполне внятное объяснение, если взглянуть на творчество Языкова в свете социально-исторической действительности, как отражение происходившей в ней идейной борьбы. Переход Языкова на сторону реакции следует рассма-

тривать не изолированно, но в связи и в соотношении с общим процессом размежевания социальных, классовых сил, протекавшим в русской литературе на рубеже двадцатых — тридцатых годов. Индивидуальная судьба Языкова типична для многих представителей дворянской интеллигенции, изживавших свое политическое вольномыслие в новых общественно-политических условиях, сложившихся после поражения декабристов.

Ренегатство Языкова, носившее особенно демонстративный и агрессивный характер, находит объяснение прежде всего именно в осознании им своей классовой позиции, а дополнительно — в идейной ограниченности его юношеского свободолюбия, в основе которого лежало эмоциональное чувство, но не глубокое и ясное мировоззрение.

При таком подходе выясняется известная закономерность пути Языкова, который привел его из лагеря прогрессивных писателей, составлявших в первую половину двадцатых годов широкую периферию декабристского литературного движения, в ряды воинствующих защитников православия, самодержавия и официальной «народности».

1

Николай Михайлович Языков родился 4 марта 1803 года в Симбирской губернии, в состоятельной и культурной помещичьей семье. Первоначальное образование он получил дома, а с осени 1814 года учился в Петербурге — сперва в Горном кадетском корпусе, потом в Институте инженеров путей сообщения. Учился Языков лениво и в 1820 году был исключен из института за «нехождение в классы». В конце 1822 года он возобновил ученье, поступив на философский факультет Дерптского (ныне Тартуского) университета. Здесь Языков провел шесть с половиной лет, но курса так и не кончил и впоследствии называл себя «бездипломным студентом».

Ко времени появления в Дерпте Языков уже пользовался некоторой известностью в литературной среде

как подающий надежды поэт. Писать он начал рано и в 1819 году впервые выступил в печати со стихотворением, помещенным в «Трудах Общества любителей российской словесности», как сказано было в редакционном примечании, «в поощрение возникающих дарований молодого поэта». Юношеские стихи Языкова (из которых до нас дошла малая часть) архаичны и не отличаются сколько-нибудь заметными художественными достоинствами. Известно, что в ту пору он восхищался Ломоносовым и Державиным, а «других поэтов — не знал».

Годы, проведенные в Дерпте, были для Языкова временем стремительного творческого подъема и большого литературного успеха. Стихи его, в изобилии печатавшиеся в журналах и альманахах, привлекли сочувственное внимание читателей и обеспечили ему видное место в кругу поэтов двадцатых годов. Вот в каких лестных выражениях аттестовала Языкова тогдашняя критика: «Юный, вдохновенный певец отечественных доблестей, Языков, как веселая надежда, пробуждает в сердце нашем прекрасные помыслы. Он исполнен поэтического огня и смелых картин... Его дарование быстро идет блистательным путем своим. Он сжат, ровен и силен».¹ В Дерпте Языков завязал знакомство с рядом писателей — с В. А. Жуковским, А. Ф. Воейковым, А. Д. Илличевским, В. И. Далем; в 1826 году он познакомился и дружески сблизился с Пушкиным.

Для того чтобы составить достаточно точное представление о характере раннего творчества Языкова, следует учесть своеобразную общественно-бытовую обстановку, окружавшую его в Дерпте. В начале XIX века Дерпт был одним из крупных культурных центров России. Тамошний университет, богатый серьезными научными силами, находился в несколько особом положении сравнительно с другими высшими учебными заведениями, в известной мере был огражден от проникновения казенщины и мракобесия, на-

¹ П. А. Плетнев. Письмо к графине С. И. С. о русских поэтах. — «Северные цветы» на 1825 год, стр. 67—68.

саждавшихся царизмом во всех областях культурной жизни. Самый быт дерптских студентов отличался относительно большей свободой по сравнению с казарменными порядками, установленными в других русских университетах.

В Дерпте оберегались и культивировались традиции «вольных» студенческих корпораций XVIII века. Традиции эти сводились преимущественно к кутежам и всяческой вольности поведения, но в эпоху аракчеевщины и фотиевщины, в обстановке полицейского режима и в атмосфере ханжеской морали даже такая «вольность» звучала вызовом и в иных случаях способствовала выявлению более серьезных свободолобивых и политически оппозиционных настроений. Примером такого перерастания студенческой «вольности» в политическую оппозиционность может служить поэтическое творчество молодого Языкова.

Быт и традиции дерптского студенчества нашли в Языкове восторженного поклонника и вдохновенного певца. Из воспоминаний университетских товарищей Языкова известно, что они «гордились его поэтическим талантом, ожидая от него нечто великого» и что «все его стихи, даже самые ничтожные, выучивались наизусть, песни его клались на музыку и распевались студенческим хором».¹

Следует, однако, подчеркнуть, что, при всем своем увлечении бытовой стороной студенческой «вольности», Языков не поддавался идейному воздействию окружающей его чужеродной среды немецких буршей. Напротив, уже в эти годы со всей отчетливостью проявились его патриотические настроения, на первых порах свободные от националистической нетерпимости. Языков возглавлял в Дерпте кружок русских студентов; по его инициативе была учреждена русская студенческая корпорация «Рутения», в качестве противовеса немецким корпорациям. Здесь, по настоянию Языкова, на сходках и пирушках пели русские народ-

¹ «Языковский архив», вып. I. Письма Н. М. Языкова к родным за дерптский период его жизни (1822—1829). СПб., 1913, стр. 394—395.

ные и цыганские песни, «рассуждали о великом значении славян, о будущности России, о тупости немцев и бойкости русских». ¹

Вообще не следует думать, что жизнь Языкова в Дерпте проходила только в кутежах и любовных увлечениях, как может показаться по его стихам. Кстати сказать, из воспоминаний людей, близко знавших Языкова, выясняется, что темы и сюжеты его студенческой лирики не имели под собою достаточно прочных реально-жизненных оснований: «вино» и «любовь» были для него именно поэтическими темами, а в жизни он вовсе не был горьким пьяницей и «женщин боялся, как огня». ²

Круг интеллектуальных запросов молодого Языкова был достаточно широк. Он живо интересовался историей и экономическими вопросами, изучал древние языки, очень много читал и был в курсе текущей литературной жизни, получая «русские журналы, альманахи, вообще все новое и замечательное в русской литературе». ³ Письма Языкова из Дерпта пестрят упоминаниями и отзывами о прочитанном, свидетельствующими об основательности знаний и о примечательной независимости суждений.

В своих оценках и высказываниях Языков зачастую идет наперекор укоренившимся мнениям и литературной моде. Так, например, в высшей степени характерно для него осудительное и даже презрительное отношение к французской литературе, равно как и глубокий интерес к таким малоизвестным среди русской литературной молодежи писателям, как, к примеру, Кальдерон или Клинггер.

С полной свободой отзывається Языков о многих явлениях современной ему русской литературы. В стихах Плетнева и В. Туманского для него нет «ни молока, ни шерсти, ни большого ума, ни большой глупости». Баллада Козлова «Венгерский лес», которой «восхищаются» читательницы, по мнению Языкова,

¹ «Языковский архив», стр. 395.

² Д. Н. С в е р б е е в. Записки, т. 2. М., 1899, стр. 92.

³ «Языковский архив», стр. 395.

«просто дрянь: рассказ вял и слишком подражателен». Отзыв о поэме Козлова «Княгиня Долгорукая» столь же безоговорочно осудителен: «. . . вздор, вздор! Стихи, т. е. способ выражаться, подражание в растяжку Жуковскому». «Эда» и «Пиры» Баратынского Языкову «вовсе не нравятся»: в «Эде» «слишком мало поэзии» и «слишком много обыкновенного и, следовательно, старого»; в «Пирах» нет «дифирамбического вдохновения». Вяземского Языков обзывал «пустомелей» и стихи его рекомендовал как «самый разительный пример галиматьи в мыслях и выражении».

Подобная же резкость и безапелляционность оценок характеризуют и отношение молодого Языкова к поэзии Пушкина. В 1822 году по поводу одного из пушкинских стихотворений он пишет: «Стихосложение, как всегда, довольно хорошо; зато ни начала, ни середины, ни конца — нечто чрезвычайно романтическое». «Бахчисарайский фонтан» полон «романтически-темных загадок». «Евгений Онегин» (речь идет о первой главе романа) Языкову «очень, очень не понравился»; он думает даже, что «это самое худое из произведений Пушкина»: «Мысли, ни на чем не основанные, вовсе пустые и софизмы прошлого столетия очень видны в Онегине там, где поэт говорит от себя». Вторая глава «Онегина» «не лучше первой: то же отсутствие вдохновения, та же рифмованная проза».

Вместе с тем Языков с похвалой отзывается о поэтах, отнюдь не пользовавшихся общим вниманием и признанием. Он выделяет Нарежного, находит «места достопочтенные» в хорах из трагедии Кюхельбекера «Аргивяне», сочувственно относится к Катенину, у которого «много национального и есть кое-где сила — вот главное!»

В суждениях Языкова о современной ему русской поэзии резко подчеркнуты протест против подражательности и требование национальной самобытности. С этой точки зрения он восхищается баснями Крылова и высказывает возмущение по адресу Вяземского, который предпочитал народному и национальному басенному творчеству Крылова подражательные басни И. И. Дмитриева: «Это безбожно, безвкусно»,

С тех же позиций Языков решительно осуждает Жуковского. «Мне Жуковский досадил, — пишет он по поводу его перевода «Орлеанской девы», — тем, что употребляет некоторые иностранные слова — и притом все такие, которым в нашем языке есть совершенно равносильные: напр., армия, партия, нация, марш... Что в них, когда есть свои и благозвучнейшие: воинство, сторона, народ, ход?»

Исходя из тех же требований национально-самобытного содержания и стиля литературы, Языков горячо приветствует появление «Горя от ума». Комедия Грибоедова в его оценке — это «произведение, делающее честь нашему времени и уму русскому».

Источник национальной самобытности русской литературы Языков видит в народной словесности, в сказочном и песенном фольклоре. Из русских сказок, по его мнению, «можно составить предприятие знаменитое — только надобно прежде... узнать истинный дух старины глубокой, напитаться им и явить свету произведение самостоятельное, своенародное, а не *mixtum compositum*, подобно Руслану Пушкина».

Суждения Языкова о современной ему русской литературе находятся в прямой связи с его собственными творческими исканиями. Он заявил себя решительным противником модного в двадцатые годы элегического романтизма и занял позицию в непосредственной близости к поэтам декабристского направления.

В этом свете проясняется конкретный историко-литературный смысл критических отзывов Языкова, включая и его выпады по адресу Пушкина. В последнем случае Языков разделял взгляды деятелей декабристского литературного движения, которые, призывая к созданию гражданской поэзии, резко протестовали против засилья безыдейной элегической лирики. Вместе с тем декабристы (Рылеев, А. Бестужев, Кюхельбекер), не уяснив в должной мере реалистических тенденций творческого развития Пушкина, шедшего к объективному и историческому пониманию действительности в ее противоречиях, упрекали его в отходе от боевых гражданских тем и с этой точки зрения осу-

дительно отзывались, между прочим, как раз о первых главах «Евгения Онегина», в которых нашли лишь картины светского быта, изображенные вне необходимого, по их мнению, сатирического разоблачения.

Таким образом, критические мнения молодого Языкова вовсе не были проявлением вкусовщины, но знаменовали определенную идейно-литературную позицию, сближавшую его в данном вопросе с литераторами декабристского лагеря. В своих взглядах на поэзию и в своей творческой практике молодой Языков, подобно поэтам-декабристам, исходил прежде всего из требования гражданской тематики.

Биография молодого Языкова до сих пор разработана совершенно недостаточно. Поэтому непроясненной остается картина формирования его общественно-политических убеждений, носивших в двадцатые годы безусловно радикальный характер. Об этом свидетельствуют его письма и стихи.

Мы вместе, милый мой, о родине судили,
Царя и русское правительство бранили! —

писал он одному из своих дерптских приятелей, и не подлежит сомнению, что подобные разговоры в первую очередь питали его творчество.

При всем том следует подчеркнуть ограниченность свободомыслия и народности молодого Языкова, характерную для всего круга писателей, вовлеченных в сферу идейных воздействий декабризма, но далеких от глубокого осознания его революционной сущности. Политическая оппозиционность по отношению к «русскому правительству» уживалась в Языкове с внешне эффектным, но по существу реакционным увлечением «романтикой» ливонского рыцарства. В ряде произведений дерптского периода Языков впадал в идеализацию немецких рыцарей, угнетавших и грабивших эстонский народ и бывших заклятыми врагами России. Идеализация рыцарства резко противоречила в поэзии Языкова его тяготению к национальной гражданской героике, и это противоречие дополнительно характеризует шаткость идеологической позиции поэта, неспособность его подняться до зрелого понимания тех

конкретных целей и задач, которые ставила перед собой прогрессивная русская литература декабристской эпохи в лице наиболее передовых и последовательных своих представителей.

Свободолюбивые настроения молодого Языкова выражались в стихах по-разному. В его дерптской лирике различимы три струи, из которых каждая приобретала политическую окраску.

Первую струю составляют многочисленные студенческие стихи и песни Языкова, в которых мотивы «вакхические» и «эротические» слиты воедино с мотивами религиозного и политического вольномыслия:

Мы любим шумные пиры,
Вино и радости мы любим,
И пылкой вольности дары
Заботой светскою не губим. . .
Наш Август¹ смотрит сентябрем —
Нам до него какое дело! . .
Здесь нет ни скипра, ни оков,
Мы все равны, мы все свободны,
Наш ум — не раб чужих умов,
И чувства наши благородны. . .
Приди сюда хоть русский царь.
Мы от покалов не привстанем,
Хоть громом бог в наш стол ударь,
Мы пировать не перестанем. . .
Друзья! покалы к небесам,
Обет правителю природы:
«Печаль и радость — пополам,
Сердца — на жертвенник свободы!»

Подобное сочетание «вакхических» и свобододолюбивых мотивов не являлось ни изобретением, ни привилегией Языкова, но составляло характерную черту творчества прогрессивных русских поэтов двадцатых годов. Многочисленные и яркие примеры такого сочетания содержит лирика Пушкина: «Здорово, рыцари лихие любви, свободы и вина. . .» или: «А свобода, мой кумир, за столом законодатель. . .» Тема «вакхического веселья», нерасторжимо связанная с темой «свободы», в условиях аракчеевского режима приобретала определенное идейное звучание, знаменуя протест про-

¹ То есть Александр I.

тив стеснительных уз казарменного быта, казенной идеологии и ханжеской морали. Своеобразие стихов и песен Языкова заключается в том, что в центре их стоял и связывал их воедино образ лирического героя особого склада, а именно — образ «мыслящего студента»:

Мы вольно, весело живем,
Указов царских не читаем,
Права студентские поем,
Права людские твердо знаем. . .

В этом образе подчеркнуты черты человека, ревниво оберегающего свои «вольные права», свой частный быт в атмосфере казенщины, всеобщей субординации и чиновничества. Характерны в этой связи насмешки Языкова над военными людьми — невольниками царской службы; вместо офицерского мундира он демонстративно воспевает домашний халат как символ «вольности» партикулярной студенческой жизни:

Пускай служителям Арея
Мила их тесная ливрея;
Я волен телом, как душой.
От века нашего заразы,
От жизни бранной и пустой
Я исцелен — и мир со мной:
Царей проказы и приказы
Не портят юности моей —
И дни мои, как я в халате,
Стократ пленительнее дней
Царя, живущего не к state. . .

В иных случаях Языков допускал смелые выпады непосредственно по адресу Александра I. Герой его студенческих песен, сидя за бокалом вина и «не занятый газетной скукой», не знает,

Как царь, политик близорукой,
Или осмеян, иль смешон. . .

Сюда же относится выпад Языкова против «святого триумvirата», т. е. Священного союза, возглавлявшегося Александром I. Столь же смелой выходкой Языкова было сочинение им антимоноархической и антиклерикальной пародии на официальный гимн царской России («Боже, царя храни. . .»).

Вторую струю в лирике Языкова дерптского периода составляли сатирические стихи, в которых политическая тема находила более прямолинейное и относительно более глубокое выражение. Центральное место среди стихотворений такого рода занимает послание «Н. Д. Киселеву» (1823), в котором содержатся обличения вельможной знати — невежественной, «подлой и развратной», намеки на крепостное рабство, на беззаконие и произвол «верховного правленья», на царя и великого князя Константина и т. д. И в данном случае Языков высмеивает тех, кто предпочитает,

...занятия державных полюбя,
Стеснивши юный стан ливреею тирана,
Ходить и действовать по звуку барабана,
И мыслить, как велит, рассудка не спросясь,
Иль невеликий царь или великий князь,
Которым у людей отеческого края
По сердцу лишь ружье и голова пустая...

Людам подобного поведения Языков⁶ противопоставляет человека просвещенного и свободомыслящего, чей «свободный ум» не подчиняется «закону царя». В этом стихотворении Языков формулирует свое представление о гражданственном назначении поэта и следующим образом определяет дальнейшее направление своего творческого пути:

...в тишине свободной
Научится летать мой гений благородный,
Научится богов высоким языком
Презрительно шутить над знатью и царем:
Не уважающий дурачеств и в короне,
Он, верно, их найдет близ трона и на троне!
Пускай пугливого тиранства приговор
Готовит мне в удел изгнания позор
За смелые стихи, внушенные поэту
Делами низкими и вредными полсвету, —
Я не унижуся нерабскою душой
Перед могущею, но глупою рукой.
Служитель алтарей богини вдохновенья
Умеет презирать неправые гоценья, —
И все усилия цензуры и попов
Не сильны истребить возвышенных стихов.
Прошли те времена, как верила Россия,
Что головы царей не могут быть пустые,

И будто создала благая длань творца
Народа тысячи — для одного глупца;
У нас свободный ум, у нас другие нравы...

Наконец, третью струю лирики молодого Языкова составляют стихи на темы и сюжеты из национальной истории. Эти стихи в свою очередь отразили испытанное Языковым воздействие декабристских идей, равно как и собственно литературное влияние, которое оказали на него поэты декабристского направления.

Языков с первых же шагов в литературе проявлял глубокий интерес к русской истории, причем к тем ее периодам и событиям, которые были ознаменованы освободительной борьбой русского народа либо против чужеземных захватчиков, либо против отечественных угнетателей. Преимущественное внимание Языкова привлекали эпоха татарского ига и древнерусские республики Новгорода и Пскова:

Надежда творческая славы
Манила думы величавы
К браннолюбивой старине:
На веча Новграда и Пскова,
На шум народных мятежей...

Обращение к национально-исторической тематике Языков истолковывал как свою принципиальную идейно-творческую установку. В 1822 году он писал брату: «...вовсе не раскаиваюсь в моих чувствованиях к старине русской; я ее люблю и не согласен с тобою в том, что она весьма бедна для поэта; где же искать вдохновения, как не в тех веках, когда люди сражались за свободу и отличались собственным характером? Притом же воспевать старинные подвиги русских — не значит перелагать в стихи древнюю нашу историю; историческое основание не помешает поэту творить, а, напротив, придает еще некоторую особенную прелесть его вымыслам, усиливает его идеи».

Эта установка соответствовала взглядам декабристских поэтов, которые также меньше всего были заинтересованы в том, чтобы просто «перелагать в стихи древнюю историю», но искали в историческом прошлом яркие, впечатляющие примеры народного героизма и национального характера, способные служить

целям общественно-политического и нравственного воспитания в духе освободительных идей.

Таким целям должны были служить в понимании Языкова и его патриотические стихотворения на национально-исторические темы («Моя родина», «Песнь баяна», «Песнь барда во время владычества татар в России», «Баян к русскому воину при Дмитриии Донском...», «Услад», «Евпатий», «Новгородская песнь», отчасти «Тригорское» и некоторые другие). Во всех этих стихотворениях на первый план выдвинута и подчеркнута тема свободы, которая в прошлом была уделом «смелого и могучего» народа. Главная и наиболее серьезная задача, которую ставил перед собой Языков в дерптские годы, заключалась в том, чтобы «рассказать стройными стихами»

Златые были давних лет...
Святые битвы за свободу
И первый родины удар
Ее громившему народу,
И казнь ужасную татар...

Совершенно в духе декабристских истолкований национально-исторических тем Языков разрабатывал их применительно к социально-политическим проблемам своего времени. Так, в «Песне барда» под «татарским игом» подразумевалось самодержавие Александра I, и каждый мало-мальски догадливый читатель, воспитанный на иносказательном стиле русской гражданской поэзии начала XIX века, разумеется, отлично понимал смысл политических намеков, когда читал такие исполненные высокого гражданственно-патриотического пафоса и полные злободневного смысла строки:

И вы сокрылися, века полночной славы,
Побед и вольности века!...
А мы... нам долго цепи влечь:
Столетия протекут — и русский меч не грядет
Тиранства гордого о меч.
Неутомимые страданья
Погубят память об отцах,
И гений рабского молчанья
Воссядет, вечный, на гробах.
Теперь вотще младый баян
На голос предков запекает:

Жестоких бедствий ураган
Рабов полмертвых оглашает;
И он, дрожащею рукой
Подняв холодные железы,
Молчит, смотря на них сквозь слезы,
С неисцелимою тоской!

В подобных стихах Языков особенно тесно соприкоснулся с гражданской поэзией декабристов, ближе всего с Катениным и Рылеевым. Можно говорить о сознательной и последовательной ориентации молодого Языкова именно на этих поэтов. О внимательном отношении Языкова к творчеству Катенина уже упоминалось выше. Что же касается Рылеева, то известно, что Языков сблизился с ним весной 1825 года. Он благодарил Рылеева за «Думы» и за «Войнаровского», в которых нашел «места восхитительные», получил от Рылеева в подарок «Полярную звезду». В этой связи особый смысл приобретает сильное стихотворение, которым Языков откликнулся на казнь Рылеева:

Не вы ль убранство наших дней,
Свободы искры огневые!
Рылеев умер, как злодей! —
О, вспомяни о нем, Россия,
Когда восстанешь от цепей
И силы двинешь громовые
На самовластие царей!

Влияние гражданских поэтов декабристского направления со всей очевидностью сказалось в раннем творчестве Языкова не только в идейном, но и в стилистическом отношении. В стихах на гражданственно-патриотические темы он стремился реализовать художественные принципы «высокого» одического и дифирамбического стиля. Характерны в этом смысле даже его короткие политические стихи, которые названы им «элегиями», но по существу представляют собой миниатюрные оды «гражданского состава»:

Свободы гордой вдохновенья!
Тебя не слушает народ:
Оно молчит, святое мшенье,
И на царя не восстает. . .

Или:

Еще молчит гроза народа,
Еще окован русский ум,
И угнетенная свобода
Таит порывы смелых дум.
О, долго цепи вековые
С рамен отчизны не спадут,
Столетия грозно протекут, —
И не пробудится Россия!

В соответствии с установкой на «высокость» гражданской лирики оформляется молодым Языковым образ свободного, независимого поэта:

Поэт свободен, что награда
Его торжественных трудов?
Не милость царственного взгляда,
Не восхищение рабов!
Служа не созданному богу,
Он даст ли нашим божествам
Назначить мету и дорогу
Своей душе, своим стихам!

В 1823 году Языков написал декларативное стихотворение «Муза», в котором тема поэзии приобрела отчетливое политическое звучание. Если в прошлом «богиня струн»

...прекрасных рук в железы не дала
Векам тиранства и разврата, —

то ныне —

Они пришли; повсюду смерть и брань,
В венце раскованная Сила;
Ее бессовестная длань
Алтарь изящного разбила;
Но с праха рущенных громад,
Из тишины опустошенья
Восстал — величествен и млад —
Бессмертный ангел вдохновенья.

Цензура отлично поняла политический подтекст этого стихотворения и запретила опубликовать его.

Ориентация Языкова на темы, героику и стиль «высокой» гражданской поэзии отграничивала его от поэтов школы элегического романтизма, которым он давал, как мы видели, весьма нелестные аттестации,

обличая их в «прозаичности» и полном отсутствии «дифирамбического вдохновения». Но и в области интимной лирики Языков также прокладывал путь, увидевший его далеко в сторону от «унылых» элегиков, задававших тон в поэзии двадцатых годов.

Белинский, в сороковые годы подвергший Языкова беспощадной критике, тем не менее считал «историческое значение» его творчества «немаловажным» и указывал, что в свое время, т. е. в двадцатые годы, Языков сыграл не только заметную, но и положительную роль в русской поэзии. «Несмотря на неслыханный успех Пушкина, — писал Белинский, — г. Языков в короткое время успел приобрести себе огромную известность. Все были поражены оригинальной формой и оригинальным содержанием поэзии г. Языкова, звучностью, яркостью, блеском и энергиею его стиха. Что в г. Языкове действительно был талант, об этом нет и спора». ¹ «Большую пользу», которую Языков принес русской поэзии, Белинский видел в том, что «он был смел, и его смелость была заслугой», в том, что «он много сделал для развития эстетического чувства в обществе: его поэзия была самым сильным противоядием прошлому морализму и притворной элегической слезливости. Смелыми и резкими словами и оборотами своими Языков много способствовал расторжению пуританских оков, лежавших на языке и фразеологии». ²

Белинский указал на основное и главное, что отличало интимную лирику Языкова от общего потока поэзии двадцатых годов. Сам Языков отдавал себе отчет в оригинальности и самобытности своего творческого облика и ставил себе это обстоятельство в особую заслугу:

Спокоен я: мои стихи
Живит неложная свобода,
Им не закон — чужая мода,
В них нет заемной чепухи
И перевода с перевода;
В них неподдельная природа,
Свое добро, свои грехи! . .

¹ В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т. 8. М., 1955, стр. 451.

² Там же, т. 5. М., 1954, стр. 560—561.

«Неподдельная природа» лирического творчества Языкова с особенной ясностью сказалась в его студенческих песнях и любовных стихотворениях, которым он демонстративно присваивал название «элегий», хотя они ни в малой мере не были похожи на обычные элегии, писавшиеся поэтами двадцатых годов. Именно в песнях и «элегиях» наиболее проявилась творческая смелость Языкова. Здесь он резко нарушал строгие законы карамзинистской упорядоченности словаря и образной системы, ломал установившиеся традиции и правила, допускал неожиданные словообразования и сравнения, изобретал неологизмы и усваивал тот «разгульный», стремительный стиховой темп, который так восхищал его современников.

Для интимно-лирических стихотворений Языкова весьма характерна полная свобода в обращении со словом, стремление применять его не в обычном значении, сочетать в одном образе, как правило, несочетаемые понятия и т. п. Он умел открывать в поэтическом слове различные оттенки смысла и на основе комбинаций таких оттенков создавать свежие, неожиданные эпитеты и сравнения. Вот несколько на выборку взятых примеров, иллюстрирующих свойственную Языкову игру со словом: «так в миловидном одеянии очаровательней краса», «как утомительны и сонны часы бессонницы моей», «повязка сладостных дождей», «истаевать в твоей любви», «застенчивые ланиты», «неопытная кровь», «непобедимая краса», «ее (любви) блудящие огни», «любви прелестные печали», «любви безумные припадки», «возмутительные очи», «волны ветреных кудрей», «благообразные вдохновенья», «пробудительные сны» и «усыпительная радость», «яркий звук», «таинственный камен» (поэт), «быстрокрылая ладья», «как безгранично сладострастна твоих объятий полнота», «и жду, когда между кустов мелькнет условленный покров, или тропинка потайная зашепчет шорохом шагов» и т. д. Целям свободного сочетания различных оттенков понятий служили в изобилии представленные в стихах Языкова сложные и составные слова, вроде: «искрокипучее» (вино), «го-

лубоводная» (река), «пряморусская» (война), «многогромная», «стройно-верные шаги» и т. д.

С такой же свободой, с какой нарушал Языков принципы упорядоченности словаря и образов, закрепленные в поэтике карамзинизмом, нарушал он и законы жанра. Только нарочитым стремлением дискредитировать жанр «унылой» элегии можно объяснить особый характер языковских «элегий». Этим словом озаглавлено множество стихотворений Языкова самого вакхического содержания. Не приходится сомневаться, что он демонстративно называл «элегиями» нечто прямо противоположное тому, что было действительно элегией в понимании читателя двадцатых годов. В «элегиях» Языкова все как бы наоборот, навыворот по сравнению с традиционной элегией того времени: вместо «сладостной меланхолии» — «разгул чувств», вместо специфического, заштампованного словаря — «хмельное буйство выражений» и «незастенчивость слов», вместо размеренно-ровного, спокойного течения стиховой речи — «бренчанье резкое стихов» (пользуемся определениями самого Языкова). Некоторые из них звучат почти пародийно. Вот, к примеру, какие стихи называл Языков «элегией»:

О деньги, деньги! для чего
Вы не всегда в моем кармане?
Теперь христово рождество
И веселятся христиане;
А я один, я чужд всего,
Что мне надежды обещали:
Мои мечты — мечты печали,
Мои финансы — ничего. . .

В лучших своих стихотворениях Языков продемонстрировал замечательное поэтическое мастерство и изобразительную силу стиха (в частности, в картинах русской природы, — см., например, «Тригорское»). Он в совершенстве владел приемом четких, афористических словесных формулировок (как правило, замыкающих стихотворение) и уделял большое внимание звуковой организации стиховой речи. В качестве примера можно привести знаменитые строки из его «Молитвы»:

Как Волги вал белоголовый
Доходит целый к берегам...

Виртуозное поэтическое мастерство Языкова было высоко оценено его современниками. Гоголь писал о нем: «Имя Языкова пришлось ему недаром. Владеет он языком, как араб конём своим, и еще как бы хвастается своею властью. Откуда ни начнет период, с головы или хвоста, он выведет его картинно, заключит и замкнет так, что остановишься пораженный» («В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность»).

2

Яркая творческая индивидуальность молодого Языкова произвела сильное и глубокое впечатление на передовых деятелей двадцатых годов. Они видели в нем одну из лучших надежд русской литературы, талантливого, самобытного и прогрессивного поэта, исполненного духом свободолюбия и патриотизма. Стихи Языкова встретили живейший отклик в среде молодого поколения, и недаром впоследствии, когда Языков перешел на сторону реакции, Герцен с особенно тяжелым чувством говорил о нем как о «некогда любимом поэте».

Вполне понятен поэтому тот интерес, который возбуждал Языков в Пушкине. Уже в 1822 году Пушкин цитирует в письме из Кишинева строчку из студенческой песни Языкова об Александре I: «Наш Август смотрит сентябрем», которая дошла до него, очевидно, в устной передаче, что, кстати, свидетельствует о широком распространении политической лирики Языкова. В 1824 году, еще не будучи лично знаком с Языковым, Пушкин из михайловской ссылки обратился к нему с посланием, в котором была задана тема «дружбы поэтов», подхваченная и развитая Языковым в его ответных посланиях к Пушкину:

Издравле сладостный союз
Поэтов меж собой связует;
Они жрецы единых муз;
Единый пламень их волнует;

Друг другу чужды по судьбе,
Они родня по вдохновенью.
Клянусь Овидиевой тенью:
Языков, близок я тебе. . .

В пушкинском послании резко подчеркнута также и тема гонений, воздвигнутых на поэта «самовластием»:

Но злобно мной играет счастье:
Давно без крова я ношусь,
Куда подует самовластье;
Уснув, не знаю, где проснусь.
Всегда гоним, теперь в изгнаньи
Влачу закованные дни.
Услышь, поэт, мое призванье,
Моих надежд не обмани. . .

Далее Пушкин, перенимая поэтическую манеру самого Языкова, приглашал его к себе — в «изгнанья темный уголок»:

Надзор обманем караульный,
Прославим вольности дары
И нашей юности разгульной
Пробудим шумные пиры. . .

Не подлежит сомнению, что Пушкин видел в Языкове своего единомышленника и соратника. Он внимательно следил за его творческими успехами, любовался в его стихах «избытком чувств и сил» и «буйством молодым» (выражения Пушкина из его другого послания к Языкову). Вяземскому он писал о Языкове: «Ты изумишься, как он развернулся и что из него будет. Если уж завидовать, так вот кому я должен бы завидовать. Аминь, аминь, глаголю вам. Он всех нас, стариков, за пояс заткнет». ¹

¹ Гоголь вспоминал, что, когда вышел в свет сборник стихотворений Языкова (в 1833 году), Пушкин «сказал с досадою: «Зачем он назвал их: «Стихотворения Языкова»! Их бы следовало назвать просто: «Хмель»! Человек с обыкновенными силами ничего не сделает подобного; тут потребно буйство сил». Далее Гоголь рассказывает, что Пушкин заплакал, слушая патриотическое стихотворение Языкова, обращенное к Денису Давыдову.

Личная встреча поэтов состоялась летом 1826 года (которое Языков провел по соседству с Пушкиным, в Тригорском, в гостях у матери своего дерптского приятеля А. Н. Вульфа). Встреча эта сыграла большую роль и в жизни и в творчестве Языкова. Прежнее сдержанное и порою даже недоброжелательное отношение его к поэзии Пушкина сменяется восторженным преклонением. Тема дружбы поэтов и сама личность Пушкина — «вольномыслящего поэта» — стали для Языкова на целый период источником вдохновения (сюда относятся стихотворения «А. С. Пушкину», «Тригорское», послания к П. А. Осиповой и А. Н. Вульфу, «К няне Пушкина», «На смерть няни Пушкина»; все они принадлежат к числу лучших произведений Языкова).

О ты, чья дружба мне дороже
Приветов ласковой молвы,
Милее девицы пригожей,
Святее царской головы!
Огнем стихов ознаменую
Те достохвальные края
И ту годину золотую,
Где и когда мы: ты да я,
Два сына Руси православной,
Два первенца полночных муз,
Постановили своенравно
Наш поэтический союз —

с такими стихами обращался Языков к Пушкину. Биографическая по своему происхождению тема дружбы поэтов приобретала у Языкова более общее значение и служила обоснованию романтической концепции духовной свободы художника — жреца и пророка:

Что́ восхитительнее, краше
Свободных, дружеских бесед,
Когда за пенистою чашей
С поэтом говорит поэт?
Жрецы высокого искусства!
Пророки воли божества!
Как независимы их чувства!
Как полновесны их слова!
Как быстро мыслью вдохновенной,
Мечты на радужных крылах,
Они летают по вселенной
В былых и будущих веках!

Прекрасно радуясь, играя,
Надежды смелые кипят,
И грудь трепещет молодая,
И гордый вспыхивает взгляд! . .

В стихах данного цикла, который намеренно строился Языковым как достоверный рассказ «про жизнь поэтов наших дней», ему удалось удачно запечатлеть живой образ Пушкина, — причем в образе этом различимы разные грани. Пушкин предстает в стихах Языкова и жизнерадостным эпикурейцем, не знающим «ни тени скуки, ни сует», и опальным поэтом-пророком, жертвой гонения, который

. . . не сражен суровою судьбой,
Презрев людей, молву, их ласки, их измены,
Священнодействовал при алтаре Камены, —

и, наконец, реальным А. С. Пушкиным во всей конкретности и характерности своего бытового облика:

. . . И те отлогости, те нивы,
Из-за которых вдалеке,
На вороном аргамаке,
Заморской шляпою покрытый,
Спеша в Тригорское, один —
Вольтер и Гёте и Расин —
Являлся Пушкин знаменитый. . .

Двухмесячное общение Языкова с Пушкиным летом 1826 года, конечно, было ознаменовано не только жженкой и прочими развлечениями, о которых упоминается в их поэтической переписке. Сам Языков засвидетельствовал: «Там не в одном вине заморском мы пили негу бытия! . .» Поэты делились мыслями, беседовали на актуальнейшие общественные и политические темы («Зовем свободу в нашу Русь! . .» — так передавал Языков содержание этих бесед), обсуждали вопросы русской литературы, гадали о путях ее дальнейшего развития.

После встречи в Тригорском Языков подпал под сильное влияние Пушкина. Следы этого влияния отчетливо различимы в творчестве Языкова 1826—1828 годов. В это время он становится заметной

фигурой пушкинского литературного окружения. Казалось бы, по всем данным, он и дальше должен был бы идти рука об руку с Пушкиным. Однако этого не случилось. В дальнейшем творческие пути их расходятся, и очень круто (несмотря на внешнюю дружескую близость, продолжавшуюся до смерти Пушкина).

Расхождение это было связано, во-первых, с тем обстоятельством, что Языкову, остававшемуся на его исходных романтических позициях, оказались совершенно чужды реалистические тенденции творческого развития Пушкина. Он не понял и не принял пушкинского реализма. Характерно в этом смысле, что он отверг сказки Пушкина и «Повести Белкина», как раньше — «Евгения Онегина». А второе обстоятельство заключалось в том, что Языков уже в конце двадцатых годов начал сдавать свои идейные позиции и неуклонно эволюционировать вправо — в сторону примирения с николаевской монархией и ортодоксальным православием.

Решающую роль в этом перерождении Языкова (как и многих других писателей, в первую половину двадцатых годов принадлежавших к прогрессивному лагерю) сыграла судьба декабристского движения и общее изменение социально-политической обстановки в России. Первое время Языков еще нашел в себе силу удерживаться на прежней почве. На разгром декабристов он откликнулся стихотворением «Извинение», в котором возглашал:

Жестоки наши времена,
На троне глупость боевая!
Прощай, поэзия святая,
И здравствуй, рабства тишина!

Тогда же он пишет сатирическую «Вторую присягу», где допускает выпады против Константина и Николая. К 1826 году относится его отклик на казнь Рылеева. Но при всем том свободолюбие Языкова уже испарялось, — и призывание свободы «в нашу Русь», о котором он упоминает в стихах своего «пушкинского» цикла, было больше данью прошлому, нежели залогом будущего.

В перерождении Языкова была своя закономерность — потому что его юношеское вольнолюбие и увлечение гражданственной героикой носили внешний, весьма неглубокий характер. Ясного осознания реальных перспектив освободительной борьбы у него никогда не было, и после 14 декабря, когда перед попутчиками декабризма встала задача выбора дальнейшего пути, в условиях наступившей реакции и распада оппозиционных группировок дворянской интеллигенции, он бесповоротно утверждает на позициях защиты интересов своего класса, с которым был связан тесными узами. Для того чтобы удержаться на прежнем пути, у него не хватало ни душевной стойкости, ни — главное — идейной зрелости и твердости убеждений.

Об этом очень точно сказал Добролюбов в своей статье о Языкове (1858 года). С полной исторической справедливостью Добролюбов отдавал должное Языкову двадцатых годов. Он решительно возражал против распространенного взгляда на Языкова как только на «певца разгула, вина, сладострастия», но главное в его творчестве видел в том, что он «лучшую часть своей деятельности посвящал изображению чистой любви к родине и стремлений чистых и благородных». Добролюбов очень высоко оценил патриотическую лирику молодого Языкова, который «потому любил родину, что видел в ней много великого или, по крайней мере, способности к великому и прекрасному», «обращался к временам бедствий России, среди которых именно мог проявиться великий дух народа» (критик ссылается при этом на «Песнь барда», которую «нельзя без удовольствия не перечитывать даже в настоящее время»). Но, к сожалению, продолжает Добролюбов, источник высоких и благородных вдохновений, воодушевлявших поэта, «был не в твердом, ясно осознанном убеждении, а в стремительном порыве чувства, не находившего себе поддержки в просвещенной мысли»: «Языков не мог удержаться сознательно на этой высоте, на которую его поставило непосредственное

чувство; у него недоставало для этого зрелых убеждений». «Да, в натуре Языкова были, конечно, некоторые задатки хорошего развития, — заканчивал Добролюбов свою статью, — но у него мало было внутренних сил для разумного поддержания своих добрых инстинктов. . . Так, впрочем, погиб не один он: участь его разделяют, в большей или меньшей степени, все поэты пушкинского кружка. У всех их были какие-то неясные идеалы, всем им виделась «там, за далью непогоды», какая-то блаженная страна. Но у них недоставало сил неуклонно стремиться к ней. Они были слабы и робки. . .

А туда выносят волны
Только сильного душой! . . »¹

В этой глубокой оценке Добролюбова — ключ к пониманию той «смены вех», о которой Языков заявил раньше и откровеннее других представителей дворянской интеллигенции, осознававших свою классовую позицию в последекабрьских условиях.

В 1829 году Языков оставил Дерпт и поселился в Москве. Здесь он сразу же сблизился с кругом бывших «любомудров», будущими славянофилами — братьями И. и П. Киреевскими, А. С. Хомяковым, С. П. Шевыревым, М. Н. Погодиным, а также с К. Аксаковым, Баратынским и К. Павловой. В этом кругу он обрел новую идеологическую почву. Влияние Киреевских и Хомякова со всей очевидностью сказалось на новых интересах и увлечениях Языкова. Вслед за ними он обращается к религии, к идее религиозного преображения жизни, к концепции религиозного содержания культуры и искусства.

Начинается пересмотр и переоценка всего прежнего творческого пути. Языков погружается в чтение религиозной литературы, изучает Библию, увлекается журналом «Христианское чтение» — и все это «для полного развития своих новых поэтических намерений» (как сообщает он об этом брату). Он перелагает

¹ Н. А. Добролюбов. Полное собрание сочинений, т. 1. М., 1934, стр. 350—354.

в стихи псалмы, задумывает большую религиозную поэму «Саул». «Моя муза должна переродиться, — заявляет Языков. — Я перейду из кабака — прямо в церковь. Пора — и бога вспомнить».

К 1831 году относятся два программных стихотворения Языкова: «Поэту» и «Ау!», которые, собственно говоря, и составляют черту перехода его на новые идейно-литературные позиции. В «Поэте» Языков продолжил разрабатывавшуюся им прежде тему поэта-пророка, но внес в нее уже совершенно иное содержание. В новом истолковании образа гражданскую миссию поэта-пророка полностью заменила миссия чисто религиозная:

Иди ты в мир: да слышит он пророка,
Но в мире будь величествен и свят...
И стройные, и сладостные звуки
Поднимутся с гремящих струн твоих:
В тех звуках раб свои забудет муки
И царь Саул заслушается их...

В «Ау!» Языков громогласно отрекся от своих прежних «разгульных» вдохновений:

Пестро, неправильно я жил!..
Да, я покинул, наконец,
Пиры, беспечность кочевую,
Я, голосистый их певец.
Святых восторгов просит лира —
Она чужда тех буйных лет,
И вновь из прелестей сует
Не сотворит себе кумира!..

Усвоенное Языковым представление о религиозной миссии поэта отнюдь не исключало участия его в идейной борьбе. Напротив, оно обязывало участвовать в ней. Поэзия Языкова все более приобретает дидактический и публицистический характер. С этим связано преимущественное обращение его к жанру посланий, — только теперь это уже не интимно-дружеские послания на вакхические и эротические темы, какие Языков в изобилии писал в годы молодости, а документы идейной борьбы, призывы к соратникам, памфлеты и инвективы, обращенные к противникам.

Новый период творчества Языкова ознаменовался бурным ростом реакционно-националистических настроений в духе и стиле «квасного патриотизма». Он хочет «жить и действовать православно», во имя и во славу «чисто-русской России» и «великого русского бога». Предпосылки националистических настроений имелись у Языкова и раньше, но тогда они заглушались другими нотами, звучавшими в его гражданственно-патриотической лирике. Теперь же они возобладали и разрослись в шовинистически-обскурантское прославление старины — только потому, что она старина и должна служить основой основ исконных и спасительных начал русской государственности и культуры — самодержавия и православия. Нравы и порядки «долефортовской Руси» представляются Языкову панацеей от проникновения в русскую жизнь и культуру губительных социально-политических идей:

О, проклят будь, кто потревожит
Великолепье старины;
Кто на нее печать наложит
Мимоходящей новизны!

В 1833 году Языков издал собрание своих стихотворений. Книга должна была подвести итог пройденному пути. Тем не менее Языков, в соответствии со своими новыми установками, захотел представить этот путь не совсем таким, каким он был в действительности. В сборник не вошли многие стихотворения двадцатых годов, в частности те, в которых с наибольшей силой звучали декабристские мотивы.

Книга была восторженно встречена друзьями поэта. И. Киреевский, ссылаясь на впечатления Баратынского, Хомякова и свое собственное, писал Языкову о «новом и невероятном» действии его стихов, в которых — «какой-то святой кабак, и церковь, с трапезой во имя Аполлона и Вакха». В появившейся вслед за тем большой статье о Языкове («Телескоп», 1834, №№ 3 и 4) Киреевский определил господствующее в его поэзии чувство как «стремление к душевному простору» и опровергал ходячее мнение о «безнравственности» ранней языковской лирики. Иной харак-

тер носила статья Кс. Полевого (в «Московском телеграфе»), который с позиции прогрессивного буржуазного демократа упрекал Языкова в равнодушии к запросам современности, в неотзывчивости его на передовые идеи века. Предвосхищая Добролюбова, Кс. Полевой охарактеризовал Языкова как поэта «чувств», но не «идей».

Несколько лет (1832—1836) Языков провел в Симбирской губернии. Стихов в это время он писал мало. К тому же и талант его, достигший зрелости к началу тридцатых годов, как-то сразу и неожиданно стал катастрофически падать. Стихи его становились все более вялыми и небрежными; говоря словами самого поэта,

Давным-давно уже в них нет
Игры и силы прежних лет,
Ни мысли пламенной и резвой,
Ни пьяно-буйного стиха...

В 1836 году Языков, увлекавшийся в это время фольклором и сообщая с П. Киреевским готовивший собрание русских народных песен, начал свое самое крупное произведение — драматическую сказку «Жарптица» (до этого, в 1835 году, была написана «Сказка о пастухе и диком вепре»). Сказки Языкова продолжают традицию Жуковского в этом жанре и тем самым по своему идейному содержанию и художественному методу противоположны народным и реалистическим сказкам Пушкина.

В 1837 году Языков, издавна страдавший тяжелой и мучительной болезнью, уехал лечиться за границу, где провел пять лет. За эти годы им было написано довольно много стихотворений, не представляющих большого интереса. По преимуществу это лирика природы, сетования о своей судьбе и воспоминания о былых кутежах.

За границей Языков познакомился с Гоголем. Знакомство вскоре перешло в тесную дружбу. Гоголь периода второго тома «Мертвых душ» и «Переписки с друзьями» становится для больного Языкова учителем жизни и самым авторитетным наставником. Под

влиянием Гоголя поэтом целиком овладевают религиозно-моралистические настроения. Неумеренные похвалы, которые Гоголь расточал Языкову, способствовали тому, что он стал смотреть на себя как на истинного поэта-пророка, призванного просветить грешное и заблуждающееся человечество светом религиозной истины.

Последние три года жизни Языков провел в Москве. Это наиболее печальная страница в его биографии. Он окончательно переходит на самые крайние, реакционные позиции, выступает ярким и воинствующим апологетом самодержавия, православия и официальной «народности».

Языков снова обращается к активной литературной деятельности. Поэзию свою он целиком посвящает пропаганде славянофильских идей, воспекает «самобытность державную» и «добродетельных царей». Наиболее значительным произведением этих лет является «Землетрясение» (1844), которое славянофилы объявили своим манифестом, а Гоголь и Жуковский даже считали вообще лучшим стихотворением, какое когда-либо появлялось на русском языке. В этом стихотворении Языков снова утверждал идею религиозно-морального назначения поэта, призванного умиротворять сердца и умы людей в смутные времена:

Так ты, поэт, в годину страха
И колебания земли
Носись душой превыше праха,
И ликам ангельским внемли,
И приноси дрожащим людям
Молитвы с горней вышины,
Да в сердце примем их и будем
Мы нашей верой спасены...

Творчество стареющего Языкова сыграло заметную роль в окончательном размежевании прогрессивных и реакционных сил русской литературы, происшедшем в середине сороковых годов. В славянофильском кругу Языков приобрел репутацию и значение программного поэта, глашатая славянофильских истин.

В 1844 году он принял самое активное участие в борьбе, разгоревшейся между славянофилами и деятелями передового литературного движения, возглавлявшегося Белинским.

Языков написал и пустил по рукам исключительно злобные стихотворные памфлеты, направленные против Герцена, Чаадаева и Грановского (послания «К. Аксакову», «К не нашим» и «К Чаадаеву»; сюда же примыкают написанные в 1845 году послания к П. Киреевскому и Хомякову). В памфлетах содержались обвинения политического порядка. Они вызвали бурю возмущения в прогрессивном лагере и по всей справедливости были оценены Герценом как «поэтические доносы» в традициях Коцебу и Булгарина. Чаадаева Языков изобразил отступником от православия, Грановского — лжеучителем, растлевающим юношество, Герцена — пропагандистом безбожных и революционных идей, а всех вместе — изменниками отечеству.

Обличительный пафос Языкова был столь неумеренным, а выражения его столь грубыми и оскорбительными, что памфлеты вызвали протест даже со стороны людей, близких Языкову; К. Павлова, например, порвала с ним давнюю и тесную дружбу.

Воинствующие реакционные выступления Языкова окончательно погубили его репутацию в передовых общественно-литературных кругах, Белинский, неустанно разоблачавший антинародную, помещичье-дворянскую суть славянофильства, подверг сокрушительной критике сборники Языкова «56 стихотворений» (1844) и «Новые стихотворения» (1845), пересмотрев заодно и прежнее его творчество. Революционная демократия в лице Белинского вынесла Языкову суровый, осуждающий приговор: идеи Языкова Белинский оценил как «убогие», «общий характер» его поэзии — как «чисто риторический», а «содержание и форму» — как «лишенные истины».

С репутацией православного мракобеса и воинствующего ретрограда Языков сошел в могилу 26 декабря 1846 года.

Печальный финал жизненного и литературного пути Языкова не может и не должен заслонить объективного исторического значения творчества поэта в лучшей его части. Отбрасывая все реакционное, враждебное нам, что есть в поэзии Языкова, следует по справедливости отнестись к первому периоду его творческой деятельности.

Патриотические и свободолюбивые мотивы юношеской лирики Языкова, та «поэзия душевного размаха», которую он с таким талантом выразил в своих ранних стихах, тот юношеский задор и «хмель», которые произвели глубокое впечатление на его современников, — все это обеспечило Языкову видное место в истории русской поэзии двадцатых годов.

Лучшие стихи Языкова оставались в памяти людей разных поколений на протяжении всего XIX века, а такие знаменитые его песни, как «Из страны, страны далекой...» и «Пловец», прочно вошли в песенный репертуар демократической молодежи и поются до сих пор. «Пловца» любил молодой Ленин. Проникающий эту песню оптимистический пафос борьбы и мужества с неослабной силой звучит и в наше время:

Будет буря: мы поспорим
И помужествуем с ней!..

ПОЛОНСКИЙ



Яков Петрович Полонский прожил без малого восемьдесят лет (родился 6 декабря 1819 года, умер 18 октября 1898 года). Литературная его деятельность продолжалась почти шесть десятилетий. Печатался он с 1840 года, первая его книга вышла в свет в 1844 году, а за нею последовали еще пятьдесят одна. При этом отдельные издания — и в их числе несколько «собраний сочинений» — далеко не охватывают всего написанного Полонским: много его произведений, рассыпанных по журналам, альманахам и газетам, никогда не было собрано, а кое-что вообще не увидело света и осталось в обширном архиве автора. Полонский писал много и во всех жанрах: лирические стихи и сатиры, поэмы и романы в стихах, драматические произведения (в стихах и в прозе), рассказы и очерки, многоречивые повести и романы, критические и полемические статьи и воспоминания.

Перед нами — писатель-профессионал, неутомимо трудившийся в течение более полувека, прошедший длинный жизненный и творческий путь, за время которого в русской литературе произошло много перемен. Достаточно сказать, что выступил Полонский

еще при жизни Лермонтова, а когда сошел с литературной сцены, на ней уже шумно подвизались декаденты.

Долгий век свой Полонский прожил нелегко, «по торжищам влача тяжелый крест поэта». Хотя его и оценили по достоинству такие люди, как Тургенев и Некрасов, Достоевский и Тютчев, Фет и Чехов, он так и не дождался настоящего, большого успеха и общего признания. С горечью говорил он: «Не велика моя нива, не весела моя жатва...»

В оставленном Полонским громадном литературном наследии далеко не все равноценно. Больше того: очень значительная часть этого наследия не представляет теперь даже исторического интереса. Такова, например, почти вся проза Полонского (за вычетом романа «Признания Сергея Чалыгина» и, пожалуй, еще нескольких кавказских очерков этнографического характера) и почти все его длинные поэмы. Кроме того, с течением времени, начиная примерно с семидесятых годов, творческие силы Полонского шли на убыль, хотя отдельные удачи в области лирической поэзии и сопутствовали ему до самого конца.

1

Полонский родился и вырос в провинции (в Рязани), в обстановке медленного и скучного быта патриархальной, богомольной и весьма небогатой дворянской семьи. Культурный облик семьи определяется тем обстоятельством, что отец поэта — мелкий чиновник — «не мог получить никакого образования, не знал ни одного европейского языка».¹

В 1830 году Полонский лишился матери и расстался с отцом, уехавшим служить на Кавказ. Через год его отдали в рязанскую гимназию. Уже гимназистом

¹ Я. П. Полонский. Старина и мое детство. — «Русский вестник», 1890, № 2, стр. 135. Дальнейшие сведения автобиографического характера почерпнуты как из этой статьи, так и из «Моих студенческих воспоминаний» («Ежемесячные литературные приложения» к «Ниве», 1898, № 12).

он начал писать стихи. В 1837 году Рязань посетил наследник — будущий Александр II. Гимназист Полонский приветствовал его стихами собственного сочинения, получил награждение и познакомился с Жуковским, сопровождавшим наследника. В 1839 году, по окончании гимназии, Полонский в ямской телеге и без гроша за душой приехал в Москву держать экзамен в университет. Поступил он на юридический факультет, хотя уже считал себя поэтом и мечтал только о литературной деятельности. Обращение юного поэта к юриспруденции было вызвано случайными причинами: «Я не мог поступить на филологический факультет; на изучение иностранных языков у меня не хватало памяти. . .» — пишет Полонский в воспоминаниях.

Вскоре у Полонского завелись друзья. Раньше всего сошелся он с однокурсником Аполлоном Григорьевым. Их сближали общие литературные интересы и занятия поэзией. Григорьев рассказал Полонскому, что пишет стихи; тот, в свою очередь, признался, что сочиняет драму «Вадим Новгородский, сын Марфы Посадницы».¹ Через Аполлона Григорьева Полонский познакомился и сошелся с его приятелем и сожителем — Фетом. Среди товарищей Полонского по университету были также А. Ф. Писемский, К. Д. Кавелин, С. М. Соловьев (известный впоследствии историк).

Одновременно Полонский пытается установить связи и в другом мире — в московских дворянских салонах. Дружески сблизившись со студентом Н. М. Орловым, он получает доступ в дом его отца — отставного генерала М. Ф. Орлова, видного деятеля ранних декабристских организаций, приятеля Пушкина. Салон М. Ф. Орлова (жившего в Москве под надзором полиции) был одним из культурных центров Москвы сороковых годов. Впоследствии, вспоминая это время в поэме «Братья», Полонский посвятил М. Ф. Орлову несколько сочувственных строк:

¹ Именно так!

Он и меня благословлял когда-то,
Опальный муж, гражданственных тревог .
Немая жертва! Щедро и богато
Природой взысканный, он превозмог
Свое отчаянье. И осужденный
На бесполезность, словно пригвожденный
К стенам Москвы титан, не подражал
Титану и богов не проклинал,
Умел к своим цепям приноровляться,
И на своей скале не мог никак
Лежать без дела. . .

В доме Орловых Полонский завязал много новых знакомств. «Вся тогдашняя московская знать, вся московская интеллигенция как бы льнула к изгнаннику Орлову. . . — вспоминал он в старости. — Там, в этом доме, впервые встретил я и Хомякова, и профессора Грановского, и Чаадаева, и молодого Ив. Серг. Тургенева, который, прочитав. . . какое-то мое стихотворение, назвал его маленьким поэтическим перлом». Посещал Полонский и другие салоны дворянской Москвы — кн. А. М. Голицыной, Ховриных, Елагиных, баронессы Шеппинг. Он был знаком со многими московскими писателями — А. Ф. Вельтманом, Н. Ф. и К. К. Павловыми, Ю. Самариним, К. Аксаковым, бывал у С. П. Шевырева, встречался с Герценом.

Но и в том и в другом мире — и в студенческих кружках и в аристократических салонах — положение Полонского, скромного, неимущего и малообразованного провинциала, было трудным и ложным. В кругу высокоумных дворянских интеллигентов сороковых годов он был настоящей белой вороной. Глубоко усвоив ходячее романтическое представление о поэте как об «избраннике богов», стоящем неизмеримо выше «хладной толпы», Полонский с тем большей остротой ощущал противоречие между своим высоким «предназначением» и фактическим положением нищего и зависимого студента, пробавлявшегося грошовыми уроками в аристократических домах. Самолюбие его подвергалось беспрестанным испытаниям и грубым уколам. Об этом, в частности, со всей очевидностью свидетельствуют его письма студенческих лет.

С другой стороны, Полонский оказался совершен-

но не подготовленным к усвоению тех философских идей, которые воодушевляли молодежь сороковых годов, окружавшую его на студенческих сходках. Воспитанный в духе «древлего благочестия», «наивно верующий» (по собственным его словам), Полонский прослыл среди своих товарищей простаком — талантливым, подающим надежды стихотворцем, но «недалеким малым», не способным разобраться в «высших вопросах» бытия и в умозрительных теориях. Полонский и сам ощущал свою неполноценность в этом отношении, что служило для него источником постоянных обид и огорчений. Правда, он усердно старался подтянуться и подучиться, но из этого мало что получалось.

Вот характерный эпизод, о котором простодушно рассказал сам Полонский в своих воспоминаниях. Аполлон Григорьев, узнав, что Полонский хотя и «сомневается», но не «страдает», с приятельской непосредственностью сказал ему: «Ну, так ты глуп». Тогда Полонский решил доказать приятелю, что ему тоже доступно «страдание» и в этих целях написал стихотворение, в рукописи озаглавленное «К демону». Отталкиваясь от Лермонтова, которым он в юности был увлечен и восхищен (отчасти также и от Полежаева), Полонский дает свою нарочитую, чрезмерно обнаженную и прямолинейную, а потому звучащую почти пародийно декларацию на темы «сомнений» и «страданий»:

И я сын времени, и я
Был на дороге бытия
Встречаем демоном сомненья;
И я, страдая, проклинал
И, отрицая провиденье,
Как благодати ожидал
Последнего ожесточенья.

И вот, среди мятежных дум,
Среди мучительных сомнений
Установился шаткий ум
И жаждет новых откровений.
И если вновь, о демон мой,
Тебя нечаянно я встречу,
Я на привет холодный твой
Без содрогания отвечу.

Уже из приведенной цитаты видно, что юный Полонский, варьируя лермонтовские темы, воспринимал Лермонтова неглубоко и вульгарно — лишь как мизантропа и скептика. Такое восприятие было характерным для широкого круга людей сороковых годов. Полонский в воспоминаниях передает слова своего университетского товарища К. Д. Кавелина: «Вот человек, — говорил он о Лермонтове с восторгом, — вот человек, который на всю Россию тоску нагнал».

При всем том Полонский был обязан идейной и психологической атмосфере сороковых годов всеми своими взглядами на жизнь и на искусство. У него не было ясного и цельного мировоззрения, и это обстоятельство, как увидим дальше, сыграло роковую роль в его писательской судьбе, значительно сузив его творческие возможности. Но какие-то общие идеологические представления он все же выработал в юные годы и в целом оставался им верен до конца. Ближайшим образом эти представления определяются словом *либерализм*. На языке людей сороковых годов этот термин (в нашем его понимании) замещался понятием «идеализм»: «... все мы были идеалистами, — писал Полонский в студенческих воспоминаниях, — то есть мечтали об освобождении крестьян; крепостное право отживало свой век, Россия нуждалась в реформах».

Немалую роль в выработке художественных взглядов Полонского сыграл Белинский. «Помню, как электризовали меня горячие статьи Белинского...» — писал он в воспоминаниях. А в другом месте, отвечая на вопрос: кто особенно сильно повлиял на него в молодости, Полонский, наряду с Гоголем и Лермонтовым, назвал Белинского: «Белинский был в особенности полезен тем, что, читая его, мне стало ясно, что стихи еще не поэзия, и я стал отличать от нее всякую фальшь или риторiku. Его взгляды и чутье ко всему истинному в искусстве несомненно влияли на развитие моего эстетического чувства».¹ Нужно подчеркнуть,

¹ «Мнение русских людей о лучших книгах для чтения». СПб., 1895, стр. 65.

однако, что Полонский воспринимал Белинского поверхностно и ограниченно, всецело оставаясь на почве своего расплывчатого и прекраснородушного «идеализма». Революционно-демократические и социалистические идеи зрелого Белинского, развитые и углубленные его последователями, оплодотворившие передовую литературу и общественную мысль, не только не были усвоены Полонским, но в дальнейшем, в условиях обострившейся идейно-литературной борьбы в эпоху шестидесятых — семидесятых годов, вызывали с его стороны протест и осуждение.

Полонский лично познакомился с Белинским и представил ему на суд свои стихи. Знакомство состоялось через поэта И. П. Ключникова — близкого приятеля Белинского и одного из первых литературных наставников и покровителей Полонского (впоследствии Полонский изобразил Ключникова, под именем Камкова, как типичного человека сороковых годов в стихотворном романе «Свежее преданье»). Белинский, как сообщает об этом сам Полонский, отнесся к молодому поэту довольно пренебрежительно — «как к начинающему и мало подающему надежд мальчику». «Я был так огорчен невниманием Белинского, — добавляет Полонский, — что чуть не плакал и, кажется, послал ему письмо, где уверял его, что никто на свете не разубедит меня в моем поэтическом таланте».

Осенью 1840 года в «Отечественных записках» появилось первое напечатанное стихотворение Полонского — «Священный благовест торжественно звучит...». Вслед за тем он печатает стихи в «Москвитянине» и в студенческом альманахе «Подземные ключи» (1841).¹ Некоторые из них имели успех, особенно «Солнце и Месяц» — «стихотворная аллегория, приуроченная к детскому возрасту» (по словам автора).

¹ Из помещенных здесь стихотворений шесть пьес, а также отрывок из «испанской» драмы «Хакызаро» Полонский не включил в свои сборники; они перепечатаны в «Русских пропилеях», т. 1 (1915).

Летом 1844 года Полонский окончил университет. Тогда же ему удалось издать (по подписке) маленький сборник стихов — «Гаммы». В издании сборника принимал участие, между прочим, П. Я. Чаадаев. В книжку вошло всего тридцать два стихотворения. В письме к П. Н. Кудрявцеву (от 6 сентября 1844 года) Полонский заявлял, что смотрит на издание книжки «как на проступок, извиняемый, быть может, обстоятельствами и крайней необходимостью в деньгах», и заверял, что «чужд всяких авторских претензий», зная, что «брошюрка не дает еще права ни на громкое титуло поэта, ни на звание литератора».¹

Между тем книжка была сочувственно отмечена самым влиятельным журналом того времени — «Отечественными записками». Оценивая нового поэта, анонимный рецензент пришел к следующему выводу: «...мнение наше, хотя и не безусловно, говорит в его пользу, и эта благоразумная воздержность еще более утверждает нас в нашем мнении относительно его таланта... Вообще мы встречаем «Гаммы» приветом самым радушным, но не потому только, что не замечаем в них того нестроя или непоэтического раздела, которым так часто оглушают нас самозванные наши поэты, но и по ощутительному присутствию в них многих положительных достоинств, которые ясно может видеть всякий».² В литературных кругах распространился и долго держался слух, что автором этой ободряющей рецензии был Белинский. На самом деле, как указал сам Полонский (в воспоминаниях), рецензию написал П. Н. Кудрявцев. Так или иначе, благосклонный прием, оказанный новому поэту самым влиятельным журналом, привел к тому, что на Полонского обратили внимание. «Для меня самого, — вспоминал он, — было чем-то вроде ошеломляющей неожиданности это громкое признание моего поэтического таланта. В глубине души своей я почувствовал

¹ Я. П. Полонский. Стихотворения и поэмы. Ред. Б. Эйхенбаума. «Библиотека поэта», Л., 1935, стр. 616—617.

² «Отечественные записки», 1844, т. 36, № 10, отд. VI, стр. 37—45.

то же самое, что чувствует бедняк, который узнал, что на лотерейный билет свой выиграл целое состояние».

Однако, несмотря на авторский успех и установившиеся в литературной среде связи, Полонский рвался вон из Москвы. Ему здесь «душно, как в тюрьме»; его донимает безденежье, преследуют какие-то «тайные враги и недоброжелатели», раздражают какие-то «сплетни». Осенью 1844 года ему удается перебраться на юг — в Одессу, где он провел полтора года без определенных занятий. Одесский период жизни Полонского во всех подробностях описан им в автобиографическом романе «Дешевый город», герой которого Елатомский — портретный список с Полонского. Из событий одесской жизни Полонского следует упомянуть о знакомстве его с Л. С. Пушкиным, братом поэта.

В 1845 году, в Одессе, Полонский издал второй небольшой сборник лирики — «Стихотворения 1845 года». Книжка вызвала осудительный отзыв Белинского. Еще прежде Белинский вскользь и весьма сдержанно высказался о Полонском (по поводу сборника «Гаммы») в статье «Русская литература в 1844 году». Здесь он писал: «Полонский обладает в некоторой степени тем, что можно назвать чистым элементом поэзии и без чего никакие умные и глубокие мысли, никакая ученость не сделают человека поэтом. Но и одного этого также еще слишком мало, чтобы в наше время заставить говорить о себе как о поэте».¹ О второй книжке Полонского Белинский отзывался гораздо определеннее и резче. Признавая в Полонском поэтический талант, он говорил, что «ничем не связанный, чисто внешний талант этот можно рассмотреть и заметить только через микроскоп — так миньютюрен он... Заглавие «Стихотворения 1845 года» обещает нам длинный ряд небольших книжек; обещание несколько не утешительное. Стихотворения 1845 года уже хуже стихотворений, изданных в 1844 году... Это

¹ В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т. 9. М., 1955, стр. 121.

плохой признак». Общий вывод, к которому пришел Белинский, был таков: «Полонскому решительно не о чем писать, т. е. нечего вкладывать в свой гладкий, а иногда и действительно поэтический стих... Это заставляет его прибегать, за отсутствием мысли, к умничанью и хитрым рефлексиям».¹

Отзыв этот содержит в общем справедливую характеристику юношеской лирики Полонского, в которой Белинского должны были особенно раздражать как отсутствие мысли, так и явные рецидивы бенедиктовщины. Нужно заметить также, что Белинский был безусловно прав, особенно сурово расправившись со вторым сборником Полонского. Эта книжка была значительно слабее и бледнее первого сборника («Гаммы»), в который вошли такие удачнейшие из ранних стихотворений Полонского, как «Зимний путь», «Солнце и Месяц», «Дорога», «Лунный свет», «Уже над ельником...». Юношеский шедевр Полонского — «Пришли и стали тени ночи...» не вошел ни в первый, ни во второй сборник. Кстати будет сказать, что некто иной, как именно Белинский, напечатал это превосходное стихотворение в «Отечественных записках», — причем напечатал вопреки запрещению автора, в непонятном ослеплении назвавшего свое лучшее творение «дрянью».²

К чести Полонского нужно сказать, что он сумел сделать должные выводы из сурового отзыва Белинского. Впоследствии он вспоминал: «Я многим был когда-то обязан эстетическим воззрениям Белинского на поэтическое творчество, и когда в моей ранней юности я отступил от них, — то был им осмеян... и за это — великое спасибо Белинскому. Его отзыв отрезвил меня... и по крайней мере $\frac{3}{4}$ из моих тогдашних стихотворений не поступило в полное собрание моих стихотворений».³ Говоря о том, что он отступил от «воззрений Белинского», Полонский, нужно думать,

¹ В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т. 10. М., 1956, стр. 300.

² См. письмо Полонского к Белинскому от 11 мая 1842 г. — «Венок Белинскому». М., 1924, стр. 236.

³ Там же, стр. 241.

имел в виду ту бенедиктовщину и тот «демонизм», уснащенный «хитрыми рефлексиями», которым он отдал щедрую дань, поддавшись литературной моде. Отзыв Белинского также способствовал временному отказу Полонского от надежд на успешную литературную деятельность. Он пришел к мысли о необходимости переменить амплу поэта на карьеру чиновника, от чего так долго и упорно воздерживался.

В связи с назначением новороссийского генерал-губернатора М. С. Воронцова наместником на Кавказ за ним потянулось из Одессы много чиновников. К ним примкнул и Полонский. Обратившись к Воронцову с приветственным стихотворением и заручившись поддержкой знакомых, он получил назначение в Тифлис — в канцелярию наместника и в редакцию газеты «Закавказский вестник». В июле 1846 года Полонский уехал в Грузию.

Пятилетнее пребывание в Закавказье составляет важный период в жизни и литературной деятельности Полонского. Эти годы были временем его творческого роста, свидетельством чему служит обширный цикл стихотворений, в которых широко и ярко отразились новые впечатления поэта. Историческое прошлое и современная жизнь Грузии, ее природа, нравы и обычаи, предания и поверья грузинского народа — все это послужило для Полонского обильным источником новых поэтических тем и сюжетов, образов и мотивов.

В Тифлисе Полонский принимал повседневное и активное участие в местной общественной и культурной жизни, всячески содействуя ее подъему. Он сблизился с кругами местной (грузинской и армянской) интеллигенции и с рядом временно находившихся в Тифлисе людей, живших культурными интересами (среди них были: писатель В. А. Соллогуб, востоковед Н. В. Ханыков, художник Г. Гагарин, польский поэт Тадеуш Лада-Заблоцкий, отбывавший в Закавказье административную ссылку). В истории культурной жизни Грузии, равно как и в истории грузино-русских литературных взаимоотношений Полонскому принадлежит достаточно видное место.

Кавказские произведения Полонского, в которых он затрагивал темы и вопросы местной жизни, проникнуты чувством дружеского расположения к народам Закавказья и уважением к их культуре. Присоединение Грузии к России он правильно трактовал как единственно возможный для грузинского народа путь избавления от опасности быть поглощенным шахской Персией или султанской Турцией. Наиболее отчетливо Полонский выразил эту идею в стихотворении «Заступница», где говорится от имени Иверии (Грузии):

... без помощи сестры
Я б крепким сном спала до сей поры,
Я б никаких плодов не собрала.
Когда, избитая мечами мусульман,
Лежала я в горах и кровь текла из ран...
Единоверная, она ко мне пришла...

Также и в стихотворении, написанном по случаю открытия в Тифлисе театра, Полонский говорил о «миротворном деле» соединения народов Закавказья с Россией — на почве просвещения и труда:

Свои народные богатства,
Богатства мысли и труда,
Смелее мы несем сюда,
Народам в дар, по чувству братства...¹

В 1849 году Полонский издал небольшой сборник своих кавказских стихотворений под заглавием «Сазандар» («Певец»). Стихи сопровождались обширными примечаниями, показывающими, что Полонский внимательно изучал историю, быт и народное творчество Грузии. «Сазандар» был встречен сочувственно не только в Тифлисе, но и в Москве. «Москвитянин», перепечатав ряд стихотворений Полонского, отозвался о нем как об «одном из талантливых наших молодых поэтов, которого так давно, к сожалению, не слышать было на нашем Парнасе».² После выхода в свет «Сазандара» Полонский начинает регулярно печатать

¹ «Русская старина», 1884, т. 44, стр. 600.

² «Москвитянин», 1850, ч. 2, № 5, стр. 1.

свои стихи на страницах тифлисских изданий. Ободренный успехом, в 1851 году он выпускает новый сборник — «Несколько стихотворений».

Выполняя служебные поручения, Полонский совершил несколько поездок по Грузии. Результатом этих поездок явились очерки и заметки преимущественно этнографического характера, напечатанные в газетах «Закавказский вестник» и «Кавказ» («Климат в Тифлисском уезде», «Тифлис налицо и наизнанку», «Описание Мардкопского праздника», «Письмо из Серого замка», «Саят-Нова» и др.). Местный материал лежит в основе также и ранней художественной прозы Полонского. Рассказы его «Делабаштала», «Квартира в татарском квартале», «Тифлиские сакли» (объединенные позже в цикл «Грузинские очерки») написаны в манере «натуральной школы»; внимание автора сосредоточено главным образом на картинах быта и описании нравов.

В Тифлисе, в 1850—1851 годах, Полонский написал и свое первое драматическое произведение — большую (пятиактную) драму «Дареджана, царица Имеретинская». Сюжет драмы взят из грузинской истории середины XVII столетия. Полонский дважды ездил в Имеретию — специально для того, чтобы изучить тамошние исторические памятники. Драма была написана для открывшегося в Тифлисе русского театра. В предисловии к драме Полонский особо подчеркивал это обстоятельство: «Сомневаюсь, чтоб первый драматический опыт мой нашел сочувствие в душе моих читателей. Многим из них трудно будет вообразить себе и неизвестный край и незнакомое время, и вдобавок не весело видеть на сцене варварские нравы, чуждые духу и понятиям современного нам общества. Мне скажут: вольно же на первый раз взять такой сюжет? Что же делать! Я писал мою драму не для избранного общества наших столиц и наших провинций — я думал о той тифлисской сцене... где, смею сказать, моя драма для тифлисской публики была бы гораздо интереснее многих наших драм и даже комедий, непонятных в Грузии и совершенно чуждых нравам большинства будущих посетителей театра».

«Дареджана Имеретинская» так и не увидела сцены. Разрешение на постановку должны были дать петербургские власти. Воронцов обратился к ним, указав, что постановка драмы в Тифлисе будет особенно полезна, ибо в ней «изображается, и довольно верно, то бедственное время интриг, крамол и беспорядков в Имеретии, которое навсегда миновало с водворением там мира и тишины под благодетельным русским правлением». Несмотря на ходатайство наместника, постановка пьесы была запрещена Третьим отделением — как сказано в официальном документе, «принимая в соображение политическое содержание этой драмы» и «по общим обстоятельствам настоящего времени». ¹ Законопреступность «политического содержания» драмы заключалась в том, что в финале ее изображалось возмущение народа, вмешивающегося в династические распри феодалов. В искаженной, подцензурной редакции драма была напечатана в 1852 году в «Москвитянине» (№ 7).

Полонский в это время был уже в Петербурге. В июне 1851 года, вызванный к больному отцу, он уехал из Тифлиса в Рязань, а оттуда — в Москву и в Петербург. В Москве он читал свою драму Островскому и Аполлону Григорьеву, а в Петербурге хлопотал о пропуске ее на сцену. Покидая Грузию, он надеялся вернуться обратно, но остался в Петербурге навсегда.

Уезжая на родину, Полонский был окрылен надеждами на лучшее будущее. Надежды эти отразились в одном из удачнейших его стихотворений — «На пути из-за Кавказа», отличающемся великолепной энергией поэтического выражения:

Душу, к битвам житейским готовую,
Я за снежный несущу перевал...
Я Казбек миновал, я Крестовую
Миновал — недалеко Дарьял...
Выси гор, в облака погруженные,
Расступитесь! — приволье станиц —
Расстилаются степи зеленые,
Я простору не вижу границ.

¹ «Красный архив», 1924, т. 7, стр. 255.

И душа на простор вырывается
Из-под власти кавказских громад, —
Колокольчик звенит-заливается...
Кони юношу к северу мчат...
В стороне слышу карканье ворона,
Различаю впотьмах труп коня, —
Погоняй, погоняй! тень Печорина
По следам догоняет меня...

2

С переездом в Петербург в жизни Полонского начинается совершенно новая полоса. В течение пяти лет, проведенных в Закавказье, вне литературной среды, он имел возможность оставаться в стороне от начавшейся решительной размежевки общественно-литературных сил. Теперь ему предстояло как-то определять свою позицию в новых для него и по существу сложных условиях. А он был к этому плохо подготовлен.

Первым делом Полонский постарался установить связи с передовыми литературными кругами. Он сотрудничает в «Современнике» и в «Отечественных записках», но ради заработка вынужден писать и для газет, и для разного рода мелких изданий. Предпринимая, говоря его же словами, «неудачные попытки литературным трудом заработать себе кусок насущного хлеба», Полонский писал в это время рассказы и повести из жизни детей. Обращение именно к такого рода темам было связано с цензурными затруднениями, особенно усилившимися в последние годы николаевского царствования. «Большую часть этих детских и полудетских рассказов я писал поневоле, — вспоминал Полонский впоследствии, — так как, прибывши в Петербург с Кавказа без всяких средств к жизни, я попал в разгар таких цензурных тисков, что писать о взрослых людях было весьма затруднительно... В эти тяжелые годы я усиливался брать сюжеты самые невинные, но и это не помогало!.. Поверит ли кто-нибудь в наше время, что даже такие рассказы, как «Статуя весны» и «Груня», были запрещены тогдашней цензурой».

Смерть Николая I и наступившее вслед за нею общественное оживление Полонский воспринял как начало новой эпохи и горячо приветствовал ее в стихотворении «На корабле», отличающемся оптимистическим тоном:

Заря!.. друзья, заря! Смотрите, как яснееет...
Мы мачты укрепим, мы паруса подтянем.
Мы нашим топотом встревожим праздных лень —
И дальше в путь пойдем, и дружно песню грянем:
Господь, благослови грядущий день!

В 1855 году вышел большой том избранных стихотворений Полонского, подводивший итоги его творческой работе за пятнадцать лет. Некрасов в «Современнике» приветствовал эту книгу как «явление редкое и приятное» и отметил, что Полонский кроме таланта «обладает еще другим очень замечательным качеством: ... хотя медленным, но твердым и верным шагом идет вперед — совершенствуется. Почти каждое его позднейшее стихотворение лучше предыдущего; каждая позднейшая повесть в прозе — непременно лучше написанной перед нею». Указывая на удачные стихи Полонского, Некрасов находил в них не только «внутреннюю прелесть, чистоту и теплоту», не только «любовь к истине» и «веру в идеал, как в нечто возможное и достижимое», но и «живое понимание благородных стремлений своего времени, и если не прямое служение им, то, по крайней мере, уважение и сочувствие к ним».¹

В своей оценке поэзии Полонского Некрасов исходил из наличия в ней, наряду с темами интимно-лирическими, и таких, трактовка которых могла быть истолкована как «уважение и сочувствие» к передовому идейному движению эпохи. Нота такого сочувствия хотя и слабо, но звучит в стихах Полонского, начиная с самых ранних. Иногда — это оптимистическое чувство будущего:

¹ «Современник», 1855, № 10; Н. А. Некрасов. Полное собрание сочинений и писем, т. 9. М.—Л., 1950, стр. 273—275. Вслед за отзывом Некрасова (анонимным) в «Современнике» появилась посвященная Полонскому статья А. В. Дружинина (в № 11 за 1855 г.).

О, подними свое чело,
Не верь тяжелым сновиденьям,
Не предавайся сожаленьям
О том, что было и прошло,
О том, что спит в сырых могилах,
Чего мы воротить не в силах...
Чтоб жизнь тебе была понятна,
Иди вперед — и невозвратно.

Иногда — это романтически неясный, абстрактный, но эмоционально выраженный протест против мрачной действительности, воплощенный в образе очистительной грозы, идущей по земле:

Я так и жду, что божий гром
Мои оковы разобьет,
Все двери настежь распахнет,
И опрокинет сторожей
Тюрьмы безвыходной моей...

Иногда — это тема благородных человеческих стремлений к лучшему, вопреки горю и страданию, одолевающим человека:

Улыбнись природе!
Верь знаменованью!
Нет конца стремленью, —
Есть конец страданью!

Наконец, Некрасову должны были импонировать живые, реалистические зарисовки природы и быта в цикле кавказских стихотворений Полонского и народные мотивы в его интимной лирике («Зимний путь», «Дорога», «Вызов», «Затворница», «Песня цыганки», «Колокольчик»).

Основной смысл сочувственного отзыва Некрасова о стихах Полонского в том, чтобы подсказать талантливому поэту мысль о насущной необходимости обратиться от созерцательной безыдейной лирики к разработке гражданских, общественно значимых тем. Таким образом, в середине пятидесятых годов революционно-демократическая литература в лице Некрасова, учитывая наличие в поэзии Полонского хотя и слабо выраженного, но искреннего «понимания благородных стремлений своего времени», старалась

идейно перевоспитать этого поэта, сберечь его талант от опасностей, которые таит в себе область «чистого», антинародного искусства. Характерно и показательно в этом смысле, что и Н. Г. Чернышевский относился к Полонскому с дружеским вниманием. В феврале 1857 года он писал Полонскому (по поводу повести его «Шатков», напечатанной в «Современнике»): «Повесть Ваша, сколько могу судить по началу, очень мила, а Вы, взявший на себя крест, покинутый другими, еще милее». ¹

В мае 1857 года Полонский уехал за границу. Путешествовать он должен был в качестве домашнего учителя при детях А. О. Смирновой (Россет), известной приятельницы Пушкина и Гоголя. Вскоре, однако, он расстался со Смирновыми и уехал в Женеву, где начал учиться живописи. Впоследствии он вспоминал два месяца, проведенные в Женеве, как «самое счастливое время своей жизни». В конце 1857 года Полонский появляется в Риме, где знакомится с гр. Г. А. Кушелевым-Безбородко, меценатствующим аристократом, причастным к литературе. Кушелев в это время задумал издавать собственный журнал — «Русское слово» — и пригласил Полонского в помощники.

В августе 1858 года Полонский вернулся в Петербург. С нового года он принял самое близкое участие в редактировании отделов поэзии, беллетристики и критики «Русского слова». Но сотрудничество его с капризным и бестактным Кушелевым оказалось непрочным и недолговечным. Осенью 1860 года Полонский вынужден был уйти из редакции «Русского слова» и поступить на службу секретарем Комитета иностранной цензуры.

В конце пятидесятых годов Полонский проявлял большую творческую активность, занимал достаточно заметное место в литературном мире и пользовался успехом у читателей и критики. В 1859 году появились новый сборник его стихотворений (дополнение к изданию 1855 года), получивший в «Современнике» одо-

¹ Н. Г. Чернышевский. Полное собрание сочинений, т. 14. М., 1949, стр. 341.

брение Добролюбова, и сборник рассказов, частично печатавшихся в «Современнике». Наибольший успех выпал на долю поэмы «Кузнечик-музыкант», напечатанной в «Русском слове» (1859, № 3). В этой, по определению Полонского, «шутке в виде поэмы» он задался целью в аллегорической форме изобразить незавидное положение «артиста» (кузнечик-музыкант), терпящего обиды в бездушном светском обществе. Как отмечено в литературе о Полонском, сюжет поэмы носит в известной мере автобиографический характер: поэт имел в виду то ложное положение, в каком оказывался он в молодости среди светских франтов и модных дам. Из всех поэм Полонского «Кузнечик-музыкант», написанный легким виртуозным стихом, единственный пережил свое время; он и теперь читается с живым интересом.

В дальнейшем положение Полонского в литературе становилось все более трудным и неустойчивым. В этом был виноват он сам, ибо в условиях разгоревшейся идейно-литературной борьбы не сумел занять сколько-нибудь определенную позицию, а как истый либерал пытался обрести некий средний путь, который позволил бы ему обойти стороной все наиболее сложные и острые вопросы современности. И позже, когда произошла уже окончательная размежевка литературных сил, в результате которой либералы и демократы оказались во враждующих лагерях, Полонский не сделал решительного выбора, а продолжал метаться между Тургеневым и Некрасовым.

На первых порах Полонский склонен был прямо противопоставлять себя демократическому направлению в литературе. Предостережения и советы, с которыми обращались к Полонскому Некрасов и Добролюбов, не возымели своего действия, и он демонстративно принял позу поэта-артиста, «певчей птицы», чуждой той будничной злободневности, которая питает творчество гражданских поэтов. С наибольшей прямотой и программной заостренностью Полонский высказался на эту тему в стихотворении «Для немногих», напечатанном в январе 1860 года в «Русском слове» (в собрания стиховорений Полонского это

стихотворение никогда не входило: очевидно, в дальнейшем, лавируя между различными общественными направлениями, он не считал возможным перепечатывать эти стихи, звучавшие слишком одиозно). В стихотворении, о котором идет речь, Полонский в полном противоречии с господствующими в литературе тенденциями и настроениями выступил в защиту «свободных прав» художника, не подчиняющегося никаким «догмам» и творящего для «немногих», истинных ценителей прекрасного. Вот выдержки из этого стихотворного манифеста:

Мне не дал бог бича сатиры:
Моя душевная гроза
Едва слышна в аккордах лиры —
Едва видна моя слеза.
Ко мне виденья прилетают,
Мне звезды шлют немой привет;
Но мне немногие внимают —
И для немногих я поэт.

Подслушав ропот Немезиды,
Как божеству я верю ей;
Не мне, а ей карать обиды,
Грехи народов и судей.
Меня глубоко возмущает
Все, чем гордится грязный свет...
Но к музам грязь не прилипает,
И — для немногих я поэт.

Я знаю: область есть иная,
Там разум вечного живет, —
О жизни там — живым живая
Любовь торжественно поет.
Я, как поэт, ей жадно внемлю,
Как гражданин, сердцам в ответ
Слова любви свожу на землю, —
Но — для немногих я поэт.

На такого рода представлениях о поэте и о его деле Полонский продолжал настаивать и позже — в начале шестидесятых годов. Так, например, в стихотворении «Поэту-гражданину» (1864), явно адресованном Некрасову, он в полемическом тоне противопоставлял идеям и темам гражданской поэзии, якобы не способным увлечь людей, абстрактную идею «любви», откровенно кровавой пути к «правде» и «свободе»:

О, гражданин с душой наивной!
Боюсь, твой грозный стих судьбы не пошатнет.
Толпа угрюмая, на голос твой призывный
 Не откликаясь, идет,
 Хоть прокляни, — не обернется. . .
И верь, усталая, в досужий час скорей
Любовной песенке сердечно отзовется,
 Чем музе ропшущей твоей.

 Оставь напрасные воззванья!
Не хныкай! Голос твой пусть льется из груди,
Как льется музыка, — в цветы ряди страданья,
 Любовью — к правде нас веди! . .

Поэзия поэта «для немногих» в общественно-исторических условиях шестидесятых годов была позицией архаической, совершенно безнадежной и в высшей степени рискованной. Результаты этого не замедлили сказаться: для Полонского наступает полоса крупных литературных неприятностей. Радикальная печать, передовая критика безоговорочно зачисляют его, наряду с Фетом и Майковым, в «чистые поэты» и начинают преследовать систематически и беспощадно. Если Некрасов и Добролюбов старались идейно ориентировать Полонского, то Писарев и сатирический стихотворец Минаев нападали на него без жалости и снисхождения.

У Полонского рвутся связи с передовой журналистикой. В «Современнике» в начале шестидесятых годов он уже не печатается. Уйдя из «Русского слова», он сближается с братьями Достоевскими и активно сотрудничает в их «почвеннических» журналах — во «Времени» и в заменившей «Время» «Эпохе».

В 1861—1862 годах во «Времени» печатается «роман в стихах» Полонского «Свежее преданье», который анонсировался редакцией как «событие в литературе». Роман был задуман и начат очень широко — как своего рода новый «Евгений Онегин» (роман и написан размером «Онегина»). Из намеченных двадцати глав романа было написано и напечатано только шесть, в которых дана лишь завязка сложного, разветвленного сюжета. Судя по плану, Полонский собирался нарисовать в своем романе очень широкую картину русской жизни в крепостническую эпоху.

Либеральными убеждениями автора были подсказаны сцены, в которых должны были изобличаться нравы крепостников, «вопиющее невежество, грубость и низкопоклонство», надругательство над народом. Один из центральных эпизодов романа — убийство жестокого крепостника крестьянским мальчиком. Либеральный характер решения проблемы крепостничества, намечавшегося в романе, виден из слов, которые автор вложил в уста главного героя своего произведения: «Придет время, и оно близко, когда крепостное право рухнет, и если царь не сокрушит его, оно сокрушит Россию».

«Свежее преданье» знаменовало стремление Полонского выйти за пределы лирических жанров — к широкому эпическому повествованию. Но он, по-видимому, с трудом овладевал большой формой, перегружал свой рассказ подробностями и не умел соразмерить главное с второстепенным. В напечатанных главах наиболее интересны куски, воссоздающие бытовую картину и идейную атмосферу Москвы сороковых годов, когда молодые люди

Авторитеты колебали,
И критику (Белинскому?) исподтишка
Не громко, но рукоплескали;
Смотреть ходили из райка
Мочалова, — передавали
Кольцова стих из уст в уста,
И в «Наблюдателе» искали
Стихов под литерой Θ .

Автор «стихов под литерой Θ » — уже упоминавшийся И. П. Ключников — и явился главным героем «Свежего преданья» (под именем Камкова).

В отступлениях «от автора», перебивающих сюжетное изложение романа, Полонский пускался в полемику с радикально-демократической литературой, по-прежнему отстаивая и разъясняя свою безнадежную позицию поэта-одиночки:

Я знаю много петухов.
Они кричат нам: «Для голодных
Не нужно украшений модных,
Не нужно ваших жемчугов —
Изящной прозы и стихов.

Мы для гражданства не видали
От музы никаких заслуг:
Стихи бесплодны, как жемчуг.
Прочь, — это роскошь!» Но — едва ли
У этих бедных петухов,
Опровергающих искусство,
Изящное простыло чувство
Для настоящих жемчугов?

Здесь Полонский метил, очевидно, в Писарева и в особенно досаждавшего ему Д. Минаева, который постоянно преследовал его в своих фельетонах и пародиях. В 1861 году Полонский отвечал на нападки Минаева (отчасти и Писарева) в стихотворении «Обличительному поэту» (позднейшее заглавие — «Давнишняя просьба»).

Полонский с течением времени и сам убедился в претенциозности, крайней одиозности и рискованности своих попыток противостоять основным, ведущим тенденциям общественно-литературного развития. Впоследствии он довольно точно и трезво охарактеризовал эти попытки как заранее обреченное на неуспех стремление «пересилить время». Обращаясь к своей музе, он писал:

Я с ней делил неволи бремя —
Наследье мрачной старины,
И жажду пересилить время —
Уйти в пророческие сны...

Поэтому Полонский предпринимает новую попытку установить связь с современностью, уже не противопоставляя себя «духу времени» и господствующему направлению, но при этом и не поступаясь тем, что сам он называл «идеалами», а его противники — предрассудками. Поза поэта «для немногих» в шестидесятые годы оказалась настолько архаической и нелепой, что ее приходилось либо отвергнуть, либо, сохраняя ее, сознательно обречь себя на окончательное и бесповоротное выпадение из литературной современности (как сделал это Фет). На последнее Полонский не мог согласиться — ни по внешним обстоятельствам, ни по внутреннему убеждению. Поэтому он принимает новую позу — позу писателя, свято хранящего вер-

ность «светлым идеалам» сороковых годов, которые при этом тракуются как идеалы Белинского и его истинных учеников и продолжателей, вроде Грановского и Тургенева. Содержание этих «идеалов» по-прежнему остается расплывчатым, неясным: это «поклонение» всему «прекрасному» и «высокому», «служение истине, добру и красоте» (по формулировкам Н. Страхова) и, разумеется, любовь к свободе и просвещению наряду с отрицанием всяческого насилия и произвола.

Поза защитника «светлых идеалов», хранителя идейного наследия сороковых годов показалась Полонскому тем более удобной, что позволяла объявить все, что считал он для себя неприемлемым в искусстве, — «тенденциозным», противоречащим истинным задачам искусства, мешающим ему, искусству, выполнять свои, лишь одному ему присущие функции. На деле подобная установка, естественно, приводила к борьбе с идеологией революционных демократов, к демагогическому обвинению их в том, что они, дескать, сузили идеи Белинского, исказили их сущность либо довели их «до крайности». Поэтому в дальнейшем Полонский неизменно апеллировал к имени Белинского во всех случаях, когда ему приходилось защищаться от нападений радикальной и революционно-демократической критики.

Отныне либерализм стал для Полонского знаменем и программой действий. Творчество его во вторую половину шестидесятых годов и в семидесятые годы служило типическим проявлением в области литературы этой умеренной и аккуратной идеологии. Он заново формулирует свой общественный идеал — идеал «отшельника», которому нужна

Для счастья законная свобода,
А для свободы — вольная страна...

Стараясь по мере сил «не отставать от времени» (по собственным его словам), Полонский начинает настойчиво осваивать новые — гражданские — темы. В данном случае речь идет уже не об отдельных, разрозненных и слабых, мотивах «сочувствия» передовым

идеям века, которые, как мы видели, наличествовали и в ранней лирике Полонского, но о гражданских темах, так сказать, в чистом виде, в конкретности их социального содержания.

Одной из самых ранних попыток овладения гражданской темой является стихотворение «Признаться сказать, я забыл, господа...», написанное еще в 1861 году, — по-видимому, в порядке отклика на ликвидацию крепостного права (стихотворение это в свое время не было напечатано, вероятно по цензурным причинам; опубликовано оно было лишь в советское время Б. М. Эйхенбаумом).¹ Стихотворение это особенно интересно тем, что в нем дискредитируются традиционные образы «чистой поэзии» («роза», «соловей», «звезда», «цветы» и т. д.) и довольно отчетливо звучит демократическая нота:

Признаться сказать, я забыл, господа,
Что думает алая роза, когда
Ей где-то во мраке поет соловей,
И даже не знаю, поет ли он ей.
Но знаю, что думает русский мужик,
Который и думать-то вовсе отвык...
Освобождаемый добрым царем,
Все розги да розги он видит кругом.
И думает он: то-то станут нас бить,
Как мы захотим на свободе-то жить...

(В автографе после 7-го стиха зачеркнуто:

Он в церковь идет помолиться об нем,
Выходит и видит: солдаты, штыки,
Полиция, палки, да розог пучки...)

Далее в стихотворении выражается сочувствие беднякам, обличается цензура. Но конечный вывод Полонского сделан всецело в духе либерализма: наряду с верой в «доброе царя» в нем сквозит боязнь народного бунта. Либеральный поэт всю ответственность возлагает на «ближайших слуг царя», которые своей грубой политикой способны вызвать взрыв народного возмущения:

¹ Я. П. Полонский. Стихотворения и поэмы. «Библиотека поэта». Л., 1935.

.. усердьем горя,
Они день и ночь молят господа сил,
Чтоб он вдохновить им народ пособил:
Дай, боже! царя убедить нам хоть раз,
Что плохо бы было престолу без нас;
Ведь эдакой глупый презренный народ:
Как хочешь дразни — ничего не берет.

В 1865 году Полонский возвращается в «Современник» (печатает там стихотворения «И в праздности горе, и горе в труде...» и «Неизвестность»). Руководители «Современника» продолжают сочувственно отзываться о поэзии Полонского. «Если его лира (выражаясь классически) имеет и немного струн, зато струны, какие на ней есть, звучат верным и поэтическим аккордом», — писал в 1866 году о Полонском Некрасов, отделяя его от А. Майкова, Щербины и других представителей «чистой поэзии».¹

Полонский все чаще и чаще обращается к гражданской тематике. Сюда относятся такие его стихотворения шестидесятых годов, как «Литературный враг», «В мае 1867 года», «Жалобы музыки», «Голод». В 1864 году он печатает (в «Эпохе») либеральную драму «Разлад» — «сцены из последнего польского восстания», а в 1866—1870 годах — десять глав из большой поэмы «Братья», так же как и «Свежее преданье», оставшейся незаконченной. Наиболее интересны в этой поэме последние из появившихся в печати главы, посвященные описанию революционного восстания в Риме (в 1848 году). По замыслу Полонского, центральный герой поэмы — художник Игнат Илюшин — должен был принять активное участие в революции. Впоследствии Полонский ссылался на финальную главу «Братьев» как на свидетельство своего сочувственного отношения к задачам и целям освободительной борьбы.

К числу крупных литературных работ Полонского этой поры принадлежит и исторический роман «Признания Сергея Чалыгина» (печатался в 1867 году в

¹ «Современник», 1866, № 3; Н. А. Некрасов. Полное собрание сочинений и писем, т. 9, стр. 441—442.

журнале «Литературная библиотека»), также оставшийся незаконченным. Это — лучшее из крупных произведений Полонского в прозе. Здесь он, как и в некоторых своих рассказах, задался целью изобразить формирование детского сознания, дать своего рода «историю детской души»; это отчасти сближает «Чалыгина» с автобиографической трилогией Льва Толстого. В романе удачно воссоздан исторический и бытовой колорит эпохи двадцатых годов; действуют в нем масоны и вольнодумцы из декабристского круга. «Признания Сергея Чалыгина» были высоко оценены Тургеневым. Соглашаясь, что роман Полонского уступает трилогии Льва Толстого «в изящной отделке деталей», «в тонкости психологического анализа», Тургенев утверждал, что он «едва ли не превосходит» ее «правдивой наивностью и верностью тона».¹

Охотно разрабатывая гражданские темы в духе своих либеральных настроений, Полонский в шестидесятые годы далеко уходит от своей прежней архаической позиции поэта «для немногих». Теперь он формулирует свое понимание роли писателя совершенно иначе, утверждая идею органической, неразрывной связи писателя с родиной, с народом, с обществом:

Писатель, — если только он
Волна, а океан — Россия,
Не может быть не возмущен,
Когда возмущена стихия.
Писатель, если только он
Есть нерв великого народа,
Не может быть не поражен,
Когда поражена свобода.

Это маленькое стихотворение Полонского («В альбом К. Ш.») приобрело широкую известность и в свое время часто исполнялось на литературных вечерах. К сожалению, идея, выраженная в этом стихотворении, для самого Полонского не стала программой действий. Либеральная ограниченность и робость поме-

¹ И. С. Тургенев. Полное собрание сочинений, т. 12. Л.—М., 1933, стр. 385.

шали ему развить те стороны своего дарования, которые могли бы расположить к нему и широкие круги русского общества и деятелей прогрессивной демократической и революционной литературы.

Напротив, в самом конце шестидесятых годов один из вождей революционно-демократического лагеря нанес Полонскому сильнейший удар.

В 1869 году Полонский издал первые два тома собрания своих сочинений. Они вызвали несколько сочувственных откликов в либеральной прессе. Но рецензент народнического журнала «Библиограф» (1869, № 3), отнеся творчество Полонского к «отзвучавшему блаженному времени», советовал ему «проводить до могилы отжившее, так долго услаждавшееся им общество; а самому приободриться как-нибудь». Речь шла ближайшим образом об излюбленной Полонским лирической невинтице, о мотивах визионерства, сновидений и прочей поэтической фантазмагии. «Мы от души желаем грациозной и простосердечной музе г. Полонского, — писал рецензент, — полнейшего освобождения от уродливых галлюцинаций, в которых она, благодаря своей наивности, так долго видела действительные жизненные явления».

Другая рецензия на сочинения Полонского появилась в «Отечественных записках» (1869, кн. 9) и принадлежала перу М. Е. Салтыкова-Щедрина. Беспощадный обличитель либерализма в любых формах его выражения, Щедрин сосредоточил свой критический огонь на том, что составляло самую слабую сторону творчества Полонского, — на отсутствии у него цельного мировоззрения и на шаткости его идейной позиции. Щедрин назвал Полонского «писателем второстепенным и несамостоятельным», типичным эклектиком, который «берет дань со всех литературных школ, не увлекаясь их действительно характеристическими сторонами, а ограничиваясь сферами средними, в которых всякое направление утрачивает свои резкие особенности». В пылу полемики Щедрин несколько не пощадил писательской репутации Полонского и допустил некоторые явные преувеличения и несправедливости. Так, например, он утверждал, что Полон-

ский — поэт настолько вялый, бесцветный и безличный, что оставляет читателя вполне равнодушным и вообще «очень мало известен публике».

Но суть критического выступления Щедрина по поводу Полонского заключалась в разоблачении либерализма. Щедрин и остановился на сочинениях Полонского именно потому, что они давали ему возможность высмеять и унижить либеральную литературу. Щедрин признает, что Полонский вовсе не является ретроградом, но, напротив, «любит науки и привязан к добродетелям», признает, что «он стоит почти всегда на стороне прогресса». Но при всем том Щедрин находит в творчестве Полонского показательные примеры либерального пустословия: «бессодержательное сотрясение воздуха», «бесконечную канитель слов», «несносную пугливість мысли», «туманную расплывчатость выражения». В качестве примера Щедрин привел одно из самых «гражданственных» стихотворений Полонского — «Царство науки не знает предела...», подвергнув его необыкновенно злому и насмешливому разбору. В интерпретации Щедрина стихотворение это превратилось в набор «общих слов», тривиальных рассуждений о пользе образования.

Несколько позже Щедрин еще раз вернулся к Полонскому и в рецензии на его сборник «Сноп» (1871) утверждал — в применении ко всему его творчеству, — что «неясность мировоззрения есть недостаток настолько важный, что всю творческую деятельность художника сводит к нулю».

Полонский был совершенно обескуражен и убит. Состязаться со Щедриным в полемике у него не хватило духа, и он лишь делился своими обидами и огорчениями с друзьями, жалуясь и взывая о защите. Самый знаменитый и влиятельный из приятелей Полонского — И. С. Тургенев — не только утешал его в письмах, но и заступился за него в очень горячей статье в форме письма в редакцию газеты «Санктпетербургские ведомости» (1870, № 8). В высшей степени характерно, что либеральная редакция газеты, поместив письмо Тургенева в качестве «личного мнения первоклассного писателя», тем не менее сочла

нужным сопроводить письмо примечанием, в котором, по существу, отгораживалась от тургеневской оценки творчества Полонского.

Полонский склонен был рассматривать критику своих сочинений со стороны Щедрина и других представителей левого литературного фланга как беспринципную «травлю», поднятую в узкокружковых интересах. Он совершенно не понимал принципиальной стороны спора. Между тем эта принципиальная сторона была понятна даже либералам из редакции «Санктпетербургских ведомостей». Касаясь поднятого в ходе полемики вопроса об «охлаждении публики» к Полонскому, они писали в своем примечании к письму Тургенева, указывая на объективные, исторически закономерные причины этого «охлаждения»: «Мы тоже не отрицаем в г. Полонском литературного таланта; мы тоже готовы признать, что критик «Отечественных записок» отнесся к нему слишком отрицательно; но это не мешает нам видеть действительную причину охлаждения критики и публики к писателям той категории, к которой принадлежит г. Полонский. Это охлаждение не случайно: оно создано не измышлениями того или иного критика... Общественные задачи повсюду отвлекают внимание от так называемой чистой, точнее личной, поэзии. Талант г. Полонского, сам по себе не очень сильный, преимущественно черпает свое содержание в сфере личных, лирических ощущений, лучшее время которых пережито обществом и прошло».

Таким образом, здесь правильно подмечено и достаточно отчетливо подчеркнуто самое существо разгоревшегося по поводу Полонского спора: конфликт между поэзией «чистой», сосредоточенной на темах частных и личных, и поэзией гражданской, социально направленной, отзывающейся на насущные запросы общественной, народной жизни. В этом свете защита Полонского Тургеневым приобретала вполне определенный общественный и идейный смысл — как одно из наиболее воинственных выступлений либералов против революционно-демократического направления в русской литературе шестидесятых годов.

Тургенев дал поэзии Полонского очень высокую оценку, а если учесть преувеличения, которые можно объяснить дружескими чувствами и полемическим задором, то и чрезмерно высокую.¹ Тургенев со всей решительностью и начисто отвергал высказанное Щедриным мнение о Полонском как о писателе несамобытном, эклектике. «Если про кого должно сказать, что он не эклектик, не поет с чужого голоса, что он... поет хотя из маленького, но из *своего* стакана, так это именно про Полонского, — утверждал Тургенев. — Худо ли, хорошо ли он поет, но поет он уж точно по-своему». Далее Тургенев, разбирая стихи Полонского, обращал внимание на некоторые характерные черты и особенности его лирического стиля, отмечал «ему лишь одному свойственную» манеру — «смесь простодушной грации, свободной образности языка, на котором еще лежит отблеск пушкинского изящества, и какой-то иногда неловкой, но всегда любезной честности и правдивости впечатлений».

Пользуясь случаем, Тургенев не только взял под защиту Полонского, но противопоставил его как «истинного» поэта всей гражданской, демократической поэзии во главе с Некрасовым, попутно попытавшись дискредитировать и унизить ее. В полемическом азарте, потеряв чувство меры и эстетическое чутье, Тургенев даже заявил, что лучшие стихи Полонского будут читать и перечитывать тогда, «когда самое имя Некрасова покроется забвением».²

В целом полемика по поводу Полонского является одним из ярких и знаменательных эпизодов той

¹ В письме к Полонскому от 13 января 1868 года Тургенев писал: «В одном тебе в наше время горит огонек священной поэзии. Ни графа А. Толстого, ни Майкова я не считаю! Фет выдохся до последней степени». С поправкой на комплиментарность, отзыв этот в общем, по всей вероятности, выражает истинное отношение Тургенева к поэзии Полонского.

² Вслед за Тургеневым в защиту Полонского выступил Н. Страхов (в «Заре», 1870, сентябрь). Доказывая, что Полонский и Некрасов представляют в своем лице два совершенно различных и враждебных направления в современной поэзии, Страхов заполнил свою статью грубыми нападениями на Некрасова.

острой идейной борьбы, которая происходила в русской литературе в конце шестидесятых годов.

К сказанному нужно добавить, что грубые выпады Тургенева против Некрасова вовсе не пришлись по вкусу самому Полонскому. Он был благодарен Тургеневу за защиту, но вместе с тем дорожил своими личными отношениями с Некрасовым, дарование которого всегда ценил очень высоко. Полонский выразил свое недовольство в письме к Тургеневу, а самому Некрасову писал: «...мое поклонение таланту Вашему не зависит ни от каких бы то ни было личных отношений»; далее, касаясь письма Тургенева, он отмежевался от его нападок на Некрасова, заявив: «Из этого письма я увидел ясно, что одна несправедливость в литературе вызывает другую, еще бóльшую несправедливость. Отзыв И. С. Тургенева о стихах Ваших глубоко огорчил меня».¹ В дальнейшем Полонский, по-прежнему «лавируя» (по выражению Тургенева) среди различных групп и направлений в литературе, то полемизировал с Некрасовым в стихах, то отзывался о нем сочувственно («О Н. А. Некрасове», «Блажен озлобленный поэт...»). Когда Некрасов умер, Полонский посвятил его памяти такое четверостишие:

Поэт и гражданин, он призван был учить,
В лохмотьях нищеты живую душу видеть,
Самоотверженно страдающих любить
И равнодушных ненавидеть.

Через год Щедрин, как уже было сказано, повторил свое нападение на Полонского (рецензия на сборник «Сноп»). На этот раз Полонский сам отвечал своему критику в полемической брошюре «Рецензент «Отечественных записок» и ответ ему Я. П. Полонского» (1871). Здесь он со всей решительностью отводил от себя обвинения в равнодушии к общественным вопросам. В заключение он заявлял: «Я настолько уже обстрелян, закален враждой и всякими житей-

¹ Письмо от 24 января 1870 года. — «Некрасов по неизданным материалам Пушкинского Дома». П., 1922, стр. 278.

скими и литературными невзгодами, настолько верю в себя и в свои силы, что вы вашими рецензиями, клеветами и насмешками ровно ничего со мной не поделаете». Другим ответом Щедрину служит стихотворение Полонского «Письма к музе».

В этом стихотворении Полонский все еще пытается истолковать свое промежуточное и неопределенное положение в литературе как *независимость*:

Мой Парнас есть просто угол,
Где свобода обитает,
Где свободен я от всяких
Ретроградов, нигилистов,
От властей литературных
И завистливых артистов...

На деле же никакой независимости у него не было. Напротив, «двух станов не боец», он зачастую попадал в особенно тяжкую зависимость в силу разного рода случайных обстоятельств. Он не поддавался советам Тургенева, Страхова и других своих доброжелателей, призывавших его писать исключительно интимно-лирические стихи, но продолжал в прежнем либеральном духе разрабатывать общественные и политические темы («Встреча», «Откуда?», «Что с ней?», «На улицах Парижа» и др.). Сам он старался уверить Некрасова, что с годами «стал и либеральнее и ближе к вопросам жизни», потому что не хочет «отставать от времени» и ради этого даже готов пожертвовать некоторыми из «тех понятий об искусстве, в которых воспитал себя под влиянием 40-х годов и Белинского».¹

В иных случаях Полонский достигал в своих гражданских стихах большой эмоциональной и изобразительной силы. Таковы, например, стихотворения: «Миазм», «Старая няня» (где создан превосходный образ русской женщины — крепостной крестьянки, «в самом рабстве благородной») и широко известная «Узница», которой Полонский откликнулся на дело Веры Засулич:

¹ «Некрасов по неизданным материалам Пушкинского Дома», стр. 279—283.

Что мне она! — не жена, не любовница,
И не родная мне дочь!
Так отчего ж ее доля проклятая
Спать не дает мне всю ночь!

Спать не дает, оттого что мне грезится
Молодость в душевной тюрьме,
Вижу я — своды. . . окно за решеткою,
Койку в сырой полутьме. . .

С койки глядят лихорадочно-знойные
Очи без мысли и слез,
С койки висят чуть не до полу темные
Космы тяжелых волос. . .

При всем том, возмущаясь картинами народного горя и бесправия, восхищаясь гражданской доблестью деятелей освободительного движения, Полонский оставался типичным либералом с органически присущими всякому либералу политической робостью и боязнью народной революции. Сокрушаясь над судьбой Веры Засулич, он в то же время испытывал леденящий страх перед нарастающей и ширившейся освободительной борьбой самих народных масс. Это чувство страха нашло отчетливое выражение в ряде произведений стареющего Полонского (в том числе и в некоторых его больших повестях и романах).

Сошлемся в этой связи на весьма выразительный образ городской «нищеты», пугающей «людей беспечных и богатых», а вместе с ними и самого поэта (в стихотворении «Опасение»):

Здесь каждый ждет беды, здесь каждый запер
дверь,
Здесь невидимкой между нами
Блуждает нищета, косматая, как зверь,
Дрожит и шарит за дверями. . .

В первопечатном тексте этого стихотворения имелась строфа, еще более резко, еще более обнаженно выражавшая страх перед революцией и перед ее деятелями, которых поэт называл «одичалыми».

Естественно, что при подобной шаткости общественно-литературной позиции положение Полонского в литературе продолжало оставаться крайне непроч-

ным, подверженным всякого рода случайностям. В 1873 году Некрасов напечатал в «Отечественных записках» большую поэму Полонского «Мими», но следующую его поэму «Келиот» (из истории национально-освободительной борьбы греков) — печатать отказался. Полонский в связи с этим писал Некрасову: «Вы толкаете меня в объятия Ваших же врагов».

Окончательно вытесненный из «Отечественных записок», он печатается без разбора в любых изданиях вплоть до еженедельников сомнительной репутации. В 1875 году он и сам еще раз занялся журналистикой, вступив в редакцию еженедельника «Пчела». Здесь появилась обширная сатирическая поэма Полонского «Собаки», принадлежащая к числу наименее удавшихся ему произведений. Между тем сам Полонский утверждал в конце жизни, что если какое из его произведений переживет его, «то это именно — поэма «Собаки»».

В восьмидесятые годы положение Полонского существенно изменилось, и изменение это было связано с общими переменами, происшедшими в общественной жизни и в литературе. Победа реакции, разложение народничества, рост антиобщественных — «болотных» и «сумеречных» — настроений — все это создавало атмосферу, в которой ожили и заново заявили о своем существовании «чистые поэты» — Фет, Майков, Случевский. У них появляются ученики и последователи; на сцену выходят молодые поэты, настроенные агрессивно в отношении некрасовской школы и в воинственном духе отвергающие наследие и традиции шестидесятых годов.

В этой атмосфере оживает и Полонский. Он восстанавливает старую дружбу с Фетом (прерванную некогда из-за недоразумения), поддерживает с ним оживленную переписку, неоднократно гостит у него в имении. У Полонского устанавливаются прочные связи и с молодым литературным поколением. В 1882 году он подружился с Гаршиным; в 1887 году близко сошелся с Чеховым, которого сразу же оценил очень высоко; тепло приветствовал появление Фофанова. Следы этой дружеской связи старого поэта с моло-

дой литературой сохранились в его творчестве: это — стихотворения «Памяти С. Я. Надсона», «Памяти В. М. Гаршина» и посвященная Чехову стиховая новелла «У двери», написанная отчасти в чеховской же манере.

В восьмидесятые годы и внешним образом оживляется литературная деятельность Полонского: один за другим выходят в свет отдельными изданиями его пухлые, худо построенные и небрежно написанные романы («Дешевый город», «Крутые горки», «Нечаянно»); появляются новые сборники стихотворений, а в 1885 году — десяти томное «Полное собрание сочинений» (на деле — далеко не полное). В апреле 1887 года в довольно торжественной обстановке был отмечен 50-летний юбилей литературной деятельности Полонского.

В новых условиях, под влиянием новых друзей, чувствуя их поддержку, Полонский оставляет общественные темы и возвращается на свои исходные пути. Его старческая лирика — это картины природы, грустные размышления, изредка сценки бытового характера или вариации на мифологические темы и сюжеты («Кассандра»). В стихах его все более заметно сказываются религиозные настроения (с уклоном в мистику). В наиболее ясном виде все эти тенденции обнаруживаются в сборнике «Вечерний звон» (стихи 1887—1890 годов). Заглавие сборника, конечно намеренно, перекликается с заглавием книжек старческой лирики Фета — «Вечерние огни». Программным для Полонского этой поры является прекрасное стихотворение «Вечерний звон» (напечатанное им самим в двух вариантах):

Вечерний звон... не жди рассвета;
Но и в туманах декабря
Порой мне шлет улыбку лета
Похолодевшая заря...

Но жизнь и смерти призрак — миру
О чем-то вечном говорят,
И как ни громко пой ты, — лиру
Колокола перезвонят.

Без них, быть может, даже гений
Людьми забудется, как сон, —
И будет мир иных явлений,
Иных торжеств и похорон.

Либерализм Полонского к этому времени окончательно выцвел; политические взгляды его в годы старости носили уже вполне консервативный характер. Он, правда, не стал таким воинствующим реакционером, как Фет, но и он, боясь «анархии», отныне видел спасение от социальных и политических бурь — в «сильном, неограниченном самодержавии».

На закате жизни Полонский наконец дождался если не славы, то хотя бы признания. По пятницам в его скромной квартире собиралось многолюдное и пестрое общество; здесь можно было встретить самых разных людей — «от студента до сенатора и выше». ¹ Среди них с трудом передвигался на костылях хозяин — ветхий старец, отличавшийся живостью воображения, общительностью и неизменно дружеским расположением к молодежи. Вокруг него образовался целый кружок молодых поэтов (собиравшийся и долго после его смерти). Однако появившиеся в девяностые годы русские декаденты не только не встретили у Полонского никакого сочувствия, но были строго и безоговорочно осуждены им. Он даже написал стихотворение «Декадент», в котором декадентство было охарактеризовано как «нелепая мода» и «бред», как ядовитый цветок, возросший на гнилой болотной почве.

Полонский, переживший всех своих сверстников, был на закате жизни поэтом-ветераном, «последним поэтом», еще сохранившим нечто от пушкинской и лермонтовской эпохи. Люди девяностых годов запомнили его «громозвучное благодушие», его вдохновенную манеру декламации (он любил и умел читать стихи). Через всю жизнь пронес он веру в чудесную силу поэзии и высокое назначение поэта. Александр Блок, размышляя в годы реакции о судьбах русской литерату-

¹ Данные о «пятницах» Полонского см.: П. Перцов. Литературные воспоминания. М.—Л., 1933, стр. 115—132.

ры, не случайно вспомнил, как «потрясали сердца» (потому что «вызывали к жизни высокие и благородные чувства») старые поэты — и в их числе Полонский «с торжественно протянутой и романтически дрожащей рукой в грязной белой перчатке».

3

Полонский не заблуждался относительно меры и силы своего дарования. В старости он писал Фету о добыче чистого «золота» поэзии: «...я, чтобы добыть это золото, должен толочь руду, промывать ее, словом проделывать всю процедуру терпеливого и настойчивого добывания. — Теперь руды все больше и больше, а золота все меньше». ¹

Руды у Полонского действительно много. Это, в первую очередь, почти все стихи, в которых он пускался в размышления и рассуждения. В подавляющем большинстве случаев он впадал при этом в сухую риторику и скучное резонерство. Даже захваливавший Полонского Тургенев вынужден был отметить его «несколько наивное подчинение тому, что называется высшими философскими взглядами», благодаря чему стихи его, как осторожно выражался Тургенев, не всегда отличаются «глубиной мысли, силой и блеском выражения». ² Также в большинстве случаев неудачными были попытки Полонского выйти за пределы лирических жанров и камерных тем — в область сатиры, или баллады, или широкого эпического повествования.

Подлинной творческой стихией Полонского была стихия чистого лиризма. Сила его как художника была в умении тонко изображать душевный мир человека, его настроения и переживания, ощущения и чувства. Основной тон поэзии Полонского — легкая, негромкая «музыка души». И в этой области ему уда-

¹ «Русская мысль», 1917, кн. 5-6, отд. 2, стр. 111.

² И. С. Тургенев. Полное собрание сочинений, т. 12, стр. 389.

валось создавать вещи высокого совершенства, начиная с юношеского «Пришли и стали тени ночи...», кончая старческим «Зимой, в карете».

Именно в лирике обретал Полонский настоящую песенную силу и истинное изящество, тот «особый лад», «простодушную грацию» и «смелую простоту выражений», которые находили в его поэзии расположенные к нему современники. Простодушной грацией дышат многие стихи Полонского, хотя бы вот эти — о «холодеющей ночи», которую поэт взял себе в подруги и которая сама с ним

...ночевала
Над рекою, у скирдов,
Вея тонким ароматом
Рано скошенных лугов.

Самые ранние стихи Полонского (за немногими исключениями) интереса не представляют; в них слишком много шаблонных мотивов, идущих от эпигонов романтической поэзии и ставших общедоступным поэтическим достоянием.

Тем более разительное впечатление производит цикл кавказских стихотворений Полонского. Эти стихи примечательны новизной своего содержания, яркостью и свежестью своих красок. Полонский внимательно наблюдал и изучал жизнь Грузии, и это сказалось в его стихах — в богатстве тем, в живости и реалистической верности изображения быта и людей, наконец — в локальности, характерности образов, словаря и даже ритмико-мелодических приемов организации стиховой речи.

Грузия, изображенная в стихах Полонского, совершенно не похожа на ту условно-экзотическую Грузию, образ которой был закреплен в романтической поэзии 1820—1830-х годов. Полонский увидел и запечатлел реальную, современную жизнь Грузии во всей ее характерности и самобытности. Особенно показательным в этом смысле большое стихотворение «Прогулка по Тифлису» — редкая у Полонского творческая удача, осуществленная не в лирическом роде. Это своего рода «физиологический очерк» в стихах,

в котором быт тифлисского майдана и тифлисской улицы изображен во всей полноте и во всей точности своих деталей:

Иду я дальше: множество портных
Сидят на низеньких подмостках, в меховых
Остроконечных шапках, рукава утюжат,
Обводят обшлага черкески заказной
Иль праздничной чухи тесьмою золотой;
Усердно шьют и мне усердно служат:
Из медных утюгов огонь я достаю,
Чтоб тут же закурить потухшую мою
Сигару. . .
Вот, вижу я, цирульня. . .
. . . Вот кофейня, два купца,
Два персиянина играют молча в шашки;
Хозяин смотрит, сумрачный с лица;
А между тем *бичо* переменяет чашки. . .

Интересно, что «местные краски», локальный образный и словарный материал присутствуют не только в таких описательных стихотворениях, как «Прогулка по Тифлису», и не только в стихотворениях балладного типа («Выбор уста-баша», «Агбар», «Караван»), но и в чисто лирических стихах. Примером может служить стихотворение «После праздника»:

Вчера к развалинам, вдоль этого ущелья,
Скакали всадники — и были зажжены
Костры, — и до утра был слышен гул веселья —
Пальба, и барабан, и вой зурны.
Из уст в уста ходила азарпеша,
И хлопали в ладоши сотни рук,
Когда ты шла, Майко, сердца и взоры теша,
Плясать по выбору застенчивых подруг.

Что ж медлю я. . . Бичо! — ты, конюх мой

проворный!

Коня! — Ее арбу два буйвола с трудом
Везут. — Догоним. . . Вон играет ветер горный
Катибы бархатной пунцовым рукавом.

Стих Полонского обычно, даже в лучших его вещах, довольно вял. Но кавказский цикл и в этом отношении составляет исключение. В иных случаях Полонский достигал здесь замечательных интонационных и звуковых эффектов:

Я не приду к тебе. . . Не жди меня! Недаром,
Едва потухло зарево зари,
Всю ночь зурна звучит за Авлабаром,
Всю ночь за баями поют сазандари. . .

Однако в дальнейшем, в пятидесятые и шестидесятые годы, эта линия не получила развития в творчестве Полонского. Он обращается главным образом к интимной психологической лирике элегического, а чаще — романсного типа. В романсе он и нашел себя, явившись (наряду с Ап. Григорьевым и в меньшей мере Фетом) одним из создателей и канонизаторов этого подчиненного, но наиболее эмоционального жанра лирической поэзии.

Романсные интонации появляются в стихах Полонского очень рано, еще в студенческие его годы. Не случайно последнее, итоговое собрание своих стихотворений (издание 1896 года) он сам, нарушая хронологию, открыл стихотворением «Дорога». Это как бы эпиграф или заставка ко всей романсной лирике Полонского. Здесь уже слышится та надрывная нота, которая потом зазвучит у него с полной силой:

— Ну — ну, живей! . . Долга моя дорога;
Сырая ночь — ни хаты, ни огня. . .
Ямщик поет. В душе опять тревога. . .
Про черный день нет песни у меня! . .

Эта романсная линия в творчестве Полонского представлена в дальнейшем такими характерными стихотворениями, как «Зимний путь» («Ночь холодная мутно глядит Под рогожу кибитки моей. . .»), «Последний разговор» («Соловей поет в затишье сада. . .»), «Затворница» («В одной знакомой улице. . .»), «Ночь» («Отчего я люблю тебя, светлая ночь. . .»), «Песня цыганки» («Мой костер в тумане светит. . .») и «Колокольчик» («Улеглася метелица; путь озарен. . .»).

Тургенев, возражая Щедрину, имел основание говорить об «особом ладе» стихов Полонского, об умении его придавать поэтической речи «особый, оригинальный оборот». Положение это можно было бы проиллюстрировать целым рядом примеров, начиная с самого популярного:

Снится мне: я свеж и молод,
Я влюблен, мечты кипят...
От зари роскошный холод
Проникает в сад.

И кончая таким изысканным образом, как «Шорох знойной тишины», предсказывающим раннего Блока («В этой звучной тишине»).

Все критики, писавшие о Полонском, единодушно отмечали, что в поэзии его очень важное место занимает «сказочный», «волшебный» или «фантастический» «элемент», что стихи его в громадном числе представляют собою визионерскую поэзию грез и сна, тайн и загадок, видений и прозрений. На эту черту поэзии Полонского указывали многие, но только Добролюбов объяснил ее (в рецензии на сборник стихов Полонского 1859 года).

Отметив, что отличительным признаком поэзии Полонского является «задумчивость очень унылая, но не совершенно безотрадная, и томно-фантастический колорит», Добролюбов трактовал это как особую форму протеста против уродливых условий жизни: поэт, «недовольный окружающей действительностью, выразил протест против нее совершенно особенным образом. Он нашел свою особенную действительность, населил ее своими особыми существами, придал им мысли и страсти, заставил их волноваться, радоваться и страдать по-человечески...¹ И в этом фантастическом мире находит он успокоение и отраду от житейской пошлости, угнетения и обмана». И далее Добролюбов делает очень важное и тонкое замечание, освещающее вопрос об «особом ладе» поэзии Полонского. В качестве наиболее характерной черты этой поэзии Добролюбов называет «необычайно чуткую восприимчивость поэта к жизни природы и *внутреннее слияние явлений действительности с образами его фантазии и с порывами его сердца*».²

¹ В данном случае Добролюбов ближайшим образом имел в виду поэму «Кузнечик-музыкант».

² Н. А. Добролюбов. Полное собрание сочинений, т. 2. 1935, стр. 489, 497. Подчеркнуто мной. — В. О.

Здесь — ключ к раскрытию творческого метода Полонского, примененного им в лучших его стихотворениях. «Фантастический элемент» в самом деле, как правило, сливается у него с «реальностью», между «волшебным» и «будничным» нет четких граней, в сонные видения вторгаются прозаические бытовые подробности, или напротив: проза жизни просвечивает отсветами волшебных грез, и в результате сама действительность приобретает в изображении поэта особый колорит. Характерный пример — широко известный «Зимний путь», где в мир житейской прозы (холодная ночь, рогожа кибитки, заунывный колокольчик, волчий вой и т. д.) вторгаются «странные сны», образы староромантических преданий и русских сказок.

Именно на этом пути Полонский обретал ту «смелую простоту выражений» и ту «бессознательную верность рисунка», которые подмечали в его лучших стихах проницательные критики. Таков лирический шедевр Полонского — стихотворение «Колокольчик»:

То вдруг слышится мне, — страстный голос поет,
С колокольчиком дружно звеня...
У меня ли не жизнь! Чуть заря на стекле
Начинает лучами с морозом играть,
Самовар мой кипит на дубовом столе,
И трещит моя печь, озаряя в угле
За цветной занавеской кровать...

То вдруг слышится мне, тот же голос поет,
С колокольчиком грустно звеня:
Где-то старый мой друг? Я боюсь, он войдет
И, ласкаясь, обнимет меня!
Что за жизнь у меня! И тесна, и темна,
И скучна моя горница; дует в окно.
За окошком растет только вишня одна,
Да и та за промерзлым стеклом не видна
И, быть может, погибла давно!..

Между прочим, на эмоциональную силу этого стихотворения обратил внимание Достоевский. В романе «Униженные и оскорбленные» героиня (Наташа) читает наизусть «Колокольчик» Полонского: «Как это хорошо! Какие это мучительные стихи, Ваня! и какая

фантастическая раздающаяся картина. Канва одна и только намечен узор, — вышивай что хочешь... Этот самовар, этот ситцевый занавес — так это все родное...»

Здесь тонко подмечена очень важная и, может быть, самая сильная сторона лирического дарования Полонского — умение нарисовать «раздающуюся картину», содержание которой сам читатель дополняет своим воображением, как бы дорисовывая и развивая образы, созданные поэтом, углубляя подсказанное им настроение. Такие «раздающиеся картины» нередко можно найти в лучших стихах Полонского.

Тонкая и богатая поэзия русской национальной жизни, которую уловила в «Колокольчике» героиня Достоевского, также присутствует во многих стихотворениях Полонского — то в народно-песенных мотивах, то в чертах русского пейзажа.

В «Колокольчике» и в других лучших стихотворениях Полонского отчетливо видна неотъемлемая и отличительная черта его поэзии, а именно — напряженный *драматизм* лирической речи. В этом заметное отличие поэзии Полонского от пластической словесной живописи Фета с ее, как правило, статичными пейзажами, зеркально отражающими душевные состояния лирического героя. Полонский всегда тяготеет не столько к «картине», сколько к лирической «новелле», в основе которой лежит, однако, не просто рассказ о том, «что произошло» с героем, но та или иная драматическая ситуация, в резких столкновениях раскрывающая коллизии душевной жизни героя, взятой в движении, в динамике, в борьбе противоречий.

Прощай! . . О да, прощай! Мне грустно . .
Моих страданий передать
Я не могу тебе изустно,
Я не могу, как раб, молчать.

Мы не привыкли лицемерить, —
Не доверяя ничему,
Мы не хотели слепо верить
Большому сердцу своему . . .

Быть может, — грустное мечтанье! —
На длинном жизненном пути

В час равнодушного свиданья
Мы вспомним грустное *прости*.

Именно в стихах такого рода лирический герой Полонского обретает некоторую самостоятельность: в нем проступают черты *характера* — человека в высшей степени нервного, впечатлительного, чуткого к движениям собственной души, восприимчивого к дуновениям чужих душ. Такие стихи лишней раз свидетельствуют о том, что задача создания типического характера при известных обстоятельствах может быть успешно решена средствами лирического стиха.

Зачастую драматическая ситуация в стихах Полонского предполагает, наряду с героем, также и «героиню». И хотя ей, как правило, не дано отдельного «голоса», все равно в стихах не только создается впечатляющий эффект лирического монолога, обращенного к собеседнице, но и как бы подразумеваются ее ответные реплики:

Соловей поет в затишье сада;
Огоньки потухли за прудом;
Ночь тиха... Ты, может быть, не рада,
Что с тобой остался я вдвоем? ..

Не смущайся! Ни о том, что было;
Ни о том, как мог бы я любить;
Ни о том, как это сердце ныло, —
Я с тобой не стану говорить.

Все это, конечно, не было открытием Полонского. Достаточно вспомнить, что рядом с ним писал Некрасов — великий мастер драматизованной лирической речи. Но Полонский в лучших своих вещах умело и тонко применял подобные приемы и, окружая свои бытовые сюжеты атмосферой «пророческих снов», достигал в этом направлении наибольших художественных удач.

Таково, к примеру, действительно превосходное стихотворение (из самых ранних) — «Пришли и стали тени ночи...». Здесь, в сущности, ни о чем не «рассказано», хотя и разработан глубокий и психологически достоверный лирический сюжет. Но все здесь подчинено закону нюансировки, обо всем говорится лишь

намеком. И «смелый взор» героини, и «небрежная рука» героя, а потом — к исходу свидания — «ее потупленные очи» и уже не «смелость», а «стыдливость», — все эти тонкие и многозначительные детали создают на редкость точную (хотя и «недорисованную») драматическую картину встречи двух душ, двух воле, двух судеб. А мастерская композиция этой стихотворной новеллы, гармоническая соразмерность ее зачина и финала («Пришли и стали тени ночи На страже у моих дверей...» — «Но покачнулись тени ночи, Бегут, шатаясь, назад...») сообщают стихотворению, несмотря на импрессионистическую зыбкость содержания, удивительную законченность и стройность (качество, вообще говоря, для Полонского редкое).

Полонский являет собой пример не очень крупного, но талантливого поэта, с наибольшим успехом разрабатывавшего подчиненные жанры лирической поэзии — романс, песню, элегию. В этой области он бывал и самостоятелен, и оригинален, и даже смел, наряду с Фетом прокладывая новые пути. Недаром так много стихотворений его было положено на музыку, стало популярными романсами, кантатами, хорами. На слова Полонского писали музыку Даргомыжский, Чайковский, Танеев, Рахманинов, Гречанинов и многие другие композиторы. А его «Затворница» и «Песня цыганки» прочно вошли в народный песенный репертуар и поются до сих пор.

Опыт творческой работы Полонского в области интимной лирики не прошел бесследно в истории русской поэзии. Опыт этот учитывали большие поэты, писавшие после Полонского. В частности, заметную роль сыграл Полонский в творческих исканиях Бунина и молодого Блока.



НИКОЛАЙ ПОЛЕВОЙ

И ЕГО

«МОСКОВСКИЙ ТЕЛЕГРАФ»



Заслуги Николая Полевого перед русской литературой велики. Сейчас имя это мало что говорит современному читателю, но в свое время оно было известно всей читающей России. В годы политической реакции, наступившей после поражения декабристов, журнал Полевого «Московский телеграф» (издававшийся с 1825 по 1834 год) был проводником передовой, независимой общественной мысли и средоточием лучших литературных сил эпохи.

С величайшей страстью и самоотверженностью Николай Полевой служил делу просвещения русского народа. Деятельность его с самого начала привлекала настороженное внимание царского правительства. Громкий успех и влияние передового писателя и журналиста вызвали жестокие цензурные и полицейские гонения. В 1834 году, придравшись к случайному поводу, правительство запретило «Московский телеграф», и вся дальнейшая жизнь Полевого являет собою грустную картину нравственных мучений и медленного угасания замечательного культурного деятеля в варварских условиях николаевского режима.

Гибель «Московского телеграфа» и крушение личной судьбы в значительной мере сломили Николая Полевого. Он пошел на примирение с теми, кто его гнал и преследовал. Но роль, которую сыграл Полевой в лучшую пору своей деятельности, была столь значительной, что, говоря о нем, не хочется вспоминать об его грустном закате. Напомним слова В. Г. Белинского: «Заслуги Полевого так велики, что при мысли о них нет ни охоты, ни силы распространяться об его ошибках».

В свое время Николай Полевой был в России, конечно, самым влиятельным идеологом «третьего сословия» — поднимавшейся из классового небытия русской промышленной буржуазии. В этом, в основном, и заключается исторический смысл деятельности Полевого. На эпохальное значение этой деятельности указал тот же Белинский, в понимании которого Полевой был «лицом историческим» и стоял в одном ряду с Ломоносовым и Карамзиным, поскольку «каждый из них оказал свое влияние на литературу своим особенным образом, сообразно с обстоятельствами и требованиями своего времени».

1

Поражение декабристов — рубеж в социально-политической и культурной истории России. В условиях жестокой реакции, в обстановке открытого полицейского террора весь процесс культурного и, в частности, литературного развития принял новые формы и отчасти даже новое направление. При этом самый центр культурной, интеллектуальной жизни явным образом переместился из Петербурга в Москву — из столичных салонов и «вольных обществ», составлявших широкую периферию декабристского подполья, в московские кружки ученой дворянской молодежи и примыкавших к ней ранних представителей нарождавшейся демократической, «третьесословной» интеллигенции. Очень заметную роль играет в это время Московский университет. Несмотря на победу реакции, несмотря на все полицейские гонения, воздвигнутые царизмом на сво-

бодную мысль, Московский университет переживал эпоху расцвета: из его стен выходили, в большинстве своем, молодые люди, объединявшиеся в философские и литературные кружки второй половины двадцатых и начала тридцатых годов (кружок Раича, «Общество любомудрия», кружок «Московского наблюдателя»).

Обстановка, сложившаяся после разгрома движения дворянских революционеров, способствовала тому, что передовая молодежь этого времени стремилась переключить волновавшие ее реальные общественно-политические противоречия эпохи в, казалось бы, мирную, отвлеченно-умозрительную сферу немецкой идеалистической философии. Однако бдительное правительство Николая I и в московских шеллингианцах и «гегелистах» видело прямых наследников петербургских мятежников 14 декабря и искало в их затяжных спорах по вопросам философии и искусства прикровенное выражение политической оппозиционности.

С другой стороны, в Москве был еще жив дух стародворянской фронды. Правительство заодно и ее представителей записало в «либералы». Недаром в Зимнем дворце столь внимательно прислушивались к суждениям и осуждениям, раздававшимся с трибун московских великосветских салонов и Английского клуба.

В официальных кругах, особенно же в Третьем отделении, обычным было противопоставление в этом смысле Петербурга и Москвы. Там любили указывать на Москву как на рассадник отечественного «якобинства», как на гнездо некоей «либеральной шайки», распространяющей особо неблагонамеренный «московский дух, совершенно противный петербургскому». Так, например, шеф жандармов Бенкендорф в своих «всеподданнейших» отчетах о «состоянии умов» неоднократно обращал внимание Николая I на созданную его собственным воображением московскую «партию так называемых русских патриотов, столпом коих является Мордвинов». В 1827 году Бенкендорф докладывал: «Партия русских патриотов очень сильна числом своих приверженцев. Центр их находится в Москве. Все старые сановники, праздная знать и полуобразованная молодежь следуют направлению, кото-

рое указывается им их клубом через Петербург. Там они критикуют все шаги правительства, выбор всех лиц, там раздаётся ропот на немцев, там с пафосом повторяются предложения Мордвинова, его речи и слова их кумира — Ермолова. Это самая опасная часть общества, за которой надлежит иметь постоянное и возможно более тщательное наблюдение»:

Именно здесь, в этой «самой гангренозной части империи», Бенкендорф усматривал «зародыши якобинства и реформаторский дух, прикрывающиеся маской русского патриотизма». Особую опасность Бенкендорф видел в том, что высшее московское общество «лишено всякого морального авторитета» и что поэтому «общественное мнение исходит из кругов средних классов». В частности, среди купечества «тоже встречаются русские патриоты, придерживающиеся идей Мордвинова и его сторонников», и «молодежь этого класса... поставляет недовольных».¹

Не приходится удивляться, что во главе «недовольных» Бенкендорф поставил признанных вождей дворянской фронды — адмирала Н. С. Мордвинова и прославленного героя Отечественной войны А. П. Ермолова, только что смещенного царем с поста «проконсула Кавказа». Оба они намечались декабристами в состав Временного правительства, которое было бы создано в случае успеха восстания. И хотя фактически ни Мордвинов, ни Ермолов не имели никакого прямого отношения к действительно оппозиционным общественным силам, созревавшим в это время, упоминание этих влиятельных и популярных деятелей весьма знаменательно: тем самым Бенкендорф связывал общественное брожение конца двадцатых годов с декабризмом. Любопытно, что Н. С. Мордвинов (как и другие «русские патриоты») фигурирует в качестве покровителя Николая Полевого в анонимном доносе, поданном в Третье отделение в том же 1827 году (мы еще коснемся этого доноса, автором которого был, по видимому, Булгарин).

¹ «Гр. А. Х. Бенкендорф о России в 1827—1830 гг.» («Краткий обзор общественного мнения за 1827 г.»). — «Красный архив», 1929, т. 37, стр. 143—145, 148—150.

Итак, в глазах царя и его камарильи Москва была городом неблагонадежным. Другое важное обстоятельство заключается в том, что к концу двадцатых годов Москва уже превратилась во всероссийский центр фабричной промышленности, в метрополию отечественной буржуазии. «В нынешнем состоянии своем Москва более всего есть город промышленный и торговый, город среднего сословия», — утверждал Николай Полевой в «Московском телеграфе». ¹ Если раньше Москва «была в мнении многих городом бояр русских», то ныне в ней «могущественно и сильно среднее сословие, которое имеет 5000 фабрик и делает Москву деятельным, великим городом». ² Пушкин в свою очередь писал (в 1833 году), что «Москва, утратившая свой блеск аристократический, процветает в других отношениях: промышленность, сильно покровительствуемая, в ней оживилась и развилась с необыкновенною силою. Купечество богатеет и начинает селиться в палатах, покидаемых дворянством. С другой стороны, просвещение любит город, где Шувалов основал университет по предначертанию Ломоносова. Московская словесность выше петербургской. Литераторы петербургские по большей части не литераторы, но предприимчивые и смысленные литературные откупщики. Ученость, любовь к искусству и талантам неоспоримо на стороне Москвы. Московский журнализм убьет журнализм петербургский. Московская критика с честью отличается от петербургской...» и т. д. («Путешествие из Москвы в Петербург»).

Нет нужды подкреплять замечания Пушкина дополнительными данными о промышленном и культурном подъеме Москвы в двадцатые — тридцатые годы. Повторим только по непосредственно интересующему нас вопросу, что в области «журнализма» Москва после 1825 года занимала бесспорно первенствующее положение. Петербургской журналистике, представленной, в сущности, лишь официозной, продажной «Северной пчелой» и преждевременно одряхлевшим

¹ «Московский телеграф», 1832, ч. 44, стр. 258.

² Там же, 1830, ч. 34, стр. 566—567.

«Сыном отечества», Москва могла противопоставить длинный ряд журналов, сыгравших очень заметную роль в истории русской общественной мысли и литературы: «Московский телеграф», «Московский вестник», «Атеней», «Телескоп», «Европеец», «Московский наблюдатель». Только с основанием «Библиотеки для чтения» (1834) и особенно «Отечественных записок» (1839) начинается эпоха реконструкции петербургского «журнализма».

В Москве двадцатых — тридцатых годов с ее университетом, кружками, журналами и пятью тысячами фабрик жил и с замечательной энергией «действовал» (как любили тогда говорить) Николай Алексеевич Полевой — купеческий сын, самоучка, литератор, издатель лучшего в ту пору русского журнала.

2

Полевой вошел в историю русской литературы как «купец-литератор». Купеческое происхождение Полевого неизменно подчеркивалось как его современниками, так и всеми, кто впоследствии писал об издателе «Московского телеграфа». Подчеркивал это и сам Полевой. «Я сам купец, — писал он, — и горжусь, что принадлежу к сему почтенному званию, которое, уступая, может быть, другим в образовании, конечно, не уступит никому в желании добра отечеству, в деятельной ревности к просвещению, и помнит, что из среды его вышел бессмертный мясник нижегородский!»¹ Упоминание в этой тираде Кузьмы Минина в высшей степени знаменательно: Полевой не упускал случая напомнить о заслугах купечества в деле «устроения» русского государства.

Между тем сословное происхождение Полевого само по себе еще ничего не объясняет в его деятельности: мало ли лиц купеческого происхождения действовало в литературе и до Полевого и после него. Оно, в свою очередь, нуждается в истолковании. При этом важно учесть своеобразие той среды, в которой

¹ «Московский телеграф», 1829, ч. 29, стр. 362.

вырос Полевой, в которой сложились его первоначальные взгляды и мнения.

Среда Полевого до его появления в литературе — это преимущественно провинциальное купечество (Иркутск, Курск), то есть как будто наиболее косное, консервативное, отсталое и в политическом и в культурном отношении. Однако русское купечество начала XIX столетия вовсе не представляло собою некоей монолитной массы, единой по составу, идеологии и культурному обиходу. При ближайшем рассмотрении выясняется, что бытовым окружением молодого Полевого была особая, очень узкая группа, выделившаяся из общей купеческой массы еще во второй половине XVIII века, — группа относительно передовая и просвещенная.

Если мы обратимся к истории купеческого рода Полевых, то увидим, что все его представители на протяжении XVIII века как бы перерастали свой класс. Им было тесно в узких рамках сословной ограниченности. Род Полевых — старинный посадский род, именитый и состоятельный. Это своего рода купеческая аристократия, гордая предками, имеющая фамильные предания. Николай Алексеевич Полевой уже мог бы нарисовать свое генеалогическое древо¹ и пересказать историю своей семьи. Он и сделал это — с чувством величайшего достоинства — в предисловии к «Очеркам русской литературы» (1839).

Предки Полевого — и отец, и дед, и прадед — проектеры и предприниматели, люди большого дела и широкого размаха. Дух предприимчивости и даже своего рода торгового конквистадорства отличает деятельность почти каждого из них. Все они — поистине героические разведчики русского капитала, Колумбы дальневосточных рынков, ищущие удачи (а подчас и погибающие) то в Персии, то на Камчатке, а то и в Америке.

Род Полевых был не только именитым, но и богатым. Прадед Николая Алексеевича владел каменной

¹ Две грамоты рода Полевых опубликованы в «Известиях русского генеалогического общества», 1903, вып. 2, стр. 46—49.

«палаткой» для хранения товаров, которые он вывозил из Персии. А таких «палаток» в Курске было всего две. Правда, к концу XVIII столетия род Полевых начинает клониться к упадку. В дальнейшем дела семьи пришли в полное расстройство, так что отца Николая Алексеевича уже посылали торговать мелочью на курском базаре. От знаменитой в летописях Курска каменной палатки осталась одна память — «невещественный капитал», говоря словами самого Полевого.

Но разорение не смирило Полевых. Отец Николая Алексеевича был человеком неугомонным. От азиатской торговли он кидался к чисто промышленным (по большей части совершенно фантастическим) предприятиям — фарфоровому производству, «выделке морских котов», «выделке рома из арбузов» и, наконец, к винокурению. В результате он окончательно разорился, и знаменитый сын его вступил в жизнь почти нищим, без систематического образования, без связей в обществе.¹

Полевой рос не только в атмосфере семейных преданий о по-своему «героических» похождениях деда и дяди в Америке и на Камчатке, но и в очень своеобразной культурно-бытовой обстановке. Род Полевых был не только именитым и богатым, но и достаточно, по тем временам, просвещенным. Уже прадед Николая Алексеевича славился в Курске как начетчик, знаток духовных книг, и расписывался «четкими, кудрявыми буквами на купчей курского магистрата». Отец же постоянно читал все выходившие в ту пору русские газеты и журналы и с увлечением предавался спорам

¹ Н. А. Полевой унаследовал от отца небольшой водочный завод, некоторое время занимался им и даже расширил производство (сообща с поэтом В. С. Филимоновым), но вскоре передал его в управление брата (Евсевия Алексеевича). Заводом этим нещадно корили Полевого все его литературные недруги. Вопросами винокурения и откупной политики Полевой интересовался и впоследствии; известна его записка «О продаже хлебного вина в Российской империи: историческое обозрение продажи хлебного вина, откупная система и ее невыгоды, новая система и ее выгоды...» и т. д. (см.: «Архив министерства государственных имуществ». I. «Систематическая опись делам б. V отделения собств. е. и. в. канцелярии. 1824—1856». СПб., 1887, стр. 46).

на политические и религиозно-философские темы, причем обычными собеседниками его были крупные губернские чиновники, вплоть до самого губернатора. Его круг — и родственный, и дружеский — это наиболее просвещенная верхушка именованного курского купечества — Голиковы, Баушевы. А по службе своей в известной Российско-Американской компании отец Полевого также примыкал к наиболее передовому купеческому кругу (Голиков, Шелихов, Хлебников и др.), тесно связанному с иностранным капиталом и с отечественным капитализирующимся дворянством.

В Иркутске, где Полевой родился (в 1796 году) и провел ранние детские годы, отец его, как передают современники, резко выделялся из круга купечества, мещанства и мелкого чиновничества благодаря своей начитанности и острому уму. При этом следует учесть, что иркутское купечество в целом отличалось несравненно более культурным и независимым, нежели у великорусских тит-титычей, бытом. Так, например, в «Записках иркутского жителя» И. Т. Калашникова читаем: «Самостоятельность... особенно проявлялась в сословии купцов, составлявших аристократию Иркутска. Замечательно, что среди них не было ни одного раскольника; все они брили бороды и носили фраки. Гордость их нередко доходила до дерзости; главнейшие из них не ломали, как говорится, шапки и перед главными начальниками... В городе, где не было дворянства, кроме бедных и безгласных чиновников, купеческое общество одно составляло некоторый оплот самоуправству и беззаконию». Там же Калашников, характеризуя Полевого-отца как человека «весьма умного и честного», вспоминает, что о сыновьях его Николае и Ксенофонте «и тогда говорили с большой похвалою», а о старшей его дочери (впоследствии довольно известной писательнице Е. А. Авдеевой) пишет: «Я был удивлен ее познаниями. Она прекрасно говорила и вела политический разговор о тогдешнем положении Европы, о чем иркутские дамы, за немногими исключениями, и помышлять боялись».¹

¹ «Русская старина», 1905, т. 123, № 1, стр. 200—201.

Естественно, что в такой обстановке Николай Полевой уже мальчиком мог проникнуться бóльшим уважением к своему сословию, нежели какой-нибудь «купеческий сын» в какой-нибудь Чухломе, где любой городничий невозбранно жал в кулак бесправных и безгласных «самоварников» и «аршинников».

Книга, журнал, газета были обязательными предметами домашнего обихода в семье Полевых. Мать Николая Алексеевича — женщина тихая и мечтательная, «сама безотчетная героиня романа своей жизни» (по словам Кс. Полевого) — зачитывалась модными романами Ричардсона, мадам Жанлис и Дюкре-Дюмениля, жила в «романическом мире». Круг чтения молодого Полевого достаточно широк, хотя и весьма хаотичен. Мальчиком, в Иркутске, читал он Библию и французские романы, путешествия Ансона и Кука и голиковские «Деяния Петра Великого», сочинения Боссюэта и Фонтенеля, стихи Ломоносова, Сумарокова и Хераскова, прозу Карамзина и сентиментальные драмы Коцебу, романы Монтолье и Лафонтена, «Московские ведомости» и «Вестник Европы», серьезный «Политический журнал» и пустяковый «Московский Меркурий», короче — все, что попадалось под руку.

Столь разностороннее чтение, по-видимому, определило протезизм детского творчества Полевого. В Иркутске он пишет и стихи, и художественную и историческую прозу, составляет географические описания, издает домашний журнал и домашнюю газету. «С детства он уже был писатель и жил душою и умом в литературном мире», — говорит брат его Ксенофонт Алексеевич, «Записки» которого служат основным источником для биографии Николая Полевого и истории «Московского телеграфа».

Важно учесть не только круг чтения и вообще интеллектуальных интересов молодого Полевого, но также и те непосредственные, живые идейные воздействия, которые испытал он в детстве, отрочестве и юности. Уже самые ранние впечатления Полевого слагались в своеобразных условиях восточно-сибирского общественного быта. Сибирь — эта русская Америка — не знала крепостного права; русское население

пользовалось здесь относительно большей, нежели в коренной России, гражданской свободой. Здесь веял дух независимости, известного своевольтва. По-видимому, и в родительском доме Полевого окружала атмосфера своеобразного «вольнолюбия»; во всяком случае, в отце его современники подмечали «наклонность к тому, чему тогда не было еще имени и что ныне называют либерализмом».¹

Существенную роль в духовном развитии Полевого сыграло общение его с целым рядом примечательных людей. В культурной жизни Иркутска в начале XIX века заметно сказалось влияние проживавших там политических ссыльных. Среди учителей Полевого был поляк Горский — по-видимому, участник одной из антирусских конфедераций, действовавших в екатерининское время. Не приходится сомневаться, что уже самый факт гражданского положения политического ссыльного — патриота и свободолюбца, павшего жертвой «тирании», — не мог не произвести глубокого впечатления на чуткого и любознательного мальчика. Легко предположить, что из рассказов своего учителя, отличавшегося «хоршей образованностью», Полевой мог познакомиться со злосчастной и героической историей борьбы Польши за свою независимость, с республиканскими идеями, воодушевлявшими польских патриотов во времена Пулавского и Костюшки.

Еще до встречи с Горским Полевой познакомился в Иркутске с бывшим князем Василием Николаевичем Горчаковым. Это был человек феерической судьбы. Блестящий аристократ, родственник Суворова, флигель-адъютант, генерал-майор, русский комиссар при лидере французских роялистов принце Конде, любимец Павла I, он «вел жизнь миллионера, словом — был на дороге, чтобы сделаться могуществом первого разряда».² Но в 1802 году его постигла катастрофа: он был судим за мошенничество и приговорен к ссылке в Сибирь, с лишением всех прав состояния и с конфи-

¹ Ф. Вигель. Записки, т. 1. М., 1928, стр. 253.

² Д. П. Рунич. Записки. — «Русское обозрение», 1890, № 8, стр. 675.

скацией всего имущества. Поселенный под Иркутском, в селе Тунке, Горчаков выучился монгольскому языку, приобрел доверие бурят. Иркутяне «принимали его с ласкою» и запомнили как «человека весьма остроумного и мастера говорить».¹ Горчаков принимал деятельное участие в культурной жизни Иркутска и, между прочим, устроил там первый театр.

В дальнейшем, в Курске (куда семья Полевых переехала в 1811 году), Полевой тоже вращался в кругу просвещенных людей. У него здесь были «отменные» друзья и покровители. Он служил конторщиком в богатом купеческом доме Баушевых. Глава дома — «купец званием, но по образу жизни и обращению похожий на германского барона и вообще человек чрезвычайно оригинальный» (Кс. Полевой) — вел обширные дела с Лейпцигом и Бреславлем. В доме говорили не по-русски, а по-немецки и читали иностранную литературу; здесь Полевой учился французскому, немецкому и латинскому языкам.

Первое выступление Полевого в печати (в 1817 году) открыло ему доступ в губернаторский дом. Курский губернатор А. С. Кожухов не отказался от льстившей ему роли губернского мецената. Через Кожухова Полевой вошел в знакомство с людьми, составлявшими верхушку местного общества, между прочим — с известным архиепископом Евгением Болховитиновым, автором «Словаря русских писателей».

У Полевого нашлись весьма влиятельные «просвещенные покровители». Один из них — «богатейший из курских помещиков» П. А. Анненков, отставной кавалергардский полковник, «столько же любезный светский человек, сколько роскошный русский барин». Второй — князь В. П. Мещерский, человек вполне передовых взглядов и самых разнообразных дарований, знаток литературы и театра и сам поэт и актер-любитель (учитель М. С. Щепкина, который утверждал, что Мещерский «первый в России заговорил на сцене просто»). Он познакомил Полевого с теорией искусства,

¹ И. Т. К а л а ш н и к о в. Записки. — «Русская старина», 1905, т. 123, № 7, стр. 211.

(по Буало и Баттё), учил его латыни и вообще руководил его филологическими занятиями. Третьим уже не столько покровителем и наставником, сколько просвещенным другом Полевого был А. Ф. Раевский — поэт и прозаик, брат известного «первого декабриста» Владимира Раевского. Он рано умер (в 1822 году); Полевым посвятил ему прочувствованную некрологическую статью «Память доброму другу»,¹ из которой видно, что их связывали близкие отношения.

Появление Полевого в литературе совпало со временем массового увлечения «русскими самородками» и самоучками, охватившего дворянское общество после Отечественной войны 1812—1814 годов. В ходе войны столь очевидно и впечатляюще проявилась духовная сила народа, его самосознание и самодеятельность, что даже реакционно настроенные деятели и писатели сочли за благо обратиться к данной теме в своих интересах. «Ободрение» юных талантов из низших сословий, барское меценатство стали очередной литературной модой. Журнал П. П. Свиньина «Отечественные записки» выступил присяжным глашатаем этой моды: здесь из номера в номер печатались сенсационные сообщения о новооткрытых «русских самородках» — поэтах, живописцах, механиках, химиках, астрономах и т. д. От «Отечественных записок» не отставал и «Русский вестник», издававшийся квасным патриотом С. Н. Глинкой. Именно здесь, в «Русском вестнике», и выступил впервые Николай Полевым — с довольно нескладной прозой и еще более нескладными стихами.²

Официальные учреждения — Академия наук, Российская академия, различные «вольные» ученые и литературные общества охотно награждали «самородков» дипломами, медалями и кафтанами и выбирали их в состав своих членов-соперников. Естественно, что и Полевым был сразу же объявлен «самородком», купцом-самоучкой, и с таким титулом вошел в литературу, благополучно миновав таможенные заставы

¹ «Отечественные записки», 1822, ч. 10, № 24 (за подписью: Н. П.).

² «Русский вестник», 1817, №№ 7—8, 15—16, 19—20.

кружковой и академической критики. В числе литературных протекторов Полевого был, между прочим, и Свиньин, действительно оказавший ему существенную поддержку в самом начале его литературно-журнальной деятельности.

Однако Полевой не пожелал удовольствоваться скромной ролью ободренного «самородка», провинциального корреспондента столичных журналов. Он быстро освоился в литературной среде и повел себя в высшей степени самостоятельно и решительно. На этот раз меценаты и покровители здорово просчитались, «пригрев змею на своей груди» (именно таков был смысл позднейших высказываний о Полевом все того же Свиньи́на). Строптивный купчик не только не стал почтительно прислушиваться к голосам «господ литераторов», но открыто объявил им беспощадную войну и, что было особенно парадоксально, выходил в этой войне очевидным победителем.

Через какие-нибудь пять лет после появления Полевого в литературном салоне Свиньи́на об этом «самородке» распевали злобные водевильные куплеты: «Купцы полезли на Парнас...». И он, действительно, не «всходил», а «лез» на русский Парнас, силой расчищая себе дорогу, под свист и улюлюканье «господ литераторов».

3

Смысл смелого выступления Николая Полевого на литературно-журнальном поприще заключается в том, что новая (и достаточно крупная) литературная сила слишком явно обнаружила себя как новая *социальная* сила. Именно в этом была необычность положения Полевого, именно это прежде всего учитывали его современники, именно этим объясняется тот небывало враждебный прием, который встретил он у большинства литераторов и журналистов и который нельзя назвать иначе как злобной травлей.

Полемика, разгоревшаяся вокруг Полевого по всему фронту русской журналистики, с самого начала приняла формы литературного скандала, беспреце-

дентного по запальчивости тона. Внешним образом дело сводилось, по большей части, ко всякого рода мелким придиркам, к раздуванию ничтожных ошибок Полевого, но смысл полемики был значительно глубже. Журнальные критики и фельетонисты, стоявшие на страже литературной законности, порядка и иерархии, догадались, что деятельность Полевого не есть просто литературный бунт, но нечто большее и новое — бунт социальный, антидворянская оппозиция в литературе.

Крупную роль играл в разгоревшейся полемике вопрос о политической репутации Полевого. Современники (причем стоявшие зачастую на совершенно различных позициях), как правило, видели в издателе «Московского телеграфа» проводника идей крайнего политического радикализма. Один из главных вдохновителей николаевской реакции, министр народного просвещения Уваров, полагал, что Полевой на страницах своего журнала выражал «дух декабризма». Анонимные агенты Третьего отделения именовали его «атаманом» московской «либеральной шайки». Репутация вольнодумца так плотно пристала к Полевому, что и Пушкин, в свою очередь, видел в деятельности его открытую «проповедь якобинизма перед носом правительства».

Между тем Полевой, конечно, не был никаким «якобинцем», равно как и не имел никаких точек соприкосновения с русской революционной демократией, уже формировавшейся в его время. Характерно, что, соглашаясь с оценкой французской буржуазной революции XVIII века как романтического, «безмерного и векового» события всемирной истории,¹ Полевой решительно не принимал ее «якобинское» содержание, резко осуждая «тех парижан», которые «с трехцветною кокардою на шляпе брали Бастилию в 1789 году». Так же органически чуждыми остались ему идеи раннего социализма, с провозвестниками которых (Белинским, Герценом и др.) столкнулся он в конце тридцатых годов. Герцен говорит о Полевом в «Былом и

¹ «Московский телеграф», 1831, ч. 37, стр. 29.

думах»: «Для нас сен-симонизм был откровением, для него — безумием, пустой утопией, мешающей гражданскому развитию».

Полевой в своей деятельности не воспринял и не развил «якобинскую» традицию Радищева и дворянских революционеров (хотя с умеренными декабристами в случае их победы он, вероятно, нашел бы общий язык). Он прошел мимо утопического социализма с его критикой буржуазного строя. Он не принял ни материалистической философии, ни гегелевской диалектики. И тем не менее он сыграл очень значительную и несомненно прогрессивную роль в истории русской общественной мысли и литературы.

Социально-политические убеждения Николая Полевого носили демократический и радикальный характер, но на них лежала неизгладимая печать буржуазной ограниченности и умеренности. В отличие от дворянских революционеров — наиболее решительных и последовательных участников декабристского движения, — Полевой даже в лучшую пору своей деятельности, в годы издания «Московского телеграфа», не думал о *коренных* общественно-политических преобразованиях в России, искренне полагая, что для этого «еще не настало время» (Кс. Полевой).

Социально-политические чаяния Полевого не шли дальше буржуазно-дворянской конституционной монархии, «твердые законы» которой обеспечивали бы свободное развитие «средних классов» общества. Почвой, на которой сложились взгляды Полевого, был «трезвый» радикализм французской буржуазии эпохи Реставрации и июльской монархии. Идеи этого радикализма он всячески превозносил и пропагандировал. Известную роль в формировании взглядов Полевого сыграло также увлечение его национально-освободительным движением в странах Латинской Америки и в Северо-Американских Штатах. Он буквально упивался и героической эпопеей Боливара, и деятельностью Вашингтона, и публицистикой доктринеров, и парламентским красноречием Бенжамена Констана, и картиной борьбы классов, развернутой в исторических трудах Тьерри, Гизо и Минье, поскольку все это знамено-

вало победу буржуазии над силами международной реакции времени Венского конгресса и Священного союза, — победу, которая, кстати сказать, уже в этот период была подозрительно похожа на сделку.

В страстной и последовательной защите «средних классов», в борьбе за расширение их прав и влияния и сказалась прогрессивная роль Полевого в истории русской общественной мысли и литературы. Именно Полевой, говоря словами Герцена, «начал демократизировать русскую литературу, он заставил ее сойти с ее аристократических высот и сделал ее более народной или, по крайней мере, более буржуазной». В этих немногих словах с достаточной глубиной раскрыт исторический смысл деятельности Полевого и отмечены ее сильная и слабая стороны: и демократизм идейных воззрений издателя «Московского телеграфа», и буржуазная ограниченность этого демократизма.

Полевой был типичным буржуазным просветителем, энергично борющимся за экономический и культурный подъем в отсталой крепостнической России. Он был непримиримым противником всего, что этому подъему препятствовало. Он смело критиковал отжившие формы феодально-крепостнического строя и его идеологию, резко выступал против сословно-классовых привилегий дворянства. В. Г. Белинский, посвятивший Полевому после его смерти целую брошюру, назвал его «смелым, неутомимым, даровитым бойцом», которого воодушевляла «мысль о необходимости умственного движения, о необходимости следовать за успехами, улучшаться, идти вперед, избегать неподвижности и застоя».

Тем самым пропаганда, которую вел Полевой на страницах «Московского телеграфа», воспринималась реакционерами различных мастей и оттенков как нечто крайне законопреступное, подрывающее основы режима. На самом же деле никаких основ Полевой не подрывал. Он был убежденным буржуазным идеологом и в своей деятельности не вышел за рамки этой умеренной и аккуратной идеологии. В этой связи нужно хотя бы в общих чертах охарактеризовать программу действий русского «третьего сословия», как сложилась она в то время, когда действовал Полевой.

В двух словах программа эта сводилась к следующему: против гегемонии дворянства в национальной жизни, но за твердую власть царя, способную обеспечить свободное развитие и судьбу всех классов общества. К исходу первой четверти XIX века Россия, несмотря на многократные попытки самодержавия освоить принципы буржуазной экономической политики, оставалась крепостнической страной, в которой класс-гегемон, класс дворян-землевладельцев сохранял в своих руках всю полноту политической власти и ревниво оберегал свои исключительные права. Вместе с тем буржуазия, уже достигшая к тому времени заметных успехов в области чисто экономической, начинала все громче, все требовательнее заявлять о своих правах.

Декабристы в своих размышлениях о положении России недаром настойчиво твердили о тяжелом социально-правовом состоянии русского купечества. Пестель в «Русской правде» отмечал, что в «постановлениях о купечестве обретаются большие несправедливости, противоречия и злоупотребления, гибель торговле наносящие». Александр Бестужев подробно останавливался на причинах «недовольства» купечества. Оно, «стесненное гильдиями и затрудненное в путях доставки, потерпело важный урон с 1812 года. Многие колоссальные фортуны погибли, другие расстроились... Шаткость тарифа привела в нищету многих фабрикантов, испугала других и вывела правительство наше из веры равно у своих, как и у чужеземных negociантов». Г. С. Батеньков, посещая петербургские купеческие дома, вынес впечатление, что «этот класс вообще недоволен стеснительными для торговли постановлениями».¹ В сводной записке, составленной для Николая I из писем и показаний декабристов, сказано было, что «купечество находится в угнетенном положении» и что необходимо взять под защиту закона «добродетельных, но бедных купцов».²

¹ Сводку данных по этому вопросу см.: В. И. Семевский. Политические и общественные идеи декабристов. СПб., 1909, стр. 98—99.

² См.: «Русская старина», 1898, т. 96, № 11, стр. 358—359, 360.

Однако при всем своем «недовольстве» купечество вело себя смиренно. Своеобразие русского исторического процесса заключалось в том, что буржуазия в России и не помышляла о каком-либо открытом столкновении с самодержавием, но призывала его к сотрудничеству, старалась мирным путем обеспечить свое будущее. Молодому русскому капитализму нужно было закрепить свои успехи, преодолеть сопротивление устаревших форм экономического быта, обеспечить себя от невыгодной конкуренции с несравненно более мощным торгово-промышленным капиталом Запада. Практически речь шла о правовых гарантиях, некоторых сословных привилегиях и главным образом о протекционистском тарифе и если не полной отмене, то хотя бы, на первых порах, серьезном ограничении крепостного права, поскольку оно оставалось непреходимой преградой на пути промышленного развития страны.

В то же время русскую буржуазию привлекал твердый («петровский») характер государственной власти при новом царе — Николае I. Буржуазия видела в царизме силу, способную защитить ее интересы на международной арене. Завоевательная политика царизма тоже привлекала буржуазию: войны с Турцией и Персией открывали новые обширные рынки. И, наконец, буржуазии льстило, что Николай I, после 14 декабря навсегда заразившийся недоверием к образованному дворянству, готов был «ласкать» купечество, демонстративно восхваляя его верность «отечеству, престолу и алтарю».

При Николае в отношениях царизма и отечественной буржуазии действительно произошли известные сдвиги. С первых же дней его царствования предпринимается ряд мер по обеспечению успехов промышленного развития России. Вместе с тем разрабатывается новый «закон о состояниях», долженствующий укрепить правовое положение купечества.¹

¹ См.: П. И в а н о в. Обзорение прав и обязанностей российского купечества и вообще всего среднего сословия. СПб., 1826. Здесь подведены некоторые итоги реформы гражданского законодательства в отношении «средних классов».

До нас дошел интересный документ, датированный 1823 годом. Это обширная записка, под заглавием: «Начертание представления московского купеческого общества о причинах упадка торговли и купеческих капиталов в России и о средствах к поправлению оных». ¹ Есть серьезные основания полагать, что Николай Полевой принимал участие в составлении этого документа. В одном из многочисленных доносов на Полевого безымянный осведомитель (по-видимому, Булгарин) ссылается, между прочим, на какое-то «мнение» московской купеческой общины, поданное министру финансов в конце царствования Александра I и якобы «сочиненное Николаем Полевым». ² «Начертание», о котором пойдет речь, было составлено в октябре 1823 года, 2 ноября доложено в собрании купеческой общины, а вслед за тем представлено московскому генерал-губернатору с просьбой передать выше — сперва министру финансов, затем царю (документ был получен министром финансов Канкриным в первой половине 1824 года). Среди лиц, подписавших «Начертание», Полевого нет; однако возможность привлечения молодого, но просвещенного и владеющего пером купца к составлению столь ответственного, программного документа, конечно, не исключена. Но даже если это не так, «Начертание» в своих принципиальных положениях целиком отвечает экономическим и социальным взглядам Полевого, поскольку они выявлены в его собственных публицистических выступлениях.

Главное и основное в «Начертании» — пропаганда идей экономического протекционизма. Здесь утверждалось, что свободный импорт наносит непоправимый вред отечественной промышленности, причем указывалось, как на положительный пример, на покровительственную систему, действовавшую в петровское время. В «Начертании» подробно исчислены «тяжелые последствия» фритредерского тарифа 1819 года, при-

¹ «История московского купеческого общества», т. 2, вып. 1. М., 1916, стр. 290—329.

² М. Сухомлинов. Исследования и статьи по русской литературе и просвещению, т. 2, СПб., 1889, стр. 387.

остановившего рост купеческой фабрики и уничтожившего многие капиталы. Покровительственный тариф 1822 года хотя и открывает более широкие перспективы для отечественной промышленности, но «неизвестность в прочности торговых постановлений» внушает купечеству самые серьезные опасения и «отвращает» его от фабрично-заводского строительства и усовершенствования материальной базы машинного производства. Короче говоря, московские купцы предлагали правительству подкрепить его протекционистскую политику более надежным законоположением.

Именно это составляло смысл и пафос деятельности идеологов русской буржуазии двадцатых — тридцатых годов. И поскольку правительство в известной мере шло навстречу интересам «среднего класса», буржуазные идеологи приветствовали это. Через несколько лет после того, как московские купцы направили царю свое «Начертание представления», неизвестный нам автор введения к «Описанию первой публичной выставки российских мануфактурных изделий» (1829) уже восхвалял «здравую политику» правительства, которая обеспечила успехи «домашней промышленности», оградила ее от «иностранный соперничества» и сохранила для нее «внутренние рынки».

Так складывалась позиция буржуазных идеологов. Она предусматривала выгоды политического альянса с самодержавием, но в то же время допускала открытую борьбу с тем классом, который все еще оставался оплотом самодержавия и безраздельно господствовал в общественной и культурной жизни страны. Говоря о Николае Полевом, нельзя не учитывать своеобразия этой позиции.

4

Не будет преувеличением сказать, что в ряду защитников прав и привилегий русского «третьего сословия» в начале XIX века Полевому принадлежит первое место. С исключительной настойчивостью и последовательностью доказывал он, что «деятельная промышленность и возвышение производителей средних

званий есть шаг к прочному благоденствию государства» и что «купеческое звание стоит в ряду других званий российского гражданства как почетное и заслуживающее уважение в глазах истинно просвещенного человека и сына отечества». Вся публицистика Полевого в годы издания «Московского телеграфа» в конечном счете сводится ко всестороннему обоснованию идеи органической связи и взаимодействия свободного капиталистического развития и культурного подъема, «промышленности» и «просвещения». *«Благосостояние государства является только тогда, — писали в «Московском телеграфе», — когда все физические способности государства живы и деятельны; для сей жизни, для сей деятельности должны быть возбуждены душевные или умственные средства.* Не остается более сомнений, что только при соединении *вещественного и невещественного* капиталов государство является в полноте народного бытия. Признаком достижения к сей полноте со стороны вещественной бывает *промышленность*, со стороны умственной — *литература*... С тех пор как промышленность явила свои действия, сила ума показала решительное превосходство над *вещественностью*».¹

Эту мысль Полевой особенно подробно изложил и обосновал в одной из программных своих речей, произнесенных в Московской практической академии коммерческих наук, а именно — в «Речи о невещественном капитале — *capital immatériel*, — как одном из главнейших оснований государственного благосостояния и народного богатства» (1828).² «Просвещение, — говорил Полевой, — есть главнейшее основание благосостояния каждого государства, ибо оно составляет часть

¹ «Московский телеграф», 1828, ч. 23, стр. 241—242.

² Речь была издана дважды в том же 1828 году. Самое понятие «невещественный капитал» было заимствовано Полевым из французской политико-экономической литературы; в России оно появилось впервые в работах академика А. К. Шторха. Мысль Полевого о том, что торговля и промышленность служат мощным двигателем просвещения, была подхвачена К. Гергардом в брошюре «Рассуждение о том, что словесность вообще, и в особенности отечественная, служит не только улучшением, но и достоинством купеческого сословия», СПб., 1833.

народного богатства более важную, нежели богатство вещественное; оно есть невещественный капитал, без коего капитал вещественный не только маловажен, но совершенно ничтожен».

Эта просветительская установка лежит в основе и другой речи Полевого — «О купеческом звании», которая была издана в 1832 году со следующим демонстративным посвящением: «Почтенным согражданам, *купечеству* первопрестольной Москвы с глубоким уважением посвящает сочинитель, *купец московский*». Здесь Полевой особо касается вопроса о буржуазном просвещении. Он видит залог успехов «великого дела образования и воспитания купеческого сословия» в «усиленном деятельном движении вперед, которое с начала нынешнего столетия, и особенно в последние годы, ознаменовало бытие нашего отечества». Под движением вперед Полевой понимает, в первую голову, промышленный и культурный подъем «средних классов» под спасительной эгидой «мудрого правительства».

«Сильнее обращается, — говорит он, — ныне кровь в государственных жилах России; деятельнее движутся теперь члены сего огромного исполина Северного. Все сословия, по отчету ума и сознанию опыта, чувствуют необходимость соответствовать усердием и ревностью благим намерениям мудрого правительства — все теснее сближаются, дружнее дают одно другому руку на дело чести государственной и пользы частной. Купечество — с благородной уверенностью в самих себя произносим сии слова — купечество русское не изменяет в общей жизни отечества призыву ко всему великому, прекрасному и благому, обещаемому будущей судьбой России. Возвышенное духом патриотического соревнования, уже вполне понимает оно любовь и благоволение к нему монарха и приятное участие других государственных сословий. Разделяя общее желание добра, оно быстрее прежнего устремилось ныне на поприще гражданской доблести». «С сердечным чувством радости» вспоминает Полевой промышленные выставки 1829 и 1831 годов — эти «два торжества отечественной промышленности», пробудившие в русском купечестве «сознание своего достоинства».

Обе речи Полевого тщательно выдержаны в духе и тоне полной политической благонамеренности. Они не только завершаются славословием Николаю I (который знаменательно сравнивается с Петром I, благоволившим к купечеству), но и уснащены комплиментами по адресу «первенствующего сословия» — дворянства. Последнее объясняется, конечно, соображениями тактического порядка. Полевой и не заикается об уничтожении дворянства как класса-гегемона. Он настаивает лишь на уравнивании прав буржуазии в сфере «жизни общественной», деятелями которой равно должны быть «чиновник и купец, дворянин и гражданин». В этих целях он ссылается на исторические примеры: «Не в наше время препираться о *первенстве* сословий... Минин и Пожарский, поставленные рядом и равно движимые на спасение и славу отечества, да будут, ныне и навсегда, эмблемою нашею.¹ Мы должны ревновать друг другу не тщеславною горделивостью и не спорами о преимуществах одного сословия перед другим; не тленными хартиями, не пыльною летописью, где для неславного потомка записаны дела великих предков, должны мы доказывать наше достоинство... Да будут для нас священны права и отличия каждого сословия, да будет каждое из них почтенно в исполнении своего долга и обязанностей, налагаемых на него законом божиим и человеческим. Наши выводы ведут именно к тому, доказывая, что взаимное неуважение сословий и презирающая взаимная ненависть их суть плоды грубого невежества, необузданных страстей или буйного своевольтва. Все они необходимы, все основаны на верных законах ума и условиях природы и бытия человеческого. Кроме того, все сословия взаимно заменяют одно другое, и самые занятия их сливаются... Мы убеждаемся самым умозрением и уроками опыта, что среди всех сословий звание *купца, гражданина*

¹ В 1833 году в той же Практической академии коммерческих наук Полевой выступил с речью «Козьма Минич Сухорукой, избранный от всея земли русския человек» (издана в том же 1833 году), где доказывал, что именно купечеству, в лице Минина, династия Романовых обязана своим самодержавием.

столько же почетно, благородно и необходимо, как и другие звания».

Защищая право «средних классов» на равноправное участие в общенациональном культурном развитии, Николай Полевой не мог обойти важнейшего в его время вопроса о самобытности и народности русской культуры в ее соотношении с культурой Запада. Решение этого вопроса определило, в основном, как идеологию Полевого в годы издания «Московского телеграф», так и его дальнейшую судьбу.

Речи Полевого «О невещественном капитале» и «О купеческом звании», а также программный «Разговор между сочинителем русских былей и небылиц и читателем», предпосланный в качестве предисловия к роману его «Клятва при гробе господнем» (1832), представляют в этом отношении наибольший интерес. Здесь Полевой развивал увлекавшую его историко-философскую и общественно-политическую идею «руссизма». Смысл идеи заключался в том, что молодой и полной сил России — этой «особой части света», «земле надежды», только начинающей свое «гражданское и умственное бытие», — суждена мессианская роль «обновительницы» Европы, «находящейся в преклонном развитии духовных и телесных сил». Европа, говорит Полевой, уже одряхла, а будущее ее «являет печальную старость».

Как видим, сама фразеология Полевого до известной степени совпадает с прописными формулами официального «руссизма», выдвинутыми самодержавием в качестве основных принципов политического и религиозно-морального воспитания. Правда, Полевой не говорит прямо о том, что мессианская роль суждена России в силу ее православия и исконного политического строя, и видит залог ее грядущих успехов почти исключительно в укреплении буржуазии, в эмансипации русской промышленности от власти иностранного капитала и в завоеваниях новых рынков сбыта. «Нам предстоит исхищение из рук иноземных источников богатства, украшение отчизны плодами промышленной деятельности, — говорит он в «Речи о купеческом зва-

нии». — Настанет время, когда сильные купеческие флоты наши возвеют паруса на Балтийском, Каспийском, Черном морях и от берега Северо-Западной Америки, из Индейских островов и стран принесут богатства к берегам Восточной Сибири, и изумленный Китай увидит флаги наши... »

Но тем не менее свою пламенную проповедь буржуазного процветания Полевой облакает в защитные покровы наивысшей благонамеренности. Наряду с «сознанием собственного достоинства», «уважением к самим себе» и «верой в добродетель» он рекомендует русской молодежи в качестве непреложного жизненного правила — преданность «закону и престолу»: «На сем краеугольном камени мы всегда зиждили и зиждем все наши помышления, все дела, все поступки, все надежды наши!»

«Руссизм» Полевого — явление сложное. Это одна из разновидностей национально-романтического либерализма, который, противопоставляя Россию и Западную Европу как два особых культурно-исторических мира, различных по духу и формам религиозного и политического бытия, оговаривает тем не менее свое право на освоение некоторых сторон западного буржуазного строя и на пропаганду идей буржуазной демократии. В этом отличие такой системы взглядов от реакционного, казенного национализма Уваровых и Бенкендорфов. Оставаясь всегда и во всем на почве «руссизма», Полевой вместе с тем убежденно и настойчиво действовал в пользу буржуазного прогресса русского быта и русской культуры с учетом опыта всего всемирно-исторического культурного процесса. Это и давало повод реакционерам и националистам обвинять Полевого в «космополитизме», в неуважении к отечественным нравам и т. п.

Возможно, Николаю Полевому принадлежит честь изобретения крылатого словца «квасной патриотизм». Во всяком случае, оно вышло из редакции «Московского телеграфа» и имело в виду именно тот официальный, реакционный национализм Уваровых и Бенкендорфов, который нашел свое выражение в известной

триаде: «православие, самодержавие, народность».¹ Полевой объявил себя врагом квасного патриотизма² и следующим образом сформулировал свою точку зрения на «внутреннее образование России». Здесь придется привести пространную цитату.

«Судьба русской земли необыкновенна тем, что Русь поставлена между Югом и Севером, между Европой и Азией, обширна, могущественна, но младшая сестра всем другим европейцам. До Петра Русь возростала отдельно от Запада: была в Европе, и вне Европы. Только Петр начал настоящее образование Руси. Форма сего образования долженствовала быть *европейская*, а не азиатская, потому же, почему дважды два четыре, белое не черное, а черное не белое. Прошло уже сто лет, как мы вдвинуты в Европу, но — только *вещественно*. Мы сильны, могучи, чудо-богатыри. Мы ломали рога турецкой луны, вязали лапы персидского льва, переходили через Альпы, сожгли величие Наполеона в Москве и заморозили его славу, загнали шведов за Ботнический залив и подписали один мир в Париже, другой под стенами Царя-града. При всем том (чего стыдиться нам истины?) по *умственному* образованию — мы всех европейцев моложе, мы еще дети!.. Мы *еще не дозрели*... Русь, могущественная, сильная, крепкая, есть незрелый плод. Вещественно — она все кончила; умственно — только все начала

¹ Изобретение словца «квасной патриотизм» приписывалось также П. А. Вяземскому, тесно связанному с «Московским телеграфом» в первые годы его издания. Ср. в статье Вяземского: «Пора нам оставить несправедливую мысль, будто восклицания доказывают что-нибудь, будто патриотизм непременно требует на сто манеров твердить одно и то же о нашей славе, о наших добродетелях, без всяких доказательств. Нет! Истинная любовь к отечеству состоит не в том, чтобы, восклицая о славе предков, ставить фразы без связи и почитать космополитом того, кто в этих фразах не находит большого толку!» («Московский телеграф», 1826, ч. 7, стр. 185; подпись: А(смодей)). Ср. также «Московский телеграф», 1829, ч. 25, стр. 129, и примечание М. П. Погодина к статье И. Кулжинского «Полевой и Белинский» («Русский», 1868, № 114, стр. 4).

² «Кто читал, что писано мною доньше, тот, конечно, скажет вам, что *квасного патриотизма* я точно не терплю» («Разговор между сочинителем... и читателем»).

и ничего еще не кончила!.. Довольно хвастовства, довольно внешности. Уверимся, что внутреннее образование наше должно начаться сознанием достоинства других народов. Затем — с одной стороны, философически рассмотрим европейскую образованность и требование века, отделим доброе от худого, *бросим злую половину*, как говорит Шекспир, и извлечем для себя *формы европейского образования*. С другой, беспристрастно рассмотрим самих себя. В истории нашей поищем не предметов пустого хвастовства, но уроков прошедшего; в настоящем быте нашем откроем нынешние недостатки и выгоды наши... Мы извлечем таким образом *стихию народности*. Зная *формы европеизма* и *стихию руссизма*, скажите — чего не сделаем мы из Руси нашей, из нашего народа, закаляемого азиатским солнцем в снегах Севера? Мы победили Европу мечом, мы победим ее и умом: создадим свою философию, свою литературу, свою гражданственность, под сению славного престола великих монархов наших!» («Разговор между сочинителем... и читателем»).

Заключая «стихию руссизма» в «формы европеизма», Полевой оставался принципиальным эклектиком, каким он был (как увидим дальше) во всей своей литературно-публицистической практике. Но, так или иначе, «западничество» издателя «Московского телеграфа» следует понимать условно и ограничительно. Просветительские тенденции определили характер и направление боевых выступлений Полевого против отечественного «горделивого полуневежества», но нигде, ни одним словом не обмолвился он, что овладеть высотами просвещения и культуры Россия может, только перенимая весь опыт западноевропейского исторического процесса, только отказываясь от исконных основ своего общественно-исторического бытия.

В «руссизме» были заложены истоки позднейшего идейного перерождения Полевого. В петербургский период его жизни, после запрещения «Московского телеграфа», идея «руссизма» в интерпретации Полевого уже прямо перекликалась с официальной теорией Уварова, который доказывал, что русский исторический процесс характеризуется, в отличие от западно-

европейского, отсутствием классовой борьбы, что, в свою очередь, предохраняет Россию от революционных потрясений. В этом смысле совершенно прав был Г. В. Плеханов. Ссылаясь на рассуждение Полевого (в «Истории русского народа») о том, что России суждено «внести в Европу особую стихию духа», являющуюся «типом восточноевропейского образования» и «завещанием умиравшей Византии», Плеханов писал: «Ясно, что по этой канве легко было бы вышить узор во вкусе самой «официальной» народности. Как знать? Может быть, наличность этой византийской канвы и помогла впоследствии Полевому совершить поворот в сторону Булгарина» («Погодин и борьба классов»). Это указание на известную закономерность пути Полевого, роковым образом, в конце концов, приведшего его в лагерь рептильной литературы, — совершенно справедливо.

9

5

«В нашей литературе есть явление самобытно-русское, — человек, жизнь которого, преимущественно пред всеми, походит на роман. Судьба указывала ему дорогу налево — он пошел направо. Десять раз мог он своротить с тропинки своей на общую дорогу — двадцати лет быть богатым купцом, тридцати лет чиновником: он остался купцом и сделался литератором... Пойдите к нему, и вы увидите русского семьянина, вокруг которого нет ничего ни схоластического, ни журнального. Вокруг него бегают и шумят его дети. В стороне, на полках, стоят несколько книг, перед ним простенький письменный стол: хрустальная чернильница, несколько перьев, листов шесть розовой неклеенной бумаги и отдельный листок с начатой статьей... Вот и все! — Он не высок ростом, худ и бледен. Ему, однако, только сорок семь лет, хоть он и сидит за письменным столом своим уже двадцать семь лет и еще вчера просидел за ним двадцать часов. *Ora et labora* — девиз его... Если бы надобно было определять его, мы назвали бы его *телеграфом идей*. В течение двадцати пяти лет сердце и ум его отзывались

на все, что говорено и делано у нас и в Европе, и все, что он читал и думал, он *говорил вслух*. Что делать! Его, как и многих, опыт не научил молчать! Молчит он сегодня, — значит завтра заговорит громче».

Эту живописную и верную портретную зарисовку Николая Алексеевича Полевого мы выписали из анонимного фельетона, появившегося за два года до его смерти.¹ В эту пору Полевой действительно молчал, но уже никогда и не «заговорил громче». Слова: «Судьба указывала ему дорогу *налево* — он пошел *направо*» — приобретают удивительно точный смысл, гораздо более точный и прямой, нежели тот, что придавал им безымянный фельетонист. В эту пору Полевой переживал страшное падение: сотрудничал с Булгариним и расхваливал бездарные романы некоего борзописца Штевена только потому, что автор их был частным приставом. Но в фельетоне звучит глубокое уважение к лучшему прошлому Полевого. Он и в самом деле был истинным «телеграфом современных идей» и в этом своем качестве заслуживает внимания и благодарной памяти.

В фельетоне верно подмечены профессионализм и протенизм Полевого. Литературно-журнальная деятельность его была на редкость широка и многогранна. Работал он поистине не покладая рук, и в самых различных областях — как публицист и литературный критик, беллетрист и драматург, переводчик и поэтопародист, историк и писатель по вопросам политической экономии. И в каждой области сумел он сказать новое и веское слово. Но прежде всего и больше всего он был журналистом.

После 1825 года все более укрепляется новый взгляд на литературу как на «важную часть общественного быта» (слова Николая Полевого). Журналы русские все больше внимания уделяют вопросам «сближения литературы с жизнью». В 1831 году уже подводились в этой связи некоторые итоги: «Сим годом словесность наша, доканчивая третье десятилетие XIX века, сделала новое движение, состоявшее

¹ «Листок для светских людей», 1844, № 9.

в заметном ее сближении с *жизнью*. Она уже перестала быть предметом и занятий, и наслаждений, отдельных от действительной нашей жизни. Сие знаменуется многими собственно и не-собственно литературными происшествиями. В сем году внятнее заговорили о литературе как о выражении общества».¹

Под «не-собственно литературными происшествиями» следует понимать прежде всего оживление журналистики, открывшее в русской литературе неизвестную прежде область коммерческих, товарно-денежных отношений. Стихотворение и повесть, статья и водевильные куплеты, роман и поэма стали товаром, который можно было покупать и продавать. Вопрос наживы, спекуляции, обогащения за счет литературы впервые возник именно в это время. Один из самых видных и деятельных литераторов-профессионалов двадцатых — тридцатых годов, Н. И. Греч, уже имел основание сказать, что «занятия литературою начали давать у нас выгоды существенные, то есть денежные. Еще недалеки те времена, когда напечатать книгу или предпринять издание журнала значило задолжать в типографию и в бумажную лавку. Ныне постоянное занятие по какой-нибудь части словесности и наук несомненно принесет и верную прибыль. Это важно для успехов литературы».²

Об этом же говорил, со своих позиций, и Пушкин — писатель из враждебного Гречу лагеря, но неуклонно шедший к профессиональному занятию литературой и чутко подмечавший происходившие в ней перемены. В том же 1831 году, когда Иван Киреевский говорил о сближении литературы с жизнью, Пушкин писал: «Литература оживилась и приняла обыкновенное свое направление, т. е. *торговое*. Ныне составляет она отрасль промышленности, покровительствуемой законами. Изю всех родов литературы периодические издания более приносят выгоды и чем разнообразнее по содержанию, тем более расходятся» («Материалы по изданию газеты»).

¹ И в. К и р е е в с к и й. Обзорение русской словесности 1830 года. Альманах «Денница» на 1831 год.

² Н. Г р е ч. Сочинения, т. 3. СПб., 1855, стр. 343—344.

Действительно, со второй половины двадцатых годов журнал приобрел особое значение. Впоследствии Н. Полевой вспоминал: «1825-й и 1826-й годы вдруг породили у нас десятки журналов, начали журнальную критику, сделали журналистику отражением всего, что зашевелило тогда нашу литературу».¹ «Журнализм», можно сказать, стал знаменем литературного времени.

Первая четверть XIX столетия, в сущности, не знала журнала как такового; его замещал альманах, а то, что называлось «журналом», тоже больше походило на альманах, только издававшийся периодически. Эфемерные, тощие и недолговечные журналы десятых годов, как правило (были исключения, вроде «Сына отечества»), были лишены собственно журнальной специфики — разнообразия материалов, публицистической остроты, оперативности и т. п. Общий процесс профессионализации литературного дела, наряду с быстрым ростом новых читательских кадров, вызвали к жизни журнал нового типа — журнал энциклопедического содержания, до того времени известный в России лишь по западным образцам.

Журнал Николая Алексеевича Полевого «Московский телеграф», возникший в 1825 году, явился на этом пути первым — и очень заметным — достижением. А наиболее точным выполнением «социального заказа» времени на энциклопедический журнал стала, десятилетием позже, «Библиотека для чтения» О. И. Сенковского. Опыт «Библиотеки» был освоен «Отечественными записками» А. А. Краевского, определившими собою классический тип русского «толстого» журнала XIX века. На рубеже тридцатых годов журнал окончательно вытесняет альманах, низводит его на низшую ступень; теперь альманах, рассчитанный на узкий круг любителей и любительниц, ощущается как изжившая себя традиция, как анахронизм. Постепенно альманах вульгаризируется и становится достоянием третьеразрядных писателей — «альманашников», уже не привлекающая к себе внимания передового читателя. Попытки

¹ «Сын отечества», 1840, т. 1, стр. 436.

оживить альманах, вернуть его обратно в «высокую» литературу (альманахи, издававшиеся кружком Раича, «Денница» Максимовича и некоторые другие) заметного успеха не имели.

В этом была своя историческая закономерность. Альманах вполне соответствовал тем камерным формам литературного дела, которые господствовали в первую четверть XIX века. Он отвечал той салонной и кружковой культуре, которая превращала занятия литературой в частное, интимное дело замкнутой среды дилетантов — «любителей изящного». Альманах — тоже дело частное, почти семейное; состав его участников, как правило, невелик, все они тесно связаны друг с другом не столько общностью взглядов и убеждений, сколько личными, бытовыми отношениями.

Зарождавшийся журнал нового типа решительно противопоставлял себя формам кружковых объединений, домашней литературе «для немногих». С самого начала он оформлялся как глашатай общественного мнения, трибуна мыслящих и деятельных людей, которым есть что поведать своим современникам. Журнал более чем что-либо другое знаменовал выход литературы «на улицу» из тишины и уединения кружков и салонов. Журнал ускорил процесс размежевания писателей на литераторов-профессионалов, с одной стороны, и на тех, кто еще упрямо сопротивлялся течению жизни и сохранял позу «последнего поэта» (вроде Баратынского).

Еще журналист Карамзин был поставлен в жесткую зависимость от «субскрибентов» своего журнала. Но только с середины двадцатых годов читатель выступает как вершитель судеб литератора-профессионала, журналиста в первую очередь. Особое значение приобретает слово «подписчик». Журналы вступают на путь отчаянной конкуренции, и споры о «журнальной монополии», «журнальных откупах» на долгое время заглушают все остальные. Секрет журнального успеха Булгарина заключался именно в том, что он шел навстречу мещанскому читателю, потакая его вкусам (выполняя роль официозного журналиста,

Булгарин, разумеется, в свою очередь активно влиял на читательские вкусы).

Позиция Николая Полевого была значительно более независимой: приняв заказ времени на массовый журнал энциклопедического содержания, уважая и учитывая интересы широкого круга читателей, Полевой при всем том полагал своей главной задачей — регулировать вкусы своей аудитории, — он пытался ее литературно воспитывать.

Совсем другую позицию занимали такие журналы, как «Московский вестник» и «Московский наблюдатель» (первой редакции). Они намеренно игнорировали интересы массового читателя и пытались одержать победу в журналистике, ориентируясь на узкий круг знатоков литературы. Расчеты эти, конечно, не оправдались: победу одержал Полевой, в журнале которого внимательный учет вкусов массового читателя совмещался с принципом сохранения высоких эстетических норм, с борьбой за «большую», высококачественную литературу.

Требования времени вынуждали журналистов искать новые формы работы. Собственно литературный журнал вытеснялся журналом энциклопедическим, в котором равное внимание уделялось бы и литературе, и публицистике, и сельскому хозяйству, и даже новостям мод. Модные картинки стали обязательным приложением к журналу, и даже чопорный, аристократический «Московский наблюдатель» не мог обойтись без них.

Полевой, по словам Герцена, «родился быть журналистом, летописцем успеха и открытий, политической и ученой борьбы». Белинский в свою очередь утверждал, что Полевой «был литератором, журналистом и публицистом не по случаю, не из расчета, не от нечего делать, не по самолюбию, а по страсти, по призванию»: «Он никогда не negliжировал изданием своего журнала, каждую книжку его издавал с тщанием, обдуманно, не жалея ни труда, ни издержек. И при этом он владел тайною журнального дела, был одарен для него страшною способностью. Он постиг вполне значение журнала как зеркала современ-

ности... Без всякого преувеличения можно сказать положительно, что «Московский телеграф» был решительно лучшим журналом в России, от начала журналистики». ¹

Современники Полевого — равно и друзья его, и враги — единодушно сходились в мнении, что «Московский телеграф» представляет собою «явление замечательное». Так оно и было. Можно сказать, что в январе 1825 года, с выходом в свет первой книжки «Телеграфа», началась эпоха русского «журнализма». И по широте охвата тем и вопросов, и по принципиальности установки «Московский телеграф», по справедливому замечанию П. В. Анненкова, «был совершенною противоположностью духу, господствовавшему у нас в эпоху литературных обществ; он их заместил, образовав новое направление в словесности и критике. С его появления журнал вообще приобрел свой голос в деле литературы вместо прежнего назначения — быть открытой ареной для всех писателей, поприщем для людей с самыми различными мнениями об искусстве». ² Здесь совершенно верно подмечены основные качества «Московского телеграфа» — его принципиальность и целенаправленность.

Полевой обращал особое внимание на эту — важнейшую — сторону дела, многократно подчеркивал внутреннее единство своего журнала, настаивал на высокой принципиальности его мнений и оценок. Для него журнал был целостной структурой, в которой все подчинено единому общему заданию. «Тот не должен и думать об издании литературного журнала в наше время, кто полагает, что его делом будет сбор занимательных статей, — писал Полевой. — Журнал должен составлять нечто целое, полное; он должен иметь в себе душу, которую можно назвать его целью». Поэтому журналист «в своем кругу должен быть колонновожатым»: «Идти вперед, к лучшему, возбуждать

¹ В. Белинский. Николай Алексеевич Полевой. СПб., 1846, стр. 49—50.

² П. В. Анненков. А. С. Пушкин. Материалы для его биографии. СПб., 1873, стр. 176.

деятельность в умах и будить их от пошлой, растительной бездейственности. . . — вот условия, налагаемые современностию на русского журналиста. От исполнения их зависит успех его предприятия». ¹

В «Московском телеграфе» почти нет журнального балласта. Полевой не печатал статей случайных, лишь бы заполнить положенное число листов, и, оправдываясь перед читателями в задержке очередных книжек (что нередко случалось), всегда указывал, что в его распоряжении не было «достойных» и «любопытных» материалов. Из иностранной журналистики, доступной Полевому, он брал только то, что считал нужным и полезным довести до сведения своих читателей. Если при этом иногда появлялась в «Московском телеграфе» статья хотя и «любопытная», но в чем-то не совпадавшая с точкой зрения редакции на данный предмет, в следующей книжке обязательно появлялась другая на ту же тему, выражавшая редакционное мнение. Почти каждую переводную статью Полевой снабжал своими объяснительными и критическими примечаниями.

Полевой и сам отлично понимал значительность своей роли в истории русской журналистики. «Когда начал я издавать журнал, — писал он, — была ли тогда эпоха журналов? Не думаю. . . Мне казалось, что надобно было расшевелить нашу литературу. Не знаю, успел ли я, но, по крайней мере, толпой явились после того Атенеи, Московские вестники, Галатеи, Московские наблюдатели, Спб. обозрения, Северные Минервы, и почти все брали форму и манер с моего журнала. . . Важнейшие вопросы современные были преданы критике, объем журналистики раздвинулся, самая полемика острила, горячила умы, и — по крайней мере — в истории русских журналов я не шел за другими». ²

Полевой выступил с «Московским телеграфом» в момент резкого обострения идейно-литературной борьбы и сразу же принял в ней самое деятельное участие.

¹ «Московский телеграф», 1831, ч. 37, стр. 79 и 82. Слова о «возбуждении деятельности в умах» послужили к обвинению Полевого в записке Уварова, вызвавшей запрещение «Московского телеграфа» (см. ниже).

² «Сын отечества», 1839, т. 8, отд. IV, стр. 106—107.

Независимость суждений и докторальность тона, усвоенные Полевым и его журнальными сотрудниками, вызвали бурю возмущения в литературной среде.

Купец второй гильдии, человек в литературном мире без роду и племени, не имевший ни ученого звания, ни даже школьного образования, «самоучка» и «невежда», — он имел дерзость открыто выступить против признанных и увенчанных корифеев литературы и науки. Больше того: он посягнул на «бессмертные» авторитеты, утвержденные «к вечной славе россов». Было от чего заволноваться «воеводам литературного мира»! Современники утверждали, что никогда еще в русской литературе не было такого шума, какой поднялся в 1825 году с появлением «Московского телеграфа».

Об отношении к Полевому со стороны людей, стоявших на почве традиций и на страже авторитетов, ясное представление дает рассказ И. И. Панаева. Вспоминая о своем пансионском учителе словесности Я. В. Толмачеве, Панаев пишет: «О Полевом он не мог слышать равнодушно... — Это мерзавец! — говорил он, дрожа всем телом. — Безграмотное животное, двух строк со складом и правильно не может написать... Лавочник, цаловальник, а осмеливается безнаказанно оскорблять людей пожилых, чиновных и ученых».¹

Но в то же время велика была популярность Полевого среди молодого поколения, особенно — среди передовой демократической молодежи. «Литератор в полном смысле, публицист, критик и библиограф, он лучше всех умел понимать массу читающей публики, любил этот средний класс и был любим им, возвысил его европейскими статьями своего журнала и возвысился сам на степень оракула и протектора».² Вот еще свидетельство, принадлежащее И. Н. Шидловскому, в тридцатые годы начинающему поэту и философу, товарищу молодого Ф. М. Достоевского. Шидловский говорил, что для его поколения «Телеграф» явился

¹ И. И. Панаев. Литературные воспоминания. М., 1928, стр. 18.

² «Записки сенатора К. Н. Лебедева». — «Русский архив», 1910, кн. 3, стр. 186.

главным источником новых идей, что журнал этот «роскошно, мощно развивал свое значение в году полного расцвета русской словесной жизни» и что «счастлив, кто сохраняет его, как кивот святыни, в своей библиотеке». «Ему обязан я целым духом своим», — утверждал Шидловский.¹

6

Переходим к истории организации «Московского телеграфа». В середине 1824 года Полевой направил в Петербург, на имя министра народного просвещения А. С. Шишкова (известного писателя, лидера реакционно-националистической литературы в начале века), пространное «Предположение об издании с будущего 1825 года нового повременного сочинения под названием «Московский телеграф».² В этом «предположении» он писал, что «взгляд на состояние наук и словесности в каком-либо государстве есть верный размер его нравственной силы и могущества, и цветущее состояние наук и словесности есть верное доказательство просвещения народного».

«Одушевляясь сими чувствами, — заявлял Полевой, — нижеподписавшийся осмеливается предположить с будущего 1825 года издание повременного сочинения», целью которого не будет «легкое, поверхностное и забавное чтение, переводы летучих повестей, печатанье мелких стихотворений и статей спорных, где острога иногда заменяет пользу», но что внимание издателя будет «главнейше обращено на сообщение отечественной публике статей, касающихся до нашей истории, географии, статистики и словесности, которые бы иностранцам показывали благословенное отечество наше в истинном его виде; сообщение также всего, что любопытного найдется в лучших иностранных журналах и новейших сочинениях или что не известно еще

¹ Письмо к М. М. Достоевскому (1839). — Л. Гроссман. Путь Достоевского. Л., 1924, стр. 45.

² М. Сухомятинов. Н. А. Полевой и его журнал «Московский телеграф». — «Исследования и статьи по русской литературе и просвещению», т. 2. СПб., 1889, стр. 372—376.

на нашем языке касательно наук, искусств, художеств вообще и словесности древних и новых народов». Задача журнала — «передавать взаимно изящное и полезное».

В соответствии с такой установкой Полевой представил на утверждение Шишкова чрезвычайно обширную программу своего по преимуществу ученого журнала, благоразумно исключив из нее одну лишь «политику», безусловно запрещенную везде, кроме официальных органов. По программе каждая книжка «Телеграфа» должна была заключать в себе сочинения и переводы по следующим четырем разделам: I. Науки и искусства; II. Словесность; III. Библиография и критика; IV. Известия и смесь.

В состав первого раздела входили: история и археология (отрывки из классических сочинений, историческая критика, извлечения из древних писателей — греческих, латинских, скандинавских и славянских, преимущественно же известия по отечественной истории), география и статистика, эстетика и «изящные искусства» («все, что может служить к утверждению чистого вкуса в поэзии и красноречии; древние и новые исследования писавших о сем предмете будут сообщаемы с самым строгим выбором»).

Второй раздел — «Словесность» — должны были составлять «новейшие произведения известных русских и иностранных писателей во всех родах прозы», «отрывки из древних классических писателей», а также переводы с арабского, китайского, английского и итальянского. «Касательно стихотворений, преимущественно будут помещаемы переводы из классических авторов, или сочинения, где поэты изобразят русские исторические события или предметы нравственные. Решительно в «Телеграф» не будут принимаемы стихи нескромные и посредственные».

Третий раздел — «Библиография и критика» — посвящался «известиям о всех книжках, в России выходящих» (по всем родам словесности и наук), также «известиям о новых иностранных книгах вообще и разбору примечательнейших произведений словесности французской, немецкой, английской и итальянской».

В статьях этого раздела Полевой обещал «предлагать публике суждения беспристрастные, тщательно соблюдая, чтобы не одни погрешности были замечены, но наиболее показаны достоинства сочинений и рассуждаемо только о самых сочинениях, не касаясь никаким образом до особы сочинителя».

И, наконец, четвертый раздел — «Известия и смесь» — должен был включить «собрание небольших статей, достойных внимания читателей, как-то: известия иностранные — не политические; известия отечественные; анекдоты, жизнеописания славных или замечательных современников; новые произведения художеств; выставки, заседания и задачи ученых обществ русских и иностранных; новые открытия и изобретения; московские события, заслуживающие в каком-нибудь отношении быть известными; известия коммерческие; мелкие прозаические сочинения, как-то: мысли, притчи, нравоучительные изречения и проч.».

В заключение Полевой заверял, что в его распоряжении уже имеется «немалое количество статей разного содержания», что «в его трудах принимают участие многие известные русские писатели» и что он, «отделяя значительную сумму на покупку новейших сочинений», предполагает в то же время выписывать «все лучшие французские и немецкие журналы».

«Предположение» составлено в высшей степени дипломатично: Полевой не только учел литературные вкусы и понятия Шишкова, от которого ближайшим образом зависело выдать разрешение на издание журнала, но и ловко процитировал в начале своего проекта речь самого Шишкова, произнесенную в свое время при открытии «Беседы любителей русского слова». Если верить Кс. Полевому, Шишков, кроме всего прочего, лично знал будущего издателя «Телеграфа» и даже «оказывал благосклонность его литературным занятиям».

Обширность программы «Московского телеграфа», включавшей, по словам А. А. Бестужева-Марлинского, все, «начиная от бесконечно малых в математике до пётушких гребешков в соусе или до бантиков на новомодных башмачках», указывает на то, что Полевой

рассчитывал на постоянное сотрудничество целого коллектива литераторов и ученых. Больше всего, по-видимому, он надеялся на поддержку членов литературного кружка С. Е. Раича, с которым был тесно связан (разрыв Полевого с кружком произошел уже после того, как программа журнала была составлена). Во всяком случае, М. А. Максимович, бывший в курсе кружковых дел, писал 2 декабря 1824 года Н. Н. Похвисневу: «Полевой с следующего года издаст журнал под названием «Московский телеграф». С ним соединилось общество молодых литераторов наших, или *Раич с компанией*».¹ П. А. Вяземский в письме к Пушкину от 6 ноября 1824 года также называл Раича товарищем Полевого по изданию журнала: «В Москве готовится новый журнал: Полевой и Раич главные издатели. Они люди честные и благонамеренные. Дай им что-нибудь на зубок». Деятельный член раичевского кружка М. П. Погодин засвидетельствовал: «Много толков было о журнале, которого программу представил Полевой, принятый в наше общество. Она не понравилась нам, и Полевой отстранился, объявив в следующем году подписку на Телеграф».²

Здесь допущена неточность. Полевой не «отстранился» от участия в кружке, а был вытеснен оттуда в результате споров, разгоревшихся именно вокруг проекта журнала. Мысли об издании журнала возникли в кружке еще в начале 1823 года; позже Полевой принимал участие в обсуждении этого вопроса. Споры о журнале, о его типе, характере и направлении знаменовали резкое несовпадение социальных и эстетических установок Полевого и его оппонентов: члены кружка представляли себе журнал как чисто литературное и философское издание, отрешенное от боевых публицистических и просветительских задач. В дальнейшем С. Е. Раич и его друзья стали самыми непримиримыми и озлобленными гонителями «Московского телеграфа».

¹ «Русский архив», 1910, кн. 3, стр. 676.

² М. П. Погодин. Воспоминания о С. П. Шевыреве. — «Журнал министерства народного просвещения», 1869, № 2, стр. 399.

Литературные заслуги Полевого, которые давали ему право на занятия журналистикой, были исчислены, как требовал того закон, в представлении попечителя московского учебного округа кн. А. Оболенского, также направленного министру народного просвещения. Здесь было сказано, что, «не оставляя купеческого звания», Полевой слушал лекции в Московском университете в 1811—1812 и 1820—1821 годах, помещал свои сочинения и переводы в разных журналах, состоит членом-сотрудником Общества любителей российской словесности и награжден медалью Российской академии. Кн. Оболенский добавлял, что Московский цензурный комитет «не находит со своей стороны никакого препятствия к изданию «Московского телеграфа».¹

Предприятие Полевого увенчалось полным успехом. Программа журнала была утверждена Шишковым без каких-либо ограничений, и 29 октября 1824 года в «Московских ведомостях» (№ 87) появилось пространное объявление о подписке на «Московский телеграф». После появления своего журнального манифеста Полевой писал П. П. Свиньину: «Вчерашний день... вся Москва узнала о рождении или, лучше сказать, зачатии Телеграфа... Он, право, будет малый не дурной и смиренный, будет гнать только невежество и глупость и постарается жить миролюбиво со всеми добрыми людьми».² Надеждам этим, как увидим дальше, не суждено было осуществиться.

«Московский телеграф» выходил книжками объемом от четырех до пяти печатных листов раз в две недели, 1 и 15 числа каждого месяца. Четыре книжки (за два месяца) составляли часть (том). Титульный лист первой книжки журнала гласил: «Московский телеграф, журнал литературы, критики, наук и художеств, издаваемый Николаем Полевым» и был снабжен эпитафией из Оксенштирна: «Man kann, was man will —

¹ М. Сухомлинов. Указ. соч., стр. 377; П. Щербальский. Материалы для истории русской цензуры. — «Беседы в Обществе любителей российской словесности», вып. 3. М., 1876, стр. 45—46.

² П. Полевой. История русской словесности, т. 3. СПб., 1900, стр. 196—197.

Man will, was man kann...»¹ Эпиграф этот вызывал глумление журнальных антагонистов Полевого, обвинявших его в заносчивости и самохвальстве. В 1826 году с титульного листа был убран подзаголовок, а в 1828 году — и злополучный эпиграф. Печатался «Московский телеграф» сперва в типографии Московского университета, а с 1828 года — в более усовершенствованной типографии Августа Семена при Медико-хирургической академии. В 1828 году братья Полевые решили учредить собственную типографию; были уже заказаны первый в России скоропечатный типографский стан, матрицы и литеры; но из-за недостатка средств от этого намерения пришлось отказаться.

Невиданная по широте энциклопедическая программа «Московского телеграфа» была не только выполнена, но и перевыполнена Полевым. На страницах своего журнала он открыл для русского читателя подлинный заочный университет, откликаясь на все наиболее существенные вопросы литературной, научной и отчасти (в меру своих возможностей) общественной жизни.

Уже в первой книжке «Телеграфа» издатель писал: «Журналиста не должно печалить разнообразие вкусов. Для изображения совершенного журнала вообразите зеркало, в котором отражается весь мир нравственный, политический и физический. Такой журнал едва ли не более многих книг принесет пользы. Главное: сыскать скользкую дорожку, которая вьется между прежней важностью и ничтожною легкостью... Я полагаю критику одним из важнейших отделений журнала — пусть только будет она умна, правдива, дельна».

Для того чтобы показать, хотя бы отчасти, сколь разнообразный материал предлагал читателю «Московский телеграф», достаточно ознакомиться с содержанием любого отдела этого журнала, скажем —

¹ Аксель Оксеншерна (Оксенштирн — по транскрипции Полевого) — шведский государственный деятель XVII века. Его изречение: «Могу, что хочу — Хочу, что могу» — приобрело широкую известность.

отдела, посвященного известиям об иностранных литературах. Не говоря уже о литературах французской, английской и немецкой, в «Телеграфе» сообщались данные о литературах датской, шведской, исландской, североамериканской, литовской, сербской, голландской и других, также о восточных литературах (арабской, индийской, персидской, армянской, китайской). «Публика, читающая журнал, разнообразна и многочисленна, — писал Полевой, — и в ее *мы* найдутся люди, которым любопытно и даже надобно видеть известия об арабской словесности... Чем разнообразнее журнал, тем лучше: пусть кому угодно читает одно, предоставляя другому другое и третьему третье. Если на какой-нибудь предмет найдется мало читателей, но предмет важен сам по себе, журналист обязан говорить об нем... На этом основании мы будем, от времени до времени, продолжать известия о литературах всех народов, сим дополняя все подобные сведения, рассеянные в восьмидесяти донныне вышедших книжках «Телеграфа».¹

Столь же богато были представлены и другие отделы «Московского телеграфа» — философия, политическая экономия, история, археология, статистика, география и народоведение, естествознание и точные науки, известия о промышленности и технических открытиях, хроника текущей жизни — политической (по цензурным условиям, почти исключительно иностранной), научной, литературной и художественной.

«Московский телеграф» был журналом по преимуществу научным и публицистическим. Художественной литературе, особенно в первые четыре года издания, редакция уделяла относительно немного внимания. Лишь с 1829 года, в связи с общим ростом и оживлением русской прозы, беллетристика получает в журнале достаточно почетное место. Здесь появляются повести и отрывки из романов В. Ушакова («Киргиз-кайсак», 1829), П. Сумарокова, Д. Бегичева («Семейство Холмских», 1830 и 1832), В. Карлгофа, А. Вельтмана («Странник», 1830—1832; «Мстислав», 1831; отрывок из романа, 1834; «Кошей бессмертный»,

¹ «Московский телеграф», 1828, ч. 21, стр. 130—131.

1832—1833), В. Даля («Цыганка», 1830), И. Лажечникова («Последний новик», 1830), К. Масальского («Стрельцы», 1831), И. Калашникова («Дочь купца Жолобова», 1831). С 1831 года почти исключительно в «Московском телеграфе» публикует свои повести А. Бестужев-Марлинский, ставший самым модным писателем времени («Страшное гаданье», «Письмо к доктору Эрману», «Отрывок из романа», «Аммалат-Бек»). Видное место занимали в «Телеграфе» беллетристические произведения самого Николая Полевого: «Отрывок из писем о Финляндии» (1825), «Святочные рассказы» (1826), «Симеон Кирдяпа» (1828), «Мешок с золотом» (1829), «Разговор на святках» (1832), «Блаженство безумия» (1833), «Живописец» (1833) и «Эмма» (1834). Названные здесь произведения принадлежат к числу наиболее заметных в русской прозе тридцатых годов.

Достаточно широко была представлена в «Московском телеграфе» и переводная беллетристика. Здесь мы находим повести и извлечения из романов Вашингтона Ирвинга, Вальтера Скотта, Матюрена, Цшокке, Жан-Поля Рихтера, Гофмана, Купера, В. Дюканна, Проспера Мериме, Бенжамена Констан, Эжена Сю, Нодье, Жюль Жанена, А. де Виньи, Гюго, Бальзака и многих других.

Стихотворный отдел «Московского телеграфа» стоял на довольно низком уровне. Полевому не удалось собрать вокруг своего журнала сколько-нибудь значительные поэтические силы. Правда, в «Телеграфе» печатались Пушкин, Баратынский, Вяземский, Языков, Жуковский, Гнедич, Козлов, но сотрудничество их носило эпизодический характер и прекратилось в 1829 году, когда определился окончательный разрыв Полевого с литературной группой Пушкина и примыкавшими к ней писателями. Из поэтов второго ранга более или менее постоянно сотрудничали в «Телеграфе»: Н. Марквич, Н. Павлов, В. Олин, Ф. Глинка, А. Ротчев, М. Вронченко, А. Муравьев, В. Туманский, В. Карлгоф. Большинство же стихотворений, появлявшихся в журнале, принадлежало перу вовсе незаметных поэтов. Охотно предоставлял Полевой страницы журнала бесчислен-

ным анонимам из провинции. Удельный вес стихотворного отдела «Московского телеграфа», сравнительно с другими отделами, был настолько невелик, что невольно напрашивается вывод: он просто не интересовал редакцию. В 1832 году отдел этот почти вовсе сходит на нет: в иных книжках журнала не появлялось ни одного стихотворения, а во всех семи частях, изданных в 1833—1834 годах, был помещен только один стихотворный перевод М. Вронченко из Шекспирова «Макбета».

В разные годы «Московский телеграф» выходил с особыми приложениями. Так, например, в 1825 году к каждой книжке журнала прилагалось несколько страничек «Прибавления к Московскому телеграфу», «особенно посвящаемого читательницам Телеграфа». Здесь печатались «небольшие сочинения в стихах и прозе, новые не политические описания старинных и нынешних нравов и обычаев, московские записки, известия об иностранных театрах, концертах», полемические фельетоны и непременно «описания новых мод, с картинкою, хорошо гравированною и отлично раскрашенною». В 1828 и 1829 годах при журнале рассылались «Прибавления» другого рода, содержавшие по преимуществу данные о промышленности, художествах и ремеслах, а также о домашнем хозяйстве и модах («изображение новейших мебели, уборки комнат, образцы модных материй, узоры для шитья, модные картинки и проч.»).

В 1830 и 1831 годах при «Московском телеграфе» выходило специальное, очень интересное сатирическое прибавление «Новый живописец общества и литературы» (отдельные статьи под таким заголовком появлялись в «Телеграфе» еще в 1829 году, но не в виде отдельного приложения, а в составе отдела «Смесь»), «Новый живописец» и сменившая его в 1832 году «Камер-обскура книг и людей» пользовались громадным успехом у читателей и должны быть по справедливости отнесены к числу лучшего, что есть в русской сатирической литературе того времени. В 1832 году большую часть статей этих отделов Полевой издал в шести томиках под заглавием «Новый живописец

общества и литературы» (некоторые журнальные статьи были цензурой запрещены к переизданию).

Кроме упомянутых выше поэтов и прозаиков в «Московском телеграфе» участвовало множество других литераторов и ученых. Более или менее постоянно сотрудничали: историки П. Кеппен и П. Муханов, философ и физиолог Д. Велланский, геолог, физиолог и педагог И. Ястребцов, историк Сибири Н. Словцов, археолог П. Строев, А. Вельтман (археологические сочинения), историк и географ В. Берх, историк и лингвист-китаевед И. Бичурин, филолог А. Галахов, военный историк А. Раджицкий. Отдельные литературно-критические статьи в «Телеграфе» напечатали Пушкин, Жуковский, Баратынский, Шевырев, Погодин.

Но, конечно, для того чтобы осуществить широкую программу «Московского телеграфа», Полевой не мог обойтись участием одних посторонних сотрудников. Для этого необходимо было сплотить вокруг журнала более узкий и постоянный редакционный коллектив.

7

В первые четыре года издания «Московского телеграфа» (1825—1828), когда Полевой был еще достаточно тесно связан с группой либеральных дворянских писателей и публицистов, в редакции журнала образовалось нечто вроде кружка, в состав которого входили П. А. Вяземский, С. Д. Полторацкий, С. А. Соболевский, Я. И. Сабуров, В. Ф. Одоевский, Е. А. Баратынский, М. А. Максимович. Иные из них наблюдали за специальными отделами журнала; так, например, М. А. Максимович вел отдел естествознания, В. Ф. Одоевский — музыкальный фельетон. Особо следует упомянуть о тесных связях Полевого с польскими передовыми писателями и историками, проживавшими в Москве на положении политических поднадзорных после разгрома виленского «Общества филаретов» (Адам Мицкевич, Ф. Малевский, И. Ежовский, Ю. Познанский, Дашкевич). Непосредственными помощниками Полевого в повседневной черновой журнальной работе

кроме брата его Ксенофонта Алексеевича были молодые литераторы и ученые: М. П. Розберг, И. И. Бессомыкин, М. П. Лихонин, А. И. Красовский, И. Н. Камашев-Средний. Они переводили статьи из иностранных журналов, составляли компиляции, писали рецензии.

Таким образом, в первые годы издания журнала редакционный кружок составляли, собственно говоря, две группы: представители либеральной дворянской интеллигенции (Вяземский, Полторацкий, Соболевский, Сабуров) и университетская молодежь, по своей социальной природе явно разночинной окраски.

Из них первые играли роль литературных покровителей и опекунов Николая Полевого, своего рода блюстителей «порядка» и «вкуса» в редакции «Московского телеграфа», — особенно относится это к Вяземскому и Полторацкому. Соболевский же был звеном, связующим Полевого с кругом Пушкина и с редакцией «Московского вестника». За границей Полевой также имел своих «собственных корреспондентов» в лице того же С. Д. Полторацкого, Я. Н. Толстого и А. И. Тургенева, — все трое они были тесно связаны с деятелями либеральной французской литературы и публицистики.

Вторая группа, состоявшая из молодых универсантов, увлекавшихся романтизмом и новейшей идеалистической философией, была, строго говоря, не столько редакционным, сколько домашним кружком братьев Полевых. В делах редакции кружок этот не принимал руководящего участия, но именно на его собраниях слагались и оформлялись философские и художественные мнения братьев Полевых.

Особое значение в истории «Московского телеграфа» имеет сотрудничество П. А. Вяземского. На первых порах он играл в журнале очень значительную роль. Более того, он называл себя «в полном смысле крестным отцом Телеграфа, чуть ли не родным». Вот как рассказывает он о возникновении журнала: «...Полевой со мной познакомился и бывал у меня по утрам. Однажды застал он у меня графа Михаила Вельггорского. Речь зашла о журналистике. Вельггорский спросил Полевого, что он делает теперь. — «Да покамест ничего»; — отвечал он. — «Зачем не приметесь вы из-

давать журнал?» — продолжал граф. Тот благоразумно отнекивался за недостатком средств и других приготовительных пособий. Юноша был тогда скромн и застенчив. Вьельгорский настаивал и преследовал мысль свою; он указал на меня, что я и приятели мои не откажутся содействовать ему в предприятии его, и так далее; дело было решено. Вот как, в кабинете дома моего, в Чернышевом переулке, зачато было дитя, которое после наделало много шума на белом свете. Я закабалил себя Телеграфу».¹

Из письма Вяземского к А. И. Тургеневу и В. А. Жуковскому от 20 ноября 1826 года узнаем немаловажную подробность относительно его журнального альянса с Полевым: оказывается, дело имело свою материальную сторону. «От нечего делать, от безденежья, — писал Вяземский, — обязался я участвовать в Телеграфе и за участие брать с издателя половину барышей его».² Здесь явно сквозит желание отвести в слегка шуточной форме дружеские обвинения в «измене» своей группе (точнее — «Московскому вестнику», куда зазывал Вяземского Пушкин). На самом деле тесное сотрудничество Вяземского с Полевым имело, кроме материального расчета, и другие, более глубокие основания. При этом нужно учесть некоторые обстоятельства жизни Вяземского в это время, а именно увольнение его с государственной службы (в результате перлюстрации его переписки) и установление над ним негласного полицейского надзора.

Вытесненный с наступлением реакции почти из всех журналов (за исключением заштатного «Дамского журнала»), Вяземский, по природе — журнальный боец, полемист, настойчиво искал такое журнальное поле, которое мог бы назвать своим. Репутация человека политически неблагонадежного, поднадзорного, естественно, лишала его права на издание собственного журнала. Поэтому он и поддержал журнальный проект Полевого и занял в «Московском телеграфе» хотя и

¹ П. А. Вяземский. Полное собрание сочинений, т. 1. СПб., 1878, стр. XLVIII.

² «Архив братьев Тургеневых», вып. 6. Пг., 1921, стр. 46.

негласное, но первенствующее положение в качестве присяжного критика и фактического руководителя редакции. «Иная книжка «Телеграфа» была наполовину наполнена мною, или материалами, которые сообщал я в журнал, — писал впоследствии Вяземский. — ... Сначала медовые месяцы сожития моего с Полевым шли благополучно, работа кипела. Не было недостатка в досаде, зависти и брани прочих журналов. Все это было по мне, все подстрекало, подбивало меня. Я стоял на боевой стене, стрелял из всех орудий, партизанил, наездничал и под собственным именем и под разными заимствованными именами и буквами».¹

Первое время Николай Полевой действительно находился всецело под влиянием Вяземского. А Вяземский в свою очередь не жалел для «Телеграфа» ни времени, ни сил. Он служил ему стихами, критическими статьями и главным образом полемическими фельетонами, печатавшимися за подписью «Журнальный сыщик».² Фельетоны «Журнального сыщика» пользовались в свое время шумным успехом и, по словам самого Вяземского, вызвали «контрафакции», подделки: «Сам издатель Телеграфа или другие, тайные по особым поручениям, чиновники его подписывались под мою руку». Вяземский утверждал даже, что «подобные мелкие журнальные неприятности» были одной из причин, «побудивших его совершенно отстраниться от всякого участия в Телеграфе».

Вяземский оказал Н. Полевому на первых порах очень существенную поддержку своей авторитетной защитой «Московского телеграфа» и его издателя от злобных нападок журнальных антагонистов. Он неоднократно выступал в печати против недостойных насме-

¹ П. А. Вяземский. Полное собрание сочинений, т. 1, стр. XLVIII—XLIX.

² Возможно, что псевдоним «Журнальный сыщик» был коллективным, что им пользовался также и сам Н. А. Полевой (см.: В. Березина. Н. А. Полевой в «Московском телеграфе». — «Ученые записки ЛГУ», 1954, № 173, стр. 105). Другие псевдонимы П. А. Вяземского в «Московском телеграфе»: Асмодей (также Ас. и А.), Ас. Б. («Астафьевский боярин»), Г. Р.-К. (т. е. Григорий Римский-Корсаков, именем которого Вяземский воспользовался, «чтобы сбивать с толку московских читателей»).

шек над купеческим происхождением Полевого. Он привлек к сотрудничеству в журнале видных писателей из числа своих друзей. Он служил Полевому и своими знаниями и своим вкусом. Но Полевой, как видно, вскоре же стал тяготиться этой опекой, тем более что Вяземский усвоил по отношению к нему властный, диктаторский тон. Прошло два-три года, и Вяземский уже встречал со стороны Полевого самое упорное сопротивление.

Пути Вяземского и Полевого решительно разошлись, и это расхождение подготавливалось исподволь. Правда, в 1826—1827 годах, когда Пушкин усердно уговаривал Вяземского войти в редакцию «Московского вестника», тот наотрез отказался «бросить Полевого, когда другой журнал подрывает его». «Я хотел оставаться верен данному обещанию, — писал Вяземский впоследствии, — и, вероятно, хотелось мне быть полным хозяином в журнале, что некоторое время и было, тогда как в «Московском вестнике» был бы я только сотрудником». В 1827 году Вяземский еще работает для «Телеграфа» «усердно и деятельно» — вербует новых сотрудников, запрашивает материал у А. И. Тургенева и В. А. Жуковского, вступает в переговоры с Я. Толстым и французским литератором Э. Геро о парижских корреспонденциях для «Телеграфа», выписывает для редакции иностранные журналы и книги и громит врагов «Телеграфа» в фельетонах «Журнального сыщика». Но в то же время дружеские отношения его с Полевым были уже на ущербе. В ноябре 1827 года он сообщает А. И. Тургеневу о своих планах организации собственного журнального предприятия — «Современник», по типу трехмесячных английских «Review», при участии Пушкина, Жуковского и Д. В. Дашкова, а в декабре того же 1827 года извещает Н. А. Муханова, что покидает редакцию «Московского телеграфа» — «без всякой ссоры и разрыва, а так, от скуки, и от того, что предстоят мне многие поездки и, следовательно, мало времени для постоянного занятия». Примерно так же объяснял он свой уход и А. И. Тургеневу: «Я отказался от деятельного участия в «Телеграфе» и только иногда прокатываться буду на

вольных. Между тем я все-таки остаюсь патроном «Телеграфа».¹

Конечно, Вяземский вышел из редакции «Московского телеграфа» не только в силу внешних обстоятельств («недостаток времени»). Истинная причина была в окончательно выявившемся несовпадении его социально-политических и литературно-журнальных мнений с тем, что все громче и настойчивее говорил Полевой. Они имели все основания быть недовольными друг другом. Об этом недвусмысленно заявил сам Вяземский: «Я добровольно вышел из редакции «Телеграфа», когда пошел он по дороге, по которой не хотел я идти». И в другом месте: «...издатель начал делать попытки по своему усмотрению: печатал статьи, изъявлял мнения, которые выходили совершенно вразрез с моими... Мне это не понравилось, и я отказался от сотрудничества. Впрочем, может быть, и Полевой рад был моему отказу. Журнал довольно окреп, участия моего было уже не нужно, а между тем, по условию, должен был я получать половину чистой выручки. Журналисту и человеку коммерческому легко было расчесть, что лучше не делить барыша, а вполне оставить его за собою. Что же? Полевой был прав, и я несколько не виню его. Был прав и я».²

Окончательный и очень резкий разрыв Вяземского с Полевым произошел в конце 1829 года, когда Полевой выступил с разрушительной критикой «Истории государства российского» Карамзина, посягать на авторитет которого, по глубокому убеждению Вяземского, было преступлением. Ниже мы еще коснемся этого эпизода.

Наряду с П. А. Вяземским в качестве протектора и наставника Полевого следует упомянуть Сергея Дмитриевича Полторацкого — личность во многих отношениях колоритную.

Выходец из богатой и просвещенной дворянской семьи, Полторацкий, рано лишившийся отца, остался

¹ «Остафьевский архив», т. 3. СПб., 1899, стр. 166 и 173; ср. «Русский архив», 1905, кн. 1, стр. 328.

² П. А. Вяземский. Полное собрание сочинений, т. 10. СПб., 1886, стр. 291, и т. 1. СПб., 1878, стр. XLIX.

единственным наследником весьма значительного состояния и драгоценной библиотеки, собранной его дедом со стороны матери — известным купцом-библиофилом П. К. Хлебниковым — и долго остававшейся самым крупным из русских частных книжных собраний. Побыв некоторое время в военной службе, Полторацкий весной 1827 года вышел в отставку и занялся сельским хозяйством, промышленными предприятиями (учредил первую в России игольную фабрику) и больше всего — библиофилией и библиографией. Книга была и на всю жизнь осталась главной страстью Полторацкого. Библиографом он был посредственным и так и не удосужился издать свой «Библиографический словарь русских писателей», над которым работал без малого полвека. Как библиограф он оставил после себя всего лишь несколько журнальных заметок, тощих брошюрок и довольно небрежных публикаций.

Близко знавший Полторацкого известный французский библиограф Керар, (автор единственной обстоятельной биографии Полторацкого¹) характеризует его как «пытливого ученого, который приобрел под русским небом французскую живость и парижскую утонченность». Живости он был действительно необыкновенной. Достаточно сказать, что, выйдя в отставку, он в течение нескольких дней проиграл в карты фантастическую сумму — 700 тысяч рублей; дело это приобрело широкую огласку, и над Полторацким была учреждена опека, под которой он и прожил всю свою долгую жизнь. Книги и карты под конец совершенно разорили Полторацкого; он умер (в 1884 году) в лютой бедности.

Гораздо интереснее для нас, что Полторацкий слыл в обществе заядлым вольнодумцем. Знаменательно в этом смысле, что чиновник Третьего отделения М. Я. фон Фок в докладе о «московских настроениях», составленном в 1827 году для Бенкендорфа, называет Полторацкого в числе вожakov «истинно бешеных либералов».² Еще более знаменательно, что Полторац-

¹ I. M. Querard. Notice sur M-r Serge Poltoratzky. Paris, 1854.

² «Русская старина», 1902, т. 109, № 1, стр. 34.

кий, будучи в Париже, принял непосредственное участие в июльских событиях 1830 года, причем не только «ораторствовал», но и вступил инсургентом в национальную гвардию Лафайета и, по некоторым сведениям, даже сражался на баррикадах. Эта история также послужила злобой дня в московских салонах, и еще тридцать лет спустя Е. П. Ростопчина вспоминает в своем «Доме сумасшедших», как Полторацкий «с конным Лафайетом рукожатыя обменял».

Вторую половину жизни Полторацкий провел в Европе, изредка наезжая в Россию. Он был довольно близок с Герценом, встречался с И. С. Тургеневым. На склоне лет судьба доставила ему случай быть свидетелем еще одной революции — неизмеримо более пламенной и бурной, нежели события 1830 года: он жил в Париже в дни Коммуны 1871 года. Замечательно, что его репутация вольнодумца оставалась непоколебленной. П. А. Вяземский писал Полторацкому 19 апреля 1871 года: «Кажется, ты взял абонемент на все парижские революции. Ты отпраздновал июльскую и празднуешь все те, которые совершаются в наше время. Любопытно знать, чью руку целовал ты ныне за неимением лафайетовской?»¹

Возвращаясь к роли, которую играл Полторацкий в «Московском телеграфе», следует упомянуть, что в двадцатые годы он был тесно связан с французской журналистикой. На обложке наиболее распространенного и влиятельного французского журнала того времени — «Revue encyclopédique», в числе других сотрудников, был поименован и «M-r Serge Poltoratzky de Moscou». Начиная с 1822 года по 1831 Полторацкий регулярно помещал в этом журнале статьи, рецензии и заметки, преимущественно о русской литературе.² Уже по одному этому Полторацкий явился для Полевого ценным сотрудником: через него «Московский телеграф» устанавливал свои связи с французской прессой.

¹ «Новь», 1885, № 9, стр. 94.

² Статьи Полторацкого в большинстве не подписаны. Они частично учтены в «Table décennale de la Revue encyclopédique 1819—1829», par P. A. M. Miger. Paris, 1831, t. 2, pp. 371—374.

Познакомившись с Полевым, Полторацкий со свойственным ему энтузиазмом вошел в дела «Московского телеграфа». Время от времени он печатал в «Телеграфе» свои статьи и библиографические разыскания, но не в этом была суть его участия. По словам Вяземского, он был «кумом, отцом, единоверцем, благодетелем и другом Телеграфа». Вяземский же, со своей стороны, смотрел на Полторацкого как на своего помощника на посту блюстителя порядка в редакции «Телеграфа». Уезжая из Москвы, он поручал Полторацкому надзор за журналом, непрерывно требовал от него точных сведений о ходе журнальных дел, выговаривал ему за неполадки. «Где ты теперь обитаешь, где машешь, мой европейский телеграф? — пишет он Полторацкому в июле 1828 года. — Придай ветра Московскому. Он так запоздал, что ни на что не похоже. Скоро август на дворе, а он еще только что маем нам улыбается... Что же ты смотришь, обер-полицеймейстер всех русских журналистов? На тебе взыщется беспорядок и оплошность». ¹ «Присматривай за Полевым!» — таков смысл всех запросов и наставлений Вяземского.

Но легкомысленному и добродушному Полторацкому не удалось удержаться на ампула опекуна и советника братьев Полевых. Советов у него не спрашивали, а наставлений его не слушали. Однако, когда Полевые открыто заявили себя противниками «аристократизма литературного», Полторацкий не порвал с ними, как сделал это Вяземский, а остался их верным другом и в дальнейшем, в сороковые годы, неоднократно пытался облегчить их тяжелое материальное положение. В 1841 году Вяземский, рекомендуя Полторацкого В. А. Жуковскому, писал (намекая на игольную фабрику своего приятеля): «Прошу его полюбить и жаловать. Он страстный библиотекарь, библиофил, библиоман, библиограф и отчасти биограф; к тому же мастер делать иголки и всем хорош, но есть и у него булавка в голове, а именно: он никак не может убедить, что Полевой врал, невежда, негодяй...» ²

¹ «Новь», 1885, № 9, стр. 89.

² «Русский архив», 1900, кн. 1, стр. 388.

Дошедшие до нас письма и записки братьев Полевых к С. Д. Полторацкому ценны тем, что они в известной мере воскрешают своеобразную идейную атмосферу редакционного кружка «Московского телеграфа». ¹ В этой связи особенно существенны два мотива, красной нитью проходящие сквозь переписку и придающие ей вполне определенный идейно-политический акцент. Это, во-первых, увлечение национально-освободительным движением в странах Латинской Америки и буржуазно-демократическим строем в Соединенных Штатах; во-вторых, напряженный интерес к литературе и публицистике французской буржуазной оппозиции эпохи Реставрации и Июльской монархии.

Вопрос о южноамериканской национальной революции двадцатых годов в ее отражении в русской литературе и журналистике того времени заслуживает пристального внимания. Переписка Полевых с Полторацким ясно показывает, сколь заинтересованно следили передовые русские люди за всеми перипетиями далекой заокеанской эпопеи. Восторженное отношение корреспондентов к личности и к делу Симона Боливара приобретало особый смысл. В непритязательной дружеской болтовне, в шуточных клятвах «во имя Боливара, и Вашингтона, и Лафаэта» сквозит нечто серьезное, много говорившее душе и сердцу Полевых и Полторацкого.

Они наделили друг друга именами героев южноамериканской революции. Так, Николай Полевой присвоил себе имя гайтянского президента генерала Бойё (Полторацкий же был «гражданином Нью-Йорка», «достойным потомком Вашингтона»). ² Квартира По-

¹ Письма — в Рукописном отделе Гос. Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.

² Эта кружковая терминология проникала и в печать; см., например, статью Н. Полевого «Взгляд на русскую литературу 1825 и 1826 г.», с подзаголовком: «Письмо в Нью-Йорк к С. Д. П(олторацкому)» («Московский телеграф», 1827, ч. 13, стр. 5—19 и 198—209). Здесь, в частности, упоминаются «великий Вашингтон» и Франклин.

левых называлась Порт-о-Пренсом (столица республики Гаити). Они «издавали» шуточную рукописную газету «*Diario inflammatо*», снабженную эпиграфом: «Боливар — великий человек» и лозунгом: «Вашингтон бессмертен!»¹ Вот, для примера, в каком духе и тоне велась переписка:

«У нас в Порт-Опренс тихо, а видели ль, какой вздор пишут о Гаити в *европейских журналах*? В субботу, то есть послезавтра, будет у нас маленькое собрание друзей изящного. Будет Вяземский и Пушкин, с *брюхом*, т. е. с Соболевским, будет и любезный сотрудник *Нотр ревью*: не правда ли? Мы хотели завтра посылать нарочно к вам в Нью-Йорк. Приезжайте поспорить, поговорить о Боливаре, который только что явился, как все раздоры умолкли... У нас в Гаити кофе уродился, а индиго не так хорошо... Радуйтесь, милый Гражданин, что *Боливар подтвердил* наши с вами мнения о Наполеоне. Это найдете вы в *le Pilote*» (письмо от декабря 1826 или января 1827 года);

«Дивитесь вы подлости европейцев, но Старый свет явно чахнет и гниет; только у нас, в Гаити и Бостоне, является новое, сильное человечество» (28 марта 1827 года);

«Боливар великий человек! Что с Вами сделалось, гражданин? Болен? Да поможет Вам тень великого Франклина: он умел отнять *молнию у неба и скиптр у тиранов*» (март — апрель 1827 года);

«Примите, гражданин, мое почтение и поклонитесь вашему другу Адамсу, — мы теперь заняты составлением уголовного кодекса для торгующих неграми. Представьте, как это гадко. Бойе говорил сильную речь. Плантации наши хороши» (март — апрель 1827 года);

«Верьте, гражданин, клянусь Вам священным прахом Вашингтона, не изменю благородному намерению

¹ Один «номер» этой газеты (автограф Н. А. Полевого) сохранился. Он воспроизведен в книге «Николай Полевой. Материалы по истории русской литературы и журналистики тридцатых годов». Л., 1932, стр. 48—49.

делать все что можно для блага отечества» (апрель 1827 года);

«Приложенное будет в № 8 Гаитского *Diario Haïtien*. Даю обет во имя Боливара, которому в Гаити хотят поставить храм и молиться, как человеку выше человеческого. Вчера в нашем собрании пилитост в честь уничтожения цензурного устава во Франции... А что же Вы ни слова не пишете о возведении Каннинга, нашего друга, о прогнании скота Веллингтона и старого дурака Эльдона? Мы пили и за это. Теперь можно ждать всего хорошего» (апрель — май 1827 года). И так далее — в том же духе.

Не приходится сомневаться, что вся эта «гаитянская» и «американская» фразеология, так прочно вошедшая в дружеский и домашний обиход корреспондентов, выражала идейные взгляды, настроения и интересы, господствовавшие в редакционном кружке «Московского телеграфа», более непосредственно и прямо, нежели подцензурные страницы самого журнала. Вместе с тем переписка Полевых с Полторацким бросает свет на многое из того, что печаталось в «Московском телеграфе» и на что не обращалось должного внимания. Особо злободневный смысл приобретают в этой связи систематически появлявшиеся в «Телеграфе» известия об американских (в частности, о гаитянских) событиях. По-видимому, намеренно запрятанные между мелочами «Смеси» и «Летописей мод», известия эти производили впечатление политически нейтрального материала.

Следует отметить, что несколько экзотическая тема Боливара и южноамериканских революций вообще занимала в русской журналистике довольно заметное место, но все, что помещалось на эту тему в «Северной пчеле», «Сыне отечества», «Вестнике Европы» и других журналах, не может идти в сравнение с тем, что сообщал русскому читателю «Московский телеграф». Здесь буквально из номера в номер шел «южноамериканский материал»: превозносили Боливара за «старания о благоденствии жителей», сообщали статистические сведения о Южной Америке, рецензировали новые книги о Чили, Перу, Мексике,

Бразилии, приводили данные о южноамериканской журналистике, печатали «Обозрение Колумбии», очерк «Нравы и обычаи гаитян», жизнеописание Боливара и его сподвижников — Сантандера, Сюкра, Урданетты, Бермудеца, Паэца и т. д. Особенно много сообщений о республике Гаити, которая неизменно расхваливалась как свободное государство мулатов и негров, основанное на принципах расового мира и равенства.¹

Можно сказать, что «южноамериканская тема» играла в «Московском телеграфе» примерно ту же роль, что в свое время, в первой половине двадцатых годов, известия о борьбе греков за свободу и независимость, — борьбе, которая вслед за Байроном вдохновляла всю плеяду русских поэтов-романтиков и деятелей декабристского литературного движения. Правда, о Греции в русских журналах писали более свободно, но и времена тогда были другие. После 14 декабря тема национально-освободительного движения стала политически запретной темой. Поэтому в «Московском телеграфе» известия об американских событиях предлагались по преимуществу в плане литературно-этнографическом, а не социально-политическом. Именно под защитным флагом этнографического интереса к далеким, экзотическим странам Полевой сумел развернуть последовательную пропаганду идей национально-освободительного движения и буржуазной демократии. Вот почему, в то время как под строжайшим цензурным запретом оставались политические новости из Европы, разнообразные известия о Колумбии, Боливии и Гаити беспрепятственно появлялись на страницах самого распространенного и влиятельного из русских журналов.

Николаевская цензура сперва не сумела разгадать мимикрийную окраску этого полноценного политического материала, и только спустя несколько лет культ Боливара, Лафайета и Вашингтона был инкриминирован Полевому в обвинительной записке Уварова, вызвавшей запрещение «Московского телеграфа».

¹ Гаити стало республикой в 1822 году; независимость Гаити была признана Францией в 1825 году.

Впрочем, кое-какие сигналы подавались и раньше. Так, в 1827 году автор анонимного доноса на Полевого, поданного Бенкендорфу, указывал, что «все, что запрещается в Петербурге говорить о независимых областях Америки и ее героях, с восторгом помещается в «Московском телеграфе».

Не менее показательным для характеристики идеологических симпатий, разделявшихся членами редакционного кружка «Московского телеграфа», является увлечение их «гражданской свободой» в Соединенных Штатах Северной Америки, а также деятельностью английских либералов. В письмах к Полторацкому Н. Полевой с неизменной восторженностью отзывается о Вашингтоне, Франклине и особенно о Лафайете — этом, по меткому определению Гейне, «Наполеоне буржуазии». Вместе с Лафайетом и Каннинг, этот лидер буржуазной Англии, служит для Полевого примером государственного деятеля, образцом «гражданской доблести».

В 1831 году на страницах «Московского телеграфа» не трудно было обнаружить явное, хотя по необходимости и выраженное в прикровенной форме, сочувствие к национально-освободительному движению в Польше. Нужно добавить в этой связи, что личное общение братьев Полевых с видными польскими национал-либералами (А. Мицкевичем, Ф. Малевским и др.) в двадцатые годы, безусловно, сыграло свою роль в формировании их общественно-политических взглядов. В «Московском телеграфе» велась настоящая пропаганда польской литературы вообще, творчества Мицкевича — в частности. В 1827 году Н. Полевой издал перевод «Польской истории» Иоахима Лелевеля, а в 1829 году — «Крымские сонеты» Мицкевича в переводе И. И. Козлова и с предисловием П. А. Вяземского.

Но наиболее существенным при выяснении социально-политической ориентации Полевого остается вопрос о его «французских отношениях». В 1825—1827 годах он установил и непосредственные связи с некоторыми деятелями французской журналистики, в частности с Э. Геро, очень влиятельным сотрудни-

ком «Revue encyclopédique» Знаток русской литературы (он десять лет прожил в Петербурге), Э. Геро неустанно пропагандировал ее во Франции; из множества его статей и рецензий в «Revue encyclopédique» добрая половина посвящена русской литературе. В 1827 году по инициативе Геро с ним велись переговоры (через проживавшего в Париже А. И. Тургенева) о том, чтобы он взял на себя обязанности постоянного корреспондента «Телеграфа». Переговоры не увенчались успехом, но Геро остался другом «Телеграфа» и пропагандистом его в парижских литературных кругах.¹

«Revue encyclopédique» было особенно близко сердцу и уму Полевого благодаря своей разнообразной, энциклопедически широкой программе. «Московский телеграф» и внешним образом оформлялся по образцу этого популярнейшего в свое время французского журнала. Не менее притягательными были для Полевого и некоторые другие французские периодические издания двадцатых — тридцатых годов, более всего — «Globe», «Revue française» и «National». Это были органы политической партии доктринеров, в годы Реставрации составлявшей ядро либерально-буржуазной оппозиции и стремившейся к установлению конституционной монархии на британский лад. После Июльской революции 1830 года, окончательно закрепившей во Франции буржуазный строй, доктринеры пришли к власти и быстро растеряли свою оппозиционность. Compliments, которые расточались по адресу названных трех изданий в «Московском телеграфе», весьма характерны: умеренный либерализм доктринеров вполне отвечал собственным взглядам и надеждам Полевого, сочетавшим преклонение перед конституционными свободами с преданностью «сильной власти».

¹ Еще осенью 1826 года в отзыве о «Московском телеграфе» Э. Геро писал: «Мы желали бы войти с ними (издателями «Телеграфа») в сношения» («Revue encyclopédique», 1826, XXXII, pp. 118—123; перепечатано в «Московском телеграфе», 1827, ч. 13, отд. 2, стр. 150—158).

В высшей степени показателен и самый круг французских писателей, публицистов, ученых, с которыми Полевой пытался установить непосредственную связь. Из письма его к С. Д. Полторацкому от января 1829 года мы узнаем перечень лиц, которым высылались «Московский телеграф». Это Э. Геро, М.-А. Жюльен, Деппинг, Гольбери, Ж.-Б. Сей, Сисмонди, Монас, Ш. Дюпен, Нивье, А.-Ж. Бланки, Л. Галеви, Л. Тьессе, Монжери, Моро Дежонс, Ф. Дежорж — все защитники идеи буржуазного процветания, в большинстве связанные с доктринарами.

Июльской революции 1830 года, закрепившей решительную победу французской буржуазии над силами дворянской реакции, в «Московском телеграфе» уделялось большое внимание. Июльская монархия, с точки зрения Полевого, являла собой пример идеально устроенного государства; он видел в ней то, к чему сам осторожно и прикровенно призывал читателей своего журнала. Цензурные условия, разумеется, не позволяли Полевому высказаться по поводу Июльской революции во весь голос, однако симпатии к ней были выражены в «Московском телеграфе» достаточно явно и отчетливо. «Не живем ли мы при возрождении Франции? — писали здесь в 1830 году. — Не была ли вся прошедшая история ее годиною испытаний, приготовившею счастливое настоящее? И не говоря даже о политическом состоянии сей страны, довольно взглянуть на одну умственную деятельность французов...»¹

Не имея возможности прямо и открыто говорить о «политическом состоянии» Франции, «Московский телеграф» сосредоточивался на известиях о ее «умственной деятельности», сплошь и рядом допуская многозначительные политические намеки. В журнале в изобилии помещались переводы из сочинений виднейших деятелей французской буржуазной оппозиции

¹ «Московский телеграф», 1830, ч. 31, стр. 219. Это было написано Кс. Полевым в порядке ответа Ивану Киреевскому, который утверждал, что Западная Европа в 1830 году «представляет вид какого-то оцепенения».

(Гизо, Тьера, Вильмена, Минье, Тьерри, Мишле, Дюпена, Жирардена и др.), подчас жестоко урезанные цензурой. В отделе критики и библиографии, также в «Современных летописях» читателю предлагались рецензии об их трудах и сообщались данные об их общественной и литературной деятельности.

Стесненный до крайней степени цензурными рогатками, Полевой пытался если не растолковать читателям «Телеграфа» смысл июльского переворота, то хотя бы познакомить их с событиями 1830 года, предоставляя самим читателям сделать должные выводы. В этом отношении характерна статья «Историческое обозрение 1830 года»,¹ написанная очень осторожно, но с расчетом на некоторую дополнительную работу читательского воображения. 1830 год назван здесь «одним из самых достопамятных годов всего XIX столетия», но вместе с тем подчеркнуто, что Россия, «удаленная от бурь политических», чужда «ослепления страстей Западной Европы». Июльские события даже названы далее «порывом бедствия», но в то же время довольно резко осужден реакционный режим в Англии и Франции при министерствах Веллингтона и Полиньяка. Предлагая читателю подробную документированную хронику событий Июльской революции, статья обрывается на эпизоде 19 марта (ропуск Карлом X палаты депутатов). Несмотря на помету: «Продолжение в следующей книжке», продолжения не последовало, — конечно, в результате вмешательства цензуры, хотя автор статьи (один из братьев Полевых) и оговорился в самом начале, что изложит события 1830 года подробно, «но без всяких политических догадок и суждений, на которые мы, как современники, не имеем даже никакого права... Пусть говорят *дела и события*».

Остается добавить, что июльский режим, после того как он установился окончательно, далеко не всегда оправдывал надежды Полевого. В его писаниях начали проступать ноты разочарования в любимых героях, «потерявших блеск от жарких лучей июльского

¹ «Московский телеграф», 1831, ч. 37, стр. 114—119.

солнца» (*Гейне*). Уже в 1832 году Полевой высмеивает «смешное аристократство» доктринеров, упившихся «хмелем» июльской победы. В частности, осуждение его вызывают ставшие министрами Вильмен и Кузен (который как философ «был велик», а как вельможа — «забавен»).¹ Симпатии Полевого в это время привлекают по преимуществу представители левого крыла доктринеров, в частности республиканец Арман Каррель, находившийся в активной оппозиции к правительству Луи-Филиппа. В 1833 году Полевой называет журнал Карреля «*National*» «лучшим из оппозиционных журналов», подчеркивая, что он «отличается резкою правдою во всех возможных случаях и умеет высказывать ее умно и благородно».²

Так же и Кс. Полевой в том же 1833 году «вздыхал» о «прежних доктринерах» и об их журналах, проникнутых боевым духом: «Взглянув на книжку и надпись Жюльена, я вздохнул о времени деятельности этого старика, ибо, по сцеплению идей, мне пришли на память *Globe* и *Revue française* и доктринеры... Куда все это делось теперь? И что за все это? Бакенбарты Луи-Филиппа? Или то, что он испакостил всех людей с дарованием, посадивши не на свои места Тьера, Гизо, Кузена, Баранта, Вильмена?..» (письмо к С. Д. Полторацкому от 30 сентября 1833 года).

9

Успех «Московского телеграфа» был велик. По словам В. Г. Белинского, он «с первой же книжки изумил всех живостью, свежестью, новостью, разнообразием, вкусом, хорошим языком, наконец, верностью в каждой строке однажды принятому и резко выразившемуся направлению». Первые книжки журнала были распроданы в течение нескольких дней и вскоре переизданы «вторым тиснением» — факт небывалый в истории русской журналистики того времени. Тираж жур-

¹ «Московский телеграф», 1832, ч. 46, стр. 430; ч. 47, стр. 110.

² Там же, 1833, ч. 49, стр. 620.

нала (первоначально 700 экз.) уже с третьей книжки возрос до 1200 экз., и это тоже был «успех, давно не слыханный в тогдашнем журнальном мире» (Кс. Полевой). По словам того же Кс. Полевого, материальный успех поощрил издателя: он увидел, что, помимо всего прочего, «журнал дает порядочное денежное вознаграждение за труд — и тем ревностнее принялся работать».

Необыкновенная удача Полевого, а еще более — категорическое заявление его, что он берет на себя роль литературного судьи, «уставщика», — немедленно внесли страшную тревогу в умы московских и петербургских журналистов. Еще до появления первой книжки «Телеграфа» сочувственно относившийся к Полевому В. Ф. Одоевский высказал уверенность (в третьей книжке «Мнемозины»), что новый журнал «встретит много и много себе противников». Одоевский оказался пророком: журналисты разных направлений приняли «Московский телеграф» в штыки, и Полевой против воли был на долгие годы втянут в ожесточенную полемику.

Застрельщиками этой шумной журнальной распри выступили реакционные литераторы Н. Греч и Ф. Булгарин, руководители двух крупных тогдашних журналов — «Сын отечества» и «Северный архив» — и только что возникшей официозной газеты «Северная пчела». Нужно сказать, что в 1825 году, до восстания декабристов, Булгарин и Греч еще не выявили своей политической продажности и человеческой подлости, пользовались хорошей репутацией и находились в тесных отношениях с передовыми писателями (Грибоедовым, Рылевым, А. Бестужевым, Кюхельбекером и др.). До возникновения «Московского телеграфа» Н. Полевой тоже сотрудничал со своими будущими антагонистами: Греч был в числе первых его «покровителей»; статьи Полевого печатались в «Сыне отечества» и в «Северном архиве» в 1823—1824 годах; он был приглашен и в «Северную пчелу». После того как в Петербурге стало известно о проекте издания «Московского телеграфа», Булгарин 27 октября 1824 года обратился к Полевому с письмом (оно до нас не

дошло), в котором убеждал его «отступить» от мысли издавать собственный журнал, предлагал «снять вместе откуп журнальный» и «со всем жаром сердобольного участия пугал его затруднениями, сопряженными с званием издателя, уговаривая действовать лучше общими силами». ¹ Но как только Полевой отклонил «дружеские» и «благонамеренные» советы Булгарина и Греча, они открыли в своих печатных органах настоящую травлю «Московского телеграфа», продолжавшуюся непрерывно и со все возрастающим ожесточением в течение двух с половиной лет. Причина этой полемики была прозрачно ясна: шла борьба за гегемонию в литературной жизни, или — как тогда говорили — за «журнальную монополию».

«Северная пчела», «Сын отечества» и «Северный архив» не только систематически печатали статьи и заметки, изобличавшие «самонадеянность и несправедливость», «резкий, решительный тон», «неосновательные сведения в науках», «дух партий и пристрастие к приговорам», «незнание русского языка и грамматики» и другие действительные и мнимые грехи «Московского телеграфа», но и предоставили свои страницы авторам, имевшим основания быть недовольными новым журналом. В №№ 80 и 82 «Северной пчелы» 1825 года появились «Письма бригадирши, или Горе от Московского телеграфа» (автором их был, по всей видимости, Булгарин), открывшие собою целую серию не столь остроумных, сколь злобных фельетонов и памфлетов, высмеивающих мелкие ошибки, оговорки и промахи Полевого. Так, например, долго высмеивались ошибки, допущенные в «Московском телеграфе» в транскрипции имен французских рыцарей (в переводе отрывков из «Истории герцогов Бургундских» Баранта) или в обозначении модного цвета «gris roussièrre» (переведенного: «Грипусье»). Запальчивость Булгарина доходила до того, что Н. Поле-

¹ «Московский телеграф», 1825, ч. 4, стр. 176. См. также открытое письмо Н. Греча к Н. Полевому в «Сыне отечества», 1825, ч. 104, стр. 193, и его же частное письмо к Полевому (1824 г.). — «Русская старина», 1871, т. 4, № 12, стр. 677—678.

вой, не раз обруганный в «Северной пчеле» самым площадным образом, однажды был назван даже «обшипанным заводчиком» (см. № 62 за 1825 год), а «Московский телеграф» сравнивался с «кубом» (перегонным) и «спиртом», что должно было служить тонким намеком на принадлежавший Полевою водочный завод.

«Сын отечества» в своих выступлениях против «Московского телеграфа» старался соблюсти хотя бы внешним образом некоторую благопристойность. Здесь ученый Греч вел методический подсчет ошибок и недомолвок, выловленных в статьях «Телеграфа». В конце концов издатели «Сына отечества» решили собрать воедино все материалы, направленные против «Телеграфа», и разослать при журнале; получился довольно объемистый том (до 200 страниц). Сверх того было издано еще «Особое прибавление к «Сыну отечества», где автор, скрывшийся под инициалами NN (по-видимому, Греч), пытался принципиально обосновать позицию этого журнала в отношении «Московского телеграфа», якобы вызвавшего русских журналистов «на поприще полемики» своим «диктаторским тоном», «решительностью несправедливых приговоров и неосновательных замечаний». Все это осуждалось тем более, что сам Полевой «в первоначальных даже предметах книжного учения имеет слабые познания, не умеет владеть языком отечественным и не знает языков иностранных, с которых берется переводить», а в программной статье, «выставив идеал совершенного журнала, с забавным самодовольством уверяет, что может выполнить все требования».

Атака Булгарина и Греча была поддержана другими журналистами. «К даровитым противникам, — пишет Кс. Полевой в «Записках», — присоединялись и разные обиженные новым журналом писатели и стихотворцы, петербургские и московские, которым, кроме того, были настежь открыты двери и в «Вестнике Европы», и в «Дамском журнале», и в «Благонмеренном».

Издатель ничтожного «Дамского журнала» — плаксивый стихотворец и драчливый журналист князь

П. И. Шаликов — вел с «Московским телеграфом» беспрерывную и ожесточенную распрю в течение пяти лет (1825—1829). В большинстве случаев нападки Шаликова носили совершенно мелочной характер и отличались разве крайней неумеренностью тона. Полевой задел Шаликова в первой же книжке «Телеграфа», посмеявшись над «нежной чувствительностью» множества бездарных и безвестных виршеплетов, заполнявших «Дамский журнал» (это была любимая тема П. А. Вяземского, в свое время высмеявшего самого Шаликова под именем «Вздыхалова»). Значительную роль в полемике «Дамского журнала» с «Московским телеграфом» сыграли также модные картинки, прилагавшиеся к «Телеграфу». Шаликов усмотрел в этом посягательство на свое монопольное право обслуживать «прекрасных читательниц». Журнал Шаликова с особенным удовольствием издевался над купеческим происхождением и водочным заводом Полевого и награждал его презрительными кличками: «винокур», «торгаш», «трехгильдейный бирюч литературный», «мещанин, торгующий напитками, вылезший из мрачной глубины погреба» и т. п. Иногда на страницах этого «дамского» журнала появлялись и значительно более серьезные обвинения по адресу «Московского телеграфа»; так, например, в 1829 году он был назван здесь «вместилищем примеров предосудительных, даже вредных для нравственности и общего порядка».

В ряду журнальных противников Полевого не последнее место занимал А. Ф. Воейков, в прошлом связанный с прогрессивными литературными кругами, но с течением времени превратившийся в беспринципного литературного торгаша. На первых порах Воейков, по дружбе с П. А. Вяземским, даже приветствовал появление «Московского телеграфа» и долго, до 1828 года, не выступал его открытым противником, хотя и воспринял журнальные успехи Полевого как личную обиду и вредил ему исподтишка. В 1825—1827 годах Воейкова до некоторой степени сближало с Полевым общее им враждебное отношение к Булгарину и Гречу.

Но как только Полевой заключил мир с этими журналистами (об этом будет сказано дальше), положение резко изменилось, — тем более что и уход Вяземского из редакции «Телеграфа» развязал Воейкову руки. В своем журнале «Славянин» Воейков завел специальный отдел «Хамелеонистика», где из номера в номер преследовал Полевого мелкими придирками и злобной руганью. Здесь Полевой без обиняков был назван и «шарлатаном», и «ученым самозванцем», и «спекулянтom», и «пройдохой Выручкиным» и т. п., а «Московский телеграф» сравнивался с «кубом бумагомарания, в коем перегоняет Полевой слова, как спирт, посредством паров санскритского языка и, сливая в бочку массивных наречий, закупоривает их изобретенною им мастикой шарлатанизма, а потом ставит эту подмесь в темный подвал невежества» (как видим, и здесь все те же остроумные намеки на занятия Полевого винокурением). В нескольких книжках «Славянина» за 1828 год печатался длинный «Венок, сплетенный бригадиршею из журнальных листов для издателя Московского телеграфа», где были собраны (перепечатаны из разных журналов) все наиболее резкие статьи и заметки, направленные против Полевого. Воейков продолжал злобно нападать на «Московский телеграф» и позже, в 1830—1832 годах — в газете «Русский инвалид» и «Литературных прибавлениях» к ней.

В 1829 году к числу врагов «Телеграфа» примкнула «Галатеея» — довольно захудалый журнал, издававшийся С. Е. Раичем, в прошлом приятелем Полевого. «Галатеея», в сущности, и «прославилась» лишь своей из ряда вон выходящей по грубости полемикой с «Московским телеграфом». Вяземскому этот журнал напоминал «московских баб, торгующих на перекрестках гнилыми яблоками: тот же говор и те же ругательства». ¹ Раич не гнушался прямыми политическими доносами на своего противника. «Пересмотрите большую часть номеров «Московского телеграфа», —

¹ Письмо к И. И. Дмитриеву от 7 апреля 1829 года. — «Русский архив», 1868, стлб. 605.

писал он, — и вы с ужасом увидите, как много посеял он зловредных плевел». ¹

Выступил против «Московского телеграфа» и старейший русский журнал «Вестник Европы». В течение ряда лет полемика его мало чем отличалась от мелочных и, в сущности, беспринципных «привязок» и бешеной ругани «Северной пчелы» и «Дамского журнала». Только в 1828 году, в связи с выступлениями Никодима Надоумки (Н. И. Надеждина), полемика эта приобрела более серьезный и общий характер. Н. Полевой, под псевдонимом «И. Бенигна», резко обрушился на «Вестник Европы», в частности на статью Надоумки «Литературные опасения». ² Редактор «Вестника Европы», старый реакционер М. Т. Каченовский, усмотрел в нападках Полевого не более и не менее как посягательство на его «личную честь» и подал формальную жалобу в цензурный комитет на цензора С. Н. Глинку, пропустившего в печать статью Бенигны. В полемике по этому поводу, распространившейся почти на все московские и петербургские журналы, между прочим, принял участие (на стороне Полевого) и А. С. Пушкин, написавший статью «Отрывок из литературных летописей» (появившуюся в альманахе «Северные цветы» на 1830 год) и эпиграмму «Журналами обиженный жестоко...» (напечатанную в «Московском телеграфе», 1829, ч. 26).

Николай Полевой сначала не предполагал ввязываться в журнальную полемику. В оповещении об издании «Московского телеграфа» он сказал, что является принципиальным противником всякого рода мелочных и задиристых «антикритик» и что им не будет дано места в его журнале. Однако сразу же по выходе в свет первой книжки «Телеграфа» обстоятельства вынудили Полевого вступить на путь полемики. Известную роль при этом сыграло, вероятно, влияние

¹ «Галатей», 1829, ч. 6, стр. 297.

² «Новости и перемены в русской журналистике на 1829 год». — «Московский телеграф», 1828, ч. 23, стр. 478—494; см. другую статью И. Бенигны — «Литературные опасения кое за что» (1828, ч. 24, стр. 349—380, в форме разговора Бенигны с «Желтяком», т. е. Надеждиным).

П. А. Вяземского, наделенного боевым темпераментом литературного спорщика и бойца. В «Особом прибавлении» к № 2 «Телеграфа» уже было сказано, что «исключение антикритик» из журнала оказалось «невозможным»: «Издатель не имеет никакого права отказывать в помещении дельных (антикритических) статей, не может и сам остаться без обороны от нападений; но если допустить возражения, опровержения, замечания на замечания и прочую полемическую свиту в состав журнала, то статья «Критика и библиография» может изменить свое направление и сделаться шумным полем авторских битв. Все это заставляет издателя сделать *особое прибавление* к «Телеграфу», не входящее в счет листов, составляющих каждый номер оно. В этом прибавлении да будет полное раздолье литературной полемике». Единственным требованием, которое «Московский телеграф» предъявлял к полемическим статьям, было следующее: они должны быть «дельны», «благопристойны» и «написаны без грамматических ошибок». Что касается самого «Телеграфа», то Полевой объявил, что «издатель всячески постарается не заводить литературных битв; принужденный же к тому другими, будет отвечать коротко и, удаляя пустое многоречие, говорить *только о существе дела*».

Таким образом составила́сь целая книга: «Особенное прибавление к Московскому телеграфу. Обзорение критических и антикритических статей и замечаний на Московский телеграф, помещенных в Дамском журнале, Вестнике Европы, Сыне Отечества, Благонамеренном, Северной пчеле, Северном архиве и писанных князем Шаликовым и гг. Н. Мел. . . , М. Дмитриевым, Булгариным, Карниолиным-Пинским, Усовым, Ертовым, А. Ф., П. Ж. К., Д. Р. К., -вым и проч.» (1825). В основном эта объемистая книга была направлена против журналов Булгарина и Греча.

Полевой был против воли втянут в распря с этими влиятельными журналистами. В феврале 1825 года П. А. Муханов писал Булгарину: «В бытность мою в Москве, Полевой познакомился со мной, — мы говорили о тебе, и я знаю, что он совершенно хотел сохра-

нить дружбу и мир с вами, как по доброму прежнему знакомству, так более из политики, из расчета, чтоб его не задели». ¹ Но, втянувшись в полемику, Полевой не уступал своим противникам в запальчивости и резкости тона. На болгаринские «Письма бригадирши» он ответил целой серией заметок «Митюши-журналушки» и «Сидоренки». Два года — 1825 и 1826 — прошли для «Московского телеграфа» под знаком борьбы преимущественно с Булгариным и Гречем.

Однако, решившись отвечать своим противникам, Полевой не учел, да и не мог заранее учесть, объема и направления развернувшейся полемики, которая почти сразу превратилась в малопрстойную перебранку, не имевшую ничего общего с литературными спорами, даже в том широком значении, какое придавалось им в то время. Подводя в конце 1826 года неутешительные итоги двухлетней бурной полемики, Полевой снова, и на этот раз решительно, отказался от помещения в «Телеграфе» антикритических статей по мелким, случайным поводам. «В течение двух лет, — писал он, — я следовал двум различным мнениям. В первый год издания «Телеграфа», мечтая убедить своих противников, я увлечен был в журнальные сражения и, глядя теперь на огромные статьи, свои и чужие, вспоминая о литературной битве, которою заняты были журналы наши и даже водевили 1825 года, признаюсь, жалею времени, потерянного на бесполезный труд... Занимаясь не антикритикою, но настоящей критикою, я, кажется, имел случай доказать, что не опасение быть побежденным заставило меня молчать, но убеждение в бесполезности антикритических переговоров». ²

Как уже было сказано, полемика «Московского телеграфа» с журналами Булгарина и Греча, с «Дамским журналом», «Вестником Европы», «Славянином», «Галатеей» была мелочной, велась на очень низком

¹ «Русская старина», 1888, т. 60, № 12, стр. 591. Там же — о том, что Полевой старался «унять» издателей «Мнемозины» — В. К. Кюхельбекера и В. Ф. Одоевского, «вооружившихся» на Булгарина «перьями и злыми намерениями».

² «Московский телеграф», 1826, ч. 12, стр. 247—248.

идейном уровне и историко-литературное ее значение ничтожно. *Идейная* борьба, которую вел «Московский телеграф», может быть продемонстрирована на материале его полемики с другими журналами.

10

Второй период в истории «Московского телеграфа», обнимающий годы 1829—1834, был ознаменован последовательной и напряженной борьбой братьев Полевых с виднейшими представителями и журнальными объединениями тогдашней дворянской литературы. В ходе этой борьбы особенно важное значение приобрела полемика «Московского телеграфа» с «Московским вестником» и «Литературной газетой».

«Московский вестник», возникший в 1827 году, с самого начала открыто противопоставил себя «Телеграфу» как журнал, ориентирующийся на узкий круг читателей особо высокой квалификации, с особо изощренными вкусами и интересами. Энциклопедизму и популяризации, о которых заботился Полевой, в «Московском вестнике» противопоставлялись добротная ученость, недоступная пониманию рядового читателя, повышенное внимание к вопросам философии, искусства, истории. Впоследствии, когда от «Московского вестника» отошел А. С. Пушкин и большая часть участников литературно-философского кружка «любоумров», журнал превратился в частное предприятие М. П. Погодина и существенно изменил свой первоначальный облик. Но это обстоятельство не отразилось на отношении его к «Московскому телеграфу», поскольку при Погодине на страницы «Вестника» получили широкий доступ воинствующие эпигоны классицизма (М. А. Дмитриев, А. И. Писарев, С. Т. Аксаков) — давние и непримиримые противники Полевого, а присяжным критиком журнала стал Н. И. Надеждин, тоже преследовавший издателя «Телеграфа» с небывающей энергией.

С течением времени полемика приобретала все более острый и принципиальный характер. Все более

резко обнажался ее смысл, заключающийся в решительном несовпадении программных идейных установок Полевого и писателей, стоявших на почве защиты дворянской культуры, сохранения за нею исключительной, руководящей роли в культурной жизни страны. В первые годы издания «Московского телеграфа», находясь в зависимости от своих протекторов во главе с П. А. Вяземским, Полевой, естественно, не мог дать полную волю своим чувствам и языку. Но как только он освободился от опеки Вяземского, он ринулся в ожесточенную борьбу с «проклятым аристократизмом» (слова Полевого в одном из его писем к С. Д. Полторацкому).

«Московский телеграф» открыто выступал против сословно-классовых привилегий, в какой бы форме и в какой бы области они ни выражались. Задачу литератора журнал видел в разоблачении «глупой, спеси, низости и невежества многих *благородных*, уничтожения *неблагородных* классов народа». Он громко заявлял, что «в мирной республике литературы нет ни плебеев, ни аристократов», и, обращаясь к дворянским литераторам с просьбой «верить, что в числе его недостатков нет литературной трусости», объявил непримиримую войну «литературному аристократизму».

«Времена удивительно переходчивы, — писали в «Московском телеграфе», — теперь требуют не знаменитости, а дела... Теперь в литературе многое разгадано, со многого сорвана маска: многим гораздо выгоднее теперь сидеть тихонько с листочком, выдернутым из старого лаврового венка, нежели шуметь и указывать знающим более их». ¹ Подобного рода ниспровержение старых литературных авторитетов обосновывалось в «Московском телеграфе» в широком социально-историческом плане. Интересно в этом отношении одно из высказываний Кс. Полевого: «Около конца осмнадцатого столетия, не ближе (после издания высочайшей грамоты дворянству), — писал он, — начал образовываться у нас класс средних между *барином* и *мужиком* существ, то есть тех лю-

¹ «Московский телеграф», 1830, ч. 31, стр. 81.

дей, которые везде составляют истинную, прочную основу государства. Из среды сего-то класса вышел Новиков...»¹ Здесь мы видим уже не только защиту прав «средних классов», но и попытку установить нечто вроде родословия русской буржуазной литературы.

Высмеивая «Литературную газету», которая объявила, что издается для узкого круга ценителей литературы, «Московский телеграф» писал: «Если некоторые газеты, по объявлению самих редакторов, издаются для *немногих* писателей, то мы имеем честь объявить, что наш журнал печатается для *многих* читателей».² Это заявление четко выражает основную принципиальную установку «Московского телеграфа» на демократизацию литературного дела в России. Отвечая на известную статью Пушкина «Новые выходки против так называемой литературной аристократии», помещенную в «Литературной газете», Полевой без обиняков и с большим достоинством заявил: «Литературная газета есть последнее усилие жалкого *литературного аристократизма*, и вот вся загадка! Грамот на *литературное достоинство* герольдия нынешней критики не только не утверждает современным *литературным аристократам*, но оспаривает оные и у тех литературных аристократов, которые давно похоронены с названием *бояр*. Теперь не дают пропуск на Парнас тем, которые лет за десяток называли себя помещиками парнасскими... Литературный аристократизм довольно шалил у нас. На него нападали и всегда будет нападать Телеграф».³

«...даю теперь последнюю битву глупому и ничтожному аристократизму литературному, — писал Полевой писателю-декабристу А. А. Бестужеву-Марлинскому. — С падением его останется по крайней мере чистое поле. Люди явятся. В началах разрушения лежат семена возрождений».⁴ И действительно, Полевой

¹ «Московский телеграф», 1830, ч. 31, стр. 206—207.

² Там же, 1830, ч. 33, стр. 77 (статья В. А. Ушакова).

³ Там же, 1830, ч. 34, стр. 242—243.

⁴ «Известия по русскому языку и словесности Академии наук», 1929, т. 1, кн. 1, стр. 204—205 (письмо от 20 декабря 1830 года).

нападал на «знаменитых» (термин эпохи) — всюду и всегда, как только представлялся случай, — и в серьезных критических статьях, и в резвых фельетонах, и в остроумных пародиях «Нового живописца». Он доказывал, что «феодалные выражения» не годятся «в мирной республике наук и словесности», требовал «не одной подписи знаменитого имени, но достоинства внутреннего и изящества внешнего», «срывал маску» (по его же выражению) с «безграмотных писаек, боярских деток», сильных не талантом, но одной принадлежностью к «благородному» сословию.

«Дубинка критика неумолима», — говаривал Полевой, и в своей идейно-литературной борьбе не щадил никого — даже Пушкина, несмотря на все свое преклонение перед его гением. «Верьте, верьте, что глубокое почтение мое к вам, — писал Полевой Пушкину, — никогда не изменялось и не изменится. В самой литературной неприязни ваше имя, вы всегда были для меня предметом искреннего уважения, потому что вы у нас *один и единственный*» (письмо от 1 января 1831 года). Однако принципиальность идейно-литературной позиции Полевого не позволяла ему выделить Пушкина из его дружеского окружения. Но, в отличие от критики, направленной в адрес других «знаменитых», отзывы Полевого о Пушкине носят своего рода «педагогический» характер: он как бы пытался внушить Пушкину сознание никчемности «литературного аристократизма», недостойного первого поэта России.

«Литературная газета» усмотрела в полемических выступлениях Полевого безответственные выходки против вековых традиций дворянской культуры и на его удары отвечала не менее болезненными контрударами, сплошь и рядом перехлестывая через край, аттестуя Полевого как «литературного демагога», «санкюлота», «журнального Дантона». ¹ Теперь, оценивая полемику Полевого с «литературными аристократами» исторически, мы видим, что у них были известные

¹ Так называет издателя «Московского телеграфа» А. Н. Вульф («Дневники», М., 1929, стр. 282), человек очень близкий к кругу «Литературной газеты».

основания для того, чтобы не щадить Полевого, ибо и он в пылу полемики не сумел подойти к дворянской литературе дифференцированно, не сумел разобраться в ее противоречиях и различить происходившую в ней борьбу реакционных и прогрессивных тенденций.

В конфликте «Московского телеграфа» с ведущей группой дворянской литературы возникло еще одно привходящее обстоятельство, усугубившее полемический запал антагонистов Полевого, а именно — его примирение с Булгариным и Гречем. Примирение это произошло в конце 1827 года, т. е. еще до того, как Полевой окончательно порвал связи с литераторами пушкинской группы. Полевой пошел на мир с петербургскими рептильными журналистами исключительно из тактических соображений, тем самым поставив под сомнение принципиальность своей позиции, на которой так настаивал.

Еще в мартовской книжке «Телеграфа» за 1827 год Полевой писал, что «тот оскорбит его, кто подумает, что он *хоть что-нибудь общего* имеет с издателями Северной пчелы». В первую половину 1827 года вражда его с Булгариным и Гречем была еще в полном разгаре, — Вяземский продолжал нападать на них в фельетонах «Журнального сыщика». Больше того: именно к 1827 году относятся поданные в Третье отделение доносы на «Московский телеграф», автором которых почти наверняка был Булгарин. Тем более неожиданной оказалась перемена в отношениях Полевого с его недругами. Поездка Кс. Полевого в Петербург весной 1828 года закрепила их сближение, и многочисленные недоброжелатели «Московского телеграфа» надолго предались обсуждению «наступательного и оборонительного трактата» Булгарина — Греча — Полевого, «утвержденного на взаимных выгодах и верных расчетах».

В «Московском телеграфе» начали похваливать Булгарина — преимущественно за то, что в романе «Иван Выжигин» он «представил быт среднего состояния русского народа», а также и за то, что «он всегда идет впереди нашей публики и угадывает ее требования». Из этого видно, что Полевой подчеркивал в дея-

тельности Булгарина те черты и моменты, которые в какой-то мере отвечали его собственным интересам, закрывая глаза на общий реакционный смысл и политическую одиозность той литературы, которую представлял Булгарин. На «привязки» же по поводу неожиданного поворота в их отношениях Полевой ответил следующим заявлением: «Писали, и неоднократно, что издатель «Телеграфа» заключил вечный мир и союз с Н. И. Гречем и Ф. В. Булгариным и что вследствие сего все издаваемое издателями «Северной пчелы» будет хвалимо в «Телеграфе», а все издаваемое издателем «Телеграфа» будет превозносимо в «Северной пчеле». Правда, что издатели «Северной пчелы» и издатель «Телеграфа» решительно прекратили пустые перепалки журнальные, но надобно быть А. Ф. Воейковым, дабы предполагать, что мир ведет к системе взаимного хваления... Похвала всегда будет куплена только достоинством сочинения».¹ И хотя вчерашние враги не скупилась на комплименты, расточаемые друг другу, мир, заключенный ими, оказался очень недолговечным: в начале 1831 года война возобновилась, правда уже далеко не с прежним ожесточением.

Последовательная борьба Николая Полевого за демократизацию русской литературы, боевые выступления его против писателей, хранивших верность заветам и традициям сословно ограниченной дворянской литературы, — важный эпизод нашей литературной истории второй четверти XIX века. Пусть в пылу полемики Полевой допускал подчас ошибки и натяжки, действовал порой как узкий сектатор, впадал в ненужный задор и т. п., — нельзя не оценить по достоинству демократический пафос его борьбы за повышение общественного значения и национального авторитета русской литературы.

До нас дошло замечательное письмо Н. А. Полевого к В. Ф. Одоевскому от 16 февраля 1829 года. Из него с большой отчетливостью проступает «портрет» Полевого — этого удивительно деятельного, неутомимого человека, целиком отдавшего своему призванию.

¹«Московский телеграф», 1830, ч. 31, стр. 243.

нию. Вместе с тем письмо хорошо характеризует самый дух деятельности Полевого, как складывалась она после полной эмансипации его от влияния Вяземского и других высоких протекторов.

«Вы не поверите, что за жизнь веду я теперь, — писал Полевой. — Совершенно уединенную, в кругу семейства; в отношении общества я со всеми расстался. Вяземские, Баратынские, поэты, поэтики, светские люди встречают у меня закрытую дверь. Между тем гражданская и кабинетная моя деятельность доходит до высшей степени: я с утра до вечера занят, мало сплю, корплю за конторкою, езжу к моим должностям, и каждый день засыпаю с чистою совестью, хотя иногда грустно от дел, от людей. Так, с тех пор, как мы... дали друг другу слово: быть деятельным сколько можно, ибо это назначение человека, я поглощен этим решением. Слава богу! на малом поприще, где судьба велела мне действовать, есть дело: я *литератор* и *купец* (соединение бесконечного с конечным), и могу работать двойкою. Уже граждане мои уважили меня, понимают, заменяют во мне богатство предполагаемым умишком (верный шаг!) и слушают...»¹

Как раз в это время, наряду с критикой «литературного аристократизма», Полевой особенно широко развернул на страницах «Московского телеграфа» и позитивную свою программу. О литературной стороне этой программы речь пойдет дальше; здесь же коснемся декларативной статьи Полевого «О воспитании вообще и особенно купцов», появившейся в 29-й части «Телеграфа» за 1829 год.

В статье всесторонне обоснована увлекавшая Полевого идея органической связи и взаимодействия промышленного развития и культурного прогресса. Полевой доказывает, что «с нескольких лет настал для русских период деятельности умов, замечательный в сравнении с бывшим немного тому времени каким-то застоєм», что «теперь думают, говорят, работают и в ученых кабинетах, и в типографиях, и на фабриках — более и лучше прежнего». Однако, «несмотря на явные

¹ «Звезда», 1946, № 4, стр. 186.

признаки хода умов вперед, все еще деятельность всякого рода у нас мала, слаба, ничтожна», — «множество новых, любопытных явлений, важнейшие предметы жизни общественной» все еще слишком мало «возбуждают идей, мыслей, разговоров». Далее Полевой ставит вопрос об *обязанностях* просвещенного меньшинства перед теми, кто занят своим делом — создает отечественную промышленность, развивает отечественную торговлю. «Мануфактуристу некогда думать и писать при стуке веретен и челнов, купцу некогда, если ему надобно спешить на биржу, в амбар свой, в лавку свою». Поэтому «пишущий наш народ непростительно виноват перед *непишущим*, ибо он должен передавать идеи свежие, указывать на ложные или старые, поверять факты сведениями новыми. Тут добрая воля правительства и все, что оно так искренно издает для общего сведения, не помогут. Надобен *говор частных людей*, надобны их мысли, соображения, выводы, дабы заставить раздуматься и купца, и мануфактуриста, и проч. и проч.»

Главным залогом и решающим рычагом народного развития вообще, культурного прогресса в частности, Полевой считал отечественную промышленность: «Промышленность народная есть единое средство поддерживать и увеличивать силу государства... Промышленность ведет к богатству и просвещению, ибо они одно без другого не существуют».¹ В решении этого основного вопроса Полевой твердо и бескомпромиссно стоял на позициях буржуазного просветителя. Для него нетерпим был всякий застой, равно как и любые фальшивые оправдания его под флагом реакционных рассуждений об «исконных» чертах русского национального характера.

В этом отношении знаменательна полемика Полевого с М. П. Погодиным, разгоревшаяся по поводу открывшейся в Москве в 1831 году Выставки российских изделий. Погодин в слащавом псевдопатриотическом тоне и в реакционно-крепостническом духе выразил

¹ «Московский телеграф», 1828, ч. 23, стр. 246 (подписано: Т. — очевидно, «Телеграф»).

восхищение «русскими безграмотными мужичками», которые «с глазу и голоса, побуждаемые благотворною дубинкою, поднятой над их спинами, изловчась и приладясь, сумели сделать всякую заморскую хитрость». Эта хамская и подлая апология «благотворной дубинки» глубочайшим образом возмутила Полевого. Со всей силой негодования обрушился он на Погодина — не только в качестве журналиста, но и «по званию члена комитета выставки» и члена московского Мануфактурного совета. Он охарактеризовал погодинский «патриотизм» как «проклятое хвостовство» и заявил, что выставка не есть результат «работы безграмотных мужиков», а представляет собою «плоды богатства, просвещения и образованности почтенных наших фабрикантов, заводчиков, художников и ремесленников». ¹

Интересы буржуазного просвещения — вот что составляло главную задачу «Московского телеграфа». Решению этой задачи служили все выдвигавшиеся журналом темы и вопросы — философско-исторические, эстетические, собственно литературные.

11

Философские воззрения Николая Полевого, не в пример его социально-политическим взглядам, носили непоследовательный характер. Он был типичным эклектиком (черта, вообще характерная для буржуазной идеологии) и пытался дать своему эклектизму своего рода принципиальное обоснование. Он понимал его не как механическое сочетание различных традиций и тенденций, но как процесс органического их усвоения и переработки в соответствии с условиями и запросами национального культурного развития. Быть эклектиком, в понимании Полевого, значит — уметь «из противоположностей выводить истину и пересоздавать ее самобытно». ²

¹ См. статьи М. П. Погодина в «Молве» (1831, №№ 20 и 27); Н. А. Полевого в «Московском телеграфе» (1831, чч. 38 и 39).

² «Сын отечества», 1838, т. 1, отд. IV, стр. 25.

Полевой смолоду был причастен философским увлечениям русских Любомудров двадцатых годов. Его тоже ослепил «яркий свет философии Шеллинга, объявшей все знания, все науки и разрушавшей в основании системы мнимых философов французских и германских». ¹ Современник, рассказывая о кружке братьев Полевых, говорит, что там «бредили немецкою философией, ко всему прилагая ее положения». ² Однако наиболее импонировало Полевому эклектическое учение умеренного и аккуратного Кузена, сочетавшего основы идеалистической философии с идеями, воодушевлявшими идеологов французской буржуазии. Кузен — этот, по словам К. Маркса, «истинный истолкователь трезвого, практического буржуазного общества» — был для Полевого «человеком необыкновенным»: никогда еще «философия французов не достигала такой высокой степени философского воззрения, какой достигает она с Кузеном». Полевой и не скрывал, что философия Кузена привлекла его в силу своей эклектической простоты и общедоступности. Он особо подчеркивает популяризаторские способности Кузена, который умеет «в простоте» передавать «глубокие истины немцев», бывшие до того «уделом весьма немногих». «Удивительное искусство излагать свои мысли», «уменье быть понятным для самого неопытного человека» — все это составляет «драгоценное преимущество Кузена». ³

В этом преклонении перед популяризацией, бывшей одним из основных приемов Кузена, сказался весь буржуазный практицизм Полевого. Отвлеченное «любомудрие» само по себе не имело в его глазах большой цены. Оно приобретало для него ценность в той мере, в какой находило практическое «применение». Точкой такого применения была для Полевого литература, литературная критика. Именно в критической практике искал он воплощение новых философских идей,

¹ «Московский телеграф», 1828, ч. 20, стр. 393.

² «Русский вестник», 1867, № 11, стр. 125; ср. И. М. Снегирев. Дневник, т. I. М., 1904, стр. 61.

³ «Московский телеграф», 1828, ч. 23, стр. 97—98.

и здесь пригодилось ему учение Кузена, вмещавшее в себя разом и немецкий идеализм, и французский романтизм.

«Московский телеграф» был виднейшим органом русского романтизма. В противоположность московским любомудрам, чьи литературные мнения слагались под преимущественным воздействием немецкой идеалистической философии и немецкого искусства начала века, Полевой в своей литературно-критической деятельности придерживался в основном французской ориентации. Ориентация эта была, разумеется, не случайна и имела глубокий социально-исторический смысл. Международное воздействие французской культуры всегда и повсеместно характеризовалось, в отличие от воздействия культуры немецкой, господством интересов социальных, политических и экономических над отвлеченно-умозрительными — философскими, моральными и религиозными. Если немецкий романтизм уже в 1820-е годы превратился в верного союзника политической реакции, то романтизм французский вплоть до времени Июльской монархии (а в лице некоторых своих представителей и много позже) оставался объективно радикальным течением. В эпоху Реставрации французский романтизм был литературной формой политической оппозиции наступавшей буржуазии. Поль Лафарг, исследуя историю французского романтизма, отмечал, что, вопреки своему девизу «искусство для искусства», «романтики никогда не отворачивались от политической и социальной борьбы, — они всегда становились на сторону буржуазии, присвоившей себе завоевания революции».¹ Об этом говорили и сами романтики: «Романтизм в поэзии то же, что либерализм в политике» (*Гюго*).

Проблема романтизма, как она ставилась Николаем Полевым, была отнюдь не только литературной проблемой, но также и проблемой социальной, политической. Для Полевого романтизм был прежде всего выражением буржуазного сознания в сфере искусства.

¹ П. Лафарг. Происхождение романтизма. Сочинения, т. 3. М., 1931, стр. 284.

Недаром развитие романтических идей он неизменно связывал с французской буржуазной революцией конца XVIII века. И не случайно альфой и омегой романтизма на страницах «Московского телеграфа» были объявлены Виктор Кузен — этот «романтик в философии» — и Виктор Гюго — этот «философ романтизма», буржуазные радикалы в философии и литературе, которые, по словам Лафарга, «давали буржуазии тот род философии и литературы, какой ей был нужен».

В сферу романтических влияний в России были втянуты различные литературные силы, защищавшие интересы различных общественных классов и групп. Поэтому понятие «русский романтизм» — понятие условное: романтизм Пушкина, к примеру, нечто иное, нежели «философский романтизм» Любомудров, а романтизм Полевого столь отличается от того и другого, что трудно говорить о «русском романтизме» вообще, если оставаться на почве исторической конкретности. Единственным, пожалуй, качеством, которое признавали за романтизмом русские писатели двадцатых годов без различия школ и направлений, была *новизна* литературных мнений. Критика двадцатых годов склонна была называть романтическим все новое, что шло вразрез с нормативной поэтикой классицизма.

Николай Полевой ясно сознавал свою роль критика-новатора. «Судьба указала нам жить во времена перерождения всех понятий литературных, — писал он. — Литература не ограничивается ныне кодексами, долго останавливавшими ее. Она распространила свою область и, питая просвещенное уважение к образованию, к понятиям и к произведениям древних, присоединила к умственному богатству своему опыт времен средних и новых. И все преобразилось!»¹

Однако, будучи одним из главных глашатаев и проводников романтизма в русской литературе и критике двадцатых — тридцатых годов, Полевой и в этой области явным образом противостоял русской дворянской литературе своего времени. Романтизм, в понимании Полевого, не являлся платформой, на которой он мог

¹ «Московский телеграф», 1831, ч. 37, стр. 79.

бы объединиться, скажем, с такими русскими романтиками, как Любомудры. И в данном вопросе он находил повод и предлог для принципиальных возражений. Значительный интерес представляет в этом плане полемика Полевого с Д. В. Веневитиновым (по поводу «Евгения Онегина»).¹ Здесь он достаточно резко вы-явил свое несогласие с «учением новой философии немецкой», уводившим искусство, литературу от постановки и решения наиболее злободневных и боевых вопросов современности. «Метафизический туман» отвлеченного «любомудрия» был решительно чужд Полевому по самой природе его душевных запросов и интересов.

В романтизме Полевой выделял как раз те черты, которые игнорировали Любомудры и другие представители дворянской литературы. Для тех романтизм мог быть новой литературной модой, новым методом художественного восприятия жизни; для Полевого он служил прежде всего руководством к боевым действиям за построение в России литературы, отвечавшей интересам и запросам «средних классов».

С этой точки зрения особенно характерна и показательна подлинная пропаганда французского радикального романтизма, в частности творчества В. Гюго, которую развернул Полевой в «Московском телеграфе» в начале тридцатых годов. После Июльской революции 1830 года и торжества романтизма, с особенной силой проявившегося на премьере драмы Гюго «Эрнани» (в феврале 1830 года), «Московский телеграф» — единственный из всех русских журналов — встает на защиту «неистовой словесности» так называемой «юной Франции», и защита эта, в условиях времени, приобретала отчетливый идейно-политический смысл.

При этом нужно сделать одну существенную оговорку. Литература «юной Франции» (Гюго, Сю, Дюма, Жанен, позже Бальзак) в течение долгого времени не встречала признания в «Московском телеграфе».

¹ См. «Московский телеграф», 1825, чч. 2, 4 и 6 (№№ 5, 15 и 23); «Сын отечества», 1825, №№ 8 и 19.

И, очевидно, в этом сказалось влияние П. А. Вяземского и других «опекунов» Полевого. Но как только он освободился от «опеки» и стал более самостоятельно и широко декларировать свои вкусы, отношение «Телеграфа» к новейшей французской литературе претерпело самые разительные изменения.

Как изменилось отношение журнала к «ультраромантикам» (по терминологии того времени), можно проследить по отзывам о творчестве Гюго. В 1827 году радикальный романтизм Гюго встречает в «Телеграфе» еще весьма прохладные отзывы; причем с осуждением указывается, что в лице крайних, «отчаянных» романтиков поэзия французов «завербовалась под знамена политики». ¹ И даже в 1830 году, в рецензии на «Последний день приговоренного к смерти», Гюго, хотя и признан писателем «с большим дарованием», осуждается за то, что «не понимает тайны искусства» в силу своего крайнего романтизма, «не признающего никаких законов в искусстве». Творчество Гюго и его литературных соратников названо здесь «картиной страшной и неприятной». ²

«Собор Парижской богородицы» заставил Полевого пересмотреть заново вопрос о Гюго и о французском романтизме вообще. Он помещает в «Телеграфе» отрывок из «Собора Парижской богородицы» (1831, ч. 40), а в примечании к резко отрицательной статье о Гюго французского критика Шове (приверженца классицизма), переведенной из «Revue encyclopédique», обещает читателям свою собственную статью — в опровержение «несправедливого мнения» Шове и в защиту «великого создания» Гюго, которое ставит его «в первый ряд современных европейских литераторов». ³ Полевой сдержал обещание, и его большая замечательная статья «О романах Виктора Гюго и вообще о новейших романах» ⁴ открывает в «Московском телеграфе» настоящую пропаганду молодой француз-

¹ «Московский телеграф», 1827, ч. 14, стр. 43. Статья П. А. Вяземского.

² Там же, 1830, ч. 32, стр. 513.

³ Там же, 1831, ч. 42, стр. 218.

⁴ Там же, 1832, ч. 43.

ской литературы. Здесь романы Гюго названы уже «полным и совершенным изображением современного французского романтизма». И если все, что писал Гюго до «Notre Dame de Paris», «не могло удовлетворить нас», — говорит Полевой, — то в этом шедевре французский писатель «облек в формы романа огромную идею», «достойную Шекспира»; «гений его сознал себя вполне в первый раз, и сознание его было истинно гениальное».

Позже, нежели всех остальных представителей «неистой словесности», признал Полевой Бальзака. Отмечая «сильное и гибкое дарование» автора «Шагреновой кожи» и «Темных сказок», он упрекал его за «странность», за «пошлые кривлянья ума», за «грубую чувственность» и пристрастие к «ужасам, доведенным до отвратительного». «Мы уверены, что Бальзак шалит», — писал Полевой в рецензии на «Сцены частной жизни». Он ждал от него «творения достойного», но приговор выносил решительный: «Если же еще продолжится то же самое, Бальзака можете вычеркнуть из числа литературных надежд новой Франции». ¹ Только в 1833 году переводы из Бальзака появляются в «Московском телеграфе» и сам он назван «одним из остроумнейших современных писателей». ²

Кончая свою большую статью о Гюго, Полевой указал, что «есть вольные и невольные причины, по которым статья не могла явиться в виде более удовлетворительном». Говоря о «невольных причинах», он безусловно намекал на цензурные стеснения. Действительно, «неистовая словесность юной Франции» воспринималась в официальных и официозных кругах николаевской России как «пагубная зараза», как «исчадие» Июльской революции, как нечто разрушающее своей безнравственностью и религию, и семью, и собственность, и все прочие священные устои общества. Полемика вокруг «неистой словесности» в русской журналистике тридцатых годов носила вполне опреде-

¹ Там же, 1832, ч. 48, стр. 98.

² «Нынешнее состояние французской литературы». — «Московский телеграф», 1833, ч. 52, стр. 145.

ленный характер. Ее тон и направление ясно выражают статьи Барона Брамбеуса (О. И. Сенковского) в «Библиотеке для чтения». Так, например, в нашумевшей статье «Брамбеус и юная словесность» («Библиотека для чтения», 1834, ч. 21) Сенковский писал о французских радикальных романтиках в таких выражениях: «Это прямо вторая французская революция в священной ограде нравственности, затеянная со всей легкомысленностью и производимая со всем неистовством и остервенением, свойственным народу, который произвел и обожал Марата, Робеспьера, Сен-Жюста». В таких условиях, когда любое проявление сочувствия к Июльской революции вызывало настороженное внимание правительства, пропаганда радикального романтизма была смелым делом, и недаром статьи «Московского телеграфа» в защиту литературы «юной Франции» послужили одним из центральных пунктов записки Уварова, вызвавшей запрещение журнала.

«Московский телеграф» горячо полемизировал с гонителями и обличителями французского романтизма. В этой связи интересно обратиться к острой полемике «Телеграфа» с «Телескопом» Н. И. Надеждина, где о литературе «юной Франции» писали в таком же обличительном и доносительском тоне, как и в «Библиотеке для чтения». Надеждин выступил с резкой критикой русской романтической школы еще в 1829 году, в «Вестнике Европы» (под псевдонимом Никодим Надоумко). Уже тогдашние полемические выступления Надоумки в значительной мере были направлены против Полевого как теоретика «новой европейско-романтической школы» в России. Впоследствии, в своих показаниях по делу о «Философическом письме» П. Я. Чаадаева, Надеждин писал: «Я восстал... с жаром против вредного направления, обуявшего нашу словесность под именем романтизма, и с особенным ожесточением преследовал «Московский телеграф», бывший тогда главным органом новой европейско-романтической школы... Направление мое было: противодействовать ложным, вредным идеям, заносимым к нам с Запада... Смею указать на все мои статьи, помещавшиеся в «Телескопе» и «Молве» в 1831 и 1832 годах: они исполне-

ны чистейшей преданности к великому государю и отечеству, проникнуты глубочайшим негодованием против так называемого европейского губительного просвещения».¹

Таким образом, борьбу с Полевым и «вредными идеями» «Телеграфа» Надеждин считал своей заслугой едва ли не государственного значения. В 1830 году Надеждин издал свою докторскую диссертацию «О начале, сущности и участии поэтики, романтической называемой», представлявшую собою, в сущности, критико-полемическое сочинение. Задачей Надеждина было доказать, что «романтизм есть то же, что атеизм, шеллингизм, либерализм, терроризм, — чадо безверия и революции». Полевой выступил в «Телеграфе» (1830, ч. 33) с пространной рецензией, в которой высмеял тяжелую бурсацкую ученость Надеждина и обрушился на «совершенное отсутствие всех приличий» в его книге.

Ответ Надеждина на рецензию Полевого очень похож на донос. Впрочем, он не гнушался и прямыми доносами — доводил до сведения высшего начальства о сочувственном отношении «Московского телеграфа» к Июльской революции 1830 года и утверждал, что журнал этот имеет самое вредное влияние на молодые умы. В «Молве» и «Телескопе» Надеждин беспрерывно твердил о недостаточной любви Полевого к отечеству, о «посягательстве» его на память Петра I и т. п. На страницах «Молвы» находили место также и доносы на Полевого, сочинявшиеся А. Ф. Воейковым. Так, например, в № 48 газеты за 1831 год Воейков объявил, что «если находятся еще в России квасные патриоты, которые, наперекор Наполеону, почитают Лафаэта человеком мятежным и пронырливым, то пусть они заглянут в № 16 «Московского телеграфа» (на 464 стр.) и уверятся, что «Лафаэт самый честный, самый основательный человек во французском королевстве, чистейший из патриотов, благороднейший из граждан, хотя он вместе с *Мирабо, с Сиесом, Баррасом, Барре-*

¹ М. Лемке. Николаевские жандармы и литература 1825—1855 гг. Изд. 2-е. СПб., 1909, стр. 433.

ром и множеством других был одним из главных двигателей революции». ¹ Это указание Воейкова впоследствии также было принято во внимание министром народного просвещения Уваровым при запрещении «Московского телеграфа».

12

Для двадцатых и тридцатых годов весьма характерен возросший интерес к вопросам истории, к самой проблеме *историзма*. Увлечение исторической наукой и исторический подход к явлениям общественной жизни, культуры, искусства приобретают в эту пору характер явления эпохального и международного. Столпы немецкой идеалистической мысли уделяют очень много внимания вопросам философии истории и специально проблеме народности (Фихте и Шеллинг вслед за Гердером). Углубляется и уточняется проблематика и методология исторической науки. Труды Нибура ложатся в основание новейших разысканий в области истории древнего мира и пролагают пути так называемой скептической школе. Французская историография переживает период расцвета и подъема в работах целой плеяды исторических писателей эпохи Реставрации (Тьерри, Гизо, Минье, Тьер, Барант и др.). Наконец, историзм глубоко проникает и в художественную литературу: укрепляются жанры исторического романа и исторической драмы (Вальтер Скотт, А. де Виньи, Гюго, Манцони).

Идея историзма возрастает в значительной мере на почве общеевропейского романтизма. Складывается особая, романтическая, концепция исторического процесса — идеалистическая по существу, иррациональная по самой своей природе. Основной смысл этой концепции заключался в объяснении событий национальной истории фактами «мирового порядка», в попытках

¹ Подчеркнуто Воейковым. Для характеристики полемических приемов Воейкова стоит указать, что приведенные слова о Лафайете не принадлежат Полевому, а взяты из «Рассказов леди Морган».

найти определение чрезвычайно неясного, расплывчатого понятия «народного духа» как главной и решающей силы исторического развития. При этом национальная история, в свою очередь, понималась как средство познания этого «народного духа» (Шеллинг). Романтическая философия истории трактует процесс народной жизни как нечто «бессознательное», «стихийное». Истории в прежнем ее понимании — как прагматического обозрения законодательных систем или форм государственного управления — противопоставляется «история народа» — как некоего абсолютного целого, позволяющая будто бы вскрыть внутреннюю связь и диалектику событий. В переводной (с французского) статье, напечатанной, под заглавием «Философия истории», в «Московском телеграфе» (1827, ч. 14), новые задачи, стоящие перед исторической наукой, были сформулированы следующим образом: «Если повествуют события, составляющие внешнюю жизнь рода человеческого, без необходимой связи, то почему же не восстановить между сими произвольными происшествиями истинного порядка, который их сближает и поясняет, относя к миру высшему, коему они причастны. Вот что составило бы историческую науку по преимуществу, которая имела бы свое начало, постепенное и медленное свое усовершенствование, подобно всем прочим умозрительным наукам, входящим в состав философии».

Идеи романтического историзма в середине двадцатых годов проникли и в Россию и встретили здесь горячий отклик в среде передовой дворянской интеллигенции. «История сделалась страстью Европы, и мы сунули нос в историю» — так сказал об этом новом увлечении А. Бестужев-Марлинский. Вот характерное свидетельство, принадлежащее перу одного из выдающихся адептов русского романтизма. Иван Киреевский писал в 1829 году, подводя итоги минувшему пятилетию: «История в наше время есть центр всех познаний, наука наук, единственное условие всякого развития: направление историческое обнимает *все*. Политические мнения, для приобретения своей достоверности, должны обратиться к событиям, следовательно к исто-

рии... Философия, сомкнувши круг своего развития сознанием торжества ума и бытия, устремила всю деятельность на применение умозрений к действительности, к событиям, к истории природы и человека. Математика остановилась в открытиях общих законов и обратилась к частичным приложениям, к сведению теории на существование действительности. Поэзия, выражение всеобщности человеческого духа, должна была также перейти в действительность и сосредоточиться в роде историческом».¹

Так думало все молодое поколение двадцатых годов, представлявшее русскую передовую мысль и литературу. Вопросы истории, проблема историзма горячо обсуждались в философских и литературных кружках, в частной переписке, становились предметом журнальной полемики. В дальнейшем полемика сосредоточилась по преимуществу вокруг двух самых крупных исторических сочинений, появившихся в России в первую четверть века — «Истории государства Российского» Карамзина и «Истории русского народа» Николая Полевого.

В 1818 году вышли в свет первые восемь томов «Истории государства Российского». Они имели беспримерный успех (в течение двадцати пяти дней было распродано три тысячи экземпляров). Труд Карамзина пробудил небывало широкий интерес не только к воскрешенным в красноречивом рассказе событиям отечественной истории, но и к общим вопросам, к проблематике и методологии истории как научной дисциплины. «История государства Российского» сразу же стала объектом полемического обсуждения, но в силу особых причин полемика эта до известного времени шла прикровенно, не получала широкой огласки. Это объяснялось исключительностью общественного положения Карамзина. Его исторический труд был официально, свыше объявлен единственно верным, единственно авторитетным, единственно патриотическим. Любые попытки сколько-нибудь критически отнестись

¹ «Обозрение русской словесности 1829 года». — Альманах «Денница» на 1830 год.

к исторической концепции Карамзина воспринимались как совершенно неблагонамеренные посягательства на исконные и нерушимые принципы русской государственности. «Историей государства Российского» можно было лишь громко восхищаться, критиковать же ее было решительно запрещено. В течение долгого времени официальный историограф Российской империи пожинал лавры своего громкого успеха, «прикрытый щитами кружка, сильного дарованиями чинов, их общественным и государственным положением, прикрытый и отношениями к императору. По смерти Карамзина кружок сделал из него полубога, и горе дерзкому, который бы осмелился поставить свой алтарь подле божества». ¹

Эти слова очень точно характеризовали сложившееся положение. «Так называемые патриоты... не понимают, как можно осмелиться писать историю после Карамзина», — замечал в дневнике А. В. Никитенко, благонамереннейший профессор, но вчерашний крепостной. ² Уже этот робкий человек выражал недовольство тем, что Карамзин написал не историю русского народа, но «историю князей и царей». Другие высказывались гораздо решительнее. Тогда как для Блудова, Дашкова, Вяземского, какого-нибудь Иванчина-Писарева и других столь же «исступленных сеидов» Карамзина (как называл его приверженцев Н. И. Греч), купно с придворной камарильей, «История государства Российского» оставалась «заветом» и «скрижалью», тогда как Карамзин, по их окончательному мнению, сказал о русской истории все, что можно и должно было сказать, — в среде передовой дворянской молодежи росла и крепла оппозиция Карамзину.

Декабристы решительно не признавали серьезного научного значения за «златопернатым рассказом» Карамзина. Никита Муравьев, один из признанных вождей движения, написал интереснейшее «мнение» об

¹ С. М. Соловьев. Записки, стр. 144—145.

² А. В. Никитенко. Записки и дневник, т. I. СПб., 1905, стр. 198.

«Истории государства Российского», которое получило довольно широкое распространение в рукописи. Оно начиналось словами: «История принадлежит народам», которые служили прямым ответом на основное положение Карамзина: «История принадлежит царям». В том же направлении шли возражения М. А. Фонвизина. Совершенно отрицательно относился к исторической концепции Карамзина В. К. Кюхельбекер (кстати сказать, заинтересовавшийся историческими трудами Н. Полевого). А. А. Бестужев, познакомившись с «Историей русского народа» Полевого, писал: «Никогда не любил я бабушку Карамзина, человека без всякой философии, который писал свою историю страницу за страницей, не думая о будущей и не справляясь с предыдущей. Он был пустозвон, красноречивый, трудолюбивый, мелочной, скрывавший под шумихою сентенций чужих свою собственную ничтожность. Не таков Полевой. . .»¹

Постепенно слагалась оппозиция Карамзину и в академических кругах и в общей журнальной прессе. После малосостоятельной с научной точки зрения критики М. Каченовского и его сотрудников (Саларева и др.), в 1821 году с тремя серьезными статьями против Карамзина выступил историк Н. С. Арцыбашев (через семь лет он выступил еще резче — в «Московском вестнике»). В 1822 году в «Северном архиве» появилась статья польского историка И. Лелевеля, который указал не только на фактические ошибки Карамзина, но и высказал свое решительное несогласие с «понятием его об истории вообще». В 1825 году в том же «Северном архиве» Булгарин поместил статью «Критический взгляд на X и XI томы Истории государства Российского», по поводу которой Карамзин благодарно написал И. И. Дмитриеву: «И тут ничего не предпринимаю: есть бог и царь».²

Смерть Карамзина (в 1826 году) развязала языки его противникам, и десять лет спустя Вяземский уже

¹ «Русский вестник», 1870, т. 4, стр. 506—507.

² «Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву». СПб., 1866, стр. 39.

вынужден был просить правительство о защите памяти Карамзина от «ругательств», «устремленных» с учебных кафедр и со страниц журналов (в первую очередь имелись в виду критика профессора Устрялова и исторические работы Полевого и Надеждина). При этом Вяземский следующим образом характеризовал «Историю» Карамзина: «Одна и есть у нас книга, в которой начала православия, самодержавия и народности облечены в положительную действительность... Творение Карамзина есть единственная у нас книга, истинно государственная, народная и монархическая». ¹ Характеристика эта безусловно верна.

К середине двадцатых годов историческая концепция Карамзина, возведенная во славу и в оправдание крепостнической, самодержавной России, казалась уже полным анахронизмом. Подводя итоги исканиям исторической мысли в первую четверть XIX столетия, Николай Полевой писал: «История государства Российского» заключила собою ряд явлений прежней исторической, классической, если угодно, школы. Реформа романтическая коснулась и тут всего прежнего и открыла нам путь к труду новому и огромному. Надобно было приняться за критику идей и фактов, за соображение и сбор материалов». Время Карамзина «прошло без возврата»: «Слов становится недостаточно; надобны мысли». ²

Полевой подошел к занятиям русской историей очень рано. Еще в Иркутске, в детстве, он писал какие-то исторические сочинения, затем задумал продолжить «Опыт повествования о России» И. П. Елагина, по мере своих возможностей довольно внимательно следил за исторической литературой. Уже в 1815 году современные исторические работы «не удовлетворяли» молодого Полевого, когда он сравнивал их — «с Тацитом по слогу, с летописями по изложению фактов». Первые попавшие в печать сочинения Поле-

¹ П. А. Вяземский. Полное собрание сочинений, т. 2. СПб., 1879, стр. 215.

² «Известия по русскому языку и словесности Академии наук», 1929, т. 2, кн. 1, стр. 205.

вого написаны на исторические темы. В 1819 году он выступает в «Вестнике Европы» с обстоятельной критикой ученой статьи «Нечто о Велесе». В 1822 году в распоряжение Полевого поступает обширная историческая библиотека профессора Р. Ф. Тимковского. В 1824 году он печатает в «Северном архиве» серьезную статью о Несторовой летописи. В январе 1825 года московское Общество истории и древностей российских избирает Полевого в состав своих членов. Во вступительной речи он следующим образом изложил свой взгляд на предмет истории и задачи историка: «На поприще истории отечественной есть еще лавры, которые возьмет смелая рука и испытателя древних бытописаний, и историка-философа. Опыты были у нас во всех родах, а подвигов совершено не много. История, по моему мнению, есть одно из важнейших познаний человеческих. Пусть те, которые находят в ней простые записки о добродетелях и злодеяниях людей, унижают ее достоинство; мы видим в ней поверку всех догадок и предположений ума, философию опыта».¹

С каждым годом Полевой расширял и углублял свои исторические знания. Он провел большую подспудную работу, прежде чем решился выступить с многотомным и крайне ответственным историческим сочинением обобщающего характера. При всем том выступление «купчика» и «самоучки» явилось полной неожиданностью для тогдашних цеховых историков, в большинстве мелочных крохоборов, погруженных в исследования о «куньих мордках» или «банном строении» (темы М. Т. Каченовского).

В 1829 году вышел в свет первый том «Истории русского народа». Вряд ли можно назвать другое сочинение того времени, которое вызвало бы столь ожесточенную и длительную полемику — «яростную до нарушения всякой благопристойности», как говорит современник. Резкость нападений на «Историю русского народа» была не случайной: она была вызвана самим

¹ «Труды и летописи Общества истории и древностей российских», 1827, ч. 3, кн. 2.

характером труда Полевого, насквозь полемического, заостренного против тогдашней исторической науки, в первую голову — против Карамзина. Не касаясь внешней стороны полемики (осложненной целым рядом внелитературных обстоятельств), обратимся к ее существу.

Строго говоря, полемика разгорелась вокруг статьи Полевого по поводу выхода в свет двенадцатого тома «Истории государства Российского». Статья появилась в 27-й части «Московского телеграфа» за 1829 год, непосредственно перед публикацией объявления о подписке на «Историю русского народа». Это обстоятельство (впрочем, вряд ли случайное) дало повод антагонистам Полевого обвинить его в стремлении подорвать авторитет Карамзина из низменных меркантильных расчетов.

Статья с небывалой дотоле откровенностью развенчивала Карамзина и как историка и как писателя. Правда, в статье есть несколько беглых комплиментов по адресу Карамзина как деятеля *прошлого времени*, но эти комплиментарные вставки настолько противоречат тону всей статьи в целом, что можно предположить, что сделано это было с целью несколько замаскировать удар и избежать возможных цензурных затруднений с продвижением статьи в печать. Полевой от имени «нового поколения» вынес Карамзину суровый приговор: «Для нас, нового поколения, Карамзин существует только в истории литературы и в творениях своих. Мы не можем увлекаться ни личным пристрастием к нему, ни своими страстями, заставлявшими некоторых современников Карамзина смотреть на него неверно... Он был литератор, философ, историк прошедшего века, прежнего, не нашего поколения... Карамзин уже не может быть образцом ни поэта, ни романиста, ни даже прозаика русского... Период его кончился... Историю его мы не можем назвать творением нашего времени; как философ-историк он не выдержит строгой критики. Он и не прагматик. Карамзин нигде не представляет вам духа народного... Не ищите в Карамзине высшего взгляда на события». Полевой обвиняет Карамзина в тенденциоз-

ности, в «художнической» фальсификации исторической правды, отмечает его методологическую беспомощность, не видит во всех двенадцати томах его труда «одного общего начала, из которого истекали бы все события русской истории»: «Жизнь России остается для читателя неизвестной, хотя его утомляют подробностями неважными, ничтожными...» И снова: «Карамзин нигде не показывает вам духа народного».

Уже из этого видно, что Полевой ждал и требовал от истории не только изучения исторического факта как такового, но и широких обобщений и выводов, «философии истории». «История в высшем значении не есть складно написанная летопись времен минувших». Нет, это — средство познания мира, «практическая поверка философских понятий о мире и человеке». Она «соображает ход человечества, общественность, нравы, понятия каждого века и народа», она «выводит цепь причин, производивших и производящих события». Впоследствии, через десять лет после появления первого тома «Истории русского народа», когда уже улеглась поднятая им буря, Полевой взял последнее слово. «Здесь я решительно шел против общего вкуса и направления. Знакомясь с германскими понятиями об истории, с современными о ней идеями европейцев, я не мог не приложить высшей критики к истории отечественной, и оттого явились и мои противоречия против Карамзина, и идея Истории русского народа».¹

Даже беглый просмотр библиографических ссылок в «Истории русского народа» дает возможность выяснить круг исторического чтения Полевого. Здесь мы встречаем имена Нибура, Гердера, Гиббона, Шлегеля, Геерена, Риттера, Юма, Шлецера, Клапрота, Капфига, Гизо, Тьерри, Минье, Кузена, Вильмена, Лелевеля, Баранта и десятки других, менее значительных. Список достаточно пестрый, и в известной мере он может быть объяснен желанием Полевого продемонстрировать свою эрудицию в области новей-

¹ «Сын отечества», 1839, т. 8, отд. IV, стр. 108.

шей исторической литературы вообще. Для нас (как и для самого Полевого) существенно важны далеко не все из названных имен.

«Германские понятия» безусловно оказали на Полевого-историка глубокое влияние. Но еще более знаменательным в смысле выявления классовой позиции Полевого было обращение его к работам французских буржуазных историков времени Реставрации — в первую очередь таких, как Тьерри, Гизо, Минье. Эти работы составили целую эпоху в исторической науке: теория борьбы классов впервые была поставлена в них как научная проблема; они подготовили появление исторических трудов Маркса и Энгельса, утвердивших теорию классовой борьбы на материалистической основе. Для Гизо политические учреждения уже являются следствием «состояния общества», «гражданского быта». Он доказывал, что не политический строй определяет собой социальные отношения, а, наоборот, социальные отношения вызывают к жизни тот или иной политический строй. «Гражданский быт» для Гизо — это «отношения различных классов лиц», а основой «гражданского быта» и политического строя служат имущественные отношения. В двадцатые годы Гизо — воинствующий идеолог буржуазии, пламенный обличитель обломков феодальной аристократии (заметим, кстати, что в царской России репутация Гизо была самая неблагонамеренная: граф Нулин привез из Парижа «ужасную книжку Гизота»¹).

Столь же радикальны и воинственно «буржуазны» были сочинения Минье. В его «Истории французской революции» борьба классов составляет, по выражению Плеханова, «главную пружину политических событий». Еще более отчетливо выразил свою классовую позицию третий корифей французской буржуазной исторической мысли двадцатых годов — Ог. Тьерри, любимый исторический писатель Полевого.¹ Тьерри

¹ Кс. Полевой, посылая А. А. Бестужеву книгу Тьерри «Lettres sur l'histoire de France», писал ему в 1832 году: «Тьерри — гений и преобразитель французской истории. Брат мой обязан ему многим и обожает его» (неизданное письмо; рукописный отдел ИРЛИ АН СССР).

с большим пафосом говорил об «истории народа», «истории граждан», идущей на смену истории «сильной личности», «завоевателя», «властелина». Именно у Тьерри почерпнул Полевой идею, которая легла в основу его труда и получила выражение в самом заглавии: «История русского народа», явным образом противопоставленном карамзинскому: «История государства Российского». Главным предметом внимания историка Тьерри считал «движение народных масс по пути к свободе и благоденствию».

В своей «Истории русского народа» Полевой безусловно опирался на многие положения французских буржуазных историков. Но столь же бесспорно, что он не сделал из их теории прямых и окончательных выводов. Проблема борьбы общественных классов, поставленная в сочинениях Гизо, Минье и Тьерри, вероятно, импонировала Полевому, но, в силу ограниченности своих социально-политических убеждений, он не решился целиком исходить из этой проблемы в своем объяснении русского исторического процесса. И, наконец, еще одна существенная оговорка: эклектизм Полевого сказался в том, что в его концепции исторического процесса прогрессивные буржуазные социологические идеи и теории были нейтрализованы влиянием исторических идей современной ему идеалистической философии. Точнее сказать: Полевой воспринимал теории Гизо, Минье и Тьерри в значительной степени сквозь идеалистическую и романтическую философию (сквозь Шеллинга, пусть даже в популяризации Кузена),¹ и это обстоятельство обусловило как противоречивость его концепции, так и умеренность его выводов сравнительно с позитивной программой французских буржуазных радикалов, боровшихся за будущее своего класса.

¹ Позже, в пору своего идейного перевооружения, Полевой утверждал даже, что «все новейшие французские историки были обязаны германским мыслителям своими идеями; они только повторяли их, и больше неудачно, нежели с успехом». («Сын отечества», 1838, т. 1, отд. IV, стр. 40). Переоценивать значение этого «пересмотра взглядов», конечно, не следует.

Воодушевлявшие Полевого идеи романтической эстетики и историзма легли в основу того критического метода, который он применял в своих статьях, посвященных важным явлениям русской и западно-европейской литературы.

В истории русской литературной критики Николай Полевой сыграл очень значительную роль. Неотъемлемую заслугу его составляет то, что именно в «Московском телеграфе» критика впервые в России заняла подобающее ей в литературном журнале место. Полевой справедливо гордился своим почином: «Никто не оспорит у меня чести, что первый я сделал из критики постоянную часть журнала русского, первый обратил критику на все важнейшие современные предметы», — писал он в предисловии к «Очеркам русской литературы» (1839). Он имел все основания назвать лучшие свои статьи, собранные в этой книге, «первыми опытами русской самобытной критики».

Деятельность Полевого как литературного критика особенно широко развернулась в тридцатые годы, когда в «Московском телеграфе» были напечатаны его важнейшие статьи, посвященные прошлому и современному состоянию русской литературы, — о Державине, о Жуковском, о Пушкине, о Кукольнике.¹

¹ Из более ранних литературно-критических выступлений Н. Полевого в «Московском телеграфе» следует выделить статьи об «Опыте науки изящного» А. Галича (1826, чч. 8 и 9). «Взгляд на русскую литературу 1825 и 1826 гг.» (1827, ч. 13); о поэмах А. Подолинского «Див и Пери» (1827, ч. 18) и И. Козлова «Княгиня Наталья Борисовна Долгорукая» (1828, ч. 19), о романе М. Загоскина «Юрий Милославский» (1829, ч. 30), о Д. И. Фонвизине (1830, ч. 34). Укажем здесь также и главные статьи Н. Полевого о русской литературе, напечатанные после запрещения «Московского телеграфа»: в «Библиотеке для чтения» — о книге Кс. Полевого «Ломоносов» (1836, т. 16), «Пушкин» (1837, т. 21), «Басни Хемницера» и «Сочинения Кантемира» (1837, т. 24); в «Сыне отечества» — «Очерки русской литературы за 1837 и 1838 гг.» (1838, тт. 1—3), «Критические исследования касательно современной русской литературы» (1839, т. 7), «Взгляд на русскую литературу 1838—1839 гг.» (1840, тт. 1—2); в «Русском вестнике» — «Ревизор» Гоголя (1842, кн. 1), «Похождения Чичикова, или Мертвые души» (1842, кн. 5—6).

Статьи эти замечательны тем, что впервые внесли в русскую критику *исторический метод* исследования литературных произведений. Полевой считал, что правильно понять и верно оценить литературное явление можно лишь с «исторической точки зрения». Не ограничиваясь уже, подобно своим предшественникам, разрозненными и более или менее случайными наблюдениями узко эстетического порядка, он выработывал взгляд на литературу как на «важную часть общественного быта». ¹ Он доказывал, что идеи «истины» и «красоты», т. е. научного знания и художественного творчества, находятся в прямой и неразрывной связи со «стихией общественного образования», ибо ученый, писатель или художник — «в то же время человек, — следовательно, принадлежит... обществу». ² Поэтому в своих статьях Полевой стремился к тому, чтобы раскрыть смысл каждого литературного явления в соотношении с общественным движением эпохи и с целостным культурно-историческим процессом. Так, например, романтизм, считал Полевой, явился в европейской литературе переворотом, подготовленным «грозною политической бурей», потрясшей Европу. ³

Полевой говорил, что «вполне узнать писателя» можно, лишь выяснив, «как и когда он жил». В этих целях он, первый из русских критиков, стал обращаться к биографическим материалам, характеризующим частную и общественную жизнь писателя. Он соглашался с Легуве, что критику необходимо «перечитать» все, что осталось от писателя — его записки, дневники, письма, разного рода документы, — с тем чтобы «сообразить одни за другими все сии памятники его жизни и воссоздать из них для себя живое создание». ⁴ Так, например, Державина он хотел изучить не только как поэта, но и как «русского чиновника XVIII века и как гражданина», чтобы составить более полное и точное понятие о его «характере» и раскрыть в нем «двой-

¹ «Очерки русской литературы», т. 1. СПб., 1839, стр. VII.

² «Московский телеграф», 1832, ч. 43, стр. 97.

³ «Очерки русской литературы», т. 1, стр. 109—110.

⁴ Там же, стр. 1.

ственное бытие чиновника и поэта». Еще более важное значение придавал Полевой характеристике тех конкретно-исторических условий, в которых формировалось и развивалось творчество писателя; он настаивал на необходимости тщательного изучения всех «многообразных сторон» породившей писателя эпохи — «страстей, мнений, подробностей быта».¹

В наиболее фундаментальных и содержательных статьях Полевого — о Державине и о Жуковском — анализу творческого пути поэта предшествуют широкие характеристики национальных условий общественного быта и господствующих литературных идей данного времени. Державин рассматривается на фоне русской жизни во вторую половину XVIII века — военных побед, государственных и культурных преобразований и расцвета классицизма во всех родах искусства — всего, что сопровождало эпоху подъема русской дворянской монархии. Жуковский соответственно изучен на фоне той социально-политической и культурной обстановки, которая сложилась в России в период наполеоновских войн, а в сфере искусства и литературы ознаменовалась распадом классицизма, сентиментализмом и первыми проблесками романтического миропонимания.

Все это было новым словом в русской литературной критике, до того времени носившей, как правило, мелочной и эмпирический характер. Полевой и в этой области ратовал за «самобытность». Он упрекал русскую критику за то, что она «дико поет с чужого голоса»,² судит и рядит о русской литературе по «чужой мерке», схоластически применяет отжившие критерии литературной теории классицизма.

Критические статьи Полевого о Державине, Жуковском и Пушкине замечательны также тем, что они представляли собою попытку построения целостной концепции исторического развития русской поэзии. Не случайно эти статьи печатались в «Московском телеграфе» одна за другой, составив в совокупности как

¹ Там же, стр. VIII.

² «Московский телеграф», 1832, ч. 43, стр. 86.

бы связный обзор всего литературного процесса от Ломоносова до Пушкина. В этом отношении статьи Полевого предвосхитили знаменитые критические обзоры Белинского.

В основе обзорных статей Полевого лежит проблема самобытности русской литературы как выражения национального самосознания народа. В порядке выяснения этой проблемы Полевой и рассматривал процесс развития русской литературы, исследуя, насколько выразился в ней на разных ее этапах «характер народа» и «дух времени».

Под этим углом зрения Полевой подверг решительной и строгой переоценке почти всю русскую литературу XVIII века. Впадая в преувеличения, он отмечал, что, по обстоятельствам времени, эта литература в подавляющем большинстве своих явлений (Кантемир, Тредиаковский, Сумароков, Херасков, Петров, Княжнин и др.) была проникнута духом подражательства, создавалась «по образцу не русскому» и осталась совершенно чужда «русской самобытности». Черты самобытности сквозят, по мнению Полевого, лишь в немногих произведениях XVIII века — в комедиях Фонвизина, в «Душеньке» Богдановича, в баснях Хемницера. Но все это счастливые исключения, лишь подтверждающие общее правило. Только Державин внес в русскую литературу начала подлинной национальности, «руссизма». Его «огромный гений» «носит все отпечатки русского характера», сочинения его «исполнены русского духа», в них нет ничего ни от «веселой беззаботности француза», ни от «отчаянной безнадежности англичан, ни от немецкой отвлеченности». Державин «был совершенно самобытен и неподражаем», он «пробил совершенно новую дорогу; нашел свой совершенно особый путь».

Однако, в силу общих исторических условий развития русской культуры, при Державине и после него «не наставало еще время русской литературной самобытности». Слишком велика была еще власть чуждых обычаев, нравов и вкусов в той общественной среде, которая монополизировала право на создание лите-

ратуры. Даже Державин, при всей стихийной самобытности своего ума и таланта, невольно отдавал дань господствовавшим в его время «ложным понятиям» об искусстве. Эпоха карамзинизма, на взгляд Полевого, характеризуется влиянием светской и мелочной французской литературы. У Карамзина, Дмитриева, Озерова и других поэтов того времени «все бесцветно и несамобытно». О суровом приговоре, вынесенном Полевым Карамзину-писателю, мы уже говорили в связи с «Историей русского народа».

Жуковский «обозначил собою в России *переход* от новейшего классицизма к романтизму новейшему». Это было серьезной победой русской литературы, но Жуковский, по мнению Полевого, ни в какой мере не «самобытный гений», каким был Державин. «Гений собственной поэзии» в творчестве Жуковского только «блеснул на минуту», в главном же и в основном этот поэт находится в рабской зависимости от западноевропейской поэтической культуры: «Язык, образ выражения Жуковского взяты были им у немцев». Он «космополитичен», никогда «не знал он национальности русской», и в произведениях его нечего искать «народности». Кроме того, Полевой подметил у Жуковского «односторонность его идеи». Жуковский, доказывая Полевой, воспринял только «одну из идей» романтизма, именно — «безотчетную мечтательность Шиллера», и потому о новом романтическом мироощущении в связи с поэзией Жуковского можно говорить лишь условно и ограничительно.

То, чего не удалось достичь Жуковскому, выпало на долю Пушкина. В статье о «Борисе Годунове» (1833), по существу касающейся всего творческого пути Пушкина, Полевой дает ему очень высокую оценку. Это — первый поэт эпохи, «полный представитель русского духа нашего времени». Но при этой общей высокой оценке, Полевой далек от правильного, глубокого понимания Пушкина и не скупится на критические замечания. Он строго судит первого поэта России все с той же точки зрения — насколько творчество его отвечает задачам создания «национальной

народной литературы, как единственного средства сделаться самобытными». ¹ В «Руслане и Людмиле», по мнению Полевого, еще нет и тени народности (исключение — «Пролог»), в южных поэмах ощущается непреодоленное влияние Байрона, первые главы «Евгения Онегина» — «русский снимок с лица Дон-Жуанова» (впрочем, в романе отмечаются, наряду с «чуждой идеей», собственные «богатые подробности и частности»). Полевой считает, что только зрелый Пушкин приближается к решению генеральной для русской литературы задачи — к овладению народностью и самобытностью. В восьмой главе «Онегина», в «Полтаве», в балладах «Жених» и «Утопленник» и в некоторых других произведениях Пушкин становится национальным и самобытным поэтом, овладевает «идеей народности».

«Борис Годунов» — лучшее творение Пушкина, самое зрелое и глубокое, но и в нем с «достоинствами» соединены «недостатки», вообще характерные для Пушкина и связанные прежде всего с условиями его литературного воспитания в лоне карамзинизма. «Карамзинизм повредил этому совершеннейшему из его созданий», — пишет Полевой о «Борисе Годунове». Желание следовать за «Историей» Карамзина обусловило ошибки в «плане» трагедии и известную «бедность идеи». И в данном случае Полевой твердо стоял на своих социально-литературных позициях буржуазного просветителя, не мирившегося с «предрассудками» дворянской литературы. «И так еще раз суждено было Пушкину заплатить дань своему воспитанию, образованию своих юных лет, предрассудкам, авторитетам старого времени! — писал Полевой. — Еще раз классицизм, породивший «Историю» Карамзина, должен был восторжествовать над сильным представителем романтизма и европейской современности XIX века в России!.. Мы увидим карамзинского Годунова: этим словом решена участь драмы Пушкина. Ему не посягут уже ни его великое дарование, ни сила

¹ «Очерки русской литературы», т. 1, стр. 155.

языка, какую он обладает... Он сам на себя надел цепи». ¹

В своих критических статьях Полевой выдвигал и обосновывал взгляд на поэта как на «создание необыкновенное», наделенное «высоким самопознанием» и «особенным устройством души». Истинный поэт, говорил Полевой, всегда в распри с «вещественностью», с грубой действительностью; «обыкновенная участь его — борьба». В этом типично романтическом представлении о поэте и его деле была резко подчеркнута также и социальная сторона: поэт обречен на падение и вырождение, если он забывает о своем «высоком назначении», подчиняется «ничтожным приличиям и отношениям», «раболепствует» перед сильными и знатными мира сего. С этой точки зрения Полевой, развернув борьбу с дворянской литературой, критиковал и Пушкина, в полемическом задоре впадая подчас в неумеренно обличительный тон и прямую несправедливость (таковы, например, пародии Полевого в «Новом живописце общества и литературы»).

Впоследствии, после гибели Пушкина, Полевой старался заглаживать все несправедливое, что было допущено в пылу полемики. Его некрологическая статья о Пушкине написана с большим чувством. А в конце жизни, в рецензии на посмертное издание сочинений Пушкина, Полевой писал, что, «не смея причислить себя к *друзьям* Пушкина, смеет думать, что, может быть, он более других ценил, понимал Пушкина при жизни его, более многих других дорожил его славою и желал ему добра, при жизни поэта осмеливаясь беспристрастно и смело говорить ему правду и скорбя, когда, казалось ему, Пушкин не выдерживал своего характера как человек и как поэт». ²

Литературно-критические статьи Николая Полевого произвели сильное впечатление на передовых его современников. На этих статьях воспитывалось молодое поколение тридцатых годов. Некоторые мысли Полевого о русской литературе были подхвачены и

¹ «Очерки русской литературы», т. 1, стр. 184—185.

² «Русский вестник», 1842, кн. 1, стр. 42—43.

развиты Белинским в «Литературных мечтаниях» и в других его работах (оценка литературы XVIII века, мысль о народности Державина, об «односторонности» Жуковского и т. д.). Белинский высоко оценил лучшие статьи Полевого. В рецензии на его «Очерки русской литературы» (в «Отечественных записках» 1840 года) он особенно похвалил статьи о Державине и Жуковском: «Их и теперь можно читать с услаждением и пользою. Они отличаются если не всегда глубоким, то часто верным и по тогдашнему новым взглядом, множеством замечаний тонких и дельных, изложением мастерским, увлекающим, одушевленным. Никто до г. Полевого не судил лучше о Державине и Жуковском, никто до него не был ближе к истине при оценке этих двух великих представителей русской поэзии».¹

Конечно, Полевой, в силу исторически объяснимой ограниченности своих идейных воззрений и упрямой верности романтическим представлениям об искусстве, во многом глубоко заблуждался. Так, он не сумел понять новых явлений русской литературы, знаменовавших становление в ней принципов художественного реализма. Проблема объективного изображения действительности в искусстве для Полевого, литературного теоретика и критика, можно сказать, просто не существовала, — хотя в своей собственной творческой практике он порой изменял бурной романтической фантазии ради суровой прозы жизни (например, в правдивых «Рассказах русского солдата»). Типично романтическое понимание душевной жизни человека как простого противоборства «страстей» и непрерывной смены различных душевных состояний помешало Полевому по достоинству оценить психологический реализм Лермонтова: «Герой нашего времени» оставил его вполне равнодушным.

Примером глубокого непонимания нового в литературе, сектантской узости взгляда служит отношение

¹ В сороковые годы В. Г. Белинский горячо полемизировал с Полевым, сдавшим свои передовые позиции. См. обстоятельную статью В. Ганичевой «К полемике В. Белинского с Н. Полевым» («Ученые записки ЛГУ», 1960, № 295).

Полевого к творчеству Гоголя. В сороковые годы Полевой был яростным противником Гоголя, начисто отрицал его значение. «Ревизор» был для Полевого не более как смешной фарс, в котором нет «ни драмы, ни цели, ни завязки, ни развязки, ни характеров», «язык неправильный», лица — «уродливые гротески», «происшествие несбыточное и нелепое». А «Мертвые души» представлялись Полевому совершенно неудачным плодом «ложной теории искусства»; в гениальной поэме Гоголя он нашел только «уродства» и «бедность содержания».

Это решительное отрицание Гоголя наметилось у Полевого гораздо раньше, еще в «Московском телеграфе». По поводу «Вечеров на хуторе близ Диканьки» он писал, что Гоголь весьма неудачно воспользовался «кладом малороссийских преданий», отмечал «бедность воображения» и «недостатки слога» («Московский телеграф», 1829, № 12). «Миргород» получил несколько более благосклонную оценку: отмечена «неистощимая веселость» Гоголя, похвалены «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», «Старосветские помещики», «Нос», «Колыска» и «Тарас Бульба». Но при всем том Гоголь для Полевого был только шутником, рассказчиком анекдотов: «Его участок — добродушная шутка», и не более того. Из сказанного видно, что Полевой принимал Гоголя как романтик — до известного предела. Реализм Гоголя оказался недоступен его пониманию.

Отрицание Гоголя было одним из самых глубоких заблуждений Полевого, а грубые нападки на автора «Мертвых душ» в сороковые годы способствовали падению репутации Полевого в передовых кругах русского общества. Однако Чернышевский счел возможным сказать по этому поводу, что Полевой, «не будучи прав, был однако же добросовестен» — восставал против Гоголя «по искреннему убеждению». «В самом деле, — писал Чернышевский, — мог ли поклонник Виктора Гюго, автор «Аббадонны» понимать эстетическую теорию, которая главными условиями художественного создания ставила простоту и одушевление вопросами действительной жизни? Нет, и его нельзя

обвинять за то, что он не понимал того, чего не понимал» («Очерки гоголевского периода»).

Литературно-критическая деятельность Николая Полевого была наиболее полным выражением русского романтизма и его последним словом.

14

При всей умеренности своего радикализма, Николай Полевой оставлял за собой право на критику социально-политического строя самодержавно-крепостнической России. Он открыто говорил о необходимости «открывать в настоящем быте нашем нынешние недостатки», и в условиях николаевской реакции деятельность его рассматривалась в правительственных кругах как нечто в политическом отношении весьма одиозное.

«Московский телеграф» с самого начала своего существования находился под бдительным надзором цензуры. В течение долгого времени над журналом собиралась гроза, которая и разразилась со всей силой в 1834 году, когда «Московский телеграф» был запрещен и самое имя его издателя стало запретным. Запрещение журнала явилось последним звеном длинной и непрерывной цепи цензурных преследований, особенно участившихся с 1827 года.

Уже опыт первых двух лет издания «Московского телеграфа» показал Полевому полную возможность дальнейшего расширения его журнального предприятия. «Лестное внимание публики к «Телеграфу» превзошло ожидания издателя», — заявил Полевой в 1826 году на страницах журнала. И действительно, число подписчиков на «Телеграф» к 1827 году достигло небывалой по тем временам цифры — 1500 человек, и Полевой не только возмещал все расходы по изданию (выражавшиеся в сумме около 20 000 руб. в год), но и получал некоторую прибыль.

В середине 1827 года Полевой обратился в Московский цензурный комитет с просьбой разрешить ему издавать с нового года, кроме «Московского те-

леграфа», политическую газету «Компас» и ученый журнал «Энциклопедические летописи отечественной и иностранной литературы». В прошении своем Полевой писал: «Несмотря на некоторый успех предприятия, я видел, что цель моя достигнута не вполне, ибо обзоры иностранных литератур были в Телеграфе весьма недостаточны, обозрение современных происшествий неудовлетворительно, а также и обозрение современной русской литературы». «Главнейшим препятствием» к достижению поставленной им цели Полевой называет «недостаточный размер журнала» (несмотря на почти двойное превышение объема, обещанного в программе).

Поэтому, желая «составить полное обозрение современного просвещения и настоящие летописи современной истории», Полевой считал необходимым «распространить и разделить» свой журнал на три взаимно связанных друг с другом издания: 1) газету, выходящую два раза в неделю, в которой «немедленно и кратко должны быть сообщаемы новости политические и литературные», а также ученые известия, отечественная и иностранная библиография, московская хроника, театральные фельетон, коммерческие известия и проч. («Компас»); 2) ежемесячный журнал ученого и литературного содержания («Московский телеграф») и 3) журнал «совершенно ученого содержания, который мог бы образовать собою авторитет русской ученой критики» («Энциклопедические летописи»). Последний журнал «должен состоять единственно из обширных критических разборов важнейших произведений русской, немецкой, французской, английской и итальянской литературы»; «по составу и содержанию своему сей журнал, требующий тщательной обработки и особенно внимательного занятия, будет выходить только четыре раза в год, книгами от 15-ти до 20-ти печатных листов каждая». ¹

¹ М. Сухомлинов. Исследования и статьи по русской литературе и просвещению, т. 2. СПб., 1889, стр. 382—386. Там же опубликованы и все далее цитируемые документы, кроме особо отмеченных.

В Главном цензурном комитете, куда переслали из Москвы прошение Полевого, проект реорганизации «Московского телеграфа» был встречен довольно снисходительно. Комитет нашел возможным разрешить Полевому издание журналов «Московский телеграф» и «Энциклопедические летописи» — безоговорочно; что же касается газеты «Компас», где должны были помещаться политические известия и статьи о театре, то Комитет представил это на разрешение высшей инстанции — министра народного просвещения А. С. Шишкова. Тот сразу и наотрез отказал в предоставлении Полевому права печатать «суждения о театральных пьесах и игре актеров» — на основании издавна существовавшего (и в 1824 году подтвержденного) распоряжения бывшего министерства полиции. По вопросу об известиях политических Шишков распорядился снестись с министром иностранных дел, а «на прочее изъявил свое согласие». Казалось, журнальный проект Полевого был близок к осуществлению, как вдруг Шишков переменял решение и ответил Полевому категорическим отказом по всем пунктам его проекта. Вызвано было это тем обстоятельством, что как раз в это время, в течение пяти дней, шефу жандармов и начальнику Третьего отделения графу Бенкендорфу было подано, один за другим, три анонимных доноса на издателя «Московского телеграфа».

В первом доносе, помеченном 19 августа 1827 года, было указано, что «издание политической газеты даже в конституционных государствах доверяется людям, известным своей привязанностью к правительству», что «дух газеты всегда зависит от образа мыслей издателя», а Полевой «по происхождению своему принадлежит к среднему сословию; которое, по натуре вещей, всегда более склонно к нововведениям, обещающим им уравнивание в правах с привилегированными классами». Полевой изображен в доносе как разносчик вредного образа мыслей, что сказалось и в составленном при его участии (в 1823 году) «Мнении московского купечества», где «Вольтер и Дидерот выведены на сцену для защиты прав московско-

го купечества» (мы в своем месте касались этого «Мнения»), и в «Московском телеграфе», где «беспрестанно помещаются статьи, запрещаемые с.-петербургской цензурою, и разборы иностранных книг, запрещенных в России». В качестве одного из наглядных примеров политической неблагонадежности «Телеграфа» названы письма А. И. Тургенева из Дрездена, где «явно обнаружено сожаление о погибших друзьях», т. е. о декабристах.¹ «Вообще дух сего журнала есть оппозиция, — замечает доносчик, — и все, что запрещается в Петербурге говорить о независимых областях Америки и ее героях, с восторгом помещается в «Московском телеграфе». Далее доносчик подробно информирует начальство о связях Полевого с П. А. Вяземским, образ мыслей которого «может быть достойно оценен по одной его стихотворной пьесе — «Негодование», служившей катехизисом заговорщикам».

Во втором доносе, датированном 21 августа, перечислены «наугад выбранные» статьи из первых четырех книжек «Телеграфа» за 1827 год, «наполненные революционных правил» (при этом доносчик указывает, что «в прошлых годах есть гораздо сильнее вещи»). Так, например, в статье Н. Полевого «Взгляд на русскую литературу 1825—1826 гг.» (1827, ч. 3) доносчик усмотрел сетования о судьбе декабриста Н. И. Тургенева и «явный ропот против притеснения просвещения»; в статье «Путешествие в Эрмонвиль» (1827, № 4) — обратил внимание на оценку Ж.-Ж. Руссо как «первого и величайшего философа»; в переводной статье «Философия истории» (1827, № 6) его особенно возмутил отзыв о материалистической философии XVIII века, которая «навекі пребудет убежищем всех избранных душ»; наконец, в № 7 «Телеграфа» он отметил «места, содержащие в себе самый явный карбонаризм».

¹ «Смотрю на круг друзей наших, прежде оживленный, веселый, и часто, думая о тебе, с грустью повторяю слова Сади или Пушкина, который нам передал слова Сади: *Одних уж нет, другие странствуют далеко*» («Московский телеграф», 1827; ч. 13, стр. 5).

Третий донос, помеченный 23 августа, посвящен выяснению персонального состава «московской либеральной шайки», «атаманами» которой названы Вяземский и Н. Полевой. Здесь доносчик, нужно сказать, проявил довольно слабое знакомство с истинным положением дел, зачислив в «партию» Полевого таких далеких ему людей, как сотрудники «Московского вестника» (Титов, Рожалин, Киреевский), как «бывший профессор Давыдов, самый отважный якобинец», как Пушкин.

Кто был автором этих доносов — достоверно не известно; документы об этом молчат (все три доноса принадлежат, несомненно, одному лицу; в третьем доносе говорится: «Я счел долгом *еще раз* обратить внимание. . .»). Но назвать имя можно — причем без риска впасть в ошибку. Из самих доносов явствует, что автор — петербуржец и литератор, имеющий связи в цензурном ведомстве. Он ярый враг Вяземского. О благонамеренности его мыслей и побуждений говорить не приходится. Существенно еще одно обстоятельство: доносчик более всего обеспокоен данным Полевому дозволением издавать *политическую газету*. Итак, перед нами благонамеренный петербургский литератор-журналист, давний противник Полевого и Вяземского. Нет сомнения, что это был Фаддей Булгарин.¹

Донысы были приняты во внимание. Бенкендорф довел их до сведения Николая I, и Шишков вынужден был отменить свое дозволение *по приказу царя* (об этом прямо говорится в докладной записке 1831 года, поданной тогдашним министром народного просвещения кн. К. А. Ливеном на имя Николая I).² Официальные причины своего отказа Шишков изложил в отношении, посланном в Главный цензурный

¹ П. А. Вяземский, вспоминая о доносах 1827 года, писал: «По всем догадкам, это была болгаринская штука. Узнав, что в Москве предполагают издавать газету, которая может отнять несколько подписчиков у «Северной пчелы», и думая, что я буду в ней участвовать, он нанес мне удар из-за угла» («Полное собрание сочинений», т. 9. СПб., 1884, стр. 102—103).

² Архив министерства народного просвещения, дело № 420.

комитет, где «почитал нужным подтвердить г. Полевому, чтобы он при выборе помещаемых статей действовал с величайшею осмотрительностью».

Между тем Полевой, приехавший в Петербург лично хлопотать о своих журнальных делах, вел себя неосторожно. В записке управляющего Третьим отделением М. Я. фон Фока о состоянии умов петербургских литераторов после 14 декабря 1825 года, представленной Бенкендорфу и начальнику Главного штаба Дибичу и инспирированной также, по-видимому, Булгариным, сообщалось, что на вечеринке у литератора О. М. Сомова (31 августа 1827 года) Полевой «один отличался резкими чертами от здешних литераторов, сохраняя в себе весь прежний дух строптивости, которым блистал Рылеев и его сообщники в обществах... Полевой хвастал, как великим подвигом и заслугою, что московский военный губернатор князь Голицын несколько раз уже жаловался на него за либерализм, но что он не боится ничего».¹

Отказ и предупреждение Шишкова в 1827 году открыли длинный ряд цензурных преследований «Московского телеграфа» и его редактора — замечаний, внушений и выговоров. Цензура с особой подозрительностью рассматривала материалы «Телеграфа», и Полевой часто жаловался в письмах к друзьям, что медлительность и строгость цензоров ставит его в невыносимые условия. Не помог и новый, «либеральный» цензурный устав 1828 года, выработанный при преемнике Шишкова — кн. Ливене. Так, например, в 1829 году Николай I, ознакомившись со статьей «Приказные анекдоты», появившейся в сатирическом разделе «Новый живописец общества и литературы», приказал Бенкендорфу сделать (через начальника Московского округа корпуса жандармов генерала А. А. Волкова) строгий выговор Полевому и цензору С. Н. Глинке (пропустившему статью), а также выяснить имя сочинителя. Полевой представил Волкову объяснение, где заверял, что статья (написанная им

¹ Б. Модзалевский. Пушкин под тайным надзором. Изд. 3-е. Л., 1926, стр. 68—70.

самим) не имела в виду ничего, «кроме общественной пользы и славы монарха русского», и просил учредить над «статьями о нравах» особую предварительную цензуру самого Волкова.¹ Николай I «милостиво согласился» на предоставление Полевому права отдавать материалы «Нового живописца» в предварительную цензуру жандармского генерала — факт сам по себе парадоксальный (впрочем, может быть, Полевой, бывший с Волковым в добрых отношениях, рассчитывал на его снисходительность).

В том же 1829 году министр Ливен поручил «оставить на вид» Московскому цензурному комитету помещение в «Московском телеграфе» первой лекции курса истории философии В. Кузена на том основании, что указанная лекция «заключает в себе вредное учение о вере и философии».² В начале 1832 года Полевой снова попал под строгое замечание за помещенную в № 16 «Телеграфа» рецензию на нелепую реакционную брошюру «Горе от ума, производящего всеобщий революционный дух». На сей раз сам Бенкендорф обратился к Полевому с письмом, выдержанным в тонах дружеского совета или отеческого увещания. Ссылаясь на содержащееся в рецензии мнение, что «революции необходимы и что кровопролития и ужасы, сопровождающие насильственные перевороты в правлении, не так губительны», Бенкендорф писал: «Я не могу не скорбеть душою, что во времена, в кои и без ваших вольнодумных рассуждений юные умы стремятся к общему беспорядку, вы еще более их воспаляете и не хотите предвидеть, что сочинения ваши могут и должны быть одною из непосредственных причин разрушения общего спокойствия. Писатель с вашими дарованиями принесет много пользы государству, если он даст перу своему направление благомыслящее, успокаивающее страсти, а не возжигающее оные. Я надеюсь, что вы с благоразумием примете мое предостережение и что впредь

¹ «Русская старина», 1903, т. 113, № 2, стр. 264.

² «Шукинский сборник», вып. 2. М., 1903, стр. 302—303.

не поставите меня в неприятную обязанность делать невыгодные замечания насчет сочинений ваших и говорить вам столь горькую истину».¹

Бенкендорф не ограничивался такого рода «дружескими» советами, «имевшими обязательную силу приказания». На следующий же день (9 февраля 1832 года) он послал официальное отношение министру народного просвещения, где указал на распространение московскими журналистами Полевым и Надеждиным «идей самого вредного либерализма». Министр разослал по всем университетам циркулярное предписание не допускать чтения «Московского телеграфа» и «Телескопа» студентами.² Известен еще целый ряд придинок к Полевому, пересказывать которые нет нужды.³

Несмотря на запрещение произвести реорганизацию «Телеграфа» в 1827 году и цензурные репрессии в последующие годы, Полевой в 1831 году вторично возбудил ходатайство о преобразовании журнала. В сентябре 1831 года он обратился в Московский цензурный комитет с прошением, в котором указывал, что «опытом убедился, что для доставления большей пользы и удовольствия читателям» необходимы некоторые перемены в плане и в содержании его журнала. Не помышляя уже об издании политической газеты (в условиях, сложившихся к 1831 году, возможность издания такой газеты совершенно исключалась), Полевой предполагал издавать в 1832 году: 1) «Московский телеграф» — ученый журнал (четыре книжки в год), 2) «Прибавление к Московскому телеграфу» — еженедельное издание, включающее «статьи оригинальные и переводные о науках, искусствах, художестве и ремеслах; изящную словесность; библиографию русскую и иностранную; статьи о театре; мелкие раз-

¹ «Русский архив», 1866, № 12, стбц. 1753—1756. Ответное письмо неизвестно.

² «Шукинский сборник», вып. 1. М., 1902, стр. 297; «Гатевский сборник», М., 1899, стр. 42—43.

³ Сводку данных см.: Н. Козмин. Очерки из истории русского романтизма. СПб., 1903, стр. 491—511.

ные статьи (сатирический фельетон, смесь и проч.)» и 3) специальный «Journal des modes» («краткие замечания о модах, модных обычаях, книгах, составляющих легкое чтение, смесь, анекдоты, словом легкое чтение для дам»).

Учитывая печальный опыт 1827 года, Полевой на этот раз предусмотрительно оговорил, что из его журналов исключаются «статьи о книгах духовных... также статьи касательно современной политики. Но события нашего времени в *исторической форме*, т. е. когда они поступили в область *истории*, а не составляют предмета политики, не исключаются. Так, например, если бы встретилась книга, заключающая в себе описание последней войны России с Турцией, она может быть предметом рецензий, но книги о событиях 1830 и 1831 гг. — исключаются». Яснее сказать было нельзя, — ведь речь шла о «победоносной» русско-турецкой кампании 1828—1829 годов, ставшей объектом казенных песнопений, и о бесславном и кровавом подавлении польского национально-освободительного движения, суждения о котором вообще не дозволялись.

Как видим, Полевой перед лицом властей всячески демонстрировал свою благонамеренность. Но ничто ему не помогло. Председатель Московского цензурного комитета кн. С. М. Голицын направил проект Полевого в Главное управление цензуры, сопроводив его собственным «мнением», в котором предлагал, «дабы журнал «Московский телеграф» на предбудущее время ограничивался одною только литературою по той причине, что неоднократно в оном помещались такие статьи, которые не совсем-то были одобряемы высшим начальством, и что издатель оного, купец Николай Полевой, не пользуется совершенною доверенностью правительства». Министр народного просвещения Ливен представил ходатайство Полевого на усмотрение Николая I, и 7 ноября 1831 года царь, как видно и сам внимательно следивший за «Московским телеграфом», положил такую резолюцию: «Не дозволять, ибо и ныне ничуть не благонадежнее прежнего».

Неудачи, постигшие обширные журнальные проекты Николая Полевого, не могли не притупить его интереса к журналистике вообще. «Московский телеграф» начинал тяготить его. Еще в феврале 1829 года Полевой писал В. Ф. Одоевскому: «...Телеграф я стараюсь поддерживать, но он тяжелит меня. Душа просит лучшего, более важного занятия. Если бы не вещественные выгоды (ибо чем же мне жить?) и не горестная уверенность, что с Телеграфом умолкнет деятельность журнальная (а публика читает и любит читать журналы, ergo, действовать на нее журналом всего лучше), я бросил бы издание журнала, соединенное с бездной хлопот мелких, забот пустых и неудовольствий всяких».¹

В этой связи возникает вопрос о роли, которую играл в «Московском телеграфе» брат Николая Полевого — Ксенофонт Алексеевич. Роль эта с самого начала была велика. С первой же книжки Кс. Полевой с головой ушел в повседневную, черновую журнальную работу. Трудно учесть все, что было написано им для «Телеграфа», но нужно думать, что значительная часть анонимных рецензий (преимущественно на русские книги по истории и художественной литературе), а также статей из отделов «Современная летопись» и «Смесь» принадлежат перу Кс. Полевого. Есть основания полагать также, что именно на Кс. Полевом лежали обязанности литературного правщика и корректора «Московского телеграфа».²

В дальнейшем, когда Николая Полевого все больше захватывали новые широкие литературные планы (роман, история) и общественная деятельность (Коммерческая академия, Мануфактурный совет и т. д.),

¹ «Звезда», 1946, № 4, стр. 186.

² Николай Полевой писал А. А. Бестужеву: «Если бы Вы знали моего брата... такой души редкой: это вулкан под ледяною корою. Он меня любит как любовницу, а я еще более, ибо чувствую, что он *мог* создание» («Известия по русскому языку и словесности Академии наук», 1929, т. 2, кн. 1, стр. 208).

роль Ксенофонта Алексеевича в редакции «Московского телеграфа» с каждым годом все более возрастает. В 1831 году он уже фактический редактор. П. А. Муханов, человек, близко стоявший к «Телеграфу», в январе 1832 года писал брату: «Полевой кропает историю. Ксенофонту передал право на журнал, а себе право на все вырученные до сего времени деньги, которых немало. Телеграф без сомнения упадет, что предвидел дальновидный Н. Полевой».¹

Однако «Телеграф» не только не упал после перехода в руки Кс. Полевого, но, напротив, еще более укрепился, и, что всего важнее, укрепился не только в литературном, но и в идейном отношении. Именно при Кс. Полевом он окончательно превращается в трибуну буржуазной оппозиции. Достаточно пересмотреть книжки «Телеграфа» за 1831—1833 годы, чтобы убедиться в том, что журнал в это время с большей принципиальностью и четкостью формулирует свои социально-политические установки, нежели прежде. Вместе с тем улучшаются литературно-критический и беллетристический отделы «Телеграфа» — печатаются интересные повести Марлинского, Вельтмана, Н. Полевого, крупные критические статьи Н. Полевого: о Мерзлякове (1831, № 3), Гюго (1832, ч. 43), Державине (1832, ч. 46), Жуковском (1832, ч. 47), Пушкине (1833, ч. 49), о шекспировском «Сне в летнюю ночь» (1833, ч. 53), «О драмах из жизни Тасса» (1833, ч. 55),² ряд больших и значительных статей Кс. Полевого,³ важная статья А. Бестужева-Марлинского «О романах и романтизме» (1833, чч. 52 и 53).

¹ «Шукинский сборник», вып. 3. М., 1904, стр. 174.

² Указатель всего, что написано Н. А. Полевым для «Московского телеграфа», тщательно составлен В. Березиной (Н. А. Полевой в «Московском телеграфе». — «Ученые записки ЛГУ». 1954, № 173). Впрочем, некоторые атрибуции в этом указателе можно оспорить.

³ Назовем здесь основные литературно-критические статьи Кс. Полевого, напечатанные в «Московском телеграфе»: о сочинениях Пушкина и стихотворениях Дельвига (1829, ч. 27), «О русских повестях и романах» (1829, ч. 28), «Взгляд на два обозрения русской словесности, помещенные в Деннице и «Северных цветах» (1830, ч. 31), о трагедии А. Хомякова «Ермак» и о «Душеньке»

В октябре 1833 года Николай Полевой писал И. М. Снегиреву: «Условились мы с братом, который хоть и полный редактор Телеграфа, но по праву старшего брата позволяет мне хозяйничать беспрекословно; да и официально не облечен еще жалким достоинством публичного человека». ¹ За год с лишним до того, в середине 1832 года, Н. Полевой возбудил формальное ходатайство об утверждении Ксенофонта со-редактором «Телеграфа» — «с полною во всех отношениях обязанностью и ответственностью наравне с ним, Николаем Полевым, так, чтобы в объявлениях публике и в заглавии «Телеграф» мог уже означаться: *издаваемый Николаем и Ксенофонтом Полевыми*, а в случае смерти его, Николая Полевого, переходил бы вполне в управление и собственность означенного брата его Ксенофонта».

Не решаясь вынести собственное суждение, Московский цензурный комитет представил ходатайство Полевого на усмотрение Главного управления цензуры. Министр народного просвещения Ливен затребовал «обстоятельные сведения» о «способностях» и «нравственной благонадежности» Кс. Полевого. После длинной канцелярской волокиты, получив сведения о «весьма хорошем поведении, кротости и трезвости» Кс. Полевого, а также «способности его к изданию повременного сочинения», Главное управление цензуры постановило (в марте 1833 года) отложить решение дела до конца года. В ноябре выяснилось, что Главное управление «признало невозможным согласиться на принятие издателем Московского телеграфа Николаем Полевым в участие по изданию сего журнала брата своего Ксенофонта Полевого, потому что первоначальное дозволение на сие повременное сочинение дано было одному Николаю Полевому, на

И. Богдановича (1832, ч. 44), об «Украинских мелодиях» Н. Маркевича и о сочинениях Д. Давыдова (1832, ч. 46), о «Жизни Наполеона» В. Скотта (1833, чч. 50 и 54), о «Системе российской словесности» И. Давыдова и «О направлениях и партиях в литературе» (1833, ч. 51), «Изучение новых творений Гёте» (1834, ч. 55), «О новом направлении в русской словесности» (1834, ч. 56).

¹ «Вестник всемирной истории», 1900, № 9, стр. 173.

коем одном должна и впредь оставаться ответственность за редакцию сего журнала». ¹ Решение это исходило от нового министра народного просвещения С. С. Уварова, который уже решил пресечь деятельность братьев Полевых и подготавливал почву для запрещения «Московского телеграфа». Ответственность за журнал осталась на Николае Полевом, и вскоре он испытал всю тяжесть этой ответственности.

Уваров был виднейшим деятелем и воинствующим идеологом николаевской реакции, автором пресловутой формулы: «Истинно русские охранительные начала православия, самодержавия и народности, составляющие последний якорь нашего спасения и вернейший залог силы и величия нашего отечества». В марте 1833 года он был поставлен во главе министерства народного просвещения, и с этого времени начались для «Московского телеграфа» поистине черные дни. Отношения редакции лучшего из русских журналов с правительственными органами вступили в последнюю, решающую фазу.

Кс. Полевой в своих «Записках» наивно объясняет ненависть Уварова к «Московскому телеграфу» колкими замечаниями, появлявшимися на его страницах по поводу адрес-календарей и газеты «Санктпетербургские ведомости», которые издавались при Академии наук, где Уваров был президентом. Суть дела, разумеется, не в этом. Уваров задался целью обезоружить издателя «Московского телеграфа» как передового писателя и журналиста, стремился истребить дух «карбонаризма» и «якобинства», выразителем которого являлся в его глазах «Московский телеграф». Впрочем, сперва он попытался купить Полевого.

Еще в 1832 году Уваров (тогда товарищ министра народного просвещения), посетив Москву, вызвал к себе Н. Полевого и изложил ему «с умеренностью, но твердо» все последствия, какие влечет за собою «опасное направление» его журнала, и якобы «получил от него торжественное обещание исправить сию ложную

¹ «Николай Полевой. Материалы по истории русской литературы и журналистики тридцатых годов». Л., 1934, стр. 362—363.

и вредную наклонность». Так писал сам Уваров во «всепоподданнейшем» отчете о своей поездке. И далее: «Вообще, имея при сем случае непосредственное сношение с сими лицами (Полевым и Надеждиным. — В. О.), убедился я в том, что можно постепенно дать периодической литературе, сделавшейся ныне столь уважительной и столь опасной, направление, сходственное с видами правительства; а сие, по моему мнению, несравненно лучше всякого вынужденного запрещения издавать листки, имеющие большое число приверженцев и с жадностью читаемые особенно в средних и даже низших классах общества. Здесь должен я сказать, что издатель «Московского телеграфа» Полевой скорее других повиновался моему наставлению и что даже московская публика заметила перемену в тоне его журнала, хотя не ведала о причинах, побудивших его к оной».¹

Все это Уварову померещилось, как показали дальнейшие события. Во всяком случае, ему (правильно учитывавшему крупное значение «Телеграфа» как органа «средних и даже низших классов») не удалось привлечь видного журналиста на службу правительственным интересам. Заняв пост министра и убедившись в нежелании Н. Полевого следовать его указаниям, Уваров взял «Московский телеграф» под особо бдительное наблюдение. В каких тяжких условиях работала редакция журнала в 1833 году, видно из письма Кс. Полевого к В. И. Карлгофу (от 30 декабря 1833 года): «Мы с Телеграфом подвигаемся раковым ходом, и делаем и хлопочем более других журналистов, оттого, что и работаем усерднее, да и цензурушка-голубушка заставляет часто делать вдвое, выключая целые статьи, искажая другие и вообще поступает с нами немилосердно. Особенно с тех пор, как министр просвещения — С. С. Уваров, цензоры с ума сошли. . . Представьте себе, что нам только 1 декабря позволили объявить о Телеграфе, таскают каждую книжку недели по три, по месяцу, потому что

¹ Н. Барсуков. Жизнь и труды М. П. Погодина, кн. 4. СПб., 1891, стр. 99.

каждую строчку обсуждают полным присутствием цензуры, и проч. и проч.»¹

В статье Кс. Полевого об «Истории Наполеона» Вальтера Скотта Уваров усмотрел «самые неосновательные и для чести русских и нашего правительства оскорбительные толки и злонамеренные иронические намеки» и в сентябре 1833 года представил Николаю I записку о *запрещении* «Московского телеграфа», доказывая, что Полевой «утратил, наконец, всякое право на дальнейшее доверие и снисхождение правительства, не сдержав данного слова и не повиновавшись неоднократно наставлению министерства».² Однако Николай I на этот раз наложил неожиданно либеральную резолюцию: «Я нахожу статью сию более глупою своими противоречиями, чем неблагонамеренною. Виновен цензор, что пропустил, автор же — в том, что писал без настоящего смысла, вероятно, себя не разумея. Поэтому бывшему цензору строжайше заметить, а Полевому объявить, чтоб вздору не писал; иначе запретится журнал его».³

Хотя эта попытка Уварова запретить «Московский телеграф» и не увенчалась успехом, министр не отступился от своего намерения. В ожидании первого удобного случая он приступил загодя к составлению фундаментального обвинительного акта, поручив одному из расторопных своих чиновников — барону Ф. И. Брунову — сделать свод выписок всех предосудительных суждений, появлявшихся в «Телеграфе» в 1830—1833 годы, а заодно и из первых четырех томов «Истории русского народа».⁴ Пушкин записал в дневнике, что составить этот «список злодеяний» Полевого надоумил Уварова Д. Н. Блудов — один из самых «исступленных» поклонников Карамзина, друг Жуковского и Вяземского.

¹ «Русский архив», 1912, кн. 1, стр. 421.

² М. Сухомлинов. Указ. соч., стр. 402—403.

³ Там же. Цензор Двигубский назван «бывшим», потому что еще до этого происшествия был уволен со службы.

⁴ В результате работы Брунова составила объемистая тетрадь, она опубликована у М. Сухомлинова (стр. 413—428).

Вскоре наступила развязка. Пятнадцатого января 1834 года на Александринском театре, в бенефис В. А. Каратыгина, была представлена новая драма модного и обласканного властями писателя Н. В. Кукольника — «Рука всевышнего отечество спасла». Сусальная пьеса эта, в каждой строке которой «видна преданность престолу и отечеству» (по словам Н. В. Станкевича), пропагандировала идеи «православия, самодержавия и народности». Сюжет драмы — события 1612 года, воцарение Романовых. Поставлена она была с особенной пышностью. Николай I присутствовал на спектакле и остался в полном восторге.

Николай Полевой, ознакомившись с драмой Кукольника (она была издана тогда же, в начале 1834 года), написал о ней рецензию для третьей книжки «Московского телеграфа». Отзыв его был довольно суровым: «Новая драма г. Кукольника весьма печалит нас... мы слышали, что сочинение г. Кукольника заслужило в Петербурге много рукоплесканий на сцене. Но рукоплескания зрителей не должны приводить в заблуждение автора...»¹ Странным образом Полевой, опытный журналист, не учел, кто именно рукоплескал драме Кукольника. Этому во всех отношениях ничтожному произведению суждено было послужить непосредственной причиной гибели лучшего журнала эпохи и личной катастрофы его издателя. Хорошо выражено это в анонимной эпиграмме, получившей тогда широкое распространение:

«Рука всевышнего» три чуда совершила:
Отечество спасла,
Поэту ход дала
И Полевого удушила...

В то время как третья книжка «Московского телеграфа» печаталась, Полевой приехал в Петербург (20 февраля) и здесь был предупрежден Бенкендорфом (в «Записках» Кс. Полевого — «влиятельный знакомец») о последствиях, которые может вызвать не-

¹ «Московский телеграф», 1834, ч. 55, стр. 498—506.

одобрительный отзыв о «Руке всевышнего». Полевой принял некоторые меры предосторожности, в частности написал в Москву брату, чтобы в неразосланной подписчикам части тиража третьей книжки статья о Кукольнике была вырезана (изредка попадаются экземпляры «Телеграфа» без этой статьи). Очевидно, Полевой понимал, что над его головой собралась сильная гроза. На пятый день после приезда в столицу он присутствовал на писательской вечеринке у Смирдина. Здесь его встретил А. В. Никитенко, который тогда же занес в свой дневник его превосходную портретную характеристику: «Это иссохший, бледный человек, с физиономией сумрачной, но и энергичской. В наружности его есть что-то фанатическое. Говорит он не хорошо. Однако в речах его — ум и какая-то судорожная сила. Как бы ни судили об этом человеке его недоброжелатели, которых у него тьма, но он принадлежит к людям необыкновенным. . . Притом он одарен сильным характером, который твердо держится в своих правилах, несмотря ни на соблазны, ни на вражду сильных. Его могут притеснять, но он, кажется, мало об этом заботится. «Мне могут, — сказал он, — запретить издание журнала: что же? я имею, слава богу, кусок хлеба и в этом отношении ни от кого не завишу».¹

Вскоре Полевой вернулся в Москву. Прошло еще недели две. Тем временем Николай I прочитал рецензию на «Руку всевышнего» и пришел в страшное негодование. Он приказал немедленно доставить Полевого в Петербург с жандармом. Распоряжение Бенкендорфа на сей счет помечено 21 марта;² 25 марта Полевого в фельдъегерской тележке вывезли из Москвы и доставили в столицу прямо к Дубельту — начальнику штаба жандармского корпуса. Здесь он и был заарестован.

Через несколько дней Бенкендорф в присутствии Уварова объявил Полевому «высочайшую волю»:

¹ А. В. Никитенко. Записки и дневник, т. 1. СПб., 1905, стр. 238.

² «Русская старина», 1903, т. 113, № 2, стр. 268.

объяснить, какими соображениями руководствовался он, осуждая патриотическую драму Кукольника вопреки общему о ней мнению. В своем объяснении, датированном 31 марта, Полевой писал, что «судил о трагедии по чтению, не выдал ее на сцене, и говорил о ней в чисто литературном смысле, как о поэтическом создании» и что только в таком — «литературном» — смысле и следует понимать инкриминируемую ему фразу: «Новая драма г. Кукольника весьма печалит нас». «Готов сознаться в ошибке, — добавлял Полевой. — Но смею уверить... что никогда в мысль мне не приходило что-либо предосудительное против похвальной патриотической цели автора».¹ Объяснения Полевого были признаны Бенкендорфом «удовлетворительными», и ему было разрешено уехать обратно в Москву. Между тем 3 апреля 1834 года последовало высочайшее повеление прекратить дальнейшее издание журнала «Московский телеграф». Инициатива запрещения исходила и на этот раз от Уварова.

Уваров еще 21 марта представил царю обширный доклад, приложив к нему тетрадь выписок из «Телеграфа», составленную бароном Бруновым. В докладе Уваров писал: «Давно уже и постоянно «Московский телеграф» исполнялся возвещениями о необходимости преобразований и похвалою революциям. Весьма многое, что появляется в злонамеренных французских журналах, «Телеграф» старается передать русским читателям с похвалою. Революционное направление мыслей, которое справедливо можно назвать нравственною заразою, очевидно обнаруживается в сем журнале, которого тысячи экземпляров расходятся по России, и по неслыханной дерзости, с какой пишутся статьи, в оном помещаемые, читаются с жадным любопытством. Время от времени встречаются в «Телеграфе» похвалы правительству, но тем гнуснее лицемерие: вредное направление мыслей в «Телеграфе», столь опасное для молодых умов, можно доказать множеством примеров». Далее Уваров привел часть

¹ М. Сухомлинов. Указ. соч., стр. 410—411.

этих примеров, понадерганных из разных статей «Московского телеграфа», а также из «Истории русского народа» Н. Полевого. Издание «Московского телеграфа», по глубокому убеждению Уварова, то же самое, как «если бы среди обширной столицы кто-нибудь вышел на площадь и стал провозглашать перед толпою народа о необходимости революций, о неосуждении всеобщности революций» и т. д.

Уваров не пожалел красок. Пугая царя призраком революции, он приплел к делу и «тайную мысль о свободе Малороссии», и Разина с Пугачевым, и декабристов (Полевой, дескать, внушает мысль, что «братоубийцы достойны сожаления, а не проклетия»), и много еще чего. На этот раз Уваров достиг цели: Николай ничего не мог возразить против столь красноречивой аргументации. А. В. Никитенко записал в дневнике: «Государь хотел сначала поступить очень строго с Полевым. Но, — сказал он потом министру, — мы сами виноваты, что так долго терпели этот беспорядок». Кто знает — может быть, Полевого ждал крепостной каземат... Тот же Никитенко передает свой разговор с Уваровым по поводу запрещения «Московского телеграфа». Министр следующим образом доказывал необходимость этой расправы: «Это проводник революции, он уже несколько лет систематически распространяет разрушительные правила. Он не любит России. Я давно уже наблюдаю за ним... Я сначала думал предать его суду: это погубило бы его. Надо было отнять у него право говорить с публикою... Впрочем, известно, что у нас есть партия, жаждущая революции. Декабристы не истреблены: Полевой хотел быть органом их... С Гречем или Сенковским я поступил бы иначе: они трусы, им стоит погрозить гауптвахтой, и они смиряются. Но Полевой — я знаю его: это фанатик. Он готов претерпеть все за идею. Для него нужны решительные меры...»¹ Вот какую лестную (хотя и несколько преувеличенную) характеристику дал Уваров издателю «Московского телеграфа».

¹ А. В. Никитенко. Записки и дневник, стр. 241.

Прекращая издание самого крупного и влиятельного из русских журналов, правительство, разумеется, учитывало, какой большой общественный резонанс вызовет это событие. Бенкендорф приказал московскому жандармскому генералу Лесовскому сообщить, «какие будут в Москве суждения насчет поездки Полевого и что он сам будет о сем говорить». А суждения были разнообразны. «Везде сильные толки о Телеграфе, — читаем в дневнике А. В. Никитенко. — Одни горько сетуют, что «единственный хороший журнал у нас уже не существует». — «Поделом ему, — говорят другие: — он осмеливался бранить Карамзина. Он даже не пощадил моего романа. Он либерал, якобинец, — известное дело, и т. д. и т. д.»¹ Лесовский же докладывал Бенкендорфу, что «по отъезде Полевого многие благомыслящие имели суждение, что давно бы пора унять подобных вольнодумцев. Одни писатели, товарищи его, сожалели о нем, исключая врага его Надеждина, распустившего слух, будто бы Полевой отдан в солдаты. Неожиданное скорое возвращение Полевого удивило всех и дало повод к заключению о невинности его, что породило разные суждения и толки. В сем последнем случае говорят: «Если он невинен, то зачем же было поступать так жестоко с человеком, облагороженным правительством?» и что употребленная над Полевым мера влечет к невольному заключению о небезопасности личности каждого. «Если же обнаружены его преступные намерения, то следовало бы его примерно наказать»... А потому заключают, что запрещение издавать «Телеграф» обнаруживает слабость правительства и огорчает публику».²

Среди высшей военной и гражданской бюрократии запрещение «Телеграфа», естественно, встретило горячее одобрение. Литературные противники Полевого, как например Надеждин, Погодин, Воейков, тоже открыто выражали удовольствие. Гораздо более сложным и противоречивым было отношение к гибели

¹ Там же, стр. 240.

² «Русская старина», 1903, т. 113, № 2, стр. 269—270.

лучшего русского журнала со стороны писателей даже передовых, но стоявших, однако, на иных социальных и литературных позициях, нежели Н. Полевой. Тут продолжали действовать соображения литературной полемики, дух цеховых распрей. Характерен в этом смысле отзыв Пушкина (в дневнике 1834 года): «Я рад, что Телеграф запрещен, хотя жалею, что запретили. Телеграф достоин был участи своей; мудро с большей наглостью проповедовать якобинизм перед носом правительства». Примерно в таком же духе высказался и Вяземский: «Признаюсь, существование Телеграфа в том виде, в каком он был, могло быть сочтено за неприличность не только литературную, но и политическую; а все жаль, что должны были прибегнуть к усиленной мере запрещения, когда давно должны были действовать законные меры воздержания».¹

16

Мне тяжело жизнь свою осталось
довлечить...

Н. Полевой

Сам Николай Полевой некоторое время старался сохранять душевную бодрость, хотя положение его было отчаянным. Ведь его не только лишили права продолжать журнально-издательскую деятельность, но запретили ему даже подписывать своим именем что-либо помещаемое в чужих журналах. «Благодарю вас за ласковое внимание ко мне, за соразделение скорбей и неприятностей... — писал он 19 июня 1834 года И. М. Снегиреву. — Но у меня есть и, пока не потеряю ума, будет всегда помощь крепкая: *вера и терпение*. Бедствия должны устать, наконец, если их твердо переносят...»² Но и в этих строках уже чувствуется, что писал их не «фанатик», не стойкий боец, а надломленный и глубоко опустошенный человек

¹ Письмо к И. И. Дмитриеву. — «Русский архив», 1868, стбц. 638.

² «Русская старина», 1901, т. 106, № 5, стр. 408.

с сильно развитым чувством пиетизма. Он уже возлагает свои надежды только на «веру» и «терпение». Может быть, «вера» и «терпение» и помогли ему совершить тот крутой поворот вправо, который привел его через три года в редакцию «Северной пчелы». После запрещения «Московского телеграфа» Полевой, по убийственному замечанию Герцена, «в пять дней стал верноподданным».¹

В конце 1837 года Полевой оставил Москву и переехал в Петербург, где по договору со Смирдиным взял на себя негласную редакцию «Сына отечества» и «Северной пчелы» (под верховным управлением и контролем Булгарина и Греча). Надеждам, которые Полевой возлагал на «новое бытие» в Петербурге, не суждено было сбыться. В редакциях смирдинских журналов он стал безгласной жертвой закулисных интриг Булгарина, Греча и Сенковского. Правительство не верило в его лояльность. Уваров, считавший запрещение «Московского телеграфа» едва ли не государственной заслугой, продолжал преследовать Полевого систематически и жестоко.

Петербургский период жизни и деятельности Полевого являет собой печальную картину медленного угасания этого замечательного человека и выдающегося литератора, столь гордившегося независимостью и чистотой своих убеждений. Ему довелось испытать много горьких обид и тяжких унижений и пойти на прямую измену всему, чем он жил прежде и к чему звал своих современников. Эта измена не могла не возмутить передовую молодежь тридцатых годов, воспитавшуюся на идеях «Московского телеграфа». «Если бы он после рокового произвола, обрушившегося над ним, присмирел поневоле, — писал о Полевом И. И. Панаев, — . . . имя его осталось бы незапятнанным в истории русской литературы. Но Полевой с испугу поспешил употребить слабые остатки своего та-

¹ В первые годы после запрещения «Московского телеграфа» Полевой вообще не участвовал в периодической печати. В 1836—1837 гг. он анонимно сотрудничал в «Библиотеке для чтения» (несколько незначительных статей).

ланта на угодничество, лесть, которых никто от него не требовал; беспрестанно унижал без нужды свое литературное и человеческое достоинство, протягивая свою руку людям отсталым, пошлым защитникам тех принципов, против которых он некогда ратовал, отъявленным негодьям, и, что всего хуже, — с завистливой ненавистью отвернулся от нового поколения». ¹

Все это, к сожалению, правда. Полевой растерялся, сломился, отпел все, за что боролся в течение многих лет с примерным мужеством и неослабевающей энергией, — заживо отпел самого себя.

В Петербурге Полевой с головой ушел в повседневный тяжелый и неблагодарный труд литературного поденщика. Обремененный долгами, осаждаемый кредиторами, нищей и больно́й, он работал чудовищно много: в четыре часа утра садился за письменный стол и, не вставая из-за него до ночи, «поставлял» до семидесяти (!) печатных листов в месяц. В поисках заработка он бросался от одного дела к другому: редактировал бездарные романы и исторические сочинения, сам писал (по заказу книгопродавца) роман, продолжал свои труды в области отечественной истории и, наконец, с исключительным усердием работал для театра (за восемь лет, с 1838 по 1845 год, написал более сорока пьес).

Наравне с Кукольниковом, Полевой был настоящим создателем официозного драматического репертуара, заполонившего русскую сцену в тридцатые и сороковые годы. Если первые драматические опыты Полевого — перевод «Гамлета» (1837), ультраромантическая драма «Уголино» (1838) — представляют собой результат серьезной творческой работы, то бесчисленные драмы, комедии и водевили, начиная с «Дедушки русского флота» и кончая «Ермаком Тимофеевичем», были не чем иным, как ремесленническими поделками, отличавшимися разве только одним казенно-патриотическим содержанием, «с апотеозою кислых щей,

¹ И. И. Панаев. Литературные воспоминания. Л., 1928, стр. 430—431.

горелки и русского кулака» (по выражению Ап. Григорьева).

Полевой и сам отчетливо понимал, что его пьесы стоят на низком идейно-художественном уровне. «Все, что отдано мною на сцену, — писал он в предисловии ко второму тому своих «Драматических сочинений и переводов», — я считаю не чем другим, как только добросовестными опытами, игрою *va banque* на мою литературную известность». Но казенно-патриотические пьесы — такие, как «Дедушка русского флота», «Купец Иголкин», «Параша-Сибирячка», — доставили Полевому как раз то, чего он так тщетно добивался: расположение Николая I и вообще всей придворно-бюрократической верхушки. Царь шумно восхищался драматическими сочинениями бывшего журналиста и полагал, что именно в этой области Полевой нашел свое подлинное призвание. «У автора необыкновенные дарования, — говорил Николай, — ему надобно писать, писать, писать! Вот что ему писать надобно, а не издавать журналы». ¹

Но в Полевом все еще билась журналистская жилка. В конце 1841 года он попытался было снова выйти на дорогу независимой литературно-журнальной деятельности — взял на себя руководство «Русским вестником», тем самым журналом, где за четверть века до того напечатал свое первое произведение. Он возлагал много надежд на это предприятие, но «Русский вестник» едва собрал 500 подписчиков и, кроме того, «возбудил и все ненависти литературные» и подозрения, что Полевой хочет «что-то шевелить опять в журналистике». ²

Между тем Полевой дошел до крайней степени нужды. Он «по несколько дней сидел без копейки», «почти умирал с семьею с голоду», детей его исключили из училища за невзнос платы, лавочники перестали отпускать товары в долг, домохозяин гнал с квартиры, и даже единственная его «шубенка» чуть не была продана с торгов. Полевому неоднократно угро-

¹ К с. Полевой. Записки. СПб., 1888, стр. 445.

² Там же, стр. 546.

жала долговая тюрьма. Деньги стали главной темой его литературных произведений. Он писал брату Ксенофонту, рассказывая о первом представлении своей драмы «Ломоносов» (в феврале 1843 года): «В третьем действии зрители плачут, когда у Ломоносова нет ни гроша на обед и Фриц приносит ему талер, — а не знают, что это за несколько дней с самим мною было и что сцена не выдумана». Теме денег целиком посвящена книжка Полевого «Были и небылицы» (Выпуск 1 — «Деньги»), анонимно изданная в 1843 году. Дневник, который вел Полевой в эти годы, — потрясающий документ нищеты и отчаянья. Изю дня в день Полевой записывает:

«Безденежье и досада...

Бенкендорф прислал 5 рублей... Начались мучения... Отовсюду тянут денег...

Денег у меня только 5 рублей... надобно 70 рублей...

Писал до обеда. Мыслей ни капли. Господи, помилуй...

Писал сколько моих сил доставало. В доме 1 р. 40 коп., ни сахару, ни чаю...

К Ольхину. Он спал — жду; просыпается — берет рукопись — прошу 350 рублей — отказ чистый. Мне стало жарко и холодно. С горя вечером начал писать оперу Львову...

Как безумный писал роман и написал целый лист. После обеда отвез лист, взял денег, купил овса и вина, — без того есть нечего было бы...

Уже не было дров и оставалось всего 4 гривенника...

Все отдыхают, — а я... Но хоть бы без отдыха, но только бы не терзали...

Еле жив от усталости...

В доме ни гроша...

Денег и денег...

Болен — спазмы, голова...

Если продолжится — я издохну. Кругом безнадежность — работы тьма, ничего не кончено и сил нет...»

Дневник 1843 года кончается такой записью: «Год

заклучили грустно, сидя с детьми за ужином. Плакать хотелось...»¹

В конце 1845 года Полевой, по договору с А. А. Краевским, получил в свои руки «Литературную газету», сроком на три года. Он ревностно принялся за дело, но едва успел выпустить несколько номеров, как заболел — и умер 22 февраля 1846 года.

Посылая цензору А. В. Никитенко программу «Литературной газеты», Полевой писал: «Пробегите и подпишите прилагаемое при сем объявление, написанное в духе самодержавия, православия и народности, то есть совершенно сообразно предписаниям и воле его высокопревосходительства (т. е. Уварова. — В. О.), желающего — да будет status quo вечным законом русской литературы. Повинуемся, хотя ничто не заставит нас забыть, что, переживши Аракчеевых и Магницких, неужели бедная Россия не переживет других врагов доброго царя русского? Если бы он знал, что делают люди, злоупотребляющие его доверенностью...»²

Какое позднее воспоминание об Аракчеевых и Магницких, и какая жалкая вера в «доброе царя»! Вообще, в самые последние годы жизни Николай Полевой, по-видимому, осознал гибельность пути, по которому пошел после закрытия «Московского телеграфа»: «Замолчать вовремя — дело великое. Мне надлежало замолчать в 1834 году, — писал он брату Ксенофону. — Вместо писания для насущного хлеба и платежа долгов, лучше тогда заняться бы чем-нибудь, хоть торговать в мелочной лавочке. Но кто, борец с своею судьбою, похвалится, что не все выигранные им битвы были более подарки случая, а не расчета; а проигранные принадлежат ему лично?» (из письма 1844 года).

При всех поворотах своей трагической судьбы Полевой понимал, что годы издания «Московского телеграфа» были его лучшим временем. Он им гордился:

¹ Дневник опубликован в «Историческом вестнике», 1888, №№ 3 и 4.

² Неизданное письмо. Рукописный отдел ИРЛИ АН СССР.

«Семь лет журнала — семь подвигов не легких.¹ Я передавал соотчикам то, что замечал в Европе достойное внимания, что почитал полезным моей отчизне, и в то же время смело срывал я маску с бездарности, с притворства, порока, сражался с предрассудками закоренелыми, родными и наносными, уличал чванство вельможи и хвастливость педанта, пустоту нынешнего детского нашего образования и тяжелую грубость нашего невежества. Ошибался я — что делать! я человек! Но никто не видал моей головы, преклоняющейся перед кем-либо и чем-либо, когда душа моя не была исполнена уважения к предмету, мною превозносимому...»

Такой Полевой, *этот* Полевой вписал свое имя в историю русской передовой общественной мысли и литературы, и при воспоминании об *этом* Полевом действительно не хочется думать о его ошибках, о его падении.

Двадцать восьмого февраля 1846 года множество народа собралось проводить Николая Алексеевича Полевого на Волково кладбище. Он лежал в простом, некрашеном гробу, в халате и с небритой бородой. Такова была его последняя воля. Гроб везли на дрогах, запряженных парой исхудалых одров, ребра которых торчали сквозь дырявые покрывала. На похоронах присутствовал Уваров.

¹ Н. Полевой считает семь лет — с 1825 по 1831-й, когда он был фактически редактором «Московского телеграфа», до передачи его Кс. Полевому.

МОЛОДОЙ КРАЕВСКИЙ



Андрей Александрович Краевский (1810—1889) — «Мафусаил русской журналистики» — стоял во главе крупнейших журнальных предприятий в течение почти полувека. Исследование его деятельности существенно обогащает материалы по истории русской журналистики. Известен Краевский главным образом как издатель и редактор журнала «Отечественные записки» (1839—1868) и газеты «Голос» (1863—1883). Однако и этот важнейший период многолетней журнальной деятельности Краевского до сих пор не освещен ни в одной специальной работе. Все, что можно найти о Краевском в печати, сводится к двум-трем кратким словарным справкам, к нескольким некрологическим заметкам, к случайным и скудным упоминаниям в переписке и мемуарах современников.

В историю русской литературы Краевский вошел с репутацией неразборчивого в средствах предпринимателя, литературного барышника, бессовестного эксплуататора Белинского и других своих сотрудников. Репутация эта сложилась уже в сороковых годах, в пылу ожесточенной журнальной полемики, в кругу литературных антагонистов Краевского (точнее — в

редакции «Современника»). Нет спору, Краевский заслужил подобную репутацию, хотя нужно сказать, что в оценке его деятельности, в нелестных высказываниях по его адресу было много полемической злости и явных преувеличений.¹

При всем том деятельность Краевского заслуживает внимания, поскольку он сыграл достаточно заметную роль в качестве одного из активнейших организаторов русской журналистики на том этапе ее истории, когда она превращалась в могущественный двигатель общественного и культурного развития.

Настоящий очерк посвящен первому десятилетию литературно-журнальной деятельности Краевского, в течение которого он прошел путь от безвестного редакционного сотрудника до руководителя «Отечественных записок» — крупнейшего журнального предприятия эпохи.

Деятельность молодого Краевского слагалась в борьбе двух противоречивых тенденций. С одной стороны, он, быть может, с наибольшей четкостью и прямолинейностью воплотил в своей литературно-журнальной практике наметившиеся в тридцатые годы тенденции общей профессионализации всего «дела литературы», в частности и особенно — капитализации самых форм журнального «производства», закреплявших незнакомую до тех пор в русской литературе систему «торговых», товарно-денежных отношений между предпринимателем-журналистом и писателем. Тем самым Краевский служил делу «торгового направления» в литературе тридцатых годов, с которым ожесточенно боролись все прогрессивные литературные силы, начиная с Пушкина и писателей его окружения. Но вместе с тем молодой Краевский выступил и действовал как представитель именно этой, «пушкинской» литературной группы, под ее флагом сражался с литераторами «торгового направления» —

¹ Самым ядовитым из всего, что было сказано о Краевском его литературными противниками, является фельетон Нового Поэта (И. И. Панаева) «Очерк петербургского литературного промышленника», напечатанный в «Современнике», 1857, т. 16.

с Булгариным, Гречем и Сенковским. По сути же дела Краевский пролагал среднюю, «согласительную» линию между «литературой» и «коммерцией», пытаясь согласовать в своей журнальной деятельности ориентацию на новые промышленно-капиталистические формы журнального «производства» с сохранением высокой идеологической и эстетической позиции, с верностью литературным традициям и авторитетам.

В тридцатые годы каждый шаг Краевского был согласован с литературной программой писателей пушкинской группы. Его неперменными советниками и наставниками были: В. Ф. Одоевский, П. А. Вяземский, П. А. Плетнев и В. А. Жуковский. Но союз Краевского с этими писателями носил, по существу, внешний характер, имел под собою не столько принципиально-идеологическую, сколько деловую почву и, конечно, никак не мог быть долговечным. Уже в 1839—1840 годах Краевский резко меняет свою ориентацию: в его журнале работает Белинский, открыто нападающий на те авторитеты, к которым еще столь недавно Краевский питал глубочайшее уважение. В дальнейшем пути Краевского и его недавних покровителей круто расходятся врозь. Вяземский, ради которого в 1837 году Краевский вынужден был пожертвовать сотрудничеством того же Белинского, стоял уже решительно вне «Отечественных записок», а Плетнев в своем «Современнике» занимал в отношении журнала Краевского самую враждебную позицию.

Путь, которым шел Краевский в тридцатые годы, легко мог привести его к союзу с Булгариным и Сенковским (которые, кстати сказать, искали такого союза). Однако Краевский сумел одержать победу в журналистике, стал монополистом журнального рынка, не поступившись при этом той «высокой» литературной программой, которую он заимствовал у писателей пушкинской группы и донес до широчайшего круга столичных и провинциальных читателей. А победа Краевского для его современников очень скоро стала очевидной. Характерно, что из ряда вон выходящие по злости и инсинуации доносы Булгарина на

Краевского и «его шайку» (то есть на коллектив сотрудников «Отечественных записок») в сороковые годы уже ни в малейшей мере не могли поколебать могущество нового литературного гегемона, крепко державшего в своих руках нити журнальной монополии.

1

Краевский был человеком темного происхождения. Побочный сын незаконной дочери екатерининского вельможи Н. П. Архарова, он воспитывался в архаровском доме до 1825 года, когда был определен в Московский университет. Краевский тщательно скрывал тайну своего происхождения, тем более что о матери его ходила в обществе дурная слава. Н. И. Греч сообщает в мемуарах, что это была женщина вольного поведения, которая, «произведя на свет великого издателя «Отечественных записок», сама не знала, чей он сын, ибо имела, при редакции его, много сотрудников. Один белорусский подлец, по фамилии Краевский, дал ему свою фамилию за благосклонность матушки.¹ Она вышла потом за другого подлека, какого-то майора фон дер Палена, и, лишившись носа в какой-то кампании с Венерой, завела в Москве девичий пансион».²

Естественно, что нелегко было начинать свой жизненный путь человеку с такой скандальной биографией, какова биография Краевского. И действительно, он с большим трудом выбился в люди. Бедный студент, нахлебник знатного барина, финансировавшего его образование, он начал свою карьеру с уроков в частных домах, где сумел найти первых покровителей. В 1828 году Краевский кончает Московский университет по философскому факультету со сте-

¹ Булгарин в одном из доносов на «Отечественные записки» «уточнил» эту версию, утверждая, что фамилия была дана Краевскому «за 300 рублей ассигнациями».

² Н. И. Греч. Записки о моей жизни. М.—Л., 1930, стр. 150—151; Ср. М. А. Дмитриев. Петербургская Людмила. — Сб. «Эпиграмма и сатира», т. I. М.—Л., 1931, стр. 327.

пению «кандидата нравственно-политических наук» и тогда же, восемнадцатилетним юношей, впервые выступает в печати. В университете Краевский сблизился с профессором М. П. Погодиным и в 1828—1829 годах сотрудничал в его «Московском вестнике», помещая там неподписанные и большей частью переводные статьи и рецензии по вопросам философии, истории и литературы.

Не имея иных средств к существованию, Краевский с университетской скамьи вынужден был пойти на государственную службу. Впоследствии он жаловался, что «обстоятельства» помешали ему всецело посвятить себя науке и литературе. В 1831 году Краевский появился в Петербурге, где определился на мизерную должность в министерство народного просвещения. Службу он совмещал с преподавательской деятельностью в частных домах и в казенных учебных заведениях. Вскоре он приобрел известность талантливого педагога и «сделал некоторые связи». ¹

По службе в министерстве народного просвещения Краевский сотрудничал в министерском журнале, помещая там компилятивные статьи по вопросам философии и истории, а также обзоры русской периодики. В 1834 году он был назначен помощником редактора этого журнала. Тогда же Краевский познакомился с В. Ф. Одоевским, который ввел начинающего журналиста в некоторые литературные кружки. В 1835 году Краевский сотрудничает в «Энциклопедическом лексиконе» Плюшара, в 1836 году помогает Пушкину в издании «Современника», в 1837 году становится редактором еженедельной газеты «Литературные прибавления к Русскому инвалиду». Кроме того, в 1836 году он издал две брошюры (биографию Бориса Годунова и «Исторические таблицы В. А. Жуковского») и принимал деятельное участие в работах Археографической комиссии в качестве одного из редакторов фундаментального издания «Акты исторические». Таковы основные факты внешней биографии молодого Краевского, со стороны профессиональной рисующие

¹ См.: «Голос минувшего», 1913, кн. 3, стр. 224—225.

его типичным литературным поденщиком, выполняющим любую журнально-редакционную работу.

Из немногочисленных литературных работ молодого Краевского наибольший интерес представляет брошюра о Борисе Годунове (первоначально опубликованная в «Энциклопедическом лексиконе»). Это настоящая апология Годунова — «государя поистине великого, но в высшей степени злополучного», проникнутая пафосом опровержения официозной историографии, в частности Карамзина. Особенно любопытно, что Краевский, как истинный представитель новой, разночинной интеллигенции, всячески подчеркивает сословное происхождение и «твердую волю» Годунова: «Какое дивное, торжественное явление представляет собою этот почти простолюдин, татарин происхождением, силою ума и железно-твердой воли своей умевший возвыситься над современниками, стать выше всех и держать в повиновении эту шумную, гордую своими привилегиями и древностию аристократию русскую». Брошюра Краевского вызвала резкую отповедь О. И. Сенковского, назвавшего ее «борисолюбивым творением», а самого Краевского — «борисофилом».¹ Сенковский впоследствии согласился взять на себя редакцию «Энциклопедического лексикона» с тем лишь условием, чтобы в нем была помещена другая статья о Годунове, в опровержение статьи Краевского.²

Существенно для нашей темы составленное Краевским «Обозрение русских газет и журналов», печатавшееся в 1834 году в «Журнале министерства народного просвещения» (январь, февраль, май, август). Понимая периодическое издание как могущественное средство «новейшего гражданского образования», общественного и культурного прогресса, Краевский особо отмечает, что «просвещение проникло в *средние слои народной массы* и, получая в них новую обильную пищу, делалось час от часу доступнее для

¹ «Библиотека для чтения», 1836, т. 22, отд. V, стр. 27—52.

² См.: объявление от редакции в 12-м томе «Энциклопедического лексикона».

всех». «Наш век может быть назван по преимуществу веком журналов, — писал здесь Краевский. — Никогда не достигали они такой многочисленности, такого разнообразия в содержании, никогда не были они таким полным выражением умственной деятельности на всех возможных поприщах; никогда не имели такого обширного круга действий, такого влияния». Краевский стоит за широкое развитие русской журналистики, причем искомую форму периодического издания видит в журнале энциклопедическом, который охватывал бы «глубокие исследования наук и эфемерные уставы ветреной моды, философию и торговлю, политику и театральные анекдоты».

Основная мысль «Обозрения» сводится к тому, что русская журналистика, служившая до последнего времени проводником западноевропейского «просвещения», приобретает наконец характер явления самобытного, становится мощным двигателем национального культурного развития, верным залогом «успехов отечественного образования».

Размышления Краевского о русской журналистике, ее целях и задачах, о новых формах литературно-журнальной деятельности, о самой технике «журнализма» меньше всего носили отвлеченно-теоретический характер. В своем «Обозрении» 1834 года он как бы намечал собственную программу действий в роли журналиста, уже тогда в полной мере осознав свое призвание именно к этой отрасли «литературной промышленности». Энергия, с которой действовал Краевский в направлении поставленной им цели, была поистине удивительной. Безвестный литературный поденщик, не обладавший ни материальными средствами, ни связями в писательском мире, ни сколько-нибудь прочной общественной репутацией, он смело, настойчиво и с непременным успехом прокладывал путь к редакторскому креслу. П. В. Анненков писал впоследствии: «Краевский... усиленно добивался возможности очистить себе место в ряду журнальных концессионеров эпохи и это — надо сказать правду — не по одному ясному материальному расчету, но и по нравственным побуждениям: противопоставить злой

вооруженной силе другую, тоже вооруженную силу, но с иными основаниями и целями. Он принялся искать редакторского кресла для себя по всем сторонам и притом с выдержкой, упорством и твердостью действительно замечательными». ¹ Исследование деятельности Краевского в 1836—1837 годы полностью подтверждает правоту слов Анненкова и опровергает укоренившуюся версию о Краевском только как о беспринципном дельце, одержимом жадной обогачения.

На пути к редакторскому креслу судьба свела молодого Краевского с А. С. Пушкиным, причем отношения их были глубже, нежели принято думать. Враги Краевского, и в первую очередь И. И. Панаев, утверждали, что Краевский в корыстных целях использовал свою близость к Пушкину, непристойно афишировал ее и построил на этом свое общественное и литературное благополучие. Включение Краевского в число редакторов «Современника» 1837 года рассматривалось как результат совершенно случайных внешних обстоятельств и неблагоприятного, «искательного» поведения самого Краевского. С этим трудно согласиться хотя бы уже потому, что никакой личной близости с Пушкиным у Краевского, конечно, не было. Отношения их носили деловой, и только деловой характер, и никогда Краевский не «прицеплял себя к друзьям Пушкина», как пишет И. И. Панаев. ² Но вместе с тем нужно согласиться, что начало журнальной карьеры Краевского было положено его участием в редакционных делах пушкинского «Современника».

Знакомство Краевского с Пушкиным состоялось, очевидно, в конце 1835 года, скорее всего — при посредстве В. Ф. Одоевского. В январе 1836 года Краевский уже извещал М. П. Погодина о своих встречах с Пушкиным. ³ Известно также, что Краевский служил посредником между Пушкиным и редакцией «Московского наблюдателя», состоявшей в большинстве из

¹ П. В. Анненков. Литературные воспоминания. Л., 1928, стр. 176.

² И. И. Панаев. Литературные воспоминания. Л., 1928, стр. 141.

³ «Литературное наследство», № 16—18, стр. 716.

людей, хорошо известных Краевскому по Московскому университету (с редактором «Наблюдателя» В. П. Андроссовым он находился в тесных дружеских отношениях).¹

В 1836 году мы уже видим Краевского помогающим Пушкину в издании «Современника». Официальная роль молодого журналиста в редакции пушкинского журнала была весьма скромной: он ведал корректурой, вопросами технического оформления, следил за выполнением типографских работ. И. П. Сахаров вспоминал впоследствии: «Краевский заведовал корректурой «Современника». Пушкин присылал к нему статьи; Краевский сносился с типографией и окончательно пересылал листы к Пушкину. Как теперь помню, сколько было хлопот с «Капитанскою дочкою». Пушкин настаивал, чтобы отдельно напечатана была эта повесть, а Краевский и Врасский, хозяин типографии Гуттенберговой, не соглашались и, кажется, поставили на своем».²

Беглое замечание Сахарова о том, что Краевский позволял себе кое в чем «не соглашаться» с Пушкиным, не следует игнорировать. Действительно, как выясняется это при ближайшем рассмотрении, фактическая роль Краевского в делах «Современника» была шире и самостоятельнее, нежели выполнение обязанностей наемного корректора. Вряд ли Пушкин считал Краевского «выдающейся личностью», как передает П. Д. Боборыкин,³ но он, безусловно, оценил организаторские способности молодого журналиста и, не имея охоты заниматься черновой журнальной работой (да и лишенный возможности заниматься ею в силу своих житейских обстоятельств), в ряде случаев передоверял Краевскому свои редакторские права. На этот счет сохранились некоторые прямые свидетельства современников. Так, например, М. И. Семевский

¹ См.: «Русский архив», 1892, кн. 2, стр. 489—490; Н. Барсуков. Жизнь и труды М. П. Погодина, кн. 4. СПб., 1891, стр. 271; «Переписка Пушкина», изд. Академии наук, т. 3, стр. 20.

² «Русский архив», 1873, кн. 1, стб. 974. «Капитанская дочка» действительно была напечатана в четвертом томе «Современника».

³ П. Д. Боборыкин. За полвека. М., 1929, стр. 151.

писал: «Бывало Александр Сергеевич уедет из Петербурга, — рассказывал нам Плетнев и подтверждал покойный Краевский, — срок выпуска книги подходит, и поэт шлет поручения составить ее. Краевский отправляется к Пушкину в кабинет и выбирает из поступивших к нему рукописей что получше и поинтереснее, при этом пишет и к самому поэту и требует от него собственных его вкладов в журнал». ¹ Известно, в частности, что вторая книжка «Современника» составлялась и набиралась в отсутствие Пушкина П. А. Плетневым и В. Ф. Одоевским, при ближайшем участии Краевского, из материалов, найденных ими в кабинете Пушкина. Известно также, что, ознакомившись с составом этой книжки, Пушкин выразил Краевскому свое неудовольствие за помещение одного из стихотворений Кольцова. ²

Сотрудничество Краевского в «Современнике» было негласным и Пушкиным не оплачивалось. Работая безвозмездно, Краевский, очевидно, рассчитывал, что Пушкин впоследствии вознаградит его труды сотрудничеством в том журнале, создание которого было предметом неусыпных забот Краевского в 1836—1837 годах. Нужно сказать, что, когда Краевский выступил в роли самостоятельного журналиста, Пушкин действительно предоставил ему свое стихотворение «Аквилон», открывшее беллетристический отдел «Литературных прибавлений к Русскому инвалиду». Сохранилось письмо Краевского к В. Ф. Одоевскому от февраля 1837 года, в котором он выражал желание «иметь на память от Пушкина камышовую желтую его палку, у которой в набалдашник вделана пуговица с мундира Петра Великого». «Если опекуны не уважат моего чувства привязанности к покойному, — добавлял Краевский, — то пусть дадут мне палку за тот долг, который Пушкин всегда считал на себе относительно меня за «Современник»: во весь год, как вам известно, я не получил от него ни копейки». ³

¹ «Русская старина», 1889, т. 63, стр. 709—714.

² Б. Л. Модзалевский. Пушкин. Л., 1929, стр. 369.

³ «Русская старина», 1904, т. 118, № 6, стр. 570.

Но если Пушкину казалось, что он нашел в Краевском всего лишь скромного и трудолюбивого помощника по технической части, к тому же работавшего на выгодных условиях, — то сам Краевский, как выясняется, питал в достаточной мере дерзкие и далеко идущие намерения относительно журнального предприятия своего патрона. Именно к 1836 году относятся настойчивые попытки Краевского учредить собственный журнал либо заполучить в свои руки какое-нибудь из существующих периодических изданий. Оказывается, «Современник» Пушкина также служил предметом прожектерских замыслов Краевского.¹ Об этом со всей очевидностью свидетельствует один документ, имеющий важное значение для истории русской журналистики тридцатых годов. Документ этот — письмо редактора «Московского наблюдателя» В. П. Андрossoва к Краевскому от 4 марта 1836 года.²

«На «Современник» вам надеяться не должно, — писал Андрossoв Краевскому. — Если «Современник» будет хорош и пойдет удачно, т. е. выгодно, то едва ли Пушкин выпустит его из рук; если же обманет общие ожидания, то такое приготовление почвы будет для вас не прибыльно. Мой опытный совет — не надеяться ни на кого, заготовить самим или приготовить бедную трудящуюся молодежь». К сожалению, до нас не дошли письма Краевского к Андрossoву, в которых он, нужно думать, подробно излагал свой план отторжения Пушкина от «Современника». Но в том, что замыслы Краевского были именно таковы, сомневаться не приходится.

¹ В этой связи понятным становится, почему так ревниво следил Краевский за успехом «Современника» и негодовал на Пушкина, слишком «беззаботно» относившегося к своим обязанностям журналиста. Так, например, в октябре 1836 года Краевский в раздраженном тоне писал М. П. Погодину: «Говорил я Пушкину о присылке в Москву Современника на комиссию. Он отвечал ни то ни се. Беззаботность его может взбесить и агнца!» («Литературное наследство», № 16—18, стр. 717).

² Архив Краевского в Гос. Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Письма, т. А.

Надежды Краевского на полное овладение «Современником» имели свои, хотя и шаткие, основания. Очевидно, Краевский разделял широко распространенное в литературной среде убеждение в неспособности Пушкина заниматься журнальной деятельностью (вопрос этот с большой страстью обсуждался во враждебной Пушкину прессе, прежде всего на страницах «Северной пчелы» и «Библиотеки для чтения»). Сверх того, в 1836 году, после запрещения «Телескопа», разрешения на издание новых журналов не выдавались, и Краевский раньше других учел возможность перевода уже существующего журнала на новое редакторское имя.

Надеждам Краевского не суждено было осуществиться, и в августе 1836 года у него возник уже новый проект. Не рассчитывая на полное овладение «Современником», он надеялся издавать «Современник» на коллегиальных началах, сообщая с Пушкиным и В. Ф. Одоевским. О проекте этом знали в литературных кругах. А. Ф. Воейков писал Краевскому в своей обычной льстивой манере, именуя его «благородным писателем, самостоятельным мыслителем и благонамеренным деятелем на ниве отечественной литературы»: «О, как я молю бога, чтобы осуществились слухи, по которым вы, соединясь с Пушкиным и Одоевским, примете участие в «Современнике», не имеющем и полутора десятков иногородних подписчиков. Тогда издавайте его в 24-х, а не в 4-х книжках».¹ Несостоявшийся альянс Краевского с Пушкиным нужно поставить в связь с проектом коренной реорганизации «Современника», о чем, как известно, помышлял сам Пушкин. Не подлежит сомнению, что инициатива привлечения Краевского к этому делу принадлежала тоже Пушкину.

«Краевский... так и льнул к пушкинской партии и хотел втереться к самому Пушкину, — писал впоследствии И. И. Панаев. — Не знаю, удалось ли бы ему это: внезапная смерть Пушкина расстроила его пла-

¹ Отчет Публичной библиотеки за 1891 г. Приложение, стр. 3—4.

ны, но он по крайней мере был утешен тем, что протерся-таки хоть к гробу Пушкина». ¹ Свидетельство это нужно уточнить в том смысле, что «втереться» к Пушкину Краевский, как видно, все же успел. Насколько близко стоял Краевский к Пушкину в последние месяцы его жизни, видно, между прочим, из того, что он играл активную роль в событиях, происходивших после гибели поэта. Известно, что вместе с ближайшими друзьями Пушкина Краевский выносил его гроб из квартиры, а затем принимал участие в разборке и описи его имущества, библиотеки и рукописей.

Смерть Пушкина застала Краевского уже редактором газеты «Литературные прибавления к Русскому инвалиду». Здесь (в № 5) появился некролог Пушкина, написанный В. Ф. Одоевским, вероятно, при участии Краевского: «Солнце нашей поэзии закатилось! Пушкин скончался, скончался во цвете лет, в середине своего великого поприща!.. Более говорить о сем не имеем силы, да и не нужно; всякое русское сердце знает всю цену этой невозвратимой потери, и всякое русское сердце будет растерзано. Пушкин! наш поэт! наша радость, наша народная слава!.. Неужели в самом деле нет уже у нас Пушкина? К этой мысли нельзя привыкнуть! — 29 января, 2 ч. 45 м. пополуночи».

Эти несколько строк, обведенные траурной рамкой, скромно поместившиеся на последней странице газеты, между отделами «Смесь» и «Моды», вызвали бурю возмущения в цензурном ведомстве и обрушили на Краевского гнев министра народного просвещения С. С. Уварова — личного врага Пушкина и непосредственного начальника Краевского по службе его в «Журнале министерства народного просвещения». Еще прежде, по поводу стихотворения Пушкина «Аквилон», помещенного в «Литературных прибавлениях», Краевскому было передано от имени Уварова, что «служащим в министерстве не следует иметь сношения с людьми столь вредного образа мыслей, каким

¹ И. И. Панаев. Литературные воспоминания, стр. 156.

отличается Пушкин». Напечатанная Краевским некрологическая заметка о Пушкине окончательно вывела Уварова из равновесия. «Сегодня был у министра, — записал в дневнике А. В. Никитенко. — Он очень занят укрощением громких воплей по случаю смерти Пушкина. Он, между прочим, недоволен пышною похвалой, напечатанною в «Литературных прибавлениях к Русскому инвалиду». Краевский имел неприятности за несколько строк, напечатанных в похвалу поэта». ¹ Каковы были эти «неприятности», известно из следующего рассказа. На другой же день после появления некролога Краевский был приглашен к кн. М. А. Дондукову-Корсакову — попечителю петербургского учебного округа и председателю цензурного комитета. «Я должен вам передать, что министр крайне недоволен вами! — объявил Дондуков Краевскому. — К чему эта публикация о Пушкине? Что это за черная рамка вокруг известия о кончине человека не чиновного, не занимавшего никакого положения на государственной службе? Ну, да это еще куда бы ни шло! Но что за выражения! «Солнце поэзии»!! Помилуйте, за что такая честь? «Пушкин скончался... в середине своего великого поприща»! Какое это такое поприще? Сергей Семенович (Уваров) именно заметил: разве Пушкин был полководец, военачальник, министр, государственный муж?! Писать стишки не значит еще, как выразился Сергей Семенович, проходить великое поприще! Министр поручил мне сделать вам строгое замечание». ²

Когда, после смерти Пушкина, было решено продолжить издание «Современника» в пользу детей поэта, в число редакторов журнала, наряду с Жуковским, Вяземским, Плетневым и Одоевским, вошел и

¹ А. В. Никитенко. Записки и дневник, т. 1. Изд. 2. СПб., 1905, стр. 284—285.

² «Русская старина», 1880, т. 28, № 7, стр. 537. С тех пор Уваров внимательно следил за газетой Краевского. Так, например, в ноябре 1837 года, по распоряжению Уварова, Краевскому было сделано не менее строгое замечание по поводу помещенной в «Литературных прибавлениях» «неблагоданмеренной» статьи о Фурье (см.: «Голос минувшего», 1917, кн. 5—6, стр. 69—72).

Краевский, которому было поручено подготовить к печати вторую книжку «Современника» (1837 года). И. И. Панаев и в этом случае постарался очернить Краевского, доказывая, что он «так расстился перед Плетневым и ухаживал за ним, обнаруживал такое усердие и преданность перед друзьями покойного поэта, так совался им на глаза со своими услугами, что они, наконец, из благодарности удостоили его чести принять в соиздатели. Краевский сиял в это время. Он, казалось, даже вырос... по крайней мере на вершок. И не мудрено. Напечатать свое темное имя рядом с именами Жуковского и Вяземского — почти все равно, что попасть из капралов прямо в генералы. Андрей Александрович, действительно, с этих пор начал походить на литературного генерала».¹ Между тем, конечно, редакторы посмертного пушкинского журнала сами нуждались в помощи Краевского как опытного практика журнального дела, охотно и любовно занимавшегося той черновой редакционной работой, которая отвращала друзей Пушкина. Кроме того, Краевский был нужным и ценным для них человеком, поскольку еще при Пушкине он принимал непосредственное участие в редакции «Современника» и был в курсе всех редакционных дел.

С именем Краевского связан один немаловажный эпизод истории русской журналистики тридцатых годов, имеющий прямое отношение к пушкинскому «Современнику». Речь идет о проекте издания журнала «Русский сборник», разработанном в 1836 году Краевским совместно с В. Ф. Одоевским.²

«Современник» 1836 года, по формулировке самого Пушкина, представлял собою «четыре тома статей чисто литературных (как-то: повестей, стихотворений etc.), исторических, ученых, также критических разбо-

¹ И. И. Панаев. Литературные воспоминания, стр. 159—160.

² Двадцать лет спустя после написания данной статьи важные материалы по истории «Русского сборника» были опубликованы А. Могиланским в статье «А. С. Пушкин и В. Ф. Одоевский как создатели обновленных «Отечественных записок». — «Известия Академии наук СССР». Серия истории и философии, т. 6, № 3 (1949).

ров русской и иностранной словесности, наподобие английских трехмесячных *Reviews*». Взяв за основу план трехмесячного литературно-критического «обозрения», Пушкин тем самым предельно ограничил перспективы своей журнальной деятельности. Программа «Современника», представленная Пушкиным в цензуру, была чрезвычайно узкой: «В нем будут помещаться стихотворения всякого рода, повести, статьи о нравах и тому подобное; (оригинальные и переводные) критики замечательных книг русских и иностранных; наконец, статьи, касающиеся вообще искусства и наук». В эпоху тридцатых годов, когда в России утверждался тип «толстого» энциклопедического журнала (представленный «Библиотекой для чтения»), периодическое издание с такой узкой программой не могло рассчитывать на особенно шумный успех в широких читательских кругах.

Сверх того, Пушкин всячески стремился уклониться в «Современнике» от полемики со своими литературными противниками, в частности с той же «Библиотекой для чтения». В первом томе «Современника» была помещена резко полемическая статья Гоголя «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 гг.», направленная против «Библиотеки для чтения» и ее редактора О. И. Сенковского. Статья эта (напечатанная анонимно) была воспринята повсеместно, и прежде всего Сенковским, как декларация Пушкина-журналиста, как «программа» его «Современника», учрежденного будто бы со специальной целью — «уничтожить в прах» «Библиотеку для чтения». Между тем статья Гоголя вовсе не была программой для Пушкина. Больше того: в третьем томе «Современника» он анонимно выступил с опровержением ее — в форме «Письма к издателю», подписанного инициалами: А. Б. В примечании к «Письму» Пушкин открыто и решительно отмежевался от Гоголя в следующих выражениях: «С удовольствием помещая здесь письмо г. А. Б., нахожусь в необходимости дать моим читателям некоторые объяснения. Статья «О движении журнальной литературы» напечатана в моем журнале, но из сего еще не следует, чтобы все

мнения, в ней выраженные с такою юношескою живостью и прямотою, были совершенно сходны с моими собственными. Во всяком случае она не есть и не могла быть программой «Современника». Издатель»).

Принципиально нейтральная журнальная политика Пушкина, не желавшего ввязываться в мелкие литературные дразги и плодить крохоборческую полемику, которой с крайним ожесточением предавались журналисты тридцатых годов, шла вразрез с устремлениями большинства писателей, составлявших ближайшее окружение Пушкина и пылавших негодованием против Сенковского и прочих «литературных негодяев». Этим писателей не мог удовлетворить журнал Пушкина, намеренно избегавший полемики, лишенный специфической журнальной остроты и бойкости, оформлявшийся по образцу английских периодических изданий альманашного типа. «Современник» не решил задачу создания толстого энциклопедического литературно-общественного журнала, способного активно служить делу борьбы с «торговым направлением». Решить эту задачу и попытались В. Ф. Одоевский и Краевский в своем неосуществленном проекте «Русского сборника».

Самое раннее упоминание об этом проекте (еще не получившем названия) встречаем в письме В. Ф. Одоевского от 16 февраля 1836 года, адресованном С. П. Шевыреву — члену редакции «Московского наблюдателя»: «Краевский думает с 1837-го года издавать большой энциклопедический журнал (но это секрет) — и «Наблюдатель» хорошо бы сделал, если бы к нам присоединился. Мы Вам доставим нашу программу и наши условия».¹ В дальнейшем, как увидим, от журнала энциклопедического типа инициаторам пришлось отказаться.

Редко какое журнальное предприятие тридцатых годов начиналось в столь благоприятных условиях, как «Русский сборник». Сам Уваров поддерживал

¹ «Известия Академии наук СССР». Серия истории и философии, т. 6, № 3 (1949), стр. 214.

проект В. Ф. Одоевского и Краевского (программа «Русского сборника» была передана Уварову В. А. Жуковским). Во «всеподданнейшем» докладе от 10 сентября 1836 года он «представлял, что камергер князь Одоевский, 8-го класса Врасский и титулярный советник Краевский просят о дозволении издавать с 1837 года повременное сочинение под названием «Русский сборник», с принадлежащим к нему «Литературным летописцем», и что Главное управление цензуры не нашло препятствий к дозволению этого журнала, тем более что принимающие на себя обязанности главных редакторов, будучи известны с весьма хорошей стороны по образу мыслей и способностям, подают надежды, что предпринимаемый ими журнал будет иметь хорошее направление».¹ Есть основания предполагать, что Уваров поддерживал проект Одоевского и Краевского из чувства личной неприязни к Пушкину, учитывая урон, который мог нанести новый журнал пушкинскому «Современнику».

Неопубликованные письма В. П. Андрossoва к Краевскому² содержат количественно небольшой, но ценный материал по истории «Русского сборника», позволяющий судить о характере и формах этого журнала, как рисовались они Одоевскому и Краевскому. Первое упоминание о новом журнальном проекте содержится в письме Андрossoва от 4 марта 1836 года: «Секрет ваш я принял к сердцу. Дай бог, чтобы ваша затея не походила на многие другие на нашей святой Руси, даже и на нашу (т. е. на «Московский наблюдатель». — В. О.). Я даже и надеюсь, что у вас пойдет все лучше: вы найдете в себе довольно сил и умения создать что-нибудь истинно хорошее... От души желаю, чтобы «Наблюдатель» наш мог продолжать свое земное поприще, в случае же кончины (от чего боже сохрани) и я приложу скудный труд мой к вашему доброму делу». Из позднейших писем Андрossoва (от мая и сентября 1836 года) выясняется, что «Русский

¹ См.: «Цензура в царствование императора Николая I». — «Русская старина», 1903, т. 113, № 3, стр. 588—589.

² Архив Краевского. Письма, т. А, лл. 270—272.

сборник» (первоначально его предполагалось озаглавить «Северный зритель») решено было издавать по четыре книжки в течение года, причем редкое появление книжек должно было компенсироваться ежемесячным изданием специального библиографического приложения «Литературный летописец».

Из программы «Русского сборника», представленной В. Ф. Одоевским, А. А. Краевским и А. В. Врасским в Главное управление цензуры, выясняется круг главных сотрудников проектируемого издания. В их числе П. А. Вяземский, В. А. Жуковский, И. А. Крылов, Н. В. Гоголь, П. А. Плетнев, новая, только что взошедшая «звезда» русской поэзии — В. Г. Бенедиктов, молодые поэты В. Г. Тепляков и Трилунный, ряд видных ученых, молодой публицист кн. Елим Мещерский (тесно связанный с Краевским), художник А. Г. Венецианов.¹ Обращает на себя внимание в этом перечне отсутствие имени Пушкина.

Журналисты тридцатых годов единодушно сходились в мнении, что на успех финансовый и литературный могло рассчитывать лишь ежемесячное периодическое издание. В частности, секрет успеха «Библиотеки для чтения» усматривали в том, что каждое первое число каждого месяца подписчик получал толстейший том, заполненный самым разнообразным материалом, доставлявший чтение на целый месяц. Краевский несомненно разделял эту точку зрения на «толстый» энциклопедический ежемесячный журнал, но, очевидно, издание такого рода журнала, требовавшее значительных материальных издержек, было ему и Одоевскому не под силу.

Поэтому Андроссов и писал Краевскому: «Обещать успеха не смею... По-видимому, можно более надеяться на прилагаемые листы, нежели на самый журнал: 4 книжки у нас не удадутся».² Также и С. П. Шевырев в неизданном письме от 25 сентября 1836 года предостерегал Краевского: «Я рад вашему

¹ «Известия Академии наук СССР». Серия истории и философии, т. 6, № 3 (1949), стр. 217.

² Архив Краевского. Письма, т. А, лл. 278—279.

журналу, тем более что нам, вероятно, придется совершить тризну по «Наблюдателю» от разных причин. Да и зачем рознить силы. Ну что бы всем собраться, уложить самолюбие, сделать уступки в выгодах, да основать издание решительно хорошее. Так как «Наблюдатель» умрет по всему вероятно, то я ваш бы был всей душой. Но скажу вам искренно: зачем только 4 книжки в год и этот неопределенный выход листа? Ей-богу, это не понравится. К чему еще одно неудачное предприятие? Уж коль приниматься, примитесь решительно». ¹ Андроссов в письмах к Краевскому неоднократно возвращается к этому вопросу, с его точки зрения профессионального журналиста имеющему чрезвычайно важное значение: «Давая журналу вид альманашный по 4 или даже по 6 книжек в год, — писал он, — заранее надобно отказаться от успеха. «Современник» именно оттого не пошел. У нас еще понятия не имеют о Reviews с их умными основательными статьями... Скороспелка, что-нибудь, да только поскорее, как-нибудь — и это ничего: газета — вот дело: итак, если опять у вас не будет возможности издавать *по крайней мере* раз одной книжки в месяц, то успеха ждать нет надежды. Еще бы лучше два, хотя не таких тучных, но исправных, с текущими известиями». ²

Между тем все советы и предостережения были напрасны, потому что издание «Русского сборника», несмотря на рекомендации Уварова, не осуществилось в силу «высочайшего» запрещения. На доклад Уварова Николай I наложил краткую и безапелляционную резолюцию: «И без того много». ³ Резолюция эта сыграла важную роль в истории русской журналистики, поскольку, получив ее, Главное управление цензуры разослало попечителям всех учебных округов циркуляры, которыми предписывалось «не делать на некоторое время представлений о дозволении новых периодических изданий». «С этой минуты никакие прось-

¹ Архив Краевского, т. Т-Ө, лл. 491—492.

² Там же, т. А, лл. 226—227.

³ «Русская старина», 1903, т. 113, № 3, стр. 589.

бы о новых журналах не принимались и существовавшие журналы стали перепродаваться за значительные суммы», — указывает И. И. Панаев.

Фиаско, постигшее журнальный проект Краевского и Одоевского, носило совершенно внешний и случайный характер, не имело никаких политических оснований. Больше того: запрещая «Русский сборник», правительство лишалось журнала, который, по существу, явился бы официозным литературным органом. Уваров недаром ручался за полную политическую благонамеренность инициаторов нового журнального предприятия.

К программе «Русского сборника» В. Ф. Одоевский и Краевский приложили «особую келейную записку», предназначенную лично для Уварова. Здесь в совершенно откровенной форме было высказано намерение издателей сделать «Русский сборник» органом *официозным*. Они просили министра «принять «Русский сборник» в свое особенное покровительство и давать ему по временам направление, как изданию, назначаемому действовать в духе благих попечений правительства о просвещении в России, изданию бескорыстному, чуждому неблагоприятных расчетов, а тем менее каких-либо сторонних, несогласных с духом правительства видов». Издатели выражали надежду на «особенную доверенность правительства», поскольку по службе своей и по литературной своей деятельности приобрели опыт «в отношениях между литературою и видами правительства и хорошо знают — *о чем и как* можно говорить с нашей публикою». ¹

В таком же духе была выдержана и статья Краевского «Мысли о России», заготовленная им для первой книжки «Русского сборника» в качестве его общественно-политической программы. Первоначально предполагалось открыть «Русский сборник» программно-декларативной статьей В. Ф. Одоевского «Обозрение состояния современного просвещения».

¹ «Известия Академии наук СССР». Серия истории и философии, т. 6, № 3 (1949), стр. 218.

Статья эта, однако, не была написана,¹ и взамен ее Краевский заготовил свои «Мысли о России», представляющие значительный интерес в пределах нашей темы, как наиболее четкое и развернутое изложение идейных взглядов молодого журналиста.

В своей статье Краевский поднимал вопрос об исторических судьбах России и Запада, решая его в духе реакционной концепции, выдвинутой Уваровым в обоснование официальной идеологии, покоившейся на принципах «православия, самодержавия и народности». Призывая читателей «страхнуть с себя иго чужеземных, не свойственных нам обычаев и мнений», Краевский утверждал, что на долю России выпала мессианическая роль спасения и обновления Европы, потрясаемой революционными бурями, силами русского православия, русской национальной культуры и самодержавного строя: «Неисповедимыми путями благое провидение вело русский народ к возвышенным целям, — писал Краевский, — вдалеке от тех бурь и тревожений, которые облили Европу кровью и создали ее теперешнюю физиономию. Русь в тишине уединения медленно и тайно приготавливалась к тому блистательному поприщу, которого границы теперь с каждым днем становятся яснее и яснее». Сравнительный обзор исторических событий в России и на Западе доказывает, с точки зрения Краевского, что Россия не только всегда шла своим собственным, независимым и самобытным путем, но и то, что в русской жизни всегда действовали более высокие, нежели на Западе, начала как в области религиозного сознания, так и в области социально-политического, государственного устройства. Залог «благоденствия» русского народа Краевский находил в преданности православию и верности самодержавию. Предвосхищая славянофильские теории, он доказывал, что реформы Петра I, открывшие России путь «к свету европейского просвещения», не поколебали устоев ее

¹ План «Обозрения» сохранился в бумагах В. Ф. Одоевского (Гос. Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Архив Одоевского, папка № 54, л. 79).

«самобытности», — она «осталась при своей неповрежденной религии, удержала в полной мере черты своего прежнего, освященного веками быта общественно-го, сохранила свой язык и нравы».

Говоря о «могуществе сил, уделенных России провидением», Краевский ссылаясь, в обоснование своей мысли, на успехи, одержанные русской гуманитарной культурой, перечисляя имена Державина, Крылова, Карамзина, Жуковского, Пушкина, Дельвига, И. Козлова, М. Глинки и, наконец, Григория Сковороды — «простонародного философа, бесхитростного мыслителя», который, не будучи затронут тлетворным духом рационализма, господствующим на Западе, «уже начал созидать народную русскую философию, сливая мысль с верованием и умозрения философские объясняя простыми словами священного писания». Апелляция к «священному писанию» и «божественному промыслу» вообще лежит в основе всех рассуждений Краевского. Так, например, даже «спасительный монархизм» он трактовал как «лучший плод истинного религиозного образования, столь убедительно и трогательно выражающегося на каждой странице божественного писания». «Богоизбранный» русский народ призван «обновить и научить языки», спасти мир от новых революционных потрясений, которые, «разрывая состав общественный», возвращают Европу к «темному смутному времени средних веков». Западная наука, доказывал Краевский, приняла отвлеченный, «друидский» характер и вдалась в «чистые умозрения, истребившие всякое верование, уничтожившие всякое чувство». Единственный путь научного и вообще культурного развития Краевский усматривал в соединении философии с основами христианской морали.

«Мысли о России» рекомендуют Краевского как человека уваровской ориентации, всецело находившегося на почве общественно-политической реакции конца тридцатых годов, в сферу которой были вовлечены очень широкие круги не только дворянской, но и разночинной интеллигенции. Нужно сказать, что идеи, положенные Краевским в основу его статьи

1836 года, не были для него новыми. Так, например, совершенно аналогичная мысль о мессианском призвании России, долженствующей сыграть роль международного жандарма, содержится в «Обзрении русских газет и журналов», составленном Краевским в 1834 году для «Журнала министерства народного просвещения». А необходимость подчинить философское знание принципам христианской морали доказывалась Краевским в специальной статье, излагающей основы учения аббата Ботена (в том же «Журнале министерства народного просвещения» 1834 года). Пропаганда христианской философии Ботена носила в России совершенно официальный характер, и статья Краевского предлагалась Уваровым к руководству по ведомственной линии. В свете этих статей и «Мыслей о России» проясняется, между прочим, и подлинный характер отношений Краевского с Пушкиным. Личное сближение с человеком из мира Уварова для Пушкина было, разумеется, немислимым делом. Связь его с Краевским, безусловно, ограничивалась чисто деловыми отношениями.

«Мысли о России» послужили для Краевского превосходной рекомендацией в правительственных кругах. Уваров должен был остаться доволен благонамеренностью молодого журналиста, несмотря на близость его к людям столь «вредного образа мыслей», как Пушкин. Известно, что статья Краевского заслужила полное одобрение даже в Третьем отделении. В 1848 году, обращаясь к жандармскому генералу Л. В. Дубельту по поводу очередного доноса Булгарина на «Отечественные записки», Краевский писал: «Если ваше превосходительство изволите припомнить, я начал свое журнальное поприще в 1837 году... статьею «Мысли о России», которая, удостоившись вашего одобрения в рукописи, тогда же и была напечатана».¹

«Мысли о России» были напечатаны в январе 1837 года. Ими открывается первый номер «Литера-

¹ М. Лемке. Николаевские жандармы и литература 1826—1855 гг. Изд. 2-е. СПб., 1909, стр. 193.

турных прибавлений к Русскому инвалиду», перешедших в руки Краевского. Статья определила общественно-политический облик этой газеты и, по свидетельству И. И. Панаева, «произвела большое впечатление на многих литераторов... П. А. Плетнев и князь В. Ф. Одоевский одобряли первые шаги Краевского на журнальном поприще». ¹ Любопытно, что некоторые восприняли «Мысли о России» как ответ на знаменитое «Философическое письмо» Чаадаева. Так, например, В. Ф. Одоевский писал С. П. Шевыреву: «Что толкуют о статье Краевского? Она готовилась для Сборника, следовательно прежде статьи Чед(аева), а прочитавши ее, мы нашли, что она точно возражение на нее. Впрочем, и поделом, — а замечательно это стечение мыслей». ²

2

Неожиданная неудача с «Русским сборником» не обескуражила Краевского. С прежней энергией предпринимал он новые и новые попытки обрести для себя «редакторское кресло». К числу таких попыток относится возникший по инициативе Краевского проект перевода в Петербург и коренной реорганизации угасавшего «Московского наблюдателя». «Если вы не добудете вашего «Зрителя», — писал Краевскому еще летом 1836 года редактор «Наблюдателя» В. П. Андроссов, — то мы поговорим пообстоятельнее о «Наблюдателе». Это уже дело начатое и пока что идет как-нибудь и может идти лучше». На предложение Краевского В. П. Андроссов отвечал 1 ноября 1836 года принципиальным согласием, выдвигая со своей стороны ряд условий, из которых главным было непрерывное возмещение пайщикам — учредителям журнала — затраченных ими средств (в сумме 18 тысяч рублей). Издание «Наблюдателя» предполагалось

¹ И. И. Панаев. Литературные воспоминания. Л., 1928, стр. 101—102.

² Неизданное письмо. Бумаги С. П. Шевырева в Гос. Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.

передать крупному петербургскому типографщику и книгопродавцу А. А. Плюшару. Андроссов был «вполне убежден», что со средствами Плюшара и «с хорошим распределением занятий по журналу» «Наблюдатель» в Петербурге «может наверное соперничать с «Библиотекою» и даже выдержит победоносно это соперничество». В частности, Андроссов обещал обеспечить активное сотрудничество в обновленном «Наблюдателе» всех видных московских литераторов, «которых не заманишь в Библиотеку». Основное ядро сотрудников «Наблюдателя» одобряло проект Краевского и Андроссова. Так, например, М. П. Погодин писал В. Ф. Одоевскому 1 декабря 1836 года: «Слышал, что «Наблюдатель» переводится в Петербург. Правда ли это? Если правда, то дело... Если у вас уладится, я берусь доставлять ежемесячно по печатному листу и даже иногда по два... Скажи это редактору, который у вас будет. Принимайтесь за работу, господа!»¹ Также и С. П. Шевырев писал В. Ф. Одоевскому: «Ладьте дело с Плюшаром, но не выпускайте «Наблюдателя» из наших рук».²

Какую роль должен был играть в обновленном «Наблюдателе» Краевский — не ясно. Вряд ли москвичи, судя по оговорке Шевырева, доверили бы ему единоличную редакцию журнала. Андроссов, в свою очередь, запрашивая Краевского о том, кто намечается официальным редактором, передавал, что московские писатели, «судя по принимаемому вами в этом деле участию», не сомневаются, «чтобы это не было из партии благочестивых».³ В случае если переговоры с Плюшаром «пойдут на лад», Андроссов предлагал Краевскому «действовать решительно».⁴ Но Плюшар, очевидно, не пошел на условия, выдвинутые Андроссовым, и дело расстроилось.

Настойчивые попытки Краевского выйти на ши-

¹ «Русская старина», 1904, т. 117, № 3, стр. 710—711.

² Там же, т. 118, стр. 367. Ср. письмо В. Ф. Одоевского к С. П. Шевыреву от 28 сентября 1836 г. — «Известия Академии наук СССР». Серия истории и философии, т. 6, № 3 (1949), стр. 220.

³ Архив Краевского. Письма, т. А, лл. 290—291.

⁴ Там же, л. 282.

рокую дорогу литературно-журнальной деятельности увенчались относительным успехом в конце 1836 года, когда старый журналист А. Ф. Воейков передал ему на два года свои права редактора еженедельной газеты «Литературные прибавления к Русскому инвалиду». Успех Краевского можно назвать лишь относительным, поскольку предметом его прожектерских замыслов был вовсе не тощий еженедельный листок, а «толстый» журнал с обширной и разнообразной программой. Сверх того, Краевский не являлся единоличным руководителем газеты: Воейков сохранил за собой право контроля над его действиями. Впрочем, контроль Воейкова простирался лишь на вопросы хозяйственно-материального порядка (подписка, изыскание и распределение дохода, оформление газеты и т. п.). Редактура же всецело осуществлялась Краевским, при близком и постоянном участии В. Ф. Одоевского и В. А. Владиславлева — беллетриста и альманашника, служившего в жандармском корпусе. Н. И. Греч извещал Н. В. Кукольника (в феврале 1838 года), что издателем «Литературных прибавлений» А. А. Плюшаром было заключено с Краевским особое условие, «по которому редактору предоставляется совершенная свобода» в области журнальной политики, полемики и т. п.¹ Сам Краевский писал М. П. Погодину, что «организм и механизм «Литературных прибавлений» очень прост. Поступают статьи прямо ко мне, печатаются, если хороши по *моему* мнению и иногда по мнению Одоевского».²

¹ Н. И. Греч. Записки о моей жизни. Л., 1930, стр. 824.

² Неизданное письмо. Архив М. П. Погодина (№ 3522) в Рукописном отделении Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина, Программа обновленных «Литературных прибавлений», поданная в Главное управление цензуры, «представляет собой легкую переработку и сокращение программы «Русского сборника» применительно к условиям еженедельного органа» (А. Могилянский. А. С. Пушкин и В. Ф. Одоевский как создатели «Отечественных записок». — «Известия Академии наук СССР». Серия истории и философии, т. 6, № 3 (1949), стр. 220. В этой статье главным инициатором всех упомянутых журнальных предприятий назван В. Ф. Одоевский — за счет умаления роли Краевского. Но это не подтверждается документальными материалами).

История передачи «Литературных прибавлений» в руки Краевского освещена в письмах В. А. Владиславлева к А. Я. Стороженко. «В прошлом году, — писал Владиславлев 13 февраля 1837 года, — А. Ф. Воейков, соскучив от журнальных работ и перебранок, предложил мне взять на себя редакцию «Литературных прибавлений»; через два месяца я передал ее Плюшару, но с тем, однако же, чтобы журнал сей выходил не иначе, как под непосредственным влиянием Краевского... Краевский очень молод, прекрасно образован, с твердыми нравственными правилами, деятелен и, не принадлежа ни к какой литературной партии, любим всеми известнейшими нашими писателями. Я уверен, что журнал его со временем будет одним из лучших. Александр Федорович (Воейков) остался ответственным издателем перед правительством, а я деятельным сотрудником, и получаем от Плюшара за передачу права по 6 тысяч рублей в год каждый; контракт сделан на 5 лет».¹

«Литературные прибавления» Воейкова не пользовались успехом у читателя. Это была во всех отношениях серая газета, заполнявшаяся по преимуществу переводными анекдотическими заметками для отдела «Смесь». Центральное место в газете занимали отделы «Пересмешник» и «Шарады, омонимы, логогрифы, загадки и анаграммы», то есть тот неизбежный журнальный балласт, который обычно отеснялся в последние листы. Материала, очевидно, Воейкову не хватало: приходилось печатать из номера в номер «Список членов императорской российской академии, уже окончивших свое земное поприще». Исключение составляли полемические «Литературные заметки», в которых Воейков, под псевдонимом А. Кораблинский, изощрялся в грубейшей травле Белинского и особенно Сенковского. Этим отделом только и жила газета. Сенковского Воейков преследовал с удивительным ожесточением. «Сын отечества» справедливо указывал, что Воейков полагает своим долгом по вся-

¹ «Стороженки, фамильный архив», т. 3. Киев, 1907, стр. 58—59; там же — о статье Краевского «Мысли о России». В 1839 году контракт Воейкова с Краевским был продлен еще на три года.

кому поводу оскорблять Барона Брамбеуса, а если повода нет, то почитает необходимым выдумать его, только бы в очередном номере был новый выпад против ненавистного противника.

Воейкову не удалось привлечь к участию в газете крупные литературные силы. Он вынужден был довольствоваться творениями безвестных Заморейцова, М. Демидова, Грена, Суханова, Баталина, Мызникова, Путилова, Романовича и др. Изредка появлялись в «Литературных прибавлениях» произведения Казака Луганского (В. И. Даля), Ф. Глинки, Владиславлева, Бенедиктова, Хомякова, Одоевского, Никитенко. Басня Крылова и «Родословная моего героя» Пушкина были перепечатаны Воейковым из других изданий.

Краевский коренным образом реорганизовал «Литературные прибавления» и в очень короткий срок достиг большого успеха: незаметная, захиревшая газета завоевала далеко не последнее место в литературно-журнальном мире. Преобразования и усовершенствования коснулись прежде всего внешнего оформления газеты, поскольку этому вопросу придавалось в тридцатые годы серьезное значение. Краевский задумал издавать «Литературные прибавления» по типу еженедельных английских изданий (в большом формате наших современных газет). Но реализовать этот проект оказалось невозможно: провинциальные мнения о формате, шрифте и модных картинках были очень устойчивыми, и Краевскому пришлось отказаться от мысли познакомить Россию с достижениями английской газетной техники и даже безвозмездно перепечатать для подписчиков первый номер «Литературных прибавлений» в обычном малом формате.¹

¹ Техническая сторона издания с каждым годом улучшалась. Так, например, в 1838 году был увеличен объем номера газеты до 2 листов (20 страниц или 40 столбцов сжатой печати); модные картинки, в которых издатели того времени полагали успех любого журнала, гравировались и «иллюминировались» в Париже. В 1839 году Краевский (по примеру парижских модных журналов) заменил картинки плоской картонной куклой, рассылавшейся подписчикам дважды в год. К кукле ежемесячно рассылались бумажные костюмы и платья.

Число подписчиков на «Литературные прибавления» увеличивалось при Краевском с каждым годом. Воейков насчитывал не более семисот «субскрибентов», а у Краевского к концу 1837 года их было около полутора тысяч, а в 1838 году около трех тысяч.

Номер «Литературных прибавлений» составлялся обычно из следующих отделов: I. Науки, II. Словесность (стихи и проза), III. Художества, IV. Критика и библиография, литературные известия, V. Театр (иначе назывался «Фельетон») и VI. Смесь.¹ Грань между отделами прозы и смеси была стерта, так как отдел прозы на три четверти оказывался заполненным такого рода заметками, как «Кабинет Наполеона», «Прихоти композиторов», «Последние минуты Стёрна», «Театральное представление в 1807 году», «Фенимор Купер и Вальтер Скотт в Париже», «Причина развода лорда Байрона с женой». Критерием распределения такого рода заметок в два разных отдела служил, очевидно, только их размер.

Из числа сотрудников «Литературных прибавлений» 1837 года следует упомянуть таких видных литераторов, как Н. И. Надеждин (руководивший отделом «Науки»), профессор М. Г. Павлов, И. И. Лажечников, С. П. Шевырев, Ф. Н. Глинка, В. Г. Бенедиктов, Ф. А. Кони, П. П. Ершов, И. И. Панаев, И. И. Козлов, Н. В. Кукольник, В. Ф. Одоевский, В. И. Даль, В. А. Соллогуб (дебютировавший в «Литературных прибавлениях» рассказом «Сережа»). В 1838 году в газете Краевского участвовали А. А. Бестужев-Марлинский, П. А. Вяземский, А. В. Кольцов, А. И. Полежаев и, наконец, Лермонтов («Песнь о купце Калашникове»). Много места в газете уделялось переводам (Дюма, Скриб, Гёте, Бомарше, Фурье и др.).

Не говоря о мелких журнальных работниках, второстепенных и третьестепенных поэтах и прозаиках, безыменных рецензентах и театральных фельетони-

¹ Предполагавшийся отдел «Промышленность и торговля» не был разрешен Главным управлением цензуры.

стах, ядро ближайших сотрудников составляли писатели, объединенные принадлежностью к определенному литературному лагерю, в конечном счете группировавшиеся вокруг Пушкина и его друзей, представителей той журнальной армии, которой располагал штаб пушкинской группы — редакция «Современника» — в борьбе с Булгариным и Сенковским.

«Литературные прибавления» служили своего рода передовым форпостом пушкинской группы, откуда можно было производить еженедельные вылазки против неприятеля (не случайно Булгарин называл газету Краевского преемницей «Литературной газеты»). «Литературные прибавления» 1837—1838 годов — орган, связанный с послепушкинским «Современником», конкретно решавший те же самые литературные задачи, которые выдвигались этим журналом. В оправдание своего заголовка газета Краевского действительно являлась «прибавлением» — только не к «Русскому инвалиду», а к «Современнику».

«Литературные прибавления» были единственным живым печатным органом, быстро откликавшимся на все явления текущей литературной жизни, которым могли всецело располагать писатели пушкинской группы. Это обстоятельство в полной мере учитывал В. Ф. Одоевский, усиленно вербовавший сотрудников для газеты Краевского. В начале января 1837 года он писал С. П. Шевыреву: «Работы с «Лит(ературными) приб(авлениями) пропасть, ибо невозможно помещать больших статей, а маленьких мы не наготовили. Пришли непременно нам своих стихов и стихов Баратынского и Языкова, или что хочешь, да только пришли. . .»¹ П. А. Вяземский, в свою очередь, писал 21 января 1837 года И. И. Дмитриеву: «Видели ли вы преображение, и уже сугубое преобразование, «Литературных прибавлений» живого покойника Воейкова? Я еще не успел принять деятельное участие в этой газете. . . По крайней мере желаем мы поддержать это предприятие. Теперь, когда запрещено издавать новые

¹ «Известия Академии наук СССР». Серия истории и философии, т. 6, № 3 (1949), стр. 221.

журналы, должно смотреть на существующие, как на майораты. Кажется, у Плюшара уже две тысячи подписчиков. Должно надеяться, что и «Современник» поднимется». ¹

И Одоевский, и Вяземский в интересах своей борьбы с Сенковским и продажной кликой Булгарина — Греча были крайне заинтересованы в процветании «Литературных прибавлений» именно как подсобного органа, находящегося под их надзором и контролем. Подобный контроль и осуществлялся ими в 1837—1838 годах в полной мере. Вяземский нередко усваивал начальнический тон по отношению к Краевскому, резко выговаривал ему за вольные или невольные промахи: «Куда как не хороша неблагонамеренная, неблаговидная критика на Бернета, напечатанная в «Литературных прибавлениях». Что за шишковские обвинения там, где нет свободы печатания. Это уже жандармство, а не литературная критика». ² Сам Краевский писал М. П. Погодину (начало 1837 года): «Читаете ли вы («Литературные прибавления»)? Как их находите? . . . Здешние, Жуковский и Вяземский, поругивали-таки меня, а я всегда был им за то благодарен». ³

Впрочем, нужно сказать, что, контролируя и наставляя Краевского, литераторы пушкинской группы, очевидно, не слишком активно помогали молодому журналисту в его повседневной работе. Во всяком случае, Краевский горько жаловался на равнодушие тех людей, при поддержке которых он решил вступить в борьбу с булгаринской кликой. В начале 1838 года он писал В. И. Далю: «Литературные прибавления начались при обещании содействия добрых людей (без чего я и не начал бы их), а добрые люди отказались от них тотчас же; говорю: отказались, т. е. продолжали принимать участие на словах, а не на

¹ «Русский архив», 1868, стбц. 652.

² «Отчет Публичной библиотеки» за 1895 год. Приложение, стр. 84.

³ Н. Барсуков. Жизнь и труды М. П. Погодина, кн. 5. Спб., 1892, стр. 112.

деле... Оттого-то и плоха надежда на поправление хода нашей литературы, что честная литературная партия только охает сложа руки, а мошенническая работает неутомимо и, разумеется, завоевывает внимание всех читателей, растлевает вкусы и прививает гангрену к литературе. В прошедшем году я должен был работать почти *один* для всех статей собственно журнальных, имея у себя двух, трех молодых людей для перевода отмечаемых мною статей или для доставления мне краткого отчета о книжонках, которые самому прочесть некогда... Один! а охотников, обещавших работать неутомимо, было более 20! Вот и извольте после этого предпринимать у нас что-нибудь журнальное. Более всех принимал участие в Литературных прибавлениях Одоевский, которому я за это очень обязан; прочее же все только *читало* то, что я печатал»¹.

Программа «Литературных прибавлений» предусматривала прежде всего открытую борьбу с «торговым направлением» в литературе и с журнальной монополией, борьбу с книгопродавцем А. Ф. Смирдиным, которого современники называли «главным лицом в литературе», держащим «на откуп» Сенковского, Греча, Булгарина и Полевого.² Краевский выступил в «Литературных прибавлениях» за «словесность» и *против* «коммерции», в духе известной декларации С. П. Шевырева, обнародованной в первой книжке «Московского наблюдателя» 1835 года. Через несколько лет Краевский по всей справедливости был сам зачислен в «литературные промышленники», но тогда, в 1837—1838 годах, он еще «пылал благородным негодованием против всяких *нелитературных* выходов» (И. И. Панаев).

В одной из статей 1838 года, направленной против булгаринской «Северной пчелы» и не пропущенной цензурой, редакция «Литературных прибавлений» следующим образом охарактеризовала задачи и направ-

¹ Неизданное письмо от 24 января 1838 года. Рукописный отдел ИРЛИ АН СССР.

² См. «Стороженки, фамильный архив», т. 3, стр. 64.

ление газеты: «При самом начале издания редакция «Литературных прибавлений» была поражена влиянием некоторых журналов, которое вместе с книгопродавческими действиями грозило литературе совершенною гибелью: говорили во всеуслышание о себе, о своих достоинствах и старались унижить произведения людей, не принадлежащих к их приходу. А этот приход, как известно, довольно тесен. Это влияние, повторяем, связанное с торговыми оборотами книгопродавцев, не могло и не должно было укрыться от редакции «Литературных прибавлений». Оно грозило многим юным талантам, которых успеху означенные журналы по какому-то довольно замечательному чутью старались препятствовать. Но должна ли литература быть подчинена торговым оборотам? Но должна ли вся литературная деятельность существовать лишь для вещественных выгод нескольких лиц? Воспротивиться такому невыгодному для литературы влиянию, сколько позволят силы и способы, показалось редакции «Литературных прибавлений» непреложным долгом. . . «Литературные прибавления» в этом отношении имели в виду преимущественно провинциальных читателей, которые служат столь важною поддержкою для всякого издания».¹

Уже в одном из первых номеров «Литературных прибавлений» Краевский объявил, что редакция, «верная своим мыслям в главных основаниях», «дает простор всем добросовестным суждениям, разумеется, когда эти суждения выражены сообразно с назначением журнала и с приличиями, существующими в образован-

¹ Гос. Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Архив Краевского, б. № 37; папка, озаглавленная: «Литературные прибавления к Русскому инвалиду». Там же хранится письмо цензора В. Лангера, не пропустившего эту статью по той причине, что она «выходит из круга *литературной* полемики и есть собственно не что иное, как косвенный упрек министерству насчет настоящего положения нашей литературы». «Указать на причину этого состояния, — писал цензор, — можно только частным образом кому следует, но печатать об этом, кажется, неприлично и неловко, а поэтому я нахожу, что этой статье печатать нельзя».

ном обществе». «Следуя этому правилу, редакция обязывается принимать критические статьи даже противные высказанным ею мнениям. Поставляя себе долгом уничтожать выражения, которые ей покажутся слишком жесткими, она не считает себя вправе переменять ни смысла, ни слога присылаемых к ней статей». Острие этого заявления было направлено против О. И. Сенковского, бесцеремонно выправлявшего и «смысл» и «слог» в статьях, присылавшихся в «Библиотеку для чтения». Самоуправство Сенковского вызвало в литературной среде всеобщее возмущение и шумные протесты; естественно, что заявление Краевского произвело благоприятное впечатление на литераторов, обиженных Сенковским. Впрочем, истолковано оно было слишком буквально и впоследствии на него часто ссылались авторы отвергнутых редакцией статей, указывая, что Краевский не выполняет своих обещаний.

Достаточно перелистать «Литературные прибавления» за 1837—1838 годы, чтобы убедиться в том, что Булгарин и «Северная пчела» служили главной целью полемических выступлений газеты. По всем правилам журнальной стратегии и тактики тридцатых годов Краевский вел непрерывную войну с булгаринской кликой, преследуя ее по любому поводу с такой же последовательностью, с какой в 1836 году А. Ф. Воейков разоблачал Сенковского. Краевский в совершенстве овладел методом скрытой насмешки, избегая прямых выпадов против враждебной прессы, которые, будучи истолкованы как «личность», могли вызвать нежелательные осложнения — очередной донос Булгарина и репрессии со стороны его покровителей из высоких административных и полицейских сфер. Поэтому в большинстве случаев выпады Краевского против Булгарина даны в замаскированной форме, в статьях, рецензиях и заметках, написанных как будто на совершенно посторонние темы.

Когда Булгарин в самом начале 1837 года (в № 14 «Северной пчелы») поторопился известить своих читателей, что «Литературные прибавления», «шестствующие путем покойной Литературной газеты», не пропускают

случая, чтобы не задеть его газету, — Краевский резонно ответил ему, что в «Литературных прибавлениях» ничего не говорится о «Северной пчеле», а только о «неблагоденных журналах», о «торгашестве в литературе», о «негодных газетах, в которых образованные люди не читают уже ни критик, ни статей литературных» и т. п. «Литературные прибавления», в издательском тоне заверял Краевский Булгарина, «не дозволяют себе непристойной мысли» затевать полемику с «Северной пчелой», «которой заграничные известия так занимательны и литературная и критическая часть отличаются такую благонамеренностью, свежестью и таким благородством тона».

Журнальная война Краевского и Булгарина регулировалась цензурой. В архиве Краевского сохранилась целая коллекция статей и заметок, направленных против «Северной пчелы» и не пропущенных в печать цензурой.¹ Булгарин, благодаря своим связям в цензурно-полицейских кругах, находился в более благоприятных условиях, переходя в своей «критике» все границы литературной благопристойности. Вот, к примеру, в каком тоне говорил он о Краевском, задавая вопрос, может ли быть доверена редакция литературной газеты человеку, который «в жизни ничего не написал такого, что б могло выдержать суждение, который вовсе ничего не произвел, ничего не создал, ничего не выдумал, а залезши в какую-нибудь петербургскую трущобу, мечется как угорелый, ревет, к сожалению всех и каждого, противу всего, что не попало в его трущобу». В сороковые годы Краевский был самым заклятым врагом Булгарина. Булгаринские доносы на «Отечественные записки» — явление исключительное в летописях русской журналистики. В 1843 году, например, он печатно объявил, что Краевский «унижает» Жуковского, несмотря на то, что Жуковский является автором официального гимна «Боже, царя храни»; в 1846 году аттестовал Краевского как «главу коммунистов и развратителя цензуры», а в 1848 году

¹ Архив Краевского, б. № 42.

заверял, что «от существования России не было примера, чтобы человек столь ясно и столь дерзко действовал к подрыву веры, престола, любви к отечеству и всех преданий, внушающих любовь к родине», как действует Краевский.¹

Мелочная, беспринципная перебранка с Булгариним занимала в «Литературных прибавлениях» непомерно много места, определив тем самым низкий уровень критического отдела газеты. Между тем именно «Литературные прибавления» могли бы сыграть крупную роль в истории русской литературной критики, ибо с самого начала Краевский попытался привлечь к постоянному участию в газете В. Г. Белинского. В конце 1836 — начале 1837 года предполагалось, что Белинский переедет в Петербург и примет на себя обязанности заведующего литературно-критическим и библиографическим отделами «Прибавлений». В ответ на приглашение Краевского Белинский писал ему 14 января 1837 года: «Со всею охотою готов вам помогать в издании и принять на свою ответственность разборы всех литературных произведений, только почитаю долгом объяснить с вами насчет одного пункта, очень для меня важного. . . Я желаю сохранить вполне свободу моих мнений и ни за что в свете не решусь стеснять себя какими бы то ни было личными или житейскими отношениями. Поэтому я готов по вашему совету делать всевозможные изменения в моих статьях, когда дело будет касаться до безопасности вашего издания со стороны цензуры; но что касается до авторитетных и разных личных отношений к литераторам, участвующим делом или желанием в вашем журнале, то я думаю и уверен, что я в этом отношении останусь совершенно свободен. Но так как у вас участвуют некоторые литераторы, как-то князь Вяземский, барон Розен и Виктор Тепляков, о которых я по совести не могу напечатать доброго слова и вообще не могу говорить умеренно и хладнокровно, то буду стараться совсем не говорить о них. А если бы вышло какое-

¹ «Голос минувшего», 1913, кн. 3, стр. 224—225.

нибудь сочинение или собрание сочинений кого-нибудь из них, то также почту себя вправе или говорить, что думаю, или совсем ничего не говорить. . . Это главное. . . Все статьи, которые бы не касались критики, но которые могли бы поместиться в вашем листке, я со всем удовольствием отдаю вам без всяких особенных условий, и вообще буду действовать не как работник по найму, а как человек, принимающий живейшее участие в журнале». ¹

Условие, выдвинутое Белинским, естественно, оказалось для Краевского неприемлемым: слишком велика была зависимость его от Вяземского и других покровителей, которых ни в грош не ставил Белинский. Переговоры его с московским критиком затягивались, тем более что Белинский не соглашался также «не подписывать своего имени» под статьями, что требовал от него Краевский, следуя в данном случае правилу, укоренившемуся в практике журнального дела тридцатых годов, когда журнальная критика была почти сплошь анонимна и тем самым как бы выражала мнение редакции. Белинский решительно восстал против этого правила, «не любя присваивать себе ничего чужого, ни худого, ни хорошего», но и «не уступая никому своих мнений, справедливы они или ложны, хорошо или дурно изложены». В письме от 4 февраля 1837 года Белинский уже писал Краевскому, что «исключительно заведовать» литературной критикой в «Прибавлениях» для него невозможно ввиду «значительной разности наших мнений касательно достоинства многих русских литераторов». ²

В феврале 1837 года вопрос о переезде Белинского в Петербург уже не поднимался. «Разность мнений» была вполне осознана и редактором и критиком. 11 февраля Н. В. Станкевич сообщал Я. М. Неверову, что «Белинский, кажется, не сойдется с Краевским». ³ Белинский соглашался рецензировать все петербург-

¹ В. Г. Белинский. Письма, т. 1. СПб., 1914, стр. 65—66.

² Там же, стр. 67—71.

³ «Переписка Н. В. Станкевича». М., 1914, стр. 371.

ские и московские издания, в оценке которых он не расходился бы с мнением редакции; Краевский же предлагал ему писать только о московских изданиях, на что Белинский отвечал: «Вы осуждаете меня на решительное бездействие».

В результате переговоры оборвались, и участие Белинского в «Литературных прибавлениях» не осуществилось. Два года спустя положение резко изменилось: Краевский вышел из-под опеки своих литературных протекторов, и боязнь поколебать авторитет Вяземского уже не могла помешать ему привлечь Белинского к самому активному участию в «Отечественных записках».

Краевский редактировал «Литературные прибавления к Русскому инвалиду» до конца 1839 года. Со смертью А. Ф. Воейкова (в июне 1839 года) он стал собственником газеты. «Краевский был счастлив на журнальные вакансии, как Скалзуб», — замечает по этому поводу И. И. Панаев. Тогда же он вошел в цензурный комитет с ходатайством о разрешении издавать с 1840 года «Прибавления» отдельно от «Русского инвалида», под названием «Литературная газета». ¹ Разрешение было получено, но Краевский, целиком погруженный в дела «Отечественных записок», передал свои редакторские права Ф. А. Кони.

Издание еженедельной газеты доставило Краевскому видное место в литературном мире, помогло ему в совершенстве освоить навыки и методы редакционно-издательской работы профессионального журналиста.

К изданию большого литературно-научного журнала Краевский приступил во всеоружии богатого опыта, приобретенного в течение двухлетнего издания «Литературных прибавлений».

¹ Прощение Краевского от 14 июня 1839 года хранится в Ленинградском отделении Централхива. Дела Цензурного комитета, № 84, л. 19. Ср.: «Русская старина», 1904, т. 118, № 6, стр. 574.

С 1820 года в Петербурге выходил журнал П. П. Свиньина «Отечественные записки». Этот по преимуществу исторический, а не литературный журнал влачил довольно жалкое существование в течение одиннадцати лет, являя собою пример типичного для эпохи «домашнего» журнального предприятия.

Настойчивые попытки Краевского «очистить себе место в ряду журнальных концессионеров эпохи» в 1836 году, как мы видели, не увенчались успехом. В 1837 году Краевский таких попыток не предпринимал, будучи всецело занят реорганизацией «Литературных прибавлений». Но конечной целью его проектерских замыслов по-прежнему оставался большой энциклопедический журнал. Только в конце 1838 года Краевский достиг этой цели, купив у П. П. Свиньина право на издание «Отечественных записок».

«Надоело мне издавать мелкий журналец «Литературные прибавления», которые по роду своему должны бы быть газетою и из которых я силился сделать нечто вроде журнала, ибо нам нужен был журнал, а не легонькая газетка, — писал Краевский В. И. Далю 23 сентября 1838 года. — Давно подумывал я, как бы залучить в свои руки журнал широкий, всеобъемлющий, толстый, в котором можно было бы не стесняться объемом, — и вот представился случай. Свиньин получил высочайшее соизволение на возобновление «Отечественных записок» и поручил или передал мне редакцию их. Составилась компания на акциях в 42 000 р. для издания этого журнала; набралось более 100 сотрудников. . . А журнал будет огромный — огромное «Библиотеки для чтения». . . «Литературные прибавления» остаются при мне же и будут легкою газетою, вспомогательною, при большом журнале. Издателем их будет уже не Плюшар, а Воейков. За статьи в «Отечественных записках» будет плата, и иногда довольно значительная — до 200 р. за лист крупной печати».¹

История «Отечественных записок» — это, по сути

¹ Неизданное письмо. Рукописный отдел ИРЛИ АН СССР.

дела, вся история русской журналистики сороковых годов. Она должна служить предметом специального исследования. В настоящей работе речь идет лишь о начальном эпизоде этой истории, именно — о возрождении «Отечественных записок» под редакцией Краевского.

Можно согласиться с И. И. Панаевым, утверждавшим, что при возобновлении «Отечественных записок» Краевский руководствовался прежде всего меркантильными соображениями. «Успех «Библиотеки для чтения», — говорит Панаев, — не мог не подействовать на редактора «Литературных прибавлений к Русскому инвалиду». Пять тысяч подписчиков — какая приятная цифра! О роскоши, с которою жил редактор «Библиотеки», носились тогда преувеличенные, чуть не баснословные слухи...»¹ Но необходимо также отметить, что финансовый успех пришел к Краевскому поздно. Напротив, первые годы издания «Отечественных записок» были в этом отношении временем тяжелых испытаний и затруднений, побежденных лишь настойчивостью и изворотливостью Краевского. Предпринимательская смелость и подлинно «американский» размах были в полной мере присущи Краевскому. Он организовал свое новое журнальное предприятие, сразу же затмившее «Библиотеку для чтения», буквально с грошовыми средствами. Своим необыкновенным успехом «Отечественные записки» были обязаны исключительно высоким организаторским способностям Краевского. Журнал был его личным делом, и он имел все основания сказать на склоне лет, что его «биография» заключается в тех сотнях и тысячах печатных листов, которые он составлял, корректировал и выпускал.

Летом 1838 года Краевский вступил со Свинымым в переговоры.² Не располагая необходимыми для по-

¹ И. И. Панаев. Литературные воспоминания. Л., 1928, стр. 203.

² Уже 20 июля 1838 года Краевский писал В. С. Межевичу: «Составляется уже компания денежная для издания этого журнала под моею редакцией (высочайшее позволение уже мы имеем) и собираются сотрудники» (Неизданное письмо. Рукописный отдел ИРЛИ АН СССР, Дашковское собрание).

купки журнала средствами, он учредил акционерную компанию, в которую вошли В. П. Давыдов, В. Ф. Одоевский, Б. А. Врасский, А. В. Всеволожский, Н. П. Мундт, В. А. Владиславлев и И. И. Панаев. Эта акционерная компания оказалась виновницей несчастий, обрушившихся на «Отечественные записки» в первый же год их существования. Сам Краевский в письме к Г. Ф. Квитко-Основьяненко от 17 марта 1840 года в следующих словах обрисовал создавшееся положение:

«Для издания «Отечественных записок» составила в 1838 году компания, которая обязалась внести до 50.000 рублей на учреждение фонда журнала. Все господа, объявившие это желание, обязались подпискою внести — кто 7, кто 8, кто 10 тысяч. Эта подписка была сделана еще в августе 1838 года. Я сам был в числе акционеров и первый внес ту сумму, на которую подписался. Тогда же, по общему желанию, я был избран редактором, и утверждена была примерная смета расходов по изданию. Сумма всех расходов простиралась по смете — до 120.000 рублей. Предполагая, что мы будем иметь от 1.000 до 1.200 подписчиков на первый год, мы решили, что, если собранные с них деньги присоединить к капиталу, внесенному компанией, то общая сумма покроет издержки, так что на 1840 год останется долга от 10 до 15 тысяч. Потом подписка будет все расти и расти и, наконец, в пять, шесть лет возвратится и самый капитал компании: большего мы ничего и не хотели. Что ж вышло? Наступает ноябрь 1838 года — никто из подписавшихся не вносит денег; приходит декабрь, об издании журнала объявлено по всей России, начинается подписка, начинает печататься первая книжка журнала, — а денег никто не вносит, — и во все продолжение 1839 года вместо 50 тысяч я с трудом мог собрать 15; не доставало, следовательно, 35 тысяч! Подписчиков в 1839 году мы имели 1250; это дало нам, за вычетом процентов, отдаваемых книгопродавцам, и денег за пересылку, — около 50.000 рублей. Соедините эти 50.000 р. с 15.000 р., внесенными фантастическою компаниею, — получите в сложности 65.000 руб., а журнал,

как я сказал, должен был стоить 120.000 рублей, следовательно недоставало 55.000 рублей, которые и легли всею тяжестью на нынешний год, долженствующий их выплатить. А между тем и нынешний год просит хлеба, т. е. бумаги и типографской работы; а бумага и типографская работа стоят для каждой книжки 6.000 руб., следовательно 72.000 руб. в год, и, несмотря на все сокращение расходов, какое я сделал в нынешнем году, журнал не обойдется менее как во 100.000 руб. Теперь судите же мое положение. Подписчиков по сие число я имею 1.400 с небольшим, следовательно денег 63.000 руб. ... Некоторые благонамеренные литераторы, чтобы сохранить существование «Отечественных записок», журнала, по их словам, необходимого для пользы литературы, решились работать для него безденежно. Таковы: князь Одоевский, граф Соллогуб, Лермонтов, Панаев, Гребенка и др. Благодаря им я не должен был платить за статьи для первых трех книжек нынешнего года и только покрывал необходимые издержки, т. е. платил переводчикам (которые этим только и живут), типографии, за бумагу и картинки. Авось как-нибудь удастся прожить этот тяжелый год и поддержать журнал с честью. Некоторые из правительственных лиц приняли в нем участие и хотели поддержать его опубликованием подписки на него через подведомые им места». ¹

Спасая журнал, Краевский вынужден был прибегать к посторонней помощи. Так, например, неизменный покровитель Краевского В. Ф. Одоевский писал В. А. Жуковскому: «Свои деньги, что у нас было, у меня, у Краевского и у Врасского, мы высыпали, а больше нет: между тем наборщики, фабриканты, и ав-

¹ «Русская старина», 1900, т. 102, № 5, стр. 295—297. Известно, что «Отечественные записки» распространялись при содействии В. А. Владиславлева через Третье отделение. Булгарин в докладе на Краевского, в 1848 году, заверял, что даже «граф Бенкендорф содействовал этому» («Голос минувшего», 1913, кн. 3, стр. 224—225). И. И. Панаев справедливо находил это забавным, потому что впоследствии то же Третье отделение «скупало Отечественные записки» и предавало их ауто-да-фе» («Литературные воспоминания», стр. 107—108).

торы, и переводчики требуют денег тотчас, и следовательно дело плохо. Мы это предвидели и потому собрали еще в начале несколько денежных участников; они подписали условие, но когда увидели, что дело у нас хорошо пошло, то не рассудили дать денег. Мы трое внесли свое, а с другими не процесс же заводить? Дядюшка! Помогите, и помогите от души, потому что дело задушевное; от 5 до 10 тысяч нас поднимут на ноги, а мы их вам возвратим, т. е. в ноябре (1839 г.), ибо нам труден был только этот год; много было экстраординарных издержек. Краевский, комендант этой крепости, построенной на защиту от татар и поляков, будет к вам и объяснит положение осажденных всеми возможными канальствами. Выслушайте его, дядюшка, и помогите. Дело не на ветер; мы трое: я, Краевский и Врасский за то вам отвечаем своею подписью. Если не будет помощи от вас, то принуждены будем издание прекратить, и торговая братия захлопает в ладоши, а честным людям будет жаль, ибо наш подрыв докажет, что в России ни один честный журнал существовать не может». ¹

А. В. Старчевский в своих «Воспоминаниях старого литератора» выдвигает несколько иную версию: «В конце года вкладчики, т. е. лица, затеявшие возобновление журнала, объявили, что вследствие неуспеха издания они более участвовать в нем не намерены; тогда молодой литератор, ведший редакцию издания в первом году, вызвался взять на себя издание и долг, на нем лежавший. Краевский не располагал никакими средствами, и если бы Константин Петрович Жернаков, содержатель типографии, в которой печатались в 1839 г. «Отечественные записки», и бумажный фабрикант — не открыли Краевскому большого кредита, то новое издание непременно бы лопнуло в 1840 г.; но Краевский, с одной стороны, обеспеченный

¹ «Русский архив»; 1906, кн. 1, стр. 368. П. А. Плетнев писал впоследствии: «У Краевского 3000 подписчиков, что дает ему в год 150 000 р. . . Он обязан этим частию В. А. Жуковскому» («Сочинения и переписка П. А. Плетнева», т. 3, СПб., 1885, стр. 395). Ср. письмо Краевского к С. Д. Нечаеву от 22 апреля 1840 года в «Русском архиве», 1893, кн. 2, стр. 159.

типографией и бумагою, а с другой — прошлогодним опытом и верно постигший тайну успеха всякого периодического издания, спас возобновленный журнал, который вскоре стал оспаривать успех «Библиотеки для чтения».¹

По условию, заключенному между Свиным и Краевским, последний обязался платить бывшему издателю «Отечественных записок» ежегодно по 9000 рублей ассигнациями, а в случае смерти Свиного — выплачивать такую же сумму его вдове. Вскоре (9 апреля 1839 года) Свиной умер, и сразу же (11 апреля) Краевский вошел в Главное цензурное управление с ходатайством о полной передаче ему права издания и утверждения его владельцем «Отечественных записок». Главное управление цензуры, «принимая в уважение благонамеренный дух, в котором составлены вышедшие доселе (т. е. до апреля 1839 года) под редакцией Краевского номера «Отечественных записок», равномерно обязанности; принятые перед подписчиками редакциею сего журнала, не усмотрело повода затруднять дальнейшее издание оногo» и согласилось на передачу его Краевскому.

На «всеподданнейшее представление» министра народного просвещения С. С. Уварова о передаче издания «Отечественных записок» Краевскому «последовало высочайшее соизволение», на основании чего Краевский «прекратил выдачу вдове Свиной».² По условию, заключенному Краевским со Свиным, всякое недоразумение, связанное с изданием «Отечественных записок», должно было разбираться третейским судом. В 1841 году суд, в составе Л. В. Дубельта, В. И. Панаева и П. А. Плетнева, по просьбе Свиной обратился к Краевскому за разъяснениями.³ Краевский ответил, что царская резолюция освобождает его

¹ «Исторический вестник», 1888, № 10, стр. 130—133.

² См. И. И. Панаев. Литературные воспоминания. Л., 1928, стр. 206.

³ И приостановил в почтамте выдачу подписных денег, поступавших из провинции в адрес Краевского (см.: «Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым», т. I, СПб., 1896, стр. 228).

от каких бы то ни было договорных обязательств. «Тогда третейский суд прибегнул к великодушию Краевского и хотел смягчить его сердце бедственным положением вдовы Свинына» (И. И. Панаев). У Краевского в составе третейского суда оказался сильный защитник, — только не Плетнев (порвавший с Краевским приятельские связи на почве журнального соперничества), а жандармский генерал Л. В. Дубельт. В результате взаимных уступок Краевский согласился в течение пяти лет выплачивать вдове Свинына определенную договором сумму, однако не наличными деньгами, а подписными билетами на «Отечественные записки». Дубельт же вызвался рассылать эти билеты губернаторам на предмет распространения их в провинции.

«Отечественные записки» были организованы с прямой целью сокрушить безраздельное господство «Библиотеки для чтения». Ни худосочный «Современник» Плетнева, ни «Литературные прибавления» не выполнили этой задачи. Для того чтобы успешно бороться с Сенковским, необходимо было обладать второй «Библиотекой для чтения». А для того чтобы победить Сенковского, вторая «Библиотека» должна была быть лучше первой.¹ Для этого недостаточно было просто учесть опыт журнальной деятельности Сенковского. Нужно было на основе этого опыта перейти к еще более усовершенствованным формам организации крупного журнального предприятия.

Сам Краевский следующим образом определял задачу нового журнала: «Это последняя надежда честной стороны нашей литературы; если «Отечественные записки» не будут поддержаны, то владычество Сенковского, Булгарина, Полевого и прочей сволочи утвер-

¹ О том, что «Отечественные записки» примут характер энциклопедический, подобно «Библиотеке», писал Краевский В. С. Межевичу, добавляя, что в них, сверх того, что есть в других журналах, будет еще два отдела: «Художества» и «Современная хроника происшествий в России и соплеменных нам странах» (Письмо от 20 июля 1838 года. Рукописный отдел ИРЛИ АН СССР).

дится незыблемо, и тогда — горе! горе! горе!..»¹ «Назначение «Отечественных записок», цель их совершенно особенная от цели других, книгопродавческих журналов. Это издание, которое восстановило бы в отечественной литературе права здравого вкуса, уничтожило бы это убийственное пренебрежение ко всему, что только есть высокого в искусстве и науке, и останавливало бы низкие попытки литературных промышленников обманывать публику взаимным восхвалением своих жалких талантиков, которые скорее годились бы на дело торговое, чем литературное, а известно: торговля и литература — огонь и вода, холодный расчет и пылкое чувство, коварство и благодушие — вещи несовместимые».²

Провозгласив своей основной задачей борьбу с «торговым направлением» вообще и с журнальной диктатурой Сенковского в частности, Краевский объединил вокруг «Отечественных записок» очень значительные и влиятельные писательские кадры. «Клич, который он тогда кликнул, с одобрения самых почетных лиц петербургского литературного мира, ко всем еще не подпавшим под позорное иго журнальных феодалов, — писал П. В. Анненков, — отличался и очень верным расчетом, и признаками полной искренности и благонамеренности. «Если и эта новая попытка, — говорил новый издатель своим сторонникам, — противопоставить оплот смирдинской клике — не удастся, то всем нам останется только сложить руки и провозгласить ее торжество».³

В частности, московские литераторы из круга «Московского наблюдателя» на первых порах всячески поддерживали начинание Краевского. С. П. Ше-

¹ Письмо Краевского В. С. Межевичу от 20 июля 1838 года. Рукописный отдел ИРЛИ АН СССР.

² Письмо к Г. Ф. Квитко-Основьяненко (6 октября 1839 г.). — «Русская старина», 1900, т. 102, № 5, стр. 294. Ср. письма Краевского к Н. Д. Иванчину-Писареву («Известия ОРЯС Академии наук», т. 7, кн. 4, стр. 87) и к С. Д. Нечаеву («Русский архив», 1893, т. 2, стр. 159).

³ П. В. Анненков. Литературные воспоминания. Л., 1928, стр. 176—179.

вырев одобрял первые книжки «Отечественных записок», А. С. Хомяков писал А. В. Веневитинову, что «журнал хорош, т. е. лучший у нас, и истинно хорош литературно. . . чист, благороден и обещает много. Скажи издателям, что они нас радуют»,¹ а М. П. Погодин даже предлагал Краевскому «соединиться вместе», охотно уступая ему право на издание «Москвитянина» (полученное еще в 1837 году). Сам Краевский, придавая очень большое значение упрочению связей московских писателей с «Отечественными записками», предлагал В. С. Межевичу «приглашать у участию кого угодно из московских литераторов»² и убеждал В. Ф. Одоевского, что «непременно надо съездить в Москву. . . там все принимают в нас большое участие: надо усилить его; ведь на петербургские подмоги плоха надежда».³ Деятельным пропагандистом «Отечественных записок» в Москве служил, между прочим, Н. Ф. Павлов.⁴ Однако вскоре же, с приходом в «Отечественные записки» Белинского, и Шевырев, и Хомяков, и Погодин, и другие московские литераторы, объединившиеся в славянофильском «Москвитянине», вступили с журналом Краевского в непримиримую и ожесточенную борьбу.

Только наиболее маститые представители старшего литературного поколения отнеслись к возрождению «Отечественных записок» с обидным равнодушием, и, вероятно, их именно и имел в виду Краевский, говоря о плохих «петербургских подмогах». В. Ф. Одоевский выговаривал В. А. Жуковскому за нежелание поддерживать «Отечественные записки»: «Нам грустно, что никто из старших не порадовал нас ни строчкою, а ворогов наших кормит не скупой! Что тут будешь делать? По сему предмету толковали с Вяземским».⁵

¹ Н. П. Барсуков. Жизнь и труды М. П. Погодина, кн. 5. СПб., 1892, стр. 452.

² Письмо от 20 июля 1838 года. Рукописный отдел ИРЛИ АН СССР.

³ «Русская старина», 1904, т. 118, № 6, стр. 576.

⁴ См. письмо Н. Ф. Павлова к В. Ф. Одоевскому в «Русской старине», 1904, т. 118, № 4, стр. 195—198.

⁵ Письмо 1839 года. — «Русский архив», 1906, кн. 1, стр. 368.

П. А. Плетнев выражал даже неудовольствие по поводу помещения имен Жуковского и Вяземского в списке сотрудников «Отечественных записок». Вскоре Плетнев, когда-то одобрявший и поддерживавший Краевского, превратился в заклятого его врага, всеми средствами боровшегося с «Отечественными записками». В первую очередь Плетневым руководило при этом чувство ненависти к Белинскому, благодаря участию которого журнал Краевского превратился в авторитетный орган передовой общественной мысли; но вместе с тем в систематических нападках его на «Отечественные записки» было много и мелкой беспринципной злобы. Беспрецедентная удача Краевского не давала покою редактору архаического «Современника», влачившего крайне жалкое существование. Вот в каком тоне и в каких выражениях писал он о Краевском в 1845 году: «Это существо, лишенное всякого таланта, между тем честолюбивое до смешного и потому завистливое, пронырливое и озлобленное на каждый успех ближнего. Сперва он хотел втереться в круг Жуковского и Пушкина, куда усиливался втянуть его близорукий, бесхарактерный, хотя и благонамеренный Одоевский.

Почувствовав, что в кругу людей с истинными талантами нельзя играть никакой роли, кроме роли молчаливого приемыша, Краевский явился озлобленным против всего, что только являло признак таланта. Разными происками и подлостями удалось ему утвердить за собой редакцию «Отечественных записок», которые, впрочем, выхлопотаны были собственно для Одоевского».¹

Объявление об издании обновленных «Отечественных записок» буквально ошеломило современников: с такой фундаментальной и емкой программой, с таким обширным составом сотрудников не выступал еще ни один журналист. «Краевский не спал ночи и проводил их за корректурой в типографии перед выходом

¹ Письмо к Н. М. Коншину. — «Русская старина», 1909, т. 137, № 1, стр. 185.

первой книжки. Об ней уже ходили заранее различные доброжелательные и враждебные — слухи. . . 1 января 1839 года книжка явилась. Это была, впрочем, не книжка, а книжища, вдвое, если не более, толще «Библиотеки для чтения». Все любители литературы с любопытством бросились смотреть на нее, и вот: «Громада двинулась и рассекает волны. . .»¹

Эффект, произведенный выходом первой книжки «Отечественных записок», был исключительным. «Библиотека для чтения» должна была признать себя побежденной и отступить перед новым завоевателем журнального рынка. Краевский не только усвоил все хозяйственно-организационные приемы Сенковского, но и поднял их на новую, более высокую ступень, придал им еще более широкий размах. Объем первой книжки его журнала (42 печатных листа большого формата), пунктуальная точность выхода в свет, широкая реклама, предшествовавшая появлению журнала, мощность редакционно-издательского аппарата (вплоть до учреждения собой экспедиционной конторы «Отечественных записок») и, наконец, огромный штат сотрудников (127 человек), в число которых вошли крупнейшие литераторы и ученые эпохи,² — все это было новым для русского читателя и, естественно, произвело на

¹ И. И. Панаев. Литературные воспоминания. Л., 1928, стр. 207.

² В список сотрудников вошли: С. Т. Аксаков, В. П. Андроссов, Е. А. Баратынский, В. Г. Бенедиктов, Д. М. Велланский, Ю. И. Венелин, В. А. Владиславлев, А. Х. Востоков, П. А. Вяземский, А. Д. Галахов, Ф. Н. Глинка, Н. В. Гоголь, Е. П. Гребенка, Э. И. Губер, В. И. Даль, И. И. Давыдов, Д. В. Давыдов, М. А. Дмитриев, В. А. Жуковский, И. И. Козлов, Ф. А. Кони, В. П. Титов, И. А. Крылов, И. И. Лажечников, М. Ю. Лермонтов, М. А. Максимович, В. С. Межевич, Е. П. Мещерский, А. И. Михайловский-Данилевский, Н. И. Надеждин, Я. М. Неверов, А. В. Никитенко, А. С. Норов, В. Ф. Одоевский, Г. Ф. Квитко-Основьяненко, Д. П. Ознобишин, М. Г. Павлов, Н. Ф. Павлов, В. И. Панаев, И. И. Панаев, М. П. Погодин, С. Е. Раич, Е. Ф. Розен, И. И. Сахаров, П. П. Свинын, И. М. Снегирев, В. И. Соколовский, В. Г. Тепляков, Ф. П. Толстой, Ф. А. Туманский, В. И. Туманский, В. С. Филимонов, А. С. Хомяков, А. А. Шаховской, С. П. Шевырев, И. М. Ястребцов и др.

него сильное впечатление. При этом следует отметить, что подписная цена за годовое издание «Отечественных записок» (двенадцать сорокалистных томов) была определена в пятьдесят рублей ассигнациями «с доставкой во все города Российской империи». Цену эту нужно признать весьма умеренной, если учесть, что годовое издание тощей еженедельной газеты «Литературные прибавления» стоило в 1837 году тридцать рублей.

Грандиозная программа обновленных «Отечественных записок», один размер которой, по словам современника, «пугал воображение»,¹ в значительной части повторяет основные положения статьи Краевского «Мысли о России». В программе столь же пространно и в том же благонамеренном «уваровском» духе говорится о «неимоверных успехах, сделанных в последнее время нашим отечеством на поприще просвещения, в искусствах и промышленности». Главная задача журнала — «неусыпно следить за этим развитием могущих сил России во всех сферах ее деятельности» и «споспешествовать, сколько дозволят силы, русскому просвещению по всем его отраслям, передавая отечественной публике все, что только может встречаться в литературе и в жизни замечательного, полезного и приятного, все, что может обогатить ум знанием или настроить сердце к восприятию впечатлений изящного, образовать вкус». Подобно «Мыслям о России», программа «Отечественных записок» проникнута идеей противопоставления «увядающих сил» Европы — «юным, свежим, новым, еще неизвестным силам обожаемого отечества». «Осененная благодатью всевышнего, ведомая державною десницею своего великого монарха по пути чести и преуспяния, Россия быстрым своим развитием начинает обращать на себя внимание всей Европы, которая со страхом и недоумением старца взирает на непостижимо быстрое возрастание этого юного исполина и уже начинает подозревать, что в грядущей судьбе

¹ Программу эту см. в «Литературных прибавлениях», 1838, № 43.

русского народа покоится, может быть, судьба не только Европы, но и целого мира». ¹

Особо была подчеркнута в программе «Отечественных записок» установка на энциклопедичность содержания журнала, который должен «вмещать в себя все заслуживающее особенного внимания русского читателя в области наук, словесности, искусств и промышленности». В первую очередь и по преимуществу журнал должен освещать вопросы «отечественные», делиться с читателем «известиями о текущих современных успехах России во всех направлениях и в особенности — об успехах ее в просвещении, жизни общественной, о ходе нашей ученой и изящной литературы, о современном состоянии русского искусства и как опытной, так и рациональной промышленности». Художественной литературе в программе «Отечественных записок» отводилось явно подчиненное место: философия, точные науки, литературная критика, экономика, ремесла и промышленность — таков круг вопросов, которым редакция обещала уделить преимущественное внимание.

Далее, «Отечественные записки» рекомендуются в программе как журнал свободный от духа какой бы то ни было сектантской ограниченности и литературной фракционности, издаваемый лишь с «бескорыстными побуждениями любви к отечеству и с желанием ему

¹ Именно этот центральный идеологический тезис программы Краевского должен был встретить особенное сочувствие у московских литераторов, решавших проблему историко-философского обоснования славянофильской концепции русского исторического процесса. Впрочем, даже в их среде программа «Отечественных записок» была расценена как «немножко слишком благонамеренная», о чем извещал Краевского Н. Ф. Павлов (неизданное письмо в архиве Краевского, Письма, т. «П», лл. 236—237). Вряд ли нужно оговаривать, что этой благонамеренной программой ни в малейшей мере не определялся идеологический облик «Отечественных записок», сложившийся в 1840 году (с приходом в журнал Белинского), независимо от воли и желания Краевского. Комплекты «Отечественных записок» за 1840—1843 годы впоследствии «по высочайшему повелению» скупались у книгопродавцев «под рукою чрез доверенное лицо» и изымались «из всех частных библиотек» (см., например: «Труды Владимирской ученой архивной комиссии», кн. 2, 1900. Материалы, стр. 19).

пользы в деле благого просвещения». Редакция декларировала собственный оценочный взгляд на все проблемы и факты, подлежащие освещению на страницах журнала. «Редакция смело может поручиться в том, — говорилось в программе, — что эти суждения, каковы бы они ни были, будут всегда чистосердечны, всегда будут проистекать от полного внутреннего убеждения и оставаться чуждыми каких-либо мелких, посторонних отношений». Poleмика решительно отвергалась редакцией, поскольку высокая цель и строго принципиальные установки журнала «не допускают пустой, ни к чему не ведущей полемики, как равно и не налагают обязанности на редакцию отвечать на все толки, суждения и критики, к ней обращенные, как бы они иногда ни были неприятны ее самолюбию».

Не отвечать на критику — было особым приемом в русской журналистике, еще более обидным, нежели самая злая «антикритика». И потому, когда Краевский упорно отмалчивался на бесконечные выходки по адресу «Отечественных записок» (особенно усердно преследовал их Н. И. Греч в «Сыне отечества»), — самое молчание его расценивалось журнальными антагонистами как оскорбительный полемический прием. Только однажды редакция «Отечественных записок» вынуждена была изменить этому правилу, опубликовав специальное «Объяснение», адресованное главным образом провинциальным читателям журнала, «которым неизвестны все закулисные тайны чернильного мира». В целях опровержения «черной клеветы», возводимой на новый журнал, редакция «нашлась вынужденною объяснить один раз навсегда своим читателям следующее: «Отечественные записки» предприняты *не для перебранки* с той промышленностью, которая под личиною литературных прав старается для своих корыстных видов уронить всякого писателя, уважающего свое звание и непричастного книготорговым сплетням и спекуляциям на легковерии читателей». ¹

¹ Ср. письмо Краевского к С. Д. Нечаеву от 22 апреля 1840 года. — «Русский архив», 1893, кн. 2, стр. 159—160.

Том «Отечественных записок» составляли, как правило, следующие восемь отделов: I. Современная хроника России, II. Науки, III. Словесность, IV. Художества, V. Домоводство, сельское хозяйство и промышленность вообще, VI. Критика, VII. Современная библиографическая хроника и VIII. Смесь. К примеру, в первом томе журнала были помещены, наряду со статьей Э. И. Губера «Взгляд на развитие философии до схоластиков», «Материалами для истории России» И. П. Сахарова, стихами Дельвига, Пушкина, Е. Ростопчиной, Бенедиктова, Кольцова, Лермонтова и В. Туманского, прозой В. Ф. Одоевского, Марлинского (А. А. Бестужева) и В. А. Соллогуба, — обзоры современной художественной жизни в России и на Западе, статья А. П. Башуцкого о паровых машинах, железных дорогах и оборотных банках, «Замечания об успехах в искусстве узорчатого тканья» С. М. Усова и, наконец, обстоятельная статья Д. Анкудинова о разведении трюфелей.

К числу новых в журнальном деле хозяйственно-организационных мероприятий Краевского нужно отнести и широкую рекламу. Уже монументальная программа «Отечественных записок» преследовала откровенно рекламные цели, обещая читателю удовлетворить все его интересы, осветить все вопросы текущей культурной жизни. Сверх того, Краевский впервые в истории русской журналистики печатно объявил о том, что целый ряд наиболее видных писателей и ученых будет «посвящать труды свои» *исключительно* «Отечественным запискам», отказываясь от сотрудничества в других журналах. Впоследствии этот рекламный прием стал обычным явлением в русской журналистике.

Формы хозяйственной организации «Отечественных записок» ознаменовали в русской литературе наступление эры «журнального капитализма». Журналистика фактически приобретала характер и значение новой «отрасли промышленности», с привлечением акционерного капитала и системой товарно-денежных отношений между издателем-редактором, литературным предпринимателем, с одной стороны, и сотрудниками — с другой. «Отечественные записки» открыли но-

вую эру в истории русской журналистики, определив собою самый *тип* «толстого» энциклопедического журнала, не претерпевший сколько-нибудь существенных изменений на протяжении всего XIX века.

Современники называли «Отечественные записки» Краевского «литературной фабрикой», без остатка поглощавшей творческую продукцию писателей, критиков и ученых. И действительно, с возникновением «Отечественных записок» журнал превратился в главную артерию литературного движения: лучшие романы, повести и рассказы, лучшие стихотворные и драматические произведения, все боевые статьи на актуальные общественные и литературные темы доходили до читателя, как правило, через журнал, и выпуск сочинения отдельным изданием утратил свою прежнюю остроту. В этом, в основном, и заключается крупное историко-литературное значение переворота, произведенного Краевским в журнальном деле.

Что же касается самого Краевского, то его кипучая энергия прожектора не нашла удовлетворения и в беспремерном успехе «Отечественных записок». Множество самых разнообразных проектов по-прежнему возникало и рушилось в его воображении. В 1840 году он писал: «Много, много преднамерений толпится в голове моей, и каждое из них, смело могу сказать, будучи приведено в исполнение, принесло бы пользу нашей родимой литературе». ¹

Краевский не оставил после себя ни ученых, ни литературных трудов. Однако имя его, неотделимое от «Отечественных записок», прочно вошло в историю русской литературы. «Если он и не писал почти ничего в продолжение всей своей литературной деятельности, то умел зато издавать журнал», — сказал в свое время о Краевском Ф. М. Достоевский. Он же вывел Краевского (под именем журналиста Александра Петровича) в эпилоге романа «Униженные и оскорбленные» и здесь очень верно охарактеризовал своеобразную, но безусловно значительную роль, которую сыграл

¹ Письмо к Г. Ф. Квитко-Основьяненко. — «Русская старина», 1900, т. 102, № 5, стр. 298.

Краевский в истории русской литературы: «Он всю жизнь был *только* антрепренером. Он смекнул, что литературе надо антрепренера, и смекнул очень вовремя; честь ему и слава за это, — антрепренерская, разумеется».

Современники в полной мере учитывали удачу журналиста. Уже в 1839 году она служила темой популярных водевильных куплетов:

Наш век торгаш, торгаш нахальный,
С талантом с голоду умрешь,
Когда протекции журнальной
Своим твореньям не найдешь.
Кто журналист, так тот комета,
Хоть и блестит чужим умом.
Но все для бедного поэта
Прекрасно быть ее хвостом!



IV

ИСТОРИЯ ОДНОЙ «ДРУЖБЫ-ВРАЖДЫ»



Блок — ответственный час моей жизни, вариация темы судьбы: он — и радость нечаянная, и — горе. . .

Андрей Белый

А. Белый. Не нравится мне наше отношение и переписка. . . ничего о жизни, все почерпнуто *не* из жизни, из чего угодно, кроме нее. . .

Александр Блок

Взаимоотношения Александра Блока и Андрея Белого — важная и интересная страница истории русского символизма. И не потому только, что Блок и Белый были крупнейшими представителями этого литературного течения, но и потому, что оба они, при всем несходстве их личных человеческих и писательских судеб, наряду с Валерием Брюсовым, не разделили исторической судьбы символизма. В начале XX столетия символизм в России, как и на Западе, ознаменовал идейный и художественный декаданс дворянско-буржуазной культуры. Однако, осмысляя русский символизм в целом как течение, открыто враждебное великим гуманистическим, демократическим и революционным традициям нашей передовой общественной мысли и литературы, мы имеем достаточные основания выделить из общего потока декадентско-символистского искусства не только Александра Блока, давно

уже ставшего признанным классиком русской поэзии, но также Валерия Брюсова и Андрея Белого. Эти большие художники, долго заблуждавшиеся на путях ложных идейно-художественных исканий, в конце концов тоже осознали, каждый по-своему, кризис буржуазной культуры и в решающий час истории честно связали свою жизнь и судьбу с Октябрьской революцией, с победившим народом, с новой, социалистической культурой.

Александр Блок и Андрей Белый были связаны друг с другом сложными отношениями в течение почти двадцати лет — с 1903 по 1921 год. Связь их, закрепленная литературно (взаимными стихотворными обращениями, частыми выступлениями друг о друге в печати и т. д.), сама по себе стала фактом литературы. Имена Блока и Белого сосуществовали в представлении их современников как некое двуединство. Они постоянно сближались и объединялись в критике, в сатире, в пародии, в карикатуре. Так, например, в площадной сатире черносотенца Буренина («Калоши на головах») Андрея Беллогоряччио и Блокио — «придворные поэты в доме сумасшедших» — «выступают совершенно как два Аякса». Еще при жизни обоих поэтов появилась книга критических статей, озаглавленная: «Александр Блок и Андрей Белый». Один из близких к символизму критиков писал в свое время: «Не случайно в нашем сознании имена Блока и Белого связаны неразоторжимо: как ни различны они и в своем творчестве, и во внешнем облике, и в жизненном поведении, — стихия, вскормившая их поэзию, едина, и одинаково звучат в них многие струны души. Поэтому полны глубокого интереса их взаимоотношения, а взаимные отзывы их и оценки отличаются особым проникновением, и не надо быть пророком, чтобы предсказать в будущем появление исследований, посвященных их сравнительной характеристике».¹

Согласно прочной, издавна укоренившейся традиции, взаимоотношения Блока и Белого долго тракто-

¹ Е. Зноско-Боровский. А. Белый и А. Блок. — «Последние новости» (Париж), 1922, № 672, 27 июня.

вались как пример идеальной личной и литературной дружбы. Между тем это совершенно неверно. В истории литературы, и не только русской, не много можно найти примеров столь неровных и напряженных отношений, какие сложились между Блоком и Белым. Их пылкая, экзальтированная, а по точному определению самого Белого — «истерическая» дружба в стиле иенских романтиков или русских гегельянцев из станкевичевско-бакунинского кружка, — уже к 1906 году терпит полное крушение и сменяется острейшим личным конфликтом, ожесточенной литературной полемикой, разрывом отношений, дуэльными вызовами.

Сам Белый, подробно изложивший в мемуарах запутанную историю своей «дружбы-вражды» с Блоком, возражал против идиллической интерпретации этих тяжелых и неровных отношений. «Сентиментально нас парить, — писал он, — в «распре» страстей, дважды схватываясь за оружие, парились мы; лишь к 1910 году мы остыли до дружбы холодно-духовной; в интимную жизнь наших личностей мы не глядели, минуя ее; и на этом основана «дружба», которая есть констатация: в том-то, и том-то, и том-то согласны; а в том-то — расходимся; если бы вглядывались в интимные жизни друг друга, в живое течение идей, моральной фантазии, то, вероятно, «распарились» бы опять до больших неприятностей. . .» И в другом месте: «Мало с кем была такая путаница, как с Блоком; мало кто в конечном счете так мне непонятен в иных мотивах. . . Мало кто мне так бывал близок, как Блок, и мало кто был так ненавистен, как он: в другие периоды; лишь с 1910 года выравнивалась зигзагистая линия наших отношений в ровную, спокойную, но несколько далековатую дружбу, ничем не омраченную. . . Много было, одного не было — идиллии; не было «Блок и Белый», как видят нас сквозь призму лет». ¹

Блок, в свою очередь, тоже не питал никаких иллюзий относительно своей «дружбы-вражды» с Белым. В 1908 году он записал для себя, что «внутренне» с Белым «разделался навек», и это интимное признание

¹ Андрей Белый. Начало века. М., 1933, стр. 473 и 8.

определило в дальнейшем отношение его к Белому, — несмотря на то что Белый всегда оставался памятен и небезразличен Блоку как человек и как замечательно одаренный писатель. Но внутренней, органической связи с Белым у зрелого Блока уже не было.

Выступая против идиллической интерпретации своих отношений с Блоком, Андрей Белый творил другую легенду. Историю этих отношений он изложил дважды: в 1921—1922 годах в «Воспоминаниях о Блоке», написанных и опубликованных тотчас же после смерти Блока,¹ когда он, говоря его же словами, был «охвачен романтикой поминовения»,² и вторично — десять лет спустя — во втором и третьем томах своих мемуаров («Начало века» и «Между двух революций»). При этом образ Блока, воссозданный Белым в 1932—1933 годах, столь резко отличался от того серафического образа, который был дан в первоначальных воспоминаниях, что Белому пришлось особо оговориться, что ранние воспоминания «были продиктованы горем утраты близкого человека» и что «в них образ «серого» Блока произвольно вычищен». «Вторично возвращаясь к воспоминаниям о Блоке, — говорил Белый, — стараюсь я исправить промах романтики первого опыта: «вспоминать» в сторону реализма; может быть, — и тут я не попал в цель».³

Да, приходится признать, что Белый действительно и на этот раз «не попал в цель». Стараюсь вспоминать «в сторону реализма», он впал в крайний субъективизм, и не только «переосмыслил» образ Блока, последовательно дискредитируя его во всех отношениях (вплоть до наружности), но совершил более серьезную ошибку — исказил действительную картину своих отношений с Блоком и извратил самую суть своего с ним расхождения.

Блестящие мемуары Андрея Белого, с редкой широтой и в ряде случаев с настоящей разоблачительной

¹ «Записки мечтателей», 1922, № 6; полнее — «Эпопея», 1922—1923, №№ 1—4.

² Андрей Белый. Начало века, стр. 335.

³ Андрей Белый. Между двух революций. Л., 1937, стр. 5—6.

силой раскрывающие мир русского символизма, меньше всего напоминают бесстрастную летопись минувших времен. Это одновременно и памфлет и реабилитация. Белый писал свои мемуарные книги, ощущая себя деятелем новой, социалистической культуры и соответственно пересматривая и переоценивая как символизм в целом, так и свою прошлую деятельность в качестве одного из лидеров символистской литературы.

В искренности, с какой Андрей Белый в конце жизни пытался принять участие в строительстве социалистической культуры, нельзя сомневаться. Но при всем том безнадежной и по сути дела одиозной была предпринятая Белым попытка оправдать символизм, истолковывая его как антибуржуазное, бунтарское, чуть ли не революционное движение молодого интеллигентского поколения 1890—1900-х годов, своего рода «разночинцев» XX века, сыгравших якобы немалую роль в деле разрушения буржуазной культуры. Не вникая в классовую природу символизма, не раскрывая реального содержания его социальной, философской и художественной программы, Белый трактовал «бунт», поднятый символистами против окончательно выродившихся к тому времени «идеалов» буржуазного гуманизма и либерализма, как выражение революционных тенденций, и даже мистическую метафизику Вл. Соловьева рассматривал как всего лишь «условную и временную гипотезу», служившую целям преодоления унылого позитивизма. Концепция символизма, выдвинутая Андреем Белым, разумеется, несостоятельна от начала до конца. В духе этой ложной концепции Белый особенно настойчиво и последовательно «переосмыслял» собственную роль в символистском движении, на все лады доказывая, что именно он, Андрей Белый, не в пример некоторым другим символистам, и был главным выразителем антибуржуазного, революционного начала в символизме.

Поскольку события и люди девятисотых годов изображены Андреем Белым в аспекте его зрения 1933 года, историческая перспектива в его мемуарах оказалась сильно смещенной. В частности, искажены Белым и его отношения с Блоком. Речь идет не о фактической

стороне этих отношений (здесь Белый почти всегда точен), но об их истолковании. Свою полемику и разрыв с Блоком Белый изображает как борьбу «бунтаря» с «темным мистиком»: «Факт: по мнению многих, — Сергей Соловьев и Белый тащили невинного Блока в невятицу; корень же «при» между нами: Блок нас усадил в неразбериху свою. . .»¹ Или — в другом месте, еще более резко: «Блок-то и был единственный «мистик», сперва фетишистски относившийся к метафорам жаргона, потом перенесший собственные смешения с больной головы на здоровую; хорошо, что он потом отрезвел: не мы ли трезвили его двухлетней полемикой?»²

Удивительны несправедливость и пристрастность этих слов. На деле все происходило как раз наоборот: Андрей Белый и Сергей Соловьев преследовали Блока за его измену духу и заветам соловьевства, за то попиранье мистических «заветных святынь», которое со всей очевидностью сказалось в его творчестве в 1905—1906 годах. У Сергея Соловьева есть такие стихи, обращенные к Белому:

Кто не плевал на наш святой алтарь?
Пора признать, мы виноваты оба:
Я выдал сам, неопытный ключарь,
Ключи *его* пророческого гроба.

И вот заветная святыня та
Поругана, кощунственно открыта
Для первого нахального шута,
Для торгаша, алкающего сбыта.

Каких орудий против нас с тобой
Не воздвигала темная эпоха?
Глумленье над любимую мечтой
И в алтаре — ломанье скомороха!³

¹ Андрей Белый. Между двух революций, стр. 26.

² Андрей Белый. На рубеже двух столетий. М., 1930, стр. 381.

³ Сергей Соловьев. Апрель. Вторая книга стихов. М., 1910, стр. 165. «Его пророческий гроб» — идейное наследие Владимира Соловьева. Можно предположить, что примененная Сергеем Соловьевым формула «заветная святыня» припомнилась Блоку, когда он писал в стихотворении «К Музе» (1912): «И была роковая отрада в попираньи заветных святынь. . .»

Не приходится сомневаться, что, говоря о «скомо-рохе», Сергей Соловьев метил в Блока. Стихи эти дают представление о том пафосе, с каким «соловьевцы» напали на автора «Балаганчика», — равно как и о самом характере их нападений. Достаточно обратиться к полемике «соловьевцев» с Блоком, к их переписке, чтобы убедиться в полной несостоятельности легенды о «темном мистике» — Блоке и «бунтаре» — Белом, которую последний пытался закрепить в своих мемуарах. Именно — закрепить, ибо подошел он к созданию такой легенды (с иным, правда, знаком: не отрицательным, а положительным!) значительно раньше.

Андрей Белый в разное время очень много написал о Блоке. Если собрать все, что им на эту тему написано начиная со статьи 1905 года «Апокалипсис в русской поэзии», получится большой том, включающий высказывания и оценки самого разного характера и свойства — от восторженных похвал до грубейших выпадов. Но все, что Белый в разные годы писал о Блоке, проникнуто одной явственно различимой тенденцией — тенденцией *борьбы за Блока*. И в ту пору, когда Белый ожесточенно полемизировал с Блоком, впадая в крайне неумеренный тон, он, по сути дела, боролся за возвращение его в лоно соловьевства. Впоследствии, когда они внешне изжили свою ссору и «остыли до дружбы холодно-духовной», Белый истолковывал творчество Блока как единый, цельный и закономерный мистический путь. Такое понимание наиболее полно выражено Белым в статье 1916 года «Поэзия Блока». ¹ Если Блок 1900—1904 годов, то есть Блок «первого тома», был «идеальным выразителем символизма той эпохи», впервые в русской поэзии приподнявшим покров с «Лица Софии небесной, премудрости древних гностиков»; если в 1905—1907 годах он «показался (только *показался!* — В. О.) предателем собственных светлых заветов», то следующее десятилетие выявило «подлинный центр качания маятника поэзии Блока» — Россию, в теме которой слилась и «Дева небес» и

¹ «Ветвь». Сборник Московского клуба писателей. М., 1917 (вошло в книгу А. Белого «Поэзия слова», П., 1922).

«Маска», и «Прекрасная Дама» и «Незнакомка». Следует добавить только, что в 1916 году, когда была написана указанная статья, Белый вкладывал в понятие России религиозно-мистическое, антропософское содержание.

После смерти Блока Белый объявил его не больше не меньше как «бессознательным носителем антропософской проблемы»,¹ что, конечно, являлось также формой борьбы за Блока — автора уже не только «Балаганчика», но и «Двенадцати». В условиях того времени (1921—1922 года) борьба эта приобретала вполне определенный идейно-политический смысл. «Антропософизация» Блока проводилась Белым последовательно: устно и в печати доказывал он, что тема ранней блоковской лирики и ранних блоковских писем (к Белому) — суть «антропософская тема», ибо «грундинии мировоззрения Соловьева естественно совпадают с антропософией, как она декларировалась Штейнером в 1912 году».² Не существенно, утверждал Белый, что «антропософия Штейнера в 1912—1920 гг. была Блоку чужда» и что он «не вникал в штейнерианство, чуждался его».³ Более того: не существенно, что сам он «своим скептическим интеллектом» был непричастен к «мистическим дуновеньям, сквозь него проходящим», — все равно он был полон «глубокой тайны», был бессознательным антропософом.

Отсюда — настойчивое стремление Белого представить Блока «крайним мистиком», «символистом до мозга костей», «понявшим призывы зари Владимира Соловьева как наступление мировой эпохи, переворачивающей все», думавшим о том, «что есть теократия Соловьева, что есть Третий завет, что есть новая религиозная эпоха».⁴ Оказывается, по Белому, что не кто иной, как Блок «довел соловьевство до идеологии

¹ В январе 1922 года Белый даже выступил в Берлине с докладом на тему: «Блок как антропософ».

² «Эпопея», 1922, № 1, стр. 162.

³ Там же.

⁴ См. речь А. Белого, произнесенную 28 августа 1921 года. — Сборник «Памяти Александра Блока», П., 1922, стр. 12.

максимализма, почти до секты». ¹ Соответственно разъяснялся Белым и весь дальнейший путь Блока, который «незаслуженно осудил в себе» свои пророческие чаяния и, вместо того чтобы обратиться к истинному «духовному знанию» (то есть к той же антропософии), ушел в скепсис, в духовный нигилизм, в осмеяние всего, что ему было прежде дорого, и заплатил за это черным отчаяньем, «потерей веры в жизнь», медленным угасанием. «Позднее я рассказывал Блоку, — говорит Белый, — антропософия мне открыла то именно, что для нас... стояло закрытым; но было уже поздно: стоял опаленным А. А., потому что он ранее прочих стоял перед Вратами... Вы скажете: антропософия! Да, — слишком поздно!.. Я Блока простить не могу!» ²

Такова была фантастическая концепция творческого пути Блока, выдвинутая Андреем Белым еще в 1921—1922 годах и закрепленная в его позднейших мемуарах. Через десять лет изменились только оценочные выводы: Белый преобразился в «бунтаря», чуть ли не в революционера, а Блок — остался «крайним мистиком» и превратился в виновника мистической «неразберихи», запутавшей их жизни и судьбы.

Факты приводят к противоположным выводам. Обратившись к фактам, мы увидим, как постепенно, шаг за шагом, освобождаясь от груза тяготевших на нем ложных представлений о жизни и об искусстве, порою снова заблуждаясь и возвращаясь на уже пройденные пути, но в конечном счете твердо и неуклонно шел Блок к вершинам своего творчества, проявляя все более настойчивое стремление к ясности, четкости, определенности, и как в то же время Белый все более и более запутывался в темных абстракциях и мистических отвлеченностях, создавая вокруг себя невыносимо сгущенную атмосферу нервозности, истерии, кликушества, и тем самым безжалостно губил в себе высокоодаренного художника.

Итак, обратимся к фактам.

¹ «Записки мечтателей», 1922, № 6, стр. 15; «Эпопея», 1922, № 1, стр. 156.

² «Эпопея», 1922, № 3, стр. 156.

«ИСТЕРИЧЕСКАЯ ДРУЖБА»

(1903—1906)

1

Александр Блок и Андрей Белый были ровесниками — оба родились в 1880 году (Белый — 14 октября, Блок — 16 ноября). Узловые события их юности хронологически примерно совпадают. Почти одновременно кончают они гимназический курс и поступают в университет (Блок в 1898 году, Белый в 1899-м), почти одновременно начинают писать «всерьез» (около 1897—1898 годов), почти одновременно выступают в печати (Белый в 1902 году, Блок — в 1903-м). Обоим довелось начинать сознательную жизнь в крайне осложненной исторической обстановке, определившей-ся в России на рубеже XIX и XX столетий.

И Блок и Белый оба остро ощущали этот исторический рубеж в своих личных судьбах: «Мы — дети того и другого века; мы — поколение рубежа. . . — писал Белый. — В 1900—1901 годах мы подошли к *рубежу* с твердым знанием, что рубеж — Рубикон, ибо сами были — рубеж, выросший из недр конца века». ¹ Блок, «в качестве свидетеля, не вовсе лишённого слуха и зрения и не совсем косного», утверждал, что XX век «сразу обнаружил свое лицо, новое и не похожее на лицо предыдущего века», что «самое начало столетия было исполнено существенно новых знамений и предчувствий», которые определили и его, Блока, жизненную судьбу. ²

Россия вступала в эпоху империализма и подготовки социалистической революции. В середине девяностых годов явно определился новый революционный подъем рабочего класса, вступившего на путь организованной борьбы, на которую самодержавие ответило усилением политической реакции. Отошла мертвая по-

¹ Андрей Белый. На рубеже двух столетий, стр. 3 и 16.

² Александр Блок. Собрание сочинений в восьми томах. М.—Л., 1960—1963. Том 6, стр. 155. — В дальнейшем ссылки на это издание даны в тексте; римская цифра обозначает том, арабская — страницу.

лоса «безвременья» восьмидесятых годов — эпохи общественного застоя, ознаменованной идейным банкротством легального народничества. Росло и крепло социал-демократическое движение. В борьбе Ленина с либеральным народничеством оформлялась теория революционного марксизма.

Обострение классово́й борьбы обусловило процесс расслоения буржуазно-дворянской интеллигенции. Большая часть ее, изживая остатки своего лучшего прошлого, порывала с демократическими традициями и все более открыто поворачивала на путь реакции, шла на союз с капитализмом. Другая, меньшая часть, смутно ощущая надвигающийся кризис буржуазной культуры, искала иные пути. Однако и из этой меньшей части интеллигенции лишь немногие одиночки связывали свою судьбу с революционным пролетариатом. Остальные же, не приемля ограниченного и пошлого мира капитализма, пытались обрести спасительный путь вне еще более чуждой и враждебной им революционно-материалистической идеологии, вне подлинно демократической общественной практики.

«Дети рубежа» с презрением отвергали идейное наследие fin de siècle — позитивизм в философии, эмпиризм в науке, беззубый либерализм в политике, плоский натурализм в искусстве, — все, чем жили их «отцы». Нельзя не признать, что в отказе от этого обесцененного наследия «дети рубежа» обнаруживали настоящий пафос отрицания, подлинное стремление к решительной переоценке ценностей, субъективно честное желание создать новые и лучшие формы жизни, познания и культуры. Но высвобождение «детей рубежа» из-под груза наследства, оставленного «отцами», шло, как правило, под знаком отказа от *реальной* борьбы за счастье и свободу человечества, за революционное пересоздание мира — и в этом была их историческая трагедия, предопределившая судьбы некоторых высокоодаренных людей, достойных лучшей участи, нежели та, которая их постигла.

Задачи реальной борьбы за переделку мира лжи и насилия они подменяли отвлеченно-умозрительными моральными концепциями и аксиоматическими

абстракциями неких абсолютных начал мировой жизни (Идея, Дух, Мировая Душа и т. п.), обосновывая их на почве идеалистической философии и модернизированной религии. Порвав с животворными традициями русской революционно-демократической общественной мысли и литературы, они обратились к иным идейным источникам — к христианско-социальной утопии Достоевского, к мистике и эсхатологии Вл. Соловьева, к Канту и Шопенгауэру, к ницшеанству и теософии. Отрешенность от реальной действительности, сознание собственного бессилия и — как следствие всего этого — глубокий общественный пессимизм и квиетизм определяли, в основном и главном, характер и направление идейных исканий «детей рубежа». Ленин в статье «Л. Н. Толстой и его эпоха» сформулировал общий закон возникновения подобных идеологических тенденций. «Пессимизм, непротивленство, апелляция к «Духу», — говорит Ленин, — есть идеология, неизбежно появляющаяся в такую эпоху, когда весь старый строй «перевернулся», и когда масса, воспитанная в этом старом строе, с молоком матери впитавшая в себя начала, привычки, традиции, верования этого строя, не видит и не может видеть, *каков* «укладывающийся» новый строй, *какие* общественные силы и как именно его «укладывают», какие общественные силы *способны* принести избавление от неисчислимых, особенно острых бедствий, свойственных эпохам «ломки».¹ (Ленин указывает, что такой эпохой ломки в России был период с 1862 по 1904 год.)

«Дети рубежа» ограду от грозивших им исторических «бурь и бед» искали в философском идеализме, в философии религиозного откровения, в мистике. Реальная действительность представлялась им миром преходящих явлений, которому они противопоставляли «потусторонний» идеальный мир Абсолюта, трансцендентный мир вечных идей, мир «подлинной» и «высшей» реальности, всего лишь искаженным отображением, бледным отблеском которого является видимая и постигаемая опытом действительность. Учение

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 20, стр. 102.

об интеллигибельном мире, уходящее корнями в платоновский дуализм, а в дальнейшем разработанное новоплатониками, легло в основу философских сочинений и поэзии Вл. Соловьева, который именно в это время, в самом конце XIX века, приобрел немалое влияние в кругу русской буржуазно-дворянской интеллигенции.

Милый друг, иль ты не видишь,
Что все видимое нами —
Только отблеск, только тени
От незримого очами?
Милый друг, иль ты не слышишь,
Что житейский шум трескучий —
Только отклик искаженный
Торжествующих созвучий? —

так формулировал Вл. Соловьев главную идею своей метафизики — идею соотнесенности земного существования человека с духовным проникновением в «иные миры». Идея эта сочеталась с характерными для религиозного сознания надеждами на предсказанные в Апокалипсисе «конец мира» и наступление эры «Третьего завета», когда будут благополучно разрешены все противоречия, искони заложенные в природе и в человеке. На этой основе Вл. Соловьев утвердил свою концепцию «богочеловечества» и «царства божия» — как конечного предела человеческой истории, торжества «вечной жизни» и осуществления нового «нравственного мирового порядка». Путь к «царству божию» лежал, по Соловьеву, через всемирную теократию — установление «свободного богочеловеческого союза», в котором, на почве единой христианской истины, примирятся Восток и Запад, православие и католицизм. В реакционной теократической утопии Вл. Соловьева России предназначалась мессианская роль «третьего Рима» — возродить и спасти впадшую в грех Европу и доставить вселенской церкви политическое могущество.

Религиозно-мистическая идея обновления мира и духовного преображения человечества была воплощена Вл. Соловьевым в чисто мифологических образах Софии-Премудрости, Мировой Души, Девы Радужных Ворот и Вечной Женственности, заимствованных из

мифологии гностиков и других представителей мистической философии древности. Мировая Душа — Вечная Женственность, по Соловьеву, — это персонифицированная идея любви, которая должна восторжествовать в мире, знаменуя «высшее идеальное единство», божественную гармонию истинно человеческой жизни.

На этой почве сложилась и эстетика Вл. Соловьева, целиком подчинявшая искусство — религии и мистике. В основе соловьевской эстетики лежит религиозно осмысленная триада: «истина, добро и красота». Задача искусства — в чувственных образах воплощать тот высший смысл жизни, то идеальное содержание, которые заключены в идеях истины и добра. Иными словами, красота, всегда согласующаяся с истиной и являющаяся необходимым условием для торжества добра, воплощает в мире явлений вечные идеи высшего, потустороннего мира. В программном предисловии к третьему изданию своих стихотворений Вл. Соловьев писал, что Вечная Женственность вмещает в себе «полноту добра и истины, а чрез них нетленное сияние красоты» и что именно красота ведет человечество «к избавлению от страдания и смерти», к мистической «вечной жизни». Вслед за Достоевским Вл. Соловьев предсказывал, что красота спасет мир: «. . . в конце Вечная красота будет плодотворна, и из нее выйдет спасение мира». Отсюда вырастает соловьевское определение искусства — как теургического служения, и художника — как творца «новой жизни», как теурга, в экстатическом созерцании проникающего в «незримый очами» мир вечных идей. Подлинное, «бог вдохновенное» искусство, по Соловьеву, не должно преследовать никаких узкопрактических целей: оно служит делу истины и добра только своей красотой и более ничем, поскольку все прекрасное уже само по себе содержательно и полезно.

В условиях идейного разброда буржуазно-дворянской интеллигенции и распада идеалистической мысли соловьевство с его апокалиптическими предчувствиями и мессианскими надеждами имело все данные для того, чтобы стать символом веры для отдельных представителей «поколения рубежа», ощутивших кризис старого мира и его культуры, но не способных найти

реальный выход из сложных противоречий окружающей их действительности. В самом начале XX века на почве увлечения мистикой и эсхатологией Вл. Соловьева образовался в Москве небольшой кружок молодых людей, начинавших в ту пору литературную деятельность в рядах декадентско-символистского движения. Среди них оказался (и вскоре занял положение лидера) Андрей Белый (Борис Николаевич Бугаев) — сын ученого-математика, выросший в среде профессоров и доцентов Московского университета. И независимо от А. Белого и его друзей в это же время в Петербурге к соловьевству обращается Александр Блок — тоже сын ученого-юриста и философа и внук ученого-естественника, родившийся в «ректорском доме» Петербургского университета.

Оба они — и Блок и Белый — вышли из самых недр интеллигентской элиты. Оба росли и воспитывались в кругу определенных и в высшей степени устойчивых культурных и идейных традиций, источником которых был прекраснородушный дворянский либерализм, без тени намека на какой-либо разночинский «нигилизм». Оба, казалось бы, должны были нести на себе особенно тяжкий груз «отцовского» идейного наследия. Для обоих, казалось бы, не могло открыться прямых путей в изощреннейшую мистику, в философский и художественный декаданс. Однако они выбрали эти пути, а не иные, и, быть может, главным образом именно потому, что на их долю выпало быть последними (и слишком поздними) представителями либеральной интеллигенции в ее верхушечной и кастово изолированной, «профессорской» формации. Именно потому, что они выросли в среде, вся идеологическая практика которой слагалась под лозунгами либерализма и позитивизма (отец Блока был в этом отношении «белой вороной» в своей среде, но он и не имел непосредственного влияния на поэта), — они раньше и острее других должны были ощутить кризис этой умеренно-аккуратной идеологии.

В своих мемуарных книгах «На рубеже двух столетий» и «Начало века» Андрей Белый подробно и увлекательно рассказал о том, как усомнился он в Огюсте

Конте, Герберте Спенсере и Джоне-Стюарте Милле, в Скабичевском и Карееве и как поднял «бунт», расшатывая идеологические и бытовые устои засушенного профессорского мирка (в этой части воспоминания А. Белого звучат вполне убедительно). Подобного рода бунтарские тенденции были присущи и Блоку, хотя выявлял он их не столь бурно, как Белый. Во всяком случае, и Блок, и А. Белый, и другие соловьевцы разделяли пусть смутное, но беспокойное ощущение глубокого кризиса старого мира, его идейных и нравственных устоев, всего его правопорядка, и пытались при помощи мистической веры как-то осмыслить и обосновать свой туманный идеал, свое представление о творчестве «новой жизни». Андрей Белый прямо утверждал, что учение Соловьева было для них «только звуком, призывающим к отчаливанию от берегов старого мира». Но поскольку критерий обновления жизни начисто выключался соловьевцами из сферы истории и общественной практики, это обстоятельство, разумеется, сводило на нет все их искания и надежды, лишало их реального значения.

Вместе с тем обращение Блока к мистическим откровениям Вл. Соловьева имело еще и дополнительные предпосылки, лежавшие в самой идейно-психологической атмосфере, окружавшей юного поэта. Профессорско-писательская семья Бекетовых, в которой рос и воспитывался Блок, была и просвещенной, и либеральной, но по существу крайне застойной. В автобиографической поэме «Возмездие» Блок очень верно охарактеризовал ее как «заколдованный круг», в котором

Свои словечки и привычки,
Над всем чужим всегда кавычки
И даже иногда — испуг. . .

В одном из писем 1902 года (к З. Н. Гиппиус) Блок заметил вскользь, что вся жизнь его — «медленная», что «ее мало, мало противовеса крайнему мистицизму» (VIII, 43). Вот эта скудость, обуженность, медленность жизни, ее инертность (при большом внутреннем душевном напряжении) безусловно сыграли не последнюю роль в формировании идейных воззрений моло-

дого Блока. В семье Бекетовых господствовали «любовь к литературе и незапятнанное понятие о ее высоком значении», «старинные понятия о литературных ценностях и идеалах» (VII, 12). В автобиографии Блок засвидетельствовал, что ни строки так называемой «новой поэзии» он не знал до первых курсов университета. Но при всем том бекетовскую семью, со всем ее кажущимся гармоническим благополучием и, казалось бы, нерушимыми культурными традициями, уже разлагал изнутри грибок своеобразного декаданса. Мать Блока, оказавшая на него очень сильное влияние, была человеком болезненной психики, с отчетливо выраженной склонностью к религиозно-мистической экзальтации. Ей, по словам Блока, были свойственны «постоянный мятеж и беспокойство о новом». У нее находили поддержку стремления Блока к «musique», тогда как вообще в семье преобладание имела «éloquence» (VII, 12). Мать, скажем кстати, и указала Блоку на стихи Вл. Соловьева.

Много лет спустя, вспоминая времена своей юности, Блок сделал важное замечание: летом 1900 года «мистика начинается. . . начинается покорность богу и Платон». Весной 1901 года «все это было подкреплено стихами Вл. Соловьева» (VII, 342 и 344). Тогда же Блок впервые познакомился с нарождавшейся в России декадентско-символистской поэзией.

Блок и Белый узнали друг о друге задолго до личной встречи — через дружественную обоим (а Блоку — и родственную) семью Соловьевых. Семья эта состояла из трех лиц: отца — Михаила Сергеевича (младшего брата философа и поэта), матери — Ольги Михайловны, художницы и переводчицы (она была двоюродной сестрой матери Блока) и сына — Сергея Михайловича, в ту пору еще гимназиста, в дальнейшем — поэта и филолога. М. С. Соловьев — человек широко образованный и во всех отношениях незаурядный, однако единственный из Соловьевых «не соблазнившийся литературной и общественной славою» (*А. Белый*), — был мистиком и теософом, последователем философских взглядов своего знаменитого брата и редактором посмертного издания его сочинений.

В московской интеллигентской элите девяностых годов он считался, по свидетельству А. Белого, «арбитром» и сочувственно относился к новомодным «декадентским» веяниям в искусстве, в частности одним из первых оценил по достоинству стихи В. Брюсова. О. М. Соловьева совмещала религиозно-мистические интересы с увлечением английскими прерафаэлитами и французскими символистами.

Юный Борис Бугаев (не Андрей Белый еще), друживший с еще более юным Сергеем Соловьевым, был в его семье своим человеком. Здесь познакомили его с творчеством Ницше и Уайльда, Бодлера и Верлена, Метерлинка и Бальмонта; здесь поощряли его первые литературные опыты и вообще занимались его философским и художественным воспитанием; здесь же придумали ему псевдоним «Андрей Белый».

Еще в 1897—1898 годах Сергей Соловьев рассказывал Борису Бугаеву про своего петербургского кузена Сашу Блока, который, подобно им, пишет стихи и, кроме того, увлекается театром. Сергей Соловьев с детских лет дружил с Блоком, часто встречался с ним и регулярно переписывался. Много лет спустя, в поэме «Первое свидание», Андрей Белый вспоминал, как в гостеприимном доме Соловьевых впервые узнал он о существовании человека, который вскоре навсегда вошел в его жизнь. Вот эти стихи, в которых сначала речь идет об Ольге Михайловне Соловьевой:

Молилась на Четьи-Минеи,
Переводила де Виньи;
Ее пленяли Пиренеи,
Кармен, Барбье д'Оревильи,
Цветы и тюлевые шали, —
Все переписывалась с «Алей»,
Которой сын писал стихи,
Которого по воле рока
Послал мне жизни бурелом;
Так имя Александра Блока
Произносилось за столом
«Сережей», сыном их. . .

«Позднее по-новому воспринимаю я сочетание слов: «Александр Блок», а именно: в августе 1901 года», —

пишет А. Белый в мемуарах.¹ К тому времени уже окончательно сложились мистико-эсхатологические настроения и чаяния Белого (только что закончившего «Драматическую симфонию») и других, сгруппировавшихся вокруг него, московских соловьевцев. И для Блока лето 1901 года (впоследствии он называл его «мистическим летом») прошло под знаком «острых мистических и романических переживаний», в связи с которыми «всем существом» его (как утверждает он в автобиографии) овладела поэзия Вл. Соловьева. Июнем 1901 года датировано первое всецело «соловьевское» стихотворение Блока «Предчувствую Тебя. Года проходят мимо...», заключающее в себе лейтмотив всего цикла «Стихов о Прекрасной Даме». Вслед за тем, в июле, Блок гостил в усадьбе Соловьевых (Дедово) и делился с ними своими мыслями о поэзии и философии Вл. Соловьева. Бурнопламенный Сергей Соловьев тогда же сообщил А. Белому, что Блок, как и они сами, «совершенно конкретно относится к теме Софии-Премудрости... проводит связь меж учением о Софии и откровением лика Ее: в лирике Соловьева». «Из письма — выходило, — вспоминает А. Белый: — А. А. независимо от всех нас сделал выводы наши же о кризисе современной культуры и о заре восходящей; те выводы он делал резко, решительно, впадая в «максимализм», ему свойственный; выходило, по Блоку, что новая эра — открыта; и мир старый — рушится... Письмо Соловьева о Блоке — событие; понял: мы встретили брата в пути».²

Блок посылал на суд Соловьевым свои стихи. У Соловьевых с ними познакомился и Белый. «Впечатление было ошеломляющее. Стало явно: то именно, что через 15 лишь лет дошло до сознания читательской публики, — именно, что А. А. — первый поэт нашего времени, традиционно связанный с линией Лермонтова, Фета, Вл. Соловьева... Этот огромный художник — наш, совсем наш, он есть выразитель интимнейшей нашей линии московских устремлений. С первых же строчек А. А.

¹ «Эпопея», 1922, № 1, стр. 131.

² Там же, стр. 149—150.

стал мне любимым поэтом... Он был не поэтом для нас, а теургом, соединявшим эстетику с жизненной мистикой, и поднимался вопрос о том, как нам жить, как нам быть, когда явно в мире звучат уже призывы, подобные блоковским... Мы с С. М. Соловьевым решили, что Блок безусловен, что он — единственный продолжатель конкретного соловьевского дела, пресуществивший философию в жизнь».¹

О впечатлении, которое стихи Блока произвели на А. Белого, писала матери Блока О. М. Соловьева (3 сентября 1901 года): «Сашины стихи произвели необыкновенное, трудноописуемое, удивительное, громадное впечатление на Борю Бугаева (Андрей Белый), мнением которого мы все очень дорожим и которого считаем самым понимающим из всех, кого мы знаем... Боря сейчас же написал по поводу Сашиных стихов стихи, которые посвятил Сергею. Вот они:

Пусть на рассвете туманно,
Знаю — желанное близко!
Видишь, как тает неожиданно
Образ вдали василиска!
Пусть все тревожно и странно!..
Пусть на рассвете туманно,
Знаю — желанное близко!..»

(и т. д.).²

Блока письмо О. М. Соловьевой крайне обрадовало и ободрило. Он прочитал его, садясь в поезд по пути из Шахматова в Петербург, и сразу же, в свою очередь, написал стихотворение «На железной дороге», которое в первоначальной редакции звучало так:

Мчит меня мертвая сила,
Мчит по стальному пути,
Серое небо уныло,
Грустное слышу «прости».

Но и в разлуке когда-то,
Помню, звучала мечта...
Вон огневого заката
Яркая гаснет черта.

¹ «Записки мечтателей», 1922, № 6, стр. 15.

² М. Бекетова. Александр Блок и его мать. Л.—М., 1925, стр. 77.

Нет безнадежного горя.
Сердце под гнетом труда.
А в бесконечном просторе —
И синева, и звезда.

Зимой 1901—1902 года в Москве появились первые горячие ценители и поклонники поэзии Блока. Стихи его, получавшиеся Соловьевыми (ни одно из них еще не было напечатано), старательно переписывались и ходили по рукам. А. Белый распространял их среди друзей, знакомых и университетских товарищей, так что молва о Блоке предшествовала его появлению в печати. «Всякое письмо А. А. Блока к С. М. Соловьеву прочитывалось, комментировалось и служило темой бесед, — пишет А. Белый, — отрывки писем показывались и мне; казалось, что с А. А. мы знакомы».¹

Тем временем А. Белый познакомился и вступил в переписку с Д. С. Мережковским и З. Н. Гиппиус. Блок познакомился с ними несколько позже — 26 марта 1902 года — и тогда же получил от них рукопись Белого (письмо к Мережковскому) по вопросам мистики и эсхатологии, которую самым тщательным образом законспектировал в своем дневнике (VII, 42—43). З. Н. Гиппиус, подобно О. М. Соловьевой, тоже стала своего рода посредницей между Блоком и Белым. В письмах к Белому она описывала свою первую встречу с Блоком, его облик,² а Блоку сообщала, что Белый в него «влюблен».³

В апреле 1902 года Блок из каких-то ему одному ведомых соображений сомневался еще, нужно ли ему вступить в переписку с Белым (VII, 44), а в декабре писал (М. С. Соловьеву): «Странно, что я никогда не встретился и не обмолвился ни одним словом с этим до такой степени близким и милым мне человеком» (VIII, 49). Переписка возникла вскоре — по инициативе Белого, который через О. М. Соловьеву сообщил Блоку, что хочет писать ему. Блок тотчас же (3 января 1903 года) послал Белому пространное письмо (внеш-

¹ «Эпопея», 1922, № 1, стр. 157—158.

² Там же, стр. 156.

³ Письмо от 15 сентября 1902 года (ЦГАЛИ).

ним поводом послужила статья Белого «Формы искусства», появившаяся в декабрьской книжке журнала «Мир искусства»). Одновременно (4 января) и Белый, «пользуясь данным разрешением», написал Блоку. Оба корреспондента не преминули мистически истолковать это случайное совпадение. «Письма, по всей вероятности, встретятся в Бологом, перекрестились, — говорит Белый, — крестный знак писем стал символом перекрещенности наших путей. . . Да, пути наши с Блоком впоследствии перекрещивались по-разному: крест, меж нами лежащий, бывал то крестом побратимства, то шпаг, ударяющих друг друга».¹

2

Можно согласиться с Андреем Белым, сказавшим, что переписка его с Блоком — «это блестящий интимный литературный дневник эпохи».² Странное, порою дикое впечатление производят иные страницы этого дневника, заполненные бредовыми рассуждениями о цветовой символике, о мистическом значении числа «четыре», об антропософских «странных явлениях» и т. п. С первых же писем обоих корреспондентов установился тот совершенно особый, «эзотерический» стиль, печать которого лежит на всей их переписке. Они усвоили иератический «внутренний жаргон» — намеренно затемненный, зачастую вообще непереводаемый на язык логического мышления. «У нас были свои определения, — говорит А. Белый, — и очень сложные психологические переживания фиксировались одним словом, понятным для нас, но не понятным для «непосвященных современников».³ Впоследствии, при личном знакомстве, этот стиль мистической невнятицы был перенесен и в сферу житейских отношений Блока и Белого.

Однако, если отшелушить «эзотерическое» содержание ранней переписки (особенно касается это писем

¹ «Эпопея», 1922, № 1, стр. 159.

² «Записки мечтателей», 1922, № 6, стр. 21.

³ Там же.

Белого), она действительно остается замечательно интересным и важным эпистолярным памятником, ярко и всесторонне освещающим несхожие судьбы двух больших художников, по-разному отразивших в своей творческой практике целый период развития русской литературы.

Нужно сказать, что в позднейшей интерпретации А. Белого суть ранних блоковских писем явным образом искажена. Следуя своей навязчивой тенденции доказать, что Блок был якобы более последовательным мистиком, нежели он сам, Белый всячески подчеркивал «максимализм», с каким Блок будто бы решал мистические «проблемы», возводя метафизику Вл. Соловьева в «новый религиозный догмат». ¹ Белый прямо пишет, что Блок, будучи «максималистом-догматиком», не останавливался перед «крайними выводами», размышляя о земном воплощении соловьевской Софии и учреждении сектантских форм ее культа. Утверждение это настолько противоречило истине, что Белый должен был оговориться: «Разумеется, что ничего подобного в письмах А. А. Блока ко мне нет, но весь стиль их, весь подход к проблеме таков, что они волят к такому выводу. Этого вывода я боюсь и оказываюсь в нашей переписке того времени своего рода меньшевиком-минималистом». ²

Говорить так можно было лишь в расчете на то, что переписка двух поэтов никем не будет прочитана. Сейчас она опубликована, ³ и каждый может без труда убедиться в несправедливости суждения А. Белого. Идея «всесветной мистерии», как и вообще вся соловьевская метафизика, воспринималась и переживалась Блоком *лирически* — в сфере собственного душевного опыта, который он в то время столь интенсивно накапливал. В его соловьевстве меньше всего было догматизма, что и сказалось со всей очевидностью в его

¹ Там же, стр. 25.

² Там же, стр. 29; «Эпопея», 1922, № 1, стр. 171.

³ Александр Блок и Андрей Белый. Переписка. Редакция В. Н. Орлова. «Летописи» Гос. Литературного музея, кн. VII. М., 1940.

ограниченном и достаточно противоречивом принятии основных идей Вл. Соловьева, о чем — дальше. Более того: Блок вскоре же стал тяготиться стилем своих отношений с А. Белым, как сложились они в переписке и при личных встречах. И, наконец, в 1902 году, при всем своем увлечении лирикой Соловьева, Блок был еще далек от того, чтобы осознать соловьевство как единственный открывающийся перед ним путь к познанию мистической «истины». Из юношеского дневника Блока (он вел его с декабря 1901 по ноябрь 1902 года) видно, что его увлекали в это время не только пророчества Соловьева о «заре восходящей», но и «неохристианская» схоластика Мережковского, и «темные соблазны» внерелигиозного декадентства.

Знакомство с Мережковским и Зинаидой Гиппиус (в марте 1902 года) Блок, как известно, относил к числу событий, особенно сильно на него повлиявших (VII, 16). Почти все размышления Блока в юношеском дневнике об антиномии языческого и христианского мировоззрений («плоти» и «духа»), о религии и мистике, о мистике и декадентстве, о мифологии, о борьбе с материализмом и позитивизмом ближайшим образом восходят не столько к Вл. Соловьеву, сколько к Мережковскому, писания которого Блок в то время усердно штудировал. Глубоко переживая поэзию Соловьева и его эсхатологические пророчества в «Трех разговорах», Блок, как выясняется, был очень поверхностно знаком с его собственно философскими и богословскими сочинениями. Вместе с тем в рассуждениях Мережковского о грядущем «высшем синтезе» религии и культуры Блок одно время склонен был видеть нечто более «объективное» и «конкретное», нежели метафизика соловьевского толка. В дальнейшем, однако, он разочаровался в рассудочных, схоластических доктринах Мережковского и окончательно обратился к «белой» мистике соловьевства, пусть менее «конкретной», но несравненно более эмоциональной и отвечавшей темам его собственных душевных переживаний, отразившихся в «Стихах о Прекрасной Даме».

Бесспорно крупную роль в отходе Блока от Мережковских сыграло его заочное сближение с А. Белым и

его друзьями. Московские соловьевцы относились к идеям Мережковского «со все возрастающим разочарованием»,¹ в 1903—1904 годах перешедшим в прямую враждебность. С другой стороны, и в кругу Мережковского — З. Гиппиус Блока особенно порицали за приверженность к соловьевству. Под влиянием А. Белого и С. Соловьева Блок начинает рассматривать свое уклонение от мерещковщины как «переход от мистической запутанности к мистической ясности».² Теперь доктрины Мережковского представляются ему «тьмой» и «вывертами». Всем существом своим тянется он к «чистой, белой, древней Москве», где «цветет сердце» Андрея Белого.³ Соловьевцы привлекают его «идеалами», которых, кстати сказать, он не видел в «беспочвенном» декадентстве. «Отсутствие идеалов у декадентов... Противоположное — соловьевский лагерь», — записывает он осенью 1902 года.⁴

Обращаясь ко времени идейного и творческого становления Александра Блока, мы, естественно, должны иметь в виду и возраст поэта, и незрелость его мысли, и общее — совершенно ложное — направление его духовных исканий. Блуждания юного Блока в дебрях всяческой метафизики, его попеременные очарования и разочарования, притяжения и отталкивания — все это носит характер относительный, поскольку объективное значение подобного рода поисков было равно нулю, а мерещковщина отличалась от соловьевства ровно настолько, насколько черный черт отличается от серого. Гораздо важнее учесть, что уже в эти ранние годы в замутненном сознании Блока подчас возникал непреодолимый протест подлинного, гениально одаренного художника против той «сгущенной атмосферы» мистицизма, которую он сам создавал вокруг себя, но которую сам же и «разрезал жестокой арле-

¹ «Записки мечтателей», 1922, № 6, стр. 30.

² «Письма Александра Блока к родным». Л., 1927, стр. 84.

³ Письмо к М. С. Соловьеву от 23 декабря 1902 года (VIII, 48—49).

⁴ Александр Блок. Записные книжки 1901—1902. М., 1965, стр. 43 (далее — «Записные книжки»).

кинадой» (VIII, 46). Весной 1902 года Блок уже записывает: «Да неужели же и я подхожу к отрицанию чистоты искусства, к неумолимому его переходу в религию?» (VII, 44). Проходит еще немного времени — полгода с небольшим — и он признается: «...я уже никому не верю, ни Соловьеву, ни Мережковскому». Тогда же он доказывает невесте, что преодолел декадентство, «затягивавшее бесформенностью и беспринципностью», и что перед ним раскрывается «жизнь светлая, легкая, прекрасная»: «Чего только не было — и романтизм, и скептицизм, и декаденты, и «две бездны». Я ведь не декадент, это напрасно думают. Я позже декадентов».¹

Таким — растерянным, ищущим, сомневающимся — вступал Блок в литературу.

Годы 1901—1903 были временем самоопределения русского символизма. Московские соловьевцы, в свою очередь, именно в это время определились внутри символистского движения в качестве автономного литературно-философского кружка. Участниками этого интимного, организационно никак не оформленного кружка, называвшими себя «аргонавтами», были Андрей Белый, Сергей Соловьев, Эллис (Л. Л. Кобылинский), А. С. Петровский, П. Н. Батюшков, М. А. Эртель, С. Л. Кобылинский, А. С. Челищев, В. В. Владимир, М. И. Сизов, Н. П. Киселев, В. О. Нилендер и некоторые другие. Большинство названных лиц не принимало непосредственного участия в литературной жизни, но все они, говоря словами А. Белого, «вынашивали атмосферу, слагавшую символизм», составляли ядро «*rag excellence* символистов». «Думаю, что вся идеология московской фракции символизма, — говорит Белый, — созрела не в «Скорпионе» и не в «Весах», а в интимных беседах и разговорах среди молодых символистов аргонавтического толка... Душою круж-

¹ «Литературное наследство», 1937, № 27-28, стр. 306. О том, как жизненная сила боролась в душе и сознании молодого Блока с мертвящим влиянием всякого рода абстракций, см. в следующем очерке — «История одной любви».

ка — толкачом-агитатором, пропагандистом — был Эллис; я был идеологом».¹

Художественная идеология «аргонавтов» слагалась в основном из сочетания мистической философии Вл. Соловьева с эстетическими идеями Шопенгауэра, Ницше и Гартмана. «Аргonautы» представляли в своем лице ту религиозно-философскую филиацию русского символизма, которая противостояла теории и практике символистов-зачинателей (в первую очередь — В. Я. Брюсова), обосновывавших символизм в чисто эстетическом плане как автономное художественное течение, свободное от служения не только общественности, но и религии. «Аргonautы» же, напротив, стремились целиком подчинить искусство мистике и религии. Задачи искусства они определяли, по Вл. Соловьеву, как теургическое жизнетворчество — создание обновленных форм человеческих отношений и духовное преображение мира. «В истолковании «соловьевства» мы были, конечно же, «реалисты», — пишет А. Белый, — мы видели в лирике Соловьева вещание о перерождении человека и изменении органов восприятия мира».² Понимание искусства как жизнетворчества и религиозного служения всегда оставалось основой основ эстетических взглядов А. Белого: и в 1910 году, полемизируя с В. Брюсовым, он доказывал, что «из искусства выйдет новая жизнь и спасение человечества»,³ а еще позже пытался обосновать свою эстетику в свете антропософских идей.

Эстетика Шопенгауэра, глубоко усвоенная А. Белым в ранней молодости и в значительной мере определившая характер его художественного творчества (симфонии), свободно согласовалась с соловьевской концепцией искусства как жизнетворчества. Искусство, по Шопенгауэру, представляет собою высшую, наиболее совершенную, наиболее адекватную форму познания универсальной мировой воли и «вечных идей»,

¹ «Эпопея», 1922, № 1, стр. 149 и 178; «Записки мечтателей», 1922, № 6, стр. 35.

² «Эпопея», 1922, № 1, стр. 140.

³ Андрей Белый. Венок или венец. — «Аполлон», 1910, № 11, Хроника, стр. 3.

объективированных в мире явлений. Происходит это посредством «незаинтересованного», «бескорыстного», чисто субъективного созерцания, расширяющего границы познания за пределы только личного опыта. Особо важное значение имело для А. Белого, как и для других символистов, учение Шопенгауэра о внепрактической и иррациональной интуиции как единственно истинном источнике художественного творчества. На этой основе Шопенгауэр и создал свою знаменитую схему градации форм искусства, наивысшей из которых является музыка — как такая форма искусства, которая с наибольшей полнотой способна выразить бессознательную и алогическую сущность единой мировой воли.

Наряду с провозглашенным Верленом принципом эмоционально-музыкального выражения лирических настроений, шопенгауэровская концепция музыки как идеальной и абсолютной формы искусства играла громадную роль в системе эстетических воззрений символистов. Популяризации этой концепции была посвящена, в частности, юношеская статья А. Белого «Формы искусства», послужившая внешним поводом к переписке его с Блоком. В первом же своем письме Блок упрекнул Белого в том, что тот смешивает понятия музыки в обычном значении (музыка — форма искусства) и «музыки» как «голоса, поющего внутри» — т. е. чего-то такого, что неизмеримо больше «только искусства». Письмо это чрезвычайно важно и знаменательно: еще на «эзотерическом», мистифицированном языке Блок говорит здесь о том, что составило центральную тему его мировоззрения — тему «музыкального» восприятия мира: Блок говорит о «музыке сфер», о «музыке будущего», подчеркивая, что для постижения *этой* музыки недостаточны эстетические и метафизические критерии («А главное, какая это музыка там, в конце? Под «формой» ли она искусства? Ведь это в руку эстетизму, метафизикам, «Новому пути», «Миру искусства»). Здесь — зерно будущего представления Блока о музыке как о первооснове и внутренней сущности бытия, — представления, которому он оставался верен в решении всех возникавших перед ним фило-

софско-исторических, нравственных и художественных проблем.

Как уже сказано, Андрей Белый и его друзья увидели в стихах Блока конкретное воплощение своих дум и чаяний. В своем первом письме к Блоку (написанном до получения его письма) Белый особенно настаивает на том, что индивидуальные поиски и усилия отдельных провидцев, услышавших «зов зари», должны слиться в некое общее дело. «Это уже не бред единичных чудаков, разделенных ото всех глухой стеною... В бездне индивидуального оказалось нечто и объективное, и *«интимно»*-личное. Личное не оказалось индивидуальным. В то время, когда каждый думал, что он один пробирается в темноте, без надежды, с чувством гибели, оказалось — и другие совершали тот же путь... Значит, возможно обращение друг к другу из *«бессмертных далей»*. Легче дышать».¹

Блок с готовностью, с открытой душой откликнулся на этот призыв. Подобно Белому, и он поверил, что встретил «брата в пути». Он восторженно устремился в братские объятия, но не прошло и трех лет, как мера его разочарования превысила меру его восторга.

Андрей Белый и остальные «аргонавты» объявили Блока поэтом, «волею судеб призванным быть герольдом, оповещающим шествие в мир религиозной революции».² Они видели в его поэзии торжество соловьевской идеи Вечной Женственности, долженствующей спасти и обновить мир. Представление о Вечной Женственности, образно понимаемой «женщиной, религиозно осмысливающей любовь», как было оно изложено в статьях Вл. Соловьева «О смысле любви», по словам А. Белого, «наиболее объясняло искания осуществить «соловьевство» как жизненный путь».³ Совсем еще юный, но крайне ортодоксальный Сергей Соловьев носился с вычитанной у дяди идеей «грядущей Теократии», придавая этой иллюзорно-утопической идее ко-

¹ Александр Блок и Андрей Белый. Переписка, стр. 7.

² «Записки мечтателей», 1922, № 6, стр. 58.

³ Там же, стр. 11; «Эпопея», 1922, № 1, стр. 139.

мически-бредовой характер: «начало Петрово» было бы представлено им самим в качестве «первосвященника», «начало Павлово» — Андреем Белым в звании «царя» и «начало Иоанново» — Блоком в роли «пророка».

«Аргонавты» тщились втянуть Блока в свои «гипертрофии», и именно на этой почве отношения их дали первую, поначалу еще незаметную, трещину. Вскоре дело сильно осложнилось благодаря тому обстоятельству, что «аргонавты» бестактно вторглись в интимную жизнь Блока, по-своему истолковывая и перетолковывая ее, а в дальнейшем между Блоком и Белым встала тяжелейшая личная драма, о которой рассказано ниже («История одной любви»).

В течение 1903 года заочная дружба Блока и Белого внешним образом продолжала крепнуть и развиваться. Они интенсивно переписывались, обменивались стихами, не скупившись на взаимные комплименты. Но, как справедливо заметил А. Белый, к концу 1903 года мистические темы в их переписке «как-то отступили на второй план». ¹ В январе 1904 года Блок побывал в Москве, где наконец лично познакомился с Белым и другими «аргонавтами». Здесь Белый и С. Соловьев с особенной настойчивостью и шумихой выдвигали Блока как *своего*, кружкового поэта. Блоку это не нравилось, но он подчинялся. В мемуарах Белого, во всех подробностях описавшего пребывание Блока в Москве, весь этот эпизод окрашен в тона «розово-золотой атмосферы 1901 года» — года соловьевских «зорь», которые для Блока на самом деле уже угасали. Впрочем, это видно отчасти даже из воспоминаний самого Белого.

В Москву приехал вовсе не герольд грядущей теократии, каким Блок рисовался в воображении лично не знавших его «аргонавтов», а просто мистически настроенный, но имевший на все «свое мнение» двадцатитрехлетний поэт, полный жизненных и творческих сил. Даже внешность Блока сильно разочаровала А. Белого. Статный и франтоватый студент, напоминающий «доброе мблодца» русских сказок, слишком

¹ «Записки мечтателей», 1922, № 6, стр. 37.

резко отличался от «безрадостного и темного инока», с «восковыми чертами», каким возникал Блок (по его стихам) в представлении Белого. «Нет, все это было не Блоком, давно уже жившим во мне, «Блоком» писем интимнейших, «Блоком» любимых стихов... — вспоминал впоследствии Белый. — Скажу: впечатление реального Блока... застало врасплох; что-то вовсе подобное разочарованию подымалось... Характеризую редчайшую разность меж нами, которую мы ощутили при первом свидании, — в темпераменте, в стиле и в такте».¹ Это справедливые слова. Нужно сказать, что «разность» в полной мере ощутил и Блок. В 1907 году, в самый разгар своего конфликта с А. Белым, он признался ему: «С первых же писем, как я сейчас думаю, стараясь определить суть дела, сказалось различие наших *темпераментов* и странное несоответствие между нами — роковое, сказал бы я... знаю одно: *мне было трудно понимать Вас и писать Вам*... Ровно через год мы встретились. *Мне было трудно говорить с Вами*» (VIII, 195—196).

1903 год был переломным для Блока. Он вступал в круг новых интересов и влечений, существенно иных тем и идей, которые сам совершенно точно называл «декадентскими». Это «декадентское» начало и раньше заметно проявлялось в лирике Блока, дисгармонируя в ней с господствующим началом религиозно-мистическим. Отсюда — мотивы двойственности, раздвоения, «двуличности», казалось бы неожиданно возникающие в «Стихах о Прекрасной Даме»:

Боюсь души моей двуликой
И осторожно хороню
Свой образ дьявольский и дикий
В сию священную броню.

В своей молитве суеверной
Ищу защиты у Христа,
Но из-под маски лицемерной
Смеются лживые уста...

Подобные стихи писались одновременно с наиболее «соловьевскими» по духу и тону мистико-романтиче-

¹ «Эпопея», 1922, № 1, стр. 189 и 194.

скими гимнами Вечной Деве и, конечно, звучали среди них резким диссонансом, равно как и все более частые проявления «жестокой арлекинады». Теперь, обозревая весь творческий путь Блока и вникая в глубокую его закономерность, мы хорошо понимаем, что подобного рода мотивы не были для поэта случайными. Но Белого и Сергея Соловьева они поразили — тем острее и неприятнее, что своевременно не были замечены.

Впоследствии и А. Белый и С. Соловьев утверждали, что рано стали подозревать Блока в еретических (на их языке — «астартических») отклонениях от ортодоксальной соловьевской истины. Во всяком случае, С. Соловьев в своих воспоминаниях о Блоке утверждает, что в 1903 году настроение поэта уже «заметно менялось: «белая лилия» его поэзии отцветала. Прежние строгие мистические ноты сменялись чем-то жутко демоническим, к идеям Соловьева он охладевал», и вместо «Истории теократии», заняться которой «усиленно советовал» ему С. Соловьев, с удовольствием читал стихи Бальмонта. Все это совершенно справедливо, однако нужно помнить, что мемуары А. Белого и С. Соловьева рисуют Блока в аспекте того восприятия, которое сложилось у них окончательно в годы полемики и разрыва. Не приходится сомневаться в том, что они переосмыслили Блока подобным образом не в 1903 году, но значительно позже, а в раннюю пору своего общения с ним истолковывали его поэзию слишком прямолинейно, только в «соловьевском» плане, и были еще очень далеки от того, чтобы обвинять его в ереси, отступничестве, измене и т. д.

В июле 1904 года, когда три «аргонавта» (А. Белый, С. Соловьев и А. С. Петровский) собрались у Блока в Шахматове, обнаружили первые симптомы их будущего расхождения. Но и сейчас «аргонавты» еще не отдавали себе ясного отчета — куда идет Блок. Они по-прежнему упрекали его в том, что он чуждается «конкретных» теократических бредней, но не теряли надежды вовлечь его в круг своих интересов. Между тем накануне приезда «аргонавтов» Блок откровенно писал своему новому душевному другу Е. П. Иванову: «Я в этом месяце силился одолеть

«Оправдание добра» Вл. Соловьева и не нашел там *ничего*, кроме некоторых остроумных формул средней глубины и непостижимой *скуки*. Хочется все делать *напротив*, назло. Есть Вл. Соловьев и его стихи — единственное в своем роде *откровение*, а есть «Собр. сочин. В. С. Соловьева» — *скука* и проза» (VIII, 105—106). Кто знает, если бы А. Белому и С. Соловьеву были известны эти, с их точки зрения безусловно кощунственные, признания, — они, пожалуй, и не поехали бы в Шахматово.

3

Андрей Белый говорит, что летом 1904 года в Шахматове между ним и Блоком стали возникать «минуты неловкости» («так что не всегда мы чувствовали желание остаться с глазу на глаз») и что Блок ясно давал понять «аргонавтам», насколько они «ошибаются в своих истолкованиях его духовного мира». ¹ «Ты же напрасно так думаешь, — убеждал Блок Белого, — во все не мистик я; не понимаю я мистики». ² Здесь, в деревне, еще больше поразило Белого несоответствие реального человеческого облика Блока — статного молодца в русской рубахе и сапогах — с тем серафическим «Блоком», который был создан его воображением. «Шахматовский помещик», не «Фет», писавший стихи о розах и зорях, а «Шеншин», погруженный в хозяйственные заботы, здоровяк, проявляющий чисто «фламандский» вкус к жизни, — в таком неожиданном аспекте предстал перед Белым «безрадостный и темный» рыцарь Прекрасной Дамы.

В дальнейшем взаимное непонимание Блока и Белого углублялось, несмотря на продолжавшуюся оживленную переписку с экзальтированными завере-

¹ «Записки мечтателей», 1922, № 6, стр. 64 и 90.

² «Эпопея», 1922, № 1, стр. 264. Стоит отметить, что в позднейшей редакции своих воспоминаний о Блоке Белый существенно изменил эту фразу, выбросив слова «мистик» и «мистики»: «Напрасно же думаешь ты, что я... не понимаю я...» («Начало века», стр. 340). Таким примитивным способом строил Белый свою концепцию Блока как «крайнего мистика».

ниями друг друга в «бесконечной» любви и «нерушимой» дружбе. В январе 1905 года Белый приезжал в Петербург — главным образом для того, чтобы повидаться с Блоком. Однако общался он больше с Мережковскими, к которым Блок в это время относился неприязненно. «Что меня соединяло с Мережковскими, в том именно не соприкасались мы с А. А.», — пишет Белый.¹ «Религиозная общественность» и проблемы неохристианской церковности, увлекавшие Мережковских, стали совершенно чужды Блоку.

В июне 1905 года А. Белый с С. Соловьевым снова посетили Шахматово, и на этот раз между ними и Блоком обнаружилась, говоря словами Белого, «глубокая трещина, ставшая в 1906 году провалом».² Встреча закончилась открытой и очень бурной ссорой всей семьи Блока с Сергеем Соловьевым, который по-прежнему требовал от Блока строгой верности «религиозным заветам». Андрей Белый взял сторону С. Соловьева. Они сошлись на том, что Блок — «ренегат, падший рыцарь». Блок, в свою очередь, писал после их отъезда Е. П. Иванову: «Я много и долго мучился и падал духом, и были совсем черные дни. Теперь хорошо. . . Знаешь, что я хочу бросить? Кротость и уступчивость. Это необходимо относительно *некоторых* дел и *некоторых* людей» (VIII, 130).

После шахматовской встречи 1905 года отношения Блока и Белого вступили в новую фазу, равно мучительную для обоих. В течение трех лет они неоднократно порывали друг с другом и снова мирились, покуда (уже в 1908 году) не разошлись надолго. Конфликт, как уже сказано, имел и особые, очень серьезные — внеидеологические — причины. При всем том, расхождение поэтов было вызвано, разумеется, не только личными причинами или несходством их темпераментов, но имело более глубокие и принципиальные, именно *идеологические* основания. Андрей Белый в мемуарах (особенно во второй их редакции) искажает суть дела, изображая свой разлад с Блоком

¹ «Записки мечтателей», 1922, № 6, стр. 99.

² Андрей Белый. Начало века, стр. 9.

только как личное столкновение на романической почве. Бесспорно, личная драма (обострившаяся, кстати сказать, лишь в 1906 году) сыграла свою, и очень большую, роль в истории взаимоотношений Блока и Белого. Но основные, принципиальные предпосылки их конфликта лежали в иной плоскости и имели более давнее происхождение. В конечном счете это была вовсе не личная ссора двух молодых людей, оказавшихся соперниками в любви, а идейное расхождение двух художников, существенное для истории русского символизма. Первые явные симптомы этого расхождения, как видно из вышесказанного, совпали по времени с разочарованием Блока в соловьевстве.

Процесс изживания Блоком соловьевства как религиозно-эстетического мировоззрения есть явление, конечно, исторически обусловленное.

В переписке Блока и Белого за 1903—1905 годы поражает почти полная отрешенность их от реальной действительности. Переписка производит такое впечатление, будто корреспонденты живут на двух необитаемых островах. В России в это время происходили великие и грозные события, составившие целую главу в истории страны, — росло освободительное движение рабочего класса и трудового крестьянства, шла русско-японская война, на весь мир прогремела революция 1905 года. Но все это не нашло почти никакого отражения в письмах Блока и Белого. С головой погруженные в свои «несказанные» переживания, в личную «невнятицу» и в мелочные литературные споры, они, казалось, были слепы и глухи ко всему, что лежало за пределами их личного духовного мира.

На самом деле, конечно, это было не так. И Блок и Белый, при всей отвлеченности своих духовных интересов и поисков, не могли уйти от окружавшей их жизни и по-своему глубоко переживали развертывавшиеся события. В мемуарах А. Белого приведено немало данных, свидетельствующих о том, что и сам он, и его друзья — «аргонавты» и другие — в 1904—1905 годах «сильно сдвинулись влево». Известно, насколько реален был этот «сдвиг»: не «левее» кадетизма, либерального либо буржуазно-анархического пусто-

словия, подписей под «протестами», организации «христианского братства борьбы» и лишь в отдельных случаях — пассивного сочувствия социал-демократическому движению. Однако не подлежит никакому сомнению, что субъективно А. Белый со всей искренностью переживал и 9 января, и Красную Пресню. По-видимому, он просто не находил нужным делиться с Блоком *этими* переживаниями, считая их не то что менее важными, нежели свое ощущение «Вечного» и «Несказанного», но посторонними, лежащими целиком вне этого ощущения. А если он при случае и касался того, что происходило в жизни, то в таком, к примеру, тоне: «Политические ужасы и война — не обманут меня теперь эти наваждения...»

Не менее отвлеченный характер носят и письма Блока, хотя мы хорошо знаем, что революционные события 1904—1905 годов были пережиты им очень глубоко и остро и сыграли громадную, можно сказать — решающую роль в его идейно-художественном развитии.

Блок страстно ненавидел пошлость и мерзость буржуазного мира, и поскольку революция грозила разрушить этот «прогнивший хлев», он приветствовал ее как «важное, великое, радостное» время, как зарю новой истории человечества. Всем ходом событий он был вовлечен в круг иных мыслей и чувств, нежели те, что владели им в годы мистико-романтического «служения». Не случайно, после того как была написана поэма «Двенадцать», он сказал, что с прежними наставниками и друзьями его «разделил не только 1917 год, но даже 1905-й» (VII, 335).

В конце 1904 года вышла в свет книга «Стихи о Прекрасной Даме». Она подводила итог первому периоду творческой работы Блока, и в то же время в заключительных разделах книги уже наметились новые для поэта идейно-художественные тенденции. С конца 1903 года в лирике Блока возникает социальная тема капиталистического города, его повседневного быта, полного трагических контрастов и противоречий. Испытывая заметное влияние урбанистической поэзии Брюсова, Блок в это время пересматривает свой творче-

ский метод, осваивает новые стилистические и языковые приемы. Сама тема Прекрасной Дамы к тому времени теряет для Блока свою притягательность: она была исчерпана, и дальнейшие вариации ее явились бы только повторением уже сказанного. Второй свой сборник — «Нечаянная Радость», куда вошли стихи 1904—1906 годов, сам Блок знаменательно назвал «переходной книгой», в которой «душа в буйном восторге поет славу *новым чарам и новым разуверениям*» (II, 372). Этот «переходной» период ознаменовался в творчестве Блока наиболее глубоким вовлечением его в сферу декадентских идейно-художественных воздействий. Декадентская демонология и эстетизм — вот что ближайшим образом характеризует «новые чары» поэта.

Окончательно и бесповоротно разуверившись в религиозной мистике как источнике художественного творчества, доказывая теперь, что «истинное искусство в своих стремлениях не совпадает с религией», Блок находит для себя новую «прекрасную и богатую» тему «мистицизма в повседневности». ¹ Эта тема по преимуществу и разрабатывалась Блоком в стихах 1904—1906 годов — в двух основных вариантах. Первый из них сводился к эстетизации городской «повседневности», которой присваиваются черты «пошлости таинственной», «страшных и прекрасных видений». Второй — предусматривал своеобразную «языческую» мифологизацию природы (цикл «Пузыри земли»). Тогда же «нашли себе исход» те «приступы отчаянья и иронии», о которых Блок говорит в автобиографии. Он предаёт жестокому осмеянию свои вчерашние идейные ценности. Ироническое переосмысление утешительной мистики соловьевского толка, не выдержавшей соприкосновения с живой жизнью, составляет пафос целого ряда стихотворений Блока и его первой «лирической драмы» — «Балаганчик» (январь 1906 года).

В июне 1905 года, в Шахматове, Блок прочитал А. Белому и С. Соловьеву свои новые стихи — о «болотном попики», о колдуне, укачавшем весну, о ста-

¹ «Записные книжки», стр. 73.

рушке и чертенятах, о «тварях весенних», олицетворяющих стихийные силы природы, которые влекут человека к пантеистическому слиянию с миром. Тема эта осмыслялась Блоком как путь, выводящий из замкнутого круга отвлеченных, узко субъективистских переживаний «молчаливой, ушедшей в себя души». Разработка данной темы сыграла в творческом развитии Блока глубоко прогрессивную роль. Говоря его же словами, он увидел простые, но важные вещи — «как высоко небо, как широка земля, как глубоки моря и как свободна душа» (II, 369). В 1905 году он писал (безусловно исходя из собственного творческого опыта) о «совсем особенном, углубленном и отдельном чувстве связи со своей страной и своей природой»: «Как будто впервые добыватель руды ощутил на своей лопате родную глину, родные пески и, подняв голову, заметил, в какой стране он работает, куда он опять возвратился; уйдя, казалось — безвозвратно, в глубь собственной души» (V, 598).

Возвращение человека к природе и слияние с нею осмыслялось Блоком как путь душевного исцеления. В этой связи важное значение в общем смысловом контексте блоковской лирики приобретает мотив «болота», формирующий пейзаж «Пузырей земли» и «Ночной Фиалки». Стилистика «Стихов о Прекрасной Даме» здесь полностью разрушена: вместо розовых «зорь» и белоснежных «вьюг» здесь господствует именно «болото» — «зачумленный сон воды, ржавчина волны...». Вот некоторые модификации этого образа: болото, трясина, бескрайняя зыбь, гиблые впадины, бесовские наваждения («Это шутит над вами болото, это манит вас темная сила...») и т. д. Если вчитаться в стихи этого плана, очевидной становится их символика. Тема «болота» — это тема проклятой власти темного начала, которое портит и губит душу человека, это та самая тема «раздвоения сознания», расколото-сти души современного человека, которая так сильно тревожила Блока и в драматической трилогии 1906 года, и в стихах «переходного периода». Именно в таком свете раскрывается в своем значении пейзаж «Пузырей земли» и «Ночной Фиалки», с его устойчивыми

антитезами: гиблое болото — и открытое небо, Весна — и Колдун, болотная «темная сила» — и ликующие «пляски осенние» и т. д.

Эта же символика распространялась Блоком на его собственно художественные представления. Он говорил о «стихии лиризма», затягивающей поэта в «болото» узко субъективистского восприятия мира и жизни. Литературно-теоретическим обоснованием этой мысли служит статья Блока «О лирике» (1907), по поводу которой он писал А. Белому, раскрывая проблему в тех же образах, что составляют ткань «Пузырей земли» и «Ночной Фиалки»: «... я знаю, что в лирике есть опасность *тления*, и гоню ее... я указываю только устремление: из болота — в жизнь, из лирики — к трагедии. Иначе ржавчина болот и лирики переест стройные колонны и мрамор жизни и трагедии, зальет ржавой волной их огни» (VIII, 212—213).

Андрей Белый и Сергей Соловьев враждебно встретили новые вдохновения Блока. У них хватило сообразительности и чутья, чтобы многое из того, что писал Блок, принять на свой счет. А. Белый пишет, что его особенно «озадачило» четверостишие:

И сидим мы, дурачки, —
Нежить, немочь вод.
Зеленеют колпачки
Задом наперед.

Он полагал, что под «дурачками» Блок подразумевал не кого иного, как «аргонатов», к которым прежде обращался «со словами надежды»:

В светлый миг услышим звуки
Отходящих бурь.
Молча свяжем вместе руки,
Отлетим в лазурь.

В 1905 году, — пишет А. Белый, — Блок «устанавливает: рук — не связали; не отлетели в лазурь; корабли не пришли; нас не взяли; и мы — одурачены, на сырых и болотных кочках; мы — «немочь», игрушки стихий... Стихи возмущали меня; возмущение я не

высказал вслух». ¹ Сергей Соловьев, в свою очередь, признал, что вчерашние друзья Блока не могли примириться с его переходом из «мира божественного» в «мир тварный». ² Прежнее восторженное отношение их к поэзии Блока в 1905 году отошло уже в область предания. Теперь они рассматривали эту поэзию как открытое «богоотступничество», как грубую измену духу и заветам соловьевства, как «кощунственные издевательства» Блока «над своим прошлым» (которое оставалось их настоящим). А. Белый прямо говорит, что стихи, прочитанные Блоком в Шахматове, «укрепили и С. М. Соловьева и меня в мысли, что Блок перестал быть Блоком... Союз нас трех был безвозвратно разорван». ³

«Это все показал «Балаганчик», написанный через полгода», — подчеркивает А. Белый. ⁴ В «Балаганчике», как известно, «конкретные» религиозно-мистические чаяния (которые Блок, наученный собственным горьким опытом, считал профанацией глубоко интимных и целомудренных переживаний) осмеяны и унижены, как особая форма «чёрной тяжелой истерии», характерная для «загипнотизированных дураков и дур», ⁵ отворотившихся от живой жизни. Самые «глубокие» мистические темы и образы переосмыслены здесь в духе прямой пародии и каламбура: «Дева из дальней страны», прибытия которой трепетно ждут «мистики обоюга пола в сюртуках и модных платьях», оказывается Коломбиной (в черновом наброске — просто «Машей»), «коса смерти» — женской косой, кровь — клюквенным соком, мистерия оборачивается шутовским маскарадом, «балаганчиком». Столь же откровенно пародирован Блоком «эзотерический» жаргон мистиков.

Андрей Белый и Сергей Соловьев восприняли иронию и пародию Блока как личное оскорбление. Со-

¹ «Эпопея», 1922, № 2, стр. 247.

² «Письма Александра Блока», Л., 1925, стр. 32.

³ «Записки мечтателей», 1922, № 6, стр. 114.

⁴ «Эпопея», 1922, № 2, стр. 254.

⁵ Формулировки первоначального наброска — более резкие, нежели в печатном тексте.

ловьев даже узнал себя в одном из карикатурных мистиков «Балаганчика».¹ Лирическая драма Блока сыграла очень крупную роль в его расхождении с соловьевцами. А. Белый в годы своей полемики с Блоком нападал на «Балаганчик» с особенным ожесточением, придавая ему «смысл чудовищный», несмотря на просьбу Блока: «Поверните *проще* — выйдет ничтожная декадентская пьеска не без изящества» (VIII, 199). Характерно и то раздражение, с каким много лет спустя А. Белый писал о «Балаганчике» в своих мемуарах.

Казалось бы, после «Балаганчика» между Блоком и Белым должны были порваться последние связи. Однако А. Белый был по натуре своей таким человеком, который не мог отказать себе в удовольствии беречь и растравлять свои душевные раны. Только по его инициативе отношения продолжались, запутываясь все больше и больше. Оба они избегали объяснений, отмалчивались, что, естественно, только усугубляло путаницу.

Правда, в октябре 1905 года они впервые более или менее внятно заговорили в письмах о том, что их разделяло. Блок многозначительно написал Белому: «Ты знаешь, что со мной летом произошло что-то страшно важное. Я изменился, но *радуюсь* этому... Я больше не люблю города или деревни, а захлопнул заслонку своей души. Надеюсь, что она в закрытом наглухо помещении хорошо приготовится к будущему» (2 октября 1905 года). А. Белый ответил на эти намеки в раздраженном тоне, причем источником его раздражения были, в частности, и новые, общественные интересы Блока. Он задавал вопросы и высказывал сомнения: «Как совместится Твой призыв к «*Прекрасной Даме*» с этими новыми для Тебя темами, как совместится «*долг*» рыцаря с «*просто*» бытием хотя бы сил дьяволических, как совместится долг творчества жизни (теургизм) с параличом долга жизни (шаманизмом) — я не знаю...»; «...о каком будущем идет речь: есть ли радующее Тебя будущее — обществен-

¹ Андрей Белый. Между двух революций, стр. 25.

ное обновление России, рассвет российской словесности, реформа церкви или форм земского самоуправления, или что? Будущее бывает разное: каждое направление имеет будущее. . . Ты «захлопнул заслонку своей души» — для чего? Для того, чтобы готовить избирательные списки, или для чего-нибудь иного?» В заключение А. Белый снова впадал в нетерпимый для Блока экзотический тон: «. . . я говорю Тебе, как облеченный ответственностью за чистоту одной Тайны, которую Ты предаешь или собираешься предать. Я Тебя предостерегаю — куда Ты идешь? Опомнись! Или брось, забудь — *Тайну*. Нельзя быть одновременно и с богом и с чертом» (13 октября 1905 года).

Однако и на этот раз дело кончилось очередным примирением, — тем более что Блок (вероятно, из тех соображений, чтобы не слишком обижать Белого) сопровождал свои признания целым рядом нейтрализующих оговорок. Но из второго, ответного письма Блока (от 15 октября 1905 года), имеющего чрезвычайно важное литературно-биографическое значение, можно и должно сделать более прямые выводы. Они напрашиваются сами собой и в полной мере согласуются с известными нам из других источников раздумьями Блока о своем жизненном и литературном пути, делиться которыми с А. Белым он уже не хотел. Здесь он решительно осудил те «витиеватые нагромождения», которым и сам отдал щедрую дань в своей переписке с А. Белым, но которые (как он теперь признается) были ему «всегда противны». Признания Блока очень категоричны и ироничны: «Отчего Ты думаешь, что я мистик? Я не мистик, а всегда был хулиганом, я думаю. Для меня и место-то, может быть, не совсем с Тобой — Провидцем, знающим пути, а с М. Горьким, который ничего не знает, или с декадентами, которые тоже ничего не знают. . . Как Ты думал, что я «работаю во имя долга перед Прекрасной Дамой»? . . . Чему мне-то учить Тебя? Я думаю, что могу быть достойным Тебя противником, когда бываю настоящим — собой».

Нет смысла останавливаться здесь на всех перипетиях дальнейших взаимоотношений Блока и Белого, —

тем более что связаны они по преимуществу с предельно обострившейся личной драмой (см. «История одной любви»).

В сентябре 1906 года А. Белый уехал за границу и вернулся на родину лишь в феврале 1907 года. Здесь и берет начало его открытая и ожесточенная полемика с Блоком по основным вопросам мировоззрения и творчества, теории символизма и современного литературного движения. Еще год назад А. Белый чувствовал, что его «отчуждение от Блока перерождается в желание: агрессивно напасть».¹ Однако он долго придерживался выжидательной тактики и перешел к нападению только в феврале 1907 года, когда в журнале «Перевал» появилась его пространная рецензия на сборник стихов Блока «Нечаянная Радость». Она дает представление о принципиальной основе и о направлении полемики, но написана еще в более или менее сдержанном тоне, уснащена комплиментарными оговорками и проникнута стремлением «перевоспитать» Блока, вернуть его на истинный путь. Блок, в свою очередь, еще благодарил А. Белого за эту рецензию.

Вскоре положение изменилось.

ГОДЫ ПОЛЕМИКИ

(1907—1908)

1

Из сказанного видно, как круто разошлись пути Блока и Белого. Напряженность их отношений к 1907 году сгустилась, как туча, готовая ежеминутно разразиться сильнейшей грозой. Это и случилось несколько месяцев спустя. Может быть, А. Белый и в дальнейшем продолжал бы придерживаться своей выжидательной и «воспитательной» тактики в отношении Блока, если бы тот не сделал новых, еще более решительных шагов в направлении, уведившем его все дальше от Бе-

¹ «Эпопея», 1922, № 3, стр. 145.

лого. Теперь А. Белый начинает обвинять Блока в измене уже не только соловьевству, но символизму вообще.

При этом необходимо учесть некоторые важные привходящие обстоятельства, и прежде всего — шумную полемику, разгоревшуюся среди символистов вокруг теорий «соборности» и «мистического анархизма», выдвинутых в 1906 году Вяч. Ивановым и Г. Чулковым. Poleмика эта явилась первым явным симптомом распада еще накануне, казалось бы, единого и сплоченного фронта символистской литературы. В полемике приняли более или менее активное участие почти все видные символисты. Особую и очень существенную роль сыграла она в литературных отношениях Блока и Белого, поскольку Блок на некоторое время оказался плененным идеями «соборности» и «мистического анархизма», в которых Белый усматривал главную опасность «провокаций» и «профанации» символизма.

Идейный и организационный разброд в лагере символистов был связан с общим процессом распада и разложения в среде либеральной буржуазной интеллигенции, определившим ее судьбу в годы столыпинской реакции. После поражения революции 1905 года буржуазная интеллигенция в массе своей вступила на путь позорной капитуляции и ренегатства. Наступило время, которое В. Воровский метко охарактеризовал как «ночь после битвы». Реакции политической сопутствовала реакция идейная. В области философии, культуры и искусства полным ходом идет «пересмотр» революционно-демократических традиций, энергично критикуется марксизм, пышным цветом расцветает всяческая метафизика, поповщина, мракобесная мистика.

Эти контрреволюционные тенденции со всей очевидностью сказались в символистской литературе. Именно в годы реакции завершается процесс становления символизма как искусства антиреалистического и антидемократического. По меткому определению Блока, декадентско-символистская литература, в массовом своем выражении, превращается в это время в мистико-эротический «словесный кафешантан» с необычайно пестрой и смутной программой самых разно-

образных «теорий» и «учений», свидетельствовавших о катастрофическом распаде буржуазной мысли. Уморительные концепции, сменявшие одна другую и лопавшиеся, как мыльные пузыри, отличались неслыханным эклектизмом. Анархизм сочетался с религией, апокалиптика и теософия — с показным «народничеством», Маркс — с Достоевским, Платон — с Бакуниным. Познавательная ценность всех этих «теорий» и «учений» была равна нулю: все дело сводилось к более или менее ловкому жонглированию звонкими, но пустопорожними терминами: «мистический реализм», «соборный индивидуализм» (который Блок в веселую минуту перекрестил в «заборный ерундализм») и т. п.

Этот вообще характерный для буржуазной мысли эпохи ее заката неразборчивый эклектизм и страсть к бесплодному теоретизированию охватили круг рафинированной интеллигенции как некая прилипчивая зараза. Андрей Белый, пересказывая в мемуарах запутанную историю своих отношений с Блоком и его женой, к месту вспомнил, как в переписке с ними философски обосновывал свои упреки и жалобы в свете риккертианской теории «жизненных ценностей». Он стремился «построить из Риккерта, Канта, Когэна — экстравагантнейшее биографическое разрешение поединка идеологий и доказать Блокам: они — лицемеры, буржуи, схватившиеся за мещанский уклад». ¹ А. Белый и С. Соловьев переживали тогда период бурных «народнических» увлечений, меру и характер которых лучше всего определил сам Белый: «...мы, обозленные, твердо готовые биться за новую жизнь, разжигали друг друга — свершить акт восстания: женитьба ли, ² бомба ли, посрамление ли Блоков... Будет что будет!.. Мобилизовали: я — Ницше и Риккерта, а С. М. (Соловьев) — отцов церкви, эс-эрство, идиллии Феокрита, Некрасова». ³

¹ «Эпопея», 1922, № 3, стр. 179.

² С. Соловьев, «вынашивая программу слияния с народом, внушил себе мысль, что должен жениться на крестьянке», — пишет А. Белый.

³ «Эпопея», 1922, № 3, стр. 183.

Это откровенное признание виднейшего теоретика символизма бросает яркий свет на идейные искания людей его круга. Одни готовили крошку из Ницше, отцов церкви, Феокрита и Некрасова, другие изобретали «мистический анархизм» или «соборный индивидуализм».

Разумеется, было бы глубоко ошибочным и несправедливым характеризовать *всю* символистскую литературу эпохи реакции как «словесный кафешантан». Как раз наиболее крупные, наиболее одаренные и честные художники, связавшие себя с символизмом, — Блок, А. Белый, В. Брюсов — настойчиво стремились разрешить проблему философского обоснования символизма как целостного мировоззрения. Другое дело — насколько это им удалось. Но, каждый по-своему остро ощущая кризис буржуазной культуры, они мучительно искали выход из обреченного старого мира, блуждая и заблуждаясь на путях мистики и эстетизма, мелкобуржуазного анархизма и неонародничества, неокантианства и прочих разновидностей философского идеализма. При этом индивидуальные пути этих одареннейших художников русского символизма попеременно то сближали их, то разводили друг от друга, и зачастую — очень далеко.

После 1905 года символизм завоевал признание широкой буржуазной общественности. Вчерашние отверженные и гонимые «декаденты», над которыми безнаказанно и грубо потешались газетные и журнальные юмористы, довольно неожиданно для публики составили ведущий отряд современной буржуазной литературы.

В течение долгого времени центром русского символизма была Москва. Здесь были объединены вокруг издательства «Скорпион» и журнала «Весы» основные кадры символистов старшего поколения (в том числе и петербуржцы). Другое существовавшее в Москве символистское издательство — «Гриф» — особо заметной роли не играло. К 1906 году положение резко изменилось. Границы символизма сильно расширились: из немногочисленной «школы» он превратился в течение, захватившее множество второстепенных поэ-

тов и беллетристов — столичных и провинциальных. Символисты-зачинатели вплотную столкнулись с явлением массового эпигонства, создавшего прямую угрозу дискредитации их идейно-художественной программы. После 1905 года в символистскую литературу широким потоком устремились всякого рода «любители легкой мистической наживы» (Блок), беспардонно переводившие «высокие» темы символистов на язык пошлой и вульгарной общедоступности.

Попытки В. Брюсова ввести широко разлившееся течение в проложенное им русло — с самого начала потерпели неудачу. Известную роль сыграло при этом то обстоятельство, что наряду со «Скорпионом» и «Весами», где безраздельно правил Брюсов, образовались новые организационные центры, притягивавшие молодые литературные силы. Такими центрами были в Москве два журнала: «Золотое руно» (издававшееся с 1906 года меценатствующим капиталистом Н. П. Рябушинским) и «Перевал», а в Петербурге — издательство «Оры», объединившее наиболее видных петербургских символистов с Вяч. Ивановым и Блоком во главе. Один из активнейших деятелей этой группы Г. Чулков в том же 1906 году приступил к изданию альманахов «Факелы». Периферийное положение занимало в Петербурге издательство «Шиповник», выпускавшее с 1907 года популярные альманахи, объединявшие различные литературные силы.

Зарождение новых журналов и издательств знаменовало прежде всего тот факт, что символизм уже перерос рамки небольших, интимных кружковых объединений. Но меньше всего следует рассматривать это явление как признак укрепления символистской литературы. Новые журналы и издательства служили целям размежевания символистов, а не консолидации их сил. К 1907 году уже явно определился разлад между «московскими» и «петербургскими» символистами. Кружки «Ор» и «Факелов» (т. е. Вяч. Иванов, Блок, С. Городецкий, Г. Чулков, отчасти — примыкавший к ним Ф. Сологуб и некоторые другие) проявляли сепаратистские тенденции в отношении московского центра. Отчетливую картину создавшегося положения

дает письмо В. Брюсова к отцу от 21 июня 1907 года: «Среди «декадентов», как ты увидишь отчасти и по «Весам», идут всевозможные распри. Все четыре фракции декадентов: «Скорпионы», «Золоторунцы», «Перевальщики» и «Оры» — в ссоре друг с другом и в своих органах язвительно поносят один другого. Слишком много нас расплодилось, и приходится поедать друг друга, иначе не проживешь. Ты читал, как мы нападаем на «петербургских литераторов» («Штемпелеванная калоша»): это выпад против «Ор», и в частности против А. Блока. Этот Блок отвечает нам в «Золотом руно», которое радо отплатить нам бранью на брань. Конечно, не смолчит и «Перевал» в ответ на «Трихину»! Одним словом, бой по всей линии».¹

Упомянутая В. Брюсовым несдержанно полемическая статья «Штемпелеванная калоша» была написана А. Белым. Таким образом, в результате размежевания символистов, в основном закончившегося к середине 1907 года, Блок и Белый уже открыто находились в разных лагерях.

В мемуарах А. Белый подробно рассказал о своей запальчивой журнальной полемике с Блоком, но рассказал неверно, извратив самую суть спора. В изложении Белого все дело сводится к одному из частных эпизодов распри, разгоревшейся среди символистов, и это вынуждает нас остановиться на данном эпизоде, в сущности совершенно незначительном. Речь идет о конфликте В. Брюсова и примыкавшей к нему группы символистов с издателем журнала «Золотое руно» Н. Рябушинским.

Брюсов, озабоченный судьбой созданного им журнала «Весы», как центрального органа символистской литературы, и собственной руководящей ролью лидера всего движения, как только возникло «Золотое руно», взял все меры к тому, чтобы держать новый журнал под своим контролем. С этой целью он принял непосредственное участие в редактировании первых книжек «Золотого руна». Однако вскоре же он поссорился с Рябушинским, который, по словам А. Белого, «просу-

¹ «Литературное наследство», 1934, № 15, стр. 214.

нул свой нос в компетенцию Брюсова» — человека властного и нетерпимого.¹ Немедленно уйдя из «Золотого руна», В. Брюсов настоял на том, чтобы А. Белый остался ближайшим сотрудником этого журнала («Чтобы туда не внедрились враги», — пишет А. Белый). Рябушинский, в свою очередь, даже предложил А. Белому стать редактором литературного отдела вместо малоавторитетного С. Соколова (Кречетова), к тому времени тоже порвавшего с Рябушинским на почве взаимного неудовольствия и учредившего собственный журнал — «Перевал». А. Белый, по инспирации Брюсова, предъявил Рябушинскому ультимативное требование «невмешательства в литературную тактику» и предоставления ему, как редактору, права veto в отношении подбора сотрудников и помещения литературного материала. Пока тянулись переговоры, произошло столкновение Рябушинского с мелким литератором-символистом А. Курсинским, временно исполнявшим обязанности заведующего литературным отделом «Золотого руна». В результате этого конфликта, как говорит В. Брюсов в письме к Ф. Сологубу от 31 августа 1907 года, «выяснилось окончательно, что отношения Рябушинского к своим сотрудникам и к писателям вообще таковы, что исключается возможность участия в его журнале для людей, себя уважающих».² А. Белый, возмущенный хамским поведением Рябушинского, послал ему резкое письмо — «с вызовом: с него достаточно чести журнал субсидировать; он самодур и бездарность, не должен в журнале участвовать».³

По словам А. Белого, письмо это и явилось причиной его разрыва с «Золотым руном». Однако из цитированного только что письма В. Брюсова к Ф. Сологубу выясняется, что разрыв А. Белого с Рябушинским имел дополнительные причины: Белый хотел поместить в «Золотом руне» свое «Письмо в редакцию» — в ответ на нападки Вольфинга (Э. Метнера),

¹ Андрей Белый. Между двух революций, стр. 245.

² «Литературный Ленинград», 1934, № 51.

³ Андрей Белый. Между двух революций, стр. 246.

полемизировавшего со статьей Белого «Против музыки». Рябушинский сперва отказал Белому, а позднее согласился, но при условии, что тот вернется в «Золотое руно». Когда же письмо Белого появилось в «Перевале», Рябушинский печатно «оклеветал» Белого, после чего и Белый и Брюсов окончательно порвали с «Золотым руном», а вместе с ними — в знак солидарности — также Д. Мережковский, З. Гиппиус, М. Кузмин, Ю. Балтрушайтис и М. Ликиардопуло.¹

Потеря целой группы видных сотрудников, естественно, заставила Н. Рябушинского искать новые связи, и, конечно, в первую очередь он обратился к писателям враждебной Брюсову и Белому символистской фракции — к Блоку, Вяч. Иванову и «нейтральному» Ф. Сологубу (цитированное выше письмо В. Брюсова к Ф. Сологубу представляет собой именно попытку склонить последнего на свою сторону). Из газетной хроники тех дней² известно, что Н. Рябушинский, «тщетно разыскивая» писателя, который принял бы на себя редакцию литературного отдела «Золотого руна», обращался к Л. Андрееву и Б. Зайцеву. Но «ответ писателей был неизменно один: Н. Рябушинский должен вверить ведение журнала редакционному комитету, сам же фактического участия в идейной стороне журнала не принимать». Рябушинский на эти условия якобы не пошел.

В четвертой книжке «Золотого руна» за 1907 год (стр. 74) появилось следующее извещение «От редакции»: «Вместо упраздняемого с № 3 библиографического отдела редакция «Золотого руна» с ближайшего № вводит критические обзоры, дающие системати-

¹ См. по этому поводу «Письма в редакцию»: А. Белого — в «Перевале», 1907, № 10, стр. 58—60 и в газетах «Столичное утро», 1907, № 58 и «Час», 1907, № 23; Н. Рябушинского — в «Столичном утре», 1907, №№ 60 и 66; В. Брюсова, А. Белого, Д. Мережковского и З. Гиппиус — в большинстве московских и петербургских газет за август 1907 г. (между прочим, в «Часе», № 7, от 21 августа), — последнее письмо перепечатано в «Весах», 1907, № 8, в сопровождении письма М. Кузмина, Ю. Балтрушайтиса и М. Ликиардопуло.

² См., например, московскую газету «Час», № 24, от 11 сентября.

ческую оценку литературных явлений. На ведение этих обозрений редакция заручилась согласием своего сотрудника А. Блока, заявление которого, согласно его желанию, помещаем ниже».

Оповещение это явилось для литературной символистской среды полной неожиданностью. Блок пользовался в этой среде репутацией талантливого лирического поэта, но и только. Хотя время от времени он и выступал в качестве литературного критика, резонанс этих его выступлений был невелик, и, во всяком случае, в глазах символистов он никак не мог претендовать на роль теоретика и лидера, подобно Брюсову, Белому, Вяч. Иванову.¹ Мы ничего не знаем о переговорах между Блоком и Н. Рябушинским (переписка их до нас не дошла), не знаем — на каких условиях Блок согласился вести свои «критические обозрения». Одно можно сказать твердо: он не ставил их под контроль издателя журнала, а действовал на началах полной независимости. Да и характер и направление его статей, появившихся в «Золотом руне», были таковы, что статьи эти явились смелым вызовом теоретикам символизма, к каким бы фракциям его они ни принадлежали. Напомним, что это были статьи «О реалистах», «О лирике», «О драме», «Литературные итоги 1907 года», «Три вопроса», «О театре», «Письма о поэзии», «Солнце над Россией», «Народ и интеллигенция», «Вопросы, вопросы и вопросы», — статьи, в которых с наибольшей полнотой выражены общественные интересы и художественные взгляды зрелого Блока, резкой чертой отделявшие его от остальных символистов.

В заявлении своем, помещенном в «Золотом руне», Блок писал, между прочим, следующее: «Для того, чтобы успеть отметить своевременно все ценное, я намереваюсь объединить в каждом из первых очерков тахитит того, что мне представляется возможным объединить. Так, я думаю, можно говорить о совре-

¹ Из неизданного письма Блока к Вяч. Иванову от 5 сентября 1907 г. выясняется, что Блок просил его стать фактическим редактором «Золотого руна» при формальном редакторстве Н. П. Рябушинского (ГБЛ, ф. 109, 13—50).

менном реализме, охватывая большой круг очень разнообразных писателей». Осуществлением этого плана и явился цикл литературно-критических статей Блока (к названным выше следует присоединить также статью «О современной критике», которая по случайным причинам появилась не в «Золотом руне», а в газете «Час»).

Андрей Белый в своих мемуарах дает такое освещение всему этому эпизоду:

«„Руно“... повернулось к мистическому анархизму; нам в пику «мешок» (Рябушинский, в смысле: «золотой мешок». — В. О.) пригласил редактировать Блока; и Блок, не учтя, что наш взгляд есть общее задание писателей в деле борьбы с обнаглевшим купчиной, идет на условия, мною отвергнутые (я считал их позорными); так петербуржцы ввалились в позиции, нами очищенные; в один день изменилась программа журнала, который теперь стал «народно-соборно-мистическим». — Блок? С той поры каждый номер «Руна» посвящен его смутным «народно-соборным» статьям, переполненным злостью по нашему адресу и косолапым подшарком по адресу... Чириковых; все — «народушко», мистика, Телешов, Чириков, только — не Брюсов, не Белый... Блок оказался штрейкбрехером. — С Брюсовым мы все же тщились журнал упорядочить путём обуздания Рябушинского; Блок же использовал нашу борьбу с Рябушинским, чтобы нам насолить, объясняя аферу «идейными соображениями», делая вид, что ему неизвестен наш взгляд на конфликт; вспоминались слова В. Я. Брюсова мне: «Блок, Иванов, Чулков, вы, Сергей Городецкий — одно: в борьбе с хамом, с мешком золотым...» Но Иванов и Блок посмотрели на дело иначе: пошли в «услужение» к хаму, глядевшему на редактировавших, как на «служащих». Я разразился посланием к Блоку, который ответил мне... вызовом. Стало быть, я попал-таки в цель с обвинением в штрейкбрехерстве и с упором на то, что они в социальной борьбе против капиталиста нарушили этику». ¹

¹ Андрей Белый. Между двух революций, стр. 246—247.

Поразительна пристрастная несправедливость этого рассказа, равно как и раздражение рассказчика, не остывшее за четверть века, протекшую со времени события. Увлеченный реабилитацией своего прошлого, А. Белый обошел полным молчанием то, что составляло принципиальную основу его расхождения с Блоком. Он объясняет это расхождение внешними и побочными мотивами этического порядка, утверждая, что Блок из мелочных (и совершенно не свойственных ему) соображений («чтобы нам насолить») изменил чувству товарищеской солидарности в столкновении символистов с капиталистом, с «золотым мешком». Повторяя свои прежние, двадцатипятилетней давности, обвинения Блока в «штрейкбрехерстве», А. Белый вводил своего читателя в прямой обман, ибо он-то уж хорошо знал, что Блок не пошел в «услужение» к капиталисту (повторяем: ни о каких «условиях» Рябушинского, принятых Блоком, не может быть и речи: статьи Блока печатались в «Золотом руне» в первоизданной целости).

Между тем, если бы А. Белый действительно вспоминал «в сторону реализма» (а память у него была отличная), он должен был бы признать, что истинная причина его нападения на Блока имела совсем иное происхождение, что суть дела заключалась вовсе не в том, что Блок разделял неприемлемое для Белого «петербургское» понимание символизма, а в том, что общественные интересы Блока уводили его равно и от московских и от петербургских символистов, позволили ему высоко подняться над их мелочной распрей. «В последнее время все менее и менее чувствую свое согласие с кем бы то ни было и предпочитаю следовать завету — *оставаться самим собой*», — писал Блок Белому 6 августа 1907 года, и это действительно стало для него заветом и нормой общественно-литературного поведения.

Но даже и в пределах примененной А. Белым аргументации рассказ его опровергается фактами. Прежде всего статьи Блока в «Золотом руне» вовсе не служили целям пропаганды теории «мистического анархизма». Также ни в одной из своих статей Блок не вступал

в полемику с А. Белым и другими противниками изобретателя этой теории Г. Чулкова. Далее: А. Белый грубо и тенденциозно искажает истину, утверждая, что его необыкновенно резкое письмо к Блоку от 5 или 6 августа 1907 года (на которое тот ответил дуэльным вызовом) было продиктовано этическими соображениями борьбы с капиталистом и содержало обвинения Блока в «штрейкбрехерстве». Удар был направлен совсем в другую сторону — на статью «О реалистах», которую Белый назвал «прошением». Иными словами, он обвинил Блока в заискивании из каких-то темных, чуть ли не карьерных соображений перед писателями враждебного символистам лагеря.

Стоит обратиться к переписке Блока с Белым, чтобы истина сразу оказалась восстановленной в своих правах. Вот что писал Блок 6 августа 1907 года, подчеркивая, что говорит «только о себе и только за себя»: «1) Критику на свои произведения и критику самую строгую хочу слушать и хочу ею руководствоваться. 2) С «мистическим реализмом», «мистическим анархизмом» и «соборным индивидуализмом» *никогда не имел, не имею и не буду иметь ничего общего*. Считаю эти термины глубоко бездарными и ровно ничего не выражающими. Считаю, что мистический анархизм был бы давно забыт, если бы все вы его не раздували так отчаянно. 3) Критики, основанной на бабьих сплетнях... — *не признаю*. Считаю, что такая критика должна оставаться на совести ее сочинителя... 6) Построением философских и литературных теорий сам не занимаюсь и упираюсь и буду упираться твердо, когда меня тянут в какую бы то ни было школу» и т. д. В заключение письма Блок столь же внятно и определенно заявил, что «принял приглашение «Золотого руна» вести критический отдел независимо ни от кого, и ничьих влияний и давлений испытывать *не согласен*» (VIII, 189—190).

Казалось бы, ясно... Что же писал А. Белый? Вот его письмо, переполнившее чашу терпения Блока: «Милостивый государь Александр Александрович. Спешу Вас известить об одной приятной для нас обоих вести. Отношения наши обрываются навсегда. Мне

было трудно поставить крест на Вашем внутреннем облике, ибо я имею обыкновение серьезно относиться к внутренней связи с той или иной личностью, раз эта личность называет себя моим другом. Потому-то я и очень мучался, хотел Вас привлекать к ответу за многие Ваши поступки (что было неприятно и для меня и для Вас). Я издали продолжал за Вами следить. Наконец, когда Ваше «*прошение*», pardon, статья о реалистах появилась в «*Русь*», где Вы беззастенчиво писали о том, чего не думали, мне все стало ясно. Объяснение с Вами оказалось излишним. Теперь мне легко и спокойно» и т. д.¹

Как видим, все тоже совершенно ясно... О конфликте с Рябушинским — ни слова. Решающая причина разрыва — статья «*О реалистах*».

Блок потребовал от А. Белого либо «отказаться от своих слов»,² либо прислать своего секунданта. Белый немедленно пошел на попятный: «Теперь перехожу к моей фразе о Вашей статье, как о «*прошении*», фразе, очевидно и вызвавшей у Вас столь решительный ответ. Согласен, она вырвалась в минуту раздражения, когда после прочтения Вашей статьи, где Вы восхваляете глубоко бездарные «*очерки*» Скитальца, мне передали люди, возмущенные Вашей статьей, что будто Вы черновик читали Л. Андрееву. Быть может, все это и не так (фактически), но что-то во мне вспыхнуло негодованием, и я тут же написал Вам в тоне, действительно, оскорбительном. Охотно беру назад слова о «*прошении*», потому что не призван судить Ваши литературные вкусы. В заключение, милостивый государь, могу сказать только одно: мы друг другу чужды...»³ Одновременно А. Белый направил Блоку

¹ Александр Блок и Андрей Белый. Переписка, стр. 192.

² По поводу письма А. Белого Блок писал Е. П. Иванову: «Письмо написано в форме необыкновенно решительной и грубой. Вывод из него самый точный: он называет меня подлецом» (VIII, 193).

³ Александр Блок и Андрей Белый. Переписка, стр. 202.

громадное письмо, в котором, несмотря на внятные разъяснения Блока, многословно выяснял меру его причастия к пресловутой теории «мистического анархизма» и тем самым долю его ответственности за раскол среди символистов.

2

«Соборность», «мистический анархизм» и «мистический реализм» — эти три понятия в 1906—1907 годах не сходили со страниц газет и журналов, уделявших место и внимание современной литературе. Родились они несколько раньше. Первая декларация Г. Чулкова — «О мистическом анархизме» — увидела свет еще в середине 1905 года.¹ Вслед за нею появилась программная статья Вяч. Иванова «Кризис индивидуализма».² В этих статьях были поставлены все вопросы, вокруг которых вскоре разгорелась полемика, — о необходимости преодоления узкого антиобщественного индивидуализма и «поворота к полюсу соборности», о необходимости «найти новый мистический опыт» вне «жалкого декадентства» и «символизма, выращенного в оранжереях мещанской культуры».

Много лет спустя Г. Чулков, в своих воспоминаниях, охарактеризовал «мистический анархизм» как «попытку идеологически обосновать романтический опыт переоценки ценностей», — попытку, сделанную теми, «кто полусознательно вошел в круг предчувствий, связанных с первым революционным взрывом 1905—1906 гг.».³ По словам Г. Чулкова, «мистический анархизм» был «бунтом во имя утверждения личности, ее независимости, ее свободы», осознанием «кризиса индивидуализма», «криком о крушении западной цивилизации».

¹ «Вопросы жизни», 1905, № 7, стр. 194—204.

² «Вопросы жизни», 1905, № 9 (перепечатано в сборнике статей Вяч. Иванова «По звездам», СПб., 1909).

³ «Культура театра», 1921, № 7-8, стр. 22. Ср.: Георгий Чулков. Годы странствий. М., 1930, стр. 82, 85—86.

В этом есть доля истины. Бесспорно, теории Вяч. Иванова и Г. Чулкова сложились на почве переживания как взлета первой русской революции, так и ее поражения и в известной мере выражали настроения той части либеральной буржуазной интеллигенции, которая еще не перекочевала на откровенно «веховские» позиции. В 1906 году Вяч. Иванов, провозгласивший лозунг: «Из уединения к соборности!», заявлял еще, что «анархист-мистик может чуждаться политического строительства, но не может оставаться равнодушным к попранию свободы и к торжеству палачей». ¹

В своей на шумевшей книжке «О мистическом анархизме» (1906) Г. Чулков, пользуясь его позднейшими формулировками, ставил вопрос об «утверждении личности в общественности», поскольку «личность не может утверждать себя в своей оторванности от мира». Он призывал «мистических анархистов» заняться решением актуальных социально-политических проблем современности и даже пытался «своими счастьем» с социал-демократами: «Быть может, социал-демократы из всех не переступивших грани мистицизма самые нам близкие люди, поскольку они искренно ненавидят *собственность!*» В конечном счете, однако, рассуждения Г. Чулкова сводились к такой откровенной мистике, что гораздо законнее было бы назвать его теорию не «мистическим анархизмом», но «анархическим мистицизмом» (с ударением на втором слове). «Старый буржуазный порядок, — писал Чулков, — необходимо уничтожить, чтобы очистить поле для последней битвы: там, в свободном социалистическом обществе, восстанет мятежный дух великого человека — Мессии, дабы повести человечество от механического устройства к чудесному воплощению вечной премудрости». ²

В извещении «От редакции» альманаха «Факелы» от лица «мистических анархистов» говорилось следую-

¹ «Весы», 1906, № 6, стр. 54.

² Георгий Чулков. О мистическом анархизме. СПб., 1906, стр. 30—31, 77.

щее: «Мы полагаем смысл исторического процесса в искании человечеством последней свободы. Мы приветствуем социалистическое движение, стремящееся разрушить старый экономический порядок, но социализм не является для нас единственной целью и последней формой общественности. Свободная мысль и свободное творчество поэтов и художников, мудрецов и пророков — вот свет на пути человечества. Мы боремся за освобождение личности от цепей моральной, философской и религиозной догматики и не примиряемся с поверхностным мирозерцанием, которое пытается ограничить сферу душевных переживаний. Мы поднимаем наш факел во имя утверждения личности и во имя свободного союза людей, основанного на любви к будущему преображенному миру. В этом смысле мы анархисты».¹

Истинный смысл и истинная природа этих трескучих буржуазно-анархических рассуждений о «свободной мысли» и «свободном творчестве» настолько ясны, что не требуют разоблачения. Это — одно из типичных проявлений той лицемерной «революционной» болтовни, которую заклеил Ленин в статье «Партийная организация и партийная литература»: «... господа буржуазные индивидуалисты, мы должны сказать вам, что ваши речи об абсолютной свободе одно лицемерие... Ведь эта абсолютная свобода есть буржуазная или анархическая фраза (ибо, как мирозерцание, анархизм есть вывернутая наизнанку буржуазность)».²

Нетрудно убедиться, что «мистический анархизм» Г. Чулкова; провозглашавшего «непримиримое отношение к власти над человеком внешних обязательных норм»,³ и являющаяся «ближайшим определением» чулковской теории идея «неприятя мира данного во имя мира долженствующего быть», выдвинутая

¹ «Весы», 1906, № 5, Объявления.

² В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 12, стр. 103—104.

³ «Факелы». Кн. 1. СПб., 1906, Предисловие. Ср. статью Г. Чулкова «Принципы театра будущего» в сборнике «Театр. Книга о новом театре». СПб., 1908, стр. 213.

Вяч. Ивановым,¹ — могут служить примером буржуазно-анархической «фразы» и имеют слишком мало общего с социально-политической доктриной анархизма бакунинского или кропоткинського толка. На последнее обстоятельство указывали, впрочем, и сами авторы «мистического анархизма». Вяч. Иванов отделял себя и своих адептов отграничительной чертой в равной мере как от «тех, кто называет себя анархистами, не делая последних выводов из своего же лозунга, а подчас и первых соображений о смысле анархии как идеи метафизической», так, с другой стороны, и от «тех религиозных мыслителей», которые думают, что мистика — *ancilla theologiae* и что можно быть мистиком, не утвердив прежде всего своей неограниченной внутренней свободы».²

В то же время, отвечая на более чем обоснованные упреки за эклектическую путаницу его программы и «оксиморность» самого термина «мистический анархизм», Вяч. Иванов писал: «Истинные анархисты не могут бояться, что их идея, в смысле конечного идеала их чаяний, будет ограничена в своей полноте тем или иным сочетанием с мистикой. Мы думаем, напротив, что такой союз единственно ее оправдывает и утверждает до конца».³ Аргументация данного положения была слабейшим звеном в цепи рассуждений Вяч. Иванова; вернее сказать, аргументации никакой не было: она заменялась громкими, но совершенно голословными утверждениями вроде того, что «нетрудно доказать, что мистика, будучи сферой последней внутренней свободы, уже анархия», или — «истинный мистик уже есть *eo ipso* личность безусловно автономная», «равно как идея безвластия есть уже мистика».

Органом группы «мистических анархистов» должен был стать, по замыслу Г. Чулкова, альманах «Факелы» (три выпуска, 1906—1908 годы), со смешанным соста-

¹ В статье «Идея неприятия мира», предпосланной книжке Г. Чулкова «О мистическом анархизме», СПб., 1906 (перепечатано в сборнике Вяч. Иванова «По звездам», СПб., 1909).

² «Идея неприятия мира», стр. 19.

³ Там же, стр. 17.

вом участников. Наряду с символистами (Вяч. Иванов, Блок, Ф. Сологуб, Г. Чулков, А. Ремизов, Л. Зиновьева-Аннибал; в первом выпуске еще участвовали и В. Брюсов и А. Белый), в «Факелах» выступили Л. Андреев, С. Сергеев-Ценский, Б. Зайцев, И. Бунин. Чулков пытался привлечь к участию в альманахе также Л. Н. Толстого, М. Горького и П. Кропоткина. В своих воспоминаниях Чулков заметил, что «этот литературный эклектизм должен был подчеркнуть, что «Факелы» представляют вовсе не какую-нибудь поэтическую школу, а объединяют ревнителей разных школ на одной идейной теме». ¹

Между тем весь пафос полемики, разгоревшейся в связи с выступлениями Вяч. Иванова и Г. Чулкова, заключался именно в том, что символисты-ортодоксы из группы «Весов» усмотрели в «соборности» и «мистическом анархизме» тенденции образования новой литературной школы на основе ревизии символистской доктрины — и это обстоятельство главным образом определило меру их негодования. «Итак, перед нами новое течение в литературе, до известной степени — новая литературная школа», — писал В. Брюсов в рецензии на первый альманах «Факелы». При этом Брюсов, со своих тогдашних позиций эстета-антиобщественника, презрительно трактовал идею «неприятия мира» как несовместимое с искусством «политическое революционерство», а творческую практику «мистических анархистов» — как «возрождение тенденциозной беллетристики». ²

Нужно сказать, что на первых порах творцы теории «мистического анархизма» сами отводили от себя обвинения в раскольничестве, в стремлении образовать новую литературную школу. Г. Чулков многократно оговаривал, что «мистический анархизм не противопоставляет себя декадентству как *литературной* школе, но он должен и может противопоставить себя декадентству как *психологическому факту*.» ³ Вяч. Иванов,

¹ Георгий Чулков. Годы странствий, стр. 87.

² Аврелий. Вехи. IV. — «Весы», 1906, № 5, стр. 54—58 («Аврелий» — псевдоним В. Брюсова).

³ Георгий Чулков. О мистическом анархизме, стр. 69.

со своей стороны, отвечая В. Брюсову, также резко возражал против понимания «мистического анархизма» как нового течения в литературе: «Факелы», с точки зрения художественной школы, эклектичны — открыто и прямо».¹

И только в дальнейшем, в ходе разгоревшейся полемики, «мистические анархисты» перешли в ответную атаку на представителей «старого декадентства», в границах которого они объединяли и «парнасцев» (как В. Брюсов), и «богословствующих декадентов» (как Д. Мережковский и З. Гиппиус). Утверждая, что индивидуалистические концепции Ницше и Шопенгауэра пережили свое время, а неокантианский идеализм впал в состояние глубокого кризиса, символисты-новаторы пытались построить некую положительную эстетическую и собственно литературную программу. В обоснование этой программы и были выдвинуты идеи «мистического реализма» и «мифотворчества».

Вопросы эти были поставлены в декларативной статье Г. Чулкова «Молодая поэзия»,² в которой на общедоступный язык газетного фельетона были переведены мысли Вяч. Иванова о «реалистическом символизме» и «мифотворчестве», самим им сформулированные несколько позже — в известном докладе «Две стихии в современном символизме». В статье Г. Чулкова, появившейся в августе 1907 года (т. е. как раз в то время, когда отношения Блока и Белого предельно обострились), прямо говорилось о начавшемся среди символистов «принципиальном расколе» и о «новом литературном течении, возникшем после «Весов». Течение это связывалось с именами Вяч. Иванова и Блока в первую очередь. Г. Чулков открыто напал на символистов-зачинателей, утверждая, что над ними висит «тяжкое обвинение в настроении антиобщественном и даже реакционности». В этой связи Г. Чулков припомнил «те страницы в статьях г. Мережковского

¹ Вяч. Иванов. О «факельщиках» и других именах собирательных. — «Весы», 1906, № 6, стр. 54.

² Газета «Товарищ», 1907, № 337, от 5 августа.

о Толстом и Достоевском, где этот богословствующий декадент защищает идею самодержавия».

Вместе с тем Г. Чулков ополчился против так называемого «манифеста» В. Брюсова, опубликованного в «Весах» в форме объявления о подписке на журнал.¹ Здесь было сказано: «„Весы“ идут своим путем между реакционными группами писателей и художников, которые до сих пор остаются чужды новым течениям в искусстве (получившим известность под именем «символизма», «модернизма», и т. под.), и революционными группами, полагающими, что задачей искусства может быть вечное разрушение без строительства. Соглашаясь, что круг развития той школы в искусстве, которую определяют именем «нового искусства», уже замкнулся, „Весы“ утверждают, что дальнейшее развитие художественного творчества должно брать исходной точкой — созданное этой школой». Высокомерное заявление это в общем довольно точно определяет позицию, которую в ходе полемики занимали московские символисты, в их числе — Андрей Белый.

Храбро причисляя себя и своих друзей к «революционным группам» современных писателей, Г. Чулков отвечал на «кадетское по духу своему» заявление «Весов», что никакой единой школы «нового искусства» нет и что «литературное течение, возникшее после «Весов», ставит себе задачей прежде всего художественное творчество — строительство, а что касается «разрушения», то это революционное стремление хотя и присуще новому философскому движению, но оно направлено не против культуры, а против политической, социальной и эстетической реакции». И далее Г. Чулков указывал, что ревизионистские тенденции «молодых», «не желающих подчиняться «философскому» канону старого декадентства», возникли на почве осознания кризиса «уединенного индивидуализма, характерного для декадентского эстетизма». Вяч. Иванов выдвинул новый и единственно верный принцип отношения к миру — «синтез личного начала и общечеловеческой ответственности».

¹ См. «Весы», 1906, № 12; 1907, № 1.

«Идейному кризису соответствовал и кризис художественно-литературный, — продолжал Г. Чулков. — Символизм, окрашенный в цвет философского идеализма, стал эволюционировать в сторону нового реализма, известного теперь под именем «мистического реализма», который «не отказывается от символизма, но последовательно развивает его принципы». В крайне сбивчивом и невнятном изложении Г. Чулкова идейная суть «мистического реализма» заключалась в преодолении неокантианского идеализма и означала «исход в область вечных реальностей, «вещей», определяющих природу абсолютного бытия». Иными словами, Г. Чулков попросту экспроприировал теургическую теорию Вяч. Иванова о «реалистическом символизме», идущем от изображения действительности «внешней» к изображению действительности «внутренней» и «высшей» («*A realibus ad realiora*»). Как на образец поэзии, отвечающей понятию «мистического реализма», Г. Чулков ссылаясь на лирику Блока.

В полемике, развернувшейся вокруг «Факелов» и выступления Вяч. Иванова и Г. Чулкова, первенствующую роль играли бесспорно «Весы», занявшиеся «решительным избиением соборного гама» (как сказал А. Белый в одном из писем к Блоку). Статьи и фельетоны З. Гиппиус, Эллиса и других сотрудников «Весов» (участие самого В. Брюсова в полемике было незначительным) отличались крайней запальчивостью тона, а в некоторых случаях даже переходили границы элементарного литературного приличия. С особенной последовательностью и непримиримостью разоблачал «мистический анархизм» Андрей Белый. Он возвращался к этой теме буквально в каждой своей статье, рецензии, заметке. Нет смысла подробно излагать здесь аргументацию, применявшуюся А. Белым в разоблачении «мистического анархизма». Ограничимся одной лишь, правда пространной, цитатой, которая с достаточной ясностью показывает, в каком направлении действовал А. Белый в своей защите «истинного» символизма. Главное и основное, на чем настаивал А. Белый, это призыв к дальнейшей разработке теории

символизма, как универсальной теории искусства, в свете положений и выводов неокантианской философской школы.

«Символизм в широком смысле не есть школа в искусстве, — писал А. Белый. — Символизм — это и есть искусство. Романтическая, классическая, реалистическая и сама символическая школа — только способ символизации образами переживаемого содержания сознания. И потому-то смешны противоположения реализма символизму, т. е. метода — тому, что этот метод оформливает. Все слова о смене символизма реализмом напоминают детскую свистульку, в которую дуют мальчишки, воображающие себя мудрецами. Все эти выходки нового стиля против символизма показывают полное невежество *свистунов* в вопросах психологии, психофизиологии и теории познания. Прежде нападали на символизм только справа: это были нападки добродушных людей, часто ничего общего с искусством не имевших... Теперь нападают на символизм слева — эпигоны символизма, сами обязанные ему развитием своего творчества. Этих *символистов на час*, вышедших на зов Ницше, Ибсена, Мережковского из своих душных келий, только и хватило на то, чтобы похвалить их зовущую зарю; но идти ей навстречу — это уже подвиг! И вот они закупорились снова в своих жалких хатах и теперь говорят, что заря угасла.¹ — Они говорят, что цикл развития символизма окончен и ему-де идет на смену нео-реализм. Когда нечего сказать, обыкновенно берут первый попавшийся термин и приставляют к нему пресловутое «нео». Для этого не нужно творчества мысли... Но вот что мы видим: корни «нео»-движения — в добром старом символизме. Вместо того чтобы определить эволюцию символизма, раскрыть механизм этой эволюции, показать структуру образования символических понятий, дать классификацию форм символизации, — наклеивают, как попало, «нео»-известные ярлычки и на этой «нео»-глупости строят школу. Мы не восставали бы против такого

¹ Здесь можно видеть намек на Блока.

занятия с клеем (сидит человек — свистит в свистульку, клеит ярлычки), если бы здесь не чувствовался апломб невежества, теоретически всем обязанного другим и палец о палец не ударившего, чтобы уяснить себе хотя бы в общих чертах *действительные* проблемы символизма».

Расправившись со «свистунами», А. Белый перешел к позитивной стороне проблемы. «Перед нами лежит задача разработки вопросов искусства в свете современной философии... — заявлял он. — Дается возможность облечь проповедь символизма броней несокрушимых методов. Но разве подозревают все это современные эпигоны символизма, занятые поставкой на рынок нео-реалистических свистулек? Разве интересно им знать, что «красивые» афоризмы Ницше (которые они по обязанности, с зевком, читали) не только красивы, а и во многих отношениях убийственно верны! Что и вопрос о *ценностях* в свете школы Риккерта и Ласка становится центральным вопросом и символизма, и теоретико-познавательных выводов? Перед нами задача — обосновать независимую эстетику, как точную науку. Наконец, задачи личности и общества только в свете символического мирозерцания получают удовлетворяющее нас решение... Выводы символизма предопределяют единственно верный путь искусству и религии... Художники-символисты сознали право художника быть руководителем и устроителем жизни. Но это высшее право нужно приобрести рядом систематических завоеваний и в *творчестве*, и в *знании*. Символизм — это знамя, вокруг которого должны отныне группироваться все силы, борющиеся за высоту искусства, за те, всем нужные, тайны мудрости, которые заключены в творчестве. Символизм — кульминационная точка искусства: отклонения вправо и влево в настоящее время ведут к профанации творчества. И не «*певчим птицам*»,¹ не провокаторам символизма, вроде гг. Чулковых, колебать достоинство русского символизма. Пусть себе

¹ Явно имеется в виду Блок.

хоронят детскими свистульками достоинство русского символизма. Они хоронят, прежде всего, себя, свое достоинство, обнажая неподготовленность занимать то место, которое не принадлежит им по праву».¹

3

Теории Г. Чулкова и особенно Вяч. Иванова произвели на Блока известное впечатление, но меру этого впечатления преувеличивать не следует. Г. Чулков утверждал впоследствии, что Блок с полным сочувствием принял «мистический анархизм» и лишь «под влиянием всеобщей травли — смутился и отступил».² Это неверно. Блок заинтересовался идеей анархического «неприятия мира», преодолением индивидуализма в «соборности» и попытками теоретического обоснования связи искусства с общественной жизнью, поскольку все это в известной степени отвечало его собственному ощущению кризиса декадентского индивидуализма, духу и направлению его собственных идейно-творческих исканий. При всем том не приходится говорить, что только «всеобщая травля» заставила Блока отступить от «мистического анархизма», ибо с самого начала он относился к чулковской проповеди с явным предубеждением. Уже в июле 1906 года он признавался Чулкову: «Почти все, что Вы пишете, принимаю отдельно, а не в целом. Целое (мистический анархизм) кажется мне не выдерживающим критики, сравн. с частностями его; его как бы еще нет, а то, что будет, может родиться в другой области» (VIII, 158). А через год, в июне 1907 года, Блок писал Чулкову же: «Я все больше имею против мистического анархизма» (VIII, 187). Несколько позже, 1 августа 1907 года (т. е. еще до получения гневных писем А. Белого, разоблачавших «мистический анархизм»), Блок

¹ Андрей Белый. Детская свистулька. — «Весы», 1907, № 8, стр. 54—58 (подписано: Борис Бугаев). Ср. другие статьи А. Белого за 1906—1908 годы, печатавшиеся в «Весах» и частично собранные в книге А. Белого «Арабески», М., 1911.

² Георгий Чулков. Александр Блок и его время. — «Письма Александра Блока». Л., 1925, стр. 110.

записывает в записной книжке: «Мое несогласие с Вяч. Ивановым... Мое согласие с Андреем Белым. Не считая ни для себя, ни для кого позором — учиться у Андрея Белого, я возражаю ему сейчас не по существу, а только на его способ критиковать, который погружает его самого, чисто внешним образом, в безвыходные противоречия. Мистический анархизм! А есть еще — телячий восторг. Ничего не произошло — а теленок безумствует... Есть писатели с самым корявым мировоззрением, о которое можно зацепиться все-таки. Это значит, у них есть пафос. А за Чулкова, например, не зацепишься. У него если пафос — так похож на чужой, а чаще — поддельный — напыщенная риторика».¹

Из этой записи видно, что Блок не питал никаких иллюзий насчет пустопорожней теории «мистического анархизма». Августовские письма Андрея Белого произвели на Блока сильное впечатление; 20 августа он записывает: «„Весы“ в настоящий момент — самый боевой журнал в России. Действительно, с мистическими анархистами в литературу проникла какая-то негодная струя. Отношение к культуре не бережно. Мистический анархизм неуловим, как справедливо писал мне Бугаев».² И тогда же Блок пишет письмо в редакцию «Весов», в котором решительно заявляет о своей непричастности к «мистическому анархизму». Однако это заявление еще никоим образом не решало проблемы литературных отношений Блока с Андреем Белым. Строить сообща с ним эстетическую теорию символизма на почве неокантианской философии он не собирался. Вспомним: «...упираюсь и буду упираться твердо, когда меня тянут в какую бы то ни было школу».

Блок, как известно, чрезвычайно остро и болезненно переживал годы столыпинской реакции. Впоследствии он писал, что эти черные годы «утомили и истрепали душу и тело». Но они же и отрезвили Блока, пробудили в нем чувство гражданственности и, нако-

¹ «Записные книжки», стр. 96.

² Там же, стр. 97.

нец, открыли перед ним новые и очень широкие творческие перспективы. Для большинства участников символистского движения эпоха реакции была полосой застоя и упадка, а для Блока — временем мучительных тревог за настоящее и будущее России и русской литературы, временем его стремительного и высокого творческого взлета. Поэт, отравленный ядами рафинированной буржуазной культуры, пленявшийся многими соблазнами декадентского эстетизма, долго блуждавший в туманах всяческой метафизики, вырастает в громадного национального художника, воодушевленного идеями долга, правды, справедливости, общественного служения и ответственности перед народом.

В условиях постыдного идейного ренегатства, охватившего широкие либерально-интеллигентские круги, Блок занял особую и в высшей степени достойную позицию. Память революции 1905 года была ему дорога, а «страшный мир», осененный столыпинскими виселицами, возбуждал в нем чувство страстной ненависти. Он жил все тем же пафосом романтического максимализма, с которым встретил и приветствовал революцию. Ни в малой мере не разделял он идей «утешительства», «непротивления злу», терпения, покорности и оправдания. В годы реакции Блоком целиком овладело «неотступное чувство катастрофы» — неизбежной и уже близкой гибели старого мира. В гибели его поэт видел исторически справедливое возмездие, торжество большой, всемирной правды. Это тревожное чувство надвигающихся всемирно-исторических катастроф, это острое и глубоко искреннее ощущение социального неблагополучия, резко отграничивавшее Блока от остальных символистов, носило отчетливо гуманистический характер. Вопрос о личной судьбе художника смещался для Блока вопросом о судьбах народа, родины, всего человечества.

Кто живет без печали и гнева,
Тот не любит отчизны своей. . .

Некрасовская печаль и некрасовский гнев — это было именно то, с чем жил Блок в годы реакции. «Ре-

акция, которую нам выпало на долю пережить, закрыла от нас лицо проснувшейся было жизни, — писал он в 1907 году. — Перед глазами нашими — несколько поколений, отчаявшихся в своих лучших надеждах...» А в это время — «образованные и обозленные» интеллигенты, забывшие о своей общественной ответственности, — будь это нововременцы, либералы, эстеты или богоискатели, «поседевшие в спорах о Христе», — продолжают свою постыдную «болтовню» — «возвещают гордые истины», «самоуверенно поучают», «надменно ехидствуют», «сладоострастно полемизируют с туполобыми попами». . . А в это время — «за дверями» стоят «рабочий и мужик», которым нужны не слова, а дела, не гордые истины, а ржаной хлеб; «а на улице — ветер, проститутки мерзнут, люди голодают, их вешают; а в стране — «реакция»; а в России жить трудно, холодно, мерзко. Да хотя бы все эти болтуны в лоск исхудали от своих исканий, никому на свете, кроме «утонченных натур», не нужных, — ничего в России бы не убавилось и не прибавилось». ¹

На почве подобных настроений сложилось романтическое «неонародничество» Блока, на известный период окрасившее его публицистику и художественное творчество. В блоковском представлении о России как «темной народной стихии» различима примесь консервативно-националистических элементов, ведущих происхождение от славянофильских теорий и социально-христианской утопии Достоевского. Но с такого рода тенденциями в сознании и в творчестве Блока активно боролось и неизменно побеждало начало демократическое, объективно выражавшее идею народной революции. Пусть политически эта идея была осознана в ту пору Блоком неверно — в аспекте народнических и анархо-максималистских представлений (Герцен, Бакунин, отчасти Л. Толстой), но его обращение к народу как к единственному источнику всякой «жизненной силы» — в том числе и творческой силы поэта, худож-

¹ «Религиозные искания» и народ». — Александр Блок. Сочинения в двух томах, т. 2. М., 1955, стр. 58.

ника — сыграло решающую роль в его идейно-творческом развитии.

В ряде статей и публичных докладов, в драматической поэме «Песня Судьбы» и в стихотворном цикле «На поле Куликовом» Блок поднял мучивший его вопрос о «пропасти», «недоступной черте», лежащей между буржуазной интеллигенцией и народом, и пытался обрести некую «согласительную черту», на которой интеллигенция, изменившая народу, могла бы опять «сойтись и сговориться» с ним. Многократно и настойчиво высказывался Блок в том смысле, что разрыв интеллигенции с народом грозит ей окончательным вырождением, полной гибелью. Одним из наиболее явных и грозных симптомов интеллигентского вырождения Блок считал обнищание буржуазного искусства, зашедшего в тупик декадентского эстетизма и изменившего великим, животворным традициям национальной художественной культуры.

Примерно к середине 1907 года Блок приходит к стихийно-демократическому пониманию целей и задач искусства. Эстетизму и формализму, лежавшим в основе декадентско-символистской эстетики, он отныне противопоставляет требования «простоты» и «народности». Еще в 1906 году Блок заявлял, что «искусство должно изображать жизнь и проповедовать нравственность».¹ В дальнейшем это убеждение все более и более укрепляется в нем. Он зовет к подлинно высокому и правдивому искусству «с большими страстями, с чрезвычайным действием, с глубоким потоком идей». Он поднимает запретные для каждого правоверного символиста старинные «проклятые» вопросы — о «пользе» искусства и о «долге» художника. Он в корне пересматривает свое отношение к современной русской реалистической литературе, которую символисты ставили вне границ «подлинного искусства». В частности он, единственный в ту пору из символистов, высоко расценивает роль и значение М. Горького как великого национального писателя. Он разоблачает

¹ Из не дошедшего до нас письма Блока к С. Городецкому (протитировано в ответном письме С. Городецкого — ЦГАЛИ).

«кощунственную бесплотность формулы: искусство для искусства», подвергает уничтожающей критике дешевую «красивость» и стилизаторские ухищрения, процветавшие на театре; мечтает о новой, здоровой и предельно широкой театральной аудитории из «народных масс», из «рабочих и крестьян».

Через головы символистов старшего поколения Блок обращается к традициям передовой русской литературы и революционно-демократической общественной мысли. В 1908 году он развивает мысль о необходимости создать литературный журнал «с традициями добролюбивского Современника» и со «строжайшей программой»: «Чтоб не пахло никакой порнографией, ни страдальческой, ни хамской. Распростряться с «Весами». Бойкот новой западной литературы. Революционный завет — презрение». И несколькими строками ниже: «Написать доклад о единственно возможном преодолении одиночества — приобщение к народной душе и занятие общественной деятельностью. Только чувствуя себя гражданином — и т. д.»¹

Самый критерий художественных оценок Блока претерпевает решительные изменения. В статье «Вечера „искусств“» (1908) он писал, что символисты «еще почти ничего не сделали» — потому что у них «нет ореола общественного» (какой был у Плещеева или даже у такого слабого поэта, как Н. А. Морозов), потому что они «еще не имеют права считать себя потомками священной русской литературы» (V, 308). В другой статье Блок утверждал: «Всякую правду, исповедь, будь она бедна, недолговечна, невсемирна, — правда Глеба Успенского, Надсона, Гаршина и еще меньшие, — мы примем с распростертыми объятиями, рано или поздно отдадим им все должное. Правда никогда не забывается, она *существенно* нужна, и при самых дурных обстоятельствах будет оценен десятком-другим людей писатель, стоящий даже не более «ломаного гроша». Напротив, все, что пахнет ложью или хотя бы неискренностью, что сказано не совсем от

¹ «Записные книжки», стр. 113—114.

души, что отдает «холодными словами», — мы отвергаем» (V, 278).

В своем личном плане Блок осмыслял все эти возникшие перед ним проблемы как путь преодоления декадентской психологии и эстетского индивидуализма. Он жадно ищет целостного мировоззрения, «простоты, здорового труда и вольных дум». Темы «простоты» и «здоровья» красной нитью проходят в его письмах к Андрею Белому, посвященных выяснению их запутавшихся отношений: «Желаю трезвого и простого отношения к действительности...», «Хочу вольного воздуха и простора...», «Ощущаю в себе какую-то здоровую цельность и способность и умение быть человеком — вольным, независимым и честным...», «Я здоров и прост, становлюсь *все проще*, как только могу...» и т. д.

В одной из своих статей 1907 года Блок в тех же самых выражениях утверждал, что «символисты идут к реализму, потому что им опостылел спертый воздух «келий», им хочется воздуха, широкой деятельности, здоровой работы» (V, 206). Однако делать подобного рода ответственные заявления от имени символистов у Блока не было никаких оснований: к «реализму» (в том условном значении, которое слово это имеет в контексте Блока) шел он один. Больше того: взгляды, стремления, поиски Блока вступали в резкое противоречие с идейно-художественными установками и литературно-общественной практикой символистов. Поэтому критические и публицистические статьи Блока были встречены в символистском кругу (без различия фракций) крайне враждебно. В. Брюсов откликнулся на них не слишком остроумной эпиграммой («Не писал бы ты статей об интеллигенции...»); З. Гиппиус открыто, в печати, заявляла, что Блок попросту «смешон» в своих «детских несчастеньких статьях», что он «ничего ни в какой общественности не понимает»; Д. Мережковский и В. Розанов отзывались на выступления Блока в совершенно оскорбительном тоне; утонченный эстет и «религиозный искатель» Д. Философов объявил, что все раздумья Блока о судьбах интеллигенции и искусства — это только «игрушки, эстетиче-

ские переживания», и т. д. и т. п. О враждебности той позиции, которую в отношении Блока заняли «соловьевцы» — А. Белый, Эллис, С. Соловьев, — нечего и говорить.

Так или иначе, к 1908 году выявился со всей очевидностью глубокий разлад Блока почти со всей символистской литературой. Открытое столкновение его с Андреем Белым, происшедшее летом 1907 года, служит одним из наиболее явных симптомов этого разлада, самим Блоком осознанного несколько позже.

К тому времени Блок уже убедился в иллюзорности представления о символизме как об единой будто бы литературной школе. Он ясно увидел, что символистская «школа» или символистское «направление» — «были только мечтой, фантазией, выдумкой или надеждой некоторых представителей «нового искусства», но никогда не существовали в русской действительности». Под именем «символистов» соединяли писателей «крайне различных между собой», и нелепо говорить о какой-то «дифференциации» среди символистов, «потому что никто в сущности ни с кем не соединялся и не разъединялся, и настоящей *школы* не было никогда». Что же касается отдельных символистских кружков, то из них «давно уже не выходит ничего, кроме разложения и вреда, и потому надо желать окончательного распада всяких кружков и истребления литературной кружковщины» (V, 342—343). Убежденно и решительно отрекся Блок от всех и всяческих идейных и художественных доктрин символизма. «Не могу принять, — записывает он в сентябре 1908 года, — ни двух бездн, бога и дьявола, двух путей добра — «две нити вместе свиты», — (мистика, схоластика, диалектика, метафизика, богословие, филология), ни теории познания (Белый), ни иронии (интеллигентский мистический анархизм), ни «всех гаваней» (декадентство)».¹

Общественно-литературная позиция Андрея Белого, если отвлечься от полемики его с Блоком, в годы реакции внешне во многом носила черты сходства с по-

¹ «Записные книжки», стр. 114—115.

зицией последнего. Политически А. Белый был настроен достаточно радикально. Он не менее остро, нежели Блок, переживал гнет столыпинского режима, проявлял интерес к социал-демократическому движению, даже пытался разобраться в марксизме. В 1906—1908 годах было написано большинство стихотворений, составивших «Пепел» — книгу гражданской лирики, некрасовская «тенденциозность» которой (книга была демонстративно посвящена памяти Некрасова) смутила даже близких друзей А. Белого. В предисловии к «Пеплу» Белый писал, что не только «жемчужные зори» и «надзвездная высота», но и «кабаки» и «страдания пролетария» должны служить объектами художественного творчества, что «действительность всегда выше искусства», что «художник — прежде всего человек».

В том, что Андрей Белый искренне сочувствовал народному горю и субъективно ощущал свой гражданский долг быть с народом, а не с его врагами, — не может быть никаких сомнений. Но история мало считается с субъективными намерениями художника, а судит его по своим высшим и общим законам. Андрея Белого всегда, на всем протяжении его литературной деятельности, преследовала своего рода «трагедия раздвоения», неспособность выбраться из борющихся его противоречий. Так и в годы реакции, при всем своем сочувствии к жизни и борьбе народа, А. Белый не сдавал ни одной из своих исходных философских и художественных позиций, оставался ортодоксальным и воинствующим хранителем «заветов» символизма как религиозно-эстетического мировоззрения. В 1907 году он по-прежнему утверждал: «Искусство не имеет никакого собственного смысла, кроме религиозного... Отказываясь от религиозного смысла искусства, мы лишаем его всякого смысла». ¹ Парадоксальные, глубочайшие противоречия, тщетные попытки примирить непримиримое — к примеру, религиозную мистику с демократическими идеями — сильно обесценивали искания А. Белого. Вся жизнь он лихорадочно менял свои

¹ Андрей Белый. Символизм. М., 1910, стр. 223.

мировоззренческие вехи и ориентиры, метался от Шопенгауэра к Риккерт, от Риккерта к Некрасову, от Некрасова к Штейнеру, — и всегда при этом оставался самим собой — убежденным мистиком, теософом.

Так и интерес А. Белого к социал-демократии, к марксизму носил специфический и, можно сказать, «служебный» характер. Даже в марксизме Белый пытался найти некую опору для своих субъективно-идеалистических и, в конечном счете, антидемократических концепций. Наиболее знаменательно в этом смысле, что внимание А. Белого привлекла не подлинно марксистская революционная теория, а ее неокантианская фальсификация: «близкими» А. Белому оказались, по его же признанию, не идеологи революционного марксизма, а его ревизионисты — эмпириокритики и «богостроители». Противоречивость взглядов А. Белого, шаткость его общественно-литературной позиции лучше всего характеризует то обстоятельство, что в том же 1909 году, когда появился демократический «Пепел», А. Белый приветствовал сборник «Вехи» — эту, по выражению Ленина, «энциклопедию либерального ренегатства».¹

Даже ликвидировав свои недоразумения по отдельным литературным вопросам, Блок и Белый не могли бы прийти к полному взаимопониманию. Слишком разные направления приняли их индивидуальные пути, слишком разноприродными были их идейные искания. Если Блок медленно, с трудом, но неуклонно преодолевал противоречия своего мировоззрения, то А. Белый, при всех своих субъективных устремлениях к целостному мировоззрению, погружался во все более безвыходные противоречия. При известном сходстве общественно-литературных позиций Блока и Белого в отдельных моментах — в них было гораздо больше черт, разделяющих обоих поэтов, нежели сближающих их.

Даже проблему исторических путей и судеб России, глубоко волновавшую обоих, они решали по-разному.

¹ См. статью А. Белого «Правда о русской интеллигенции». — «Весы», 1909, № 5.

Андрей Белый в предисловии к «Пеплу» подчеркнул, что «лейтмотив» его гражданской лирики определяется «невольным пессимизмом, рождающимся из взгляда на современную Россию». И действительно, основные мотивы «Пепла» — бессилие, отчаянье, безнадежность. Россия Белого — сплошной темный морок; будущее ее рисуется как некое страшное, погибельное марево:

Довольно: не жди, не надейся —
Рассейся, мой бедный народ!
В пространство пади и разбейся
За годом мучительный год! ..

Исчезни в пространство, исчезни,
Россия, Россия моя! ..

Над страной моей родною
Встала Смерть. . .

Блок же в это время писал в стихах о России, что она «не пропадет и не сгинет». Он провидел ее будущее, ее «высокие и мятежные дни», предчувствовал сужденные ей «неслыханные перемены». При всем трагическом восприятии «страшного мира» окружавшей его действительности, Блок верил в народ, в его творческую силу и энергию, в его волю к борьбе. В период самого дикого разгула политической и общественной реакции он писал с этой глубокой верой в сердце:

В голодной и больной неволе
И день не в день и год не в год.
Когда же всколосится поле,
Вздохнет униженный народ?

Что лето, шелестят во мраке,
То выпрямляясь, то клонясь
Всю ночь под тайным ветром, злаки:
Пора цветенья началась.

Народ — венец земного цвета,
Краса и радость всем цветам:
Не миновать господня лета
Благоприятного — и нам.

В августовские дни 1907 года, получая письма Андрея Белого и отвечая ему, Блок многое передумал и многое переоценил. Особенно важное значение имеет замечательное исповедальное письмо его от 15—17 августа. Здесь он, проследившая всю сложную историю своих отношений с А. Белым, говорил о глубоком несходстве их натур, их человеческих характеров и темпераментов: «Я решительно думаю: я не старался узнать Вас, как не стараюсь никогда узнавать никого, это — не мой прием. Я — принимаю или не принимаю, верю или не верю, *но не узнаю*, не умею. Вы, наоборот, хотите узнавать всегда. Вы, по темпераменту, пытливый, торопливый, быстро зажигающийся человек. Мы с Вами и письменно и устно объяснялись в любви друг к другу, но делали это по-разному — и даже в этом не понимали друг друга. Вы, по-моему, подходили ко мне не так, как я себя сознавал, и до сих пор подходите не так. Вы хотели и хотите знать мою «моральную, философскую, религиозную физиономию». Я *не умею*, фактически не могу открыть Вам ее без связи с событиями моей жизни, с моими переживаниями; некоторые из этих событий и переживаний не знает *никто на свете*, и я не хотел и не хочу сообщать их и Вам... Я готов сказать Вам теперь и письменно и устно хотя бы так: моральная сторона моей души не принимает уклонов современной эротика, я не хочу *душной атмосферы*, которую создает эротика, хочу вольного воздуха и простора; «философского credo» я не имею, ибо не образован философски; в бога я не верю и не смею верить, ибо значит ли верить в бога — иметь о нем томительные, лирические, скудные мысли... Я готов сказать лучше, чтобы Вы узнали меня, что я — *очень* верю в себя, что ощущаю в себе какую-то *здоровую цельность* и способность и умение быть *человеком* — вольным, независимым и честным... Чувствую, что всем, что пишу, делаюсь еще более чуждым Вам. Но я *всегда* был таким, почему же Вы прежде любили меня? «Или Вы были слепы?», спрошу в свою очередь» (VIII, 194 и сл.).

Переписка разъяснила ряд недоразумений по частным литературно-бытовым поводам и открыла путь

к внешнему, формальному примирению: 24 августа Блок приехал из Шахматова в Москву и имел с Белым длинный, продолжавшийся двенадцать часов разговор, о результатах которого Белый сообщает следующее: «...во многих вопросах журнальной политики мы разошлись; и решили, что мы — в разных группах; и в них оставаясь, мы будем друг друга всегда уважать». Однако, — продолжает А. Белый, — встреча эта «оказалась лишь радугой, — предвещающей о встрече, — а во все не встречей еще; настоящая новая встреча осуществилась: три года спустя; встреча же 1907 года скорее была ликвидацией личной драмы меж нами; ее корень вырван был, — правда; но разность во мнениях, в бытах, в обстанях все же перевесила готовность нас лично друг с другом дружить; я... искренно не понимал дружбы Блока с людьми мне враждебными, сам дружа с теми, кого Блок не мог выносить; так судьба отношений была этим предрешена; социальные факторы все ж перевесили личные».¹

Судьбу отношений предредила, конечно, не разность в «бытах» и «обстанях», а непримиримая разность «мнений». И хотя после встречи 24 августа Блок и Белый, очевидно из взаимной любезности и сами не веря этому, заверяли друг друга, что отношения их восстановились вполне, — мир, заключенный ими, оказался очень хрупким. Статья Блока «О лирике», провозгласившая, что «поэт совершенно свободен в своем творчестве, и никто не имеет права требовать от него, чтобы зеленые луга нравились ему больше, чем публичные дома», слишком явно метила в А. Белого — автора программной статьи «Луг зеленый» — и была для него столь же неприемлема, как и статья «О реалистах». Белый писал Блоку (27 сентября 1907 года), что с этой статьей он «не согласен абсолютно», что «она поразила, как громом» и С. Соловьева, и Эллиса, «искренне удивила Брюсова» и т. д.

Меньше чем через год — в мае 1908 года — отношения Блока и Белого снова прервались, и на этот раз надолго — до конца 1910 года (лично они не встреча-

¹ Андрей Белый. Между двух революций, стр. 329 и 335.

лись с 18 ноября 1907 по 1 ноября 1910 года). Внешним поводом к разрыву послужило резко отрицательное мнение Блока о «Кубке метелей» — «четвертой симфонии» А. Белого, в которой содержались прозрачные и довольно грубые выпады по адресу Блока (см., например, стр. 24 и 123). Мнение свое на сей счет Блок высказал А. Белому с полной откровенностью; дополнительную роль сыграли неумеренные полемические выступления С. М. Соловьева против Блока. А. Белый в ответ известил Блока (3 мая 1908 года), что прерывает с ним отношения.

Одновременно в «Весах» появилась статья А. Белого «Обломки миров» — о лирических драмах Блока. Здесь Белый в еще более резком тоне повторил свои прежние обвинения Блока в «кошунстве» и «пустоте мысли», — как будто никаких объяснений по этому поводу между ними не происходило. «Как атласные розы распускались стихи Блока, — писал Белый, — изпод них сквозило «виденье, непостижное уму» для многих его почитателей, для нас, когда-то пламенных его поклонников, встретивших его как создателя новых ценностей. Но когда облетел покров его музыки (раскрылись розы) — в каждой розе сидела гусеница, — правда, красивая гусеница (бывают красивые насекомые — золотые, изумрудные жуки), но все же гусеница; из гусениц вылупились всякие попики и чертенята, питавшиеся лепестками небесных (для нас) зорь поэта; с той минуты стих поэта окреп. Блок, казавшийся действительным мистиком, звавший нас к себе поэзией, превратился в большого, прекрасного поэта гусениц; но зато мистик он оказался мнимый. Но самой ядовитой гусеницей оказалась Прекрасная Дама (впоследствии разложившаяся на проститутку и мнимую величину, нечто вроде « $\sqrt{-1}$ »); призыв к жизни (той или этой — вообще новой жизни) оказался призывом к смерти». «Блок — талантливый изобретитель пустоты», — утверждал А. Белый. Драмы Блока — «обломки рухнувших миров»; к ним нельзя подходить «с точки зрения цели, смысла, ценности». «И если есть захват в драмах Блока, если плачем мы вместе с поэтом, то плачем мы не над героями его (его

герои — картонные манекены), плачем над драмой самого Блока». ¹ Справедливости ради стоит сказать, что статью эту сам Белый впоследствии назвал «запальчивой и ужасно несправедливой». ²

Разрыв с Андреем Белым Блок воспринял как лучшую форму ликвидации их зашедших в тупик отношений. «Я чувствую все больше тщету слов, — писал он 22 мая 1908 года М. И. Пантюхову. — С людьми, с которыми было больше всего разговоров (и именно мистических разговоров), как А. Белый, С. Соловьев и др., — я разошелся; отношения наши запутались окончательно, и я сильно подозреваю, что это от систематической «лжи изреченных мыслей» (VIII, 241). К тому времени Блок разошелся не только с соловьевцами, но и с Г. Чулковым, порвал с Мережковскими. Впрочем, свое литературное одиночество он приветствовал как желанную свободу: «Хвала создателю! С лучшими друзьями и «покровителями» (А. Белый во главе) я внутренне разделался навек. Наконец-то!» ³

ПО РАЗНЫМ ПУТЯМ

(1910—1921)

1

Процесс преодоления Александром Блоком декадентской психологии и эстетского индивидуализма во все не был бесперебойным и прямолинейным. Блок сам предостерегал против излишне упрощенного толкования его в конечном счете неуклонного, но сложного пути. В 1909 году он писал, исходя, конечно, из собственного опыта: «Писатель — растение многолетнее... Потому путь его развития может представляться прямым только в перспективе; следуя же за писателем по

¹ «Весы», 1908, № 5, стр. 65—68; см. также: А. Белый. Арабески. М., 1911.

² «Записки мечтателей», 1922, № 6, стр. 118.

³ «Записные книжки», стр. 108—109.

всем этапам пути, не ощущаешь этой прямизны и неуклонности, вследствие постоянных остановок и искривлений» (V, 369—370).

Таким искривлением пути была для Блока «темная полоса убийственного опустошения», длившаяся примерно с весны 1909 по осень 1910 года. Она ознаменовалась известным рецидивом антиобщественных настроений. Ненависть Блока к «страшному миру» царизма и капитализма нисколько не потеряла в своей искренности и страстности. Преданность народу и острое ощущение революционных сил, зреющих в глубине «народной стихии», по-прежнему владели Блоком. В начале 1909 года он писал, что «современная русская государственная машина есть, конечно, гнусная, слюнявая, вонючая старость: семидесятилетний сифилитик» и что «если есть чем жить», то уж, конечно, только русской революцией — юной и мужественной, включающей в себя «все вообще непокладливое, сдержанное, грозное, пресыщенное электричеством», с чем «никакой громоотвод не сладит» (VIII, 277).

Но вместе с тем Блок (отчасти в связи с тяжелыми личными переживаниями) испытывал в это время резкий упадок настроения и вообще жизненной энергии, что сказалось в стремлении «уйти в самого себя», изолироваться не только от окружающей лживой и позорной жизни, но и от «всякой политики», обрести свой чистый и праведный мир в «великом» и «вечном» искусстве. «Я считаю теперь себя вправе умыть руки и заняться искусством. Пусть вешают, подлецы, и околевают в своих помоях» (VIII, 282). С таким отчаянным настроением весной 1909 года Блок уехал за границу — в Италию и Германию, где его «обожгло искусство» и где жить ему сперва показалось «спокойно и просто». В письмах к матери он радовался, что «не слышит и не читает неприличных имен Союза русского народа и Милюкова»: «Всякий русский художник имеет право хоть на несколько лет заткнуть себе уши от всего русского и увидеть свою другую родину — Европу, и Италию особенно» (VIII, 284).

Впрочем, вскоре же Блок убедился, что европейская жизнь — «такая же мерзкая, как и русская». Тя-

желые настроения овладевают им все более и более. Уже «вся жизнь людей во всем мире» представляется ему «какой-то чудовищной грязной лужей»; люди ему — «отвратительны», жизнь — «ужасна». «Более чем когда-нибудь я вижу, что ничего из жизни современной я до смерти не приму и ничему не покорюсь, — писал Блок из Италии. — Ее позорный строй внушает мне только отвращение. Переделать уже ничего нельзя — не переделает никакая революция» (VIII, 289).

В 1909 году Блок постоянно возвращался к глубоко волнующей его теме своей личной и писательской судьбы, своего «пути». Он приходит к печальной мысли, что благодаря своим общественным интересам невольно, силою вещей, оказался вовлеченным в совершенно чуждую и органически враждебную ему атмосферу буржуазно-декадентской литературщины и либерального пустословия, в атмосферу «политиканства, хвастливости, торопливости, гешефтмахерства», всяческой суеты и демагогии. В одну из бессонных ночей он записывает для себя, что «надо резко повернуть, пока еще не потерялось сознание, пока не совсем поздно», что нужно жить одним высоким, подлинным искусством — «без Чулкова, без модных барышень и альманашников, без благотворительных лекций и вечеров, без актерства и актеров, без *истерического смеха*», которым отравлена вся буржуазно-декадентская литература, которым отравлен он сам. Он «хотел бы много и тихо думать, тихо жить, видеть немного людей, работать и учиться... Только бы всякая политика осталась в стороне». Ему кажется, что только при этих условиях он сможет «опять что-нибудь создать».¹

В своем искреннем, честном протесте против лживых, фальсифицированных форм либерально-буржуазной «общественности», насаждавшихся в декадентских литературных кругах, Блок был до конца принципиален и последователен. Легкие нравы, воцарившиеся в годы реакции в среде буржуазных литераторов, воспринимались им как непристойный и кощунственный

¹ «Записные книжки», стр. 145.

пир во время чумы. Но, как обычно, и в данном случае негативная, критическая сторона размышлений Блока была сильнее его позитивных установок. Осознав порочность буржуазного декаданса и лживость либерализма, он недостаточно вникал в истинный социально-исторический смысл этих явлений. Более того: он впадал в глубокое противоречие, полагая, что ненавистная ему атмосфера дешевого, крикливого политиканства и «гешефтмахерства» имеет источником своим революцию 1905 года, которая не только не разрушила «страшный мир», но, пораженная, разгромленная самодержавием, окончательно развязала все темные силы этого обреченного, но все еще торжествующего мира. В отчаянии, снова на некоторое время охватившем Блока перед лицом победившей реакции, сказала, конечно, недооценка величайшего исторического значения революции 1905 года, расшатавшей устои дворянско-буржуазной монархии и явившейся школой политического воспитания для многомиллионных масс русского рабочего класса и трудового крестьянства.

В известной статье «О современном состоянии русского символизма» (1910) Блок на языке своих мистифицированных, иррациональных образов переосмыслил революцию 1905 года как «одно из проявлений помрачнения золота и торжества лилового сумрака». По логике блоковской мысли, революция, не свершив того, что было задумано, опустошила, обожгла, испепелила художника, роковым образом изменившего постижению «Души Мира» ради им же самим созданного «лилово-синего призрака» гражданственности. Мысль Блока прихотлива и парадоксальна: «Мы пережили безумие иных миров, преждевременно потребовав чуда; то же произошло ведь и с народной душой: она прежде срока потребовала чуда, и ее испепелили лиловые миры революции» (V, 435). Иными словами: революция произошла преждевременно; она не стала «чудом», способным преобразить мир. «Русская революция кончилась, — писал Блок в июле 1909 года, по возвращении из-за границы. — Дотла сгорели все головни, или чаши людских сердец расплескались, и ви-

но растворилось опять во всей природе и опять будет мучить людей, проливших его, неисповедимым... Тоскует Душа Мира, опять, опять... Мужики по-прежнему кланяются, девки боятся барыни, Петербург покорно пожирается холерой, дворник целует руку, — а Душа Мира мстит нам за всех за них. «Возврат»... Возвращается все, все. И конечно — первое — тьма».¹

Трагедия художника — в том, что ничего не изменилось в «страшном мире». В нем, как и прежде, царит непроглядная тьма. Революция, потерпев поражение, оставила в душах и сердцах лучших людей одно чувство отчаянья. В этом — возмездие художнику, поверившему в созданный им «призрак», изменившему «святыне муз» ради «шумящего балагана», из пурпурно-золотого сияния мистических озарений перешедшему в лиловый сумрак «здешнего» несправедливого мира. Таков ход рассуждений Блока. «Будет еще много. Но Ты вернись, вернись, вернись — в конце назначенных нам испытаний, — закликает он «Душу Мира». — Мы будем Тебе молиться среди положенных нам будущего страха и страсти. Опять я буду ждать — всегда раб Твой, изменивший Тебе, но опять, опять — возвращающийся».²

Подобные настроения владели Блоком недолго, но именно на их почве возникли предпосылки его нового сближения с Андреем Белым. В сближении этом была своя закономерность.

Апелляция к «великому» и «вечному» искусству, представлявшая собою оборотную сторону правого гнева Блока против декадентского «шумящего балагана», неизбежно возвращала его вспять, приводила обратно в круг покинутых им было людей. Отгораживаясь от Г. Чулкова, в котором он видел теперь олицетворение всего легкомысленного, болтливое, фразистое, что было в декадентско-буржуазной литературной «общественности», Блок заявляет (в июне 1909 года), что «хотел бы иметь своими учителями» Мережковских, В. Брюсова, Вяч. Иванова, Станиславского. В этом

¹ «Записные книжки», стр. 153.

² Там же, стр. 154.

перечне нет еще Андрея Белого. Больше того: тут же Блок прибавляет, что «без Бугаева и Соловьева обойтись можно».¹ Перечень «учителей» (включая в их число и тогдашнего Станиславского) достаточно характерный: в представлении Блока, все это серьезные художники, блюстители чистоты и бескорыстной «незаинтересованности» искусства в условиях всеобщего «балаганного» шума и профанации того абсолютного и непреходящего, чем должна жить душа художника.

Свою убежденность в том, что только в искусстве можно обрести некоторое подобие личной независимости, Блок переключает в это время в плоскость защиты и своеобразного лирико-эстетического обоснования символизма — как современной формы подлинного, не фальсифицированного искусства. При этом Блок отдавал себе ясный отчет в том, что символизм уже находится в состоянии глубокого кризиса. Впоследствии в предисловии к поэме «Возмездие», задуманной в 1910 году, Блок отметил: «1910 год — это кризис символизма, о котором тогда очень много писали и говорили как в лагере символистов, так и в противоположном. В этом году явственно дали о себе знать направления, которые встали во враждебную позицию к символизму и друг к другу: акмеизм, эгофутуризм и первые начатки футуризма».

Вожди и теоретики символизма вынуждены были мобилизовать свои силы. Именно начиная с 1910 года предпринимаются одна за другой попытки гальванизировать умирающий символизм, укрепить его философскую базу и художественную теорию. Попытки эти, как известно, не увенчались успехом: предвоенные годы были временем окончательного распада символизма как эстетического мировоззрения и литературной школы. Задача защиты символизма диктовала новую перегруппировку сил. Если года за три до того, в период полемики вокруг проблемы «соборности» и теории «мистического анархизма», А. Белый и Вяч. Иванов оказались в разных станах, то теперь — перед

¹ Там же, стр. 145—146.

лицом общей опасности — они тесно объединились, изжив свои недоразумения по частным вопросам. В непосредственной близости к ним очутился и Александр Блок.

Центральным эпизодом истории русского символизма на этом, заключительном этапе его развития были программные выступления Вяч. Иванова и Блока в марте — апреле 1910 года и организация в Москве нового символистского издательства «Мусагет», в котором роль идейного руководителя на первых порах принадлежала Андрею Белому.

В начале 1910 года при незадолго перед тем возникшем журнале «Аполлон» (он вскоре стал органом группы акмеистов) образовалось Общество ревнителей художественного слова, в просторечии, в писательском кругу, именовавшееся «Академией». Здесь 26 марта 1910 года Вяч. Иванов выступил с докладом «Заветы символизма», в котором, поставив вопрос — существует ли символизм как поэтическая школа или его уже нет, утверждал, что символизм может и должен существовать в форме нового, «синтетического» символизма («синтетического» в том смысле, что символисты должны обратиться к «плановому исканию внутреннего синтеза своего мирозерцания»). Эту свою точку зрения Вяч. Иванов обосновывал и аргументировал все в том же отвлеченно-метафизическом плане, утверждая закономерность теургического искусства, идущего «от реального к реальнейшему».

Вяч. Иванов говорил, что символизм, являющийся «воспоминанием о священном языке жрецов и волхвов», не хотел и не мог быть «только искусством», что смысл его — в теургическом постижении некоего «объективного» сверхбытия, в раскрытии «таинственной сущности» явлений «мира сокровенного», лежащего за пределами «общедоступного опыта». Поэт-символист должен быть теургом, «религиозным устройтеlem жизни». Отличительными чертами истинно символического искусства Вяч. Иванов считал «сознательно выраженный художником параллелизм феноменального и нуминального» и «бессознательность» творчества, «не осмысливающего метафизической связи изображаемо-

го», а также «особенную интуицию и энергию слова, какое непосредственно ощущается поэтом как тайнопись неизреченного».¹

Проследивая развитие русского символизма, Вяч. Иванов пришел к выводу, что символисты вместе со всей Россией, в согласии с «народной душой», «пережили кризис войны и освободительного движения», после чего «не Голкондой волшебных чудес показался им мир... но грудой «пепла», озираемого мертвенным взором Горгоны». В творчестве поэтов-символистов «послышались крики последнего отчаянья», поскольку «солнцеподобный, свободный человек оказался... червем, бессильно упорствующим утвердить в себе опрокинутого действительностью бога». В частности, Александру Блоку — «паладину Прекрасной Дамы» — приснилась она «картонною невестой». Нет нужды доказывать, насколько отвечали эти размышления Вяч. Иванова тогдашним переживаниям и настроениям Блока.

Доклад Вяч. Иванова произвел на Блока сильное впечатление (он даже законспектировал доклад в записной книжке). Вскоре, 8 апреля 1910 года, он выступил в той же «Академии» с параллельным докладом «О современном состоянии русского символизма», в котором заявил о своем согласии с основными положениями и выводами Вяч. Иванова и поставил целью «конкретизировать» эти положения и выводы, раскрыть их терминологию и скрывающуюся за ними «реальность» — на примере собственного творческого пути. В этом смысле особенно важное значение имеет та часть доклада Блока, где он говорит о «тезе» и «антитезе» своей поэзии, связывая первую с мистико-романтическими темами «Стихов о Прекрасной Даме», а вторую — с «попираньем заветных святынь» в период «Балаганчика» и «Нечаянной Радости». Вслед за Вяч. Ивановым Блок призывал к верности «внутреннему канону», забвение которого увело символистов на «погибельные пути», и утверждал истинность теургического постижения «иных миров».

¹ Вяч. Иванов. Борозды и межи. М., 1916, стр. 127—137.

Имея в виду общее, перспективное направление творческого пути Блока, из доклада его «О современном состоянии русского символизма» не следует делать слишком поспешных и категорических выводов. В докладе наиболее существенна не «теоретическая» его сторона, а «лирическая» — осмысление поэтом собственного творческого опыта. При всем том для нас в данном случае важно остановиться на литературной позиции Блока, которую занял он в своем докладе. Он утверждал здесь, что путь к подлинному искусству («путь к подвигу, которого требует наше служение») лежит через символизм. Еще накануне, в марте 1910 года, в статье «Памяти В. Ф. Комиссаржевской», Блок заявил, что, поскольку «искусства не нового не бывает», «искусства вне символизма в наши дни не существует», что «символист есть синоним художника» (V, 418). В докладе о символизме это положение получило дальнейшее развитие и обоснование. «Символистом можно только родиться; — говорил Блок. — Солнце наивного реализма закатилось; осмыслить что бы то ни было вне символизма нельзя. Оттого писатели даже с большими талантами не могут ничего поделать с искусством, если они не крещены «огнем и духом» символизма». Главный, решающий вывод Блока таков: «Быть художником — значит выдерживать ветер из миров искусства, совершенно не похожих на этот мир, только страшно влияющих на него» (V, 433). Указывая, что символисты «прошли известную часть своего пути» и стоят «перед новыми задачами», Блок призывал символистов к единению: «Нас немного, и мы окружены врагами; в этот час великого полудня яснее узнаем мы друг друга; мы обмениваемся взаимно пожатиями холодеющих рук и на мачте поднимаем знамя нашей родины».

Доклад Блока сыграл крупную роль в его примирении с Андреем Белым. На этот раз, говоря словами Белого, социальные и литературные «факторы» действительно «перевесили личные». Вчерашние враги, казалось, снова обрели общий язык.

Летом 1910 года в Боголюбых, на Волыни, Андрей Белый прочитал в десятом альманахе «Шиповника»

стихотворный цикл Блока «На поле Куликовом» и «был потрясен силой этих стихов». ¹ Появление в печати доклада «О современном состоянии русского символизма» (в июньской книжке «Аполлона») послужило последним, решающим толчком и предлогом к возобновлению переписки. У Белого «с души сорвалось» покаянное и примирительное письмо: «Глубокоуважаемый и снова близкий Саша, прежде всего позволь мне Тебе принести покаяние во всем том, что было между нами. Я уже очень давно (более году) не питаю к Тебе и тени прошлого (смутного). Но как-то странно было об этом говорить Тебе. Да и незачем. Теперь, только что прочитав Твою статью в «Аполлоне», я почувствовал *долг* написать Тебе, чтобы выразить Тебе мое глубокое уважение за слова огромного мужества и благородной правды, которой... ведь почти никто не услышит, кроме нескольких лиц, как услышало эту *правду* несколько лиц в Москве. Сейчас я глубоко взволнован и растроган. Ты нашел слова, которые я уже вот год ищу, все не могу найти; а Ты — сказал не только за себя, но и за всех нас». ²

Вскоре (в сентябре) и бесноватый Эллис обратился к Блоку «с чувством примирения и симпатии», послав ему в подарок свою книгу с выписанной на титульном листе цитатой из того же блоковского доклада о символизме. Сергей Соловьев, в свою очередь, говорит, что в стихах «На поле Куликовом» он «радостно узнал мощные и светлые звуки прежнего певца Прекрасной

¹ Андрей Белый. Между двух революций, стр. 402.

² Александр Блок и Андрей Белый. Переписка, стр. 233. Письмо от конца августа — начала сентября 1910 года. Помимо всего прочего, А. Белый нашел в докладе-статье Блока высокую оценку своего романа «Серебряный голубь», названного «гениальным». Говоря о том, что он уже больше года не питает к Блоку «и тени прошлого», А. Белый, вероятно, преувеличивал. Во всяком случае, З. Н. Гиппиус писала Блоку в феврале 1910 года о Белом: «...он мне сказал, что *не* желал бы встретиться с вами... Он живет у Вяч. Иванова и проводит *все* ночи в разговорах, до 11 утра, так что в конце они уже говорить не могут, а только тыкают друг друга перстами и чертят по бумажке. Впечатление Боря произвел на нас потрясающее: совсем больной душевно человек. Лицо острое, забывает, что сказал, повторяется, видит везде преследования, и всякий с ним делает, что хочет» (ЦГАЛИ).

Дамы» и что в статье о символизме его порадовало «отрицательное отношение» Блока к «поэзии «Балаганчика» и «Незнакомки» (это было, конечно, очень плоским пониманием статьи Блока). В ноябре 1910 года Сергей Соловьев тоже послал Блоку примирительное письмо, на которое тот «радостно отозвался». Впрочем, «прежней дружбе, — писал С. Соловьев, — не суждено было воскреснуть. Мы продолжали смотреть в разные стороны. Встречи наши были ласковы, дружелюбны, но внешни. Вместо первоначальной любви, последовавшей вражды — наступила благосклонная отчужденность».¹

Эти слова, совершенно верно характеризующие стиль дальнейших отношений Блока с Сергеем Соловьевым, можно распространить и на отношения его с Андреем Белым, по-новому сложившиеся в 1910 году. Блок ответил А. Белому ласковым письмом (от 6 сентября): «Твое письмо, пришедшее с прошлой почтой, глубоко дорого и важно для меня. Хочу и могу верить, что оно восстанавливает нашу связь, которая всегда была более, чем личной (в сущности, ведь сверхличное главным образом и мешало личному). Нам не стоит заботиться о встречах и не нужно... Также мне хорошо то, что Ты просишь прощения у меня, — но я не принимаю этого. Или — принимаю лишь с тем, что и... Ты меня простишь за то, чего мы никогда не скажем (и не должны сказать) словами, но что я знаю, может быть, лучше Тебя... Еще — мне очень дорого Твое отношение к моей статье. Оно меня поддержит более, чем чье-либо мнение; когда я писал эту статью (и не одну эту), я внутренне, почти бессознательно, справлялся у Тебя, отсутствующего: «так ли?» Да, побратски. Ну, так правда торжествует. И я скажу: «аминь» (VIII, 314—315).

Но и на этот раз Андрей Белый, как всегда, сделал из признаний Блока слишком прямые и поспешные выводы: он удивительно не умел вслушиваться в чужие слова, внося в них собственные смыслы и домыслы. Так и теперь ему представилось, что автор «Бала-

¹ «Письма Александра Блока». Л., 1925, стр. 33—34.

ганчика», как блудный, но раскаявшийся сын, возвращается в отчий «соловьевский» дом. На самом деле все обстояло совсем, совсем иначе...

В октябре 1910 года Блок, занятый в Шахматове домостроительством, целиком погруженный в хозяйственные заботы, получил из издательства «Мусажет» предложение издать там новый сборник стихов, и кроме того — телеграмму следующего содержания: «Мусажет, Альциона, Логос приветствуют, любят, ждут Блока». ¹ Вскоре, 1 ноября, Блок приехал в Москву, встретился с А. Белым на его лекции о Достоевском (в Религиозно-философском обществе) и побывал в «Мусажете», где сговорился об издании трехтомного собрания своих стихотворений (кроме нового сборника — «Ночные часы»). «В Москве все близкие люди (т. е. Мусажет) производят трогательное и сильное впечатление», — писал он матери (VIII, 320).

«Приезд Блока — случайное пятно в моей жизни, — говорит А. Белый в мемуарах, — но он загрузил одиннадцатилетие отношений, в которых не было уже ни одной тени». ² С подобной интерпретацией дальнейших отношений Блока и Белого нельзя согласиться: они складывались не столь идиллически. Они, правда, больше не прерывались, но были в них, как увидим, довольно густые и мрачные тени и, уж во всяком случае, не было полного и ровного света.

Сближению Блока с «мусажетовцами» способствовало еще одно дополнительное обстоятельство — полемика, разгоревшаяся вокруг статей Блока и Вяч. Иванова о символизме. В полемике этой, ознаменовавшей явный разброд в лагере символистов, «мусажетовцы» целиком разделяли точку зрения Вяч. Иванова и Блока. Выступление В. Брюсова («О «речи рабской» в защиту поэзии»), возражавшего против понимания символизма как религиозного мировоззрения и утверждавшего, что символизм «хотел быть и всегда был только

¹ Телеграмма была принята на ст. Подсолнечная (возле Шахматова) 19 октября. «Альциона» — издательство, организационно объединенное с «Мусажетом»; «Логос» — философский журнал, учрежденный при «Мусажете».

² Андрей Белый. Между двух революций, стр. 403.

искусством», равно как и грубые нападки Д. Мережковского («Балаган и трагедия») — глубоко задела Блока, и он в полной мере оценил поддержку А. Белого, горячо выступившего в его защиту в статье «Венок или венец» («Аполлон», 1910, № 11).

Именно в связи с этой полемикой А. Белый и предпринимает отчаянные попытки собрать и привести в боевую готовность «истинно символистские» силы. «Сейчас нужна огромная созидательная, подземная работа, — пишет он Блоку в конце октября 1910 года. — Весь «Мусагет» есть попытка сохранить символизм, но пересадить его на кремнистую почву подтянутости и энергии из болот «психологических туманов». Настроение у нас вот какое: вчера над морем плавали символические корабли; но была «Цусима». Думают, что нас нет и флот уничтожен. «Мусагет» есть попытка заменить систему кораблей системой «подводных забронированных лодок». Пока на поверхности уныние, у нас в катакомбах кипит деятельная работа по сооружению подводного флота. И мы — уверены и тверды. И без Рождественского (Брюсова) мы только выигрываем».¹

Цитата эта дает ясное представление о программных установках «Мусагета» как боевого символистского объединения, в котором в первую очередь ставился вопрос о прочном и широком философском обосновании символизма. Программа действий по реконструкции умиравшего течения намечалась «мусагетовцами» в очень широких масштабах. На самом «Мусагете» в основном лежала задача выработки эстетики символизма. Общее философское обоснование символистской теории должны были дать неокантианцы, группировавшиеся вокруг журнала «Логос», вкупе с «христианскими философами», объединившимися в издательстве «Путь» и в московском Религиозно-философском обществе. А что касается общественно-политической ориентации «мусагетовцев», то она определялась их альянсом с группой «веховцев». А. Белый

¹ Александр Блок и Андрей Белый. Переписка, стр. 240.

в том же письме к Блоку прямо говорил, что «Мусагет», «веховцы» «и еще кое-кто» — «вехи какого-то издали намечаемого единства».

К тому времени «революционные» и «демократические» увлечения бывших «аргонавтов» (увлечения, о которых так настойчиво твердил А. Белый в своих мемуарах, в связи с революцией 1905 года) — развеялись как дым. Кадетизм — вот что определяло общественно-политический облик группы ближайших сотрудников «Мусагета», в состав которой входили такие люди, как Эллис — вчерашний «марксист» и завтрашний монах-иезуит, и Э. Метнер — «православный немец» открыто реакционных убеждений. О «веховской», антидемократической в существе своем позиции самого А. Белого свидетельствует, в частности, уже упомянутая статья его «Венок или венец», где он говорил, что опасность «демократизации знаний и философии» угрожает самому существованию культуры и искусства.

На деле никакого чаемого «мусагетовцами» единства не получилось. Союз символистов с философами-неокантианцами оказался очень непрочным; вскоре же между ними пошли раздоры, да и в рядах самих «мусагетовцев» не было полного единодушия. Широко намеченная программа действий по реконструкции символизма, по существу, осталась нереализованной. Гора родила мышь — тощий литературно-философский журнальчик претенциозно-гелертерского характера («Труды и дни»). Но даже и это мизерное предприятие, не сыгравшее в литературе сколько-нибудь заметной роли, влачило крайне жалкое существование (что ясно видно, между прочим, из писем А. Белого к Блоку). Все это со всей очевидностью выяснилось несколько позже — в начале 1912 года, но накануне — в конце 1910 и в 1911 году — А. Белый был еще преисполнен радужных надежд на успех предпринятой по его почину «огромной созидательной, подземной работы». Письма его к Блоку за это время проникнуты стремлением во что бы то ни стало втянуть Блока в круг своих интересов, привлечь его к практическому и активному участию в деле обновления и укрепления символизма.

Между тем индивидуальный общественно-литературный путь Блока, несмотря на его зигзагообразные повороты, порою сближавшие Блока с Белым, лежал в совершенно ином направлении. «Темная полоса убийственного опустошения», пережитая Блоком в 1909—1910 годах, была именно полосой, но не больше; рецидив его антиобщественных настроений был именно рецидивом, но не больше, — «искривлением пути», не изменившим его *перспективной* прямизны и неуклонности. Характерны откровенные признания Блока (в письмах к матери), относящиеся как раз к тому времени, когда он обдумывал и писал доклад «О современном состоянии русского символизма». Ограничимся несколькими примерами, свидетельствующими о том, насколько глубокие противоречия уживались в сознании Блока: «...во мне все крепче полевая мысль. Скоро жизнь повернется — так или иначе, пора уж. Кошмары последних лет — над ними надо поставить крест» (1 апреля 1910 года); «...мне тошно от рассуждений, хочется быть художником, а не мистическим разговорщиком и не фельетонистом. Мне кажется, что, когда это пройдет, я опять помолодею» (5 апреля 1910 года); «...всякие теоретизирования — только вредны. Живи, живи растительной жизнью, насколько только можешь, изо всех сил, утром видь утро, а вечером — вечер, и я тоже буду об этом стараться изо всех сил в Шахматове — первое время, чтобы потом, наконец, увидеть мир» (12 апреля 1910 года).

Именно это решительное уклонение от всяческого отвлеченного и бесплодного теоретизирования, горячее желание «увидеть мир», удивительная чуткость к жизни, которая в конечном счете всегда была для Блока дороже любых мистических представлений о ней, — именно эти высокие свойства настоящего художника сделали Александра Блока одним из величайших и благороднейших русских поэтов. Этими же свойствами Блока была предопределена судьба дальнейших его отношений с Андреем Белым. Пропать, образовавшаяся между ними в 1907—1908 годах, так и осталась незаполненной. Вскоре же после примире-

ния выяснилось, что общего языка им не найти, что говорят они о разном — даже в тех случаях, когда разговор идет на одну и ту же тему.

Андрей Белый настойчиво увлекал Блока в теорию, в «общее дело» символистов, убеждая его в необходимости общего «программного выступления». Блок же этому решительно сопротивлялся. А. Белый был озабочен тем, чтобы установить стройную «согласованность» подобных программных выступлений, чтобы найти для участников муссагетовского кружка общий и единый «ритм». Блок же, все внимательнее прислушиваясь к ритму живой жизни, все больше убеждался, что только этот ритм должен быть мерилем искусства. «Только наличностью пути определяется внутренний «такт» писателя, его *ритм*, — говорил Блок. — Всего опаснее — утрата этого ритма. . . Раз ритм налицо, значит творчество художника есть отзвук целого оркестра, т. е. отзвук души народной. Вопрос только в степени удаленности от нее или близости к ней» (V, 370—371). Не о кружковой «согласованности» и не о «ритме» программных выступлений, а о мощном внутреннем ритме художника, творящего в согласии с «народной душой», с родиной, с «мировым оркестром жизни», думал Блок, когда писал:

Зачем же в ясный час торжеств
Ты злишься, мой смычок визгливый,
Врываясь в мировой оркестр
Отдельной песней торопливой?

Смысл этих замечательных стихов раскрывается в статье Блока о Комиссаржевской, где он сказал, что «. . . не должно человеку плакать пьяными слезами, изрыгать богохуления, предаваться истерике, кланяться и нарушать визгливым воем своей расстроенной души важную торжественность мирового оркестра» (V, 417). И пусть Блок в то время вкладывал в понятия «ритм» и «мировой оркестр» свое, субъективистское и мистифицированное, содержание, утверждая, что художник, «по самой природе своей», проникает духовным взором за «первый план мира» — в ту «неизвестную даль», которая для обыкновенного взора

заслонена «действительностью наивной», — в конечном счете он думал и говорил о гармоническом согласии художника с жизнью — одновременно страшной и прекрасной, ненавистой и влекущей.

2

Уже в третьем письме после примирения Блок как бы предостерег А. Белого от слишком прямолинейного толкования своей статьи о символизме. Он терпеливо разъясняет, что статья эта — «не есть покаяние». Он всячески подчеркивает, что «остается самим собой, тем, что был всегда». Он признается, что не может и не хочет отречься от «Балаганчика» и «Незнакомки», потому что они составляют органическую часть его творчества, закономерный эпизод в истории его «внутреннего развития». «Веришь ли ты мне, *всему* моему «я», — спрашивает Блок А. Белого, — или только тому, от которого исходит статья о символизме, понятая тобой лишь *частично?*..» Больше того: Блок откровенно говорит, что, если «Балаганчик» и был «гибелью», в том смысле, что ознаменовал торжество декадентского «лилового сумрака» над золотом и пурпуром мистических прозрений, — он все же *любит* эту «гибель», «любил ее искони и остался при этой любви» (V, 317—318).

Здесь Блок касается самой сути своего трагического мировоззрения, нашедшего выражение в одной из центральных тем его поэзии — теме отчаяния и гибели. Тема эта — во всех многообразных ее преломлениях («страшный мир», «возмездие», «погибельные муки», «цыганские страсти», «смерть» и т. д.) — раскрывает идейно-философское содержание творчества зрелого Блока, которое в самой общей форме можно определить как трагизм человеческих переживаний в условиях распада и крушения буржуазного мира.

Однако этот глубоко присущий Блоку трагизм восприятия окружавшей его исторической действительности ни в малейшей мере не противоречил его стремлению «увидеть мир», познать жизнь во всей ее

сложности и цельности. «Мир прекрасен и в отчаянии — противоречия в этом нет», — сказал однажды Блок. Пусть этот мир бывает порою страшным, — быть с ним «странно и сладко» (VII, 138 и «Записные книжки», стр. 183).

Идут часы, и дни, и годы,
Хочу стряхнуть какой-то сон,
Взглянуть в лицо людей, природы,
Рассеять сумерки времен, —

писал Блок в октябре 1910 года. Путь к миру, к людям, к живой жизни он осмыслял в своем личном плане как «воплощение» или «вочеловечение». К этой теме он не раз возвращается в переписке с А. Белым, заново пересматривая всю историю их запутанных отношений. В 1911 году он пишет Белому, что в годы их мучительной «дружбы-вражды» ничего «человеческого» и не было между ними, «было или нечеловечески неслыханное, или не по-людски ужасное, страшное, иногда уродливое», и что только теперь они «выходят из ночи, проблуждав по лесам и дебрям долгие годы», — и выходят по-разному, выходят «чудесно разные, как подобает человеку». Блок очень настаивает на этой человеческой «разности»: «Сходны бывают «счастливыцы» («счастливычки»), осужденные не воплотиться, носясь по океану удач и легких побед».

В том же письме Блок с замечательной отчетливостью характеризует пройденный им путь как «трилогию вочеловечения»: «Единственно, что мне необходимо ответить Тебе, как самому проникновенному критику моих писаний, — это то, что таков мой путь, что теперь, когда он пройден, я твердо уверен, что это должное и что все стихи вместе — «трилогия вочеловечения» (от мгновения слишком яркого света — через необходимый болотистый лес («Нечаянная Радость» — книга, которую я, за немногими исключениями, терпеть не могу) — к отчаянию, проклятию, «возмездию» и... — к рождению человека «общественного», художника, мужественно глядящего в лицо миру, получившего право изучать формы, сдержанно испытывать годный и негодный материал, вглядываться в контуры

«добра и зла» — ценою утраты части души). Отныне я не посмею возгордиться, как некогда, когда, неопытным юношей, задумал тревожить темные силы — и уронил их на себя. Потому отныне *я не лирик*» (VIII, 344).

К этому времени в душе и сознании Блока уже произошёл новый перелом, не менее важный и решающий, чем тот, что случился в 1907 году. Он приходит к окончательному убеждению, что «настоящее произведение искусства может возникнуть только тогда, когда поддерживаешь непосредственное (не книжное) отношение с миром», и это убеждение он пытается творчески реализовать в поэме «Возмездие». В феврале 1911 года, в разгар работы над поэмой, Блок пишет матери: «Я чувствую себя очень окрепшим физически (и соответственно нравственно), и потому у меня много планов, пока — неопределённых... Я чувствую, что у меня, наконец, на 31-м году, определился очень важный перелом, что сказывается и на поэме, и на моем чувстве мира. Я думаю, что последняя тень «декадентства» отошла. Я определенно хочу жить и вижу впереди много простых, хороших и увлекательных возможностей — притом в том, в чем прежде их не видел. С одной стороны — я «общественное животное», у меня есть определенный публицистический пафос и потребность общения с людьми — все более по существу. С другой — я физически окреп и очень серьезно способен относиться к телесной культуре, которая должна идти наравне с духовной... Меня очень увлекает борьба и всякое укрепление мускулов, и эти интересы уже заняли определенное место в моей жизни; довольно неожиданно для меня (год назад я был от этого очень далек) с этим связалось художественное творчество. Я способен читать с увлечением статьи о крестьянском вопросе и... пошлейшие романы Брешки-Брешковского, который... ближе к Данту, чем... Валерий Брюсов... Все это я сообщаю тебе, чтобы ты не испугалась моих неожиданных для тебя тенденций и чтобы ты знала, что я имею потребность *расширить* круг своей жизни, которая до сих пор была углублена (за счет должного расширения)» (VIII, 331—332).

Эти новые тенденции сказались, в частности, и в том, что Блок открыл для себя Стриндберга: В «человечном», «мужественном» и «истинно демократическом» облике этого писателя Блок увидел тип «нового человека» — сильного, волевого, свободного от «вялой сентиментальности», расслабляющей душу и тело. Отчасти под влиянием стриндберговской идеи «мужественности» складывается у Блока представление о художнике, «мужественно глядящем в лицо миру». Об этом он писал в прологе поэмы «Возмездие» (начало марта 1911 года):

Но ты, художник, твердо веруй
В начала и концы. Ты знай,
Где стерегут нас ад и рай.
Тебе дано бесстрашной мерой
Измерить все, что видишь ты.
Твой взгляд — да будет тверд и ясен.
Сотри случайные черты —
И ты увидишь: мир прекрасен. . .

Социальное зрение Блока снова, и уже навсегда, проясняется. Неуклонно растут его общественные интересы. Он сообщает матери, что поэма его проникнута «яростной ненавистью» к русскому правительству и реакционной прессе («Новое время»). Он сочувственно приветствует публицистические выступления М. Горького и большевистскую «Звезду»: «. . . Все здесь ясно, просто и отчетливо (потому талантливо). . . После эстетизмов, футуристов, аполлонизмов, библиофилов — запахло настоящим» (VII, 131). Из заграничной поездки 1911 года Блок вывез впечатление о кризисе, о «чудовищной бессмыслице» капиталистической цивилизации — этой «лужи, образовавшейся от человеческой крови, превращенной в грязную воду» (VIII, 362 и 365). В 1911, 1912, 1913 годах он снова полон острых предчувствий надвигающихся грозных революционных событий — «неслыханных перемен» и «невиданных мятежей». Поэма «Возмездие» и отпочковавшиеся от нее гражданские стихи цикла «Ямбы» — проникнуты ощущением подступившей «великой грозы».

В октябре 1911 года Блок отметил в дневнике: «Пишу Боре и думаю: мы ругали «психологию»

оттого, что переживали «бесхарактерную» эпоху. . . Эпоха прошла, и, следовательно, нам опять нужна *вся* душа, все житейское, весь человек. . . Безумно люблю жизнь, с каждым днем больше, все житейское, простое и сложное, и бескрылое, и цыганское» (VII, 79). Как все это бесконечно далеко от аксиоматических моральных абстракций, в бездонные «глубины» которых все более и более погружался Андрей Белый и в которые он настойчиво, но безуспешно пытался увлечь Блока.

С полным отсутствием «музыкального слуха» (в блоковском смысле этого слова), глухой к «мировому оркестру» живой жизни, Андрей Белый все еще продолжал говорить о «будущей встрече» символистов, об их «общем деле», об их «духовной связи». Блок же окончательно и бесповоротно убедился в том, что «*талантливое* движение, называемое «новым искусством», кончилось, т. е. маленькие речки, пополнив древнее и вечное русло чем могли, влились в него. Теперь уже есть только хорошее и плохое, искусство и не искусство». ¹ Символизм теперь представляется Блоку «мутной водой», «несуществующей школой» (VII, 140). С трудом рожденная первая книжка «Трудов и дней» произвела на него неприятное впечатление — прежде всего потому, что вдохновители этой затеи — А. Белый и Вяч. Иванов — опять, как ни в чем не бывало, заговорили об «искусстве» и о «школе искусства», а не о «человеке» и не о «художнике», о которых только и хотел слышать и говорить Блок. Вместо «вочеловечения», ради которого, с точки зрения Блока, стоило сходитья бывшим символистам, Вяч. Иванов, как и раньше, «громыхнул» очередным манифестом о символической школе, — громыхнул не к месту и не вовремя — «над печальными людьми, над печальной Россией в лохмотьях». ² С полной откровенностью признавался Блок в это время, что душная и «не музыкальная» атмосфера Вяч. Иванова для него «немыслима» (VIII, 384).

¹ Письмо к А. Белому от 6 июня 1911 года (VIII, 344).

² См. письмо Блока к А. Белому от 16 апреля 1912 года (VIII, 386).

Хотя Андрей Белый и заверял Блока, что приемлет его «всяким», и с неизменным сочувствием откликнулся на его признания, — делал он это, нужно думать, не вполне искренне. Годы 1909—1912 для А. Белого тоже были временем перелома, напряженных поисков пути к целостному мировоззрению. Только поиски эти вели А. Белого совсём в другую сторону, нежели Блока, и в конце концов закономерно привели его к мракобесной антропософии. А. Белый еще более настойчиво, нежели это было прежде, обращается к фрейбургской школе неокантианцев, к Риккерту. В статьях «Эмблематика смысла» и «Проблема культуры» (обе — 1909 года) он с наибольшей отчетливостью и полнотой попытался дать теоретическое обоснование символизма как «нового религиозно-философского учения» и «системы мистического и эстетического опыта» в свете понятий неокантианской гносеологии, прежде всего — риккертского учения о «ценности», которое явилось наиболее реакционным и антинаучным выражением субъективного идеализма, наиболее откровенной формой критики материалистической теории познания. Но и самое риккертство А. Белый истолковывал в теософско-эсотерическом плане, выдвигая трансцендентную норму «ценности» как факт индивидуального, внутренне переживаемого мистического опыта. «Умение пережить нечто ценное», — по А. Белому, — «это почти уже магия, за которой кроется мудрость посвященного в глубину живой жизни». ¹ В «Эмблематике смысла» А. Белый, несмотря на ряд оговорок и околнностей, связывает свое представление о «ценности» с теософскими доктринами, с различными вариациями индийской философии и средневековой астрологии. От Риккерта, через Блаватскую, Анни Безант и Ледбитера к Рудольфу Штейнеру — таков был путь, который прошел Андрей Белый в 1909—1912 годах.

Естественно, что все, чем жил в это время Блок, было А. Белому глубоко чуждо по самой природе и теме тогдашних его душевных переживаний. Недаром.

¹ Андрей Белый. Проблема культуры. — В его книге «Символизм». М., 1910, стр. 4.

много лет спустя, прочитав дневник Блока за 1911—1913 годы, он необычайно злобно отозвался об этом документе, в котором Блок с величайшей искренностью исповедовался в своих думах и сомнениях. «Могу сказать кратко: читал — кричал! То есть, прочтешь страничку — и взорешь от негодования, — писал А. Белый в апреле 1928 года Иванову-Разумнику. — Крепко любил и люблю А. А., но в эдаком виде, каким он встает в 11—13 годах, я вынести его не могу: *никогда не мог*; и всякий намек на такого, показанного в «Дневнике» Блока — вырывает у меня крик страстной, может, пристрастной злобы и негодования; если бы в эпоху 11—13 годов я был жизненно посвящен в *труды и дни* Блока (изо дня в день), — не было бы в этих годах наших встреч и, разумеется, не было бы нашей переписки».

В чем только А. Белый не обвинил Блока этих лет: и в кутежах, и в «беспросветной, ничем не оправданной злости», и в «бекетовской спеси», и в «очерствении» (!), и в «гнилой мистике» (!!), и в «народофобии» (!!!). В своей безудержной запальчивости и абсолютном непонимании Блока он договорился до того, что сравнил его с... Николаем II и с Федором Павловичем Карамазовым (который, как известно, был «зол и сентиментален»). Глубоко присущее Блоку демократическое чувство, ставившее его на десять голов выше всех остальных символистов, А. Белый трактовал совершенно возмутительным образом: «Это — не любовь, а пьяная икота душевного паралитика, бессильного сбросить с себя протрацию; ему остается, как последняя форма самобичевания, пустить спяну слезу о народе».¹

Как бы снисходительно ни относиться к полемическому темпераменту Андрея Белого, этот запоздалый взрыв «пристрастной злобы» оставляет крайне тяжелое и неприятное впечатление. Впрочем, нужно по достоинству оценить пафос и откровенность этой злобной выходки, проясняющей многое в отношении А. Бе-

¹ Цитирую по копии, хранившейся (в 1939—1940 годах) в Гос. Литературном музее.

лого к Блоку. В частности, в свете подобных высказываний (а они не исчерпываются приведенными цитатами) понятной становится та интерпретация образа Блока, которая дана А. Белым во второй редакции его воспоминаний. Можно поверить А. Белому, что он действительно «не мог вынести» такого Блока, каким стал тот в зрелую пору своей жизни. Только потому, что отношения их приняли после примирения в 1910 году форму «далековатой дружбы», дело не кончилось новым, быть может, еще более острым конфликтом. В 1911—1912 годах оба они отчетливо понимали, что пути их круто разошлись врозь, но, не желая и боясь воскрешать все «не по-людски ужасное», что было между ними в прошлом, скрывали это понимание друг от друга, уйдя каждый в свою сферу переживаний (впрочем, А. Белый, в силу неистребимой своей экспансивности, усердно посвящал Блока в свои антропологические интересы).

Блок и Белый стали чужды друг другу, но из этого не следует, конечно, что у них не оставалось никаких общих тем и что интересы их никак не пересекались. Напротив: именно в это время, в 1911—1913 годах, у них возникали и общие темы, и разительно сходные переживания.

Такова, в частности, философско-историческая тема Востока и Запада, арийской культуры и «желтой опасности», занимающая достаточно видное место в их переписке. И в данном случае, как и во всех других, Блок сходил с А. Белым на том, что составляло объективно реакционный элемент в его мировоззрении. Общим для обоих источником этой темы была идея «панмонголизма», выдвинутая в свое время Вл. Соловьевым и тесно связанная с его эсхатологическими и теократическими концепциями. Поэтической формулировкой этой идеи служили известные стихи Вл. Соловьева, написанные в 1894 году под впечатлением японо-китайской войны:

Панмонголизм! Хоть слово дико,
Но мне ласкает слух оно,
Как бы предвестием великой
Судьбины божией полно...

В эсхатологических тонах Вл. Соловьев рисовал фантастическую картину грядущего нашествия народов Востока, будто бы угрожающего самому существованию западной христианской цивилизации. В соответствии со всей системой своих религиозно-философских и исторических взглядов Вл. Соловьев истолковывал эту угрозу как «орудие божьей кары», долженствующее обрушиться на «растленный» католический Запад в порядке возмездия за его измену духу и заветам истинного христианства. Призывая к борьбе с «панмонголизмом», — к борьбе, в которой перед Западом раскрывается путь «очищения» и духовного возрождения, — Вл. Соловьев предрекал, что в противном случае Россия — «третий Рим», форпост христианства на Востоке — разделит «судьбу павшей Византии»:

Смирится в трепете и страхе
Кто мог завет любви забыть...
И третий Рим лежит во прахе,
А уж четвертому не быть.

События, развернувшиеся в Китае шесть лет спустя (боксерское восстание, безжалостно разгромленное соединенными силами западно-европейских империалистов с участием русского царизма), вызвали у Вл. Соловьева приветственный гимн Вильгельму II («Зигфриду»), выступившему инициатором интервенционистского похода в Китай:

Из-за кругов небес незримых
Дракон явил свое чело, —
И мглою бед неотразимых
Грядущий день заволокло...

Наследник меченосной рати!
Ты верен знамени креста.
Христов огонь в твоём булате,
И речь грозящая свята...

...перед пастью дракона
Ты понял: крест и меч — одно.

Эта же тема была затронута Вл. Соловьевым в «Трех разговорах» и в «Краткой повести об антихристе». Соловьевские вещания о «грядущей монголь-

ской грозе» и громогласные воинственно-христианские призывы к кресту и мечу — служили одной из форм «религиозно-философского» обоснования расовых теорий империалистической буржуазии. В связи с боксерским восстанием 1900 года, а еще более в связи с русско-японской войной, они воспринимались в определенных кругах буржуазной интеллигенции как прямое пророчество о неизбежном якобы катастрофическом столкновении «двух миров», о силах «пробудившегося Востока», грозящих затопить христианский Запад. Согласно теократической утопии Вл. Соловьева, России предназначалась в этой грядущей «последней борьбе» особо ответственная роль. Россия — «Восток Христа» — должна была принять на себя нравственно обязательную миссию спасения христианского мира от «низших стихий», идущих на него с «Востока Дракона».

О Русь! в предвиденье высоком
Ты мыслью гордой занята;
Каким же хочешь быть Востоком:
Востоком Ксеркса иль Христа? —

восклидал Вл. Соловьев в стихотворении, носящем манифестальное заглавие «Ex Oriente lux» («С Востока свет»).

Пугая Европу грядущим нашествием «низших стихий» Востока, Вл. Соловьев, объективно говоря, выступал проводником тех архиреакционных, человеконенавистнических расовых теорий, которые в практике идеологов западноевропейского и русского империализма приобретали конкретно-политические формы, служили целям кровавого порабощения и хищнической эксплуатации колониальных и полуколониальных народов.

В представлении русских символистов, усвоивших учение Вл. Соловьева, идея «панмонголизма», сохраняя свой объективно реакционный смысл, в значительной мере утрачивала свое конкретное содержание и из сферы политической идеологии переводилась в план отвлеченных историософских и религиозно-моральных концепций и мистико-эсхатологических размышлений о грядущих судьбах человечества.

Идея «панмонголизма» произвела глубокое впечатление и на Блока и на А. Белого еще в пору их юности. В 1911 году (отчасти в связи с подъемом национально-освободительного движения в Китае) она зазвучала для них с новой силой. Впрочем, и к этой общей для них теме Блок и Белый подходили по-разному.

Блок по-своему осмыслял «желтую опасность». Он видел ее прежде всего в моральном и культурном одичании торжествующего мещанства, населяющего «страшный мир» буржуазной действительности. «Эти ужасы вьются кругом меня всю неделю, — записывает он в ноябре 1911 года. — ...Такова *вся* толпа на Невском. Такова морда Анатолия Каменского. — Старики в трамвае были похожи на Суворина, и на Меньшикова, и на Розанова. Таково *все* «Новое время». Таковы — «хитровцы», «апраксинцы», Сенная площадь... Все ползет, быстро гниют швы изнутри («преют»), а снаружи остается еще видимость. Но слегка дернуть, и все каракули расползутся, и обнаружится грязная морда измученного, бескровного и изнасилованного тела. — Так и мы: позевываем над желтой опасностью, а *Китай уже среди нас*. Неудержимо и стремительно пурпуровая кровь арийцев становится желтой кровью. Об *этом*, ни о чем ином, свидетельствуют рожи в трамваях, беззаботный хохот Меньшикова (*Иуда, Иуда*), голое дамское под гниющими швами каракуля на Невском. Остается маленький последний акт: внешний захват Европы. Это произойдет тихо и сладостно, внешним образом. Ловкая куколка-японец положит дружелюбно крепкую ручку на плечо арийца, глянет «живыми, черными, любопытными» глазками в оловянные глаза *бывшего* арийца... Надо найти в арийской культуре *взор*, который бы смог бестрепетно и спокойно (торжественно) взглянуть в «любопытный, черный и пристальный и голый» взгляд — 1) старика в трамвае, 2) автора того письма к одной провокаторше, которое однажды читал вслух Сологуб в бывшем Café de France, 3) Меньшикова, продающего нас японцам, 4) Розанова, убеждающего смешаться с сестрами и со зверями, 5) битого Суворина, 6) дамы на Невском, 7) немецко-российского мужеложца... Всего не исчис-

лишь. Смысл трагедии — *безнадежность* борьбы; но тут нет отчаянья, вялости, опускания рук. Требуется высокое посвящение» (VII, 87—89).

Осмысляя трагедию окружавшей его русской жизни, Блок (как обычно) интегрирует свои разнообразные жизненные впечатления и наблюдения. Тут и самодовольная «морда» Анатолия Каменского — модного в свое время беллетриста, автора порнографических рассказов, служивших одним из наиболее характерных признаков упадка и разложения буржуазной литературы в годы реакции. Тут и черносотенцы, начиная с издателя «Нового времени» Суворина и его подручного Меньшикова и кончая лабазниками с Хитрова рынка, Апраксина переулка и Сенной площади. Тут и «религиозный философ» Розанов, небрежливо копающийся в «вопросах пола», и политические провокаторы, и буржуазные дамочки с Невского — вся нечисть, населявшая ненавистный Блоку «страшный мир».

Блок с болью в душе констатирует засилье этой нечисти, видит в этом засилье страшную угрозу «желтокровия», реальную опасность для существования культуры, отраву, вползающую в душу человека и разъедающую ее. Но Блок не впадает в отчаянье, не хочет «опускать рук». Тут же он приводит в качестве своего боевого жизненного лозунга стихи Тютчева:

Мужайтесь, о други, боритесь прилежно,
Хоть бой и неравен, борьба безнадежна!

Там, где есть «борьба и страсть», «огонь и тревога» — там, по Блоку, «кровь не желтеет». И обратно: она «желтеет» там, где остается либо одна резиньяция, либо «эстетический идеализм», либо обывательское сытое благополучие.

Нетрудно убедиться, что идея «желтокровия», несмотря на объективно реакционный смысл самой концепции «панмонголизма», согласовалась в сознании Блока с владевшей им идеей «художника, мужественно глядящего в лицо миру», — хотя, само собой разумеется, прислушивание к расистской «философии истории», ложной в самом корне, с начала до конца, принадлежит к числу глубоких заблуждений Блока. К сча-

стью, решающее значение для Блока имели не подобные заблуждения, а то, что им противостояло.

Совсем иную роль — при внешнем сходстве — играла соловьевская идея «панмонголизма» для Андрея Белого. В общей системе его тогдашних философско-исторических взглядов и в его творчестве той поры (роман «Петербург») идея эта имела уже не просто объективно реакционный, но обнаженно контрреволюционный смысл. В «монголизме» для А. Белого воплощалось все «темное», «стихийно-хаотическое», идущее на Россию и несущее ей гибель. Отсюда — все «монгольско-эсхатологические» мотивы и образы романа «Петербург»: и возникающее в химерическом видении «роковое лицо с узкими, монгольскими глазами», и пролетающий по петербургским улицам таинственный автомобиль «с желтыми монгольскими рожами», и вещания о том, что «под монгольской тяжелой пятой опустятся европейские берега». Борьба с «монголизмом», по Белому, безнадежна, потому что микроб «монголизма» глубоко проник в арийскую культуру и разлагает ее изнутри. Еще в романе «Серебряный голубь» (1909—1910) А. Белый вкладывал в уста одного из персонажей такие рассуждения: «...русские люди вырождаются; европейцы вырождаются тоже; плодятся одни монголы да негры... У нас всех — монгольская кровь, не ей удержать нашествие: нам всем предстоит пасть ниц перед богдыханом» (глава VI — «Молитва»).

В «Петербурге» бессознательными носителями «монголизма» оказываются одновременно и реакционный сановник Аبلухов-отец, и «революционер» Аبلухов-сын, и террорист Дудкин, каждый по-своему воплощающие идею разрушения «арийского мира», идею «всемирного нигилизма». И здесь раскрывается сквозная «подтема» романа: революция есть одно из проявлений мировой крамолы, «стародавнего монгольского дела». Это — «бесовщина», адская химера, кошмарное «наваждение», нависшее над Россией. В первоначальной редакции романа, не попавшей в печать,¹

¹ Она отчасти известна по статье Иванова-Разумника «Петербург» (в его сборнике «Вершины». П., 1923).

эта «подтема» выявлена вполне отчетливо. Здесь революция прямо трактуется как «мобилизация темных сил под благовидным покровом социальной справедливости», как «ложь грядущего на нас восточного хаоса (панмонголизм)». Спасение от этого «хаоса», от этой «лжи» — в «духовном очищении», а путем к такому очищению стала для Андрея Белого в 1912 году антропософия (целый ряд эпизодов в первоначальном варианте «Петербурга» разработан в аспекте антропософского учения). Впоследствии, как известно, А. Белый кардинально переработал свой роман, и в результате этой переработки «подтема» революции как явления «монголизма» — оказалась снятой. Произошло это в связи с тем решающим сдвигом в мировоззрении Андрея Белого, которого мы еще коснемся.

Из всего вышесказанного с очевидностью следует, что идейная позиция, которую занимал Андрей Белый в 1911—1913 годах, была для Блока неприемлема. Сходных переживаний на некоторые общие темы оказалось недостаточно для того, чтобы по-настоящему закрепить их связь. Обращение А. Белого к антропософии (в мае 1912 года) окончательно разветвило их пути.

Андрей Белый подробно рассказал о своей «штейнерьяде» в письмах к Блоку и — позже — в воспоминаниях.¹ С фактической стороны к его рассказу прибавить нечего; что же касается антропософии по существу, то нужно сказать несколько слов об этой архи-реакционной, мракобесной доктрине, представляющей собою окрошку из самых разнообразных мистических и оккультных «учений» древнего и нового времени: греческой (пифагорейской и новоплатоновской) мистики, индийской теософии, еврейской каббалистики, христианской гностики, манихейства, средневековой астрологии, тайного учения розенкрейцеров, мистических элементов философии Гёте, Фихте и Шеллинга, расовых концепций и т. д. По сути дела антропософия явилась вариацией теософии, — хотя Рудольф Штейнер

¹ См.: Александр Блок и Андрей Белый. Переписка, стр. 293—303; ср. «Беседа» (Берлин), 1923, № 2.

(сам вышедший из Теософского общества) и его ученики ожесточенно полемизировали с теософами из круга Блаватской, Безант и Ледбитера. Отличия антропософской доктрины от теософии крайне незначительны: они сводятся, главным образом, к тому, что вместо индийской мистики, на которую прежде всего опирались теософы, штейнерианцы выдвигали христианскую гностику, пытаясь связать ее с мистически интерпретированным естествознанием.

В основе антропософской доктрины лежала идея «духовного преображения» человека в его личном мистическом опыте. Отсюда — и самое понятие «антропософия» («человекомудрие»), обозначающее учение о «духовном знании», «науку о духе» (*Geisteswissenschaft*). По Штейнеру, от антропоса ведет начало всякое познание; изучение собственной сущности, своего «я» — раскрывает сущность мира. «Дисциплинированием духа» и особой, изощренно разработанной морально-религиозной системой «духовного поведения» человек якобы способен преодолеть тесные границы своего субъективистского сознания и подняться на более высокую ступень развития — одухотворить себя. Согласно этому убеждению, антропософы выработали целую градацию различных состояний человеческого духа: физическое тело, эфирное тело, астральное тело, я, дух-сам (Манас), жизненный дух (Будхи) и, наконец, наивысшая форма — духо-человек (Атма).

Вся организационная структура Антропософского общества и вся воспитательная практика Штейнера были основаны на принципах строгой секретности и безусловного послушания. Внутри общества соблюдалась сложная, многоярусная иерархия, созданная отчасти по образцу ритуальной практики масонских объединений. Руководство безраздельно осуществлялось «Доктором» — Рудольфом Штейнером — через посредство очень узкого круга особо доверенных лиц, составлявших замкнутую верхушечную аристократию секты. Неофиты должны были пройти специальный «подготовительный курс». Никакой критики руководства не допускалось. Выступления Рудольфа Штейнера — устные и печатные — делились на: публичные до-

клады и книги, поступавшие в общую продажу; «циклы», предназначенные лишь для «посвященных»; строго секретные доклады, читавшиеся в узко ограниченной «эзотерической школе». Ученикам своим Штейнер задавал темы для «упражнений» и «размышлений» (Meditationen), которым они обязаны были предаваться дважды в день (читать одно и то же, садясь на том же месте). Насколько жесткий казарменно-монастырский режим применялся в отношении рядовых членов Антропософского общества, видно из того, например, что Штейнер категорически требовал от своих адептов полной изоляции от близких им людей, от родных, от семьи (если они не были сами причастны к антропософии). «Не надо придавать цены всему тому, что нас обыкновенно связывает с другими», — учил Рудольф Штейнер, и эта иезуитская «мораль» методически проводилась им в жизнь. Из писем Андрея Белого к Блоку видно также, сколь деспотически распоряжался Штейнер его временем и волей, то приказывая «быть при себе», то отсылая «работать».

Грустно читать письма Андрея Белого, в которых он истерически-восторженно описывает свое приобщение к штейнерианству. Совершенно бредовые описания всевозможных «странных явлений» отдают прямым шарлатанством. Но это было бы еще полбеды. Хуже и печальнее, что А. Белый искренне верил в созданную им мистико-окультурную химеру. Измученный (по собственному его признанию) бесконечными «медитациями», доведенный до последней степени болезненно-истерической экзальтации, он утверждал, что антропософия «осветила ему его былые идейные странствия»¹ и открыла перед ним «безмерные горизонты», что доктор Штейнер «стал лучшей частью души Андрея Белого». В ноябре 1912 года он писал Блоку: «Ты спросишь: «А прошлое, искусство, жизнь, связи? . . .» Ответу: «Ничего не откидывается: все пресуществляется, все горит в новом свете». И тут же переходил к сомнамбу-

¹ См. предисловие А. Белого к сборнику «Звезда» в его книге «Стихотворения» (Берлин, 1923, стр. 409).

лическим рассуждениям об «эфирном теле» и тому подобной набившей оскомину теософской абракадабре.

В письме от 19 мая (1 июня н. ст.) 1912 года А. Белый с полной серьезностью сообщал Блоку об «ореоле, существующем вокруг Штейнера», о том, что всякий, кто подходит к антропософии «реально», испытывает «гонения и страдания, болезни, недомогания», что он, Белый, «приготовился эфирно гореть», ибо это должно неминуемо произойти с каждым, кто установит оккультный «контакт» с «учителем». Он с полной серьезностью рассказывал Блоку о шарлатанской «тайной вечери», устроенной Штейнером при встрече православной Пасхи: «Когда он разрезал кулич и роздал, то вдруг наступило молчание, продолжавшееся 20 минут, во время которого поднялась такая буря астрального света, что нельзя было выдержать (ежегодно около Штейнера по несколько случаев сумасшествия: не выдерживают страшной напряженности и *атмосферы* буквальных чудес в его окружении, — кстати: сейчас около него начинает видеть слепой, у которого разрушилась уже клетчатка глаза)».

Дальше идти, поистине, некуда: Рудольф Штейнер в роли нового Иисуса Христа, творящий евангельские чудеса, окруженный «пурпурным ореолом», — здесь мы уже прямо вступаем в область средневекового мракобесия. Не вызывают удивления только «случаи сумасшествия» — с той поправкой, что вся секта антропософов состояла из людей, страдавших особой формой помешательства. Нужно сказать, что и сам Андрей Белый испытывал известную неловкость, когда посвящал Блока в свою «штейнерьяду»: «Саша, голубчик, мне стыдно писать, потому что *такое* обилие *странного* может показаться шарлатанством, а что делать: так, как пишу, и было... Скажешь, а слушатель почешет затылок, недоверчиво поглядит и скажет: «даа... знаете ли...» и замнет разговор, чтобы вывести из неловкого положения зарвавшегося...»

Трагедия Андрея Белого заключалась в том, что, несмотря на его заверения, антропософия «откидывала» все, что у него было в прошлом, — и искусство, и

личную жизнь, и реальные связи с миром. Антропософия, как болото, засасывала Белого и губила в нем художника. После «Петербурга» и до 1916 года он вообще не писал художественных произведений (если не считать немногих стихотворений): все его время целиком поглощали штейнеровские «курсы» и «циклы», «упражнения» и «медитации», а с февраля 1914 года — вдобавок еще и работа на постройке антропософского храма в Дорнахе (Швейцария). Храм этот — «Johan-nesbau», «Место новой духовной науки», «Теософский Вифлеем», «Пуп Мира» или, наконец, «Goetheaum — Вольная высшая школа для науки о духе» — строился на средства и силами членов Антропософского общества. Рудольф Штейнер предсказал, что храм простоят семьдесят лет и будет заменен другим, но в новогоднюю ночь 1923 года, при довольно загадочных обстоятельствах, он сгорел до бетонного основания.

Для Блока антропософия была совершенно пустым звуком. Относился он к ней враждебно, как к явному изуверству. К сожалению, не сохранились письма, в которых Блок отвечал А. Белому на его восторженные бредни о «странных явлениях» и «ауре» Рудольфа Штейнера. Нужно думать, он откровенно и резко изложил свое мнение об этом мракобесном «учении». Во всяком случае, на письма Белого 1912 года из Брюсселя (где он познакомился со Штейнером), которые сам Белый по всей справедливости охарактеризовал как «безумные», Блок ответил: «Довольно, слишком»,¹ а в иных случаях — просто отмалчивался.² В конце концов А. Белый обиделся и перестал посвящать Блока в свои антропософские переживания. 18 февраля (3 марта) 1913 года он писал ему: «Поскольку я *нежно* слышу музыку Твоих слов (слов ко мне и обо мне), постольку с ледяной холодностью на все Твои суждения о Докторе и пути отвечаю лишь: «Ничего не понимаю: все, что Ты пишешь обо мне

¹ См.: Александр Блок и Андрей Белый. Переписка, стр. 302.

² «Отчего от Тебя ни звука? — спрашивал А. Белый в феврале 1913 года. — Подозреваю, что это оттого, что писал Тебе о Докторе» (там же, стр. 315).

в отношении к моему пути, столь же подходит ко мне, как корове седло». ¹

Последние нити, связывавшие Блока и Белого, порвались. Они разошлись спокойно, без ссоры, как бы по молчаливому уговору, и отношения их приняли совершенно внешний характер. Если в июле 1912 года Блок еще писал матери о своем «беспокойстве за Боря» и если это беспокойство сплошь и рядом сквозит в тогдашних дневниковых записях Блока, то в апреле 1913 года он уже не включает Белого в число близких и понятных ему людей: «...слишком во многом нас жизнь разделила» (VII, 246).

В дальнейшем Блок ограничивается в своих отношениях с Андреем Белым лишь деловой их стороной. Он неизменно и активно помогал бывшему другу и врагу в устройстве его запутанных литературных дел, способствовал изданию романа «Петербург», ссужал Белого деньгами. Письма А. Белого к Блоку раскрывают выразительную картину тяжелого профессионального положения большого писателя, поставленного в условиях капиталистического строя в полную зависимость от произвола издателя или мецената (Блока случайно спасло от этого полученное им в 1910 году наследство). Письма А. Белого интересны также как яркий по-своему психологический документ, свидетельствующий о глубочайшем кризисе и вырождении субъективно-идеалистических концепций, владевших сознанием одного из одареннейших русских писателей начала XX века, оставшегося, однако, чуждым и враждебным революционному мировоззрению, изолированного от социально-революционной борьбы своего времени. Из этих писем, как и из всех писаний Андрея Белого той поры, выносишь впечатление о жизни трудной, безнадежно запутанной и глубоко трагичной. И, вероятно, Андрей Белый погиб бы окончательно в невылазном антропософском болоте, если бы не произошло такого события всемирно-исторического значения, как Октябрьская социалистическая революция.

¹ Александр Блок и Андрей Белый. Переписка, стр. 319.

В октябре 1917 года антропософ Андрей Белый оказался вместе с Блоком и Брюсовым, которые приняли и приветствовали пролетарскую революцию, а не с Мережковским, З. Гиппиус и прочими крикливыми «про-роками революции», закономерно очутившимися в лагере ее заклятых врагов. И этот факт, определивший личную судьбу Андрея Белого, определил, в конечном счете, и место его в истории нашей литературы. Можно сказать, что Октябрьская революция вывела А. Белого из состояния глубокого духовного обморока, в котором он пребывал в годы своей «штейнерьяды». Впрочем, предпосылки резкого перелома, происшедшего в сознании А. Белого, возникли несколько раньше.

Большую роль в отрезвлении А. Белого сыграла империалистическая война, которую он наблюдал в особых условиях — в нейтральной Швейцарии, в пятнадцати километрах от Западного фронта:

И там — в окне — прорезались Вогезы.

И там — в окне —

Отчетливо грохочут митральезы. . .

«Пушечные взрывы из Эльзаса», сотрясавшие купол антропософского храма в Дорнахе, сильнее всего потрясли А. Белого. «Война слишком на мне отразилась; месяца два был совсем как больной, — писал он матери в ноябре 1914 года. — Только теперь оправляюсь, стараясь отвлечь внимание от преследующей мысли: кровь льется».¹ Деревушка, где жил Белый, была «опасно поставлена»: она могла попасть под огонь немецких пушек. Но не только это страшило Белого: «. . . опасно поставлен не дом, не окрестность, не даже кантон, не страна; вся культура — опасно поставлена; вся — под обстрелом она. Все кумиры культуры — в опасности».² На этой почве сложился расплывчатый пацифизм А. Белого, проникнутый пафосом сохранения гуманистической культуры. Не постигая

¹ «Литературное наследство», 1937, № 27-28, стр. 620.

² Андрей Белый. На перевале. Берлин, 1923, стр. 12.

классовой природы империалистической войны, проклиная ее как самый «бесчеловеческий миг» в истории человечества, А. Белый оставался в плену гуманистических абстракций, типичных для буржуазно-интеллигентского пацифизма.

Но вместе с тем в А. Белом вырастает и нечто похожее на протест против вскормившей его культуры, которая выродилась в капиталистическую «машинно-материальную» цивилизацию, применяющую весь накопленный ею опыт и усовершенствованный механизм к массовому истреблению человечества. «Преподавание метода убивать своих ближних разработали математики, инженеры, механики, техники культурнейших, цивилизованных стран», — заявляет А. Белый.¹ «Гуманизм убит механизмом». Поэтому, не предавая всю культуру «костру инквизиции», нужно пересоздать, «одухотворить» ее; нужно вернуться к ее гуманистическим истокам, от «машин» — к «природе»: «Мы должны вернуться к истокам великого Гуманизма: Возрождение, традиции Возрождения, его широкий, вполне гуманный размах — вот что нужно нам».²

В условиях «чудовищной, нечеловеческой бойни» с новой силой овладевает А. Белым сознание катастрофического кризиса и жизни, и мысли, и культуры в старом, изживающем себя обществе. Именно в 1915—1916 годах, в Дорнахе, он пишет свой дневниковый цикл «кризисов» («На перевале»), проникнутый острым ощущением всеобщего неблагополучия в настоящем и чувством смятения перед неизвестным будущим. «Рушатся представления о данной действительности; рушатся переживания ее; пропадает в нас строй ощущений... Перед нами восстала картина — разрыва действительности; распадается, разрывается человек — под говором пушек», — писал А. Белый в «Кризисе жизни».³ Эти же темы проходят сквозь его тогдашнюю лирику:

¹ Андрей Белый. На перевале, стр. 10.

² Там же, стр. 21.

³ Там же, стр. 12 и 16.

Зачем, за что в гнетущей, грозной гари,
В растущий гром
Мы — мертвенные, мертвенные твари —
Безжертвенно бредем? . .

В грядущее проходим — строй за строем —
Рабы: без чувств, без душ. . .
Грядущее, как прошлое, покроем
Лишь грудой туш. . .

Правда, по А. Белому, есть путь исхода из обставшей человека «гнетущей, грозной гари», и путь этот, конечно, в антропософии. В том же «Кризисе жизни» А. Белый пишет, что, несмотря ни на что, истинные антропософы, пытающиеся «заложить первый камень к осуществлению в будущем новой духовной культуры», продолжают «утверждать человечность по-новому в бесчеловеческий миг: миг войны». ¹ Подчеркиваем: *истинные* антропософы, ибо к тому времени, не отказываясь от антропософии по существу, А. Белый жестоко разочаровался в воспитательной практике Рудольфа Штейнера и в самой возможности конкретного осуществления антропософского «братства».

Нужно сказать, что сама обстановка, в которой А. Белый очутился в Дорнахе, сыграла известную роль в его разочаровании. В этом смысле характерно и знаменательно письмо Белого к Блоку от июня 1916 года, где он дает совершенно трезвую оценку всему, что происходило с ним за два последних года: «Смерть, разложение, зарытие заживо, гроб». Он пишет, что теперь «выгружается из очень многого», во что раньше «погружался»; он признается, что условия его двухлетнего пребывания в Дорнахе, в «неописуемо враждебно-мерзкой атмосфере» (среди антропософов разъедали склоки и интриги), были «морально ужасны, невыносимы, удушливы, безысходны». ² В одновременном письме к Иванову-Разумнику А. Белый говорил обо всем этом еще более резко. Характеризуя антропософскую общину уже как «сумасшедший дом», состоящий из «оккультных старых дев» и «пси-

¹ Там же, стр. 66.

² Александр Блок и Андрей Белый. Переписка, стр. 329—330.

хопатологических дам», он писал: «Мой голос — голос несумасшедшего из «сумасшедшего дома»; этот голос — просто руки беззащитного ребенка, протянутые к далекой матери России». ¹

В это время в творчестве Андрея Белого снова — и по-новому! — возникает тема России:

Страна моя, страна моя родная!
Я — твой, я — твой:
Прими меня, родная... И не зная!
Покрой сырой травой.

Это — уже не прежняя темная и глухая Россия «Пепла», не отравленная ядом «монголизма» кошмарная Россия «Петербурга», а новая, чаемая Россия, «мучительно ищущая своего духовного самоопределения», которое должно раскрыться ей в сиянии антропософской «истины» (цитированные стихи написаны в 1916 году в Дорнахе). Кстати сказать, в антропософии для А. Белого гармонически разрешалась мучившая его проблема Востока и Запада. Так или иначе, у А. Белого возникает образ России как «народной стихии», призванной одухотворить мир, впавший в грех «машинизма», указать человечеству пути к «новой духовной культуре».

Встань, возликуй, восторжествуй,
Россия!
Грянь, как в набат, —
Народная, свободная стихия —
Из града в град!

Эти стихи были написаны уже по возвращении в Россию, накануне Февральской революции (в декабре 1916 года). При всей своей отвлеченности, они свидетельствуют все же, что в общественном сознании А. Белого к тому времени произошел существенный сдвиг, что он (пусть в неясных, мистифицированных образах) ощущал приближение решающего поворотного момента в русском историческом процессе.

Февральскую буржуазно-демократическую революцию Андрей Белый приветствовал, но принял ее — в со-

¹ Неизданное письмо от 23 июня 1916 года, — цитирую по копии, хранившейся в Гос. Литературном музее.

ответствии со всеми своими мировоззренческими и идеологическими представлениями — в определенном аспекте как своего рода духовный катарсис человечества в грозе и буре революционной стихии. Осмысление революции как стихии связало Андрея Белого с группой публицистов, философов и писателей, назвавших себя «скифами» и заявивших о себе двумя выпусками альманаха «Скифы» (1917—1918). В состав этой группы входили или были близки ей Иванов-Разумник, А. Ремизов, Н. Клюев, С. Есенин, Е. Замятин, критик Е. Лундберг, публицист А. Штейнберг, философ К. Сюннерберг, художник К. Петров-Водкин и др. Политическая ориентация «скифов» определялась их близостью к лево-эсеровским кругам (в ту пору еще сотрудничавшим с советской властью).

«Скифы» облекали реальное классовое содержание своей мелкобуржуазной программы в пышную и туманную фразеологию. В своем понимании характера и задач русской революции они придерживались утопических идей «духовного максимализма, катастрофизма, динамизма» и трактовали Революцию (конечно, с большой буквы!) в абстрактно-романтическом плане — как стихийный процесс «духовного преображения» человечества. Главный теоретик «скифов» Иванов-Разумник особенно подробно изложил концепцию «духовной революции» в своих статьях о Блоке и Белом. По Иванову-Разумнику, «скифство», несущее в мир «идею духовного освобождения человечества», целиком направлено против «всесветного мещанина», против духа «минимализма» и всяческой половинчатости. «Скиф» — «духовно жаден», неукротим в своих желаниях и стремлениях; он — духовный максималист, живущий всей полнотой чувств и впечатлений. Поэтому и социальная (только социальная) революция не может удовлетворить «скифа». Она всего лишь первый шаг на пути к «чаемому Преображению». Задача «подлинной», «скифской» революции — вовсе не в «социально-политической победе исторического социализма», но в «новом вознесении духа». И здесь возникает проблема религиозного смысла революции. Не следует, говорит Иванов-Разумник, заслонять «мертвым скеле-

том исторического христианства» — «вечно живую мировую идею» духовного освобождения человечества, внесенную в мир Иисусом Христом без малого двадцать веков тому назад. Церковь исказила и опошлила эту идею: историческое христианство не освободило, а, наоборот, закрепило дух человека. «Скифство» призвано снова освободить этот пленный дух — путем утверждения всеобщей и высшей «религиозной идеи социализма», «новой веры и нового знания, идущих на смену старому знанию и старой вере христианства».

В таком «скифском» духе истолковывал революцию и Андрей Белый. «Как подземный удар, разбивающий все, предстает революция: предстает ураганом, сметающим формы... Революция напоминает природу: грозу, наводнение, водопад: все в ней бьет *«через край»*, все — чрезмерно». ¹ Такова «подлинная» революция, «революция духа», которая «еще только идет из туманов грядущей эпохи». В февральском же режиме она еще не столько различима, сколько предугадываема. Из этого, однако, не следует делать тот вывод, что А. Белый постиг классово ограниченный характер буржуазно-демократической революции и закономерность перерастания ее в революцию пролетарскую, социалистическую. Теория революционного марксизма как была, так и осталась для А. Белого неприемлемой. «В экономическом материализме — абстракция революции духа, — писал он, — революционного организма в нем нет; есть его уплощенная тень. Революция производственных отношений есть отражение революции, а не сама революция». ² «Подлинными революционерами» для А. Белого оказываются все те же Ибсен, Штирнер и Ницше, «а вовсе не Энгельс, не Маркс». Лежащие в будущем «формы общественной жизни» должны возникнуть, по А. Белому, не на почве «какой-нибудь «большевистской» культуры, а как выявление того «вечносущего», которое несет в себе революция духа». ³

¹ Андрей Белый. Революция и культура. М., 1917, стр. 3.

² Там же, стр. 19.

³ Там же, стр. 25.

Отсюда можно заключить, какая безнадежная путаница по-прежнему царила в представлениях Андрея Белого о революции и сколь искаженным было его понимание происходивших в стране великих событий.

Переключая свои программные установки в политическую плоскость, «скифы» испытывали неудовлетворенность «слишком разумной», с их точки зрения, политикой Временного правительства. Они видели в ней «тинистый обывательский отлив», «мелкое реформаторство», проникнутое «духом компромисса», и заявляли, что снова, как и в глухое время царизма, «чувствуют себя скифами, затерянными в чужой толпе». Верные своему лозунгу «вечной революционности» и непримиримой борьбы с «всесветным мещанином», они носились с идеей «всемирного народного восстания», «мирового пожара», который только и способен обеспечить дальнейшее развитие русской революции в направлении «духовного освобождения человечества» и разрешить извечную проблему России и Европы, Востока и Запада.¹

Эта типично мелкобуржуазная анархо-максималистская утопия, само собой разумеется, не имела ничего общего с конкретными и реальными задачами социалистического переустройства мира, поставленными в повестку исторического дня большевистской партией. Но недовольство «скифов» «слишком разумной политикой» Временного правительства привело их к сочувствию Великой Октябрьской революции, в которой они увидели желанный им «мировой катаклизм». И здесь путь Андрея Белого еще раз скрестился с путем Александра Блока.

Мужественное и бесповоротное отречение Блока от старого мира, признание им всемирно-исторического значения Октябрьской революции как величайшего события, открывшего новую эру в жизни человечества, — слишком известны, чтобы говорить здесь на эту тему сколько-нибудь подробно. Заметим лишь, что свой-

¹ См. предисловие к первому сборнику «Скифы» (1917) и предисловие Иванова-Разумника к «Двенадцати» и «Скифам» Блока (1918).

ственное Блоку восприятие революции как стихийного процесса — все того же «мирового пожара», дотла сжигающего ненавистный поэту старый мир, сближало его со «скифами» и, в частности, с Андреем Белым.

После Октября порвались связи Блока и Белого с подавляющим большинством их соратников по символистскому движению. За малыми исключениями все они спешно перекочевали в лагерь контрреволюции. Блок и Белый очутились в изоляции, окруженные лютой ненавистью не только всякого рода борзописцев из буржуазной прессы, но и многих, кто раньше был в числе их друзей и единомышленников. В. Брюсов, пришедший к Октябрю своим путем, был от них далек.

Имена Блока и Белого снова, как и на заре их литературной деятельности, неизменно объединялись в буржуазной печати в сопровождении всяческих гнусных комментариев, смысл которых сводился к одному: Блок и Белый «продались большевикам». Особенно неистовствовала Зинаида Гиппиус — в стихах и в прозе, под своим именем и под разными псевдонимами.¹ Можно было бы привести множество данных, говорящих о систематической, хорошо организованной травле, которой подвергались Блок и Белый со стороны контрреволюционно настроенной буржуазной интеллигенции всех мастей и оттенков. Им угрожали в газетах, подсылали анонимные письма, отказывались выступать вместе с ними на литературных вечерах, не подавали им руки (и с сознанием «исполненного долга» сообщали об этом в печати). Вот что записал Блок 22 января 1918 года: «Звонил Есенин, рассказывал о вчерашнем «утре России» в Тенишевском зале. Гизетти и толпа кричали по адресу его, А. Белого и моему — «изменники». Не подают руки. . .»²

Но мера и характер принятия Великой Октябрьской революции у Блока и у Белого были все же различны, как различны были и индивидуальные пути,

¹ См., например, стихотворение З. Гиппиус «Идущий», первая половина которого обращена к Блоку и Белому (газета «Новые ведомости», веч. выпуск, № 82 от 10 июня 1918 года).

² «Записные книжки», стр. 385. Гизетти — литератор правозеро-ровского толка.

которыми пришли они к Октябрю. Блок с полным основанием мог говорить, что он связывает Октябрьскую революцию с «тем потоком мыслей и предчувствий, который захватил его десять лет назад» (VI, 9). В революции для Блока разрешались все философские и исторические проблемы, возникавшие в его сознании, — проблемы «музыки», народа и интеллигенции, «Великой Демократии», стихии и культуры. Он был подготовлен к революции своим острым ощущением ее «подземного хода», ее приближения. Совсем иные чувства, как мы видели, владели в предреволюционные годы Андреем Белым. В то время, когда Блок писал «Возмездие» — поэму, полную революционных предчувствий «грядущего дня», — Белый, касаясь в «Петербурге» темы «октябrevской песни» 1905 года, утверждал, что «этой песни ранее не было; этой песни не будет никогда», и обращался к «русским людям» с призывом «разобрать мосты», ведущие к революции.

Короче говоря, если для Блока принятие Октябрьской революции было итогом его жизни, логически завершающим выводом из всего круга его многолетних мыслей, предчувствий и переживаний, — то для А. Белого оно явилось следствием резкого и довольно внезапного перелома, происшедшего в его общественно-политических взглядах, поскольку он, конечно, не мог — при всей своей изолированности от освободительной борьбы народа — остаться равнодушным к ходу исторической жизни в России.

Различна была и мера принятия революции обоими поэтами, и различие это отчетливо сказалось в тех художественных произведениях, которыми они откликнулись на революцию, — в «Двенадцати» и «Скифах» Блока и в поэме А. Белого «Христос воскрес», написанных примерно в одно время.¹ Подлинно революционная ненависть к старому миру и глубоко присущее Блоку чувство демократизма, его верность народу и «духу революции» — нашли гениальное художественное выражение в «Двенадцати» и «Скифах», с громад-

¹ «Двенадцать» и «Скифы» — в январе; «Христос воскрес» — в апреле 1918 года.

ной силой убедительности свидетельствующих о признании художником, далеким от пролетариата по своему мировоззрению, великой правды и высшей справедливости пролетарской революции. Иной, неизмеримо более ограниченный характер носит поэма Андрея Белого. В ней нет ничего исторически конкретного, соответствующего реальной действительности Октябрьских дней 1917 года. И это — несмотря на сходство, в отдельных деталях, с «Двенадцатью» (таков, например, образ «очкастого, расслабленного интеллигента», произносящего «негодующие слова о значении Константинополя и проливов»). Все в поэме А. Белого, в соответствии со «скифской» концепцией «духовной революции», переключено в план морально-религиозных абстракций. Революция изображена А. Белым как «совершающаяся мировая мистерия», а революционная Россия — «невеста, приемлющая весть весны» — предстает в поэме в образах «Жены, облеченной солнцем» и «Богоносицы, побеждающей змия». Сам А. Белый в позднейшем предисловии к поэме подчеркивал, что «мотивы индивидуальной мистерии» преобладают в ней над «мотивами политическими», что она «живописует событие индивидуальной духовной жизни». Далее А. Белый пишет, что поэма «подверглась кривотолкам; автора обвиняли чуть ли не в присоединении к коммунистической партии. На этот «вздор» автор даже не мог печатно ответить (по условиям времени)... Что представитель духовного сознания антропософ не может так просто присоединиться к политическим лозунгам, — никто не подумал... Современность — лишь внешний покров поэмы». ¹

С этим нельзя не согласиться. Напомним для сравнения, что Блок всегда считал «Двенадцать» лучшим из всего, что написал, именно потому, что «жил тогда современностью». ²

¹ Андрей Белый. Стихотворения. Берлин, 1923, стр. 349—350.

² См. воспоминания Г. Блока («Русский современник», 1924, № 3, стр. 184).

И в высшей степени характерно, что Андрей Белый считал нужным предостеречь Блока после появления «Двенадцати»: «По-моему Ты слишком неосторожно берешь иные ноты. Помни — Тебе не *«простят» «никогда»*. . . Кое-чему из Твоих фельетонов в «Знамени труда» и не сочувствую, но поражаюсь отвагой и мужеством Твоим. . . Будь мудр: соедини с отвагой и осторожность» (письмо от 17 марта 1918 года).¹ Незадолго перед тем в письме к Иванову-Разумнику А. Белый высказался об октябрьской поэме Блока более откровенно: «Огромны «Скифы» Блока; а, признаться, его стихи «12» — уже слишком; с ними я не согласен».² Понятна в устах А. Белого высокая оценка «Скифов», в которых ему импонировала концепция России и Европы, освещенная идеей «панмонголизма» (впрочем, в «Скифах» эта идея приобретает существенно иное звучание, поскольку революционно-патриотическая ода Блока обличала западноевропейских империалистов, собиравших крестовый поход против молодой Советской России). Столь же понятно и несогласие А. Белого с «Двенадцатью» и «фельетонами» Блока. В статье «Интеллигенция и Революция» (которую, безусловно, прежде всего и имел в виду А. Белый) Блок говорил, что революция ставит своей задачей «переделать все»: «Устроить так, чтобы все стало новым; чтобы лживая, грязная, скучная, безобразная наша жизнь стала справедливой, чистой, веселой и прекрасной жизнью» (VI, 12). При этом придется, по Блоку, без жалости и оплакивания пожертвовать «духовными ценностями» и «идеалами» буржуазного мира, который сумел чудовищно опошлить все высокое и прекрасное, что есть в жизни. Буржуазный «патриотизм», религия, романтизм — все это для Блока «ложь и грязь»: «Все, что *осело* догматами, нежной пылью, сказочностью, — стало грязью. Остается один *élan*, — записывает он в феврале 1918 года. — *Только* — полет и порыв; лети и рвись, иначе — на всех путях гибель» (VII, 326).

¹ Александр Блок и Андрей Белый. Переписка, стр. 335.

² Незданное письмо от 27 февраля 1918 года (по копии, хранящейся в Гос. Литературном музее).

Андрей Белый не пошел на такой безоговорочный разрыв со старым миром и с его наследием. Он и на этот раз, как в 1905 году, пытался примирить непримиримое: революцию с антропософией. Это определило позицию А. Белого в последующие годы, — позицию, свидетельствующую о глубоком непонимании им движущих сил революции, ее классового характера и реальных перспектив. Вот, к примеру, что и в каком тоне вещал А. Белый в начале 1922 года, когда пытался говорить от имени пролетарской культуры: «Героизм XXI века перед нами — в восстании «Я», Чела Века, загаданного в каждом из нас, в пролетарии. Пролетарская культура естественно завершится культурой «Я», Индивидуума, преодолевшего личностью общество: в Интер-Индивидуале, преодолевающим Интер-Национал». ¹

В течение ряда лет Андрей Белый был занят последовательной полемикой с марксизмом, нападая на него со своих скифско-антропософских позиций. Эта полемика привела А. Белого, вкупе с другими участниками «скифской» группы, к организации в начале 1919 года Вольной философской ассоциации (в просторечии — Вольфила). В уставе Вольфила было сказано, что она учреждается с целью «исследования и разработки в духе социализма и философии вопросов культурного творчества, а также с целью распространения в широких народных массах социалистического и философски углубленного отношения к этим вопросам». ² Однако на деле Вольфила оказалась пристанищем для воинствующих идеологов разгромленных классов, для которых пропаганда идеалистической философии служила удобной формой борьбы с революционной идеологией, с марксизмом, с советской властью. Помимо желания А. Белого (несмотря на свою оппозиционность, честно работавшего с советской властью в области культурного строительства), Вольфила превратилась в своего рода философскую цитадель «внутренней эмиграции». Другим плацдармом

¹ «Эпопея», 1922, № 1, стр. 13.

² «Дневник Ал. Блока. 1917—1921». Л., 1928, стр. 147.

полемиической, антимарксистской деятельности А. Белого в первые советские годы был журнал «Записки мечтателей», выходявший (довольно редко) в 1919—1922 годах и объединивший на своих страницах видных участников бывшего символистского движения.

С Вольфилой и с «Записками мечтателей» был связан также и Блок, но его связь носила, по существу, внешний характер. В Вольфиле Блок дважды выступил с докладами на *свои* темы («Крушение гуманизма» и «Владимир Соловьев и наши дни»), а в «Записках мечтателей» напечатал старые (юношеские) стихи, «Возмездие» и некоторые статьи, не определявшие идейного лица журнала как органа группы писателей, настроенных в достаточной степени оппозиционно по отношению к советскому строю. Идейное, общественное лицо «Записок мечтателей» определяла, в первую очередь, публицистическая и художественная проза Андрея Белого («Дневник писателя», «Записки чудака» и др.).

Последнее письмо в многолетней переписке Блока и Белого относится к марту 1919 года. Весной 1920 года Андрей Белый переехал из Москвы в Петроград. «Он такой же, как всегда: гениальный, странный», — записывает Блок 1 марта 1920 года.¹ Живя в одном городе, они встречались редко, от случая к случаю, всегда на людях. В жаркий летний день (10 августа 1921 года) Андрей Белый проводил Блока в последний путь. Накануне (9 августа) он писал поэту В. Ходасевичу: «Эта смерть для меня — роковой часов бой: чувствую, что часть меня самого ушла с ним. Ведь вот: не видались, почти не говорили, а просто «бытие» Блока на физическом плане было для меня как орган зрения или слуха; это чувствую теперь».²

Вскоре, в октябре 1921 года, Белый уехал за границу. Эта поездка сыграла важную роль в его дальнейшей судьбе. На Западе он многое передумал, пересмотрел; многое предстало ему в новом свете. Пережив тя-

¹ «Записные книжки», стр. 488.

² «Современные записки» (Париж), 1934, т. 55, стр. 257.

желую личную драму и порвав связи с антропософской общиной Рудольфа Штейнера, он не примкнул к белоэмигрантским кругам, а, напротив, политически окончательно стал на платформу советской власти. Через два года, в октябре 1923 года, он вернулся в Советскую Россию с сознанием «действительного разложения и смерти», царящих в капиталистическом мире. «В запахе тления я задыхался», — писал А. Белый в остром памфлете «Одна из обителей царства теней» (1924), посвященном его заграничным впечатлениям. «Светом окрашено мое пребывание в Москве, в Ленинграде недавней эпохи. . . Среди голода, холода, тифа. . . я чувствовал свет: свет победы сознания. . . А пребывание в Берлине окрашено тенью». Москва теперь представляется А. Белому «источником жизни, творческой лабораторией будущих, может быть, в мире невиданных форм». Памфлет А. Белого ценен искренним чувством гордости за Советский Союз, за невиданный размах происходящего в нем процесса культурной революции, за формы его общественного и политического быта.

Последнее десятилетие жизни Андрея Белого прошло в интенсивной литературной работе. Он создает ряд крупных художественных произведений (романы «Московский чужак», «Москва под ударом», «Маски»), задумывает роман о зарождении фашизма в современной Германии и роман о социалистическом строительстве в Советском Закавказье, работает в области художественного очерка («Ветер с Кавказа», «Армения»), пишет свою замечательную мемуарную трилогию («На рубеже двух столетий», «Начало века», «Между двух революций»). Трудным, зигзагообразным путем, медленно, слишком медленно, преодолевая непримиримые противоречия своего мировоззрения, переосмысляя весь свой личный и писательский путь, он приходит в конце концов к искреннему желанию «включиться в строительство не ложной буржуазной, а подлинной культуры», культуры победившего социализма. Смерть (8 января 1934 года) в самом начале оборвала открывшийся перед Андреем Белым новый путь, на котором он, может быть, сумел бы широко

развернуть наиболее сильные стороны своего большого дарования.

Несмотря на все свои многочисленные и тяжелые ошибки и заблуждения на путях ложных и тщетных исканий, уводивших его порою в самые глухие дебри, Андрей Белый пришел к социализму, и это обстоятельство в первую очередь обеспечивает наше внимание и уважение к его имени и к оставленному им художественному наследию. «Правда» — центральный орган Коммунистической партии — писала по поводу смерти Андрея Белого: «Являясь крупнейшим представителем буржуазной литературы и идеалистического мышления, А. Белый за последнее время искренне стремился усвоить идеи эпохи социалистического строительства. Поворот широчайших кругов старой интеллигенции к советской власти захватил и А. Белого. В конце 1932 года он выступил на пленуме оргкомитета Союза советских писателей с заявлением о готовности поставить свое творчество на службу социализму. В лице А. Белого в могилу сошел последний из крупнейших представителей русского символизма. Важно отметить, что он не разделил судьбы других вожakov этого литературного течения (Мережковский, Гиппиус, Бальмонт), скатившихся в болото белогвардейской эмиграции. А. Белый умер советским писателем».¹

Когда думаешь об Андрее Белом, вспоминаются его старые стихи — одни из лучших, что были им написаны:

Золотому блеску верил,
А умер от солнечных стрел.
Думой века измерил,
А жизнь прожить не сумел. . .

¹ «Правда», 1934, № 11(5897) от 11 января.

ИСТОРИЯ

ОДНОЙ ЛЮБВИ



1

... Вот — любовь
Того вампирственного века,
Который превратил в калек
Достойных званья человека!
Будь трижды проклят,
жалкий век!

Тревожная поэзия Александра Блока проникнута необыкновенно острым чувством неотвратимо надвигающейся всемирно-исторической катастрофы. При этом ощущение катастрофизма эпохи распространяется в стихах Блока и на сферу частного бытия человека. «Буря жизни», бушующая вокруг поэта, завихрилась, запутала также и все человеческие отношения, все человеческие судьбы. Она, эта грозная буря, властно вторгается и в интимный душевный мир человека. И в своем частном бытии человек оказывается втянутым в водоворот общей «мировой жизни». Такова, в сущности, центральная лирическая тема зрелого Блока.

Через все его творчество проходят очень постоянные, очень навязчивые мотивы бездомности, утраты простого человеческого счастья, атрофии чувства «домашнего очага». Еще в 1906 году, в статье «Безвременье», важной для понимания поэзии Блока, он писал: «Нет больше домашнего очага. Необозримый, липкий паук поселился на месте святом и безмятежном... Чистые нравы, спокойные улыбки, тихие вечера — все заткано паутиной, и самое время остано-

лось. Радость остыла, потухли очаги. Времени больше нет. Двери открыты на вьюжную площадь».¹

Пройдут годы — и Блок почти теми же словами скажет об этом в поэме «Возмездие». Он вспомнит с горьким сожалением о «благородстве запоздалом», некогда украшавшем человека:

Не так в нем вовсе толку мало,
Как думать принято теперь,
Когда в любом семействе дверь
Открыта настежь зимней вьюге,
И ни малейшего труда
Не стоит изменить супруге,
Как муж, лишившейся стыда. . .

«Зимняя вьюга» в общем контексте поэзии Блока — это образ неблагополучия жизни, незащищенности человека перед жестокой властью враждебных ему обстоятельств. В духе такого понимания Блок создает свои драматизованные лирические сюжеты, рисующие любовные конфликты с резкими столкновениями человеческих характеров и судеб.

В частности, творческое внимание Блока нередко сосредоточивалось на вопросе о семье, о ее расшатанности и разрушении в обстановке «страшного мира». Тема эта прослеживается в лирике, она занимает заметное место в драме «Песня Судьбы», а задуманную вслед за тем (в конце 1908 года) новую драму (мы еще коснемся этого замысла в другой связи) Блок собирался целиком посвятить этой волновавшей его теме.

В пристальном внимании Блока к теме семьи, утраты семейного счастья была своя печальная закономерность, ибо жизнь близких поэту людей и его собственная личная жизнь подсказывали ему эту тему, беспощадно обнажали перед ним всю непрочность семейного быта в условиях «безвременья». Гениально запечатлев в своих стихах трагическую, обреченную, безрадостную любовь в «страшном мире», Блок, как и во всем,

¹ Александр Блок. Собрание сочинений в восьми томах. Государственное издательство художественной литературы. М.—Л., 1960—1963, т. 5, стр. 70. — В дальнейшем ссылки на это издание даны в тексте; римская цифра обозначает том, арабская — страницу.

о чем он писал, исходил из непосредственных впечатлений и наблюдений.

Люди, окружавшие Блока, почти все, без исключения, были в личной жизни неустроены, обездолены. Среди Бекетовых, воспитавших поэта, при всей внешней патриархальности и кажущейся гармоничности их семейных отношений, на самом деле не было никакой гармонии. В недрах этой семьи разыгралась тяжелейшая драма между родителями Блока. В дальнейшем мать поэта, выйдя вторично замуж, тяготилась этим «неравным» с ее точки зрения (в смысле интеллектуальном) браком с заурядным гвардейским офицером, чуждым «высших запросов». Тетка (М. А. Бекетова), оставшаяся старой девой, безраздельно обожала человека, который обращал на нее слишком мало внимания. Близкие друзья (вроде Вл. Пяста и др.) пережили свои глубокие семейные драмы.

Все это еще более укрепляло Блока в его безотрадных мыслях об остывших «домашних очагах». На сей счет он не питал никаких иллюзий. Вопрос о разрушении семьи был в представлении поэта неотделим от общей, генеральной для всего его творчества темы «страшных лет России», измотавших и опустошивших живую душу человека. В этом в полную меру сказалась владевшая Блоком художническая честность, его удивительная чуткость к правде жизни.

Поэт честно и без обиняков сказал, что «лживую жизнь» буржуазного общества он презирает и ненавидит. С первых же шагов Блока в литературе его окружали, по преимуществу, такие писатели, которые, вопреки суровой правде жизни, пытались творить о ней «сладостные легенды». Равнодушные к народному горю, глухие к подземному гулу истории, они хотели уверить своих читателей, что живет им прекрасно и радостно, что Россия — старая царская, буржуазная Россия, дотягивавшая свои последние дни, — это и есть настоящий земной рай, в котором суждено процветать «новому Адаму».

Известно, с каким нескрываемым отвращением Блок относился к такой украшающей лжи. Чем больше росла писательская слава Блока, тем очевиднее

становился разлад его с буржуазной литературной средой. С каждым годом он все более и более уходит в себя, решительно и бесповоротно порывает связи со многими прежде близкими ему людьми. Стремление изолироваться от пестрого и шумного «балагана» всякого рода модернистов, эстетов и снобов, задававших тон в буржуазном искусстве его времени, очень ощутимо в письмах Блока к жене, относящихся к периоду реакции и к предреволюционным годам.

Пускай зовут: *Забудь, поэт!*
Вернись в красивые уюты!
Нет! Лучше сгнуться в стуже лютой!
Уюта — нет. Покоя — нет, —

Вот творческий лозунг зрелого Блока, который он сделал своим житейским правилом. Его нравственное чувство не мирилось ни с какой утешительной ложью. Всяческие «красивые уюты», утверждал он, способны лишь увести человека от настоящей жизни, притупить его волю, а в художнике — погасить тот огонь, без которого искусство превращается в «один пар».

Блоку претили сытое благополучие, беззаботность и безответственность декадентствующих мещан, предававшихся кощунственному пиру во время чумы. Он не искал ни уюта, ни покоя, а жил «в огне и холоде тревог» — печально, сложно и трудно, безоглядно растрачивая свои душевные силы.

В этом была своя принципиальность. Блок считал, что художнику, волею судьбы обреченному быть пленником «страшного мира», и нельзя быть благополучным, а душевная сытость (или «желтокровие», как говорил Блок) — верная гибель для художника: он тупеет, теряет крылья, изменяет тому «святому беспокойству», той сжигающей тревоге, без которых нет и не может быть настоящего творчества. «Ведь именно «литератор» есть человек той породы, которой суждено всегда, от рожденья до смерти, волноваться, ярко отпечатлеть в своей душе и в своих книгах все острые углы и бросаемые ими тени, — писал Блок. — Для писателя — мир должен быть обнажен и бесстыдно-ярок. Таков он для Толстого и для Достоевского.

Оттого — нет ни минуты покоя... Ничего «утомительнее» писательской жизни и быть не может» (VIII, 276).

Из этого убеждения Блок с присущим ему максимализмом делал общие и крайние выводы: чем хуже, неустроеннее, неблагополучнее жизнь художника (с точки зрения обывательского «здорового смысла»), тем выше, подлиннее, полноценнее его искусство. Не будем сейчас поправлять Блока и упрекать его в незрелости мировоззрения. Примем это как факт.

«Чем холоднее и злее эта неудающаяся «личная» жизнь (но ведь она никому не удастся теперь), тем глубже и шире мои идейные планы и намеренья», — писал Блок матери (VIII, 224). А в другой раз — еще яснее и определеннее: «Пишу хорошие стихи. Но подлинной жизни нет и у меня. Хочу, чтобы она была продана по крайней мере за неподдельное золото (как у Альбериха), а не за домашние очаги и страхи (как у Жени). Чем хуже жить — тем лучше можно творить, а жизнь и профессия несовместимы» (VIII, 217).

Упомянутый здесь Женя — самый близкий, самый задушевный, самый верный друг Блока, Е. П. Иванов. Это был человек на редкость чистой души, но на обывательский глаз «нелепый», «юродивый». Блок относился к нему с величайшей нежностью, всячески старался устроить его судьбу. Вся семья Ивановых нравилась Блоку («Очарование их всех бесконечно») и представлялась ему редким исключением на общем фоне разрушенных «домашних очагов». И Блоку казалось, что даже нелепый Женя, при всей своей житейской неприспособленности, «может быть хорошим семьянином», что ему «можно жениться» — потому что он «из семейной жизни может создать прекрасное» (VII, 74).

Самому Блоку этого было не дано. Его семейная жизнь неслажена, мрачна, трагична, исполнена острейших конфликтов. О многом в этой связи раньше мы могли только догадываться — по стихам Блока, по его дневникам и письмам, по скупым, прикровенным намекам в воспоминаниях близких поэту людей. И лишь теперь, когда нам стали известны дневники, записные

книжки и письма Блока, в частности и особенно — многолетняя переписка его с женой, действительная картина проясняется во всей своей драматической выразительности.

Значение этого материала отнюдь не узко биографическое. Письма Блока к невесте и жене не только проливают яркий свет на личность поэта, но существенно углубляют наши представления о его творчестве. Они воочию показывают, с какой полнотой и верностью отразилась душевная жизнь поэта в его стихах.

Множество стихов Блока было внушено ему любовью к той, которую он назвал «единственной на свете»:

Я — Гамлет. Холодеет кровь,
Когда плетет коварство сети,
И в сердце — первая любовь
Жива — к единственной на свете...

Перед нами — как бы лирическая повесть, в которой прослеживаются сложные перипетии трагической, мучительной, роковой любви, начавшейся с удивительного напряжения всех душевных сил, с мистических восторгов, озарений и взлетов в «миры иные» и кончившейся борением характеров, ломкой судеб, непоправимым разладом и беспредельным отчаяньем.

Письма Блока к невесте и жене с редкой отчетливостью показывают, как жизнь становилась поэзией. Великий поэт потому и велик, прежде всего, что обладает гениальной способностью все частное, личное и интимное делать общим, общественным и историческим. Так и Блок в своей лирике как бы преломлял сквозь призму своей личной человеческой трагедии грандиозную тему трагедии исторической, развернувшейся в старом мире накануне его крушения. В этом было нечто от Герцена, который охарактеризовал художественную картину своей жизни («Былое и думы») как «отражение истории в человеке, случайно попавшемся на ее дороге».¹

¹ А. И. Герцен. Собрание сочинений в тридцати томах, т. 10. М., 1956, стр. 9.

Блоку было в величайшей степени знакомо романтическое по своему происхождению чувство нерасторжимого единства личного и общего, «своего» и «мирового». Он доказывал, что «в поэтическом ощущении мира нет разрыва между личным и общим; чем более чуток поэт, тем неразрывнее ощущает он «свое» и «не свое» (VI, 83). Все, что окружает поэта в жизни, воспринимается им только в индивидуальном переживании, но каждая личная тема, расширяясь до внеличных обобщений, приобретает смысл и значение лишь в меру своей объективной общезначимости.

Это — замечательная черта лирического стиля Блока.

Всякая грань между «своим» и «не своим» исчезает, стирается. Самые, казалось бы, интимные события внутренней жизни поэта зачастую оказываются связанными — какими-то очень тонкими, подчас трудно уловимыми ассоциациями — с самыми общими, самыми широкими темами его творчества. Так, разительным примером органического слияния личного и общего в лирике Блока может служить известное стихотворение, которым поэт неизменно открывал в своих книгах важнейший раздел «Родина»:

Ты отошла, и я в пустыне
К песку горячему приник.
Но слова гордого отныне
Не может вымолвить язык.

О том, что было, не жалея,
Твою я понял высоту:
Да. Ты — родная Галилея
Мне — невоскрешему Христу.

И пусть другой тебя ласкает,
Пусть множит дикую молву:
Сын Человеческий не знает,
Где приклонить ему главу.

Образная ткань этого стихотворения закономерно воспринимается в общем идейно-художественном контексте гражданственно-патриотической лирики Блока. До сих пор мы и воспринимали ее *только* в этом контексте. Однако из переписки поэта с женой мы узнаем,

что стихи эти были непосредственно вызваны его глубоко интимными переживаниями, в основе которых лежали осложнившиеся отношения с женой, и обращены были поначалу не к кому иному, как к ней. Однако из этого вовсе не следует, что Блок в дальнейшем попросту «переосмыслил» данное стихотворение, введя его в раздел «Родина». Нет, в том-то и суть дела, что в собственно поэтическом смысле это стихотворение двупланно, оставаясь при этом единой целостной словесно-образной структурой. Понятия «жены» и «родины» вмещены здесь в *один* емкий образ, играющий разными гранями смысла. Также и «Сын Человеческий» в этих стихах — одновременно и лирическое «я» поэта и некий обобщенный образ гонимого по миру несчастного человека, — образ, ассоциативно связанный с евангельским Христом, пришедшим в мир, чтобы страданием искупить грехи человечества.

И пусть другой тебя ласкает,
Пусть множит дикую молву...

Эти стихи приобретают неожиданно точный и конкретный смысл после того, как прочитаешь письма Блока к жене. В собственном, тесном смысле слова речь идет о сердечных увлечениях Любови Дмитриевны Блок и о ее репутации, поколебленной «дикой молвой» окружающей среды. Но вместе с тем было бы совершенно неправомерным воспринимать стихи только в таком тесном смысле. Интимно-лирическая тема, расширяясь в своем значении, наполняется историческим содержанием, и стихи воспринимаются уже не как обращение к любимой женщине, которая «отошла» от поэта, но как нечто, сказанное о судьбах родины — «родной Галилеи». И именно такое расширительное восприятие входило в творческую задачу поэта.

Другой пример — стихотворение «Под шум и звон однообразный...», бесспорно одно из лучших и наиболее характерных лирических созданий Блока. В свете переписки Блока с женой в стихотворении этом явственно проступает его «второй план» — его *aggrievée* или, вернее будет сказать, его первооснова. Сти-

хотворение было написано 2 февраля 1909 года, в день рождения ребенка Л. Д. Блок. Зная, какое громадное значение придавал Блок этому событию, не приходится сомневаться, что стихотворение представляет собой лирическую исповедь, обращенную к любимой женщине, к «единственной на свете»:

Ты, знающая дальней цели
Путеводительный маяк,
Простишь ли мне мои метели,
Мой бред, поэзию и мрак?

Но обобщающая сила искусства безгранично расширяет смысл и содержание этого стихотворения, превращая его в патетическую исповедь «сына века», обращенную уже не к частному (к любимой женщине), но к целому (к некоему духовному идеалу, которому «изменил» лирический герой). И такая трансформация смысла закономерно вызывает представление о родине, о гражданском призвании поэта:

Иль можешь лучше: не прощая,
Будить мои колокола,
Чтобы распутница ночная
От родины не увела?

Переписка Блока с женой вносит жизненную конкретность в его поэзию, и эта конкретность не только не суживает наше восприятие стихов Блока во всей их исторической и художественной значительности, но сообщает им особую убедительность и достоверность. В этом — крупное историко-литературное значение переписки, вводящей в душевный мир Блока и показывающей, что за его поэтическими темами и образами стояли живые люди, их отношения и судьбы.

Людей, личная жизнь которых так обнаженно раскрывается в переписке, уже нет на свете. Их страсти и беды стали достоянием истории, и мы можем сейчас говорить об их семейной драме в полный голос, без обиняков и умолчаний. Но и без дешевой сенсационности и крикливости, а с тем человеческим уважением, к которому всегда обязывает чужая беда.

Прежде всего, герои этой драмы были людьми совершенно различного душевного склада. Жена поэта,

Любовь Дмитриевна, рассказывая в черновых набросках своих незавершенных воспоминаний¹ о крайней нервозности Блока, может быть, несколько сгущает краски, но нельзя не признать, что дурные предрасположения заметно сказывались в его психике. У него была тяжелая наследственность. Любовь Дмитриевна прямо говорит о «вырождении» Блоков и Бекетовых. В этом есть безусловно доля истины. Дед поэта (Л. А. Блок) умер в психиатрической лечебнице, в душевном облике отца явно проступали черты ненормальности, мать страдала припадками, напоминавшими эпилепсию, тетка (М. А. Бекетова) впадала в психическое расстройство. Ближайшая дружеская среда была не лучше: Андрей Белый, Сергей Соловьев, Евгений Иванов, Владимир Пяст — все это люди с более или менее нарушенной психикой. Блок прекрасно понимал душевное неблагополучие окружавшей его среды. «Все ближайшие люди на границе безумия, как-то больны и расшатаны», — записывает он в дневнике в 1912 году (VII, 142).

Среди этих ближайших людей резко выделяется личность Любви Дмитриевны Менделеевой-Блок. Ее письма, воспоминания и все, что мы о ней знаем (включая сюда и личные впечатления), — все свидетельствует о душевной трезвости, уравновешенности, гедонизме. По всему складу своего характера Любовь Дмитриевна была прямой противоположностью мятущемуся, трагическому Блоку. Есть у него стихотворение «Сон» — с богатым автобиографическим «подтекстом». В черновом наброске оно начинается строкой: «Мать, и жена, и я — мы в склепе. . .» Здесь проступают как бы две человеческие, душевные полярности: сын и мать полны мятежной тревоги и жаждут «воскрешения»; а рядом с ними —

Под аркою того же свода
Лежит спокойная жена;
Но ей не дорога свобода:
Не хочет воскресать она. . .

¹ «И быль и небылицы о Блоке и о себе» (рукопись в ЦГАЛИ). Три отрывка из этой рукописи опубликованы в сборнике «День поэзии 1965». Л., 1965, стр. 307—320.

«Ты еще спишь, ты еще не проснулась. . .» — такими словами часто упрекал Блок Любовь Дмитриевну, стараясь вдохнуть в нее владевший им дух тревоги и свободы.

Жена Блока была очень «позитивистской» натурой, с громадной жаждой жить и брать от жизни как можно больше, получать от нее «удовольствие» (как иронически называл это Блок, в шутку, но с долей серьезности именовавший Любовь Дмитриевну «язычницей»).

Среди бумаг Любови Дмитриевны нашелся листок, озаглавленный: «Радости». Перечисляя на склоне лет все, что особенно радовало ее в жизни, она называет здесь и свои «чудные платья», «парчи, шелка и кружева» своего гардероба, и балетные спектакли, и модные журналы, и даже «битые сливки с земляникой». Немыслимо представить себе, что Блок составляет такой список своих «радостей».

Конечно, Любовь Дмитриевна, как мы увидим дальше, многое восприняла от Блока и от его среды. На какое-то время она подпала под влияние Блока и даже не без успеха пыталась перенять его настроения, интересы, жаргон. Но все это было наносным, чуждым ей органически. Она довольно быстро высвободилась из-под влияния Блока и в дальнейшем настойчиво стремилась противопоставить этому влиянию нечто свое, всячески хотела самоутвердиться как личность. В значительной мере напряженность отношений, сложившихся между Блоком и его женой, объясняется именно этим глубоким несходством их человеческих натур, характеров, интересов, склонностей и устремлений. Если бы Любовь Дмитриевна была более податливой, если бы она целиком подчинилась воле Блока, кто знает, может быть, тогда и трагедий между ними не возникало бы. Но она была по-своему цельным и целеустремленным человеком. После губительных бурь 1906—1908 годов, расшатавших ее семейную жизнь, Любовь Дмитриевна все глубже уходит в свое личное существование, в котором все было Блоку чуждым и враждебным.

Если не говорить о пятилетии (1898—1902), когда были созданы юношеские лирические циклы поэта, Любовь Дмитриевна сыграла в жизни Блока в общем роковую, тяжелую роль, — хотя и сам он тоже, по-человечески, конечно, был во многом виноват перед нею («Никогда не умел ее любить. А люблю», — записывает он в 1917 году). Однако справедливость требует признать, что порою, в лучшие их дни и недели (ни месяцев, ни тем более лет таких не было), она благотворно действовала на Блока — именно своей цельностью, душевным здоровьем, веселостью и шаловливостью, неистребимой «детскостью» («...ей тридцать лет, а в сущности — два», — записывает Блок). Она умела в иные минуты рассеять одолевавшую Блока черную тоску, умела заставить его улыбнуться, стряхнуть груз тяжелых дум и настроений.

Любовь Дмитриевна занимала в жизни Блока поистине громадное, ни с чем не сравнимое место. *Люба* — это его вечная тема. Она *всегда* присутствует в сознании. Мысли и думы о ней, воспоминания о ней, мечты и надежды, связанные с нею, — все это постоянно сопровождает Блока, где бы он ни был, что бы он ни делал. Имя ее не сходит со страниц дневников Блока. И как знаменательно, что самые последние записи в дневнике, занесенные уже коснеющей рукой медленно умиравшего человека, все о ней же — о Любе, о том «незабвенном», что некогда, на заре жизни, связало этих двух столь несхожих людей. . .

И какая громадная амплитуда колебаний в этих бесконечных записях! В них попеременно звучит то необъятная, всепрощающая любовь, то «страшная злоба», и тревога, и нежность, и горький упрек, и светлое благословение, и горе, и радость.

Вот в тяжелую минуту, охваченный «ночным чувством непоправимости», Блок записывает: «...милее всего прошедшее, святое место души — Люба. Она помогает — не знаю чем, может быть, тем, что отняла?»¹ Но вот, меньше чем через год, в записной книжке появ-

¹ Александр Блок. Записные книжки. 1901—1920. М., 1965, стр. 160. В дальнейшем — «Записные книжки».

ляется заметка, в которой Блок касается самого сокровенного; что он таил от всех (и от самого себя?): «Люба довела маму до болезни. Люба отогнала от меня людей, Люба создала всю ту невыносимую сложность и утомительность отношений, какая теперь есть. Люба выталкивает от меня всех лучших людей, в том числе — мою мать, т. е. мою совесть. Люба испортила мне столько лет жизни, т. е. измучила меня и довела до того, что я теперь. Люба, как только она коснется жизни, становится сейчас же таким дурным человеком, как ее отец, мать и братья. Хуже, чем дурным человеком — страшным, мрачным, низким, устраивающим каверзы существом, как весь ее Поповский род.¹ Люба на земле — страшное, посланное для того, чтобы мучить и уничтожать ценности земные. Но 1898—1902 <годы> сделали то, что я не могу с ней расстаться и люблю ее».²

Заметим, что написано это было не в момент резкого обострения отношений, каких было много, а в период относительного затишья семейных бурь, когда внешних поводов к такому раздражению, к такому беспощадному приговору, казалось бы, не было.

Однако не нужно торопиться с выводами... Эта запись — вовсе не окончательный приговор, не итог отношения к человеку, к жене, к спутнице жизни. Проходит еще три года. Блоки за границей, в прелестной приморской деревушке, где накапливались впечатления, отразившиеся в поэме «Соловьиный сад». И здесь личная трагедия неотступно преследует Блока: «Вечером — горькие мысли о будущем и 1001-й безмолвный разговор о том, чтобы разойтись. Горько, горько. Может быть, так горько еще и не было». Но на следующий день: «Утром — разговор до слез. Потом — весь день дружны».³ И опять — давнее, милое сердцу воспоминание — о том, как двенадцать лет тому назад, именно в этот день, в менделеевском Боблове они с Любой «ходили вдвоем по дорожке и видели мерт-

¹ «Поповский род» — не от слова *пол*, а от девичьей фамилии матери Л. Д. Блок — *Попова*.

² «Записные книжки», стр. 166.

³ Там же, стр. 192.

вую птицу» (это воспоминание о мертвой птице сопровождало обоих в течение всей жизни, — о ней рассказывает в своих мемуарных набросках и Л. Д. Блок).

Но Люба — это не только детскость, которая порою умиротворяет, радует, веселит, позволяет забыть о «страшном мире». Это также и задушевные, серьезные разговоры о жизни и об искусстве, это — проверка своего собственного искусства. Люба — первый слушатель, судья и советчик, верный «товарищ» (слово, часто встречающееся в переписке Блоков). «Люба учит, что теперь надо работать, «корпеть», что уже ничто не дастся «даром», как давалось прежде. Правда, попробую, попытаюсь», — записывает Блок в мае 1912 года (VII, 143). И это не случайная запись. Он всегда чутко прислушивается к тому, что скажет Люба. В разгар работы над драмой «Роза и Крест» он отмечает: «Пишу почти целый день. Ссорюсь с Любой... На ночь — читаю Любе, ей нравится и мне. Успокоение» (VII, 205).

Да, личная жизнь не получилась, не вышла. Мужа и жены нет, но осталось два человека, вопреки всем своим драмам связанные прожитым и пережитым, осталось два «товарища», соединенных уже особыми, «сверхличными» отношениями. «Все этапы жизни нам с тобой суждено пройти вместе, чувствовать все вместе», — пишет Блок Любове Дмитриевне в феврале 1913 года.

И опять, и снова — бесконечные воспоминания о «незабвенном», которые скрашивают жизнь и питают творчество. Вот, к примеру, Блок заканчивает большую запись в дневнике — раздумье о современной жизни, об искусстве, о сложившейся литературной обстановке. И тут же вспоминает, как именно в этот день, много лет назад, он встретился со своей Любой на улице и как они зашли в Казанский собор. И это воспоминание для Блока есть событие, стоящее в том же большом ряду: жизнь — искусство — судьба. Для него все эти интимные мелочи окружены множеством важных ассоциаций. Это — вехи его жизненного пути, и он все меряет этими вехами. Вот Блок в 1914 году приезжает в Шахматово. И сразу появляется запись:

«...Хожу по тем местам, где когда-то, в молодости, тосковал о Любе, а после — скучал с ней. Как сладостно». ¹ Проходит еще несколько трудных лет. И опять: «После обеда — очарование Лесного парка, той дороги, где когда-то под зимним лиловым небом, пророчащим мятежи и кровь, мы шли с милой — уже невеста и жених». ²

Так в мир интимных воспоминаний властно вторгается (как всегда у Блока) действительность, история, революция, образы мятежей и мировых катастроф. Уже рухнула старая царская Россия, уже перед поэтом открывается «новая жизнь», его овеивает небывалый «вихрь мыслей и чувств». Идет июль 1917 года. Блок полон трепетных предчувствий и ожиданий. Он весь натянут, как струна. И в эти решающие исторические дни он ни на миг не забывает о Любе: «... и жить люблю, а не умею, — и — когда же старость, и много, и много, а за всем — Люба» (VII, 281).

Итогом всех бесчисленных мыслей и дум о Любе могут служить следующие слова Блока, записанные им в мае 1917 года: «Как-то тревожно все, неблагополучно... Как мне в такие дни нужна Люба, как давно ее нет со мной. Пожить бы с ней; так, как я, ее все-таки никто не оценит — все величие ее чистоты, ее ум, ее наружность, ее простоту. А те мелкие наследственные (от матери) дрянные черты — бог с ними. Она всегда будет сиять» ³.

Вот какова была гамма отношений: «Люба на земле страшное...» и «Она всегда будет сиять...»

Чтобы разобраться в этом противоречии, нужно обратиться к материалу выдающегося значения — к переписке Блока с невестой и женой. ⁴ Письма Блока к ней — документ величайшей человеческой искренности: они согреты таким жаром любящего и измученного

¹ «Записные книжки», стр. 233.

² Там же, стр. 342.

³ Там же, стр. 399.

⁴ Это 321 письмо Блока и 336 писем Л. Д. Блок, хранящихся в ЦГАЛИ. Письма Блока к Л. Д. Блок опубликованы лишь в незначительной части.

сердца, что обжигают и теперь. Но читать и оценивать их нужно, конечно, в известном историческом ракурсе. Это человеческий документ *своей* эпохи. Печать времени лежит на нем, а время было трудное, переломное, во многом — дурное — «испепеляющие годы».

При всей интимности переписки, в ней есть богатый исторический подтекст. Блок отчетливо понимал глубинную связь между событиями своей личной жизни и тем, что происходило вокруг него в мире. На своем языке он сказал об этом совершенно внятно: «Едва моя невеста стала моей женой, лиловые миры первой революции захватили нас и вовлекли в водоворот. Я первый, так давно тайно хотевший гибели, вовлекся в серый пурпур, серебряные звезды, перламутры и аметисты метели. За мной последовала моя жена, для которой этот переход (от тяжелого к легкому, от недозволенного к дозволенному) был мучителен, труднее, чем мне. За миновавшей вьюгой открылась железная пустота дня, продолжавшего, однако, грозить новой вьюгой, таить в себе обещания ее. Таковы были между-революционные годы, утомившие и истрепавшие душу и тело» (VII, 300).

Эти слова подсказывают наиболее верное, полное и углубленное понимание переписки Блока с женой. Перед нами патетическая повесть о том, как «водовороты» и «вьюги» эпохи общественной реакции и идейного разброда непоправимо покалечили две человеческие жизни.

2

Я знал, задумчивый поэт,
Что ни один не ведал гений
Такой свободы, как обет
Моих невольничьих Служений.

Переписка делится почти равномерно на две части. Первую часть составляют письма 1902—1903 годов, посылавшиеся ежедневно (и зачастую по несколько раз в день). Они освещают историю юношеского романа Блока, завершившегося его женитьбой на Любове Дмитриевне Менделеевой.

Собственно говоря, это даже не письма в обычном понимании, а некое художественное единство — «роман в письмах», со своим «сюжетом», со своей образной тканью и фразеологией. Так, кстати сказать, они и воспринимались той, кому были адресованы: «Ты принимаешь мои письма, как повесть. . .» — писал Блок Любови Дмитриевне. Эпистолярный роман этот служит, с одной стороны, важным дополнением, с другой — убедительным комментарием к лирическим циклам «Стихи о Прекрасной Даме» и «Распутья». Стихи и письма образуют единый круг чувств, мыслей, переживаний. То, что остается недосказанным в стихах, получает обоснование в письмах; метафизика любви, которую Блок развивает в письмах, обретает художественную плоть в стихах. Круг замыкается.

Наиболее существенно, что письма этих лет в значительной мере по-новому раскрывают идейно-художественную проблематику и психологическое содержание юношеской лирики Блока. Мы и раньше знали о ее «двупланности», угадывали в ней под густым мистическим покровом вполне реальные и конкретные жизненные обстоятельства. Письма Блока к невесте с особой убедительностью подтверждают, что за мистико-мифологическими темами и образами его поэзии лежали «земные», человеческие чувства, источником которых было увлечение Л. Д. Менделеевой.

Блок заметил однажды, что о любви его «прочтут в его книгах» (VII, 353). Это действительно так, с той, однако, поправкой, что сердечные чувства и романтические отношения выражены в его ранней лирике не прямо, но трактованы мистически, мифологизированы, подчинены некоей метафизической концепции, — почему «Стихи о Прекрасной Даме» и не поддаются узкобиографическому истолкованию. Поэт творил свою религию и свою мифологию — и потому его юношеская лирика в своей «двупланности» единоклестна, нерасчленима как художественная структура: «*gealia*» совмещены в ней с мистическими идеями, присутствуют как бы в оболочке этих идей. Вне такого понимания поэтический мир молодого Блока разрушается именно как идейно-художественное единство. Но при всем том

само переживание, из которого рождалась поэзия, было жизненно конкретным в своем человеческом содержании.

Из писем к Л. Д. Менделеевой ясно видно, что Блоком уже в те годы владело острое чувство жизни, что в глубине его уединившейся и немолчаливой души таились настоящие жизненные силы и настоящая воля к жизни — творческой, действенной, устремленной в будущее. Но были разного рода причины и обстоятельства личного, социального и даже общен исторического порядка, почему эти глубоко запрятанные жизненные силы долго не находили себе реального выхода и, сублимируясь, облекаясь в формы крайне субъективистского и хаотического мировоззрения, роковым образом приводили молодого поэта в тесный, замкнутый круг ложных идей и представлений.

Да и то сказать, если бы в Блоке в самом деле не были заложены богатые жизненные силы, разве мог бы стать он таким поэтом, какого мы знаем, — трагическим поэтом страсти и отчаянья, но вместе с тем и поэтом «свободной мечты», поэтом романтического жизнеутверждения, столь чутким к ходу истории и противоречиям действительности. При всей сгущенности мистического жаргона, к которому прибегает Блок в письмах к возлюбленной, при всем злоупотреблении им «сумасшедшими терминами» (слова самого Блока), в письмах громко звучит та живая человеческая страсть, которая и позволила поэту в дальнейшем вырваться из-под власти мистических абстракций и выйти на широкий путь настоящего художественного творчества.

Читая юношеские письма Блока, нужно преодолеть их «сумасшедший», эзотерический стиль и уловить главное и основное в бесконечном потоке сбивчивых, страстных слов. И, конечно, нужно учесть возраст корреспондентов: Блоку в это время 21—22 года, Любови Дмитриевне — соответственно 20—21. Правда, когда речь идет о таком гениально одаренном юноше, как Блок, понятие возраста приобретает характер несколько условный. Блок уже тогда был человеком глубоко и самобытно думающим и очень глубоко

чувствующим. Его интеллектуальные запросы в это время уже достаточно серьезны и широки: он интересуется и философией, и филологией, и религией.¹ Но в письмах к возлюбленной он дает полную волю своему непосредственному и очень юному чувству. Отсюда — их восторженно-экзальтированный, на строгое ухо — наивный тон.

Любовный роман Блока совпал по времени с увлечением им поэзией, мистикой и эсхатологией Вл. Соловьева. Уже прежде подготовленный к восприятию соловьевских идей усиленным чтением Платона и новоплатоников, летом 1901 года («мистическое лето», как называл его Блок) он целиком погружается в темную стихию всяческих «знамений» и «предчувствий». Блок начинает сопоставлять и согласовывать с подмечаемыми им в природе загадочными «знаками» события своей личной, внутренней жизни. И те и другие складываются в некое нерасторжимое единство. О том, что громадную роль играло при этом именно любовное чувство («романические переживания»), вполне определенно сказал впоследствии сам Блок: «... в связи с острыми мистическими и *романическими* переживаниями, всем существом моим овладела поэзия Владимира Соловьева. До сих пор мистика, которой был насыщен воздух последних лет старого и первых лет нового века, была мне непонятна; меня тревожили знаки, которые я видел в природе, но все это я считал «субъективным» и бережно оберегал от всех» (VII, 13).²

Возможности мистической абсолютизации сердечного чувства подсказывались Блоку соловьевской метафизикой любви, с которой он в это время познакомился. Коротко говоря, суть ее сводится к следую-

¹ Кстати сказать, евангельские изречения и образы, часто встречающиеся в письмах Блока, не должны вводить в заблуждение. Блок с юных лет был глубоко равнодушен к ортодоксальной церковности. Он творил свою религию и свою мифологию, в которых цитаты из Евангелий зачастую находили то или иное близкое применение.

² Подробнее о «соловьевстве» Блока — в предыдущем очерке «История одной «дружбы-вражды».

щему. «Высшее идеальное единство», составляющее, по Вл. Соловьеву, цель и смысл жизни, осуществляется в любви, которая вносит в материальный мир истинную, идеальную человечность. В любви — высшее проявление индивидуальности, «восстановление единства или целостности человеческой личности», торжество над смертью, мистическая «вечная жизнь». Смысл любви заключается, по Соловьеву, в признании за другим существом «абсолютного, безусловного и бесконечного значения». Но «было бы столь же нелепо, сколько и богохульно» (добавляет Соловьев) утверждать, что такое значение любимое существо приобретает в своем «эмпирическом бытии». Следовательно, признавать за любимым существом безусловное и бесконечное значение можно лишь *верой*. Тем самым предмет такой «верующей любви» хотя и отличается от эмпирического объекта «инстинктивной любви», но нераздельно с ним связан. «Это есть одно и то же лицо в двух различных видах, или в двух разных сферах бытия — идеальной и реальной».¹

Под влиянием платоновско-соловьевской идеи «двоемирия», веры в идеальные «миры иные», постигаемые духовным взором, складываются мистико-романические фантазии Блока. Реальный образ любимой девушки сливается в его воображении с заимствованным у Вл. Соловьева представлением о некоем божественном начале, воплощенном в понятиях Мироздание Душа или Вечная Женственность и призванном внести в материальный мир стихию духовного обновления человечества. Образ любимой девушки оказывается «идеализированным» в соловьевском смысле. Сам Блок, проследившая на склоне жизни этапы своего внутреннего развития, писал, имея в виду отношения свои с Л. Д. Менделеевой: «Началось то, что «влюбленность» стала меньше призвания более высокого, но объектом того и другого было одно и то же лицо» (VII, 344). *Того и другого* — заметим это.

¹ В. С. Соловьев. Смысл любви. Собрание сочинений, Изд. 2-е, т. 7, стр. 44.

Одновременно с перепиской с Л. Д. Менделеевой в 1902 году Блок вел интимный дневник. В нем особенно заметно, как «то» и «другое» — «земное» и «небесное», любовь и мистика — сливались воедино. Да, именно так и было в действительности. Самые «высокие» и «несказанные» настроения и переживания мирно совмещались с самым бытовым, обыденным. Раздумья о Душе Мира перемежались с ordinary заботами суетного света, погружение в «ноуменальное» — с успехами в любительских спектаклях и т. п.

Также и в мемуарных записях 1918 года, воссоздающих последовательное развитие мистического романа 1901—1902 годов и комментирующих тогдашние стихи, Блок с присущей ему правдивостью и точностью фиксирует (задним числом) факты того и другого ряда. И те и другие факты оказываются чем-то единым, нерасчленимым. Вот, исполняя поручение матери, он идет на Васильевский остров покупать таксу. По пути, исполненный мистических переживаний, он неотступно думает о своей возлюбленной, воображая ее живым воплощением Вечной Подруги, — и «в таком состоянии» видит ее издали. Встреча эта порождает зашифрованное стихотворение («Пять изгибов сокровенных. . .»), в котором Блок захотел «запечатать свою тайну». Но собаку он все-таки доставил матери — «привез в башлыке, будучи в исключительном состоянии, которого не знала мама» (VII, 343).

Это единство «исключительного» и обыденного составляет характерную черту тогдашней душевной жизни Блока, со всей наглядностью проступающую в его письмах к Л. Д. Менделеевой. В сентябре 1902 года он решает, наконец, сказать Любове Дмитриевне, что придает ей значение «ноуменальное». Но сразу же вслед за тем в создаваемый им условный, фантастический мир вторгается грубая проза жизни. Приходится думать о том, как бы наладить встречи с возлюбленной — и появляются меблированные комнаты на Серпуховской с вечной боязнью слежки, пересудов, всякой житейской пошлости и грязи. Так было во всем: озабоченные думы о «Ней» совмещаются со строгим испол-

нением студенческих обязанностей, мрачнейшие предчувствия — с «веселыми дурачествами».

Поэтому многое из того, что писал Блок в это время (и *как* он это писал), нужно, говоря его же словами, «повернуть проще» (VIII, 199). Для того, чтобы по достоинству оценить письма Блока к Л. Д. Менделеевой, необходимо преодолеть гипноз их эзотерического стиля. Письма от этого ничего не теряют в своей психологической выразительности, зато кое-что приобретают в своем человеческом содержании.

Любовь Дмитриевна с самого начала тоже хотела свои отношения с Блоком «повернуть проще». Сделать это ей не удалось, но сама попытка ее знаменательна. Мы уже говорили о «земной» природе Любви Дмитриевны, о ее позитивистской закваске. Дочь великого естествоиспытателя, воспитанная, нужно думать, в уважении к опыту и факту, она была совершенно чужда и, более того, враждебна всякой мистике, всякой невнятице. И в этом смысле она с первых шагов сопротивлялась влиянию Блока. Из переписки молодых людей видно, что безудержные завихрения Блока на первых порах неизменно вызывали у Любы Менделеевой резкий протест. «Пожалуйста, без мистики!» — таков был обычный ее ответ.

В январе 1902 года Любовь Дмитриевна решила даже порвать с Блоком. Эпизод этот хорошо освещен в ее воспоминаниях. В письме, которое она заготовила для передачи Блоку, но не передала, она совершенно недвусмысленно сказала, что хочет быть не «фантастической фикцией», а «живым человеком», хотя бы и со всеми недостатками, и что ей оскорбительно, когда на нее смотрят «как на какую-то отвлеченность, хотя бы и идеальнейшую». ¹

Получалось крайне досадное для Блока и довольно смешное противоречие: та, кого поэт сделал героиней своей религии и мифологии, всячески сопротивлялась этому мифотворчеству. Тогда Блок, желая во что бы то ни стало вовлечь Любовь Дмитриевну в круг

¹ Письмо опубликовано в «Ученых записках Ленинградского Гос. педагогического института», вып. 5 (1956), стр. 249—250.

своих мыслей и настроений, начинает последовательно, из письма в письмо, настойчиво и терпеливо разъяснять — в чем же существо его мистики. Сознвая и признавая «сложность» и «вычурность» своих «рассудочных комбинаций», он уверяет, что не в них суть дела, что они лишь внешняя форма (может быть, неудачная, косноязычная) подлинных и безусловных переживаний. И нужно сказать, что он сумел переубедить Любовь Дмитриевну, сумел приобщить ее (на некоторое время) к своей вере.

Разъяснения Блока в высшей степени знаменательны. Он настаивает на том, что мистицизм его есть не что иное как способ жить более глубокой и напряженной, «удесятеренной» жизнью, и что та, кого он поставил в центре своего духовного мира, служит для него главным, если не единственным источником жизненных сил. Он говорит, что у него бывают попеременно дни «отвлеченные» и дни «реальные»: «Бывают *более* отвлеченные, когда я надышусь метафизикой из книг или от людей, которые все говорят, в сущности, об одном. Тогда я только чувствую еще и будущие миры. Но никогда, раз навсегда клянусь Тебе, я не в силах уйти в полную отвлеченность. Я *никогда* не забуду, что Ты, живая и молодая, такая, какая Ты есть перед глазами, в простом человеческом сердце моего существа».

«Простое человеческое сердце моего существа...» Какие это настоящие, прямые слова, и как много объясняют они в жизни и творчестве Блока. Объясняют, в частности, почему лучшие из юношеских стихов его доньше живут и будут жить как явление искусства — независимо от выраженных в них мистических идей и вопреки им.

«Ты принимаешь за отвлеченное, м. б., иногда образы и фантазии в рифмах, — разъясняет Блок Любови Дмитриевне. — Но ведь стихи и образы не рассудочны. Только форма их гранична рассудком (окончательная), а содержание и, главное, «субстанция» всегда выпевается из сердца прямо непосредственно. Воля, которая выражается в стихах, есть страстная, а не разумная воля... Ты — вся моя *молодость*, моя

живая надежда, мое земное бытие. Ты — мой идеал не только «там», но и «здесь». И это было так всегда, с тех пор, как я Тебя встретил» (письмо от 24 декабря 1902 года).

Это признание замечательно. В нем — ключ к правильному, не схоластическому и не догматическому пониманию юношеской лирики Блока.

Конечно, не следует впадать в неоправданные преувеличения и сглаживать противоречия художественного мировоззрения Блока. Само понятие «земного бытия» в общем идейно-психологическом контексте «Стихов о Прекрасной Даме» приобретало характер условный. Молодой поэт, живя «иным», в ту пору еще с презрением отворачивался от окружавшей его повседневности, тем более — от всякой «общественности», и, бесспорно, такая самоизоляция от того, что служит мощным источником искусства, на известное время затормозила нормальный ход его идейно-творческого развития. Но из этого еще не следует, что область «земного бытия» вообще не существовала для поэта. Нет, напротив, он склонен был постоянно соотносить происходящее в его душевном мире с тем, что происходит в действительности. Правда, интерес к действительности у него особый: в реальном, эмпирическом он ищет по большей части некие «знаки» потустороннего, таинственного.

Но вот что важно. Уже в ту, очень раннюю, пору в Блоке начинают просыпаться глухие предчувствия чего-то нового, незнакомого, накапливающегося в мире, как грозное электричество. Как очень чуткий сейсмограф, Блок начинает ощущать подземные толчки истории, — хотя еще и не может дать себе никакого отчета в своем ощущении, в овладевающей им неясной тревоге. Характерно в этом смысле письмо от 20 ноября 1902 года: «Здесь в мире, в России, среди нас теперь делаются странные вещи и в Москве и в Петербурге. Бегают бледные старые и молодые люди, предчувствуют перевороты и волочат за собой по торжищам и по утонченным базарам, и по салонам и по альковам красивых женщин, и по уютам лучших мира сего — знамена из тряпок и из шелка и из невидимых и

прекрасных тканей Востока и Запада. И волочат умы людей — и мой тоже».

Блок еще мистифицирует действительность. В реальных общественно-исторических закономерностях он не разбирается вовсе, но в нем зреет ощущение кризиса и перелома. Жизнь уединенной души, устремленной в «миры иные», оказывается, как-то и в чем-то пересекается с жизнью века. «*Мое тамошнее треплется в странностях века*», — многозначительно замечает Блок в том же письме.

Чем дальше, тем внимательнее вглядывается он в «странности века» и пытается разобраться в них. Тема власти века над индивидуальной душой приобретает для него все большее значение и получает в письмах его дополнительное обоснование. Он уже начинает искать в условиях времени, в неблагоприятии эпохи — разгадку человеческих трагедий, той проклятой раздвоенности, которая истерзала душу современного человека. В письме от 30 марта 1903 года Блок пишет: «Теперь у нас такое время, когда всюду чувствуется неловкость, все отношения запутываются до досадности и до мелочей, соображениям нет числа, и, особенно, в крайних резких и беспощадных чертах просыпается двойственность *каждой* человеческой души, которую нужно побеждать; если хочешь, даже марьонетки, дергающиеся на веревочках, могут приходиться на ум и болезненно тревожить. Всему этому нет иного исхода, как только постоянная борьба и постоянное неприменное ощущение того, что есть нечто выше и лучше, даже чище и надежнее, настоящее *счастье*, к которому нужно прийти так или иначе *сознательно*».

Очень важные слова! Интересно, что здесь уже предвосхищены в какой-то мере проблематика и мотивы «Балаганчика». (В автобиографии (VII, 13) Блок отметил, что у него очень рано родились «приступы отчаянья и иронии, которые нашли себе исход через много лет» — в «Балаганчике».) Вот где, оказывается, берет начало постоянное для зрелого Блока тяготение к душевной цельности, стремление его разогнать назойливых «двойников», победить сомнения, преодо-

леть марионеточную издерганность души и обрести пути к жизни светлой, прекрасной и гармоничной. Наиболее замечательна уверенность двадцатидвухлетнего поэта в том, что путь к истинному счастью — это путь *сознательной борьбы*.

Как видим, все это вносит существенный корректив в обычное представление о молодом Блоке как о бесплотном визионере, с головой ушедшем в мистические абстракции. При всей смутности и безотчетности ощущений Блока, в нем уже просыпалось *чувство* реальной жизни (не знание ее, а именно чувство!). И, конечно, много лет спустя он имел и право и основание сказать: «... что везде неблагоприятно, что катастрофа близка, что ужас при дверях, — это я знал очень давно, знал еще перед первой революцией» (VI, 131).

Во имя своего иллюзорного идеала гармонии будущего, преображенного мира и целостного, «гармонического» человека Блок и творит свою поэтическую мифологию. Единственная героиня этой мифологии (во всех модификациях своего образа — Дева, Прекрасная Дама, Заря-Купина, Владычица Вселенной и т. п.) открывает перед поэтом путь в будущее — из мрака «глухой ночи» во вселенский свет «ослепительного дня»:

Верю в Солнце Завета,
Вижу зори вдали.
Жду вселенского света
От весенней земли.

Все дышавшее ложью
Отшатнулось, дрожа.
Преодо мной — к бездорожью
Золотая межа...

Связывая с возлюбленной свои *«живые надежды»*, лежащие в сфере *«земного бытия»*, Блок начинает сомневаться в мертвой схоластике Соловьева и Мережковского. Их сухое теоретизирование, рассудочные «синтезы» отпугивали Блока именно в силу своей схоластической безусловности. В декабре 1902 года он набрасывает весьма остроумное и крайне злое «возражение на теорию Мережковского» (VII, 67—68). Тогда же он признается в письме к одному из своих

конфидентов: «Я уже никому не верю, ни Соловьеву, ни Мережковскому». ¹

Для Блока между его духовными устремлениями и житейскими обстоятельствами не было никаких противоречий. Знаменательно в этой связи, с каким горячим негодованием отнесся он к бестактным расспросам З. Н. Гиппиус: как понимать намерение его жениться на той, кого он сделал своей Прекрасной Дамой. З. Н. Гиппиус со своими присными «не сочувствовала» женитьбе Блока, находя в ней «дисгармонию» с его стихами. Блок по этому поводу писал отцу: «Для меня это несколько странно, потому что трудно уловить совершенно рассудочные теории, которые Мережковские неукоснительно проводят в жизнь, даже до отрицания реальности двух непреложных фактов: свадьбы и стихов (точно который-нибудь из них не реален!). Главное порицание высказывается мне за то, что я, будто бы, «не чувствую конца», что ясно вытекает (по их мнению) из моих житейских обстоятельств». ²

Он и в самом деле «не чувствовал конца». Он собирался жить, а не умирать: «... душа уж как-то не требует прежних моих громоздких и отвлеченных обобщений. Улыбаются мне все прошедшие и *будущие* факты жизни» (VIII, 62).

В письмах к Л. Д. Менделеевой Блок не устает твердить, что от всякого теоретизирования он отстраняется всем своим существом, что вера его — целиком в «пределах бытия», что это сама жизнь, что она поднимает, окрыляет его и что источник этого воодушевления таится в самой личности Любви Дмитриевны. «В Тебе такая глубокая сила истинной жизни, что Ты свободно и безболезненно спокойно все время отдаешь часть ее мне, и эта часть так громадна, что я чувствую себя совершенно возродившимся и необыкновенно бодрым... Ты — первая причина, заставившая меня вскрыть в себе свои собственные силы, дремав-

¹ Эту фразу из не дошедшего до нас письма Блока к С. В. Панченко цитирует последний в своем ответном письме к Блоку (ЦГАЛИ):

² «Письма Александра Блока к родным». Л., 1927, стр. 86—87.

шие или уходящие на бессознательное. . . Мне никогда не было так легко воспринимать все жизненные явления, как теперь» (письмо от 30 декабря 1902 года).

Блок начинает по-новому осознавать и оценивать свое ближайшее будущее как художника, как поэта. Он уже производит своего рода переоценку ценностей: «Из сердца поднимаются такие упругие и сильные стебли, что часто кажется, будто я стою на пороге все-радостного познания. . . Жизнь светлая, легкая, прекрасная. К счастью, мы переходим из эпохи Чеховских отчаяний в другую, более положительную: «Мы отдохнем». И это правда, потому что есть от чего отдыхать: перешли же весь сумрак, близимся к утру. Чего только не было — и романтизм, и скептицизм, и декаденты, и «две бездны». Я ведь не декадент, это напрасно думают. Я позже декадентов. Но чтобы мне выйти из декадентства, современного мне, затягивавшего меня бесформенностью и беспринципностью, нужно было волею божией встретить то пленительное, сладостное и великое, что заключено в Тебе. И открылось дремавшее сердце. . .» (письмо от 26 декабря 1902 года).

Удивительна эта пронизательность юноши, уже догадавшегося, что он «позже декадентов».

В письмах все сильнее звучат бодрые, мажорные ноты. Все чаще, все настойчивее говорит Блок о своем «опрощении» и уверяет Любовь Дмитриевну, что это именно она делает для него «великую вещь» — «опрощает» его. Впадая в особенно страстный тон, Блок обращается к ней с такими признаниями: «Знаешь ли Ты, что мне не нужно «тонкостей», извращенно-утонченных, декадентско-мистических излияний, «мужских» умствований. Мне нужно скачку, захватывающую дух, чувство Твоей влажной руки в моей, ночь, лес, поле, луны красные и серебряные; то, о чем «мечтают» девушки и юноши отвлеченно, то мне нужно наяву». Ему нужны вещи, совершенно запретные для мистико-декадентских снобов: и «самая элементарная музыка», и оперные арии, и пошловатые романсы, и поцелуй любимой, ее дыхание, ее движения (письмо от 31 мая 1903 года).

Из всего этого Блок делает вывод, касающийся самого важного и ответственного, что он видит для себя в будущем — своего творчества, своей поэзии: искусство, художественное творчество живет чувственным, конкретно-жизненным опытом, а не «теориями» и «отвлеченностями». В письмах к Любови Дмитриевне он развивает целую концепцию художественного творчества как выражения жизненной силы. Он соглашается, что «силы *к жизни*» у него, может быть, и не так много («это уж лежит в натуре»), но все же она есть и проявляется как раз в стихах (письмо от 22 февраля 1903 года). Художественное творчество только и может питаться и жить этой силой. Оно не терпит безжизненных «умствований», сухих абстракций. «Поэт. . . как бы он ни глубоко погрузился в отвлеченность, остается в самой глубине поэтом, значит любовником и безумцем. Когда дело дойдет до самого важного, он откроет сердце, а не ум, и возьмет в руки меч, а не перо, и будет рваться к окну, разбросав все свитки стихов и дум, положит жизнь на любовь, а не на идею. Корень творчества лежит в Той, которая вдохновляет, и она вдохновляет уже на все, даже на теорию, но, если она потребует и захочет, теории отпадут, а останется один этот живой и гибкий корень» (письмо от 31 мая 1903 года).

Здесь предугадана вся творческая судьба Блока. Вот где таилась та сила, которая в дальнейшем позволила поэту выйти из потемок метафизики к свету жизни. Живой и гибкий корень творчества пророс сквозь мистическую схоластику, сквозь всякого рода ложные теории, которые отпали ветхой чешуей, открыв подлинное — прекрасное и трагическое — лицо музы Блока. По глубокому определению самого поэта, «Стихи о Прекрасной Даме» — это «сны и туманы, с которыми борется душа, чтобы получить *право на жизнь*» (II, 371).

В середине 1903 года, перед женитьбой, Блок уже ясно понимал, что он накануне крутого поворота, что его мелодия «уже поет иначе».

Зеркалом, отразившим эту напряженную и смутно-тревожную жизнь, служит юношеская лирика Бло-

ка. Вся она обращена к возлюбленной поэта, в образе которой сливаются и мистические фантазии и жадная влюбленность в реальную «розовую девушку». Само по себе такое «слияние «земного» с «божественным» в любви к женщине, конечно, не было поэтическим изобретением Блока. Достаточно вспомнить Данте и Петрарку. Нечто подобное найдем мы и у немецких романтиков — у Новалиса и Brentano. Но, пожалуй, ни у кого из поэтов нового времени тема божественного сверхчувственного «откровения» в любви не приобрела такой полноты воплощения, как у Александра Блока.

«Ante Lucem», «Стихи о Прекрасной Даме» и «Распутья» — это, в самом деле, *дневник*, написанный стихами, как определил свою юношескую лирику сам Блок.¹

Сперва это ординарная любовная лирика, еще без каких бы то ни было уклонений в мистику. Таковы стихи, начиная с весны 1898 года, говорящие лишь о том, как «разрывалось» переполненное любовью сердце поэта. Несколько позже, под влиянием шекспировского спектакля 1 августа 1898 года (так хорошо описанного в мемуарах Л. Д. Блок),² возникает важная в общей структуре этой лирики тема Офелии, вносящая трагическую ноту в простенькую мелодию ранних стихов. Еще позже появляется мотив «служения» — сперва еще тоже без мистической окраски («Servus — Reginae»). И лишь в стихах, написанных летом 1900 года, начинают звучать новые ноты:

Я — одинокий сын земли,
Ты — лучезарное виденье...

По поводу стихотворения «На небе зарево...» (10 июня 1900 года) Блок впоследствии заметил: «Мистика начинается...» (VII, 342). Тут появляются и большие буквы в слове «Ты». Вслед за тем Блок знакомится со стихами Вл. Соловьева (и одновременно

¹ См.: Н. Павлович. Об Александре Блоке. — «Огонек», 1946, № 28, стр. 27.

² См.: «День поэзии 1965». Л., 1965, стр. 311—313.

с новейшей, декадентской поэзией). В первом же шахматовском стихотворении «мистического лета» 1901 года облик героини осложняется новыми чертами:

И мнилась мне Российская Венера,
Тяжелою туникой повита,
Бесстрашна в чистоте, нерадостна без меры,
В чертах лица — спокойная мечта...

Начинается своеобразная мифологизация поэтической темы, пишется знаменитое стихотворение «Предчувствую Тебя. Года проходят мимо...». При всем том, второй, «реальный» план всегда присутствует в стихах. Мистический роман Поэта и Девы разворачивается в зримой обстановке усадебного быта. Их окружает типичный пейзаж среднерусской равнины, живописных мест Подмосковья: леса, влажные поля, болота, туман над рекой, желтые нивы и лесные тропинки, невысокие холмы, просторные дали, размытая глина проселочных дорог, белые церкви и серые избы. Героиня романа живет на горе, огражденной зубчатой полосой леса, а герой кружит по окрестностям на белом коне. Одно стихотворение за другим складывается в лирический дневник, правдивый и точный в целом и в деталях.

Сегодня шла Ты одиноко,
Я не видал Твоих чудес.
Там, над горой Твоей высокой,
Зубчатый простирался лес...

В контексте ранней лирики Блока это звучит как обращение к Вечной Деве. Но стихи эти можно понимать и как обращение к Любе Менделеевой, которая жила в Боблове, расположенном на холме и отделенном от блоковского Шахматова стеной леса (ср.: «Ты горишь над высокой горою, недоступна в своем терему...», «Она росла за дальними горами...»). И от такого понимания стихи ничего не теряют в своей художественной выразительности. Стоит вспомнить в этой связи справедливое замечание одного критика: «О Блоковской Прекрасной Даме много гадали — хотели видеть в ней то Жену, облеченную в Солнце, то Вечную женственность, то символ России. Но если

поверить, что это просто девушка, в которую впервые был влюблен поэт, то мне кажется, ни одно стихотворение в книге не опровергнет этого мнения, а сам образ, сделавшись ближе, станет еще чудеснее и бесконечно выиграет от этого в художественном отношении».¹

Кстати будет сказать, что реальны не только пейзажные детали ранней блоковской лирики, но, в ряде случаев, и запечатленные в ней обстоятельства. Вот, казалось бы, вполне «отвлеченное» стихотворение — «Я, отрок, зажигаю свечи...». Но вчитайтесь в него, припомнив некоторые факты жизни поэта, и оно приобретет неожиданно конкретный смысл. Незадолго перед тем, за неделю, в Шахматове умер дед Блока (А. Н. Бекетов). Из биографии поэта мы знаем, что он на панихидах зажигал свечи у гроба; по другим стихам нам уже знакома «белая церковь над рекой» (именно в ней венчался Блок), как знакомы и зубчатые вершины леса, от которых вскоре должна «заблещить брачная заря», и т. д.

Осенью и зимой 1901 года ландшафт блоковской поэзии существенно меняется. В нее вторгается город с его шумом, огнями, тревогой, влекущими и обманчивыми видениями. И опять-таки вся образная ткань этих стихов связана с развитием реального романа поэта. Читая письма Блока к Любове Дмитриевне, беспрестанно вспоминаешь его стихи, и знакомые образы их начинают уплотняться, обретать осязаемую конкретность. Скрипучая дверь, огни на реке, серые сумерки, купола церквей, «тусклых улиц очерк сонный», церковные ступени, полусумрак собора, мерцающие образа, каменная скамья в храме, «фонарей убегающий ряд»... Читаем — и в воображении оживают прогулки Блока с его возлюбленной по зимнему Петербургу; их встречи в условленном месте, их блуждания по соборам. Все облекается плотью, за каждым стихотворением сквозит событие, сквозит жизнь. Вот из переписки мы узнаем, что Блока пригласили на

¹ «Аполлон», 1912, № 8, стр. 60—61.

маскарадный вечер к Боткиным. Он не пошел и предпочел разгуливать под окнами маскарадного зала, где веселилась Ляба. Возникают стихи:

Не поймут бескорбные люди
Этих масок, смехов в окне!
Ищу на распутьях безлюдий,
Веселый — не надо мне!

Из дневника Блока мы знаем, что осенью 1902 года его душевное и нервное напряжение достигло высшей точки. Он даже готовится покончить счеты с жизнью, — что, кстати сказать, нисколько не противоречило философии жизнелюбия, на которой он так настаивал в письмах к Любове Дмитриевне: добровольная смерть понимается Блоком в духе Достоевского — как высшее утверждение личности и ее воли к жизни (Кириллов в «Бесах»). Тема самоубийства занимает заметное место в осенних стихах 1902 года: «Ушел он, скрылся в ночь...», «Я пролью всю жизнь в последний крик...», «Его встречали повсюду...», «Мой конец предначертанный близок...», «Я закрою голову белым, закричу и кинусь в поток...» И даже в душную, трагическую атмосферу этих стихов вдруг вторгаются «реалии»:

Ему дивились со смехом,
Говорили, что он чудак.
Он думал о шубке с мехом
И опять скрывался во мрак...

Пройдет много трудных лет — и эта «шубка с мехом» (фигурирующая также и в письме от 29 августа 1902 года) откликнется в стихах, как давнее и милое воспоминание:

Звонят над шубкой меховую,
В которой ты была в ту ночь...

*(«Не спят, не помнят,
не торгуют...» 1909 г.)*

Нужно думать, что Блок вспомнил здесь ночь на 7 ноября 1902 года, когда, наконец, наступил кри-

зис — произошло решительное объяснение с Л. Д. Менделеевой:

Я пребывал в Служеньи много лет.
И вот зажглись лучом вечерним своды,
Она дала мне Царственный ответ.

Кризис разрешился — и сразу же мистические ноты в стихах Блока начинают заметно ослабевать. Таинственная Дева приобретает все более отчетливые земные черты: «Что полюбил я в твоей красоте лебединой. . .», «Или это Ясная мне улыбается. . .», «Молодая, с золотой косою, с ясной, открытой душой. . .» На первый план выдвигается реальный образ «девушки любимой», «розовой девушки», «девушки с глазами ребенка», «девушки, которой я служу». Это уже совсем не то высокое служение, о котором поэт говорил прежде. И девушка (не Дева!) облачается уже не в лазурь и не в солнце, а просто в «черное закрытое платье».

Итог поэтических исканий Блока этого времени — стихотворение «Ей было пятнадцать лет. . .», написанное в Бад Наугейме 16 июня 1903 года, в котором, можно сказать, с протокольной точностью изложено, как закончился роман поэта — объяснение на студенческом балу, встречи в храмах.

Мы поняли, что годы молчанья были ясны,
И то, что свершилось, — свершилось в вышине.
Этой повестью долгих, блаженных исканий
Полна моя душная, песенная грудь.
Из этих песен создал я зданье,
А другие песни — спою когда-нибудь.

Здесь ясно выражено ощущение крутого поворота на своем пути. Новые, «другие» песни уже зрели в душе поэта. Заканчивая первый период своего жизненного и творческого развития, он был полон радужных надежд и ясной веры в будущее. Он еще не подозревал, какая тяжелая драма подстерегала его впереди.

За то, что ты светлой невестой была,
 За то, что ты тайну мою отняла.
 За то, что связала нас тайна и ночь...

Вернемся к истокам.

Первые встречи Блока с Л. Д. Менделеевой и развитие их романа, со всеми его взлетами и падениями, до дня решительного объяснения 7 ноября 1902 года освещены и в позднейших мемуарных записях поэта и в воспоминаниях Любови Дмитриевны. Однако в них есть некоторые пробелы и неточности. Кроме того, Любовь Дмитриевна совершенно не касается «предыстории» своих отношений с Блоком. Поэтому есть смысл восстановить, в самом кратком изложении, последовательность основных фактов и событий.

Дед и бабка Блока — Бекетовы, у которых он рос и воспитывался, дружили с Дмитрием Ивановичем Менделеевым. Именно по совету Менделеева они приобрели усадьбу Шахматово, расположенную в семи-восьми верстах от менделеевского Боблова. Старшая дочь Менделеева от второго брака (с Анной Ивановной Поповой) — Любовь Дмитриевна — родилась (29 декабря 1881 года), как и Блок, в стенах Петербургского университета. «Когда Саше Блоку было три года, а Любе Менделеевой два, они встречались на прогулках с нянями... А Дмитрий Иванович, придя в ректорский дом, спрашивал у бабушки: «Ваш принц что делает? А наша принцесса пошла гулять». Совершенно они встретились в первый раз в Боблове, когда Ал. Ал. было 14, а Л. Дм. — 13 лет. Приезжал Блок с дедушкой. Дети Менделеевы показывали ему свой сад, свое «дерево детей капитана Гранта». Все они вместе гуляли, лазали по деревьям, играли. Л. Дм. в те времена училась в гимназии Шаффе...»¹

Весной 1898 года Блок встретился на художественной выставке с А. И. Менделеевой, которая пригласила

¹ М. А. Бекетова. Александр Блок. Биографический очерк. Изд. 2-е. Л., 1930, стр. 61. Ср. «Д. И. Менделеев по воспоминаниям О. Э. Озаровской». М., 1929, стр. 147.

его летом бывать у них в Боблове. В июне Блок воспользовался приглашением. Он только что окончил гимназию и чувствовал себя очень взрослым — готовился в актеры и вел себя как многоопытный сердцеед (в прошлом уже был роман со зрелой кокеткой К. М. Садовской, оставивший след в юношеской лирике Блока). Много лет спустя, перед самой смертью, намечая продолжение второй главы поэмы «Возмездие», он запечатлел свой первый приезд в Боблово, решивший его судьбу. На самом деле (как выясняется из воспоминаний Любви Дмитриевны) все было не совсем так, но в проникновенном, поэтическом рассказе Блока важна не фактологическая верность события, а художественная правда переживания.

Герой поэмы целыми днями блуждает на коне вокруг родной усадьбы. «Долго он объезжал окрестные холмы и поля, и уже давно его внимание было привлечено зубчатой полосой леса на гребне холма на горизонте. Под этой полосой, на крутом спуске с холма, лежала деревня. Он поехал туда *весной*, и уже солнце было на закате, когда он въехал в старую березовую рощу под холмом. Косые лучи заката — облака окрасились в пурпур, видение средневековой твердыни.¹ Он минует деревню и подъезжает к лесу, едет шагом мимо него; вдруг — дорожка в лесу, он сворачивает, заставляя лошадь перепрыгнуть через канаву, за сыростью и мраком виден новый просвет, он выезжает на поляну, перед ним открывается новая необъятная незнакомая даль, а сбоку — фруктовый сад. Розовая девушка, лепестки яблони — он перестает быть мальчиком» (III, 471).²

¹ См. стихотворение Блока «На небе зарево. Глухая ночь мертва. . .», написанное 10 июня 1900 г.

² Ср. в автобиографической «Исповеди язычника» (апрель 1918 г.): «Вдруг пронесся неожиданный ветер и осыпал яблоневый и вишневый цвет. За вьюгой белых лепестков, полетевших на дорогу, я увидел сидящую на скамье статную девушку в розовом платье, с тяжелой золотой косой. Очевидно, ее спугнул неожиданно раздавшийся топот лошади, потому что она быстро встала, и краска залила ее щеки; она побежала в глубь сада, оставив меня смотреть, как за вьюгой лепестков мелькало ее розовое платье» (VI, 48).

Далее — важный эпизод: любительский спектакль в бобловском сарае — сцены из «Гамлета» (1 августа 1898 года), когда молодые люди, исполнявшие роли Гамлета и Офелии, уже вполне поняли друг друга. С осени, однако, встречи стали реже. Блок сильно увлечен сценическими и «светскими» успехами. В декабре он идет с Любовью Дмитриевной на вечер в честь Льва Толстого, и после этой встречи чувство его вспыхивает с новой силой:

...мне хотелось блеском славы
Зажечь любовь в Тебе на миг,
Как этот старец величавый
Себя кумиром здесь воздвиг!

К январю 1902 года увлечение Блока достигает полного накала. Начинается интенсивнейшая переписка, нервический характер которой Блок отметил впоследствии: «Переписка (в одном городе), иногда — с телеграммами, с немедленным беспокойством, как только нет письма» (VII, 425).

Дневник 1902 года дополнительно характеризует ту сгущенную атмосферу мистицизма, душевной взвинченности и «жесткой арлекинады», которую Блок создавал вокруг себя и своей здравомыслящей возлюбленной. «Я хочу *не* объятий: потому что объятия (внезапное согласие) — только минутное потрясение... Я хочу *не* слов. Слова были и *будут*; слова до бесконечности изменчивы и конца им не предвидится. Все, что ни скажешь, остается в теории... Я хочу сверх слов и сверх объятий. Я хочу того, что *будет*... То, чего я хочу, будет, но не знаю, что это, потому что я не знаю, чего я хочу, да и где мне знать это *пока!*» Тут же — витиеватые рассуждения о самоубийстве как «осуществлении высшей цели путем приложения своей высшей способности» (VII, 52—54).

Все это продолжается и нагнетается до 7 ноября, когда, наконец, разразился кризис. Блок угрожал самоубийством, Любовь Дмитриевна сдалась и дала Блоку согласие стать его женой. Дневник заканчивается записью: «Сегодня, 7 ноября 1902 года, совершилось то,

чего никогда еще не было, чего я ждал четыре года. . .» (VII, 66).

Вот дальнейшее течение событий — по воспоминаниям Блока: «Соборы (Казанский, Исаакиевский). Лесной парк — лиловое небо. . . 8 декабря — Серпуховская. Дни и вечера там. . . 28 декабря разговор с мамой. . . 2 января — она *невеста*. . . Уже заботы («вместе сняться», «шпага»). Взаимные экзамены. . . 1903 г. Весна и лето за границей. . . Объявлены женихом и невестой. Белые ночи — в Палате. Дм. Ив. Менделеев слоняется по светлым комнатам, о чем-то беспокоясь. В конце апреля я получил от отца 1000 руб., с очень язвительным и наставительным письмом. 24 мая вечером мы исповедались, 25 утром в Троицу — причастились и обручились в университетской церкви. . . Счеты, счеты с мамой — как бы выкроить деньги и на границу (я сопровождаю ее лечиться в Bad Nauheim), и на свадьбу, и на многое другое — кольца, штатское платье (уродливое от дешевизны). В конце мая (по-русски) уезжаем в Bad Nauheim. Скряжническое и нищенское житье там, записывается каждый пфенниг. Покупка плохих и дешевых подарков. В середине европейского июля возвращаемся в Россию (через С.-Петербург в Шахматово). Немедленные мысли о том, какие бумаги нужны для свадьбы, оглашение, букет, церковь, причт, певчие, ямщики и т. п. — В Bad Nauheim'е я большей частью томился. . . Переписка с невестой — ее обязательно-ежедневный характер, раздувание всяких ощущений — ненужное и не в ту сторону, надрыв, надрыв. . .» (VII, 425—426).

Перед свадьбой Блок полон тревожных мыслей и неясных предчувствий. «Странно и страшно», — записывает он накануне отъезда из Бад Наугейма.¹ Последующие записи темноваты, но многозначительны: «Запрещенность всегда должна остаться и в браке», «Если у меня будет ребенок, то хуже стихов. Такой же. . .», «Если Люба наконец поймет, в чем дело, ничего не будет. Мне кажется, что Любочка не поймет», «Из семьи Блоков я выродился. Нежен. Романтик. Но

¹ «Записные книжки», стр. 47.

такой же кривляка», «Люба понимает. Я ее обижаю. Она понимает больше меня», «Прежде представлялась как яблочный цветок, с ангельским оттенком. Ничего похожего нет. Все-таки не представляется некоторое, хотя ясно, что *ничего, кроме хорошего, не будет*», «Думал, что есть романтизм, его нет». ¹

Не правда ли, записи эти производят несколько странное впечатление после страстных клятв и трепетных ожиданий, знакомых нам по письмам?.. В записях сквозит какая-то неуверенность.

Впрочем, сама свадьба, состоявшаяся 17 августа 1903 года, была сыграна на славу, и обставили ее весьма поэтически. Блок сообщил своему другу А. В. Гиппиусу: «Ближайший громадный факт моей жизни прошел в идеальной обстановке». ² Вот — отрывки из описания, сделанного участницей этого семейного торжества:

«Свадьбу назначили в 11 часов утра. День выдался дождливый, прояснило только к вечеру. Все мы встали и нарядились с раннего утра. Букет, заказанный для невесты в Москве, не поспел к сроку. Пришлось составить его дома. Ал. Ал. с матерью нарвали в цветнике крупных розовых астр. Шафер, Сергей Соловьев, торжественно повез букет в Боблово на тройке нанятых в Клину лошадей, приготовленных для невесты и жениха. Тройка была красивая, рослая, светло-серая, дуга разукрашена лентами. Ямщик молодой и щеголеватый.

Мать и отчим благословили Ал. Ал. образом. . .

Венчание происходило в старинной церкви села Тараканово. То была не приходская церковь новейшего происхождения, но старинная, барская, построенная еще в Екатерининские времена. . . Она интересна и своеобразна по внутреннему убранству и стоит среди зеленого луга, над обрывом. ³

¹ «Записные книжки», стр. 48, 51, 54. Все записи сделаны в период между началом июля и 15 августа 1903 г.

² Неизданное письмо от 2 ноября 1903 г. (ИРЛИ).

³ Сейчас эта церковь находится в полуразрушенном состоянии. — В. О.

В церковь мы все приехали рано и невесту ждали довольно долго. Блок в студенческом сюртуке, сосредоточенный, торжественный.

К этому дню из большого села Рогачева удалось достать очень порядочных певчих. Дождь приостановился, и, стоя в церкви у бокового окна, мы могли видеть, как подъезжали свадебные гости. Все это были родственники Менделеевых, жившие тут же, неподалеку. Лошади у всех бодрые и свежие. Дуги разукрашены дубовыми ветками. Набралась полная церковь. И, наконец, появилась тройка с невестой, ее отцом, сестрой Марьей Дмитриевной и мальчиком, несшим образ. В церковь вошла она под руку с Дмитрием Ивановичем, который для этого случая надел свой орден. Он был сильно взволнован. Певчие запели: «Гряди, голубица. . .»

Невеста венчалась не в традиционных шелках, что не шло к деревенской обстановке: на ней было белоснежное, батистовое платье, нарядное и с очень длинным шлейфом, померанцевые цветы, фата. На прекрасную юную пару невозможно было смотреть без волнения. . .

Обряд совершался неторопливо. Когда пришло время надевать венцы, мы увидели не золотые, разукрашенные, к каким привыкли в городе, а ярко блестящие серебряные венцы, которые, по старинному, сохранившемуся в деревне, обычаю, надели прямо на головы. Слова: «Силою и славою венчайя» прозвучали особенно торжественно. Дмитрий Иванович и Александра Андреевна (мать Блока) плакали от умиления и от сознания важности того, что совершалось. Когда венчание кончилось, молодые долго еще прикладывались к образам, и никто не посмел нарушить их необычайного настроения.

При выходе из церкви их встретили крестьяне, которые поднесли им хлеб-соль и белых гусей. После венчания они на своей нарядной тройке покатали в Боблово. Мы все за ними. При входе в дом старая няня осыпала их хмелем. Мать невесты, по русскому обычаю, не должна присутствовать в церкви, и Анна Ивановна соблюла этот обычай. В просторной гости-

ной верхнего этажа стол был накрыт покоем. Нам задали настоящий свадебный пир. А на дворе собралась в это время целая толпа разряженных баб, которые пели, величая молодых и гостей. Им посылали угощение, деньги. Когда разлили шампанское, Сергей Михайлович Соловьев провозгласил здоровье молодых. Но молодые не остались с нами до конца пира. Они торопились к поезду и уехали в Петербург...»¹

Я нарочно привожу этот живой и красочный рассказ, выдержанный в тонах и духе тургеневской поэзии дворянских гнезд. Подобный барский «склад старинный, обычай дедовский и чинный» в эпоху девятисотых годов выглядел изрядным анахронизмом и, конечно, служил лишь нарядной декорацией, не более того. Так случилось и со свадьбой Блока. Прошло очень немного времени — всего каких-нибудь два года, — как в том же мирном Шахматове безмятежная стародворянская идиллия сменилась нервической интеллигентско-декадентской драмой.

В июле 1903 года в переписке Блока с Любовью Дмитриевной наступил почти четырехлетний перерыв. За это время в их жизни произошли важные события, о которых нужно сказать подробнее, чтобы яснее стали отношения более поздних лет.

Вернемся к тем глухим намекам, которые сделал Блок в записной книжке накануне женитьбы. Он столь настойчиво твердил, что «ничего, кроме хорошего, не будет», что невольно создается впечатление, будто он старался убедить в этом прежде всего самого себя. Ему, действительно, было о чем подумать.

Оказывается, размышляя о своей любви, Блок, говоря его же словами, никак не мог «изобрести форму», сколько-нибудь подходящую под данный «весьма сложный случай отношений» (как пишет он возлюбленной 16 сентября 1902 года). «Продолжительная и глубокая вера» в возлюбленную, как в «земное воплощение Вечной Женственности», входила в нераз-

¹ М. А. Бекетова. Александр Блок, стр. 83—86. См. также воспоминания А. И. Менделеевой («Менделеев в жизни», М., 1928, стр. 138—140) и С. М. Соловьева («Письма Александра Блока», Л., 1925, стр. 18—20).

решимое, как ему казалось, противоречие с простыми человеческими чувствами, которые он питал к «розовой девушке». К несчастью, в этом вопросе у него не хватило решимости «повернуть все проще» — и он безнадежно запутался в тех самых «теориях», из-под власти которых так хотел освободиться. Уверовав в силу платоновского Эроса и усвоив соловьевскую метафизику «духовной» любви, способной одухотворить и преобразить человеческие отношения, Блок убеждал Любовь Дмитриевну, что близость их не может и не должна быть сведена к обычным, «вульгарным» формам, которые есть дьявольское извращение истинной любви, есть «астартизм», «темное» и способны только нарушить «гармонию» установившихся между ними отношений.

Отчасти в этом сказались, может быть, и воздействия со стороны. Так, С. М. Соловьев (племянник философа, троюродный брат Блока, оказывавший в это время на него известное влияние) писал ему накануне свадьбы, 12 августа 1903 года, в таком многозначительном тоне и специфическом стиле, уснащая свою проповедь цитатами из стихов Вл. Соловьева: «Пускай бог благословит тебя и твою невесту, и пускай никто ничего не понимает, и пускай «люди встречают укором презренным то, чего не поймут...» Из хорошего может выйти только хорошее. Не забудь, впрочем, что для свершения третьего подвига надобно совершить прежде второй. Не убив дракона похоти, не выведешь Евридику из Ада. Ты — поэт, это первый залог бессмертия для твоей Евридики. Но, оставаясь на этом, ты будешь бесцельным (?) рабом, пока «дракон не канет в бездну». Итак, мой милый, дорогой Пигмалион, будь Персеем, и тогда уж Орфей овладеет Евридикой в вечности. Я, впрочем, уверен, что ты не примешь того, что есть только реализация, за цель. Не мне тебя учить, ты довольно надыхался «горным воздухом»...»¹

Для того, чтобы по-настоящему вникнуть в эту красноречивую белиберду, нужно припомнить стихо-

¹ Неизданное письмо (ЦГАЛИ).

творение Вл. Соловьева «Три подвига» (имеются в виду мифы о Пигмалионе, Персее и Орфее) с его прозрачной символикой противопоставления дьявольскому «астартизму» — христиански-целомудренного аскетизма. Путь к истинной — «высшей», «вечной» и «святой» любви (завоевание Евридики) лежит только через истребление «дракона похоти»:

У заповедного предела
Не мни, что подвиг совершен,
И от божественного тела
Не жди любви, Пигмалион!
Нужна ей новая победа:
Скала над бездною висит,
Зовет в смятеньи Андромеда
Тебя, Персей, тебя, Алкид!
Крылатый конь к пучине прынул,
И щит зеркальный вознесен,
И — опрокинут — в бездну канул
Себя увидевший дракон.

Любовь Дмитриевна, между тем, много ждала от брака, и ожидания ее были просты и понятны. Ею владели нормальные чувства и здоровые инстинкты. Но она поверила Блоку или, вернее сказать, подчинилась ему. В это время Блок бесспорно подавлял совершенно неопытную и страшно застенчивую девушку, и ей нужно было преодолеть немало сомнений, неуверенности, просто боязни, чтобы обрести веру в будущее. Вот, к примеру, одно из характерных писем ее к Блоку (относится к началу 1903 года): «Сегодня мне стало грустно от сознания, что «ты для славы, а я — для тебя»; вчера было просто, ясно и весело, а раньше, помнишь, я испугалась этого. Но надо привыкнуть к этой мысли, понять, что иначе и не может быть, тогда и будет легко помириться с ней, да и мириться-то даже не придется — будет видно, что так надо, так хорошо. Ты понимаешь: не то страшно и непонятно, что «я — для тебя», — в этом ведь счастье, все счастье для меня; жутко и непонятно, что «ты — для славы», что для тебя есть наравне со мной (если теперь, может быть, иногда и не наравне, то *будет* потом) этот чуждый, сокрытый для меня мир творчества, искусства; я не могу идти туда за тобой, я не могу даже

хоть иногда заменить тебе всех этих, опять-таки чуждых мне, но понимающих тебя, необходимых тебе, близких по искусству, людей; они тебе нужны так, как я. Ты, может быть, не захочешь согласиться с этим, но ведь и я-то, и твоя любовь, как и вся твоя жизнь, для искусства, чтобы творить, сказать свое «да», я для тебя — средство для достижения высшего смысла твоей жизни. Для меня же цель, смысл жизни, все — ты. Вот разница. И она то пугает, то нагоняет грусть, потому что я еще не освоилась с ней, не почувствовала ее необходимость, потому что во мне слишком много женского эгоизма, хотелось бы заменить тебе не только всех других женщин, но все, весь мир, всех, все...»

Вот как Любовь Дмитриевна на первых порах умаллялась перед Блоком. Постепенно сомнения отпадают, и, напротив, в ней крепнет вера в то, что она принесет любимому настоящее и прочное счастье: «...я вся в твоей власти, приказывай, делай со мной что хочешь... Вот у меня теперь опять такое время, что я усиленно чувствую себя твоей Дианкой;¹ так хочется быть около тебя, быть кроткой и послушной, окружить тебя самой нежной любовью, тихой, незаметной, чтобы ты был невозмутимо счастлив всю жизнь, чтобы любить тебя и «баловать» больше, чем мама» (письмо от 21 апреля 1903 года). Незадолго до свадьбы, в июне 1903 года, Любовь Дмитриевна пишет Блоку: «Теперь еще тверже знаю, что будет счастье, бесконечное, на всю жизнь».

И она обманулась в своих надеждах и ожиданиях. Как выясняется из черновых материалов к воспоминаниям Любви Дмитриевны, со стороны Блока была лишь «короткая вспышка чувственного увлечения»,

¹ Это отзвук популярного в эстрадном исполнении стихотворения А. Н. Апухтина «Письмо» (речь идет о влюбленной женщине):

Она отдаст последний грош,
Чтоб быть твоей рабой, служанкой,
Иль верным псом твоим — Дианкой,
Которую ласкаешь ты и бьешь!

Кстати сказать, у молодого Блока в Шахматове была собака, которую тоже звали Дианкой.

которая «скоро, в первые же два месяца, погасла».¹ С горечью признавалась Любовь Дмитриевна, что «не могла разобраться в сложной любовной психологии такого необыденного мужа, как Саша» и только «рыдала с бурным отчаянием». Решающей роли это обстоятельство, конечно, не сыграло, но учитывать его все же приходится. Можно согласиться с Любовью Дмитриевной, что «в фундамент всей ее совместной жизни с Блоком легла ложная основа», — хотя она и делала при этом слишком крайние («по Фрейд») и совершенно не обязательные выводы.

Дополнительную (и не последнюю) роль в сгущении семейной атмосферы сыграла также и сразу обозначившаяся распря между женой и матерью Блока. Мать безмерно ревновала обожаемого сына к невестке. В течение всех дальнейших лет между ними не прекращались трения, а подчас случались и бурные ссоры, которые причиняли Блоку сильнейшие душевные терзания, поскольку мать была и всегда оставалась для него духовно самым близким человеком.

И, наконец, следует упомянуть, что Блок очень не любил свою тещу — Анну Ивановну Менделееву, и это, конечно, задевало Любовь Дмитриевну. Чтобы в дальнейшем не возвращаться к этому вопросу, скажем здесь несколько слов вообще об отношении Блока к семье жены (тема эта неоднократно возникала в их переписке).

Выше приведена была заметка Блока, в которой нелестная характеристика семьи жены распространена и на самого Д. И. Менделеева. Но это было сказано, безусловно, в состоянии запальчивости, потому что все остальное, что Блок писал и говорил о Менделееве, свидетельствует о его глубоком преклонении перед силой ума и гения великого ученого. Менделеев был для Блока человеком «воли» и «творчества» (VIII, 36). Он ставил его рядом с Толстым и в 1908 году собирался писать о них как о двух величайших

¹ Как выясняется из тех же черновых материалов, отношения наладились лишь осенью 1904 года, но «к весне 1906 года и это немного прекратилось».

сынах России, находившихся в непосредственной близости к народу.¹

В одном из писем к невесте (от 15 мая 1903 года) Блок дал замечательную характеристику ее великого отца: «Твой папа вот какой: он давно *все* знает, что бывает на свете. Во все проник. Не укрывается от него ничего. Его знание самое полное. Оно происходит от гениальности, у простых людей такого не бывает. У него нет никаких «убеждений» (консерватизм, либерализм и т. д.). У него есть все. Такое впечатление он и производит. При нем вовсе не страшно, но всегда — беспокойно. И никому из твоей семьи не спокойно, это оттого, что он все и давно знает, без рассказов, без намеков, даже не видя и не слыша... Ничего отдельного или отрывочного у него нет — все неразделимо. То, что другие говорят, ему почти всегда скучно, потому что он все знает лучше всех, кто к нему приходит».²

Скажем здесь же и об отношении Д. И. Менделеева к Блоку. Вот свидетельство близкого человека: «Разумеется, воспринимал как поэта мало; вряд ли даже воспринимал, но радовался, что дружеская кровь Бекетовых и Менделеевых связалась в их внучке и его дочери. Радовался успехам Александра Александровича и ощущал его благородство».³ Поэзия молодого Блока была, конечно, Менделееву чужда, но силу его поэтического таланта он чувствовал. В июле 1904 года Любовь Дмитриевна писала Блоку из Шахматова: «Вчера с папой разговаривала, читала ему стихи Сашурочкины и В. Брюсова. Твои не понравились — незрелы, но сразу виден талант, но непонятно, что хочет сказать. В. Брюсов лучше». Сын Менделеева, Иван Дмитриевич, утверждал, что к Блоку «отец относился с нежностью, понимая его дар, и брал

¹ «Записные книжки», стр. 114—115; VIII, 258—259.

² См. заметку А. Екимова «Д. И. Менделеев в жизни и творчестве Александра Блока» («Русская литература», 1960, № 1, стр. 157—160); здесь, впрочем, допущены наивные сближения и явные преувеличения.

³ «Д. И. Менделеев по воспоминаниям О. Э. Озаровской». М., 1929, стр. 155.

часто под защиту от близоруких нападков «позитивистически» настроенных авторитетов. — «Об этом нельзя рассуждать так плоско, — говорил отец. — Есть углубленные области сознания, к которым следует относиться внимательно и осторожно. Иначе мы не поймем ничего!» Но перегибы Саши в сторону модного тогда «декадентства» все же вызывали в нем некоторую тревогу.¹ Знаменательная деталь: фотографический снимок Блока и его жены всегда стоял на письменном столе Д. И. Менделеева в его рабочем кабинете. Стоит он там и теперь.

Блок в молодости дружил с Иваном Менделеевым (их сближали общие философские интересы), общался с младшими — Васей и Мусей. Но тещу он не переносил. Он видел в ней живое воплощение ненавистного ему духа «сытости», самодовольного, мещанского благополучия («желтокровия», на его языке) и реакционной косности. «У Любы сидит Муся, — записывает он в дневнике 18 декабря 1911 года. — Я ничего не имею против Муси в частности, но боюсь провокации. Горько услышать или увидеть что-нибудь самое преступное, низкое, желтое, сытое в той семье, в той крови, от которой я оторвал Любу. Особенно горько теперь, когда ненавидишь кадетов и собираешься «ругать» «Речь». . . когда такой горечью полны пропитана русская жизнь» (VII, 103). И через несколько дней, 27 декабря, Блок заносит в дневник памфлетно-сатирическую «тему для романа», в которой содержится беспощадная характеристика Анны Ивановны Менделеевой (VII, 111—112).

¹ И. Д. Менделеев. Воспоминания об отце Д. И. Менделееве (рукопись); в сокращенном виде: И. Менделеев. Мой отец и его современники. — «Ленинградская правда», 1937, № 26 от 2 февраля. Любопытный эпизод находим в воспоминаниях К. И. Чуковского: «Помню в 1903 году, в поезде, один инженер, Е(горов), служивший под начальством Д. И. Менделеева в Палате Мер и Весов, говорил мне, своему случайному спутнику, что им, знающим Менделеева, больно, что дочь такого замечательного человека выходит замуж за «декадента». — «И добро бы он был Ж. Блок (фабрикант) или сын Ж. Блока, а то просто какой-то юродивый» (К. Чуковский. Александр Блок как человек и поэт. П., 1924, стр. 20).

Таковы были обстоятельства, еще более осложнявшие и без того не просто начавшуюся семейную жизнь Блоков.

«Астартизм» был побежден, а «духовность» все нарастала. И на почве этой «духовности» совершенно неожиданно важную и, в конечном счете, роковую роль в личной жизни Блока сыграли его ближайшие друзья.

Еще зимой 1901—1902 годов в Москве образовался целый кружок горячих поклонников и ценителей поэзии Блока, из которых наиболее ревностными были Сергей Соловьев со своим задушевым другом Борисом Бугаевым (Андреем Белым) — оба начинающие поэты и филологи, мистики, «соловьевцы», «аргонавты» (как они сами себя называли). В январе 1903 года между Блоком и Андреем Белым завязалась оживленная переписка. Лично познакомились они год спустя.¹

Соловьевцы-«аргонавты» буквально насели на Блока. Не только его поэзия, но и сама его личность и интимная его жизнь — все стало предметом болтливового обсуждения в их кругу. Узнав, что у Блока есть невеста (он сам сообщил об этом Сергею Соловьеву 20 марта 1903 года — «под неременной тайной»), они с энергией, достойной лучшего применения, занимались тем, что «прослеживали» в стихах Блока, «как тема его лирики отображает им любимую девушку и как она переплетается с другой темой, темой о Прекрасной Даме».²

В конце концов они пришли к выводу, что Блок не более и не менее «пресуществляет» религию в жизнь, и еще неведомая им Любовь Дмитриевна Менделеева выросла в их распаленном воображении в живое воплощение «Души Мира».

Все это оставалось бы игрой мальчишеского воображения и не заслуживало бы даже упоминания,

¹ Подробности — выше, в очерке «История одной «дружбы-вражды».

² Андрей Белый. Воспоминания об А. А. Блоке. — «Записки мечтателей», 1922, № 6, стр. 30.

если бы не наложило свою печать на реальные отношения и судьбы живых людей.

Вот, к примеру, одно из прямых свидетельств этой смехотворной «веры», тем более ценное, что относится оно к тому самому времени, когда «мальчишеская мистика» (позднейшие слова Блока) ворвалась в человеческие отношения и нанесла им непоправимый вред. Сергей Соловьев с полной серьезностью писал Блоку в феврале 1904 года: «Ты верил сам (по твоим письмам) во вселенское значение Блочихи; веришь ли теперь, я точно не знаю. Тебе, как мистiku и человеку с Кантовскими мозгами, я не боюсь говорить прямо, но для людей неопытных тут соблазн, и надо молчать. Перед всеми я могу без колебаний заявить только одно: «Любовь Дмитриевна есть божье знамение», а больше ничего. Понимать это можно в разных смыслах». ¹

Любопытно, что наряду с этим люди, очень далекие от новомодной поэзии, но наделенные здоровым эстетическим чувством, воспринимали мистические стихи юного Блока только как любовную лирику. Так, например, относилась к ним двоюродная бабка поэта С. Г. Карелина, жившая староромантическими преданиями. Тот же Сергей Соловьев сообщал Блоку (в сентябре 1903 года): «...по поводу эпитетов, напечатанных с большой буквы (Непостижной, Недостижимой), тетя Соня с горечью сказала: «Конечно, Люба очень милая и все мы ее очень любим, но для того, чтобы писать с большой буквы, для этого есть другие слова», намекая, очевидно, на бога». ²

Даже свадьбу Блока экзальтированные друзья его переживали как некую «священную мистерию». «Соловьевство и тут присутствовало», — утверждал Андрей Белый, а Сергей Соловьев, приглашенный Блоком в качестве шафера (А. Белый был тоже приглашен, но не сумел приехать), чуть ли не на самой свадьбе

¹ Неизданное письмо (ЦГАЛИ). Ср. в письме Блока к матери от 14—15 января 1904 г. из Москвы: «Сейчас вернулся от Сережи. Разговор наш с ним вдвоем был необычайно важен, отраден, светел и радостен. Много говорили о Любе» (VIII, 85).

² Неизданное письмо от 29 сентября 1903 г. (ЦГАЛИ).

«ждал наступления нового теократического периода, мирового переворота». ¹ Именно как событие эпохальное воспевал Сергей Соловьев эту свадьбу в стихах, в печать не отданных, но получивших некоторое распространение в московских интеллигентских кружках:

Ликуй, Исаия, ликуй!
Ликуй, пророк Иммануила!
Се — дева в таинство вступила.
Пророка, церковь, именуи. . .

Неизглаголаннх свершений
Полна веков грядущих мгла,
И цепь огнистых откровений
Перед очами залегла. . . ²

С особенной силой мистериальная взвинченность друзей Блока дала себя знать в январе 1904 года, когда Блок с молодой женой приехали в Москву и установили личное знакомство с Андреем Белым и другими «аргонавтами». Здесь А. Белый и С. Соловьев что называется забрали Блока в свои руки — познакомили с московскими символистами, возили на поклон к почитаемому ими епископу Антонию, служили панихиды на могиле Владимира Соловьева, — и делали все это с большим шумом и суетой, которые Блоку с молодых ногтей были ненавистны. При этой первой встрече сразу же вскрылось крайнее несоответствие человеческих натур Блока и Андрея Белого: один — сдержанный, самоуглубленный молчальник, другой — суетливый, исходящий бесконечными сумбурными речами говорун.

¹ «Записки мечтателей», 1922, № 6, стр. 33—34.

² Три неопубликованных стихотворения Сергея Соловьева, датированных днем свадьбы Блока (17 августа 1903 года), — в письмах его к Блоку (*ЦГАЛИ*). «В то время, когда ты венчался, я с поразительной ясностью увидел то «горчичное зерно», которое покроет весь мир своими ветвями», — писал С. Соловьев Блоку в сентябре 1903 года. В другом письме, от 4 декабря 1903 года, он сообщал: «Брюсов заметил, что из-за твоей свадьбы подняли „слишком много шума. . .“». В январе 1904 года Блок писал матери из Москвы: «Сереза ликует — в сюртуке с цветами с нашей свадьбы» (VIII, 85).

Назойливое проникновение зачастую совершенно посторонних людей в его интимную жизнь раздражало Блока. Иные из «аргонавтов» (вроде истерического и мракобесного Эллиса) произвели на него самое невыгодное впечатление. «Душевная мистерия» сплошь да рядом оборачивалась «сценой из „Балаганчика“», от чего Блок начинал «темнеть и каменеть». «Вообще у нас было посягательство на А. А., мы его возили и показывали, а одновременно показывали ему то, что нас занимало в то время, но что, может быть, ему было чуждо», — пишет А. Белый, упоминая о некоторых фактах, которые ясно показывали, что Блок имел «свое мнение» по многим вопросам, волновавшим «аргонавтов». ¹

Осознав впоследствии бестактность своего тогдашнего поведения в отношении Блока, Андрей Белый к месту припомнил те трудно выносимые формы обременительной «дружбы», которые в свое время сложились в бакунинско-станкевичевском кружке. «Мы с С. М. Соловьевым, — пишет А. Белый, — были теми «Мишелями», которые в многостраничных письмах по всем правилам гегелевской философии анализировали интимные отношения Станкевича к одной из сестер Бакунина. . . И был прав, может быть, А. А. <Блок>, выставив впоследствии непрошенных теоретиков воплощения сверхличного в личной жизни — в виде дурацких «мистиков» своего «Балаганчика». ² Справедливое суждение!

Что же касается Любви Дмитриевны, то поначалу она ограничивалась тем, что пожинала свои первые светские успехи. «Молчаливость, скромность, простота и изящество Любви Дмитриевны всех очаровали. Бальмонт сразу написал ей восторженное стихотворение. . . Ее тициановская и древнерусская красота еще выигрывала от умения изящно одеваться. . . Белый дарил ей розы, я — лилии. . .» ³ Но вскоре рвение мо-

¹ «Записки мечтателей», 1922, № 6, стр. 64.

² Там же, стр. 31.

³ С. Соловьев. Воспоминания об Александре Блоке. — «Письма Александра Блока». Л., 1925, стр. 23.

лодых поклонников, превышавшее обычную галантность, вскружило Любови Дмитриевне голову, и она молчаливо согласилась на навязанную ей роль «герофантиды душевной мистерии» (как называл ее Андрей Белый). Чем больше темнел и каменел Блок, тем охотнее вовлекалась в мистическую игру Любовь Дмитриевна, не вникая в суть темных «теорий», о которых разглагольствовали ее новые друзья, и тем самым невольно вводя их в обман.

Вспоминая о пребывании Блока в Москве, Сергей Соловьев писал: «Казалось, нам с Блоком и Белым открывается долгий путь втроем, заключался прочный триумvirат. А в действительности это была вспышка перед концом. . .». ¹ Явным это стало в июле 1904 года в Шахматове, куда приехали погостить Андрей Белый, Сергей Соловьев и еще один «аргонавт» — А. С. Петровский. Тут между друзьями стали возникать «минуты неловкости»: Блок ясно давал понять «аргонавтам», насколько они «ошибаются в своих истолкованиях его душевного мира»: «Ты же напрасно так думаешь, вовсе не мистик я; не понимаю я мистики», — убеждал он Андрея Белого. ²

А друзья, между тем, по-прежнему усердствовали. Сергей Соловьев, перенимая двусмысленную манеру своего знаменитого дяди, учреждал секту «блоковцев» и культ Прекрасной Дамы — Л. Д. Блок. Внешне пародийно-шутливой, культ этот был бы довольно забавным фарсом, если бы сами «блоковцы» не придавали ему серьезного значения. Сейчас нелегко понять, где кончалась для них пародия и начиналась «высокая» мистика. Сохранился фотографический снимок, изображающий Андрея Белого и Сергея Соловьева за столиком, на котором лежит Библия и стоят портреты Владимира Соловьева и Л. Д. Блок. ³ А по возвращении из Шахматова они, чтобы «освя-

¹ Там же, стр. 24.

² «Записки мечтателей», 1922, № 6, стр. 64, 90; «Эпопея», 1922, № 1, стр. 264.

³ См. репродукцию снимка в книге: Александр Блок и Андрей Белый. Переписка. М., 1940, стр. 64.

тить» свое пребывание там, жгли ладан перед изображением Мадонны.

Во всяком случае, как говорит простодушная свидетельница, «поведение «блоковцев» не всегда соответствовало тому серьезному смыслу, который они придавали своему культу. В их восторгах была изрядная доля аффектации, а в речах много излишней экспансивности. Они положительно не давали покоя Любови Дмитриевне, делая мистические выводы и обобщения по поводу ее жестов, движений, прически. Стоило ей надеть яркую ленту, иногда просто махнуть рукою, как уже «блоковцы» переглядывались с значительным видом и вслух произносили свои выводы. На это нельзя было сердиться, но это как-то утомляло, атмосфера получалась тяжеловатая. Шутки Сергея Михайловича, его пародии на собственную особу облегчали дело, но и тут оставался какой-то неприятный осадок. Сам Александр Александрович никогда не шутил такими вещами, не принимал во всем этом никакого участия, и, относясь ко всему этому совершенно иначе, тут предпочитал отмалчиваться».¹

Целомудренно отмалчиваясь, думая о *своем*, Блок болезненно ощущал, что отношения его с «блоковцами» запутываются. Впоследствии он признался Андрею Белому, что именно летом 1904 года, в Шахматове, «почувствовал и пережил напряженно», что они «разного духа», «духовные враги» (VIII, 196).

Люди, близко наблюдавшие чету Блоков в первые годы их супружеской жизни, не переставали умиленно любоваться этой «сказочной парой». «Вся жизнь этих светлых созданий со стороны казалась сказкой...» — твердит М. А. Бекетова. «Царевич с царевной — срывалось в душе...» — вторит ей Андрей Белый. Евгению Иванову при первой встрече они представились Лоэнгрином и царевной-лебедью.² И самый быт Блоков казался необыкновенно прочным, устойчивым, укрепленным властью традиции и обычая. Уют петер-

¹ М. А. Бекетова. Александр Блок, стр. 91.

² Е. П. Иванов. Воспоминания об Александре Блоке. — «Блоковский сборник». Тарту, 1964, стр. 367.

бургской квартиры и столетние шахматовские липы, под которыми истово вершились семейные чаепития, — все это производило впечатление мира, покоя, душевного благополучия. Так казалось и потом. Но только казалось.

4

Ах, подруга свалилась ничком!

Жизнь — реальная, живая, требовательная жизнь ворвалась в выдуманный мир фантазий и химер и жестоко отомстила за пренебрежение к ней. Все вскоре повернулось проще простого: Андрей Белый бурно влюбился в Любовь Дмитриевну и тем самым окончательно запутал отношения.

Целых три года тянулась отчаянная неразбериха, в ходе которой личный конфликт Блока и Белого так тесно переплелся с их идейно-литературным расхождением, что подчас невозможно установить границу между тем и другим. В неразберихе были повинны все — и Блок, и Любовь Дмитриевна, но больше всех Андрей Белый. Всегда отличавшийся крайней душевной неуравновешенностью, он вел себя в течение этих трех лет совершенно истерически и заражал своей истерией окружающих.

Андрей Белый был большим писателем, яркой, щедро и разносторонне одаренной личностью с чертами гениальности. Но и на самой личности его и на всем, чем он жил и что делал, лежала неизгладимая печать «странности». Что-то судорожное и хаотическое было в его идейных и художественных метаниях, в его всегдашнем душевном напряжении. В быту, в своих житейских отношениях он был что называется трудным человеком, обладавшим поистине редкой способностью осложнять как собственную жизнь, так и жизнь тех, кто находился с ним в соприкосновении. В ходе истерической «дружбы-вражды» с Блоками эта несчастная способность Белого проступила с особенной, почти патологической остротой. Но это обстоятельство, разумеется, не должно принизить в нашем представлении значение Андрея Белого как одного из

виднейших художников и теоретиков русского символизма.

Не беремся проследить во всех подробностях, как складывалась и развивалась неразбериха, — это потребовало бы слишком много места и увело бы нас очень далеко. Ограничимся лишь тем, что необходимо для связи с последующим.

Началось все летом 1905 года, когда Андрей Белый и Сергей Соловьев снова съехались в Шахматове. Здесь навсегда погибло их «братство» — тот тройственный союз, который пытался утвердить С. Соловьев. В своих мемуарах А. Белый подробно рассказал о том, как постепенно накапливались «недоумения», «недоговоренности», «странные натяжки» и в конце концов привели к бурному взрыву: нетерпимый и резкий на язык С. Соловьев грубо поссорился с матерью Блока, и А. Белый, оскорбленный за друга, в негодовании покинул Шахматово. Но уезжая, он, оказывается, успел объяснить в любви хозяйке дома.¹

В дальнейшем Андрей Белый то разрывает с Блоками, то мирится с ними. Он забрасывает их бесконечными сумбурными, болтливо-бессодержательными письмами — клянется в любви и дружбе, упрекает, кается, требует сочувствия, унижается, обвиняет, угрожает самоубийством...

Каково же было отношение к Андрею Белому двух остальных участников неразберихи?

Любовь Дмитриевну тешило сознание того, что она может «спасти» или «погубить» влюбленного в нее поэта. Это льстило ее женскому самолюбию, и она дала волю своему кокетству. Но на первых порах и речи не было о каких-либо радикальных жизненных переменах. Во всех случаях, когда между Блоком и Белым обнаруживались трения, она неизменно и твердо брала сторону Блока. И Андрей Белый и Любовь Дмитриевна впоследствии рассказывали о своей «драме», все еще сводя друг с другом запоздалые

¹ Мы узнаем об этом из неопубликованного дневника М. А. Бегековой (*ИРЛИ*). Уезжая из Шахматова (это было 20 июня), Андрей Белый передал Любови Дмитриевне, через С. М. Соловьева, «записку с признанием в любви».

счета. Поэтому нельзя брать на веру все, что они говорили. Но мы располагаем точными и объективными свидетельствами сторонних людей. И вот одно из таких свидетельств — запись в дневнике М. А. Бекетовой: «Боря написал Любе письмо, которое она хотела послать (т. е. вернуть — В. О.) нераспечатанным... Он умоляет Любу спасти Россию и его, словом — вздор и бред. Она написала, что пока он не откажется от лжи, которая в письме его к Сашуре, она от него отступается, и чтобы он помнил, что она всегда с Сашурой. Молодец, белая шейка с золотыми волнами волос!». ¹

В своих мемуарах Андрей Белый пишет, что в ноябре 1905 года он получил от Блока «пук его темноватых последних стихов: невпрочет» и «послал свое мнение о них», — мнение нелестное. В ответ Любовь Дмитриевна известила Белого, что прекращает с ним переписку. Белый, в свою очередь, заявил, что навсегда обрывает не только переписку, но вообще знакомство с Блоками. ² «Этот разрыв был истинным горем моих осенних и зимних месяцев 1905 года, — говорит Белый. — Наконец я не выдержал и, не имея возможности написать А. А. (это была эпоха почтово-телеграфной забастовки), я нарочно поехал в Петербург, чтобы иметь объяснение с А. А.». ³ Приехав в столицу 1 декабря, Белый послал Блоку короткое письмецо, в котором просил о свидании. Встреча состоялась в тот же день (в известном ресторане Палкина) и закончилась очередным примирением. «Атмосфера расчистилась», но установившиеся отношения «напоминали сношение иностранных держав». Кроме того, — добавляет Белый, — «мы решили: С. М. (Соловьев) не войдет в наше «мы»... А. А. и Л. Д. подчеркнули: они не приемлют его». ⁴

Живя в Петербурге, Белый постоянно общался с Блоком, но прежней близости между ними уже не было. Блока окружали новые приятели — Евгений

¹ Запись в дневнике М. А. Бекетовой от 28 октября 1905 г.

² Это письмо Андрея Белого до нас не дошло.

³ «Записки мечтателей», 1922, № 6, стр. 114.

⁴ «Эпопея», 1922, № 2, стр. 273—274.

Иванов, С. Городецкий, В. Пяст, Г. Чулков. Что же касается прежних друзей, то об отношении Блока к ним Белый мог судить, кроме всего прочего, хотя бы по поэме «Ночная Фиалка» (черновой набросок которой Блок прочитал ему именно в эти дни); во всяком случае, Белый относил к себе и к Сергею Соловьеву блоковские строки:

... что же приятней на свете,
Чем утрата лучших друзей.¹

Около 20 декабря Белый уехал обратно в Москву — но с тем, чтобы вскоре вернуться и уже прочно обосноваться в Петербурге. Вернулся он в середине февраля 1906 года, встретился с Блоком «холодно» и «неловко». Именно в этот приезд он узнал «Балаганчик», в котором «ему все бросилось издевательством, вызовом», и он — «поднял перчатку: . . .».²

Как раз в эти дни личная неразбериха достигла наивысшего напряжения. Любовь Дмитриевна радикально изменила свою позицию. Теперь она склоняется на уговоры Андрея Белого и уже намерена связать с ним свою судьбу. Тут главную роль сыграло, конечно, то обстоятельство, что, как говорит сама Любовь Дмитриевна, семейная жизнь ее к весне 1906 года «была уже совсем расшатанной». Однако решимости сделать этот шаг у Любви Дмитриевны не хватало. Наступило время мучительных сомнений.

Вот как изображает этот период Андрей Белый в своих мемуарах (Л. Д. Блок фигурирует здесь и под своим именем и под условным обозначением литерой Щ.): «Щ. призналась, что любит меня и... Блока; а — через день: не любит — меня и Блока; еще через день: она — любит его, как сестра; а меня — «по-земному»; а через день все — наоборот; от эдакой сложности у меня ломается череп; и перебалтываются мозги; наконец: Щ. любит меня одного; если она позднее скажет обратное, я должен бороться с ней ценой жизни (ее и моей); даю клятву ей, что я разнесу все

¹ «Эпопея», 1922, № 2, стр. 286.

² «Эпопея», 1922, № 3, стр. 132.

препятствия между нами, иль — уничтожу себя. С этим являюсь к Блоку: «Нам надо с тобой говорить».¹

Блок, по словам Белого, самоустранился и даже сказал, что он «рад» происходящему. Как показало будущее, Белый на сей счет заблуждался. Но Блок, действительно, поначалу отнесся к событиям довольно инертно и тем самым дал повод к заблуждениям Белого, о чем впоследствии горько сожалел. Во всяком случае, несколько лет спустя он записал в дневнике: «***, не желая принимать никакого участия в отношении своей жены ко мне (как я когда-то сам не желал принимать участия в отношении своей жены к Бугасву), сваливает всю ответственность на меня (как я когда-то на Бугаева, боже мой!)» (VII, 109).

Одним разговором не обошлось. В начале марта последовало новое объяснение. Белый и Любовь Дмитриевна решают уехать в Италию. Белый бросается в Москву — добывать деньги на путешествие. Оттуда в Петербург и из Петербурга в Москву идут «ливни писем».² Атмосфера в доме Блоков все более

¹ Андрей Белый. Между двух революций. Л., 1937, стр. 78.

² Приводим для примера выдержки из апрельского письма Белого, не вошедшего в публикацию его переписки с Блоком: «Ты знаешь мое отношение к Любе: что оно все пронизано несказанным. Что Люба для меня самая близкая из всех людей, сестра и друг. Что она понимает меня, что я в ней узнаю самого себя, преображенный и цельный. Я сам себя узнаю в Любе. Она мне нужна духом для того, чтобы я мог выбраться из тех пропастей, в которых — гибель. Я всегда борюсь с химерами, но химеры обступили меня. И спасение мое воплотилось в Любу. Она держит в своей воле мою душу. Самую душу, ее смерть или спасение я отдал Любе, и теперь, когда еще не знаю, что она сделает с моей душой, я — бездушен, мучаюсь и тревожусь. Люба нужна мне для путей несказанных, для полетов там, где «все новое». В «новом» и в «Тайне» я ее полюбил. И я всегда верю в возможность несказанных отношений к Любе. Я всегда готов быть ей только братом в пути по небу. Но я еще и влюблен в Любу. Безумно и совершенно. Но этим чувством я умею управлять. . . Саша, если Ты веришь в меня, если Ты знаешь, что я могу быть благороден, Тебе мне нечего объяснять, чтобы Ты не думал обо мне внешне, дурно и пошло. Ты — не такой. Ты должен взглянуть на мои отношения к Любви Дмитриевне только с двух противоположных

сгущается. Сомнения Любви Дмитриевны возрастают.

До нас дошел документ, дополняющий, а, главное, корректирующий версии Андрея Белого и Л. Д. Блок. Это дневник Е. П. Иванова, который в эти мартовские дни 1906 года стал конфиденентом Любви Дмитриевны и стенографически точно воспроизводил все, что она ему говорила. Вот — запись от 11 марта: «Я Борю люблю и Сашу люблю, что мне делать? Если уйти с Б. Н., что станет Саша делать... Б. Н. я нужнее. Он без меня погибнуть может. С Б. Н. мы одно и то же думаем: наши души это две половинки, которые могут быть сложены. А с Сашей вот уже сколько времени идти вместе не могу». Они не одно любят. Ей он непонятен. «Я не могу понять стихи, не могу многое понять, о чем он говорит, мне это чуждо. Я любила Сашу всегда с некоторым страхом. В нем детскость была родна, и в этом мы сблизились, но не было последнего сближения душ, понимания с полслова, половина души не сходилась с его половиной. Я не могла дать ему постоянного покоя, мира. Все, что давала ему, давала уют житейский, и он может быть вредный. Может, я убивала в нем его же творчество. Быть мо-

точек зрения. Или поверить в несказанность моего отношения к Любе; но тогда, тогда я должен, прежде чем ехать за границу или определяться в ненужном и внешнем, теперь же видеться с Любой. Ты должен снять с меня все тени, которые на меня могут быть брошены просто необычностью со стороны внешних моих отношений к Любе... Если же все мои отношения к Любе мерить внешним масштабом (Ты это имеешь право), тогда придется отрицать всю несказанность моей близости к Любе, придется сказать: «Это только влюбленность». Но тогда мне становится невозможным опираться на несказанный критерий; тогда я скажу Тебе: «я не могу не видеть Любу». Но я признаю Твое право взглянуть на все *«слишком просто»*, налагать veto на мои отношения к Любе. Только, Саша, тогда начинается драма, которая должна кончиться смертью одного из нас. Стоя на первой, несказанной, точке зрения, я *готов каждую минуту сойти на внешнюю точку зрения*. Милый брат, знай это: если несказанное во мне будет оскорблено, если *несказанное мое* кажется Тебе оскорбительным, мой любимый, единственный брат, я на все готов! Смерти я не боюсь, а ишу...» (ЦГАЛИ). Блок на это письмо не ответил. Подобным образом, с полным забвением здравого смысла, такта и вкуса, А. Белый исписывал десятки страниц.

жет, мы друг другу стали не нужны, а вредим друг другу... Провожали когда Борю на вокзале в феврале, все прояснилось, и стало весело на душе, и Саша повеселел. А последние дни, с 8-го, Саша вдруг затосковал и стал догадываться о реальной возможности ухода с Борей».

Любовь Дмитриевна принимает решение: «До времени ждаты!». Но тут же: «Но бедный Боря, как вынесет?» — «Она не переставала рассуждать, уже решив», — комментирует Е. П. Иванов.

Три дня спустя, 14 марта, Любовь Дмитриевна сказала Е. П. Иванову, что «сегодня точку над «i» поставила». Далее выясняется, что 17 марта она послала А. Белому письмо, «где твердо сказала, что все кончено между ними». ¹ На деле это было лишь очередным колебанием.

В апреле А. Белый рвется в Петербург. Блоки просят его не приезжать: она — больна, он — занят экзаменами в университете. Белый вопреки просьбе является. Все еще более усложняется. Начинается «майское маянье», — как выразился А. Белый. «Все принимает красноватый характер», — замечает в дневнике Е. П. Иванов. Письма Белого к Любови Дмитриевне, которые она показывает Е. П. Иванову, характеризуются им как «сплошное отчаянье бесноватого». К тому же Белый совершил ужасную ошибку: проболтался в доме Мережковских (где обожали сплетни), что Любовь Дмитриевна может уйти с ним от Блока. Та, узнав об этом, возмутилась: «Значит, я стала притчею во языцех!..» Ее сомнения и колебания усугубляются. «Очень тяжело... Один — не муж. Белый — искушение...» — признается она Е. П. Иванову. ²

В последних числах апреля Белый уезжает в Москву, по его словам, удостоверившись, что «истинная любовь торжествует». ³ И вдруг — новый поворот на 180 градусов: Любовь Дмитриевна извещает Белого, что любовь их — «вздор», что она никогда его не лю-

¹ «Блоковский сборник», стр. 400—401.

² Там же, стр. 402—404.

³ Андрей Белый. Между двух революций, стр. 79—80.

била, что она не допустит появления его в Петербурге осенью (как было условлено), что ее героиня — ибсеновская Гильда — «имеет здоровую совесть, которой она и последует». ¹

Казалось бы, все кончено. Ничего подобного. «Ливни писем» не иссякают. Так тянется до августа, когда разразились новые события. Предоставим слово опять М. А. Бекетовой: «Завтра Сашура едет с Любой в Москву по делам своей книги, но, главное, объясняться с Борей. Дела дошли до того, что этот несчастный, потеряв всякую меру и смысл, пишет Любе ворохи писем и грозит каким-то мщением, если она не позволит ему жить в Петербурге и видаться. С каждой почтой получается десяток страниц его чепухи, которую Люба принимала всерьез; сегодня же пришли обрывки бумаги в отдельных конвертах с угрозами. Решили ехать для решительного объяснения. Аля (мать Блока) страшно боится, что он будет стрелять в Сашуру... Они оба уверяют, что все кончится вздором, смеются и шутят. Люба в восторге от интересного приключения, ни малейшей жалости к Боре нет. Интересно то, что Сашура относится к нему с презрением, Аля с антипатией, Люба с насмешкой, и ни у кого не осталось прежнего... Вот, однако, до чего довела Люба свою тщеславную и опасную игру в дружбу и сродство душ с отчаянно влюбленным молодым поэтом...» И на следующий день: «Саша с Любой вернулись из Москвы. Все благополучно. Виделись с Борей. Поговорили пять минут. Поссорились, разошлись, но он не намерен прекращать сношений и не верит в то, что Люба к нему изменилась. Саша взял из «Скорпиона» свое посвящение Боре в новом сборнике стихов». ²

Андрей Белый после имевшего место объяснения — в ресторане «Прага» (оно очень красочно, но не со-

¹ Андрей Белый. Между двух революций, стр. 82—83.

² Записи от 7 и 8 августа 1906 года, Шахматово. На следующий день, 9 августа, Блок писал А. Белому: «Сборник «Нечаянная Радость» я хотел посвятить Тебе, как прошедшее. Теперь это было бы ложью, потому что я перестал понимать Тебя. Только поэтому не посвящаю Тебе этой книги» (VIII, 160).

всем точно описано в его мемуарах) — впал в полное умоисступление, принявшее формы клинические. Вот его письмо к Блоку, посланное, очевидно, на следующий день после московской встречи (оно не вошло в публикацию переписки Блока и Белого):

«Саша, милый, я готов на позор и унижение: я смирился духом: бичуйте меня, гоните меня, бейте меня, бегите от меня, а я *буду везде и всегда с вами и буду все, все, все переносить*. Планы один ужасней другого прошли передо мной, я увидел *сегодня*, что не могу рассудком, холодно переступить: я всех вас люблю. Мне остается позор: унижение мое безгранично, терпение мое *не* имеет пределов. Я все вынесу: я буду только с вами, с вами. Я орудие ваших пыток: *пытайте, и не бойтесь* меня: я — собака ваша *всегда, всю жизнь*. До 22-го в Дедове. Потом в Москве, с сентября там, где вы, и на все унижения готовый. Отказываюсь от всех взглядов, мыслей, чувств, кроме одного: беспредельной любви к Любе. Твой несчастный и любящий Тебя Боря. P. S. Скажи Любе, что мы *можем, можем, можем* быть сестрой и братом. Скоро увидимся».

В тот же день, или на следующий, Андрей Белый пишет в трех экземплярах «клятву», которую посылает Блоку, Любови Дмитриевне и матери Блока. Самое удивительное, что этот совершенно истерический документ Белый писал с благим намерением, чтобы в него «не вкралось ничто истеричное». Но вот как он звучит (в выдержках): «Клянусь, что Люба — это я, но только лучший... Клянусь, что *только* через Нее я могу вернуть себе себя и бога. Клянусь, что я гибну без Любы; клянусь, что моя истерика и мой мрак — это не видеть Ее... Клянусь Тебе, Любе и Александре Андреевне, что я буду всю жизнь там, где Люба, и что это не страшно Любе, а необходимо и нужно... Клянусь, что, если я останусь в Москве, я погиб для этого и будущего мира: и это не просто переезд, а паломничество... К встрече с Любой в Петербурге (или где бы то ни было) готовлюсь, как к таинству».¹

¹ Неопубликованные письма (ЦГАЛИ).

Из этих писем видно, до какой степени умел Андрей Белый осложнять и затруднять жизнь окружающих и как велико было многотерпение Блока, вынужденного вникать во все эти иеремиады и инвективы. Парадоксальность поведения Андрея Белого состояла в том, что, вмешавшись в семейную жизнь Блока, пытаясь отнять у него жену и не преуспевая в этом (отнюдь не по его вине), он без умолку твердил о своих «страданиях», искал сочувствия у того же Блока и более того — обвинял его в душевной черствости, жестокости и прочих смертных грехах. Вот извлечения еще из одного письма Белого (от 13 августа 1906 года), которое не было вскрыто Блоком: «Право, я удивляюсь, что Ты меня не понимаешь. Ведь понять меня вовсе не трудно: для этого нужно только *быть человеком...* Этой неизвестности не выдержит никакая душа, и я удивляюсь, что есть люди, при всей своей утонченности не могущие понять того, что понятно всякому *человеку*, имеющему хоть каплю сочувствия к ближнему... Выбрав путь унижения, я готов целовать у Тебя руки, потому что Люба Тебя любит. Но готов и *жизнью своей поддержать свое святое право видеть Любу*». ¹

Все это Белый писал в горячке. Один хорошо знавший его человек отмечал, что вокруг него «то и дело заваривалась суматошная смесь действительности с бредом». В Дедове, у С. М. Соловьева, он вознамерился «уходить себя голодом», но, «пойманный с поличным», «отложил голодовку». В Москве он в течение недели сидит в квартире, не снимая с себя дамской черной маски, — к ужасу кухарки Дарьи и к тайному удовольствию полубезумного Эллиса, который «науськивает» его на дуэль с Блоком. Белый соглашается, и Эллис «летит с вызовом в Шахматово», но там справедливо говорят: какая дуэль, «просто Боря ужасно устал», и тот же Эллис уже доказывает Белому, что поводов для дуэли, в самом деле, как будто и нет.

¹ Письмо — в моем собрании (было передано мне Л. Д. Блок).

Около 20 августа Блоки возвращаются в Петербург, а через несколько дней, верный своему обещанию, туда является Белый. Блоки переезжают на другую квартиру. Белому велено ждать приглашения. Он ждет десять дней, пишет Блоку — и не получает ответа. Наконец, в начале сентября, он позван. «В пышных, в неискренних выражениях Л. Д. объяснила: они пригласили меня для того лишь, чтоб твердо внушить мне — уехать в Москву». ¹ Белый проводит бессонную ночь, готовится к самоубийству, но к утру, поразмыслив, убеждается, что «самоубийство... есть гадость». ² А утром происходит еще одно объяснение. Все трое сообща решают так: в течение года не нужно видаться, с тем чтобы потом попытаться «по-новому встретиться». Блоки уговорили Белого отдохнуть за границей. В тот же день он уезжает в Москву и вскоре оказывается в Мюнхене.

Но неразберихе все нет ни конца ни края. В журнале «Золотое руно» появляется рассказ Андрея Белого «Куст», где изображена красавица с «ведьмовскими глазами» и «зеленым золотом волос», которую силой держит при себе дьявольский царь, прячущий ее от Иванушки-дурачка, а она — не более не менее как «душа» этого Иванушки. Аллегория была достаточно прозрачной. Любовь Дмитриевна оценила ее как «бессильный пасквиль» и написала Белому, что «не желает больше иметь с ним дела». Белый, вопреки очевидному, ответил, что не имел в виду ни ее, ни Блока. ³

Как же вел себя при всем этом Блок? В своих отношениях с Андреем Белым он всячески старался отделить личное от общественно-литературного. Положение его было трудным — именно потому, что к этому времени вполне выявились и все более обострялись его литературные разногочения с человеком, который оказался его соперником в любви. Лично к

¹ «Эпопея», 1922, № 3, стр. 194.

² Там же, стр. 195; «Между двух революций», стр. 98—99.

³ Дневник М. А. Бекетовой (*ИРЛИ*). Ср. версию А. Белого — «Между двух революций», стр. 138.

Белому, поверх всего, что их разделяло, он относился как к человеку больному, по существу неизменяемому, которого нужно по возможности щадить. В августе 1906 года, в самый разгар истерических выходок Белого, получив его «клятву», которую я приводил выше, Блок писал ему: «Все время все, что касалось Твоих отношений с Любой, было для меня непонятно и часто неважно. По поводу этого я не могу сказать ни слова, и часто этого для меня будто и нет. По всей вероятности, — чем беспокойнее Ты, тем спокойнее теперь я. Так протекает все это для меня, и я нарочно пишу Тебе об этом, чтобы Ты знал, где я нахожусь относительно этого, и что *верю себе* в этом». (VIII, 160).

Позиция, как видим, довольно уклончивая. Однако, на чем все-таки основывалось спокойствие Блока? Конечно, на уверенности в том, что Любовь Дмитриевна останется с ним. В третью годовщину свадьбы, 17 августа 1906 года, он написал известное стихотворение «Ангел-хранитель», обращенное к Любове Дмитриевне (имеется автограф этого стихотворения, озаглавленный: «Любе»). Здесь, в сущности, сказано все. Люба была «светлой невестой», но она «отняла тайну»; она не любит того, что любит он; они не могут «согласно жить», но она ему «сестра, и невеста, и дочь», она — его ангел-хранитель, и — *вопреки всему*, что их разделяет, они всегда должны быть вместе:

Что огнем сожжено и свинцом залито,
Того разорвать не посмеет никто!

С тобою смотрел я на эту зарю —
С тобой в эту черную бездну смотрю. . .

Кто кличет? Кто плачет? Куда мы идем?
Вдвоем — неразрывно — навеки вдвоем!

Воскреснем? Погибнем? Умрем?

Истерики А. Белого в конце концов попросту утомили Блока. В октябре 1906 года М. А. Бекетова, рассказав в дневнике о том, как Любовь Дмитриевна восприняла «Куст», заметила: «Удивительно ко всему

этому относится Саша. Без всякого раздражения; только Борина болтовня и кривлянье ему надоели».

А сам Белый, сидя за границей, отводил душу тем, что в неумеренных выражениях обличал Блоков — и в эпистолярной прозе и в стихах, вроде следующих:

Им отдал все, что я принес:
Души расколотой сомненья,
Кристаллы дум, алмазы слез,
И жар любви, и песнопенья,

И утро жизненного дня.
Но стал помехой их досугу.
Они так ласково меня
Из дома выгнали на выюгу.

Непоправимое мое
Вспоминается бывшее...
Вспоминается ее
Лицо холодное и злое...¹

При всем том Белый предпринимает попытки нового сближения. В ноябре он — в который раз! — объясняется Блоку в любви и просит о встрече с глазу на глаз, признается, что в отношении его к Блоку было «много лжи», посылает «в знак примирения» фотографию и стихи, исполненные жалоб и просьб:

Тебе ль ничего я не значу?
И мне ль ты противник и враг?
Ты видишь — зову я и плачу.
Ты видишь — я беден и наг.

Но, милый, не верю в потерю:
Не гаснет бескрайная высь.
Молчанью не верю, не верю.
Не верю — и жду: отзовись.²

Блок отозвался — достаточно сдержанно. Переписка возобновилась, но ненадолго. Идеино-литера-

¹ Андрей Белый. Урна. Стихотворения. М., 1909, стр. 35.

² Александр Блок и Андрей Белый. Переписка, стр. 180—182. Очевидно, не без инспирации А. Белого, З. Н. Гиппиус (тоже находившаяся тогда в Париже) в многословном, бестактном и ханжеском письме от 25 декабря 1906 г. (ЦГАЛИ) угрожала Л. Д. Блок «поверить» в ее любовь к Белому и воплотить эту любовь «реально».

турное расхождение вчерашних друзей все более углублялось и вскоре привело к ожесточенной полемике в печати, к дуэльным вызовам в августе 1907 года, к новым объяснениям и попыткам примирения и, наконец, уже в апреле 1908 года, — к полному разрыву (до осени 1910 года). Литературные разногласия Блока и Белого выходят далеко за пределы нашей нынешней темы.¹ Скажем лишь, что в ходе полемики они условились, что будут отделять свои личные отношения от отношения к третьим лицам — Любви Дмитриевне, С. М. Соловьеву, матери Блока.

Андрей Белый хотя и ожесточился против Любви Дмитриевны, уверяя Блока, что именно она и только она испортила им личную дружбу, тем не менее не нашел в себе силы духа порвать с нею свои вконец запутавшиеся отношения. Это было тем более нелепым, что Любовь Дмитриевна теперь уже решительно ничем не обнадеживала его. В июне 1907 года она писала Блоку из Шахматова: «Ты был совершенно прав относительно письма от «Бори». Получила от него многолистное повествование о его доблести и нашей низости в прошлогоднем подлом тоне. Отвратительно! Сожгла сейчас же и пепел выбросила. Не хочу повторять его слова письменно, если тебе интересно будет, лучше расскажу. Одно утешительно, что как будто не собирается больше писать. И ничего не просит, только отругивается. Я, во всяком случае, буду впредь отсылать его письма нераспечатанными. Господи, как хорошо, что ты приедешь... Какой ты надежный, неизменно прямой, самый достоверный из всех... А «Боря» мне теперь и не представляется иначе, как антихрист, противоположный тебе, и главный мой соблазн; теперь он побежден тобой, и мое дело знать и не поддаваться соблазну, а он мне совершенно не соблазнителен сейчас, но ведь и ты и я знаем меру моей глупости, когда она вдруг налетит...» Она и налетела вскоре.

Но пока доскажем финал отношений Любви Дмитриевны с Андреем Белым. В октябре 1907 года,

¹ О них — в очерке «История одной «дружбы-вражды».

после совместной поездки с Блоком в Киев, Белый приехал в Петербург и возобновил встречи с Любовью Дмитриевной. Они встретились «просто», но имело место «объяснение». На сей раз Белого удивила разительная перемена в Любви Дмитриевне: прежде молчаливая, тихая, она теперь «говорила очень много, поверхностно, с экзальтацией; и была преисполнена всяческой суеты и текущих забот». ¹ Она уговаривала Белого совсем переселиться в Петербург, уверяя, что ему «будет весело». И Белый, вопреки всему, что произошло, очевидно все еще влюбленный, — согласился. И снова между ними возникли, как он пишет, «серьезные контры» и произошло «очень крупное объяснение», на этот раз уже последнее. Много лет спустя Белый сказал об этом очень жесткими словами: «Я опять имел встречи с Щ.; я, как Фома, таки палец вложил в рану наших мучительных отношений; и я убедился, что суть непонятого в Щ. для меня — в том, что Щ. понимания не требует: все — слишком просто, обиднейше просто увиделось в ней. Я-то? Последнее мое правдивое слово к Щ.: — Кукла! Сказав это слово, уехал в Москву, чтобы больше не встретиться с ней; все ж мы встретились лет через восемь; и даже видались, обменивались препустыми словами». ²

Об этой встрече рассказала и сама Любовь Дмитриевна — в письме к Блоку от 1 сентября 1916 года: «Несколько дней тому назад был у меня Андрей Белый; он приходил к тебе... Потом мы и о прошлом заговорили, сознали свои вины, примирились искренно — я потому, что мне было приятно видеть, что в сущности я могла бы иметь над ним прежнюю власть, а он действительно понимает, как много он наделал ненужного и что во всем я совсем не так виновата, как ему казалось. Он очень постарел, виски

¹ «Эпопея», 1922, № 3, стр. 296.

² Андрей Белый. Между двух революций, стр. 335. В 1922 году, как вспоминает М. Цветаева, А. Белый так рассказывал об этой встрече с Л. Д. Блок: «Я очень плохо с ней встретился в последний раз. В ней ничего от прежней не осталось. Ничего. Пустота».

седые, худой, как щепка, и стал гораздо проще, искреннее, и нет «опокинутых глаз», двойственности». Они встретились еще раз — через пять лет, у гроба Блока.

Слово «двойственность», сказанное Любовью Дмитриевной в применении к Андрею Белому, объясняет многое в этом несчастном романе. Интересно, что то же самое слово сказал один мемуарист, которого, по-видимому, посвятил в эту историю сам Белый: «...братские чувства, первоначально предложенные Белым, были приняты дамой благосклонно. Когда же Белый, по обыкновению, от братских чувств перешел к чувствам другого оттенка, задача его весьма затруднилась. Но в тот самый момент, когда его любовные домогательства были близки к тому, чтобы увенчаться успехом, его двойственность прорвалась. Он имел безумие уверить себя самого, что его неверно и «дурно» поняли и это же самое объявил даме, которая, вероятно, немало выстрадала перед тем, как ответить ему согласием. Ею овладел гнев и презрение... С этого момента Белый и полюбил ее по-настоящему — и навсегда. С годами боль притупилась, но долго она была жгучей». Эта интерпретация, очевидно, близка к истине.

Нельзя было не остановиться на этом несчастном романе — потому что, во-первых, он сыграл очень значительную роль в жизни всех людей, которые оказались в той или иной мере втянутыми в него, и прежде всего — в жизни и судьбе Любви Дмитриевны; а во-вторых, роман этот с удивительной наглядностью отразил психологию и поведение, характерные для целого круга людей эпохи декадентского «безвременья». Героиня этого романа, потерпев моральный крах, с завидной легкостью отдалась течению и быстро усвоила ту бездумную «философию» жизни, лозунгом которой было: «все дозволено».

Осенью 1907 года Андрей Белый заметил, что изменилась не только Любовь Дмитриевна, но и Блок стал другим. Перед ним был модный поэт, не без удовольствия пожинавший шумные успехи в литературно-театральной среде. В жизни Блока это была

эпо́ха «Балаганчика», театра Комиссаржевской и «Снежной маски», когда он охотно вовлекся в «водоворот» всяческих анархо-декадентских соблазнов, оправдывавших переход «от тяжелого к легкому, от недозволенного к дозволенному».

Блок был влюблен и «слепо отдался стихии»:

Вот явилась. Заслонила
Всех нарядных, всех подруг,
И душа моя вступила
В предназначенный ей круг.

Андрей Белый прекрасно запечатлел его тогдашний облик: очень красивый, стройный, с гордо закинутой головой и «уверенной полуулыбкой», весь какой-то легкий, летящий. От него «вевяло ветром». И еще заметил Белый, что весь стиль жизни Блоков изменился, что они «живут каждый своей особой жизнью» — «разлетаются, собираясь за чайным столом, за обедом; и вновь — разлетаются». Они окружали себя «вихрем веселья», но, как пишет Белый, все это отдавало душевным надрывом, ощущалось как «веселье трагедии и — полета над бездной».¹

Блок был весь устремлен в будущее. Отношение его к недавнему прошлому было окрашено «Балаганчиком» — то есть иронией и пародией. «Балаганчик», как известно, сыграл очень крупную роль в бурном конфликте Блока с соловьевцами. Они восприняли его, как «горькие издевательства» над тем, от чего отвернулся Блок, но что для них оставалось самым дорогим и священным. Но мера их негодования определялась не только тем, что Блок посмеялся над их мистической верой. Они восприняли «Балаганчик» как личную обиду, как гротескное отражение той жизненной ситуации, в которой все они находились. Андрей Белый и Сергей Соловьев пытались сотворить «миф» своей жизни сообща с Блоком и Любовью Дмитриевной, — «и что же случилось: огромное дело — комедия, *«инспиратриса»*, которую мы так чтили, — комедиантка;

¹ «Эпопея», 1922, № 3, стр. 297—298.

теург — написал «балаганчик», а мы — осмеяны: «мистики» балаганчика!..»¹

Догадки соловьевцев были основательны. Живая, реальная жизнь, действительно, сквозит в условно-марионеточном мире «Балаганчика». Мы узнаем знакомую ситуацию, в которой очутились Блок, Белый и Любовь Дмитриевна, в сюжете пьесы (Пьеро — Арлекин — Коломбина). Интересно, что Е. П. Иванов в марте 1906 года внес в свой дневник слова Любови Дмитриевны: «Саша заметил, к чему идет дело, все изобразил в «Балаганчике».²

Пьеро — простой человек, которого зовет голос вьюги, уходит от «мистиков обоего пола». Его невеста, Коломбина, говорит ему: «Я не оставлю тебя». Но тут появляется звенящий бубенцами Арлекин. Он берет Коломбину за руку и уводит с собой. «Автор», «подурачки», с точки зрения «здорового смысла», комментирует происходящее: «дело идет о взаимной любви двух юных душ...», «им преграждает путь третье лицо...» Далее идет грустный монолог покинутого Пьеро:

Ах, сетями ее он опутал
И, смеясь, звенел бубенцом!
Но, когда он ее закутал, —
Ах, подруга свалилась ничком! ..

И мы пели на улице сонной:
«Ах, какая стряслась беда!»
А вверху — над подругой картонной —
Высоко зеленела звезда... .

Он шептал мне: «Брат мой, мы вместе,
Неразлучны на много дней... .
Погрустим с тобой о невесте,
О картонной невесте твоей!»

Это жестокие стихи. Здесь не только насмешки над прошлым, но и признание собственной душевной катастрофы: если для «мистиков обоего пола» Вечная Дева неожиданно оказалась просто Коломбиной, подругой незадачливого Пьеро, то для самого Пьеро она оказа-

¹ «Эпопея», 1922, № 3, стр. 264.

² «Блоковский сборник», стр. 401.

лась «картонной невестой».¹ Заметим, что здесь обыграно самое слово «брат», которым обменивались Блок и Белый (ср. в стихах Блока, написанных в том же январе 1906 года: «Милый брат! Завечерело. . .»).

Финал «Балаганчика» — двойной крах. Арлекин в бесплодных поисках жизни прыгает в окно, видимая за которым даль оказывается фальшивой, нарисованной на бумаге, — и он «летит вверх ногами в пустоту». Пьеро уже готов снова и навек соединиться со своей Коломбиной (здесь опять многозначительно-иронически звучит реплика «Автора»). Но внезапно все исчезает, и остается один беспомощный, покинутый всеми Пьеро:

Ах, как светла — та, что ушла
(Звонящий товарищ ее увел).
Упала она (из картона была).
А я над ней смеяться пришел. . .

И вот, стою я, бледен лицом,
Но вам надо мной смеяться грешно.
Что делать? Она упала ничком. . .
Мне очень грустно. А вам смешно?

Блок указывал, что «Балаганчик» проникнут опустошительной «трансцендентальной» иронией романтиков. В другом случае он знаменательно назвал свой первый драматургический опыт «произведением, вышедшим из недр департамента полиции его собственной души» (VII, 301). Свою иронию Блок обратил в «Балаганчике» и на самого себя. Два года спустя, много пережив и передумав, он заклеил модную

¹ В языке Блока слова *картон*, *картонный* были не только синонимами всякого рода неподлинности и неполноценности, но имели и более узкое (и тем более важное) значение. В письмах 1906 года к задушевному другу Евгению Иванову Блок многократно возвращается к теме *декадентства* как душевного обмеления и опустошения, причем говорит на эту болезненную для него тему в тоне покаяния и самоосуждения: «. . . опять «переоценка ценностей». . . Ненавижу свое декадентство и бичую его в окружающих, которые менее повинны в нем, чем я. . . Как только запишу декадентские стихи (а других — не смогу) — так и налгу» (VIII, 156—157). В ходе подобных признаний и появляется у Блока понятие *картон*: «Знаю, что перестая быть человеком бездны и быстро превращаясь в сочинителя. Знаю, что ломаюсь ежедневно. Знаю, что из картона» (VIII, 165).

декадентскую иронию, как «душевный недуг», разлагающий людей, делающий их неспособными к настоящей жизни, настоящему творчеству, настоящему делу.¹ Спасение от этого недуга он видел в приобщении к «народной душе», к жизни родины и народа. Это, и только это, составляло пафос идейных исканий зрелого Блока.

С запутанной личной жизнью, с трагическим сознанием невозможности наладить ее, бичуя и казня самого себя за декадентские «яды», жадно ища путь к миру и людям и вместе с тем переживая высокий творческий подъем («Снежная маска», «Заклятие огнем и мраком», «Вольные мысли»), — таким предстает перед нами Блок к тому времени, когда начинается вторая часть переписки его с женой, когда в отношениях его с Любовью Дмитриевной наступает новая и наиболее мучительная для него полоса.

5

Что ж, пора приниматься за дело,
За старинное дело свое. —
Неужели и жизнь отшумела,
Отшумела, как платье твоё?

После разрыва с Андреем Белым Любовь Дмитриевна решительно отказывается от ампулы «функции» и, как сама говорит в воспоминаниях, «уходит с головой в свое «человеческое» существование». В чем выразилось это по преимуществу, увидим дальше. Впоследствии Любовь Дмитриевна объясняла дело таким образом, что, оставшись с Блоком, она тем самым определила единый и окончательный «курс» своей жизни, «какой бы ни была видимость со стороны». «Оставшись верной настоящей и трудной моей любви, — писала она, — я потом легко отдавала дань всем встречавшимся влюбленностям — это был уже не вопрос, курс был взят определенный, парус направлен, и «дрейф» в сторону не существует». Объяснение удобное,

¹ См. статью Блока «Ирония» (ноябрь 1908 года) — V, 345—349.

но не убедительное, ибо «дрейфы» Любови Дмитриевны были так многочисленны и так далеко уводили ее в сторону, что ни о каком «определенном курсе» говорить не приходится.

В начале 1907 года, когда Блок целиком отдался «стихии», Любовь Дмитриевна оказалась в трудном положении. Отношения ее с Андреем Белым безнадежно запутались, а поведение Блока сильно ее задевало. О растерянности, обидах и досадах говорят ее стихи этого времени, сохранившиеся среди ее бумаг:

Зачем ты вызвал меня
Из тьмы безвестности —
И бросил?
Зачем вознес меня
К вершинам вечности —
И бросил?
Зачем венчал меня
Короной звездной —
И бросил?
Зачем сковал судьбу
Кольцом железным —
И бросил?
Пусть так. Люблю тебя.
Люблю навек, хоть ты
И бросил.

Правда, как сообщает все тот же семейный летописец, М. А. Бекетова, Блок утверждал: «Влюбленность не есть любовь, я очень люблю Любу», но на деле он резко отдалился от нее. «Все это вполне откровенно и весело делается, — записывает М. А. Бекетова 31 января 1907 года, — но Любе говорится, например, на ее предложение поехать за границу: «С тобой не интересно». Каково ей все это переносить при ее любви, гордости, самолюбии, после всех ее опьяняющих триумфов». Однако «Люба ведет себя выше всяких похвал: бодра, не упрекает и не жалуется». Через несколько дней (4 февраля) М. А. Бекетова записывает, со слов матери Блока, что он даже «хочет жить отдельно от Любы».

Но было бы несправедливо возлагать на одного Блока ответственность за «разрушение домашнего очага». Ибо тут же мы узнаем о новом увлечении Любови Дмитриевны. Весь 1907 год проходит для нее под

знаком «буйного веселья, страстного похмелья». Герои ее романов — писатели-символисты Г. И. Чулков и С. А. Ауслендер.¹

В это время Любовь Дмитриевна уже мечтает о карьере трагической актрисы, «намереваясь все создать сама». Но порой она теряет «самоуверенность и победоносность» и думает уже не о сцене, а о «мастерской дамских платьев».

В конце года В. Э. Мейерхольд сколачивает труппу из актерской молодежи для гастрольной поездки (весной и летом) по провинции. Любовь Дмитриевна поступает в труппу. Начинается ее театральная жизнь, полная обидных неудач, наносившая тяжелые раны самолюбию Любови Дмитриевны и доставлявшая немало огорчений Блоку. Помимо того, что театр постоянно разлучал Блока с женой и втягивал ее во враждебную ему сферу, он не верил в актерские возможности Любови Дмитриевны.

В искусстве Блок не делал никому никаких скидок. «Искусство, как и жизнь, слабым не по плечу» — говорил он (VI, 273). Он не считал свою жену талантливой актрисой и не скрывал этого от нее. Правда, он не раз пытался что-то найти в ней как в актрисе, искренно хотел этого. «В моей жене есть задатки здоровой работы, — записывает он в 1912 году, посмотрев Любовь Дмитриевну в одной из ее ролей. — Несколько неприятных черт в голосе, неумение держаться на сцене, натруженность, иногда хватание за искусство, судорожность, когда искусство требует, чтобы к нему подходили плавно и смело, бесстрашно обжигались его огнем. Все это может пройти. Несколько черт пленительных. . . Хотел бы я видеть ее в большой роли» (VII, 154—155). Но из Любови Дмитриевны так и не вышло настоящей актрисы; ей суждено было пробавляться

¹ В июне 1907 года Любовь Дмитриевна писала Блоку о Г. И. Чулкове: «. . . вдруг заметила, что не помню своего отношения к нему — будто не было ничего, а было что-то, ведь это умом помню, но так прошло, так «эпизодично», что не оставило и следа в душе. В сущности, Чулков был предлог только, мне надо было такой образ жизни, так забываться, а он подвернулся». Относительно С. Ауслендера А. Белый заметил, что осенью 1907 года с ним «носились артистки театра Комиссаржевской».

даже не на вторых, а на третьих и четвертых ролях. Потом она горевала, что не воспользовалась влиянием и авторитетом Блока для устройства театральных дел. Но он, нужно думать, и не стал бы ей помогать.¹

Ранней весной 1908 года Любовь Дмитриевна уехала в гастрольную поездку, которая надолго выбила ее из привычной колеи. «Сжигающую весну 1908 года», проведенную в провинциальном захолустье с «пажом Дагобертом» (одним из актеров мейерхольдовской труппы), она всегда считала лучшим временем жизни, — несмотря на все тяжелые для нее последствия этой весны.

Из писем Любви Дмитриевны к Блоку видно, в каком вакхическом состоянии находилась она в это время. «Конечно, вспоминаю я о тебе, милый, но творится со мной странное, — писала она 11 марта 1908 года. — Я в первый раз в жизни почувствовала себя на свободе, одна, совершенно одна и самостоятельна. Это опьяняет, и я захлебываюсь. Я не буду писать тебе фактов. Бог с ними. Знаю одно, что вернусь к тебе, что связана с тобой неразрывно, но теперь, теперь — жизнь, мчащаяся галопом с сказочным весельем... Сцена — необходимое для меня совершенно. Я еще не актриса, но буду, буду ей. О, как хорошо, если бы ты ждал меня и не отрывал от себя. Мне так будет нужно вернуться. А теперь надо и хорошо, чтобы я жила моей безумной жизнью... За меня не бойся, все будет хорошо, знаю. Надо так, чтобы я нашла себя».

Этот наигранно-легкий тон отныне надолго усваивается Любовью Дмитриевной в ее переписке с Блоком. Факты опускаются, намеки множатся, уверения в «нежности» не иссякают. Блок же требует правды и ясности. Но ему отвечают все теми же намеками,

¹ Впрочем, известен случай, когда Блок принял участие в делах жены, но сделал это в очень сдержанной форме. Есть неизданное письмо его к режиссеру Ф. Ф. Комиссаржевскому от 29 марта 1912 года (собрание В. Н. Орлова), в котором он просит принять Любовь Дмитриевну и содействовать ее поступлению в театр Незлобина. По некоторым данным, письмо это не было послано по назначению.

хотя и очень многозначительными: «Я не считаю больше себя даже вправе быть с тобой связанной во внешнем, я очень компрометирую тебя. . . Сейчас не вижу и вообще издали говорить об этом нелепо, но жить нам вместе, кажется, невозможно; такая, какая я теперь, я не совместима ни с тобой, ни с какой бы то ни было уравновешенной жизнью, а вернуться к подчинению и сломиться опять, думаю, было бы падением, отступлением, и не дай этого бог. . . Определенней сказать не хочу, нелепо. . .» (письмо от 24 марта 1908 года).

Поиски себя заводят Любовь Дмитриевну все дальше и дальше. Перед Пасхой (около 10 апреля) она на несколько дней приезжала в Петербург. Очевидно, произошло какое-то объяснение, но о главном она все же умолчала. «Оба мы — бодры и веселы. . . Давно я не жил так ясно и просто, как этот месяц», — несколько неожиданно сообщает Блок матери, — может быть, стараясь успокоить ее и усыпить ее подозрения.¹ В мае Любовь Дмитриевна приезжает снова, тоже ненадолго, и все еще скрывает от Блока весьма серьезные «факты». Летом она играет на Кавказе, а Блок в одиночестве тоскует в Шахматове, откуда шлет ей любящие и тревожные письма («. . . почему ты пишешь, что приготовила себе мучение? Меня очень тревожит это; и мне не нравится то, что ты сомневаешься в том, как я тебя встречу. . .»).

Еще весной хмельная влюбленность Блока, под знаком которой прошел для него «безумный» 1907 год, испарилась — и он воспринимал это, как освобождение:

И, наполняя грудь весельем,
С вершины самых снежных скал
Я шлю лавину тем ущельям,
Где я любил и целовал!

(Март 1908)

Опозитизированная Фаина, наделенная чертами раскольничьей «богородицы», отошла в тень, осталась просто хорошенькая и капризная брюнетка.²

¹ «Письма Александра Блока к родным». Л., 1927, стр. 203.

² М. Бекетова. Александр Блок. Изд. 2-е. Л., 1930, стр. 106—107.

Блок весь полон новым — чем больше отчаивается в своем личном, тем острее чувствует окружающую жизнь. Для него пришло время решительной переоценки ценностей, время поисков и находок, напряженной творческой работы, вдохновенных поэтических взлетов. И за всем, что мучает, тревожит и влечет Блока, неотступно стоит она — его Люба. Мысли о ней, память о ней неизменно перебивают его глубокие раздумья о жизни, о России, об искусстве.

В Шахматове Блок переделывает «Песню Судьбы» — вещь любимую, но не дававшуюся. В ходе переработки драмы рождаются гениальные стихи — «На поле Куликовом». Именно в эти дни приходит очередное письмо от Любы из Грозного, с многозначительными и пугающими намеками: «. . . мне сейчас показалось, что ты думаешь обо мне, и мне стало очень грустно и за тебя и за себя, за все. . . Живу за свой страх, все беру, что идет мне навстречу, и знаю, знаю, что дорого заплачу болью и страданием за каждое свободное движение, за дерзость. . . К тебе у меня трепетное отношение, опускаю глаза в душе перед тобой». Блок отвечает (9 июня): «Странно, ты пишешь, что тебе показалось, что я думаю о тебе. Я думаю каждый день — в Петербурге и здесь. Странно жить здесь без тебя в пустом доме. Наши деревья все пышнее. . . Очень часто я хочу писать тебе. Но ты так далеко, и я многого не могу понять в твоём письме. Что значит, что ты все лето будешь *одна*? . . . Большей частью я в очень бодром настроении. Но очень бесплодна жизнь» (VIII, 242).

К письму приложены только что написанные стихи — «Река раскинулась. Течет, грустит лениво. . .» Черновой набросок этого знаменитого стихотворения наглядно показывает, как в блоковскую думу о России вплетается глубоко личная тема опустевшего «мирного дома»:

И вечно — бой! И вечно будет сниться
Наш мирный дом.
Но — где же он? Подруга! Чаровница!
Мы не дойдем?

Из окончательного текста это обращение к «подруге, чаровнице» было устранено.

Июльские и августовские письма Блока удивительны. Вернувшись в пустой дом после одинокого блуждания по шахматовским полям, он пишет на Кавказ о самом дорогом и заветном, что у него есть: «И бесконечная даль, и шоссейная дорога, и все те же несбыточные, щемящие душу повороты дороги, где я был всегда *один* и в союзе с Великим, и тогда, когда ты не знала меня, и когда узнала, и теперь опять, когда забываешь. А то — все по-прежнему, и все ту же глубокую тайну, *мне* одному ведомую, я ношу в себе — *один*. Никто в мире о ней не знает. Не хочешь знать и ты. Но без тебя я не узнал бы этой тайны. И, значит, к тебе относил я слова: «За все, за все тебя благодарю я...»,¹ как, может быть, все, что я писал, думал, чем жил, от чего так устала душа, — относилось к тебе» (VIII, 246—247).

В потрясающем письме от 23 июня, в котором звучит мрачное, трагическое отчаянье перед мертвым ужасом реакции («Едва ли в России были времена хуже этого...»), Блок молит и зовет: «Пойми, что мне, помимо тебя, решительно *негде* найти точку опоры, потому что мамина любовь ко мне беспокойна, да я и не могу питаться одной только материнской любовью. Мне надо, чтобы около меня был живой и молодой человек, женщина с деятельной любовью... Я устал бессильно проклинать, мне надо, чтобы человекдохнул на меня *жизнью*, а не только разговорами, похвалами, плевками и предательством, как *это* все *время* делается вокруг меня. Может быть, таков и я сам, — тем больше я втайне ненавижу окружающих: ведь они же старательно культивировали те злые семена, которые могли бы и не возрасти в моей душе столь пышно. От иронии, лирики, фантастики, ложных надежд и обещаний можно и с ума сойти. Но неужели же и ты такова? Посмотри, какое запустение и мрак кругом! Посмотри трезво на свой театр и на окружающих тебя сценических деятелей. Мне казалось всегда, что ты — женщина с высокой душой, не способная опуститься

¹ Стихи Лермонтова.

туда, куда я опустил. Помоги мне, если можешь» (VIII, 248—249).

Проходит еще неделя, и он снова твердит о том же: «Нам необходимо жить вместе и говорить много, помогать друг другу. Никто, кроме тебя, не поможет мне ни в жизни, ни в творчестве» (VIII, 250). Накануне были написаны стихи:

И вижу в снах твой образ, твой прекрасный,
Каким он был до ночи злой и страстной,
Каким являлся мне. Смотри:

*Все та же ты, какой цвела когда-то
Там, над горой туманной и зубчатой,
В лучах немеркнувшей зари.*

В начале августа Любовь Дмитриевна приезжает, и тут наконец выясняется, что она ждет ребенка. Блок принимает все: «Пусть будет ребенок, раз у нас нет, он будет наш общий». Сохранилось более позднее письмо Любови Дмитриевны к матери Блока (от 12 ноября 1908 года), раскрывающее создавшуюся ситуацию: «Я привыкла к мысли о моем ребенке; чувствую, что *мой* и *ничей* другой, а Саша его принимает; ну, он и будет у нас. Саша еще хочет, чтобы я даже маме не говорила о всем горьком, связанном с ним. Это было одним из самых неразрешимых для меня вопросов — найти тут правду, по-настоящему простой, правдивый, без вызова и надрыва образ действия. Я думаю, Саша прав. С какой стати будут знать другие, что все равно не поймут, а унижать и наказывать себя — так ведь в этом наполовину, по крайней мере, вызова и неестественности. Мне хочется, как Саша решит. Пусть знают, кто знает мое горе, связанное с ребенком, а для других — просто у нас будет он».¹

Блок не только принимал все. Более того: он возлагал на этого чужого ребенка какие-то свои затаенные надежды. Ему казалось, что жизнь может пойти по-другому. В первый день 1909 года он записывает: «Новый год встретили вдвоем — тихо, ясно и печально»,² а когда ребенок родился (в феврале), — заносит

¹ Неизданное письмо (ИРЛИ).

² «Записные книжки», стр. 128.

в записную книжку цитату из «Анны Карениной» (слова Левина): «Но теперь все пойдет по-новому. Это вздор, что не допустит жизнь, что прошедшее не допустит. Надо биться, чтобы лучше, гораздо лучше жить».¹

Но жизнь не допустила. Ребенок (мальчик, окрещенный Дмитрием в память Д. И. Менделеева) прожил всего несколько дней. Потерю его Блок пережил тяжело. По этому поводу было написано сильное, с богоборческим оттенком, стихотворение «На смерть младенца»:

Когда под заступом холодным
Скрипел песок и яркий снег,
Во мне, печальном и свободном,
Еще смирялся человек.

Пусть эта смерть была понятна —
В душе, под песни панихид,
Уж проступали злые пятна
Незабываемых обид.

Уже с угрозою сжималась
Доселе добрая рука.
Уж подымалась и металась
В душе отравленной тоска. . .

Я подавлю глухую злобу,
Тоску забвению предам.
Святому маленькому гробу
Молиться буду по ночам.

Но — быть коленопреклоненным,
Тебя благодарить, скорбя? —
Нет. Над младенцем, над *блаженным*,
Скорбеть я буду без Тебя.²

¹ «Записные книжки», стр. 131. В воспоминаниях З. Н. Гиппиус о Блоке читаем: «А вот полоса года — я помню Блока простого, человеческого, с небывало светлым лицом. . . Это было, когда он ждал своего ребенка. После рождения ребенка Блок почти все последующие дни сидел у нас с этим светлым лицом. У нас в столовой Блок молчит, смотрит не по-своему, светло и рассеянно. — О чем вы думаете? — Да вот — как его, Митьку, воспитывать?» (цитир. по сборнику «Судьба Блока». Л., 1930, стр. 148).

² Еще в феврале 1914 года Блок отмечает в записной книжке: «Сегодня рождение Мити. 5 лет» («Записные книжки», стр. 205).

Все эти личные невзгоды, бури и беды отразились в творчестве Блока — в ряде стихотворений, проникнутых чувством горьких сожалений о возвышенной юношеской любви, растраченной в угаре низких страстей («О доблестях, о подвигах, о славе. . .» и др.), и в драме «Песня Судьбы», автобиографический подтекст которой проступает достаточно отчетливо. В образе Германа сквозят черты Блока, прообразом Фаины была Н. Н. Волохова, в Елене угадывается Л. Д. Блок, в Друге Германа — Г. И. Чулков.

Герман и Елена — казалось бы прекрасная, гармоничная, счастливая супружеская пара, отгородившаяся от мира в своем уютном, тихом «белом доме». Они немного «не от мира сего, какие-то необыкновенные», как замечает цинический Друг. В Елене для Германа — все светлое, устойчивое и надежное, вся память о прошлом, когда оба они были «веселые, сильные, счастливые». На самом деле в жизни их былой гармонии уже нет: Герману тесно и душно в «белом доме», под любящей опекой жены и матери, душа его рвется на простор, в широкий мир, и когда в его уединенное бытие врывается буря, «стихия», воплощенная в образе Фаины (каскадной певицы со страстной, истинно русской душой), он слышит «голос судьбы» и бежит из «белого дома». В драме выделены мотивы как самопожертвования Елены во имя любви ее к Герману («Много перенесла ты. Не на легкую жизнь ты родилась»), так и внутреннего права Германа на свободу (в выпущенной 5-й картине он говорит в свое оправдание: «Мы живем не так, как живут другие люди. И потому мы можем расстаться. Разве преступно, что я посмотрел в окно и понял, что такое весна? . . Я не мог не уйти»). Елена, следуя наставлениям некоего Монаха, отправляется в «путь длинный, путь многолетний», в конце которого она должна найти заблудившегося Германа, обрести его «душу» и вернуться с ним в «белый дом», где, по предвещанию Монаха, «им обоим и жить». За всей этой довольно натянутой символикой явственно различима житейская ситуация, в которой в 1907—1908 годах оказались Блок, Любовь Дмитриевна и Н. Н. Волохова.

После того как драма была прочитана друзьям, в мае 1908 года, Блок отметил в записной книжке: «На Елену никто не обратил внимания, кажется, — пусть так: милая моя останется укрытой от человеческих взоров — единственная моя».¹ Тогда же он записывает проект другого финала драмы: «Ты не узнаешь ничего, и не получишь воздаянья». Усталая Елена приходит в избу, где сидит опустевший Герман. Она бросается к нему. Герман сурово отстраняет ее, твердя эти слова. Она остается вблизи его — памятуя слова Монаха: «А на конце пути — душа Германа».²

Несколько позже, в ноябре 1908 года, Блок набрасывает план нового драматического произведения, автобиографическая основа которого очевидна. Герой драмы — писатель. Он «ждет жену, которая писала веселые письма и перестала». Далее идет: «Возвращение жены. Ребенок. Он понимает. Она плачет. Он заранее все понял и все простил. Об этом она и плачет. Она поклоняется ему, считает его лучшим человеком и умнейшим». Образ героя — сложный, исполненный противоречий. На людях он «гордый и властный», окруженный «таинственной славой женской любви». Наедине с собой — «бесприютный, сгорбленный, усталый, во всем отчаявшийся». Он «только надеется на какую-то Россию, на какие-то вселенские ритмы страсти; и сам изменяет каждый день и России и страстям». Он «испорчен» — потому что «интеллигент». Здесь — отзвук тревоживших Блока раздумий о взаимоотношениях народа и интеллигенции. Проект драмы завершается многозначительными словами: «А ребенок растет».³

¹ «Записные книжки», стр. 106.

² Там же, стр. 107.

³ Там же, стр. 120—121. Мотив «растущего сына» встречается в записях Блока и в другой связи — в набросках продолжения стихотворения «Россия», относящихся к октябрю 1908 года (III, 591); ср. также замысел поэмы «Возмездие» (III, 297—299). К 1910 году относится новый драматургический замысел, в котором угадывается намек на роман Л. Д. Блок с Андреем Белым: «Ужасно сложное — в его жену влюблен человек, гораздо более значительный, чем он. Они ссорятся, потом мирятся. Любовь. Перипетии любви» («Записные книжки», стр. 172). Дальше намечено иное развитие сюжета.

Летом 1909 года Блоки уезжают в Италию — оба в очень тяжелом состоянии духа. В жизни Блока это одна из самых мрачных полос. В Италии он мучительно обдумывает свою писательскую судьбу. Он хочет «резко повернуть», устранившись от декадентской шумихи, от мелкобуржуазного, анархического «политиканства», от «хвастливости, торопливости и истерического смеха» — от всего, чем заражена близкая ему литературная среда. Он «хотел бы много и тихо думать, тихо жить, видеть немного людей, работать и учиться». Записывая это, Блок добавляет: «Как Люба могла бы мне в этом помочь».¹

Она и пыталась помочь. После охватившей ее лихорадки и наступившего вслед за тем кризиса она притихла, успокоилась, ушла в себя и какое-то время искренне хотела восстановить свои отношения с Блоком в прежнем, первоначальном духе. Она пробовала найти себя в деле, в какой-то мере близком Блоку, — занималась переводами и даже, сойдясь с З. Н. Гиппиус, принимала участие в работе одной из секций Религиозно-философского общества: «На секции опять интересно — я говорила речь! — сообщала она Блоку в декабре 1909 года. — Что нельзя определить религию и ничего сказать о ней верного. Ко мне горячо присоединился Пришвин, сказал, что первый родной голос о религии, мне было приятно, он такой русский, из лесов. . . Философов просит меня быть секретарем в секции. . . Что ж, я могу, я согласилась попробовать. . .»

Но на все это ее хватило ненадолго. Обозревая впоследствии свой житейский путь, она охарактеризовала годы 1909—1911, проведенные вместе с Блоком, двумя словами: «Без жизни». А в 1912 году для нее наступило «пробуждение», и следующее четырехлетие (1913—1916) уже обозначено знаменательной пометой: «В рабстве у страсти».

Общая жизнь, едва наладившись, опять разладилась — и уже непоправимо. Да, собственно, она и не налаживалась. Вспомним, что и как написал Блок о Любове Дмитриевне в 1910 году. А дальше шла все

¹ «Записные книжки», стр. 145—146.

та же чересполосица ссор и примирений. Новый 1911-й год они встретили «за очень тяжелыми разговорами». В середине февраля положение обостряется настолько, что Блок решает искать себе отдельную квартиру. Камень преткновения между ними теперь — дурное отношение Любови Дмитриевны к матери Блока. «Но отъезд не разрешит дела. . .» — замечает Блок. И добавляет: «В Любе эти дни есть светлое». И как итог — в марте 1911 года: «Она живет совсем другой жизнью». ¹

Блоку это причиняет настоящие душевные страдания. «Все *единственное* в себе я уже отдал тебе и больше уже никому не могу отдать даже тогда, когда этого хотел временами. Это и определяет мою связь с тобой», — пишет он Любови Дмитриевне в мае 1911 года (VIII, 341).

Любовь Дмитриевна чем дальше, тем больше втягивается в свою «другую жизнь». У нее опять началась театральная полоса. И снова, как четыре года назад, театр уводит ее от Блока. Вот несколько записей его в дневнике 1912 года: «Вечером за чаем я поднял (который раз) разговор о том, что положение неестественно и длить его — значит погружать себя в сон. Ясно: «театр» в ее жизни стал придатком к той любви, которая развивается, я вижу, каждый день, будь она настоящая или временная. . . Дни проходят все-таки «о другом человеке»; когда ни войдешь к ней, она читает его письмо, или пишет ему, или сидит задумавшись. . . Нам обоим будет хуже, если тянуть жизнь так, как она тянется сейчас. Туманность и неопределенность и кажущиеся отношения ее ко мне — хуже всего. Господь с тобой, милая».

Блок не обвиняет и не жалуется. Он только констатирует и делает выводы. Более того: он не щадит себя и готов принять на себя львиную долю вины за покалеченную семейную жизнь: «Или — это и есть то настоящее *возмездие*, которое пришло и которое должно принять? Ну что ж, записать черным по белому историю, вечно таимую внутри. Ответ на мои никогда не пре-

¹ «Письма Александра Блока к родным», II. Л., 1932, стр. 107, 121, 137.

крашавшиеся преступления были: сначала А. Белый, которого я, *вероятно*, ненавижу. Потом — гг. Чулков и какая-то уж совсем мелочь (А(услендер)), от которых меня как раз теперь тошнит. Потом — «хулиган из Тьмутаракани» — актеришка — главное. Теперь — не знаю кто».

Через некоторое время выясняется: «Он — мальчик, «хороший» (22 года), чистый, «знает ее жизнь», «любит» ее». В начале ноября Любовь Дмитриевна уезжает к нему, вскоре возвращается, но он без нее «пьет», и она снова едет — «без срока», говорит, что это «последняя влюбленность», чтобы Блок ее «отпустил по-хорошему». Но при всем том, как и в истории с Андреем Белым, она «раздваивается» и тем самым обезоруживает Блока. Чего стоит хотя бы такая его запись: «Милая сказала мне к вечеру: если ты меня покинешь, я погибну там (с этим человеком, в этой среде). Если откажешься от меня, жизнь моя будет разбитая. Фаза моей любви к тебе — требовательная. Помоги мне и этому человеку».¹

В ноябре 1912 года Блок посылает Любви Дмитриевне письмо, исполненное неизбывной горечи и суровой правды: «... Я убеждаюсь с каждым днем и моей душой и моим мозгом, которые к старости крепнут и работают все гармоничнее, увереннее и действеннее, что ты погружена в непробудный сон. . . То, что ты совершаешь, есть заключительный момент сна, который ведет к катастрофе. . . Переводя на свой язык, ты можешь назвать эту катастрофу — новым пробуждением, установлением новой гармонии (для себя и для третьего лица). Я в эту новую гармонию не верю, я ее *проклинаю* заранее, не только лично, но и объективно. . . Прошу тебя оставить домашний язык в обращении ко мне. Просыпайся, иначе — за тебя проснется другое. Благослови тебя бог, помоги он тебе быть не женщиной-разрушительницей, а — созидательницей».

Так и тянулась из года в год эта бесконечная путаница. Для Блока она была источником тяжких душев-

¹ Дневник Блока, записи от 27—29 октября и 2 декабря 1912 г. и от 22 января 1913 г. (VII, 170—171; 189, 211).

ных мук, которые смертельно истомили его. Но они же питали его творчество, и мы обязаны им появлением нескольких лирических шедевров поэта. Образ «единственной на свете», сладостные и горькие воспоминания о том «чудесном», что случилось в 1898—1902 годах, трагическое сознание своей вины и безвыходности всего, что случилось, — эта нить в лирике Блока не рвется до самого конца:

.. И ты, кого терзал я новым,
Прости меня. Нам быть — вдвоем.
Все то, чего не скажешь словом,
Узнал я в облике твоём.

(Январь 1912)

.. Этот голос — он твой, и его непонятному звуку
Жизнь и горе отдам,
Хоть во сне, твою прежнюю милую руку
Прижимая к губам.

(Май 1912)

.. За окном, как тогда, огоньки.
Милый друг, мы с тобой старики. . .

Ничего я не жду, не ропщу,
Ни о чем, что прошло, не грущу.

Только вот — принялась ты опять
Светлый бисер на нитки низать,

Как когда-то, ты помнишь — тогда. . .
О, какие то были года!

(Октябрь 1913)

.. Забудешь ты мою могилу, имя. . .
И вдруг — очнешься: пусто; нет огня;
И в этот час, под ласками чужими,
Припомнишь ты и призовешь — меня!

(Декабрь 1913)

.. А душа моя той же любовью полна.
И минуты с другими отравлены мне.

(Сентябрь 1915)

.. Я не только не имею права,
Я тебя не в силах упрекнуть
За мучительный твой, за лукавый,
Многим женщинам сужденный путь. . .

Все-таки, когда-нибудь счастливой
Разве ты со мною не была?

Эта прядь — такая золотая
Разве не от старого огня? —
Страстная, безбожная, пустая,
Незабвенная, прости меня!

(Октябрь 1915) ¹

На этой щемящей ноте и кончается все лирическое в отношениях Блока с женой. Но была в этих отношениях еще и другая сторона, важная для уяснения художественных взглядов и мнений зрелого Блока. Это — постоянный спор его с Любовью Дмитриевной о сущности, целях и формах искусства. Театральные увлечения Любови Дмитриевны объясняют, почему спор этот шел, главным образом, вокруг состояния и задач современного театра, точнее сказать — вокруг Мейерхольда.

Творческий гений Блока сказался все же больше в отрицании старого, нежели в утверждении нового. Но насколько характерна была для него неугасимая ненависть к «страшному миру», настолько же знаменательны настойчивые поиски (пусть зачастую тщетные) некоего положительного идеала. Вспомним, что он писал Любови Дмитриевне в 1908 году: «Я устал бес-силно проклинать, мне надо, чтобы человекдохнул на меня *жизнью*. . .» И чем крепче утверждает он в этом мнении, тем больше восстанавливается против своего литературного окружения.

Прошрое еще цепко держит Блока. Андрей Белый пытается увлечь его в антропософию, Евгений Иванов — в теософию, Зинаида Гиппиус — в «религиозную общественность», сестра Ангелина — в мракобесное православие Илиодора и Гермогена. Он сопротивляется, борется, безжалостно рвет прежние связи (напри-

¹ Хотя Блок думал закончить стихотворением «Перед судом» цикл «Кармен», посвященный Л. А. Дельмас (см. «Записные книжки», стр. 309), намерение это было вызвано, очевидно, чисто художественными соображениями. Содержание стихотворения неопровержимо свидетельствует о том, что оно обращено к Л. Д. Блок.

мер, с Вячеславом Ивановым), уходит в горькое и трудное одиночество.

Особенно много он думает, конечно, об искусстве, пересматривает старые критерии, приходит к новым выводам. Взгляды и мнения его слагаются в стройную систему. Его заботит, в первую очередь, вопрос о «почве искусства» — о той «земле, без которой не видно неба» (V, 472). Почву составляют размышления художника «о живом, о том, что во времени и пространстве». Отсюда, в свете собственного опыта, делается решающий вывод: «Пока не найдешь *действительной* связи между временным и вневременным, до тех пор не станешь писателем, не только понятным, но и кому-либо и на что-либо, кроме баловства, нужным» (VII, 118).

В эстетическом сознании Блока возникают критерии *красивого* и *прекрасного*. Красивое — это не более как нарядная, но дешевая оболочка, прикрывающая никчемность или пустоту содержания. «Прекрасное — вот мир тех сущностей, с которыми имеет дело искусство». С искусством нельзя «заигрывать или фамильярничать». Оно требует определенного «чина» отношения — «медленного, важного, не суетливого, не рекламного» (V, 474). И в этой связи Блок вспоминает завет Пушкина: «Служенье муз не терпит суеты. Прекрасное должно быть величаво».

Искусство должно быть величавым, строгим, правдивым и человечным. Художник в первую очередь должен думать и говорить не о «красоте», но о «человеке». «Нам опять нужна *вся* душа, все житейское, весь человек. . . Безумно люблю жизнь, с каждым днем больше. . . Возвратимся к психологии. . . Назад к душе, не только к «человеку», но и ко «всему человеку» — с духом, душой и телом, с житейским — трижды так», — записывает Блок в октябре 1911 года (VII, 79). «Искусство связано с нравственностью», — утверждает он в другой раз (VII, 224), полагая, что именно нравственным началом проникнута драма «Роза и Крест», в которой он хотел наиболее внятно сказать на языке искусства о своем, самом заветном и глубоко пережитом.

Здесь уместным представляется небольшое отступление. «Роза и Крест» — любимое создание Блока, которому он отдал много творческих сил (пожалуй, больше, нежели любому другому из своих произведений) в особенно тяжелом для него 1912 году. Когда драма была закончена и прочитана друзьям, он понял, что «написал наконец настоящее» (VII, 213). Конечно, нет серьезных оснований искать в «Розе и Кресте» сколько-нибудь прямых отражений того, что происходило в это время в личной жизни Блока (факты действительности растворяются и преобразуются в художественном творчестве, подчиняясь его особым законам), но, вместе с тем, рассматривая вопрос в широком аспекте, невозможно пройти мимо того обстоятельства, что в момент нового и резкого обострения своей семейной драмы Блок был поглощен работой над произведением, в котором главное и основное — трагедия *человеческой* любви, — не небесно-божественной и не «астартической», а именно человеческой. Об этом Блок в своих подробных пояснениях драмы, ее содержания и смысла (IV, 527—538) твердит особенно настойчиво.

Он определял «Розу и Крест» прежде всего как «драму *человека* Бертрана», чей разум «искал примирения Розы никогда не испытанной Радости с Крестом привычного Страдания». Бертран — «седеющий неудачник», в глазах окружающих — «тяжелый человек», но он полон душевной красоты и истинного благородства: это человек строгий и мужественный, глубоко сознающий свой долг, «неумолимо честный, трудно честный», обладающий сердцем, которое «прошло долгий путь испытаний и любви». Из этих кратких, но емких характеристик ясно, что Блок вложил в образ Бертрана свое представление о настоящем человеке (обо «всем человеке»). Бертран любит графиню Изору вечной, неразделенной, безответной любовью — и именно в этой трудной любви раскрываются вся сила и красота его простой человеческой души, — сила и красота *самопожертвования*. Особенно значительна в этом смысле финальная сцена драмы, когда истекающий кровью Бертран стоит на страже любовного свидания Изоры с Алисканом. В трактовке Блока Бертран

жертвует жизнью ради счастья Изоры, «открыв для нее своей смертью новые пути».

Казалось бы, какие «новые пути» могут открыться перед этой молодой женщиной, которая охарактеризована в драме как «темная и страстная», «хищная, жадная, капризная», наделенная умом, находчивостью и «здравым смыслом». Но Блок, определяя «Розу и Крест» прежде всего как драму человека Бертрана, говорит, что во вторую очередь — это также и драма Изоры. Не все просто и однолинейно в прекрасной графине. При всех ее «земных» качествах и свойствах есть в ней и душевная свежесть и цельность; она создана из «беспримесно-чистого и восприимчивого металла» и потому, в конечном счете, она может и не разделить судьбы остальных обитателей графского замка. Пусть она еще неспособна оценить любовь Бертрана — «преданную *человеческую* только любовь, которая охраняет незаметно и никуда не зовет», пусть молодость и страсть бросают ее в объятия пошлого красавчика Алискана, но (как подчеркивает Блок) судьба ее окончательно «еще не свершилась», «о чем говорят ее слезы над трупом Бертрана».

Нравственное начало, которым так глубоко проникнута «Роза и Крест», стало для Блока к этому времени важнейшим критерием искусства. Этой меркой он начинает мерить все, в том числе и то, что еще сравнительно недавно казалось ему близким и значительным. Модернистское искусство XX века резко осуждается им (он прямо говорит: «яд модернизма») главным образом потому, что из него исчезло основное и решающее — правда. Легкий и изящный талант может быть вредным — именно потому, что он зачастую впадает в украшающую и утешающую ложь. «Только гений говорит правду, только правда, как бы она ни была тяжела, *легка* — «легкое бремя». Отсюда — задача: «Правду, исчезнувшую из русской жизни, — возвращать *наше дело*» (VII, 103).

Ярчайший пример несомненного, но вредного, лживого таланта Блок видит в деятельности одного из корифеев театрального модернизма — Н. Евреинова («Кривое зеркало»). Для него это — «ничем не при-

крытый цинизм какой-то голой души» (VII, 178). Явлениями такого же порядка были для Блока всякого рода вечера и выставки «нового искусства», кривлянья ранних футуристов (Маяковского он сразу же выделил из их среды — за «демократизм»), на шумевшее в свое время литературно-художественное кабаре «Бродячая собака» (где он, кстати сказать, ни разу не был, несмотря на все усилия завлечь его туда).

В Блоке все более крепнет протест против эстетского и формалистского подхода к искусству. Он считает, что искусство требует осторожного с ним обращения — как радий: малейшая доля его способна чудесным образом «радиоактивировать» все, даже «самое тяжелое, самое грубое, самое натуральное». Поэтому, фигурально выражаясь, не следует «перегружать искусство искусством» или (как стали говорить позже) «обнажать приемы». Художник должен быть строго экономным в расходовании средств своего искусства. Всякого рода формалистические ухищрения и излишества (Блок называет их «миражами сверхискусства») только «мешают искусству» (VII, 140), и в этом смысле в истинных произведениях искусства, пусть это будет даже лирическое стихотворение, «больше *не искусства*, чем искусства». ¹

Резкий протест Блока против «слишком модных исканий» (VIII, 378), породивших эстетизм, формализм, бездушность и бездумность модернистского искусства, поставил его в сложные отношения с В. Э. Мейерхольдом, которого он высоко ценил как одареннейшего художника и с которым его связывала многолетняя дружба.

В свое время постановку «Балаганчика», осуществленную Мейерхольдом в театре В. Ф. Комиссаржевской (в декабре 1906 года), Блок назвал «идеальной» (IV, 434), и именно Мейерхольду посвятил (в печати) свой первый драматургический опыт, задуманный, написанный и сценически оформленный в духе «трагического гротеска», проникнутого «трансцендентальной иронией» романтиков.

¹ «Записные книжки», стр. 213.

Мейерхольдовский спектакль явился бесспорно самой открытой и боевой демонстрацией принципов нового, «условного» театра, «преодолевающего реальность» и «развоплощающего быт», как любили говорить его адепты, — театра балагана, маски и марионетки, сценической буффонады, шаржа и гротеска. В постановке «Балаганчика» условность драматического действия, призванная раскрыть марионеточность изображенной в пьесе жизни, ее неподлинный, бутафорский, маскарадный характер, равно как и скрытый, символический смысл, вложенный в характеры персонажей и в их отношения, были резко подчеркнуты оригинальными, впервые примененными приемами сценического оформления. Так, например, контуры фигур одуроченных мистиков, сидящих за столом, были выкроены из картона, — к выкройкам были лишь прислонены головы и руки живых актеров. В нужный момент актеры прятались — и за столом оставались одни безголовые и безрукие, грубо намалеванные картонные бюсты. Это было, конечно, блестящей находкой Мейерхольда, вполне органичной в данном случае, поскольку она наглядно доказывала «картонность» происходящего на сцене.

Блоку и в дальнейшем импонировал дух смелого новаторства, неизменно воодушевлявший Мейерхольда, но самое направление его художественных исканий в предреволюционные годы вызывало со стороны Блока все более решительные возражения.¹

Высокие и строгие представления об искусстве, к которым Блок пришел в пору своей творческой зрелости, вступали в непримиримое противоречие с театральной практикой Мейерхольда, который, продолжая свою борьбу со старым — «бытовым» и «психологическим» — театром, по-прежнему был целиком погружен

¹ В декабре 1911 года Блок пишет К. А. Сюннербергу: «В венке Мейерхольду теперь (по поводу «Орфея») участвовать не хочу: в этом была бы фальшь с моей стороны, потому что я от театра отстал сильно, а последняя постановка Мейерхольда, виденная мной («Дон Жуан»), мне страшно не понравилась. Я буду больше любить Мейерхольда, если не приму участия в венке» (VIII, 381).

в стихию «чистой» и «условной» театральности. Как и в эпоху «Балаганчика», он пытался опереться в своих исканиях на принципы театра марионетки и маски, на традиции *commedia dell' arte*, сказочную фантастику Гоцци и Гофмана, на приемы цирка и ярмарочного балагана. Как и прежде, больше всего увлекала его сама техника зрелищного действия, искусство жеста, мизансцены и пантомимы.

Любовь Дмитриевна, связавшая свою актерскую судьбу с Мейерхольдом, была его пылкой поклонницей, а Блок считал, что у Мейерхольда, как и у всех модернистов, поклонников и ревнителей «сверхискусства», нет необходимого для художника «стержня», а есть «только талантливые завитки вокруг пустоты» (VII, 164). И на этой почве между супругами возникали запальчивые, серьезные споры.

«Вечер закончился неприятным разговором с Любовью. Я постоянно поднимаю с ней вопрос о правде нашей и о модернистах, чем она крайне тяготится. . . Модернисты все более разлучают ее со мной», — записывает Блок в октябре 1912 года (VII, 163). Сперва он было заинтересовался исканиями Мейерхольда и группировавшейся вокруг него театральной молодежи (спектакли в Териоках в летний сезон 1912 года). Потом начал относиться к ним с недоверием, а когда вполне определились направление и характер исканий, открыто и непримиримо выступил против них.

Впечатление от териокских спектаклей у него «тяжелое»; в создавшейся вокруг них атмосфере ему «нечего делать» (VII, 149—150). От первоначальной заинтересованности ничего не осталось: «Переменилось многое в духе предприятия. . . Вначале они хотели большого идейного дела, учиться и т. д. . . Понемногу стали присоединяться предприимчивые модернисты. . . вместо *большого* дела, традиционного, на которое никто не способен, возникло талантливое декадентское *маленькое* дело. . . *Речи* были о Шекспире и идеях, *дело* пошло прежде всего о мейерхольдовских пантомимах» (VII, 146). Он даже подозревает, что самих участников дела «мучит их сухая пестрота» — потому что «они ломаются с «театральностью» в открытую дверь и никак

не хотят понять, что *человечность* не только не убьет, но возвысит и осмыслит правдивое в их «исканиях» (VII, 234). Эта мысль красной нитью проходит сквозь тогдашние размышления Блока. В феврале 1913 года он возвращается к ней в письме к Любови Дмитриевне: Мейерхольд как художник «погибнет, если не опомнится, не бросит *вовсе* кукольное и не вернется к человеку» (VIII, 410).

С 1906 года, когда Мейерхольд с такой блестящей выдумкой поставил «Балаганчик», для Блока утекло много воды. Теперь дух кукольности, марионеточности претил ему. Теперь в атмосфере «чистой» театральности, чистой зрелищности, среди кукол, а не людей, ему в самом деле нечего было делать. Мейерхольд утверждал, что театр это «игра масок», а Блок возражал ему: «игра лиц», арена действия человеческого ума и сердца. «Таким образом для меня остаётся неразрешимым вопрос о двух правдах — Станиславского и Мейерхольда», — записывает он после длинного и бесплодного спора с Мейерхольдом (VII, 187). Пройдет немного времени — и Блок решит вопрос твердо и окончательно в пользу правды Станиславского: «Опять мне больно все, что касается *Мейерхольдии*, мне неудержимо нравится «здоровый реализм», Станиславский и «Музыкальная драма». Все, что получаю от театра, я получаю *оттуда*, а в Мейерхольдии — тужусь и вяну. Почему они-то меня любят? За прошлое и за настоящее, боюсь, что не за будущее, не за то, чего хочу».¹

Для зрелого Блока театр был не красочным зрелищем, не веселым балаганом, а высокой трибуной. Он рассматривал театр, искусство сцены, как «линию огня», на которой искусство входит в особенно тесное («лицом к лицу») соприкосновение с жизнью. Отсюда — его признание: «Люблю в «Онегине», чтоб сжалось сердце от крепостного права. . . Очень люблю *психологию* в театре. И вообще чтобы было питательно». А в кукольном театре Мейерхольда многое его просто «ужасает».²

¹ «Записные книжки», стр. 209.

² Там же, стр. 214.

Посмотрев (уже в 1915 году) нарядный, но пустой спектакль студии Мейерхольда, Блок пишет Любови Дмитриевне: «...мне, как всегда, страшно не понравилось *почти все*. . . узорные финтифлюшки вокруг пустынной души, которая и хотела бы любить, но не знает источников истинной любви. Так как нет никакого центра, нет центрального огня, который есть *любовь* и *воля*, — мне и тяжело и скучно от никчемного «легкого веселья». . . Неталантливые люди и некрасивая фантазия. О, если бы люди умели сузиться, поняли, что честное актерское ремесло есть большой чин, а претензии на пересаживанье каких-то графов Гоцци на наш бедный задумчивый, умный север, *русский* — есть только *бесчинство*» (VIII, 440—441).

Некоторые отзывы Блока о самом В. Э. Мейерхольде, относящиеся к тому времени, отличаются крайней резкостью тона и явной предубежденностью. Достаточно сослаться на то, что написал он Любови Дмитриевне в апреле 1913 года: «О Мейерхольде лучше не будем говорить. Двух пудов соли я с этим вторым Чулковым не съем. Мне не надо прирожденных плагиаторов с *убогим содержанием* души, но с впечатлительностью, которая производит впечатление таланта» (VIII, 419). Это было сказано в связи с намерением Мейерхольда поставить «Розу и Крест». Блок боялся, что его любимое создание попадет в холодные, равнодушные руки человека, который, как казалось ему, принадлежал к породе «людей без сердца и головы».

Явная несправедливость подобного рода отзывов, высказанных, очевидно, в состоянии запальчивости и раздражения, не требует особых доказательств. В дальнейшем Блок сумел преодолеть чувство раздражения, касавшееся лично Мейерхольда. Итогом отношения его к этому выдающемуся, но часто заблуждавшемуся художнику могут служить слова, сказанные уже после Октября, когда Блок особенно тесно и практически соприкоснулся с театром. В это время он говорил о Мейерхольде как о большом художнике, неутомимом искателе, зачастую достигавшем «блестящих результатов», но иногда и срывавшемся «очень низко» (VI, 399—400).

Таким образом, искусство, понимание его существа, задач и целей, тоже вносило разлад в отношения Блока с женой. И на эти темы они, по большей части, уже не говорили на одном языке, как было прежде, в молодости. И так получалось не только с искусством, но и со многим другим, что окружало их в жизни.

Они оставались вместе, под одной крышей, временами были «дружны», называли себя «товарищами», даже шутили, как бывало, обменивались друг с другом смешными записочками, рисунками,¹ ласковыми прозвищами. Но за всем этим была уже не одна общая жизнь мужа и жены, а две отдельные и очень несхожие жизни.

Изредка просыпались поздние и бесплодные сожаления: «Думаю о тебе и о себе часто твоими стихами, и до слез мне нелепо, что мы потеряли какую-то «нитку» и когда-то еще поймаем», — писала Любовь Дмитриевна в 1916 году.

Нитку общей, единой жизни они так и не поймали, но некоторое душевное сближение произошло еще раз — в грозе и буре революции.

Из писем Блока к жене, как и вообще из всего, что он писал, ясно видно, как чутко реагировал он на повышение и понижение температуры общественной жизни. В глухое время реакции он погибал, впадал в мрачайшую тоску, в черное отчаянье. Но как только волна общественного подъема взлетала ввысь, он оживал, к нему возвращались надежды, он обретал веру в будущее. В июне 1917 года он пишет Любове Дмитриевне: «Нового личного ничего нет, а если б оно и было, его невозможно было бы почувствовать, потому что содержанием всей жизни становится всемирная Революция, во главе которой стоит Россия... Я был на Съезде Советов Солдатских и Рабочих Депутатов и, вообще, вижу много будущего, хотя и погружен в работу над прошлым — бесследно прошедшим» (VIII, 504. — Блок имеет в виду свою работу в Вер-

¹ Много таких записочек и шуточных рисунков сохранилось в бумагах Л. Д. Блок (ЦГАЛИ).

ховной следственной комиссии по расследованию деятельности царских министров и сановников).

Любовь Дмитриевна в набросках своих воспоминаний хорошо сказала, что нельзя было жить вместе с Блоком и не почувствовать пафоса революции. И нужно отдать ей справедливость: в самый ответственный час истории она нашла в себе силу и волю встать рядом с Блоком. Она, правда, не сразу разобралась в событиях. В ее письмах 1917 года звучат иной раз обывательские нотки. Так, в апреле она пишет: «Мне очень беспокожно, и я хотела бы с тобой быть, помочь тебе в это головомое время... ведь грозят ленинскими действиями многие рабочие». Блок отвечает на это с высоты своего понимания событий: «Как ты пишешь странно, ты не проснулась еще... неужели ты не понимаешь, что ленинцы не страшны, что все по-новому, что ужасна только старая пошлость, которая еще гнездится во многих стенах» (письмо от 3—8 мая). Любовь Дмитриевна еще «оплакивала» некоторые фетиши старого мира, ей оказалось не так просто разорвать с ними.¹

Но в первую годовщину Октября Блок записывает: «Празднование октябрьской годовщины с Любой... Исторический день — для нас с Любой — полный... Днем — в городе вдвоем — украшения, процессия, дождь у могил. *Праздник*... Никогда этого дня не забыть».² Эта запись овеяна дыханием истории, согрета жаром героического времени, в ней слышится голос сердца, бившегося заодно с жизнью и борьбой народа.

В трудных условиях первых послеоктябрьских лет Любовь Дмитриевна как могла поддерживала Блока. Она назвала эти годы «школой жизни». Она была заботливой, внимательной хозяйкой, верным другом. Но мира и покоя в семье Блока так и не было до конца: Любовь Дмитриевна бурно ссорилась со свекровью.

¹ См. запись в дневнике Блока от 20 (7) февраля 1918 г. (VII, 325).

² «Записные книжки», стр. 434—435.

Смерть Блока потрясла ее.¹ Сохранилось письмо ее к младшей сестре, Марии Дмитриевне, написанное; очевидно, в том же 1921 году: «Главное то — что я не несчастна; просто кончено все житейское, что мы называем жизнью. . . Сашина смерть — гибель гения, не случайная, подлинная, оправдание подлинности его чувств и предчувствий. И мое состояние — как мы представляем себе после смерти — все понятно, все ясно и тихо. Сердце мое уже по ту сторону жизни и неразрывно с ним. . .»² Может быть, когда она писала это, она вспомнила обращенные к ней вещи блоковские строки:

Ты проклянешь, в мученьях невозможных,
Всю жизнь за то, что некого любить!
Но есть ответ в моих стихах тревожных:
Их тайный жар тебе поможет жить.

Любовь Дмитриевна после смерти Блока прожила восемнадцать лет — ровно столько же, сколько и с Блоком. Это не была богадельная, старушечья жизнь. Были и новые бури, и новые удары судьбы, и новые (опять тщетные) попытки самоутвердиться в театре, и окончательный отказ от сцены, и большая, плодотворная работа в области изучения балета (была написана ценная книга по истории искусства классического танца, к сожалению, оставшаяся неизданной).

В конце жизни Любовь Дмитриевна подвела ее итоги и насчитала шесть своих ошибок. В их числе — замужество и то, что «хотели разойтись» в 1907 году, но не разошлись.

Может быть, по-человечески, из сумерек трудно и неправильно прожитой жизни это и могло показаться Любви Дмитриевне ошибкой. Но время всему учи-

¹ Когда Блок был уже безнадежен, Любовь Дмитриевна писала его матери (2 августа 1921 г.): «Молитесь еще, и еще, и еще. Вчера Саше было очень плохо. . . Я тоже вымаливаю себе надежду, бог даст, уедем, доживем до лучших дней. . . А потом все будет хорошо; неужели я могу остаться той же, что и до его болезни? Если бог спасет его — ему будет хорошо со мной. Вам тоже» (ИРЛИ).

² Письмо — в бумагах Л. Д. Блок (ЦГАЛИ).

няет строгую проверку и все исправляет по-своему. Сейчас, когда для Александра Блока наступило бес-
смертие, образ его жены светит отраженным светом
личности, творчества и судьбы поэта.

Ты вспомнишь, когда я уйду на покой,
Исчезну за синей чертой, —
Одну только песню, что пел я с Тобой,
Что Ты повторяла за мной. . .

6

Так жили поэты. . .

Перед нами прошла история *одной* любви и *одной* семейной драмы. Но ни эта любовь, ни эта драма не вызывали бы у нас столь острого интереса, если бы оставались всего лишь частным, индивидуальным случаем, пусть даже характеризующим личность и жизнь такого большого поэта, как Александр Блок. Нет, любовь и драма Блока, как уже сказано, приобретают значение более общее. Они так ярко окрашены в «цвет времени», что могут рассматриваться как выразительный эпизод из истории нравов и быта определенного круга русской буржуазно-дворянской интеллигенции предреволюционной эпохи.

Круг этот был, конечно, страшно узок и очень замкнут. Он ограничивался по преимуществу элитой столичной художественной среды, так или иначе причастной к новым, модернистским течениям в литературе и искусстве. Но в силу известных обстоятельств именно этот круг в условиях распада старого мира и «александрийского» угасания его культуры выдвинулся на первый план, задавал тон в литературно-художественной жизни и оказывал немалое влияние на более широкие слои тогдашней интеллигенции, особенно — на молодое ее поколение.

В этом кругу, после тихой, застойной интеллигентской жизни восьмидесятых годов, стало необыкновенно модным «преображать» жизнь. Именно ранние русские декаденты, а вслед за ними символисты, которые так усердно мифологизировали действительность и

пытались сотворить из «грубой жизни» некую «сладостную легенду», не только обосновывали это «преображение» в своем творчестве, но и стремились внедрить его в сферу своего частного быта. Мемуарная литература, посвященная символистам, изобилует рассказами о всякого рода домашних проявлениях «демонизма», «магизма», «дионисизма», которые теперь производят диковатое, а подчас и комическое впечатление, но в свое время принимались в этой среде всерьез. Все это и было перенесенным в быт *декадентством*, — если понимать данное слово конкретно-исторически, как определенную форму человеческого сознания, ознаменовавшую судьбу индивидуализма в эпоху заката буржуазной культуры.

Символизм ко многому обязывал своих адептов. Он, в самом деле, был для них «не только искусством», как они часто об этом твердили. Он был для них средством ухода в некий воображаемый мир от неприятной и пугающей действительности, способом «творить жизнь» по-своему, даже — нормой общественного поведения художника. Тут-то и начиналась та легкомысленная игра в жизнь, которая дорого стоила даже самым талантливым из символистов.

Наблюдательный и злоязычный В. Ходасевич, оставивший острые зарисовки людей символизма, с которыми он сталкивался непосредственно, писал в книге «Некрополь» (1939): «Жили в неистовом напряжении, в обостренности, в лихорадке. Жили разом в нескольких планах. В конце концов были сложнее запутаны в общую сеть любвей и ненавистей, личных и литературных. . . От каждого, вступавшего в орден (а символизм в известном смысле был орденом), требовалось лишь непрерывное горение, движение. Разрешалось быть одержимым чем угодно: требовалась лишь *полнота одержимости*».

Взять, к примеру, хотя бы того же Андрея Белого. Этот щедро и разносторонне одаренный человек, писатель большого таланта, создавший такие книги, как «Пепел» и «Петербург», выглядит просто смешным и нелепым, как только мы проникаем в сферу его частного быта и житейских отношений. И конечно же, по-

стоянно окружавшая его сгущенная атмосфера невнятицы и истерии объясняется не только, а, может быть, и не столько душевной неуравновешенностью человека Б. Н. Бугаева, но и тем «стилем времени», который писатель Андрей Белый считал для себя обязательным и-который он надел на себя, как маску (в исходе жизни, в своих мемуарах, А. Белый довольно трезво и не без юмора оценил этот «стиль времени»).

Живая, действительная жизнь жестоко мстила утонченным индивидуалистам, отказавшимся от союза с людьми, с народом во имя призрачного союза с «миром». Как правило, все они влачили трудную, запутанную личную жизнь. Они даже и любить не умели просто: любовь, по большей части, была для них источником не радости и счастья, а мук и тревог.

Эта трудная, безрадостная любовь душевно опустошенного человека эпохи декаданса получила глубокое художественное отражение в лирике Александра Блока — в частности, в удивительном по своей впечатляющей силе цикле «Черная кровь». Вся образно-словесная ткань этих замечательных стихов служит раскрытию темы именно в таком аспекте: лирического героя преследуют в любви «притаившиеся демоны», «грозовая тишина», «страшная пропасть». . . Особенно знаменательно в этом смысле четвертое стихотворение цикла — «О, нет! Я не хочу. . .» Здесь любовь — это муки, страшные объятья, неистовые звуки скрипок, «неизреченная скука». Лишь вдалеке неясно сквозит какой-то недоступный идеал — «синий берег рая» (этот образ потом отзовется в «Кармен»), — но это только мечта, фантом: в действительности перед героем в его черной, безрадостной страсти раскрывается «иной рай» — хотя и обольстительный, но неверный, лживый, «змеиный».

Как обычно у Блока, в «Черной крови» запечатлена целостная художественная структура — своего рода «повесть», выявляющая судьбу героя. Когда он «у себя», наедине с самим собой, его гнетут унижение, раскаяние, злость, он охвачен чувством полной безнадежности и непоправимости всего, что с ним случилось; лишь где-то в сокровенной глубине души едва брез-

жит «старинный, слабый свет» каких-то лучших воспоминаний. Но на этом лирический сюжет исполненного глубоким драматизмом цикла не завершается: герой, пройдя через отчаянье и, казалось бы, полный душевный упадок, побеждает в себе «низкую страсть» — и в этом обретает освобождение. Последний аккорд — образ «бурного счастья», возникший «за мраком ненастья» — намечает в любовной лирике Блока выход к темам «Кармен» и других стихов того же плана.

В «Черной крови», как и во всей лирике Блока, отразился личный душевный и жизненный опыт поэта. Он сам пережил *такую* любовь, сам перешел через *такие* испытания, сам знал соблазны декадентского «змеяного рая».

Конечно, Александр Блок был человеком неизмеримо более цельным и душевно здоровым, нежели, скажем, тот же Андрей Белый. Но общее поветрие декаданса коснулось и его, не могло не коснуться. Душевное величие Блока сказалось в громадной мере в том, что он сумел понять историческую обреченность окружающей его среды и узнал ей настоящую цену. Но из этого еще вовсе не следует делать прямой вывод, что поэту удалось изолироваться от своей среды. В том-то и заключается первое трагическое противоречие жизни Блока, что, окрыленный своей «свободной мечтой», он оставался пленником того мира, который одновременно и притягивал его своими соблазнами, и вызывал в нем искреннюю и страстную ненависть:

И смотрю, и вражду измеряю,
Ненавидя, кляня и любя:
За мученья, за гибель — я знаю —
Все равно: принимаю тебя!

Свою связь со «страшным миром», свою роковую зависимость от него Блок ощущал как проклятие. Эта связь и эта зависимость были для поэта источником мучительных переживаний, но они *были*, имели место, и умалчивать об этом нечего, если быть верным строгой исторической правде.

Это обстоятельство помогает понять природу пережитой Блоком личной трагедии. В отношениях его с

женой, бесспорно, сказалось влияние той ущербной психологии, которая пустила столь прочные корни в кругу символистов. «Проклятие отвлеченности», которое Блок считал характернейшей чертой декадентства в любом его проявлении, и тут преследовало поэта. С самого начала, когда еще только начали складываться его отношения с любимой девушкой, он, как мы видели, позволил декадентской схеме вмешаться в живую жизнь.

Конечно, его тоже дурманила разлитая в воздухе соблазнительная, пьянящая атмосфера декадентского «своеволия». Вспомним, как накануне женитьбы он исподволь, но достаточно настойчиво внушал своей неискушенной невесте всякого рода декадентские ереси — вроде того, что брак не исключает «беззаконности» и «мятежности» («Мы, как птицы, свободны. . .»). Сознывая всю «вычурность» своих «рассудочных комбинаций», он тем не менее не переставал развивать их нить именно в этом направлении. Он наводит свою возлюбленную на противопоставление «духовного» и «телесного» (очень модная в ту пору тема, особенно усердно разрабатывавшаяся Мережковским и его присными). Он клеймит «телесное» как греховный «астартизм», как нечто темное, и в то же время оставляет за собою право на погружение в это темное — во имя все той же «свободы воли».

Если отбросить специфическую фразеологию декадентского жаргона, обнажается реальное содержание подобного рода рассуждений, которое подлежит ясной и четкой исторической и социально-классовой оценке. Ленин недвусмысленно охарактеризовал требование «свободы любви» как «буржуазное требование», как свободу «от серьезного в любви», свободу «адюльтера», свойственную в дореволюционном обществе «классам наиболее говорливым, шумливым и «вверхуидным».¹ Эта ленинская характеристика, конечно, полностью применима к проблеме «свободы любви», как она ставилась и практически решалась в кругу интел-

¹ В. И. Ленин. Письмо к Инессе Арманд. — Полное собрание сочинений, т. 49, стр. 51—52.

лигентской элиты, затронутой декадентскими воздействиями.

Но то, что для людей этого круга, как правило, оставалось легкой, бездумной игрой, для Блока стало источником глубокой человеческой трагедии. И в данном случае, как всегда, особенно важно отделить мелкое и случайное от главного и решающего.

Отдав вначале дань декадентскому «своеволию», Блок в дальнейшем подпал под власть совершенно иных чувств и настроений. Главным и решающим в них было сознание *вины* перед женщиной, которую он сперва поставил в центре условного, созданного одним воображением, мифологизированного мира, а затем, когда этот зыбкий, призрачный мир, не выдержав соприкосновения с живой жизнью, распался, — не смог уберечь ее от падения в «лиловый сумрак» декадентских соблазнов.

Здесь мы подошли к тому, что вообще составляло самую суть душевной драмы Блока как человека и как художника и без чего невозможно понять внутреннюю логику его жизненного и творческого пути. Его никогда, ни на минутку не оставляло острое, мучительное чувство вины за то, что он изменил своему высокому юношескому идеалу (каково было содержание этого идеала — в данном случае вопрос особый), за то, что он хотел быть «пророком», а стал «только художником» — и за это отступничество заплатил дорогой ценой: декадентством, утратой веры, душевной трагедией. Эта тема красной нитью проходит в зрелой лирике Блока. В письмах поэта к жене она получает дополнительное жизненное обоснование.

Именно поэтому семейная драма Блока с течением лет не только обострялась в своем реальном значении, но и углублялась в сознании поэта, перерастая из частного случая в некое знамение времени, в пример неблагополучия личной жизни в данных общественно-исторических условиях. Здесь вспоминается Герцен со столь важной для него темой «кружения сердца». Само собой понятно, что запрашивающееся в данном случае соотношение двух личных драм носит характер типологический и должно приниматься в расчет лишь с

поправкой на все, что окрашивает каждую драму в свой цвет: время, личность, идеология, обстоятельства.

Для Герцена все, чем он жил, — в том числе и внезапно обрушившиеся на него тяжелые личные переживания, — как бы сливалось в одном овладевшем им чувстве — чувстве решающего исторического перелома, свидетелем и участником которого он являлся. В «Былом и думах» Герцен цитирует письмо своей жены Натальи Александровны: «Что личное счастье? .. Общее, как воздух, обхватывает тебя, а этот воздух наполнен только предсмертным заразительным дыханием». ¹ Речь идет об умирании старого общественного строя: он распадается под ударами все более крепнущих народных движений, но тем более яростно сопротивляется и заражает жизнь своим ядом.

Это тесное соотношение личного и общего лежит в основе патетического рассказа Герцена о пережитой им семейной драме (увлечение Наталии Александровны поэтом Гервегом). Финал драмы осмыслился Герценом как следствие всемирно-исторического катаклизма, как «встреча двух миров у семейного очага: одного, идущего из леса в историю; другого, идущего из истории в гроб». Столкновение двух мировых сил — реакционной и прогрессивной — предопределяет судьбу личного счастья: «...и мой очаг опустеет, раздавленный при встрече двух мировых колея истории». ² Именно поэтому Герцен и не усомнился сделать «кружение» своего сердца достоянием общественной гласности; именно поэтому в «Былом и думах» подробный и откровенный рассказ о семейной драме предваряется главой «1848 год», которая служит как бы историческим введением к рассказу. ³

Александрю Блоку, как мы знаем, тоже было в величайшей степени знакомо это чувство нерасторжимости личного и общего, «своего» и «мирового». Подобно

¹ А. И. Герцен. Полное собрание сочинений в тридцати томах, т. 10. М., 1956, стр. 228.

² Там же, стр. 238.

³ Об этом в кн.: Л. Гинзбург. «Былое и думы» Герцена. М., 1957, стр. 292 и сл.

Герцену, который прямо связывал катастрофу своего «частного быта» с «черными днями» июня 1848 года, Блок осмыслял крах личной жизни как одно из проявлений общего неблагополучия, столь резко обострившегося в России в годы общественной и политической реакции после поражения первой революции. «Едва ли в России были времена хуже этого...» — вот постоянный исторический подтекст в письмах Блока к жене за 1908 год, посвященных выяснению их запутавшихся отношений. И, с другой стороны, он пытается найти опору для своего пошатнувшегося «частного быта» в где-то существующей, но ему самому неведомой и недоступной гармонии «общих» человеческих отношений: «Есть ведь на свете живой быт, настоящий, согласный с живой жизнью...» (письмо от 24 июня 1908 года).

В 1903 году, создавая свой мистифицированный «роман воображения», Блок откровенно писал невесте: «Я не люблю ни фактов, ни публицистики...» В дальнейшем, начиная с 1907 года, переписка все больше и больше насыщается и фактами окружающей реальной жизни и собственными суждениями о них, проникнутыми именно «публицистическим» пафосом. При этом ни факты, ни суждения не вытесняют главной темы переписки — личной драмы. И то и другое дано в нерасторжимом единстве, потому что в своей Любе Блок видит защиту от ледящего его ужаса реакции.

Есть еще одна черта, сближающая письма Блока к невесте и жене с перепиской Герцена и Натальи Александровны. И в том и в другом случае это были не просто письма, единственное назначение которых — чисто практическое: о чем-то сообщить, что-то передать. Нет, в обоих случаях это некое литературное единство, воплощенное в эпистолярной форме. Переписка воспринимается как своего рода художественная структура, как «роман в письмах», сохраняя при этом всю силу подлинности изложенных в нем житейских фактов и психологическую достоверность лежащих за этими фактами душевных переживаний.

Понимание личной драмы как явления исторически обусловленного позволило Герцену ввести свою пе-

реписку с Натальей Александровной в художественно-публицистическую ткань «Былого и дум». Интересно, что нечто подобное задумал и Блок. Известно, что в 1918 году он собирался переиздать «Стихи о Прекрасной Даме» по образу и подобию дантовской «Новой Жизни». Он хотел, следуя примеру Данте, заполнить «пробелы» между отдельными звеньями своего лирического дневника простым изложением событий, происходивших некогда в его жизни и вызвавших то или иное стихотворение. В этих целях, как рассказывала мне Л. Д. Блок, он предполагал воспользоваться материалом своей переписки с невестой.

Семейная драма Герцена остается для нас одним из самых впечатляющих эпизодов, которые раскрывают душевную жизнь лучших русских людей прошлого века. Семейная драма Александра Блока по-своему не менее ярко, сильно и выразительно освещает душевный мир людей другой эпохи, исполненной еще более резких и непримиримых противоречий. Крылатые слова: «Мы — дети страшных лет России...», сказанные поэтом от лица его поколения, применимы, конечно, и к нему самому и к его жене.

Александр Блок вступил в жизнь, стал поэтом и прошел свой творческий путь в ту всемирно-историческую эпоху, когда, по знаменитому определению Ленина, весь старый строй «переворотился», когда в России происходил глубочайший процесс «ломки» всех социально-классовых отношений.¹ Как «переворотилось» все в жизни России, так «переворотилось» и в жизни отдельных людей, в их душах, в их сознании — у каждого по-своему. Семейная драма Александра Блока — глубоко волнующий эпизод русской жизни эпохи всеобщей «ломки». Знакомство с нею приоткрывает правду о трудной душевной жизни последнего великого поэта старой, дооктябрьской России и тем самым существенно дополняет наше представление о нем.

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 20, стр. 102.

СОДЕРЖАНИЕ

От автора	7
---------------------	---

I

Вослед Радищеву. <i>Из истории гражданской поэзии начала XIX века</i>	11
Литературная программа декабристов	87

II

Павел Катенин	127
Денис Давыдов	179
Языков	234
Полонский	265

III

Николай Полевой и его «Московский телеграф»	313
Молодой Краевский	449

IV

История одной «дружбы-вражды»	507
История одной любви	636